

Г. И. УСПЕНСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Г. И. УСПЕНСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕВЯТИ ТОМАХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1955

Г. И. УСПЕНСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 1

НРАВЫ РАСТЕРЯЕВОЙ УЛИЦЫ

РАСТЕРЯЕВСКИЕ ТИПЫ
И СЦЕНЫ

СТОЛИЧНАЯ БЕДНОТА

МЕЛОЧИ

ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ
1862—1866

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1955

Издание осуществляется
под общей редакцией
В. П. ДРУЗИНА

Вступительная статья
В. П. ДРУЗИНА и Н. И. СОКОЛОВА

*Подготовка текста
и примечания*
Н. В. АЛЕКСЕЕВОЙ



ОТ РЕДАКЦИИ

В настоящее издание включаются все основные художественные и публицистические циклы произведений Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя; в последнем девятом томе печатаются его статьи и избранные письма.

Г. И. Успенский при жизни не раз переиздавал свои произведения в сборниках очерков и рассказов, каждый раз тщательно редактируя, а иногда даже переписывая их заново.

Особенно много работал писатель над изданиями собраний своих сочинений: он объединил разрозненные очерки и рассказы по тематической связи, разрушил некоторые первоначальные циклы, создав новые циклы: «Растеряевские типы и сцены», «Столичная беднота», «Новые времена, новые заботы», «Очерки переходного времени» и др. Писатель также уделил много внимания работе над стилем и языком. Первое издание сочинений в 8-ми томах вышло в 1883—1886 годах, второе и третье издания в 2-х томах в 1889 году, третий, дополнительный, том в 1891 году.

В заметке «От автора» Успенский так объясняет композицию своего Собрания сочинений:

«Некоторые из моих читателей неоднократно выражали желание, чтобы все написанное мною было издано в хронологическом порядке. К сожалению, ни в первом, ни в настоящем издании это справедливое желание не могло быть исполнено по причинам, о которых я уже подробно сказал в предисловии к изданию 1883 года. «Времена,— писал я тогда,— пережитые русскою журналистикою в 60-х годах, были преисполнены всевозможных случайностей, беспрестанно расстраивавших ее правильное течение... Я говорю здесь о тех чисто внешних затруднениях, благодаря которым нельзя было благополучно начать и кончить задуманную работу...

Вот основания того, почему я нашел более удобным для читателя в каждом томе первого издания собирать воедино все, что на известную тему было написано хотя бы в течение нескольких лет, не раздробляя однородной работы вставкою посторонних, но одновременно писавшихся статей, чего требует хронологический порядок».

В настоящем издании сохранена композиция собрания сочинений, определенная самим Успенским. Редакция, как правило, печатает тексты по последнему прижизненному изданию, подготовленному писателем: «Сочинения в двух томах. Третье издание Ф. Павленкова, СПб., 1889» и «Сочинения, том III, изд. Ф. Павленкова, СПб., 1891», строго соблюдая авторскую циклизацию произведений. Каждый том открывается наиболее крупным произведением соответствующего периода, далее следуют более мелкие циклы и затем — отдельные очерки и рассказы.

Вместе с тем, учитывая цензурные и редакторские искажения, факты автоцензуры, а также опечатки и пропуски, допущенные в третьем издании, редакция тщательно сверила тексты с рукописями и всеми прижизненными публикациями произведений Успенского и внесла в тексты необходимые исправления. Произведения, не включавшиеся при жизни писателя в его «Сочинения», печатаются по публикациям в журналах, газетах, сборниках или же по рукописям.

Пунктуация и орфография текстов приближена к современным нормам.

Г. И. УСПЕНСКИЙ

Критико-биографический очерк

Среди непреходящих идейно-художественных ценностей, созданных творческим трудом лучших представителей русской классической литературы, видное и почетное место занимает творчество Глеба Ивановича Успенского. В свои взволнованные, горячие произведения о русском народе выдающийся писатель-демократ вложил боль и страстность своего большого сердца, мощь и вдохновение яркого, неповторимого таланта.

Литературная деятельность Успенского началась в 1862 году и оборвалась в начале 1890-х годов; вся творческая жизнь писателя целиком приходится на ту эпоху русской жизни, когда, по определению В. И. Ленина, происходила «быстрая, тяжелая, острая ломка всех старых «устоев» старой России»,[1] когда «на смену крепостной России шла Россия капиталистическая».[2] И можно без преувеличения сказать, что представление об этом сложном переходном периоде в жизни пореформенной России, особенно о жизни деревни, было бы неполным без обращения к произведениям Успенского.

Историческое значение деятельности Успенского обусловлено прежде всего тем, что он своими произведениями на протяжении всего творческого пути отвечал на коренные запросы современной ему русской жизни. Для писателя самыми близкими интересами были интересы широчайших народных масс; творческие задачи писатель стремился решать с позиций передового, революционно-демократического мировоззрения, на основании глубокого и тщательного изучения самой жизни.

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 16, стр. 301.
[2] Там же, т. 17, стр. 66.

Типичный разночинец по жизненной и писательской судьбе, Успенский всею своею деятельностью связан с ходом русского освободительного движения на втором, разночинском, этапе его развития. Воспитанный на идеях революционной демократии, пронесший через всю жизнь дорогие ему имена Чернышевского и Добролюбова, Некрасова и Щедрина, Успенский стремился на практике, в своем творчестве, воплотить принципы и требования революционно-демократической эстетики.

В 1870—1880-е годы в поисках ответов на коренные вопросы русской жизни Успенский близко соприкоснулся с революционным народничеством. Но в ту же пору своими правдивыми картинами русской жизни, страстными раздумьями над происходившими в ней процессами Успенский способствовал преодолению народнических догм и иллюзий, помогал выработке правильных воззрений на русскую действительность. Эту историческую заслугу Успенского перед русским освободительным движением отмечали ранние русские марксисты, ленинская «Искра», отмечал В. И. Ленин.

Творческое наследие Успенского долгое время извращалось или вовсе замалчивалось либеральной, народнической, реакционной критикой и буржуазным литературоведением, как замалчивалось и извращалось все идейное наследие революционных демократов, их соратников и последователей. Особенно усердно игнорировалась художественно-эстетическая ценность произведений писателей-демократов. Советское литературоведение давно отвергло эти реакционные представления. Все глубже и ярче предстает перед нами творческое богатство идей эстетики Белинского и Чернышевского, все очевиднее раскрывается художественная сила произведений Некрасова и Щедрина. Все яснее, по мере изучения, становятся и художественные достижения Успенского, замечательного рассказчика, создателя незабываемых картин и образов из прошлой русской жизни, блестящего знатока народной речи, непревзойденного мастера художественного очерка.

Произведения Успенского хорошо знал и не раз ссылался на них В. И. Ленин. В пору ожесточенной борьбы с народничеством, в период выработки аграрной программы русских социал-демократов В. И. Ленин неоднократно использует Успенского в таких гениальных своих трудах, как «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?», «Экономическое содержание народничества», «Развитие капитализма в России», «Капитализм в сельском хозяйстве» и др. Картины и образы из произведений Успенского служили для В. И. Ленина прекрасным материалом для разоблачения народнических догм и представлений. В суждениях о самом

писателе В. И. Ленин, используя мысль, высказанную одним из ранних русских марксистов, отмечает превосходное знание Успенским крестьянства, его громадный артистический талант, проникавший до самой сути явлений.

Большое значение для общей оценки Успенского и его произведений, посвященных крестьянской теме, имеет высказывание В. И. Ленина, содержащееся в его записях к реферату «Аграрная программа социалистов-революционеров и социал-демократов» (1903).

Рассматривая здесь воззрения Энгельса по аграрному вопросу, В. И. Ленин сравнивает их с крестьянскими очерками Успенского, в которых дан «анализ всех *общинных* иллюзий» и в которых писатель показывает, что «психика мужика определяется не формой землевладения, а условиями производства». В. И. Ленин заключает, что эти произведения Успенского звучат «в одно слово с Энгельсом».[1] Сопоставление лучших страниц Успенского с воззрениями Энгельса говорит о том, насколько высоко ценил В. И. Ленин очерки Успенского о пореформенной русской деревне.

Уже в годы советской власти, в 1919 году, В. И. Ленин указывал на большое значение Успенского, «которому, — заявлял он, — мы ставим памятник, как одному из лучших писателей, описывавших крестьянскую жизнь...»[2]

Высказывания В. И. Ленина, связанные с творчеством Успенского, в своей совокупности охватывают главнейшие этапы творчества писателя и касаются многих его произведений о русской пореформенной деревне, о развивающемся в России капитализме («Не воскрес», «Из деревенского дневника», «Равнение „под одно“», «Власть земли». «На Кавказе», «Трудами рук своих», «Живые цифры»).

Ленинские суждения об Успенском — громадной важности свидетельство исторической значимости творчества выдающегося писателя-демократа, они должны быть положены в основу понимания и оценки всего его творческого наследия.

I

Рассказ о жизни Успенского невозможен без обращения к его творчеству, анализ его произведений немыслим без учета жизненных обстоятельств, при которых эти произведения создавались. «Вся

---

[1] «Ленинский сборник», т. XIX, стр. 279—280.
[2] В. И. Ленин. Сочинения, т. 29, стр. 10.

моя новая биография.., — говорит Успенский, — пересказана почти изо дня в день в моих книгах. Больше у меня ничего в жизни личной не было и нет».

Глеб Иванович Успенский родился 13 октября 1843 года в Туле. Отец его, Иван Яковлевич Успенский, небогатый чиновник, служил секретарем Тульской палаты государственных имуществ, управляющим которой был Г. Ф. Соколов, отец матери писателя. В большой семье деда, среди приживалов и неудачливых артистов, пригретых своенравным хозяином, и проходили большей частью детские годы Глеба. Семьи родителей и деда были типичными, по укладу жизни и господствовавшим нравам, чиновничьими семьями дореформенного времени. Материальный достаток здесь целиком основывался на доходах, доставляемых службой. И отец Успенского и дед были посвоему честными и доброжелательными людьми, широко помогали нуждавшимся, но безудержный чиновничий произвол и взяточничество наложили и на них свой отпечаток. В доме отца впечатлительный мальчик наблюдал немало челобитчиков — крестьян, ремесленников, мещан, подкреплявших свои просьбы различными приношениями. «В детстве, — вспоминал впоследствии Успенский, — я много пережил и перевидел крестьянских бедствий, и взяточничество царило повсюду, рекрутские поборы, волостные старшины, писаря и вся тяжебная волокита мне хорошо известны...» Недаром уже в одном из ранних своих произведений, в рассказе «Семениха» (1864), он дал яркие зарисовки этого повсеместного взяточничества.

К числу отрадных детских впечатлений, обогативших память будущего писателя, следует отнести раннее его знакомство с миром народного творчества. Одна из близких родственниц деда была, по свидетельству современника, замечательной сказочницей. Она, бывало, «целые дни занимала Глеба и его сверстника сказками о спящей царевне, о Кащее бессмертном, об Иване-царевиче, наконец целою серией сказок Шехерезады, а также рассказывала она по картинкам «Не любо не слушай, а врать не мешай»... дети готовы были не спать целые ночи, лишь бы слушать эту приветливую улыбающуюся старушку-бабушку, с каждым словом которой открывались все новые, чудные картины». Раздвигали мир любознательного и восприимчивого мальчика и многочисленные странницы, богомолки, нищие, платившие за приют и подаяния в доме Успенских своими рассказами о виденном и пережитом.

Если посмотреть со стороны на детские и юношеские годы Успенского, то внешне жизнь в эти годы может представиться вполне благополучной, чуть не идиллической. В самом деле: материальный

достаток, всеобщее внимание и любовь, которыми был окружен ребенок, доброта отца, неусыпные заботы матери. Незаурядной личностью был, при всем его крутом нраве, и Г. Ф. Соколов. Он был не чужд искусству и литературе, о ранних произведениях своего любимца-внука он отзывался потом как о сочинениях, «исполненных остроты и неподдельного юмора». И однако писатель впоследствии с суровым осуждением взглянул на ранние годы своей жизни, включая и детство. «Вся моя личная жизнь, — говорил он, — вся обстановка моей личной жизни лет до 20-ти обрекала меня на полное затмение ума, полную погибель, глубочайшую дикость понятий, неразвитость и вообще отдаляла от жизни белого света на неиссякаемое расстояние. Я помню, что я плакал беспрестанно, но не знал, отчего это происходит».

Причины этой суровой оценки писателем своего прошлого нужно искать не только в семейной обстановке Успенского. Первые годы его сознательной жизни, как и начальные годы ученья, приходились на период мертвящей политической реакции конца 1840-х — начала 1850-х годов. Затхлая атмосфера мрачной николаевской эпохи сказывалась и на семейном укладе чиновников, среди которых рос мальчик. Вот почему Успенский потом так беспощадно называл чиновничьи семьи, виденные им в детстве, «лихоимными гнездами».

Обстановку, царившую в этих семьях, писатель хорошо обрисовал в очерке «На старом пепелище» (1876). «В каждой семье, — говорится там, — было притворство, подавленность личная и личная друг перед другом ложь; зависимость от главы семьи, в одних вкорененная с детства, в других... необходимая ввиду того, что глава этот — кроме родства, и начальник, заставляла эти насильственные семьи вырабатывать самое лицемерное обличье, заставляла ежеминутно лгать, притворяться и рабствовать». В словах о родственниках, связанных и служебными отношениями, нетрудно видеть автобиографический намек на отношения семей Успенских и Соколовых. Обобщающую картину детства в подобной среде дал писатель в рассказе «Парамон юродивый» (1877).

Этот же дух покорности, страха перед «начальством» господствовал и в тогдашних гимназиях, в которых пришлось учиться Успенскому. В 1853 году он был отдан в Тульскую гимназию, где проучился до 1856 года. «Тульская гимназия, в которой учился Глеб Иванович, — рассказывает его сверстник, — находилась на... Хлебной площади, где время от времени воздвигался эшафот для конфирмаций и наказания кнутом преступников. Окна нашего первого класса выходили как раз на площадь, и из окон, вдали, можно было

видеть всю процессию и экзекуцию». Успенский был в числе гимназистов, которые «с ужасом отбегали от окна, боясь услышать страшный крик преступника, раздававшийся, после каждого удара палача, по площади, над заледеневшею от ужаса толпою».

Один из героев Успенского («Волей-неволей», 1884) так рассказывает о гимназическом прошлом: «Инспектор в нашей гимназии был человек совершенно типический по тогдашнему времени — человек мертвого сердца и мертвого ума. Тишина, молчание, фронт (тогда военное время внесло и в гражданские учебные заведения военные приемы), стрижка под гребенку, аккуратно всех поголовно, всех в известный день и час, вот материал, на котором он практиковал свое мертвое сердце». Люди мертвого ума и сердца — это, конечно, идеал николаевского режима.

В 1856 году И. Я. Успенский переводится на службу в Чернигов делопроизводителем хозяйственного отделения казенной палаты государственных имуществ. Его сын переходит в Черниговскую гимназию, в 4-й класс которой поступает в августе того же года.

Годы пребывания Успенского в Черниговской гимназии (1856—1861) совпали уже с новым периодом в русской общественной жизни. Поражение в Крымской войне, вскрывшее всю гнилость самодержавно-крепостнического режима, рост крестьянского движения, направленного против власти помещиков, осознание даже правящими кругами необходимости реформ, общественный подъем, связанный с подготовкой и проведением этих реформ, революционная проповедь Чернышевского и Добролюбова в «Современнике», Герцена и Огарева в «Колоколе», решительный голос в защиту угнетенного народа со страниц произведений лучших русских писателей — все это приводило в движение широчайшие круги русского общества, затрагивало самые отдаленные уголки его жизни, самые разнообразные стороны его деятельности. Революционная ситуация 1859—1861 годов была кульминационным периодом этого широкого общественного движения.

Хотя Черниговская гимназия, как и Тульская, была типичным рутинным учебным заведением, веяния нового понемногу, разными путями и способами, начали доходить и сюда. Учеба Успенского в Чернигове не сразу пошла успешно, к казенной программе обучения он оставался равнодушен во все время пребывания в гимназии. Но уже в эти годы стали проявляться черты недюжинной личности будущего писателя. Его общительный характер, любовь к литературе, познаниями в которой он неизменно делился с товарищами, — все это способствовало упрочению его авторитета в гимназической

среде. Еще в ранние годы, пользуясь книгами небольшой домашней библиотеки, Успенский начал знакомиться с русской литературой — Карамзиным, Лермонтовым, Пушкиным. В Черниговской гимназии круг его чтения неизмеримо расширяется. Передовые русские журналы, доходившие и до Чернигова, знакомили читателя с произведениями Тургенева, Толстого, Островского, Некрасова, Щедрина, статьями Чернышевского, Добролюбова, Герцена. В Черниговской гимназии определилась склонность Успенского к литературному творчеству; воспитанниками гимназии выпускался журнал «Молодые побеги», и Успенский принимал в нем деятельное участие. Не мог не способствовать стремлению юноши-гимназиста к творчеству и тот факт, что к этому времени его двоюродный брат Н. В. Успенский уже печатался в столичной прессе.

Вся обстановка жизни и умонастроение, сложившееся ко времени окончания гимназии, вели молодого Успенского к решению, столь характерному для широких кругов разночинной молодежи той поры: ехать в Петербург, в университет — в водоворот общественной жизни, кипевшей там в эти годы.

Летом 1861 года Успенский приезжает в Петербург для поступления на юридический факультет Петербургского университета. После сдачи экзаменов он 15 сентября был принят в число студентов, но мечте писателя получить университетское образование не суждено было сбыться: вследствие студенческих волнений университет был закрыт, и Успенский в декабре того же года был отчислен. Первое пребывание Успенского в Петербурге было непродолжительным, но оно имело для него большое значение. Нет сомнения, что Успенский, новичок в университете, не остался в стороне от студенческих волнений и сочувствовал им.

Успенский оказался в Петербурге в сложное для революционной демократии время, хотя поворот царского правительства к реакции после проведения реформы еще не был достаточно ощутим, а надежда идеологов революционной демократии на близкую крестьянскую революцию еще не была поколебленной. Смерть Добролюбова, рост цензурных притеснений прогрессивной печати, усиление полицейских репрессий против участников освободительного движения, закрытие университета, подготовлявшийся арест Чернышевского, который последовал летом 1862 года, — все это отражалось на настроениях передовой молодежи. Но вместе с тем для Успенского это время — период активного приобщения к революционно-демократической идеологии, к передовой литературе и журналистике того времени, к широкому общественному движению.

После отчисления из Петербургского университета Успенский переезжает в Москву и пытается поступить в Московский университет. Однако он не был принят, так как не представил надлежащих документов и не смог внести платы за слушание лекций. Суровая нужда сопутствует Успенскому с первых же шагов самостоятельной жизни; семья, благосостояние которой пошатнулось после реформы, почти не могла помогать ему О периоде московской жизни в автобиографии Успенского говорится: «Здесь долго голодал. Отец мой разорился, семья была большая, но я получал 25 рублей». Для добывания хлеба насущного ему пришлось работать корректором в типографии газеты «Московские ведомости».

В эту трудную для Успенского пору и началась литературная деятельность, определившая дальнейший ход всей его жизни. В 1862 году в журнале Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» (очевидно, при содействии Н. В. Успенского) появляется рассказ Г И. Успенского «Михалыч», а в малоизвестном московском журнале «Зритель» — рассказ «Отцы и дети» (впоследствии «Идиллия»). Сам писатель началом своего творческого пути считал рассказ «Старьевщик», появившийся в 1863 году в столичном журнале «Библиотека для чтения». О появлении этого произведения он не без гордости сообщал родителям: «Прошу вас взять у Кранца № 12 «Библиотеки для чтения»... и прочитайте там мой рассказ «Старьевщик» (из московской жизни)... Посмотрите также в этой книжке объявление и полюбуйтесь, что Г. И. Успенский наряду с *И. С. Тургеневым.* Мне даже самому смешно».

Начальные годы писательского пути Успенского были чрезвычайно тяжелыми — типичными для писателей-разночинцев той поры. Материальная нужда, труд из-за денег, постоянная спешка в работе, выступления в различного рода печатных органах — вот характерные черты его биографии начала 1860-х годов. В январе 1864 года умер отец, и Глебу Ивановичу, как старшему из сыновей, пришлось взять на себя заботы об обеспечении матери и младших братьев и сестер. Он много хлопочет по различным инстанциям о пособии семье (удалось добиться пособия на воспитание детей — по 400 руб. в год на семь лет), в 1865 году отправляется в Чернигов и перевозит мать с семьей в Тулу, «на старое пепелище», лихорадочно работает над новыми произведениями. Но литературный заработок начинающего писателя был ничтожен: порой ему платили по 3—5 рублей за рассказ.

Характерна для Успенского периода 1860-х годов и его, как выражался сам писатель, «литературная бесприютность». Наряду с сотрудничеством в «Русском слове», а затем в «Современнике», он печатается в «Зрителе», «Библиотеке для чтения», в иллюстрированном издании «Северное сияние», в «Искре», «Будильнике», затем «Петербургском комиссионере», «Женском вестнике» и др. Один перечень этих различных печатных органов говорит сам за себя. Впоследствии об этом времени напряженной, но часто беспорядочной литературной работы Успенский писал: «Личная душевная жизнь и неразрывная с ней литературная работа поддерживались во мне и подкреплялись долгие годы без всякой личной или нравственной с чьей-либо стороны поддержки, и так было до 68 года» (времени перехода «Отечественных записок» в руки Некрасова и Салтыкова-Щедрина).

Из-за литературной бесприютности Успенский в этот период не раз обращается и к нелитературным заработкам. Так, в 1867 году, выдержав при Петербургском университете экзамен на звание учителя русского языка в уездных училищах, Успенский некоторое время учительствует в г. Епифани Тульской губернии. Однако писатель не мог примириться с засасывающей тиной обывательской провинциальной жизни, не был он удовлетворен и постановкой самого дела народного образования. Вследствие этого он скоро оставляет работу учителя (об этом эпизоде своей биографии Успенский рассказал потом в очерке «Спустя рукава» и отчасти в «Разоренье»). Затем он пытался работать делопроизводителем у прокурора, но и эта служба его, конечно, не могла удовлетворить. Его жизнь, умственные искания и цели все более и более определяла литературная деятельность.

Произведения Успенского первой половины 1860-х годов многочисленны и разнообразны по тематике; не одинаковы они и по художественному уровню. Сам писатель впоследствии весьма строго подошел к раннему периоду своего творчества и немногое отобрал для помещения в Собрание сочинений. Жизненную основу ранних произведений Успенского составили его наблюдения над жизнью Тулы и Чернигова и впечатления, вынесенные из скитаний по разным «углам» и «трущобам» Петербурга и Москвы. Жизнь городских низов, мещанства, нравы чиновников, изредка изображения деревни — вот содержание первых рассказов и очерков Успенского. Уже в эту пору определился демократизм самой тематики его произведений, отчетливо выражено стремление писателя изображать правду народной жизни «без всяких прикрас», как это требовал Чернышевский, как этого требовали традиции «гоголевского

направления» в русской литературе. Это стремление молодого Успенского следовать принципам революционно-демократической эстетики сближало его с писателями-демократами того времени: Помяловским, Решетниковым, Левитовым, Н. Успенским и др. Сам Глеб Успенский становится одним из ярких представителей этой замечательной плеяды писателей-шестидесятников. Литературная близость к указанным писателям углублялась к тому же и личным с ними общением.

Уже в ранних произведениях, таких как «Гость», «Старьевщик», «Побирушки», «Зимний вечер» и др., сказались характерные черты Успенского-писателя, его зоркая наблюдательность, уменье подметить существенные детали в явлениях жизни, знание и мастерское владение живой разговорной речью, его мягкий веселый юмор, полный сочувствия к маленькому человеку. Недаром И. А. Гончаров отмечал в Успенском родство с наследием Н. В. Гоголя.

Итоговым и вместе с тем этапным произведением Успенского периода 1860-х годов являются его очерки «Нравы Растеряевой улицы» (1866).

Знаменателен сам факт публикации этих очерков в органе революционной демократии — «Современнике» (печатание оборвалось в связи с закрытием журнала после выстрела Каракозова). Еще в 1865 году по приглашению Некрасова Успенский помещает в «Современнике» очерк «Деревенские встречи». Как известно, великий поэт был не только выдающимся деятелем русской литературы, но и замечательным ее вождем и организатором. Особенно много Некрасов, вместе с Чернышевским, Добролюбовым, Щедриным, сделал для выдвижения и роста демократических сил в литературе. Естественно, что творчество молодого Успенского скоро привлекло внимание Некрасова. После приглашения Успенского в «Современник» Некрасов неизменно пристально следит за деятельностью писателя, помогает ему материально, не раз ходатайствует перед Литературным фондом «в пользу этого очень бедного, очень деликатного и очень даровитого литератора». Что касается самого Успенского, то можно сказать, что он преклонялся перед Некрасовым — и как гениальным поэтом и как замечательным человеком. В воспоминаниях об Успенском содержится немало свидетельств о восторженном отношении писателя к поэзии Некрасова, в своих произведениях Успенский не раз использует некрасовские образы и выражения. После смерти поэта в защиту его памяти от нападок реакционной прессы Успенский выступил со специальной статьей. Нет сомнения, что сближение Успенского в 1860-х годах с кругом «Современника» явилось выражением идейного и творческого роста

писателя, его зрелости. Ярким свидетельством этого и явились очерки «Нравы Растеряевой улицы».

В «Нравах Растеряевой улицы», этом первом своем крупном произведении, Успенский, следуя заветам революционно-демократической эстетики, смог нарисовать широкую картину русской жизни первых лет пореформенного периода. Жизнь народных низов, ремесленного и рабочего люда, которую так хорошо знал с детства Успенский по родной Туле, — вот что в первую очередь занимает художника-демократа. «В очерках «Нравы Растеряевой улицы», — писал в статье об Успенском А. С. Серафимович, — он нарисовал картину бесчеловечной эксплуатации, кабалы, нищеты и беспросветной нужды».

В ярких, конкретных образах и картинах рисует Успенский жизнь бедняка-ремесленника, фабричного рабочего, их забитость, бедность, бесправие и вместе с тем — темноту, бескультурье, пьянство — эти уродливые порождения уродливых социальных отношений. Писатель скорбит, что рабочий, тяжким трудом зарабатывающий себе средства на жалкое существование, еще полон крепостнического страха перед «хозяином», фабрикантом, несмотря на «новые времена», наступившие после реформы. «И странное дело, — говорится в очерках о рабочих, — как нетерпеливы они в то время, когда хозяин как-то бестолково оттягивает минуту расчета... столько же народ этот делается робким, трусливым, даже начинает креститься, когда, наконец, настает самая минута расчета». В другом месте очерков о той же забитости растеряевцев писатель говорит: «Растеряевец с давнего времени привык полагаться на бога, будучи горьким опытом убежден, что спасение его не в руках человеческих».

Сила реализма Успенского в изображении народной жизни заключается в том, что он не только рисует суровую «правду без всяких прикрас», но и показывает, что эта жизнь при данных социальных отношениях не может быть иной. Так, пьянство, которое отравляет семейные отношения и усугубляет материальную нужду рабочего-растеряевца, выступает закономерным порождением всех сложных обстоятельств, в которых протекает вся его жизнь. «Трудно не пить в Растеряевой улице», — с горечью заключает писатель.

Таким образом, новые пореформенные порядки не принесли облегчения трудовой массе, наоборот, «новые времена» усилили власть хозяев фабрик и мастерских, увеличили зависимость бедноты от торговцев, ростовщиков, нарождающихся хищников типа Прохора Порфирыча.

Сочетание пережитков старого крепостнического уклада с явлениями «нового», характеризовавшая это время «растерянность» «ста-

рого» перед «новым» с большой зоркостью и конкретностью подмечены Успенским. Растущая сила «денежных людей» и разорение части дворянства не раз отмечаются в очерках. Умение за мелким, но характерным фактом увидеть начавшиеся сдвиги большого социального значения — в этом одна из особенностей Успенского-реалиста, ярко сказавшаяся и в «Нравах Растеряевой улицы».

К числу предприимчивых деятелей, которые уже «не робеют-с» в наступившее новое время, относится Прохор Порфирыч, хорошо усвоивший принципы накопительства в пореформенную эпоху. Это образ большой обобщающей силы. Его рассуждения о «новых временах», когда «подкараулил минутку — только пятачком помаживай», его стремление сесть на шею ближнему перекликаются с щедринскими образами Колупаевых, Разуваевых и Деруновых.

Беспощадно правдив Успенский и в обличении чиновничьего и мещанского быта, который также хорошо был знаком писателю с детства. В изображении мрачной фигуры Толоконникова, истязателя и ханжи, отчетливы сатирические ноты; в образе мещанина Дрыкина с огромной силой изображено темное, уродливое самодурство, мрачный быт, обусловленный практикой стяжательства и накопительства.

В «Нравах Растеряевой улицы» в полную силу развернулись мастерство и талант писателя, его наблюдательность, искусство диалога, тонкий юмор. В этом произведении проявилось и то новое, что еще в недостаточной мере удавалось в ранних произведениях: умение осмыслить и обобщить разнообразные явления действительности, создание типических картин и образов. Само понятие «Растеряевой улицы», «растеряевщины» стало одним из ярких художественных обобщений, созданных Успенским. Оно отразило положение различных слоев русского общества в этот период. В «Нравах Растеряевой улицы» нашли яркое выражение глубокий демократизм писателя, его любовно-сочувственное отношение к людям социальных низов. В произведении отчетливо сказалось критическое отношение писателя к современному социальному строю, столь враждебному угнетенным массам.

«Нравы Растеряевой улицы» явились одним из выдающихся произведений демократической литературы 1860-х годов, одной из книг, социальная ценность которых, по определению А. М. Горького, «не утрачена и для наших дней».

В период создания «Нравов Растеряевой улицы» и непосредственно после них Успенский, уже опытный, но отнюдь не остановившийся в своем росте мастер короткого рассказа, очерка, создает ряд замечательных и в идейном и в художественном отношениях

произведений. Швейная мастерская, содержавшаяся «мадамой», быт, страсти и неутешные горести девушек-швей, толкаемых условиями нищенского бытия на путь нравственного падения («Первая квартира»); трогательный образ пиро- и гидротехника Иванова и его жены, вынужденных ради своего спасения увеселять купцов Псуновых и Тюриных («Нужда песенки поет»); участь кухарки Марфы, пришедшей в большой город на заработки из деревни Босоноговой («По черной лестнице»), — таков мир картин и образов, рисуемых Успенским в его художественных миниатюрах второй половины 60-х годов.

Выдающимся достижением Успенского этих лет является его очерк «Будка» (1868), опубликованный на страницах журнала «Отечественные записки». В чем состоит обобщающая сила образа будочника Мымрецова с его знаменитым девизом: «тащить» и «не пущать»? «Тащил он, — говорится в очерке, — обыкновенно туда, куда решительно не желали попасть, а не пускал туда, куда этого смертельно желали». Будочник Мымрецов — это самая маленькая фигура и самая низшая ступень в полицейско-бюрократическом аппарате самодержавного строя, сам он — тупой, невежественный человек. И однако образ его под пером писателя-реалиста вырос до символа всей полицейской царской реакции. Недаром впоследствии В. И. Ленин и И. В. Сталин использовали в своих трудах этот образ для обличения самодержавия. Обобщающая сила образа Мымрецова в том и заключалась, что в его облике воплощены черты идеального служаки самодержавного режима: тупость, неспособность рассуждать, безусловное повиновение, механическая исполнительность в осуществлении раз навсегда усвоенных предначертаний «начальства». Образ будочника Мымрецова в русской литературе стоит в одном ряду с такими обобщениями, как Держиморда у Гоголя, градоправители у Щедрина, унтер Пришибеев у Чехова.

Крупным произведением Успенского является цикл повестей «Разоренье» (1869—1871). Этот цикл, созданный главным образом на материале новых и старых наблюдений писателя над жизнью той же Тулы и Тульской губернии, является как бы соединительным звеном между произведениями Успенского 1860-х годов и новым творческим этапом, связанным с исторической действительностью уже 1870-х годов.

Задача произведения — изобразить «разоренье», крушение старых, уходящих корнями в крепостническое прошлое порядков России, подметить черты новых явлений, идущих на смену прошлому. Писатель, изображая действительность с революционно-демократических позиций, не испытывает никакого сожаления к доживающим

свой век ревнителям старины, «столпам» старого чиновного мира, основателям «лихоимных гнезд», огромных «взяточных полипов». До большого сатирического обобщения вырастает эпизодический образ старухи Птицыной, хранительницы «устоев» одного из «лихоимных гнезд». Правило поведения, которое она проповедовала своим домочадцам, было простое и единственное: «В карман-то, в карман-то норови поболе!» Распад и вырождение семьи Птицыных, возросшей на «жирных крохах» крепостных порядков, показаны Успенским с щедринской силой.

Но беспощадно осуждая старое, идущее от крепостного прошлого, писатель отнюдь не в восхищении и от того нового, что несут с собой буржуазные порядки. Примечательно, что выразителем протеста и против «старых» и против «новых», буржуазных порядков Успенский делает рабочего человека, бунтаря и обличителя Михаила Ивановича. Именно он и является главным героем первой части «Разоренья» («Наблюдения Михаила Ивановича»).

Михаил Иванович — яркий представитель народных низов, пробуждающегося сознания рабочей массы. Интеллигенты-разночинцы помогли ему разглядеть царящую вокруг социальную несправедливость, угнетение трудового человека, и с тех пор «защищать простого человека... составляло его заветную мечту». Голос Михаила Ивановича слышен везде и всюду, он неустанно говорит о несправедливом устройстве жизни, о «прижимке», которой подвергается рабочий люд.

Образ Михаила Ивановича — доказательство большой социальной зоркости писателя, уже в шестидесятые годы заметившего первые вспышки рабочего протеста со всеми особенностями его ранних проявлений. Из этого, конечно, не следует заключать, что Успенскому и тогда и позднее были ясны перспективы и значение революционного движения рабочего класса.

Существенные вопросы русской жизни освещались и в последующих частях «Разоренья»: «Тише воды, ниже травы» и «Наблюдения одного лентяя». Особенно важно здесь отметить пристальное внимание писателя к вопросам крестьянской жизни. Большой политический смысл имели картины усмирения крестьянских бунтов против помещиков и эпизодические, но яркие образы солдат-усмирителей. Говорится в «Разоренье» и об отношении разночинной интеллигенции к народу, о ее задачах по облегчению участи трудовых масс. Изображение крестьянской жизни, вопрос о роли интеллигенции — это центральные темы уже последующего периода в творчестве Успенского.

Части «Разоренья», слабо связанные между собой в сюжетном отношении, вместе с тем составляют глубоко единое в своей идейной

основе произведение. Объединение очерков и рассказов по их идейному и тематическому родству — характерная черта всех крупнейших циклов Успенского.

На грани 1860—1870-х годов Успенский был уже широко известным, прославленным русским писателем-демократом. Он был автором «Нравов Растеряевой улицы» и «Разоренья», в 1866 и 1867 годах вышли первые два сборника его очерков и рассказов («Очерки и рассказы», «В будни и в праздник»), укрепились его связи с новым органом революционной демократии — журналом «Отечественные записки». Как идейный соратник Некрасова и Щедрина, возглавлявших журнал, Успенский не раз подвергался нападкам реакционной критики. Но демократический читатель уже научился ценить в Успенском зоркого наблюдателя и глубоко правдивого художника, живописца нарождающихся «новых, неясных стремлений», все новых и новых явлений в русской действительности.

II

К началу 1870-х годов совершенно ясно определились практические последствия крестьянской реформы, не уничтожившей зависимости крестьянских масс от помещиков и вместе с тем положившей начало все большему гнету со стороны нового эксплуататорского класса, буржуазии. Недовольство крестьян засильем помещиков, растущим налоговым гнетом, кулацкой кабалой было повсеместным и очевидным. Это недовольство пореформенного крестьянства своим положением находило глубокое выражение и во всем русском освободительном движении. В семидесятые годы господствующим революционным направлением явилось народничество. «Расцветом действенного народничества, — указывал В. И. Ленин, — было «хождение в народ» (в крестьянство) революционеров 70-х годов». [1]

Социальная сущность народничества, основными деятелями которого выступали разночинцы, заключается «в представительстве интересов и идей русского мелкого производителя». [2] Основные положения воззрений народников, по определению В. И. Ленина, заключаются в следующем: 1) *«Признание капитализма в России упадком, регрессом».* 2) *«Признание самобытности русского экономического строя вообще и крестьянина с его общиной, артелью и т. п. в частности». 3) «Игнорирование связи «интеллигенции» и*

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 18, стр. 490.
[2] Там же, т. 1, стр. 384.

юридико-политических учреждений страны с материальными интересами определенных общественных классов».[1] Движение народников, столь ошибочное по своим исходным теоретическим положениям и по своей тактике («хождение в народ», индивидуальный террор, призывы к укреплению общины и т. д.), уже с самого начала было чрезвычайно сложным и противоречивым явлением. Дальнейшая эволюция народничества заключалась в постепенном перерождении его как революционного течения в буржуазное реформаторство, в либерализм. Но в пору своего расцвета движение народников сыграло известную положительную роль в русском освободительном движении. В. И. Ленин указывал, что «социал-демократы... вовсе не выкидывают за борт все народничество..., а выделяют из него и признают своими его революционные, его общедемократические элементы».[2] В числе предшественников русской социал-демократии В. И. Лениным названа и «блестящая плеяда революционеров 70-х годов».[3]

Наиболее типичными выразителями народнических представлений о русской действительности в литературе были такие писатели-народники, как Н. И. Наумов, П. В. Засодимский, Н. Н. Златовратский и др. В сложном отношении к народничеству как идейному течению находился Успенский.

Биография Успенского периода 1870-х годов, особенно второй их половины, бедна сведениями. Скудость материалов здесь в значительной мере обусловлена историческими обстоятельствами, понятным стремлением писателя скрыть от полицейских ищеек свои связи с революционными кругами.

В личной жизни Успенского в эту пору происходят значительные перемены. В 1870 году состоялась его свадьба с А. В. Бараевой, ставшей добрым спутником и помощником писателя до конца его жизни. Александра Васильевна не была в стороне от литературных и общественных интересов своего времени. В 1877 году она выступила с переводом книги французского писателя Леона Кладеля «Очерки и рассказы из жизни простого народа» (предисловие к книге написал И. С. Тургенев), занималась во время пребывания в деревне преподавательской деятельностью. Семейная жизнь в какой-то мере упорядочила быт писателя, яркое представление о котором дает одно из писем Успенского к будущей своей жене. «В комнате и на столе у меня все по-старому, — сообщает он в марте 1869 го-

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 2, стр. 481.
[2] Там же, т. 6, стр. 119.
[3] Там же, т. 5, стр. 342.

да, — щетки, окурки, «Современник» старый... На шкафу висит серое пальто, которым я подметаю пол». Бытовая неустроенность усугублялась и непрерывной нуждой, которая сопровождала писателя-разночинца всю его жизнь.

Творческая деятельность Успенского после создания «Разоренья» попрежнему характеризуется неослабным вниманием писателя к новым насущным вопросам современности, к общественному движению того времени. В начале 1870-х годов Успенский совершает ряд поездок с целью изучения русской жизни. Писатель побывал в приволжских селениях и городах, у кустарей с. Павлова, где уже отчетливо сказывались новые процессы в народной жизни, связанные с развитием капитализма. Результатом поездки явились очерки «Путевые заметки», «Из путевых заметок по Оке». Успенский сближается с деятелями революционного народничества (1874 год был кульминационным годом «движения в народ»). Связи писателя с революционерами и характер их оказались в какой-то мере известными и царской полиции. В 1873 году за писателем учреждается негласный надзор, который был прекращен лишь в 1901 году. В карточке поднадзорного, заведенной в 1873 году департаментом полиции, говорилось: «Заподозрен в политической неблагонадежности ввиду стремления к сближению с крестьянами в Саратовской губ. Из наблюдения за Успенским в Петербурге обнаружена его дружба с государственными преступниками: Исаевым и Саблиным и связи вообще с лицами политически неблагонадежными». Хорошо известно, в каких дружественных отношениях находился Успенский с видными представителями революционного народничества: В. Н. Фигнер, Д. А. Клеменцом, Г. А. Лопатиным, С. М. Кравчинским и др.

Важными событиями в жизни Успенского этих лет были его поездки за границу в 1872 и в 1875—1876 годах. Первую поездку помог Успенскому осуществить Некрасов; о самой цели поездки писатель впоследствии сообщал: «Ехать за границу для меня было необходимо, просто чтобы учиться».

В письмах Успенского ярко запечатлено, как писатель-демократ смог сразу же разглядеть изнанку буржуазной «цивилизации», всю фальшь и лицемерие буржуазных «свобод», буржуазного парламентаризма. Гнев и глубокая скорбь звучат в словах писателя по поводу расправы французской буржуазии над коммунарами. «Здесь, на этом самом месте, — говорится в одном из писем, — версальцы в прошлом году 21-го мая расстреляли 450 коммунистов, вся площадь была залита кровью, — и теперь даже кровь

так въелась в камни, что, как ни очищали ее, пегие пятна видны. Я на этой площадке простоял час, словно помешанный или в столбняке, — ноги мои словно прилипли к тому месту, где умерло столько народа». Не менее тяжелое впечатление произвела на писателя и судебная расправа над коммунарами. В том же письме сообщается: «Мы пошли в *Военный суд,* в котором судят коммунистов... Через 2 минуты подсудимому объявляют решение, по которому он на 20 лет ссылается в Новую Каледонию. В 1 час таким образом при нас захерили на смерть 3-х человек. Возмутительнее я ничего не видел. Вот злодеи! Это злодеи!»

Тяжелые переживания вызывают и другие картины, виденные писателем в буржуазной Европе: беспросветный труд бельгийских рабочих, бедность французской деревни, контрасты роскоши и нищеты Лондона.

Заграничные впечатления Успенского отражены в ряде его очерков и рассказов, созданных и в 1870-е и в позднейшие годы: «Больная совесть», «Из памятной книжки», «Заграничный дневник провинциала», «Выпрямила» и др. Показав в этих произведениях бедственное положение трудящихся масс при господстве буржуазии, Успенский убедительно вскрыл фальшь либеральных россказней о «защите» интересов народа, о парламентских «свободах». О либерале Гамбетте, отказавшемся голосовать за амнистию коммунарам, Успенский в очерке «Заграничный дневник провинциала» писал: «А г. Гамбетта, который *отказывается от подачи голоса об амнистии,* — это ни старое, ни новое, а просто скверное явление». О республиканской буржуазной партии он говорил, что «она ровно ничего не делает, а продолжает... систематически отлынивать от разрешения самых насущных вопросов».

Глубокого общественно-исторического смысла полно и обличение Успенским милитаризма, особенно прусской военщины, с ее завоевательскими замыслами, причинившими столько бедствий человечеству. В очерке «Больная совесть» писатель яркими сатирическими чертами зарисовал облик прусских вояк, кичившихся тогда победой над Францией.

Важным эпизодом пребывания Успенского за границей является также его поездка в 1876 году в Сербию в связи с развернувшимися там военными событиями. Борьба братских народов за свое национальное освобождение неизменно пользовалась сочувствием русского народа. Это сочувствие нашло отражение и в добровольческом движении 1876 года, когда многие русские пришли на помощь сербам и черногорцам в их борьбе против турецкого владычества.

Но в этом движении участвовали и представители господствующих классов царской России, которым были глубоко чужды освободительные устремления славянских народов, в своем поведении они руководствовались глубоко корыстными, эгоистическими побуждениями. В очерках Успенского «Письма из Сербии», «Не воскрес» и др. проявилось трезвое понимание писателем балканских событий, его горячее сочувствие борющимся славянским народам и возмущение своекорыстной политикой господствующих классов в этой войне. Интерес и сочувствие передового русского писателя-демократа славянским народам сохранились до конца его жизни. Так, в 1887 г. они нашли выражение в поездке в Болгарию, запечатленной в ряде ярких очерков о национальной борьбе болгарского народа.

К периоду пребывания за границей относится тесное сближение Успенского с кругами революционной народнической эмиграции. Результатом поездки в Лондон и встречи с видным теоретиком народничества Лавровым явилось помещение в народническом журнале «Вперед» рассказа «Шила в мешке не утаишь». Встречи с деятелями народнического движения, без сомнения, способствовали еще большему обострению внимания Успенского к русской жизни, особенно к жизни крестьянства, на которое так много надежд возлагали народники. Отражением их споров о русской деревне явился очерк Успенского «Из обыденных разговоров» (1877).

Но из общения писателя с деятелями народнического движения ни в коей мере не следует заключать о его согласии с их представлениями о русской действительности. Уже тогда Успенскому была очевидна недостаточность этих воззрений, их книжный, отвлеченный характер. В очерке «Хочешь — не хочешь» (1876) Успенский заявлял: «Я стал думать о задачах действительности не по книгам, а по самой действительности».

Главнейшие очерки и рассказы Успенского этого периода, вплоть до 1876 года, были объединены впоследствии писателем в цикле «Новые времена, новые заботы». Новые времена — это пореформенная эпоха русской жизни, новые явления в жизни всех слоев русского общества, разорение крестьянства, рост денежных отношений и в городе и в деревне. Особенно отчетливое понимание наступивших социально-экономических перемен выражено в таких очерках, как «Книжка чеков», «Оживленная местность», «Злые новости». Разорение деревни, неограниченная власть обладателя «книжки чеков» над разоренными распоясовцами, превращение сельского пролетария в «человека-полтину» — вот явления, которые рисовал правдивый

художник. Эти очерки убедительно показывали, насколько глубже и вернее народников уже тогда видел и понимал факты действительности Успенский.

Глубокой грусти полны заключительные строки очерка «Книжка чеков»: «Никаких золотых нарядов, которые сулила своему сыну размечтавшаяся крестьянка, фабричная женщина сулить не может; она знает, что цена ее мальчонке долгое время будет гривенник, потом двугривенный, и так до рубля, а уж дальше ничего, ничего не будет!» Но Успенский увидел в толще народной жизни и таких героев, которые не примиряются со своим угнетенным положением, имеют свои положительные идеалы. В повести «Очень маленький человек» (1874), не законченной из-за вмешательства цензуры, Успенский изображает шестнадцатилетнего мальчика Федю, который уже много испытал и много передумал, работая на фабрике.

Новые явления в русской жизни ставили новые сложные задачи перед русской интеллигенцией. Успенскому ненавистны те интеллигенты, которые пошли в услужение к обладателям денежного мешка. В очерке «Неплательщики», отразившем эпизод службы Успенского в конце 1875 года в железнодорожном управлении, ярко обрисована подобного рода «интеллигенция».

Наряду с осуждением этих откровенных приспешников буржуазии писатель выступает и против представителей российского либерализма, прикрывающих свою преданность существующему порядку фальшивыми фразами о народолюбии. В очерке «Злые новости» мы находим яркое, щедринской силы определение буржуазного либерализма: «Язык болтал либеральные фразы, а руки тянулись грабить».

Но если писатель не колебался в осуждении лакейской сущности буржуазно-либеральных интеллигентов, то в определении конкретных задач передовой разночинной интеллигенции Успенский испытывал глубокие затруднения. Он не сомневался в том, что надо служить народу, стремиться к облегчению участи многомиллионного крестьянства, но писателю не были ясны пути этого служения. Неудачи различного рода народнических попыток работы в деревне хорошо были известны Успенскому. Идейным исканиям, сомнениям, глубокой неудовлетворенности многих представителей передовой интеллигенции своей ролью посвящены очерки «Хочешь — не хочешь», «На старом пепелище», «Неизлечимый», «Три письма», «Больная совесть» и др. Тема идейных исканий трудовой интеллигенции, ее отношения к народу не переставала волновать Успенского до конца жизни.

В 1870-е годы Успенский создает не только художественные произведения, в которых стремится осветить новые явления русской жизни, но и выступает с литературными декларациями, статьями по вопросам литературы. Верный принципам революционно-демократической критики и эстетики, Успенский в очерке «Хочешь — не хочешь» заявляет: «Большого художника с большим сердцем ожидает полчище народу, заболевшего новою, светлою мыслью, народа немощного, изувеченного и двигающегося волей-неволей по новой дороге и несомненно к свету». Успенский выступает со статьями о таких деятелях демократической литературы, как Н. А. Демерт и Ф. М. Решетников, а в 1878 году, в связи со смертью Некрасова, и со статьей о великом поэте. «Большим художником, с большим сердцем», полным любви к трудовому народу, был, конечно, и сам Успенский.

Творчество Успенского периода 1870-х годов, ознаменованное сложными идейными исканиями, постановкой новых тем и вопросов, появлением новых образов, было во многом новаторским и в художественном отношении. Именно в эти годы в творчестве Успенского оформляется сочетание художественного, образного показа действительности с публицистическими страницами размышлений, доказательств, сопоставлений. В этот период писатель осознает узость для себя традиционных жанровых форм: рассказа, повести, романа. Сообщая о своих творческих намерениях в связи с организацией журнала «Библиотека дешевая и общедоступная», в котором Успенский должен был занять руководящую роль, он в 1875 году писал: «Я решил все, что думано и что есть у меня в башке теперь, привести в некоторый порядок и печатать так, как думается, в самой разнообразной форме, не прибегая к крайне стеснительным в настоящее время формам повести, очерка. Тут будет и очерк, и оценка, и размышление, — приведенные, как я сказал, в некоторый порядок, т. е. расположенные так, чтобы читатель знал, почему этот очерк следует за этой сценой». В одном из произведений он говорил о записной книжке, которая «всегда готова представить сценку, заметку или случайно встреченный факт».

Вторжение публицистического элемента в творчество Успенского не означало снижения изобразительной силы его произведений, как пыталась утверждать реакционная и либеральная критика. Рост художественного мастерства Успенского доказывает, в частности, и тот факт, что, издавая отдельным сборником свои прежние произведения («Глушь. Провинциальные и столичные очерки». Спб. 1875), писатель подвергает их тщательной правке, добиваясь большей

выразительности созданных образов, большей ясности и четкости языковых характеристик.

Важнейшим результатом идейных и художественных исканий Успенского в 1870-е годы является все более широкое обращение его к изучению крестьянской жизни. Крестьянская тема уже в конце 1870-х годов становится центральной темой его творчества.

III

Крестьянский вопрос в пореформенной России был центральным вопросом общественной и политической жизни, центральным вопросом он был и в литературе. В 1870-х годах, в связи с подъемом русского освободительного движения, приведшим к революционной ситуации 1879—1880-х годов, внимание к положению крестьянства особенно обострилось. Успенский как писатель, чутко относившийся к запросам своего времени, не мог пройти мимо коренного вопроса эпохи.

О переходе к новому этапу в своей жизни и творчестве он рассказывал в «Автобиографии»: «Затем подлинная правда жизни повлекла меня к *источнику*, т. е. к мужику». «Влечение к источнику» явственно проступало и в произведениях Успенского 70-х годов, об этом он говорит и в письмах того времени. «Мне необходимо, — пишет Успенский из Парижа 8 июня 1875 года, — июнь, июль и август провести в России, в деревне. Это для меня необходимо, как воздух... Я теперь ищу случая облечь мои мысли в плоть и кровь, — мне нужно видеть, жить среди самой настоящей русской народной жизни».

Не сразу жизненные обстоятельства позволили Успенскому осуществить свое стремление. Лишь весной 1877 года он поселяется в с. Сопки Валдайского уезда Новгородской губернии и живет здесь все лето. Брат писателя И. И. Успенский рассказывает в своих воспоминаниях об этом периоде: «Дача Глеба Ивановича в Сопках представляла собою большой дом в стороне от помещичьей усадьбы, где доживали владельцы остатков когда-то обширного имения. Они не показывались, и мы их не видели... Жизнь в Сопках была тихая, мирная, хотя в это время шла война с Турцией, и мимо нас на телегах из Валдая часто провозили призванных на войну. Все деревенские события этого времени нашли отражение в рассказах Глеба Ивановича «Слепое Литвино» и др.» (имеется в виду часть очерков «Из деревенского дневника»).

Весною следующего, 1878 года Успенский поселяется в другой части России — в с. Сколково Самарской губернии. Пребывание

в самарской деревне связано было и с некоторыми практическими задачами общественного движения того времени. Жена писателя ведет здесь занятия в крестьянской школе, сам Успенский служит делопроизводителем в ссудо-сберегательном товариществе. Работа в деревне в качестве волостных и сельских писарей, счетных работников, учителей, фельдшеров и т. д. была типичной в народнической практике. Успенские в качестве практических деятелей, пришедших «в народ», не имели успеха: школа вскоре была властями закрыта, а на писателя последовали доносы кулаков. В 1879 году Успенский уезжает из Самарской губернии. Но пребывание писателя в Новгородской и Самарской губерниях дало другой важный результат: на основе пристальных наблюдений над жизнью деревни явился первый большой цикл крестьянских очерков, получивших название «Из деревенского дневника» (1877—1880).

Написанные на основе большого фактического материала, очерки Успенского давали обобщающую картину жизни пореформенной русской деревни. Картины крестьянской жизни, нарисованные Успенским, раскрывали всю иллюзорность утверждений народников о незыблемости сельской общины, об «искусственности» проникавших в деревню товарно-денежных отношений и связанного с этим расслоения крестьянства. На примере жизни новгородского крестьянина Успенский показывал, насколько острой стала в пореформенной деревне нужда в деньгах, насколько безудержной становится жажда наживы у отдельных преуспевающих крестьян (образ Михаила Петрова и его жены), насколько, напротив, безрезультатны попытки «рядового» крестьянина выбиться из нужды (образ Ивана Афанасьева).

Анализ разложения крестьянской общины с особой убедительностью дается на материале наблюдений в самарской деревне, где расслоение крестьянства к концу 1870-х годов достигло уже высокой степени. На конкретных образах крестьян Успенский показывает, что внутри общины господствует индивидуализм собственников, община раскалывается и не помогает тем, кто разоряется, «ослаб», бьется из последних сил. «Общественные порядки, — заявляет писатель от имени крестьянина-общинника, — могут меня разорить, но уж помочь мне стать на ноги, — нет, не помогут».

Особенностью воспроизведения действительности в очерках «Из деревенского дневника» является то, что главной задачей здесь ставится нарисовать не столько личные судьбы и характеры отдельных крестьян, сколько *общую* картину современной деревни. Но Успенский вместе с тем создает в очерках и яркие типические зарисовки представителей отдельных социальных групп крестьян-

ства: кулака Клейна, крестьянина-труженика Ивана Афанасьева, фигуры деревенских пролетариев в описании самарской деревни, большой впечатляющей силы образ Федюши-конокрада. Характерной особенностью манеры писателя здесь, как и в других произведениях 1870-х годов, является органическое сочетание живых образов с публицистическими рассуждениями. Тесно связаны с этим и такие особенности очерков, как их документальность, отражение в художественных деталях злободневных и конкретных явлений. Большое значение в построении очерков, в композиции циклов имеют образы рассказчиков, в том числе и авторское «я», от имени которого в основном идет все повествование.

Очерки «Из деревенского дневника» явились выдающимся событием в литературно-общественной жизни конца 70-х годов и вызвали многочисленные отклики критиков. Органы печати, стремившиеся выразить мнение широкого демократического читателя, отмечали большую идейную и художественную силу новых произведений Успенского. «По глубине мысли, — говорилось в одном из отзывов, — по силе чувства и таланту изображения он ставится в них смело в ряды первоклассных наших писателей, а по жизненности темы и направления он становится во главе современной литературы». О значении очерков говорилось, что они указывают «литературе новые плодотворные пути, такие задачи, для работы над которыми найдется дело для целого литературного поколения». Было очевидно, что очерки Успенского ответили назревшей потребности общества знать правду о деревне, о мужике, ту правду, к которой призывал в свое время писателей Н. Г. Чернышевский в статье «Не начало ли перемены?». Однако не все общественные круги были довольны очерками Успенского. С ожесточением нападали на Успенского представители народнической критики (особенно выступавшие на страницах органа либерального народничества «Неделя»), смыкаясь в своих нападках с отзывами реакционной прессы. Народники были недовольны теми картинами русской действительности, которые опровергали их утверждения о современной общине, о национальной исключительности развития России, отсутствии пролетариата и т. д. Отношение самого Успенского к народнической критике ярко выражено в его словах об известной революционерке-народнице В. Н. Фигнер, также упрекавшей писателя за слишком якобы мрачное изображение деревни: «Она требует: подай ей мужика, но мужика шоколадного».

Отмечая общую антинародническую направленность очерков «Из деревенского дневника», следует указать, что и самому Успенскому неясны были пути разрешения тех социальных противоречий,

от которых страдали трудовые массы деревни. В очерках наметилась та идеализация земледельческого труда и типа крестьянина-земледельца (образ Ивана Афанасьева), которая будет особенно очевидной в последующих крестьянских очерках.

Центральными циклами крестьянских очерков Успенского начала 1880-х годов являются «Крестьянин и крестьянский труд» и «Власть земли», тесно с ними связан и примыкает к ним ряд других очерков тех же лет («Непорванные связи», «Малые ребята», «Равнение „под одно“», «Без определенных занятий» и др.).

Огромный фактический материал для всех этих очерков дало Успенскому длительное пребывание в Новгородской губернии. Весной 1880 года он поселяется на мызе Лядно (около ст. Чудово, тогда Николаевской ж. д.), принадлежавшей приятелю Успенского А. В. Каменскому. Осенью 1881 года семья Успенских снимает участок земли с домом в д. Сябринцы (также около ст. Чудово), а затем и приобретает его. Деревня Сябринцы стала основным местом пребывания Успенского до конца его творческой жизни. В общении с крестьянами этой и окружных деревень расширяются и углубляются знания писателя о современной ему деревне.

Особенность положения крестьян в избранном Успенским для наблюдений районе состояла в том, что крестьянское хозяйство здесь носило отчетливо выраженный товарный характер, что развитие этого хозяйства было в значительной степени обусловлено потребностями близлежащих столичного и губернского рынков. Характерно, что Успенский не отвернулся от деревни, «испорченной», по мнению народников, городской капиталистической «цивилизацией». Успенский берется за изучение того же крестьянина, которого сто лет назад изучал Радищев — на пути из Петербурга в Москву. Что выбор Успенского был вполне сознательным и преднамеренным, доказывают следующие слова в очерке «Подгородный мужик» (цикл «Непорванные связи»): «*Таких* крестьян, как те, о которых идет речь, многие, изучающие народную жизнь, значительно недолюбливают... Таких крестьян, как известно, совсем не считают даже крестьянами: «Какие это крестьяне, помилуйте! Тут все перепорчено городом, тут кадрили, пиньжаки!» Совершенно очевидна антинародническая направленность этих строк. Отмечая обобщающий характер наблюдений, сделанных в Новгородской губернии, Успенский писал там же: «Да наконец, не та ли же участь рано или поздно ждет самый дальний российский угол и то, что уже получилось в здешних местах?.. Не Питер, так какой-нибудь Тихвин будет рассадником той же самой цивилизации, какою наделяет наши места столица.

Питер для здешних мест ведь только рынок, да и не Питер даже, а Сенная. Сенная же, хоть и маленькая, везде есть; а если нет, то будет везде, где дорога сделает новый рынок».

В обстановке революционной ситуации 1879—1880 годов значение творчества Успенского, продолжавшего углубленное изображение современной русской деревни, особенно возросло. «По моему, — говорил Салтыков-Щедрин в 1881 году об Успенском, — это самый для нас необходимый писатель».

В циклах «Крестьянин и крестьянский труд», «Власть земли» и примыкающих к ним очерках Успенский углубляет общую социальную характеристику деревни в условиях развивающегося капитализма, данную в очерках «Из деревенского дневника».

Успенский рисует картины дальнейшей дифференциации деревни, роста кулачества и вместе с тем растущей нищеты крестьянских масс. В очерке «Равнение „под одно"» писатель указывал, что кулак «есть результат общего расстройства деревенского организма, он есть цвет, корень которого в земле, в глубине всей совокупности условий народной жизни». Изображение кулачества как органического порождения самой деревенской действительности является совершенно отличным от народнических представлений о кулаке как явлении внешнем и искусственном, которые господствовали в произведениях писателей-народников (Наумова, Засодимского, Златовратского и др.).

Глубоко критическая по отношению к народничеству позиция Успенского, выраженная в очерке «Равнение „под одно"» и в других произведениях этой поры, была впоследствии отмечена В. И. Лениным. В работе «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» он приводит в собственном переводе известную цитату из книги И. А. Гурвича «Экономическое положение русской деревни» (впервые книга появилась на английском языке): «Народник 70-х годов — очень метко говорит Гурвич — не имел никакого представления о классовом антагонизме внутри самого крестьянства, ограничивая этот антагонизм исключительно отношениями между «эксплуататором» — кулаком или мироедом — и его жертвой, крестьянином, пропитанным коммунистическим духом. Глеб Успенский одиноко стоял со своим скептицизмом, отвечая иронической улыбкой на общую иллюзию. Со своим превосходным знанием крестьянства и со своим громадным артистическим талантом, проникавшим до самой сути явлений, он не мог не видеть, что индивидуализм сделался основой экономических отношений не только между ростовщиком и должни-

ком, но между крестьянами вообще. См. его статью «Равнение под одно» в «Русской Мысли» 1882 г., № 1».[1]

Индивидуализм крестьянина, его фанатизм собственника ярко показаны во многих очерках Успенского. Характерно, что и состоятельный крестьянин Иван Ермолаевич («Крестьянин и крестьянский труд») и горький бедняк Иван Босых («Власть земли») высказываются против коллективной, общинной обработки земли, за которую ратовали народники.

Как закономерное проявление социальной дифференциации деревни, Успенский показывает и классовую борьбу, нарастание социального протеста разоряемых крестьянских масс.

Объяснение мировоззрения крестьянина и уклада всей его жизни условиями материального существования явилось несомненной заслугой Успенского, художника и мыслителя. Это усилило реалистическую убедительность нарисованных им картин и образов из народной жизни, позволило писателю найти для ее характеристики такие детали, которые не замечались многими другими бытописателями деревни.

Большой заслугой писателя была постановка темы труда, его значения для народа и общества в целом. Все более отчетливое понимание роли народных масс в жизни общества закономерно подводило писателя к признанию труда определяющим фактором в оценке человека, в определении его права на место в жизни, на ее блага. «Не сегодня, так завтра, — писал Успенский в очерках «Из деревенского дневника», — «труд» и только один он и будет раздавать большие и малые порции». Особенность постановки темы труда в крестьянских очерках Успенского начала 80-х годов состоит в том, что писатель, все глубже постигая суть народного миросозерцания, пришел к осознанию роли труда не только как тяжелой необходимости, как условия материального существования, но и как внутренней потребности человека, как фактора, обеспечивающего полноту нравственного, духовного бытия человека. «Для меня стало совершенно ясным, — говорится в очерках «Крестьянин и крестьянский труд», — что творчество в земледельческом труде, поэзия его, его многосторонность составляют для громадного большинства нашего крестьянства жизненный интерес, источник работы мысли, источник взглядов на все окружающее его, источник едва ли не всех его отношений, частных и общественных».

Но, правильно отмечая влияние земледельческого труда на быт и миросозерцание крестьянина-земледельца, Успенский допустил преувеличения и впал в явное противоречие с действитель-

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 1, стр. 237—238.

ностью. Во «Власти земли» он рассматривал факторы, связанные с природными условиями земледельческого труда, игнорируя или недостаточно учитывая сложные социально-исторические обстоятельства. Успенский склонен идеализировать тип крестьянина-земледельца, его труд, его связь с землей и сурово обрушивается на все те «новшества», которые разрывают эту связь, разоряют крестьянина и гонят его из деревни в город. Анализируя «власть земли», привязанность крестьянина к земле, Успенский не понимает, что сама эта «привязанность», прикрепленность исторически создавалась насильственной властью помещика в условиях крепостного права. Вот почему В. И. Ленин, употребляя не раз в своих трудах выражение «власть земли», неизменно эту «власть земли» называет «крепостнической».[1] Очевидно, что нельзя было восстановить «власть земли», о чем иногда по-народнически мечтал Успенский (хотя сам же показывал всю несостоятельность этой мечты), как немыслимо было восстановить крепостнические отношения (против которых со всей страстью выступал и Успенский).

В идеализации крестьянского земледельческого производства, возвеличении типа крестьянина-земледельца, в неприязни и безоговорочной критике по адресу капитализма, безвозвратно разрушавшего патриархальный уклад деревни, несомненно сказалось известное идейное сближение Успенского начала 1880-х годов с положениями народничества, с теоретическими суждениями Михайловского, с идеализацией патриархального крестьянина у Л. Толстого. Здесь, несомненно, выразились и взгляды самих разоряемых крестьянских масс, тяжело переживавших крутую ломку старых «устоев» деревенской жизни, протестовавших против этой ломки и в массе своей не понимавших истинных причин своего разорения.

Отмечая противоречивость теоретических суждений Успенского, следует, однако, иметь в виду, что он никогда не останавливался на достигнутых результатах, а найденные решения вопросов были для него лишь ступенью в дальнейших поисках. В этих поисках Успенский неизменно обращался к практике самой жизни, которой он доверял больше всего. Это определило правдивость, демократизм и подлинную народность его очерков. Писатель с полным основанием заявлял: «Обратите внимание на «Власть земли» — сила заключается в народе».

«Крестьянин и крестьянский труд», «Власть земли» были выдающимися достижениями писателя в художественном отношении. Именно здесь Успенский с наибольшей полнотой проявил себя как

---

[1] См. В. И. Ленин. Сочинения, т. 1, стр. 302; т. 15, стр. 57.

один из непревзойденных мастеров очерковых циклов, объединяемых центральными образами, общим осмыслением картин русской действительности.

Многочисленные отзывы критики на очерки Успенского, особенно на «Власть земли», показали выдающееся общественное значение этих произведений, хотя их конкретный социально-исторический смысл и художественное мастерство писателя так и остались не раскрытыми критиками народнического, буржуазно-либерального и открыто реакционного лагерей.

Народник Михайловский, оценивавший творчество Успенского с абстрактно-идеалистических позиций, все идейные искания писателя-демократа объяснял не стремлением его к коренному изменению жизни трудовых масс, а поисками личной «гармонии», душевного «равновесия». В теоретическом плане «власть земли», по Михайловскому, оказывается, и есть та «гармония», поисками которой всю жизнь занимался Успенский.

Различными — от похвал до огульного осуждения — были отзывы о «Власти земли» и примыкающих к этому произведению очерках на страницах либеральной прессы (журнал «Вестник Европы», газета «Новости» и др.).

Художественную и познавательную силу крестьянских очерков Успенского ценил Салтыков-Щедрин, хотя и критиковал не раз писателя за его отдельные народнические иллюзии, за его противоречивость. Художественную образность новых очерков Успенского отмечал Тургенев. «С особенным удовольствием, — писал он Успенскому, — прочел я ваши этюды в «Отечественных записках»: они прекрасны, а «Мальчик, который не желает учиться» (имеется в виду очерк «Мишка» в цикле «Крестьянин и крестьянский труд». — *В. Д., Н. С.)* — в своем роде маленький chef d'oeuvre. Тут не одно знание деревенского быта, которым вы всегда обладали, — но проникновение в самую его глубь — художественное схватывание черт и типов». На большую познавательную ценность очерков «Власть земли» указывал А. М. Горький.

IV

Во второй половине 1880-х годов в творчестве Успенского начинают все большее место занимать вопросы, связанные с развитием в России капитализма. Эта эволюция творческого пути писателя находится в полном соответствии с процессами, происходившими в самой исторической действительности. В. И. Ленин об этой эпохе

русской жизни писал, пользуясь характерными формулами Успенского: «Убывает власть земли, растет власть денег».[1]

Уже в крестьянских очерках Успенского конца 1870-х — начала 1880-х годов ясно определилось глубокое недовольство писателя развивающимся капитализмом, проникновением его в деревню, ростом социальной дифференциации крестьянства, разрушением «власти земли». Русская жизнь являла все новые и новые неотразимые факты торжества буржуазных порядков. Успенский не закрывал глаза на действительность, не прятался от нее, наоборот, он стремился как можно глубже понять ее и найти пути для разрешения вскрытых противоречий.

Личная жизнь писателя в 1880-е годы и вплоть до последних дней творчества была наполнена неустанным изучением новых явлений действительности, страстными поисками путей улучшения жизни народных масс, непрерывным горением творческого ума и сердца во имя возложенной на себя задачи: быть выразителем народных интересов.

Выполнение этой огромной задачи осложнялось тем, что восьмидесятые годы были в русской общественной жизни годами все возраставшей политической и общественной реакции, роста цензурного гнета, полицейских преследований. В 1884 году царское правительство закрыло журнал «Отечественные записки». Для Успенского это было особенно тяжелым ударом: все крупнейшие произведения писателя 1870-х и начала 1880-х годов печатались в «Отечественных записках», в журнале он встречал неизменную поддержку Салтыкова-Щедрина. С закрытием журнала для Успенского, как и для великого сатирика, встал вопрос о новом литературном пристанище. Приходилось идти на сотрудничество в органах, идейная ориентация которых отнюдь не удовлетворяла писателей революционной демократии. Так для Успенского началась пора работы в таких либерально-народнических и буржуазных органах, как журналы «Русская мысль» и «Северный вестник», газеты «Русские ведомости», «Неделя» и др. Писателю при публикации его произведений приходилось страдать не только от притязаний чиновников цензурного ведомства, но и от требований различных редакторов. В 1888 году, указывая на засилье цензурных и иных властей, Успенский писал о русской литературе: «Она убита в самых лучших своих стремлениях и приведена к тому, что писатель, садясь за работу, думает о том, чтобы не написать так, как он думает». Приходилось Успенскому сталкиваться и с непосредственными полицейскими пре-

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 57.

следованиями, доносами, слежкой. Обстановка доносительства, полицейского сыска, столь характерная для 1880-х годов, не раз изображалась Щедриным и затем Чеховым. Отражена она и в ряде произведений Успенского. В очерке «Подозреваемые» (цикл «Бог грехам терпит») он гневно писал: «Донос!.. Вот единственный протоненный путь для выражения всех государственных и общественных стремлений, вот модный, общедоступный, популярный способ, единственный даже для предъявления хороших побуждений».

Наряду с тяжелой общественно-литературной обстановкой, в которой протекало творчество Успенского в восьмидесятые годы, следует отметить и материальную нужду писателя, жившего исключительно литературным трудом. Письма Успенского 1880-х годов наполнены непрерывными хлопотами о деньгах, ссудах, о погашении долгов и одновременно горькими сетованиями на материальную зависимость от различных литературных и нелитературных дельцов. Во второй половине 1880-х годов усиливается болезнь писателя. Уже в 1883 году в письмах Успенского появляются жалобы на недомогание, утомление и т. д., затем упоминаний о болезни становится все больше, пока тяжелый душевный недуг не оборвет его творческую работу.

Таковы исключительно сложные личные и общественные обстоятельства, в которых протекала деятельность Успенского в 1880-е годы, и можно лишь поражаться той огромной творческой активности, которую проявлял писатель в этот период.

В 1883—1886 годах выходит первое восьмитомное Собрание сочинений Успенского. Это был отчет художника почти за 25 лет литературной деятельности. Работа Успенского над Собранием сочинений — образец глубоко творческого, взыскательного отношения большого художника к своим произведениям. Издание Собрания сочинений писателя-демократа было с одобрением встречено широкими прогрессивными кругами читателей, в том числе читателями из народа. Когда в 1887 году общественность тепло отметила 25-летие литературной деятельности Успенского, писатель был особенно тронут коллективным письмом к нему тифлисских рабочих. В письме в Общество любителей российской словесности писатель справедливо отмечал этот факт как «радостное указание» на «массы нового, грядущего читателя, нового, свежего «любителя словесности».

Начиная с 1883 года, Успенский предпринимает серию поездок по России и частью за пределы ее с целью изучения новых явлений действительности. Произведения писателя последующих лет являлись результатом пристальных наблюдений и глубоких раздумий

художника-реалиста над фактами и событиями, связанными с развитием капитализма в России. Одним из ярких художественных обобщений, созданных Успенским в 80-е годы, является собирательный образ «господина Купона» как воплощения черт капиталистической цивилизации, все более победно шествовавшей по России.

Слово «купон», служившее обозначением платежного средства, стало в творчестве Успенского образной формулой буржуазных общественных отношений. В 1882 году в очерке «С человеком — тихо!» («Бог грехам терпит») Успенский с метким сарказмом характеризует колониальную политику капиталистов: «Прежде всякая драка начиналась непременно во имя какого-нибудь высшего интереса, высшей цели... Ничего этого нет в данном случае... В Англии вздорожали «съестные припасы»... нужны деньги, феллах не платит; и вот английские купцы посылают флот с пушками и начинают выбивать недоимку из мужиков Египетской губернии. Заряжают пушки, палят — палят день, два — и посылают парламентера, у которого на знамени написано: «Отдай апрельский *купон* в два с полтиной!..», «Отдай *купон*, не то убью»; а что касается там какого-то твоего «личного» счастья, какого-то национального достоинства, каких-то семейных и общественных обязанностей, каких-то умственных и нравственных недоумений, жизненных задач — наплевать!» (Подчеркнуто нами. — *В. Д., Н. С.*). «Война за купон» — вот смысл колониальной политики капитализма. Купонные интересы, по наблюдению Успенского, все более господствуют и в русской пореформенной действительности.

В 1883 году Успенский предпринимает поездку на Кавказ. Творческим результатом этой поездки явились его очерки «Путевые заметки» (в Собрании сочинений эти произведения Успенский включил в циклы «Очерки переходного времени» и «Скучающая публика»), главное содержание которых — проникновение иностранного и русского капитала на нефтепромыслы Кавказа. Впоследствии В. И. Ленин на страницах своего труда «Развитие капитализма в России» приводил картины из очерка «На Кавказе» как яркую иллюстрацию проникновения капиталистических отношений на окраины России.

Выражения «господин Купон», «купонный порядок» затем заняли прочное место в очерках Успенского второй половины 1880-х годов. Так, один из очерков цикла «Грехи тяжкие» имел подзаголовок: «Пришествие господина Купона». Изображая повсеместное торжество капиталистического уклада, Успенский писал: «Человек, живущий на экваторе или на полюсе, русский ли мужик или индеец, китаец, папуас, араб, туркмен — все это человеческие разновидности, и осо-

бенности их самобытной духовной жизни ничего не значат для грозного порядка, который идет на всех с одинаковым желанием переломать весь строй этой разнообразнейшей самобытности на свой однообразный и бездушный образец... Это идет капитализм, меркантилизм или просто-напросто «господин Купон».

Большой сатирической силы в критике «купонного», буржуазного общества, его продажности, бесчеловечности, враждебности подлинному искусству Успенский достиг в рассказе «Не все коту масленица» (1888).

Характеристике «купонного», капиталистического строя посвящены все главнейшие произведения Успенского второй половины 1880-х годов. С целью изучения новых явлений действительности писатель предпринимает ряд поездок по России: на юг, по Волге, в Сибирь. Одновременно с этим Успенский продолжает все детальнее знакомиться с крестьянской жизнью и в новгородской деревне, где он по преимуществу проживал в эти годы. Результатом этих поездок явились такие замечательные циклы его очерков, как «Письма с дороги», «Кой-про-что», отдельные очерки: «Буржуй», «Заячье направление» и др. Центральным произведением Успенского второй половины 1880-х годов явились его очерки «Живые цифры» (1888).

Документальное в своей основе очерковое творчество Успенского основано не только на личных наблюдениях писателя, оно вырастало одновременно и на основании изучения писателем самых различных источников, характеризовавших эпоху. В его очерках часто встретишь цитаты из канцелярских документов, из периодической печати, из книг. Важными документами, которыми он пользовался, были статистические работы, цифровые данные, характеризующие положение народных масс. Особенностью использования документа у Успенского является введение документальных данных не только в публицистические рассуждения, но и в образные картины действительности; документ под пером писателя становился «живым». «Живыми» в творчестве Успенского становились и «цифры».

Идейная и художественная проблематика «Живых цифр» подготовлялась всем предшествующим творчеством Успенского, особенно его очерками из крестьянской жизни. Вопросы семейных отношений, роли женщины в крестьянской семье, занимающие столь важное место в «Живых цифрах», освещались в таких очерках, как «Наша баба» (1886), «Строй народной жизни» (1887), «Не быль, да и не сказка» и др. Тема воспитания детей, лишенных родителей, занимала Успенского с 1870-х годов («Из деревенского дневника»). Мотивы рассказа «Квитанция» находим еще в рассказе 1882 года «Не случись». Подготовлено предыдущим творчеством

писателя и его глубокое проникновение в содержание данных статистики о русской, особенно деревенской жизни. Следует отметить, что интерес Успенского к статистике связан с развитием статистической науки во второй половине XIX века. Обращение к цифрам у Успенского мы находим почти во всех его крестьянских очерках. Герой очерков «Волей-неволей» говорит о цифровых данных, характеризующих народную жизнь: ...эта боль, спрессованная в маленькую цифру... мне понятна; она, потрясая мой ум, развивает тот зародыш жалости, который уже есть во мне, к пониманию общих, всечеловеческих бед, гонит к ним, обязывает сосредоточивать внимание только на них».

Очерки, подготовлявшие цикл «Живые цифры», а также произведения, последовавшие за циклом, в своей совокупности характеризуют существенную особенность всех больших произведений Успенского: они обрастали целым рядом других очерков, рассказов, статей, в которых подготовлялись или дописывались образы центрального цикла.

Идейная сущность «Живых цифр» сформулирована Успенским в письме, предшествовавшем началу работы над очерками: «Подобно *власти земли,* — то есть условий трудовой народной жизни, ее зла и благообразия, мне теперь хочется до страсти писать ряд очерков «Власть капитала»... Если «Власть капитала» — название не подойдет, то я назову *«Очерки влияния капитала»*. Влияния эти определенны, неотразимы, ощущаются в жизни неминуемыми явлениями. Теперь эти явления изображаются цифрами — у меня ж будут цифры и дроби превращены в людей».

«Влияние капитала», как это раскрывает в своих очерках Успенский, заключается в том, что в деревне «власть денег» все более разоряет трудовое крестьянство. В очерке «Четверть лошади» Успенский показывает, что сам земледельческий труд, в котором писатель хотел видеть основу идеального «народного строя» жизни, каторжно тяжел, изматывает человеческие силы и душу и не может быть источником человеческой радости.

В этом же очерке Успенский запечатлел и такие существенные черты крестьянского мировоззрения, как консерватизм, рабская привязанность к своему земельному наделу, хозяйству, непонимание коренных причин своего тяжелого положения. В этом отношении образы Авдея и его жены глубоко типичны. Говоря о крестьянской общине, которую все еще не переставали воспевать народники, Успенский в своих очерках показывает, как действительность восьмидесятых годов подтверждала его наблюдения предшествующих лет о разложении общины, ее превращении в мертвое, а потому не только

бесплодное, но и вредное общественное учреждение. Свой окончательный приговор общине Успенский вынес, создав в высшей степени многозначительный образ «воздушного» мужичка в очерке «Ноль — целых!». В годы борьбы марксизма с народничеством Г. В. Плеханов не раз использовал материал этого очерка для разоблачения народнической лжи о крестьянской общине.

В «Живых цифрах» Успенский рисует, как «купонный» порядок тягостен для рабочих, как он не обеспечивает мало-мальски сносных жизненных условий, лишая рабочего возможности быть человеком, превращая его в «дробь».

«Купонные отношения» отражаются и на положении женщины и ребенка. Рассказ «Квитанция» повествует о женщине-труженице, лишенной возможности быть матерью, воспитывать своих детей. Общество, в котором женщине недоступна радость материнства, нельзя считать нормальным и разумным, говорит своим очерком Успенский.

В очерках «Живые цифры», таким образом, Успенский с новой силой и остротой подверг критике основы капиталистического строя.

Но в критике Успенского сказывалась и историческая ограниченность его воззрений на капитализм. Основной недостаток этой критики состоял в том, что представления Успенского об относительной исторической прогрессивности капитализма в развитии общества были крайне противоречивы. Писатель не понимал исторической роли рабочего класса. Успенский порой склонен был закрывать глаза на факты развития капитализма из недр самого крестьянского хозяйства и противопоставляет его развитым формам капитализма. Так, например, обстоит дело в «Дополнении к рассказу „Квитанция"».

Но ценность очерков «Живые цифры» определялась, конечно, не этими заблуждениями писателя, не смогшего правильно, до конца определить исторические закономерности развития действительности. Ценность их — в глубокой жизненной правдивости, в обобщенности образов, в страстном стремлении писателя найти путь к облегчению участи трудового народа. Сами заблуждения Успенского, явившиеся результатом тревожных и мучительных раздумий художника над противоречиями действительности, отразили думы и настроения широких народных масс.

«Живые цифры» — этапное произведение Успенского и в художественном отношении. «Я расскажу процесс моего мышления, — заявляет писатель, — без всякой утайки». Эти слова из рассказа «Квитанция» можно считать ключом для понимания особенностей творческого метода Успенского, нашедшего яркое воплощение в новом цикле. В очерках читатель становится как бы соучастником идейных исканий писателя, его «изучений» действительности, его пе-

реживаний, и этим достигается страстная, волнующая сила повествования, которая столь свойственна произведениям Успенского. О впечатлении от чтения «Живых цифр» В. Г. Короленко писал: «Помню, что одного из этих рассказов («Квитанция») я уже не мог дочитать громко до конца: это был сплошной вопль лучшей человеческой души, вконец истерзанной чужими страданиями и неправдой жизни, в которой она-то менее всех была повинна». Как «вопль лучшей человеческой души» воспринимали творчество Успенского самые широкие круги демократических читателей.

Хотя цикл «Живые цифры» из-за вмешательства цензуры не был завершен Успенским, но и в сложившемся виде он представляет одно из высших достижений писателя.

К тому же 1888 году, когда появились очерки «Живые цифры», относится замечательный документ идейных поисков Успенского — его статья «Горький упрек», написанная в связи с публикацией письма К. Маркса в редакцию «Отечественных записок». Статья не была пропущена царской цензурой и стала известна в полном виде лишь в советское время. Письмо К. Маркса, посвященное критике истолкования «Капитала» народником Михайловским, ответило на многие сокровенные раздумья Успенского о судьбах России в связи с развитием капитализма. Относясь с глубоким уважением и вниманием к суждениям Маркса, Успенский не смог понять всей революционной сущности марксизма, но примечательно, что письмо Маркса еще более укрепило Успенского в его критическом отношении к народничеству.

К 1888 году относится длительная поездка Успенского в Сибирь, предпринятая писателем несмотря на все ухудшавшееся состояние здоровья. Поездка отразила давние стремления неустанного исследователя народной жизни познакомиться с таким характерным социальным явлением пореформенной действительности, как переселенческое движение. Результатом поездки в Сибирь, а также поездки 1889 года на места переселений — в Уфимскую и Оренбургскую губернии, явился цикл очерков, получивших затем название «Поездки к переселенцам». Успенский в одной из статей так разъясняет задачу своих поездок к переселенцам: «Цель поездки была самая простая. Всевозможные расстройства нашего крестьянства... привели его к желанию идти на новые места. Надобно видеть, как он совершает это дело, чтоб рассказать о нем русским читателям, которые не знают — куда он уходит? Как идет, куда приходит и как там живет?.. Человеку нужна земля, чтобы жить. Что ему кем бы то ни было сделано в облегчение этого дела?» Ответом на эти вопросы и явились очерки Успенского. Писатель по-

казал, насколько неорганизованным было переселенческое дело, какие огромные бедствия терпели переселенцы и в пути и на новых местах, разоблачил правительственную ложь о «помощи» переселенцам со стороны царских чиновников. Не могла здесь изменить положение и земская благотворительность. В статье «Земство и переселенческий вопрос» (1891) Успенский писал: «Органический недуг сельского населения России — малоземелье — не может быть разрешен большой или малой «лептою»... для исцеления недуга малоземелья требуется коренное изменение землевладения крестьянского населения». К вопросам переселенческого движения Успенский не переставал возвращаться до конца творческого пути.

Тяжелые переживания доставил Успенскому голод 1891—1892 годов, разразившийся в Поволжье. Вместе с другими русскими писателями — Л. Н. Толстым, В. Г. Короленко, А. П. Чеховым — Успенский выступает с произведениями («Бесхлебье», «Пособники народного разоренья» и др.), в которых правдиво рисуются картины народного бедствия, разоблачается правительственная политика обмана общественного мнения, раскрывается неспособность либерального земства оказать серьезную, действенную помощь народу.

Между тем давняя болезнь все более подтачивала силы писателя. Картины народных бедствий, которыми он продолжал жить и волноваться, усугубляли его болезненное состояние. «Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, и целые годы, и целые десятки лет, каждое мгновение остановившаяся в своем течении жизнь била по тем же самым ранам и язвам, какие давно уже наложила та же жизнь на мысль и сердце», — писал Успенский о своем безвременно погибшем современнике — Гаршине. С не меньшим правом мог бы он сказать это и о себе самом. Результаты литературной деятельности в последние годы перестают его удовлетворять. «Все, что писалось с 1888 года, писалось в ужаснейших условиях, в душевном расстройстве, не предвещающем ничего, кроме гибели», — с горечью заявляет он в письме от 19 февраля 1891 года.

1-го июля 1892 г. Успенский был помещен в психиатрическую лечебницу, сначала в Петербурге, а затем на долгое время переведен в Колмовскую больницу недалеко от Новгорода. Временами состояние писателя улучшалось, воскресали надежды на творчество, но болезнь осилила. Последним произведением, напечатанным при жизни писателя, был рассказ «Подкидыш», появившийся в журнале «Русское богатство» в 1893 году, но написан он был еще в 1889 году. Для Успенского потянулись долгие годы мучительной болезни. Последние два года жизни он провел в Новознаменской больнице около Петербурга. Скончался Г. И. Успенский 24 марта 1902 года.

Десять лет пребывания Успенского в лечебнице, прекращение им литературной деятельности за 10 лет до смерти не изгладили в памяти читателей облик любимого писателя, не охладили любви к его творчеству. В похоронной процессии участвовало множество людей. Друг семьи Успенских, В. В. Тимофеева, в мемуарах своих рассказывает: «Церковь, улицы, кладбище — все было полно. И какая странная, как будто на подбор, стекавшаяся толпа!.. Нервные, одухотворенные, но болезненно усталые или угрюмо ожесточенные лица, — изможденные, бледные и как-то царственно горделивые... Одеты все одинаково: в черном и темном, простом, без притязаний на моду и без заботы о том, как и во что одет. Разговор тоже как будто странный: воспоминания о Сибири, тайге и тюрьме... Толпа каких-то разночинцев — из «благородных голодных», как тот, которого хоронили, без чинов и титулов, но с отметкой полиции «неблагонадежный», «административно сосланный», «помилованный»... преступник в прошедшем и, может быть, снова в будущем... неузнанный беглый, бесстрашно явившийся отдать последний долг «печальнику горя народного» под угрозой поимки и задержания, — вот из кого, главным образом, состояла эта многотысячная толпа!»

В связи со смертью Успенского на страницах буржуазно-либеральной печати появилось немало откликов — заметок, статей, некрологов, посвященных памяти выдающегося писателя-демократа. Эти отклики содержат большое количество любвеобильных восхвалений умершего писателя, различного рода определений таких, как «любящий страдалец», «алчущий правды», «бытописатель переходного времени», «народник-реалист», чаще всего — «писатель-народник». Все эти громкие фразы продиктованы стремлением либеральной печати, во-первых, подделаться, ради популярности, под настроения широких читательских масс, действительно дороживших памятью писателя, во-вторых, либеральная пресса своими оценками стремилась извратить облик писателя, истолковать его творчество в угодном себе духе. Нечего и говорить, что эти оценки не имели ничего общего с действительным обликом писателя, с его демократическим творчеством.

Подлинный итог его творческому и жизненному пути подвела ленинская «Искра» в том же 1902 году. В редакционной статье «По поводу смерти Г. И. Успенского» говорилось: «Г. И. Успенский неизмеримо больше всех легальных писателей 70-х и 80-х годов оказал влияние на ход нашего революционного движения. Его деревенские очерки конца 70-х годов, совпадая с личными впечатлениями ходивших в народ революционеров, содействовали крушению первоначального анархически-бунтарского народничества. Еще большее значение имели некоторые из его произведений 80-х годов, в ко-

торых мыслитель, сливаясь с художником, на нескольких страницах, иногда в нескольких строках намечал самые глубокие выводы, сообщая им непосредственную убедительность художественного наблюдения действительности. Первым русским марксистам-революционерам, т. е. марксистам, для которых марксизм был не только научной теорией, а теоретической основой практической программы, эти очерки Г. Успенского помогали конкретно выяснять и себе и другим свою историческую теорию». Дав эту высокую оценку творчеству Успенского, ленинская «Искра» вместе с тем отмечала в его мировоззрении то, что связывало писателя с народничеством: «Сам Г Успенский был и остался народником в том смысле, что для него не было типа человека лучше, желаннее крестьянина, живущего при натуральном хозяйстве, но глубоко правдивый художник и мыслитель, он вечно показывал нам всю невозможность революционной программы, приуроченной к этому типу, и в то же время, как нельзя яснее, показывал также и безнадежность мечтаний о сохранении как любимого типа, так и всего старого быта и старых крестьянских учреждений при новых экономических условиях. Для самого Г. Успенского эти противоречия были безысходно-трагическими. Но для многих из его читателей они расчищали путь к принятию нового революционного мировоззрения, указавшего выход». Определяя отношение самых передовых кругов русского общества к личности замечательного художника, «Искра» в заключение статьи писала: «Социал-демократы всегда будут любить и читать Г. И. Успенского как одного из тех глубоко искренних наблюдателей, которые... в силу своей великой правдивости помогают все большему и большему выяснению того единственного пути, который идет через социальную революцию пролетариата».[1]

Статья ленинской «Искры» отразила любовь и признательность к замечательному писателю широких народных масс, интересам которых правдивый художник отдал всю свою творческую жизнь.

V

В. Г. Короленко, характеризуя исключительное своеобразие личности Успенского, писал: «Он был один, сам по себе, ни на кого не был похож, и никто не был похож на него. Это был уник человеческой породы, редкой красоты и редкого нравственного достоинства». Столь же своеобразным, новаторским по своему существу было

---

[1] «Искра», 1902, № 20, 1 мая, стр. 3.

и творчество Успенского. Особенности его творческого метода, его писательской манеры обусловлены его мировоззрением, его идейными исканиями, эстетическими взглядами, характером самой действительности, которую изучал и изображал писатель.

Эстетические взгляды Успенского сложились под непосредственным воздействием революционно-демократической эстетики Чернышевского и Добролюбова. Глубокий философский материализм как основа эстетики, борьба с идеалистическими представлениями об искусстве, провозглашение огромной общественной роли литературы, отстаивание ее демократизма, включение борьбы за эстетические идеалы в искусстве в общую борьбу за преобразование действительности — вот те особенности, которые обеспечили эстетике революционных демократов ее силу и жизненность, определили ее авторитетность для передовых представителей русской литературы. Эстетические убеждения Успенского складываются вместе с тем на основе глубокого овладения всем опытом русской литературы критического реализма. Имена Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Тургенева, Гончарова и Толстого, Щедрина и Некрасова часто встречаются на страницах произведений Успенского.

Высказывания Успенского по вопросам искусства и литературы в основном относятся к периоду 1870-х — 1880-х годов, т. е. к тому периоду, когда в творчестве Успенского крестьянская тема стала центральной, определяющей. Глубокий демократизм творчества Успенского, его эстетических убеждений продиктован прежде всего изучением самой народной действительности. Эстетические суждения содержатся в ряде его художественных произведений и статей на литературные темы, но с особенной полнотой и своеобразием, отразившим своеобразие самого творческого метода Успенского, эстетические взгляды его высказаны в очерке «Выпрямила» (1885).

Успенский анализирует образ Венеры Милосской, исходя из положений эстетики революционных демократов. Это великое произведение, казалось бы столь далекое от современной Успенскому действительности, не утратило, по мнению писателя, своего общественно-воспитательного значения и в новое время. Очерк «Выпрямила» — горячий протест против принижения и калечения человека. Здесь Успенский критикует стихотворение «чистого лирика» А. Фета, воспевшего неувядаемую красоту Венеры Милосской словами: «кипя страстью», «смеющееся тело», «млея негою» и т. п. Разночинец Тяпушкин, от имени которого ведется рассказ, возмущен этими стихами Фета, не сумевшего понять благородное совершенство знаменитой статуи, увидевшего в ней лишь «смеющееся тело»; на самом деле строгая и целомудренная красота Венеры Милосской,

этой «каменной загадки», способна пробудить работу мысли даже сильнее, чем умная книга. «Никакая умная книга, живописующая современное человеческое общество, не дает мне возможности так сильно, так сжато и притом совершенно ясно понять горе человеческой души, горе всего человеческого общества, всех человеческих порядков, как один только взгляд на эту каменную загадку... И мысль о том, когда, как, каким образом человеческое существо будет распрямлено до тех пределов, которые сулит каменная загадка, не разрешая вопроса, тем не менее рисует в вашем воображении бесконечные перспективы человеческого совершенства, человеческой будущности и зароняет в сердце живую скорбь о несовершенстве теперешнего человека... и желание выпрямить, высвободить искалеченного теперешнего человека для этого светлого будущего...

Венера Милосская — воплощение совершенной красоты, идеальный образ свободного, «выпрямленного» человека. Рядом с этим образом стоят в рассказе Успенского и два других, тоже оставляющих светлое впечатление. Это образ работающей молодой крестьянки, «живущей в полной гармонии с природой, солнцем, ветерком, с этим сеном, со всем ландшафтом, с которым слито ее тело, ее душа», а также образ «девушки строгого, почти монашеского типа», на лице ее «глубокая печаль о *не своем горе*». В этом образе — гармония личного и общего, подлинная красота человека, отдающего себя и все свои силы революционной борьбе.

Очерк «Выпрямила» — выдающееся художественное произведение писателя-реалиста. С. М. Киров, передавая свое впечатление от чтения этого произведения, писал в 1912 году: «Сегодня читал рассказ Успенского — «Выпрямила», где он пишет о впечатлении, полученном от созерцания другого человеческого гения — от Венеры Милосской. По обыкновению очень простое изложение чувств и мыслей автора находишь в этом рассказе, но какое неотразимое впечатление оставляет рассказ».

Взгляды Успенского на литературу, на задачи писателя сформулированы во многих его произведениях. Успенский был не только замечательным писателем-художником, но и критиком, общественным деятелем, который активно вмешивался в литературную жизнь, выступал с оценками передовых ее явлений, боролся с литературной реакцией. В статьях о Решетникове, Демерте, Гаршине, в высказываниях о «Власти тьмы» Толстого, о «Дыме» Тургенева, о поэзии Некрасова и во многих других суждениях Успенский продолжил традиции революционно-демократической критики, оценивая произведения прежде всего с точки зрения задач современности, с точки зрения верности произведений правде жизни. В таких статьях, как

«Подозрительный бельэтаж», в очерках «Волей-неволей» и др. Успенский выступает противником всяческой литературной реакции, затемнявшей сознание масс, мешавшей литературе осуществлять ее передовую роль в преобразовании действительности.

Большое значение имело выступление Успенского по поводу известной речи Ф. М. Достоевского о Пушкине. В этой речи на открытии памятника Пушкину в Москве, в 1880 году, Достоевский пытался определить и по-своему истолковать значение творчества Пушкина. Достоевский стремился представить Пушкина проповедником смирения и покорности. Внешние оправдания «русского скитальчества» (так в подцензурной печати именовались революционные стремления) сочетались у Достоевского с проповедью христианской кротости и терпения. Успенский чутко уловил эту реакционную сущность проповеди Достоевского и остроумно обозначил ее метким словом «всезаячья»: «Господин Достоевский к всеевропейскому, всечеловеческому смыслу русского скитальчества ухитрился присовокупить великое множество соображений уже не всечеловеческого, а всезаячьего свойства».

Выступая против искусства, уводящего от самых насущных задач современности, говоря о себе как о художнике, который посвятил свое творчество изображению тяжелой и мрачной правды жизни, Успенский писал: «Делая это, терзаюсь и мучаюсь и хочу терзать и мучить читателя потому, что эта решимость даст мне... право говорить о насущнейших и величайших муках, переживаемых этим самым читателем». Успенский стремился к тому, чтобы произведение художника звало к изменению действительности, к лучшему будущему.

Критики и литературоведы буржуазно-либерального и народнического лагеря долгое время пытались затушевать расхождения между Успенским и народниками. В советское время представители вульгарно-социологического метода тоже пробовали трактовать Успенского как писателя-народника, последователя Михайловского. В соответствии с этим художественные достижения в творчестве Успенского недооценивались или не замечались. Такие взгляды на Успенского не выдерживают серьезной критики и искажают облик замечательного писателя-демократа.

Литературные принципы Успенского были всегда гораздо шире народнических, и даже его отдельные увлечения теми или иными народническими взглядами кончались разочарованием и разрушением временно создаваемых кумиров. Поэтому удары по народничеству со стороны «народника» Успенского были особенно сильными. Когда он убеждался в неосуществимости общинного идеала в современных ему условиях, когда он утверждал невозможность сохранения патриархальных начал деревенской жизни при развитии

капитализма, его доводы звучали особенно убедительно, так как перед читателем проходила вся работа мысли художника, ищущего ответов на поставленные жизнью вопросы.

Сама художественная структура произведений Успенского была очень своеобразной и показывала читателю напряженную работу пытливой, ищущей мысли.

Часто рассказы и очерки Успенского, особенно о народной жизни, строятся таким образом: «рассказчик», от лица которого ведется повествование, сталкивается с каким-либо «фактом» или «явлением», не укладывающимся в привычные народнически-иллюзорные представления о деревне. Он ищет объяснения этим фактам и явлениям и обычно приходит к выводу или к мысли, противоречащим тем убеждениям, с которыми он начинал свое «художественное исследование». Поэтому в очерках и рассказах Успенского мы можем увидеть не только характерные черты русской жизни его времени, но и проследить самый ход мысли писателя, его искания и колебания.

Особенности художественной структуры произведений Успенского вызывали нападки на него со стороны противников демократической литературы. Успенского упрекали в том, что он слишком злоупотребляет публицистическими высказываниями, что он пишет отдельные очерки вместо создания стройных сюжетных построений. Эти нападки завершались обычно выводами о малой художественности творчества Успенского, который-де вечно торопится и поэтому не озабочен художественным совершенствованием своих произведений.

Однако своеобразие художественного метода Успенского носило принципиальный характер. Он действительно иногда вынужден был торопиться, и не все его произведения равноценны по художественным качествам. Но в своих значительных, лучших вещах Успенский дает замечательные образцы художественного мастерства. Он великолепно владеет живым разговорным народным языком, создает яркие речевые характеристики изображаемых персонажей.

Самым серьезным критерием художественной значительности творчества того или иного писателя является способность его создавать обобщенные образы, типические характеры.

В «Нравах Растеряевой улицы» читатель знакомится с Прохором Порфирычем, Олимпиадой Претерпеевой, с «медиком» Хрипушиным. Каждый из этих персонажей является подлинным социальным типом. В маленьком рассказе «Будка» дан сатирический образ блюстителя установленных порядков Мымрецова. В «Разоренье» исключительно большое значение имеет образ рабочего Михаила Ивановича. В его лице впервые в истории русской литературы была нарисована яркая фигура представителя поднимающегося рабочего класса.

В произведениях, посвященных деревне («Из деревенского дневника», «Крестьянин и крестьянский труд», «Власть земли», «Живые цифры»), читатель встречает таких типичных представителей тогдашнего крестьянства, как Иван Афанасьев, Иван Ермолаевич, Иван Босых, «воздушный мужичок». Писатель тонко прослеживает противоречия жизни и сознания этих крестьян.

Большое обобщающее значение имеет образ интеллигента-разночинца Тяпушкина, созданного Успенским в цикле очерков «Волей-неволей» (1884) и в рассказе «Выпрямила» (1885). Устами Тяпушкина беспощадно разоблачается буржуазный либерализм. С негодованием говорит Тяпушкин о людях, хвастающих своим свободомыслием, а на деле забывших о мужике, о судьбах народных масс.

В образе Тяпушкина, в его высказываниях, в его мировоззрении Успенским передана сила и широта общедемократического протеста против социально-политических порядков в царской России. Тяпушкин — разночинец, интеллигент, ненавидящий крепостное право и его пореформенные пережитки.

Среди многочисленных образов интеллигентов большое значение имеют в произведениях Успенского люди с «больной совестью», люди, преисполненные чувством ответственности за неблагополучие окружающего мира, за тяжелое положение народа, но не всегда обладающие достаточно сильной волей, чтобы претворить в жизнь свои благие намерения. Таков образ Василия Черемухина в «Разоренье», дьякона в «Больной совести», балашовского барина в «Овце без стада» и др.

Успенский не только создавал типические образы — он мастер образных обобщений, характеризующих сложные исторические явления, автор метких крылатых обозначений, вскрывающих сущность целого общественного строя. Таково понятие «больной совести», как определенного общественно-психологического явления, такова картина «растеряевщины», выражения «господин Купон», «купонный строй», «власть земли» и др.

Публицистика отнюдь не снижает художественного достоинства произведений Успенского, а сама, являясь необходимым художественным компонентом этих произведений, усиливает эмоциональное воздействие их на читателя. И читатель всегда любил эту публицистику Успенского, не находя ее скучной и антихудожественной, как пытались утверждать критики-эстеты. Лучшие образцы художественной публицистики Успенского стоят на одном уровне с публицистикой Герцена и Салтыкова-Щедрина.

Творчество Успенского развивалось в общем широком русле русской разночинской демократической литературы. Умело владея искусством создания типов, Успенский часто прибегал к приему

заострения и преувеличения. Поэтому сатирические принципы Гоголя и Щедрина были ему родственны. Свойственное Успенскому чувство юмора, умение подметить смешное, комическое в жизни при изображении отрицательных явлений переходило в сатирическую заостренность.

Так, в «Книжке чеков» коммерческие махинации купца Ивана Кузьмича Мясникова, его расправа над беспомощными крестьянами-распоясовцами показаны средствами сатирического разоблачения. В рассказе «Не все коту масленица» приемами сатирического заострения обличаются тупость и пошлость представителей буржуазного мира.

Успенский искусно владел методом иронических контрастных сопоставлений. Вот, например, характеристика «физиономии современного губернского города как снаружи, так и внутри» — города, в котором пережитки дореформенного прошлого причудливо переплетаются со «множеством новостей»: «Прежняя старинная грязь и лужи, прежние гнилые заборы с нищими на углу, поющими: «подайте христа ради!», а над головой нищей на том же углу — «Парижская жизнь», оперетка, изуродованные куплеты которой заглушаются буханьем в колокол у Никитья, где завтра престол... *Вдруг* нежданно-негаданно налетит по железной дороге Рубинштейн, Давыдов... *Вдруг* забежит волк и перекусает возвращающихся с концерта меломанов... лохмотья, до последней степени расстроенные нервы, волк, Рубинштейн, венская карета и первобытная мостовая, мигрень и тик рядом с простым угаром — все это проходит одно за другим, желая представить из себя нечто общее, нечто переплетенное в одну книгу под одним общим названием: «Губернский город такой-то»,— и нисколько не достигает чего-нибудь подобного, а только поражает, заставляя на каждом шагу спрашивать себя: зачем и откуда взялась венская карета в этой луже? Почему не просто соленый огурец, а какой-то соленый конкомбр? Зачем Рубинштейн? Зачем волк? Зачем «Парижская жизнь»?.. Зачем железная дорога?..» («Неплательщики», 1876 г.).

При помощи сатирических аллегорий и иносказаний Успенский, подобно Щедрину, стремился обойти цензурные притеснения, довести свою мысль до сознания передового читателя.

Наследство Успенского-сатирика, несомненно, представляет большой интерес и для сегодняшнего советского читателя.

Художественные достижения Успенского, замечательного писателя-реалиста, воплощавшего в своих лучших произведениях принципы революционно-демократической эстетики, навсегда вошли в сокровищницу русской классической литературы.

До Великой Октябрьской социалистической революции царская цензура долгое время не допускала сочинения Успенского в общедоступные библиотеки, издания его произведений, предназначавшиеся для широкого читателя, как правило, запрещались.

Все переменилось после прихода к власти трудящихся. По инициативе великого Ленина Успенский был включен в список писателей, которым в советской стране должны быть сооружены памятники. Большими тиражами начали издаваться сочинения писателя-демократа.

Высоко ценил творчество Успенского основоположник литературы социалистического реализма А. М. Горький. Он не раз упоминал Успенского в числе своих литературных учителей и призывал советских писателей учиться у этого замечательного художника его уменью изучать жизнь, его непревзойденному мастерству писателя-очеркиста. Произведения Успенского Горький называл в ряду тех книг, «которые предстают перед нами как изумительно обработанные в образе и слове сгустки мысли, чувства, крови и горьких, жгучих слез мира сего».

Не раз с проникновенными оценками творчества Успенского выступал и другой старейший советский писатель — А. С. Серафимович. Отмечая огромную роль творчества Успенского для самых широких читателей, Серафимович писал: «Сочинения Г. Успенского имеют несомненную познавательную ценность и в наши дни. Необходимо широко двинуть его произведения в народную толщу, в рабочие и колхозные библиотеки. Пусть рабочие и колхозники, читая эти произведения, увидят свой вчерашний день. И тогда им будет еще дороже день сегодняшний».

В этих высказываниях классиков советской литературы о Г. И. Успенском нашла яркое выражение живая связь творческого наследия замечательного писателя-демократа с нашей современностью.

В. Друзин

Н. Соколов



НРАВЫ РАСТЕРЯЕВОЙ УЛИЦЫ



В г. Т. существует Растеряева улица.

Принадлежа к числу захолустий, она обладает и всеми особенностями местностей такого рода, то есть множеством всего покосившегося, полуразвалившегося или развалившегося совсем. Эту картину дополняют ужасы осенней грязи, ужасы темных осенних ночей, оглашаемых сиротливыми криками «караул!», и всеобщая бедность, в мамаевом плену у которой с незапамятных времен томится убогая сторона.

Бедное и «обглоданное», по местному выражению, население всякого закоулка, состоящее из мелких чиновников, мещанок, торгующих мятой и мятной водой, мещан, пропивающих все, что выторговывают их жены, гарнизонных солдат и проч., такое бедствующее население в городе Т. пополняется не менее обглоданным классом разного мастерового народа. В Т. с давнего времени процветала промышленность всякого рода металлических изделий: в городе и в окрестностях находятся чугунолитейные, колокольные, самоварные и другие заводы. Кроме того, город славится известным заводом стальных изделий, населившим своими рабочими все *Заречье* и целую слободу *Чулково*. Это сторона совершенно особенная; обыватели ее, когда-то пользовавшиеся разными правительственными привилегиями, гордо посматривали на мастеров городской стороны, работающих в одиночку, и при встречах не упускали случая поделиться взаимными любезностями: «кошкин хвост!» говорил один, «огурцом зарезался», отвечал другой, и оба с серьезными

лицами проходили мимо. От насмешек зареченского мастера, или *казюка*, как называют их мещане, не уходил даже чиновник, для которого тоже были изобретены особенные клички, например: «стрюцкий» или «точеные ляшки» и проч.

Растеряева улица лежит на городской стороне, но общий колорит рабочего города отразился и здесь. Вот, между прочим, в лачуге, ниоткуда не защищенной заборами, проживает представительница собственно растеряевского мастерства, старая солдатка, «кукольница». Под ее дряхлыми пальцами цветет отечественная скульптура; в летние, погожие полдни на завалинке ее лачуги непременно сушится несколько глиняных офицеров и дам и бесчисленное множество лошадей-свистулек с одними передними ногами. Растеряевские мальчишки запасаются этими свистящими конями и в течение целого года разнообразят смертельно пронзительным свистом свое горестное существование. В таких же лачугах живут *сверлильщицы, наждашницы*, женщины и девушки, занимающиеся на фабриках. В этой же улице живут *гармонщики, токари, наводильщики* и т. д. На конце улицы, упирающейся в широкое Воронежское шоссе, виднеется квадратное здание из темнокрасного кирпича — самоварная фабрика. Все эти мастерства дают Растеряевой улице несколько иную сравнительно с другими захолустьями физиономию. В дни отдыха молчаливая физиономия ее оживляется драками и пьяными, разбросанными там и сям. В будничные дни к звонкому пению кур присоединяется стук молотков, то вперемежку, то сразу вдруг обрушивающихся на отчеканиваемую металлическую массу; звуки гармонии, на которой мастер для пробы тронул с «перехватом»; жужжание токарного станка — и надо всем этим, по обыкновению, тихая песня. В темные зимние вечера, когда бывали обыкновенно везде уже заколочены наглухо ворота и ставни и обыватели ложились спать, окна фабрики были еще ярко освещены, из осьмигранной трубы медленно выползали большие мутнокрасные искры, тотчас же потухавшие в темном воздухе.

Никем не вспоминаемая, никем не сторожимая, Растеряева улица покорно несет свое бремя — нужду. Стук молотков, постоянная песня или бойкая шутка ма-



стерового, идиллическая веселость детских уличных игр или развеселая сцена бабьего столкновения, разыгравшаяся среди бела дня и среди улицы, — все эти внешние, уличные проявления растеряевской жизни не дают, однако, никакого понятия о том темном горе жизни растеряевского обывателя, которое гнетет его от колыбели до могилы.

Мы узнаем его постепенно и, как ни удивительно будет это для читателя, начнем наше знакомство с растеряевским горем при помощи такого растеряевского человека, который, ко всеобщему удивлению, иногда с совершенно покойною совестью может сказать о себе:

— Чего ж мне еще от Христа моего желать?

Человек этот был пистолетный мастер, молодой малый, по прозванию Прохор Порфирыч, обитавший в собственном домишке. Ради такого дивного дива мы прежде всего и познакомимся с этим счастливым человеком, чтобы вместе с тем познакомиться с скромными растеряевскими людьми всякого звания, по-своему недовольными и по-своему счастливыми...



I. ПРОХОР ПОРФИРЫЧ

Года два тому назад Прохор Порфирыч еще не был постоянным обывателем Растеряевой улицы, хотя улица эта вынянчила его и выпустила на свет божий из своих голодных недр. Дело в том, что в Растеряевой улице когда-то давно поселился отставной полицейский чиновник, упрочивший за собой славу великого дельца и человека особливо неустойчивого насчет женского пола: так, он развелся с женой, необыкновенно слезливой женщиной, и сошелся с ярославской мещанской девицей Глафирой, которая долго держала прихотливого барина в своих руках и под конец все-таки должна была отказаться от него в пользу чиновничьей дочери Лизаветы Алексеевны, девицы средних лет, с опущенными всегда в землю глазами и жестоким стремлением к воровству.

Глафира, впрочем, не рассталась с барином: низведенная на степень кухарки, она решилась скоротать свой век в кухне и полегонечку начала запивать. Прихотливый барин тоже и сам не имел духу прогнать ее (что следовало по обычаю), потому что у нее было два сына, которые хоть и назывались Порфирычами в честь ветхого кучера Порфирия, но и барин, и Глафира, и дети знали, в чем дело. Старший сын Глафиры оставался при доме, в качестве лакея; младший, Прохор, отдан был в ученье к токарному мастеру. И в то время, когда веселый дом чиновника уныло стоял с запертыми в нижнем этаже окнами, когда в саду его не слышно было больше пьяных чиновничьих голосов, распевавших светские и духовные песни, а сам барин, пораженный всяческими недугами, неподвижно лежал в маленьком мезонине, ожидая смерти, Прохор Порфирыч, в эту пору двадцатитрехлетний парень, работал за Киевской заставой один, на себя, приготовляя на продажу револьверы.

В это время и начинается наше с ним знакомство.

Вследствие ли сознания своего «благородства», или вследствие житейского опыта, Прохор Порфирыч держался как-то в стороне от своих собратий-мастеровых, не походя на них ни в чем: его никто никогда не видал в драке, с разбитым глазом, или пьяным, валяющимся где-нибудь среди лужи. Растрепанная, ободранная и тощая фигура рабочего человека, с свалявшеюся войлоком бородой, в картузе, простреленном и пулями и дробью во время пробы ружья, с какими-то отчаянными порывами ежеминутно доказать, что «жизнь — копейка», такая отчаянная фигура совершенно не походила на фигуру Прохора Порфирыча: на нем всегда был цельный, опрятный картуз, лицо тщательно вымыто, а грязная шея, запыленная мельчайшими железными опилками, носящимися в воздухе мастерской во время работы, пряталась под гарусным шарфом, придерживаемым плисовым воротником достаточно подержанного драпового пальто. Плохонькие, но все-таки выпускные панталоны и ясные признаки поплевывания на носки грязноватых сапог, все это говорило о желании иметь хоть какое-нибудь подобие человека, и главное, человека благородного. Вообще, он не столько походил на мастерового, сколько на семинариста, благочиннического сына; у него не было только

этого довольства фильдекосовыми перчатками, этого страстного желания распластать огненного цвета шарф по всей спине, да и физиономия его носила следы постоянной сдержанности, вдумчивости, дела, что сам Прохор Порфирыч называл «расчетом», руководясь им во всех своих поступках. Так, например, носить немецкое платье Прохора Порфирыча побуждало не только благородство, но и расчет. «Случись, — говорит он, — пожар, примерно, твое дело сторона... Так-то!» И действительно, в то время, когда руки полицейских (по-растеряевски «хожалых») тащили за шивороты толпы разных чуек и чемерок и когда эти чуйки среди огня рвали голыми руками раскаленные листы железа, изредка подставляя лицо и спину под струю воды, чтоб не сгореть, — в эту пору Прохор Порфирыч мирно стоял среди благородных людей и спокойным голосом объяснял соседу:

— ...Изволите видеть, столб-от... белый-с?

— Да?

— Это все из-за самых пустяков происходит. Потому теперича из верхних слоев тяга с одного конца ударяет, а снизу-то. уж она опять тоже отшибку дает... Извольте взглянуть, как оттуда понесло..

И Прохор Порфирыч, поднимая руку вверх, поворачивался лицом к ветру.

Чем более Прохор Порфирыч убеждался в справедливости своих взглядов, тем вдумчивее становилась его физиономия. Часто во время работы в своей мастерской Прохор Порфирыч один-одинешенек вел какие-то отрывочные разговоры вслух, доверяя свои мысли станку и сырым, почернелым стенам. «Черти! право, черти! — слышалось тогда в мастерской: — Ваше дело — путать... колесом ходить. Нет, я тебе разберу авчину-то!». Но если случалось, что Прохор Порфирыч забегал на минутку к какому-нибудь знакомому чиновнику (знакомые его были исключительно чиновники и вообще люди благородные), то здесь сразу прорывалась вся его сдержанность, и все тайные размышления вылетали наружу; он особенно любил говорить о своих делах именно с чиновником, потому что всякий чиновник умеет разговаривать: у места говорит «да», у места «нет» и всегда кстати задает вопросы. Если же, паче чаяния, чиновник и не понимает, в чем дело, то уж зато отнюдь не противоречит.

Сидя где-нибудь в углу в тесной квартирке одного из своих знакомых чиновников, Прохор Порфирыч не спеша прихлебывал горячий чай и не переставая говорил.

— Вот вы изволили, Иван Иванович, разговаривать — времена-то теперь тугие-с.

— Д-да! — вскидывая ногу на ногу, говорил чиновник.

— Д-да-с; а ежели говорить как следует, то есть по чистой совести, умному человеку по теперешнему времени нет лучше, превосходнее. Особливо с нашим народом, с голью, с этим народом — рай!

— Рай?

Чиновник встряхивал от удивления головой.

— Ей-ей-с!.. Главная-то наша досада — не с чем взяться! Хоть бы мало-маленько силишки в руки взять, как есть — первое дело! Одно: умей наметить, расчесть! Приложился — «навылет». Вот, говорят: «хозяева задавили!» Хорошо. Будем так говорить: надели я нашего брата, гольтепу, всем до малости, чтобы, одно слово, в полное удовольствие — как вы полагаете, очувствуется?

Чиновник всматривался в лицо Прохора Порфирыча и нерешительно произносил:

— М-мудрено!

— Ни в жисть! Ему надо по крайности десять годов пьянствовать, чтобы в настоящее понятие войти. А покуда он такие «алимонины» пущает, умному человеку не околевать... не из чего... Лучше же я его в полоумстве захвачу, потому полоумство это мне расчет составляет... Так ли я говорю?

— Что там! Народ как есть!..

Чиновник наливал чай и, указывая Порфирычу на чашку, прибавлял:

— Ну-ко... опрокинь!

Порфирыч брал чашку, садился на прежнее место и продолжал развивать перед чиновником теорию о том, как бы «надо» по-настоящему, «ежели б без полоумства». Понижая почти до шопота свой голос, словно что утаивая от кого-то, он исчислял все выгоды рассудительного житья: «тогда бы и работа ходчей», и «сам бы собой дорожил», и «был бы ты на человека похож», шептал он, — и как ни был сообразителен чиновник, он поддавался

своему дрогнувшему сердцу и с скорбью произносил, что хорошо бы надоумить «ребят»; но тут же, принимая в расчет «полоумство», опять приходил в себя и убеждался, что «их, чертей», надоумить нет никакой возможности. Иронический взгляд и улыбка Порфирыча, последовавшая за таким заключением, неожиданно поражали чиновника...

— Надоумить! — возразил Порфирыч, не изменяя улыбающегося лица. — Напротив того, Иван Иванович, надоумить его можно в одну секунду. Человек, который имеет настоящую словесность, может это оборудовать смаху. Скажет он им: «Черти! аль вы очумели? Так и так...» и такое и прочее... В единую минуточку они отойдут... от хозяина... Но что же из этого выходит? А то, что этому словеснику шею они свернут, тоже не мешкая.. «Отбить — отбил, а работы нету!» Хозяин, он перетерпит, а наш брат на вторые сутки заголосит... Брюхо-то, оно — первое дело — в кабак! В ту пору ему утерпеть нельзя... А хозяин с благочинностью взял полштоф в руку, поднял его превыше головы для повсеместного виду: «Ребятушки!» Так и хлынут к нему... В ту пору хозяин может их нажимать даже без границ... Это расчет-с большой!

Снова поддакивает чиновник и, желая не уронить себя на этот раз, уже смело выводит заключение, что всему горю голова — «водка!»... Порфирыч на этот раз даже засмеялся... Чиновник не знал, что и подумать.

— Водка-с! — ухмыляясь, спокойно говорил Порфирыч. — Водка, она ничуть ничего в этом деле... Она дана человеку на пользу... Потому она имеет в себе лекарственное... Как кто возьмется... А главное дело опять же это полоумство. Как вы обсудите: мальчонка по тринадцатому году, и горя-то он настоящего не видал, а ведь норовит тем же следом в кабак! И пьет он «на спор», «кто больше»... Облопаются, с позволения сказать, как бесенята, а потом товарищи и тащат по домам на закорках.

Чиновник недоумевал.

— Нет-с, Иван Иванович, в нашем быту разобрать, что с чего первоначал взяло, невозможно! У нас доброе ли дело, случится, сделают тебе — и то сдуру; пакость — и это опять сдуру... Изволь разбирать!.. То ты к нему

на козе не подъедешь, потому он три полштофа обошел, а в другое время я его за маленькую (рюмку) получу со всем с генеральством его. Опять с женой драка... Несусветное перекабыльство.[1]

— Перекабыльство? — переспрашивает чиновник.

— Да больше ничего, что одно перекабыльство. Потому жить-то зачем — они не знают... Вот-с! Вот к этому-то я и говорю насчет теперешнего времени... Прежде он, дурак полоумный, дело путал, справиться не мог, а теперь-то, по нынешним-то временам, он уж и вовсе ничего не понимает... Умный человек тут и хватай!.. Подкараулил минутку — только пятачком помахивай... Ходи да помахивай — твое!.. Горе мое — не с чем взяться. А уж то-то бы хорошо! Хоть бы мало-мало силенки... Вместе с этими дьяволами умному человеку издыхать? Это уж пустое дело. Лучше же я натрафлю да, господи благослови, сам ему на шею сяду.

Тут вытаращил глаза даже сам Прохор Порфирыч; чиновник делал то же еще ранее своего собеседника. Долго длилось самое упорное молчание...

— Время-то теперь, Порфирыч, — нерешительно бормотал чиновник: — время, оно...

— Время теперь самое настоящее!.. Только умей наметить, разжечь в самую точку!

Прохор Порфирыч сказал все. Некоторое волнение, охватившее его при конце рассуждений и намерений, только что высказанных, прошло. Разговор плелся тихо, пополам с зевотой; толковали о том, что «от праведного труда будешь не богат, а горбат». Заходила речь о ворах, которые в последнее время расплодились в городе, и Прохор Порфирыч приводил по этому случаю какую-то пословицу, и т. д. Из приличия, на прощанье, Порфирыч задавал чиновнику еще несколько посторонних вопросов и, наконец, уходил; чиновник высовывался в окно и, увидав своего собеседника на тротуаре, считал нужным тоже что-нибудь сказать.

— Так перекабыльство? — спрашивал он.

---

[1] Слово это происходит от «кабы». Разговор, в котором «кабы» упоминается часто (кабы то-то да кабы другое... кабы ежели и т. д.), — очевидно, разговор не дельный; таким образом, «перекабыльство» — то же, что бестолковое «галдение» в разговоре и бессмыслица в поступках.

Порфирыч утверждал это кивком головы и утвердительным движением руки. Оставшись один, чиновник непременно думал уже про себя: «Однако этот Прошка — значительная язва будет в скором времени!»...

Как видно, намерения Порфирыча насчет своего брата, рабочего человека, были не совсем чисты. Самым яростным желанием его в ту пору было засесть сказанному брату на шею и орудовать, пользуясь минутами его «полоумства». Между тем Прохор Порфирыч сам на своих плечах выносил и выносит всю тяготу жизни рабочего человека, имея преимущество только в трезвости, в обстоятельном расчете всякого дела и больше всего в благородном происхождении, которое как-то уж и без расчета и без сознательных причин заставляло его крепче держаться своих взглядов и клало какую-то грань между ним и чумазым мастеровым народом. Ему и в голову не могло прийти так же упорно, как упорно размышлял он о собственной участи, размышлять о том, что перекабыльство и полоумство, которые он усматривает в нравах своих собратий (питье водки *на спор*, битье жены *безо время*), что все это порождено слишком долгим горем, все покорившим косушке, которая и царила надо всем, заняв по крайней мере три доли в каждом действии, поступке и без того отуманенного рассудка. Прохору Порфирычу некогда было разбирать этого; у него была своя забота, с которою только-только справиться. «Душа пить-есть хочет, да штаны сшей!» — говорил он, и резонно не хотел иметь ничего общего с пропащим народом. А народ этот он понимал и рассказывал про него так:

— Был я мальчиком по двенадцатому году и, спасибо братцу, в то время грамоте выучился: читать-писать... Хоть, признаться сказать, вся моего братца эта учеба в том и состояла, как бы кого линейкой обеспокоить, то есть по затылку... И дрались они, братец, не то, чтобы с сердцов, а даже от большого уныния... Скука. Обучившись я грамоте, после того не знают, по какой меня части пустить... Маменька Глафира Сергевна от сидельцев без памяти — «лучше житья нету», барин говорят: «как знаешь», а станем у братца спрашивать, то опять же это уныние... Был я у мальчика одного, знакомого, он у мастера работал — «иди, говорит, к нам...»

Поглядел я на станок (по токарному мастерству они были), колеса эти разные, винты, пойдет чесать, пойдет — откуда что возьмется... замлел! «Хочу да хочу, отдай да отдай к мастеру!.. Никуда больше не пойду!..» Молил, просил, маменька серчают, братец и обругал и прибил — ну все же отдали. Только не к тому мастеру, а к растеряевскому: чтобы поближе к своим... Радуюсь я: думаю, вот сейчас я эту машину превзойду до последней порошинки. Только что же случилось: как я был изумлен, когда, три года у мастера живши, ни разу к этому станку доступу не получил, потому, собственно, что был он, этот станок, пропит... Ужаснулся я в то время! Бедность была непокрытая, истинно уж ни кола, ни двора, ни куриного пера... Вся избенка-то была вот этак отграничить, и лежало в этой избе корыто с глиной, а боле, кажется, ничего и не было... Стал я об таком ученье удивляться, отыскал ребят — было нас учеников трое — говорю: «Что же, ребятушки, когда же это ученье будет?..» А один из них, Ершом звали, худой, глаза большущие, маленький, волоса топорщатся, шепчет мне ровно бы басом: «Ты, говорит, не говори про это.. А лучше того ноне ночью, как с покражи придем, я тебе про дьяволов сказку скажу... Молчи. Я тебя на все наведу...» — «С какой с покражи?» — «Ты, Проха, громко не кричи, лучше ты шептуном, когда тебе что надо. А покража у нас каждую ночь положена, потому что жрать нам с хозяевами нечего, так мы это всё воруем с суседских огородов...» Тут я бога вспомнил... залился, залился — поздно! А Ершишка утешает и все шепчет: «Ты, друг, не робей, потому я тебя полюбил и ноне скажу сказку про Ефиопа.. Я их и по ночам вижу...» Хозяина все дома не было. Подошел вечер, Ершишко говорит: «Пора, Проха, на кражу... Перва̀ пойдем дров добывать». Пошли мы все троичкой на пустошь, а на пустоши стояла гнилая изба: может, года с три в ней никто не жил, и большим страхом от нее отдавало... Перва́ мимо пройти боялись, потом посмелей стали, в окошечко заглянули, потом того, в нутро пробрались: лежит на полу мертвый петух и тряпка с кровью. Начали слоняться туда бродяги, нищие и пьяные, приказный один зарезался.. А после того, помаленьку, кто ставню оторвет, кто дверь — и пошли таскать... Так что изба

эта целой улице была отопление... Приходим, а уж там и раньше нас набралось разного голого народу: тащат что под руку попало, а то и друг у дружки рвут; завидели нашу братию — гнать; мы на них пошли; они — дубьем... А Ершишко словно полковой: «Ребята, говорит, не отставай!» Как пошли они этого беднягу, Ершонка, трепать — только и видно, как он по воздуху летает, только подшвыривают — как есть в лапту... Но Ершонок не мало храбрости сохранил и, летая по воздуху, кричит: «Нет, врешь! посмотрим, кто кого...» Нахожу я Ерша на крапиве — лежит он и шипит: «Башку ушибли!» Стал я его жалеть. «Ничего, говорит, Проха, все же я не одно поленце получил... А этому Ефремову, ундеру, я докажу, как он меня ноне избил. А тебе я за твою жалость две сказки скажу, ты будешь доволен...» Отсюда пошли мы в другое место воровать: репу, капусту, огурцы. Тут дело обошлось без помехи, даже так, что яблок себе натрясли, никто не слыхал... Целую ночь Ершонок всё мне сказки сказывал и в смертельную дрожь меня ввел своим шептаньем, под конец начал даже, ровно сумасшедший, домового мне показывать: «Вон, говорит, я вижу». Спали мы в сенцах, ночь была непогожая, пробрало нас водой до костей, по улице вода гудела. А хозяина все еще не было. Только под утро, чуть светок, слышишь-послышишь, в сенную дверь стучатся. Отворили: нищая стоит. «Поглядите-ко, братцы, не ваш ли это человек, бабы подняли...» Сейчас Ерш вскочил. «Я это все, говорит, знаю!» Побегли и мы. Глядим, две нищие в лохмотьях несут человека, только-только рубаха осталась: нашли они его в канаве, и всю ночь через него вода бежала. Ерш живым манером его оглянул — «наш, говорит, осторожней; за мной!» Принесли они его в избу, свалили мокрого наземь; хотели было нищие награждения попросить, ну только хозяйка сказала: «За что я вас буду награждать, в случае он жив? Если б он издох, то я вам большую бы милостыню подала!» По правде сказать, хозяйка наша не то чтобы очень тосковала: начала она у одного барина приживать... кой-чем прислуживала...

«Так мне грустно было, так грустно, не мог я горести своей удержать, побег домой, к маменьке... Залился, рассказал, как все было, какое началось ученье... Но

маменька еще того пуще меня огорчила, так как совсем от меня отказалась. Стал я братца умолять, но и братец, разогорчившись рассказом моим, опять-таки шибко меня потрепал. — Надо, стало быть, как-никак терпеть!

«Между прочим, к ночи хозяин очувствовался. Хозяйки не было... Подзывает он меня и говорит:

«— Смотри у меня, старайся...

«— Буду! — говорю...

«— То-то!

«И тут же он безо всякой злобы развернулся мне в щеку, дабы я узнал, какова в руке его тяжесть, для весу, чтобы через эту боль помнил я и соблюдал осторожность...

«И началась с этого времени моя каторжная жизнь!

«Ели мы, когда что случится да когда своруешь; спали на мокроте, на дожде... А ученья все не было, не начиналось; все хозяин, когда трезвый, от бога ждал, вот большая работа набежит, вот набежит... А покуда что, все он хмельной, все нет-нет да вытянет палкой кого... Случалось, в эту пору навернется работишка — в ножницах винт поправить или бы какому чиновнику на палку наконечник насадить. Тогда хозяин радуется и чиновнику говорит: «будьте покойны!» Но подумавши, полагал так, что это дело «успеется», и звал Ерша шутку шутить...

«— Ершило! — говорил он: — можешь ты мне эту палку заговорить?

«— Могу! В лучшем виде!

«— Чтобы ее никакая сила не взяла?

«— Могу!

«— Ну, заговаривай!

«Ерш сейчас начнет разными словами сыпать (где-то он научился заговоры заговаривать) — не поймешь, откуда это он их набрался. Сыплет-сыплет...

«— Готово! — говорит.

«— А ежели ты врешь, то могу я ее в пропой пустить?..

«— Я, — говорит Ерш, — в жисть мою не врал, а заговорено это дело наглухо...

«Тогда хозяин берет без всякого труда палку, дает Ершу по затылку и несет ее в кабак.

«— Ах ты, идолова порода, — закричит Ерш, — что я

сделал! Ведь я самое главное слово пропустил!.. А то бы ни в жисть ему этой палки не утащить... Ах я, разиня, разиня!..

«А хозяину главное, «к случаю» как бы прицепиться: «ведь проспорил!»

«Придет хозяин пьяный, тут уж всем достается... На нашу долю больше всех! Ежели жена случится, то сейчас норовит она от мужа либо под кровать, либо на чердак. Хозяин почнет шастать, искать; найдет — драка! И вся эта битва с женой — «зачем спряталась»!

«Случится, хозяин отрезвеет, в ту пору он тихий, то есть как есть перед всеми виноват...

«Тут мы к нему, бывало, пристанем:

«— Дяденька, когда ж ученье-то?

«— Ребятушки, — говорит, — дайте вы, ради господа, мне маленечко в ум войти. Может, — говорит, — хоть чужие молитвы об нас бог услышит и пошлет нам какого заступника. Тогда не токмо всех вас в единую минуточку выучу, еще у всякого прощения попрошу.

«Тут, случается, жена заговорит:

«— Заступника тебе? А чиновник палку дал, чем бы выработать что, заместо того пропил?

«— Милая! супруга, Анна Федоровна! Как же может эта палка нас от нашего несчастья сохранить? Тут на двугривенный дела не справишь! Ежели б палкой-то этой голову мне кто прошиб, тогда бы я за это ему ручки поцеловал.

«— У нас все так-то!

«И пойдет баба причитать: ей только дорваться, кажется, порошинки не оставит.

«— Анюта! — заговорит хозяин, — ради царя небесного, не души ты меня этими разговорами! Я это все в тысячу раз складней знаю... Только погоди ты хоть минуточку, дай мне опомниться, всех вас в золотые наряды разукрашу... Ах, боже мой!

«И не пройдет с час места, а уж опять от него жена под кровать прячется, а наш брат кто куда разбежимся.

«И всё мы этой работы дожидаемся, всё бога молим. Кажется нам, что как только эта работа навернется, в ту же минуту все и пойдет благополучно. Случается так, и в самом деле, вдруг откуда ни возьмись работа, и большая... Дом, что ли, какой чиновник строит — сейчас,

бывает, навалят нам замков чинить, новые делать, опять к окнам эти приправы, чтобы в лучшем виде, еще какая ни на есть мелочь. Ежели так-то случится, то уж истинная благодать наступала у нас в то время!.. Ну, только все же на одну минуточку...

«Как сейчас помню, случился такой заказ; выпросил хозяин задатку и (удивление!) трезвый домой пришел. Сейчас начал он на образ креститься и передо всеми нами клялся:

«— Вот разрази меня гром, ежели я только дохну на него, на мучителя моего (на вино то есть)! Жена! Ребятушки! Всем вам теперича я удовольствие сделаю!

«Сейчас отпускает жене на расходы целковый; на свечку казанской божией матери тоже рубль серебра, остальное себе на материал. Самовар закипел, все мы радуемся, бога благодарим; только и слышно:

«— Слава богу! Слава тебе, господи, заступнику! Ах, как мы, ребятушки, наголодались с вами!..

«Очень я в это время радовался, только Ерш этот шипит:

«— Погоди, — говорит, — не торопись; ты меня только слушай одного!

«И точно. Пошел хозяин в кабак инструменты выручать и нас взял с собой: такая была дружба у нас. Идем и разговариваем. Входим в кабак. Все чинно... Выручил инструменты. Вина ни-ни! Хочем мы уходить, а целовальник так, между делом, и говорит:

«— Игнатыч, — говорит, — что это мы слышали, кабысь у тебя расстройка по работе-то?

«Хозяин ка-ак на него зарычит:

«— Расстрой-ка-а? Из каких же это местов слухи такие?

«И сейчас он, чтобы кабацкой канпании на удивление было, вываливает деньги на стойку и продолжает:

«— Расстройка! Деньги-то вот они... Сла-ва богу!.. У меня работы не быть? Да где же это ты по нашей стороне такого мастера сыщешь, чтобы в полном комплекте?..

«Сейчас он полу откинул, картуз заломил, как есть миллионщик!

«— Какая же может у меня быть расстройка, когда я вот все эти деньги в пропой отделил?

«— Ну, — говорил целовальник, — уж и в пропой!

«Тут дяденька от обиды такой весь зеленый сделался и потребовал сразу «монастырский», то есть уж самый превосходительный стакан...

«Ну, и пошло!

«Только поддает, только поддает, и такой форс в нем проявился, что даже на удивление:

«— У меня, — говорит, — работы навалено! У меня всегда без остановки! у меня на двадцати станах идет!

«Истинно глазам моим не верю! А дяденька только покрикивал:

«— Д-давай!.. Полно зубы-то полоскать! Расстройка!

«Под конец того инструменты эти он опять же в прежнее место препроводил и очень вином нагрузился: сидит на лавке, еле держится и все бормочет:

«— Я гррю, васскорродие, на двац-пять-цалковых в сутки... Я гррю, васскорродие... может, по всей имперрии...

«Тут целовальник видит — время позднее, говорит:

«— Голубь! Время, запираю.

«Взял его подмышки и потащил к двери.

«— Я перрвый мастер?

«— Ты-ы! — говорит целовальник. — Кто ж у нас первый-то?.. Ты и есть!

«— Масей!.. — это хозяин-то наш ему: — признайся, по совести, доказал я тебе свое могущество?

«— Ты, Игнатыч, — отвечал ему на это целовальник, — так меня ноне уничтожил, так сконфузил... То есть истинно победил своим богатством! Я думал, ты бедный, а ты поди-кось!

«— Я-а-а!

«— Да уж ты-ы-ы!

«И оставил нас целовальник на крыльце; дождик шел, и темно было...

«— Ребятушки! Видели, как я его победил?

«— Видели, — говорим.

«Не могли мы его тащить с собой, повалился он на улице и тут же заснул...

«Стали мы ему в трезвый час говорить:

«— Дяденька! Что же это вы себя роняете? Перед богом божились, так хорошо выговаривали, а заместо того еще хуже?

«— Ребятушки,—говорит, — знаете, что я вам скажу?

«— Я знаю! — заговорил Ерш...

«— Нет, тебе этого не узнать! .. А вот что я скажу: кажется мне, сколько я зароков на себя ни клади, никогда мне себя не удержать... Потому радости на своем веку только я и видел, когда в лодыжки играл махоньким еще... Люди добрые в мою пору и хозяйство знают, и семью, и почет получают... Ну, а мне этого в своей избе не сыскать! Нет! .. Окромя лодыжек-то я еще, ребятушки, ни единою радостью не радовался... По этому случаю как малого ребенка можно меня обмануть, лишь бы только единую минуточку предоставить мне по моему желанию... Так-то! ..

«Так мы и жили, а бесперечь хозяин себя чрез свое безголовье до того доводил, что непременно он раз двадцать у заказчика в ногах валялся, ругали его, самыми страшными божбами божился, вымаливал еще чуточку и опять же таки через слабость свою домой не доносил... Под конец входил квартальный: «Ты Иван Игнатов?» Ну, тут уж мы все в ноги валимся; тут народу копошится страсть! .. Вымолим кое-как прощение. И уж тут-то работа начина-а-ается! То есть не то что работой можно это назвать, а истинно ужас какой-то всех в это время обхватывал... Потому хозяин ровно бы сумасшедший бывал тогда... Где-то уж, господь его знает, доставал он инструменты, и так-то ли принимался орудовать ими, что уж нашему брату только в пору глаза вытаращить, не только для себя замечать. И день и ночь, и день и ночь только опилки летят, только молотки постукивают; ни водки в это время, ни даже крохи не брал и уж так-то работал, без разгибу. В этом запале нам в мастерскую нос показать опасно было: «Прровчь, кричит, черти! Так промежду ног и суются! Прровчь, расшибу! ..»

«Мы разбежимся обнаковенно... Кто где ежимся...

«Кончит работу он беспременно к сроку и все денежки до копеечки пропьет, даже домой не скажется... Дней по крайности пять пропадает...

«Так я вздыхал в это время, так я убивался о своей жизни! Который, думаю, мне теперича год, никакого я мастерства не знаю... Только-только колотушки и треухи в исправности отпускаются... На ласковое слово хозяйское понадеешься, пустое выходит. Где обиды не ждал

и не чуял я совсем — втрое тебе ее, безо всякого заправского дела... Что это, думаю, господи?

«Хотел я сбежать... Ну, только вскорости история одна случилась, и так обошлось... Однова́ смотрим мы, что такое, по нашей улице воза едут: с перинами, с сундуками, столы, например, разные накручены, стулья... Все вообче разное имущество... И идут с боков этих возов бабы и всё у встречных спрашивают что-то... Ну, только встречные от них с испугом бегут... Что за удивление? Пошли мы за ворота с Ершом, стали нас бабы спрашивать:

«— Где тут, ребятишки, солдатка покойница Караулова жила?

«— Я знаю где! — говорит Ерш.

«— Авдотья Кузьминишна?

«— Знаю! Знаю... Я все знаю! Только вы меня слушайте!..

«— От нее нам в наследство дом есть...

«— Есть!.. Пойдем!..

«Повел он их на пустошь: там кое-где щепки валяются, и печка с трубой вытянулась. Только и сохранено от дому.

«— Вот! — говорит Ерш. — Получите!

«— А дом-то? Где же дом-то?

«— Дом точно что тут был, — отвечал Ерш: — ну, только теперь отыскать его мудрено... хошь я, признаться, словцо одно знаю...

«Между прочим, бабы по этой пустоши заметались, как угорелые... Руками машут, бросаются туды, сюды. «Ах-ах-ах, ах-ах-ах... Ах, дома нет! Ах, где дом!..» Тут народу собралось множество, стали все удивляться, где дом: — я, говорит один, только поленце; я, говорит другой, только щепочек чуть-чуть отсюда взял. А тут целый дом пропал! Стали баб этих жалеть. Бабы те заливались слезами и рассказывали:

«— Она тетка нам; она, Авдотья-то, нам этот дом отказала. Жили мы в ту пору в дальнем Сибире, на самом конце; покуда дошло туда извещение, с год места протянулось, а уж нас в то время на Капказ перегнали; покуда опять в здешние палаты извещение-то вернули, покуда отсюда на Капказ дали знать, время-то два года и ушло; летошний год мы в октябре месяце собрались

из черкесской земли, да покуда доползли, ан всего три года! Ах, ах, ах, дома нету!..

«И выть!

«Начали бабы через начальство орудовать. Губернатор говорит, чтобы этот дом отыскать, — «из горла вырви, да вороти». Стали нашу Растеряевку потрошить: кто избу разбирал? Никто не признается, один на одного сворачивает... Что тут делать! Хозяин наш дрожит: «Ну, говорит, ребята, доигрались мы!»

«Однова̀ пришло к нам в сени народу страсть: квартальный, будочники, бабы эти и Ефремов, ундер... Потребовали к суду: сейчас Ефремов этот солдат—усищи... во! — снимает перед квартальным фуражку и говорит:

«— Ваше высокородие! Я богу и царю служу верой и правдой, извольте посмотреть, нашивка, и опять же царь билет мне на красной бумаге дал, это чего-нибудь стоит...

«— Говори, в чем дело!

«— А в том дело-с, что весь этот дом вот эти мальчонки (мы-то) разнесли... Особливо один, Ершом звать...

«— Это я! — сказал Ерш.

«— Вот он-с! Я, лопни глаза, сам видел, как он крышу с дому воротил.. Будь я проклят!

«— А ты, Ефремов, — сказал Ерш, — забыл, как ты меня дубиной охаживал?

«— За то я его, васскородие, точно с осторожностью коснулся, чтобы он казенное добро не воровал! Вы, васскородие, с них, с мальчонков, да и с хозяина-то ихнего требуйте, а мы, видит бог, ни в чем не причинны!

«И стали нас с этого времени побеспокоивать. Уж и не помню, как после того все мы разбрелись — кто куда. Куда Ерш девался — так и не знаю.

«Ушел я от хозяина и, признаться сказать, горько заплакал. Господи, думаю, что я такое? Кто мне на всем свете есть помощник? Никого не было. Беззащитен я в то время был вполне, тем прискорбнее, что мастерства-то совсем не знал никакого: правда, мог кое-как самоварную ножку подпилком обойти, да ведь уж это такое дело, что и малый ребенок не испортит; потому никак невозможно испортить. Только всего и знал-то я... Куда я с этими науками денусь?

«...Года четыре шатался я с одной фабрики на другую, с завода на завод: там одно узнаешь, там другое... Все настоящего-то мастерства не получил; а шатался-то я, собственно, потому, что уж оченно было мне отвратительно хозяйское безобразие: что он мне деньги какие-нибудь пустяковые платит, то должен я, изволите видеть, совсем себя забыть; до того мучения было, что, верите ли, выйдешь в субботу с расчета, посмотришь на народ-то, как все движется, огоньки горят, так весь и расстроишься, и смеешься, и чего-то будто радостно, и не подберешь об этом никакого стоящего понятия, а как-то, не думавши, глядь — в кабаке! Было мне очень оскорбительно, что я почесть что (сами изволите знать) благородный и такое терплю гонение, и зачем только живу — сам не знаю... «Ах, думал я в то время, ежели бы только благородные люди узнали, что я тоже благородный, сейчас бы они со мной подружились и стали бы меня уважать!» Начал я маленько опоминаться, ребят своих сторониться, ну, все же справиться не мог, потому платят на ассигнации четыре рубля в неделю, извольте прокормиться! Наши ребята по этому случаю всё жалованье пропивали. Потому некуда его деть.. А мне, по моему благородству, куда ж с этим жалованьем деваться?.. Хотелось мне жить, хошь бы как приказный живет: сейчас у него гости, трубочку покуривает, как ваше здоровье? тихо, чудесно... Стал я думать так: стану-ка я один работать? На себя... Думаю себе, тогда и барыш мне сполна идет, и буду я жить с рассудком. Был у меня товарищ Алеша Зуев, друг и приятель. Сказал я ему об эфтим, и он обрадовался — «лучше нет, говорит. Давай вместе». — «Давай...»

«Кой-как да кой-как сколотились мы на станчишко, взялись пистолеты работать. Наняли себе конурку, стали жить. Трудно нам, по правде сказать, пришлось слесарным мастерством заняться. Дело новое; ну, все же радовался я, что теперича совсем я по-благородному жить начну, потихоньку; между прочим, полагаю, что от пьянства я уж избавлен. Однако же нет. Живши более шести лет в этом пьянстве да буянстве, в прижиме да нажиме, достаточно я свое благородство исказил... Случай такой случился.

«Началась эта у нас работа, а наипаче того пошла дружба: такая дружба, такая дружба, страсть! Мало мне своего дела делать, все я стараюсь приятелю угодить... Зуев еще пуще того надседается... Так он тихости и спокою обрадовался, что когда, бывало, сидим мы с ним на завалинке, все он меня благодарит. Попросит он меня стих какой сказать (я стихов много знаю), я ему стих скажу; и так я, признаться, умею этими стихами человека пробрать, даже невероятно. Я главнее стараюсь жалобными; голос у меня для этого есть тонкий такой. Так я, бывало, этого Алеху стихом проберу, что только вздыхает он и говорит:

«— Господи! Подумаешь, подумаешь, удивление!

«В ту пору ему кажется, словно он самого себя впервой увидал, начнет думать, только ужасается: «Господи, говорит, что ж это такое?.. Как же это все?..» И на дерево смотрит и на небо. И никак ничего не сообразит. Так он в этой жисти заржавел. Тогда как я, при моем благородстве, довольно хорошо все это понимал: примерно — дерево... Я это мог.

«Я его стихом пробираю, — он мне ночью сказку какую расскажет. Сказки он богато сказывал.

«Ну, истинно говорю, шла у нас дружба. Настояще как два ангела жили.

«Только что же? Продали мы работу, первую, и с радости маленечко того — пивца. Дальше да больше — глядь, и шибко подгуляли... На утро тоже. Потом того, Алеха сломал у моего замка пробой и выкрал все мое имущество. Выкрал и пропил... Жестоко я этим оскорбился, хоть, признаться по совести, сам я тоже (уж истинно не знаю, как меня бог не защитил!) у Алехи из сундука выхватил что было, и тоже пропил... Хмельны мы были; оскорбившись, подхожу я к Алехе, на улице встрел, и в досаде на его такой поступок говорю:

«— Ты как смел воровать?

«— Ты сам вор!

«— Врешь — ты!

«— Ка-ак, я вор!

«Кэ-эк я-а е-в-вво-о!

«На оборотку сколупнул он меня торчмя головой в канаву; упал я, лежу и думаю: «Господи! Что ж это

такое?» Ничего не пойму!.. Осерчал я, вскочил и так ему заговорил:

«— Ты зачем в мой сундук залез?

«— А ты зачем?

«— Нет, ты-то зачем?

«— Нет, зачем ты?..

«Я развернулся... р-раз!

«Потому смертельная мне была обида, что я так себя унизил и никак настоящего первоначатия нашему безобразию не сыщу... Теперь я так думаю, что ежели который на двадцати языках знает, заставить его это дело расчесть, и то он пардону попросит...

«Тут меня Алеха, признаться, помя-ал! .

«После этого Алеха закрутился где-то. Сижу я один дома тверёзый и все раздумываю: «Как же это я-то?» И стало мне, признаться сказать, от таких размышлений смерть как жутко... Стал я кажинного человека опасаться: что у него на уме? Может, так-то говорит он с тобой и по душе быдто, а заместо того что он сделает? Господь его знает!

«Не дознавшись ничего в своем уме, вспомнил я свое благородство и тут же перед господом побожился, что с этого времени ни друзьев, ни недругов промежду нашим мастеровым народом не заведу; и стал я вроде как затворник: в прежнее время хоть с хозяевами слово какое скажешь... или с ихней свояченицей, девушкой... Очень она мне в то время нравилась, но чтобы у нас промежду собой что-нибудь этакое происходило — ни боже мой! (мне я вам доложу, на этот счет верно такое несчастье: чуть мало-мало какое касание. . — «нет, ты, говорит женись!»). Так, докладываю вам, в прежнее время хоть с нею. А теперича, даже когда она прибежала ко мне однова́ в мастерскую и почала реветь, будто цирюльник с ней неладно поступил, обманом, то я тотчас же ее из мастерской удалил и дверь захлопнул.

«Да в самом деле? Что я ввяжусь? Опять, кто их разберет, а мне по тюрьмам шататься некогда...

«Но все же я ее пожалел!

«Случалось еще, что через эту мою робость тогдашнюю немало я ругательств перенес. Иду, примерно, по переулку, вдруг солдат попадается.

«— Не знаешь ли, спрашивает, милый человек, где тут Дарья-солдатка? — На это я только молчанием ему отвечаю: потому, ну-ка он скажет: «А, знаешь! а пойдем-кось, скажет, в часть: Дарья-то эта фальшивыми делами занималась!» Так по глупости своей опасался тогда... Начинает меня солдат поливать — я все не оборачиваюсь, иду; он того злее — я все иду... Грозит, грозит, наконец я быдто не вытерплю: повернусь — «вот я, мол, тебе...» Тою ж минутою солдат исчезал, ровно сквозь землю проваливался.

«Начал я маленько разгадку понимать!

«Подходит время, надо что-нибудь пробовать! Все я мытарства видел, ото всего в убытке остался... Порешил я работать один; трудно, ну, по крайней мере, хоть какой-нибудь жизни добиться можно. Тут я, признаться, братцу и маменьке в ножки поклонился, дали они мне денег — с Зуевым за его половину в станке расчесться... Стал я Алешке деньги отдавать, плачет малый!

«— Ах, — говорит, — Проша, как ты чуден! Ну, пьян человек, чужое добро пропил, эко дело! А ты, — говорит, — уж и бог знает что. Лучше бы в тыщу раз стали мы с тобой опять дело делать.

«— Нет, — говорю, — шалишь!

«— Опять бы песни, стих бы какой... Неужто ж я зверь какой? Я все понимаю это... А уж против нашей жизни не пойдешь: вот я теперь чуйку пропил, должон я стараться другую выработать.

«— И другую, — говорю, — пропьешь.

«— Может, и другую. Я почем знаю? Я вперед ни минуточки из своей жизни угадать не могу...

«Жалко мне его стало, но, поскрепившись, я его спросил:

«— Куда мое-то пальто девал?

«— Я почем знаю!.. Я об этом тебе ничего не могу сказать... Эх, Проша!

«Однако же я с ним жить не стал. Страсть как мне было тяжело одному! Две недели с неумелых-то рук над работой покоптеть, а выручки, барышу то есть, — три рубля. С чего тут жить? Ну, кое-как перебивался, платьишко начал заводить, например, манишку, все такое, нельзя! Познакомился с чиновником. Кой-как! К братцу я в то время не ходил, или ежели случится, то

очень редко, по той причине, что окроме уныния завели они другую Сибирь: гитару. Иной человек возьмется на гитаре-то, восхищение, душа радуется, но братец мой изо всего муку-мученскую делал. Постановит палец на струне у самого верху и начнет его спускать даже до самого низу. Воет струна-то, чистая смерть! По этому случаю я у него не бывал. Начал было я в это время Алеху Зуева вспоминать, не позвать ли, мол? А он, не долго думая, и сам ко мне привалил... Пьяный, распьяный.

«— Ты! — заорал на меня: — подлекарь! подавай деньги!

«— Как-кие, — говорю, — деньги?

«— Ты разговоры-то не разговаривай, подавай... Какие! — передразнивает: — за станок! вон какие!

«Тут я, признаться сказать, в такое остервенение вошел, что, не помня себя, тотчас за горло его сцапал и грохнул на землю. Вижу: малому смерть, но все же я еще ему коленкой в грудь нажал, и как же я его в это время полыскал! Ах, как я над ним все свои оскорбления выместил! Зажал ему горло и знаю, что ему теперича ни дохнуть, — между прочим, кричу на него: говорри!

«— Прроша, — хрипит... — Ппуссcти!

«— Говорри! Анафема!

«В то время я себя не помнил и истинно мучил его, как зверь. С час места я с ним хлопотал, наконец пустил. Отрезвел он. Помню, стоит этак-то в дверях, картузишком встряхивает..

«— Сейчас драться, — говорит: — нет у тебя языка сказать-то? Право! За го-орло!

«— Ладно, — говорю, — мне к суду с тобой идти не время!

«— Я почем знаю! «деньги», «получил»... Я почем знаю?

«— Дьявол! кто ж у вас знать-то будет? Чо-орт!

«— Я почем знаю... За горло!.. Эко диво какое!

«— Проваливай!

«— Обрадовался!..

«Кой-как ушел он... И, между прочим, скажу, что о своем добре Зуев и не спросил, потому знал он, что искать его негде, ибо где его сыщешь? Вздохнул я ма-

ленько после таких забот, и, говорю вам по чистой совести, стало мне страсть как легко на душе, когда я его победил... Тут уж я совсем понял! Из-за того жить, чтобы выработать да пропить? На это я не согласен!.. Н-нет-с!.. Мне желательно жить по-людски... С этим я и решил, что в чернонародии — без разговору, ручная расправа, а в благородстве — всякое почтение...»



II. ПЕРВЫЙ ОПЫТ

Еще немного подобных случаев, узаконявших силу кулака в глазах благородного человека, и физиономия Прохора Порфирыча приняла тот оттенок «себе на уме», который так часто проглядывает в умных, умеющих *обделывать* свои дела русских людях: деревенских дворниках, прасолах, которых простой, добродушный и оплетаемый народ потихоньку называет жилами, жидоморами и проч. По ходу дела Прохор Порфирыч тоже был жидомор, но жидомор чуть-чуть не благородный, вежливый, что, впрочем, с большею подробностью мы увидим впоследствии. Мысль о разживе не покидала его: то представлялось ему, что идет он по улице, вдруг лежат деньги, «отлично бы, хорошо», — сладко думал он. По ночам ему снились тоже деньги. Кто-то выкладывал перед ним вороха и сизых и серых бумажек и говорил: «получай!» Прохор Порфирыч в ужасе раскрывал глаза и узнавал свою холодную комнату...

— Ах, чтоб тебе провалиться! — с досадой вскрикивал он тогда.

А времена все трудней становились. Помещики съежились; опустели трактиры, цыганские певицы напрасно поджидали «графчика», зевая и пощипывая струны гитары. Торговля приутихла всякая: рабочие, наподобие Зуева, шли охотой в солдаты. Шли также и неохотой.

— Ах, теперича бы силенки! Ах бы хоть немножечко!.. — тосковал в эту пору Порфирыч.

Во время такой страстной жажды лишнего гривенника, своего угла, вообще во время жажды обделывать свои дела, умер растеряевский барин (отец Прохора Порфирыча). Дело случилось темным вечером. Поднялась суматоха, явились душеприказчики, дали знать Порфирычу. При этом известии в глазах его сразу, мгновенно прибавилась какая-то новая, острая черта, какие являются в решительные минуты. Он сразу понял, что настало время. Одевшись в свое драповое пальто с карманами назади, он почему-то поднял воротник, сплюснул шапку, и строгая фигура его изменилась в какую-то юркую, готовую нырнуть и провалиться сквозь землю, когда это понадобится.

Порфирыч делал *первый шаг.*

...Вечером в нижних окнах дома «барина», долго стоявших забитыми наглухо, светился огонь. На столе лежал покойник, в мундире; две длинные седые косицы падали на подушку; стояли высокие медные подсвечники; солдаты, бабы пришли смотреть «упокойника». Унылая фигура последней фаворитки барина, Лизаветы Алексеевны, в огромной атласной шляпе, с заплаканными глазами и руками, державшими на сухой груди платок, ныряла в толпе там и сям, пробивая плечом дорогу к одному из душеприказчиков.

— Семен Иваныч, — слезливо говорила она: — неизвестно... мне-то? хоть что-нибудь?

— Я вам сто тысяч раз говорю — не знаю!

— Не сердитесь! ради бога, не сердитесь!.. Голубчик!

— Что вы пристаете? Сидите и дожидайтесь!

— Буду, буду, буду! Боже мой! Ах, господи!

Лизавета Алексеевна садилась в угол, тревожно бросая глазами туда и сюда. Заметив, что душеприказчики разговорились, она минуточку подумала и вдруг без шума шмыгнула в другую комнату.

Горели свечи, лампадки. Дьячок с широкой спиной приготовлялся читать псалтырь, переступая в углу тяжелыми сапогами. В виду покойника толковали шопотом. Было упомянуто о том, что хоть и все мы помрем, но всё «как-то»... к этому присовокуплялось: «ни кня-

зи... ни друзи...» А затем, после глубокого вздоха, следовал какой-нибудь совершенно уже практический вопрос, хотя тоже шопотом:

— А вот, между прочим, не уступите ли вы мне рыжего мерина? под водовозку?

— Ох, мерина, мерина! — глубоко вздыхал душеприказчик, думавший, может быть, крепкую думу о том же мерине. — Погодите, Христа ради, немножечко!

Дьячок кашлянул и зачитал:

— Блажен му-у-у-у...

— Караул!!! Краул! Стой! — раздалось под окнами.

— Господи Иисусе Христе! Что такое? — зашептала публика, и все бросились на улицу...

— Стой! Стой! Н-нет вврешь! Брат! брат!

Народ, сбежавшийся со свечами, увидел следующую сцену. Прохор Порфирыч старался вырвать из рук Лизаветы Алексеевны огромный узел, в который та вцепилась и замерла. Из узла сыпались чашки, стаканы, серебряные ложки и проч.

— Брат, брат! Краденое!

— Мадам, — сказал значительно душеприказчик: — пожалуйте прочь!

Прохор Порфирыч налег на врага узлом и потом сразу рванул его к себе. Лизавета Алексеевна грохнулась оземь. Толпа повалила вслед за победителем. Надо всеми колыхался огромный узел.

— Как? воровать? — громче всех кричал Порфирыч. — Нет, я тебя не допущу! Извини!

Узел свалили на крыльцо с рук на руки душеприказчику, который говорил Порфирычу:

— Спасибо, спасибо, брат!

— Помилуйте, висскородие, — говорил Прохор Порфирыч, обнажая голову и в ужасе раздвигая руки: — Как же эт-то только возможно? Я — все меры! Ка-ак? воровать? Нет, это уж оставь!

— Ты тут ее схватил?

— Да тут-с, васскородие, как есть у самых у ворот. Баррское добро, д-да боже меня избави!.. Что тебе по бумаге вышло — господь с тобой, получай!

— То другое дело!

— Да-с! то совсем другое дело! А то скажите на милость!

— Спасибо! Молодец!

— Всей душой.

Порфирыч осторожно пощупал у себя за пазухой и подумал: «здесь!»

— Я, васскородие, видит бог!

Душеприказчик ушел. Порфирыч долго еще толковал брату: «А то, скажите на милость, такой поступок. целый узел, неэ-эт!» Потом пошел под сарай, запихнул между дров какой-то сверток, подхваченный в бою, и, возвращаясь оттуда, говорил:

— Каак? воровать? Нет, ты это оставь!

Лизавета Алексеевна долго билась и истерически рыдала за воротами:

— Из-за чего? Из-за чего? Из-за чего я всю-то молодость — всю, всю, всю... Госсподи! Грех-то! Грех-то!..

Вдруг она вскочила, отряхнула платье, утерла глаза и быстро направилась в комнату.

— Мадам! — говорил душеприказчик: — пожалуйте отсюда вон. после таких поступков!

— Н-не пойду!

Лизавета Алексеевна села на стул, прижалась спиной к углу, плотно сложила руки и вообще решилась «ни за что на свете» не покидать своего места.

— С вашим поведением здесь не место... Здесь покойник.

— Н-не пойду! н-не пойду! — твердила Лизавета Алексеевна, дрожа.

— А! не пойдете...

— Голубчик!

Она бросилась на колени.

— Есть в вас бог! не гоните меня! Ради бога... Я ведь с ним, с покойником-то, восемь лет... Ах, ах, ах, ах!

Душеприказчик ушел, махнув рукою.

Поздно вечером душеприказчик, отправляясь спать, поручил за всем надсматривать Порфирычу; на унылого, нерасторопного Семена надежды было мало: где-нибудь непременно заснет. Разошлись все, даже и Лизавета Алексеевна. Прохор Порфирыч вступил в свои права: надсматривал и распоряжался. В кухне дожидалась приказаний стряпуха. Порфирыч, для храбрости «пропустивший» рюмочку-другую водки, вступил с ней в разговор.

— Как в первых домах, — говорил он: — так уж, сделайте милость, чтобы и у нас.

— Слава богу, на своем веку видала, бог привел, разные дома... Вот купцы умирали Сушкины, два брата.

— Д-да-с! Потому наш дом тоже, слава богу... Будьте покойны!

— Не в первый раз... На сколько, позвольте спросить, персон?

— Персон, благодарение богу, будет довольно! Нас весь город знает...

— Дай бог, а завтра утренничком надыть пораньше грибнова и опять крахмалу для киселя.

— И грибнова! Мы этим не рассчитываем.

Молчание.

— Я полагаю, — говорит стряпуха: — кисель-то с клеем запустить?

— И с клеем. Как лучше... как в первых домах.

— А не то, ежели изволите знать, со свечкой для красоты.

— Как в первых домах! И с клеем и со свечкой... Запускайте, как угодно!.. чтобы лучше!.. Мы не поскупимся.

Бодрствование во время ночи Прохор Порфирыч тоже выдержал вполне. Расставшись со стряпухой, он направился в дом, уговорив братца лечь спать.

— И то! — сказал братец и лег на крыльцо в кухне.

В освещенной комнате раздавалось тягучее чтение псалтыря, прерываемое понюшками табаку. Порфирыч босиком тихонько подходит к дьячку, засунув одну руку с чем-то под полу, и, придерживая это «нечто» сверху другой рукой, шепчет:

— Благодетель!

Дьячок обернулся.

— Ну-ко!

Дьячок сообразил и произнес:

— Вот это благодарю! — тут он нагнулся к уху Порфирыча и зашептал: — Грудь! На грудь ударяет ду-ду-ду-то!..

— Прочистит!

— Это так! Оно очистку дает! В случае там в нутре что-нибудь...

— Вот, вот! Она ее в то время сразу. Ну-ко!

Пола полегоньку приподнимается; дьячок говорит:

— О, да много.

— Что там!

Нечто поступало в дрожавшие руки дьячка.

— Сольцы, сольцы!

— Цссс... Сию минуту.

— Гм-м... кхе!

— Готово!

— Ах, благодетель! Я тебе, друг, что скажу, — прожевывая, шептал дьячок: — ты по какой части?

— Слесарь.

— А мы по церковной части. Я тебе что скажу: наше дело — хочешь не хочешь!

Дьячок пожал плечами.

— Смерть!

— Ты думаешь, всё на боку да на боку лежим? Нет, брат!

Долго идет самое дружественное шептание. В комнате раздается опять тягучее чтение.

Прохор Порфирыч в это время уже в мезонине; он нагибается под кровать, кряхтя, что-то достает оттуда, потом на цыпочках спускается с лестницы и идет через двор к саду. Брешет собака...

— Черной!

Порфирыч посвистывает.

— Как! воровать? — говорит он, возвращаясь из саду и проходя мимо брата. — Нет, гораздо будет лучше, ежели ты это оставишь... Братец, не спите?

— О-ох!.. Не сплю! — вздыхает Семен, поворачиваясь на своем ложе.

Порфирыч подсаживается к нему, тоже вздыхает, присовокупляя: «ох, горько, горько!», и затем тянется долгий шопот Порфирыча:

— Ах ты, говорю... Да как же ты, говорю, только это в мысль свою впустить могла?

Безлунная ночь стоит над городом; небо очистилось, в воздухе сыро. В стороне по небу скатилась звезда, оставив светлый след.

— О-ох, господи! — шепчет кто-то в кухне.

На крыльце явилась стряпуха.

— Я все беспокоюсь,— заговорила она: — как кисель?

— Как в первых домах!

— Опять можно и полосами его пустить, с клюквой, как угодно?

— Как вам угодно, и с клюквой!.. Как в первых домах!

— Я все беспокоюсь! — заключила стряпуха, уходя.

Усталый дьячок еще медленнее читал псалтырь; из отворенного окна на него изредка налетал свежий воздух.

— Сссссс. — раздалось под окном.

Дьячок обернулся.

Прохор Порфирыч облокотился на подоконник локтями, прищуривал глаз и кивал головой в сторону.

— Не мешает! — сказал дьячок.

Следовало повторение «нечто» и опять монотонное чтение. Прохор Порфирыч снова исчезал куда-то. Дьячок, у которого начинали слипаться веки, иногда закрывал глаза и прерывал чтение, пошатываясь вперед и назад. Тишина была мертвая. Вдруг где-нибудь, не то вверху, не то внизу, с каким-то нытьем щелкал замок. Дьячок выпрямлялся, широко раскрывал глаза и едва успевал произнести два-три слова, как начинал дремать снова.

Послышалось какое-то шуршанье. Дьячок снова встрепенулся.

— Я, я, я! — успокоительно шептал из сеней Порфирыч, осторожно таща по земле какую-то шкуру, или ковер, или шинель. — Завтра, брат, и без того хлопот полон рот!

Начинали петь петухи. Дьячок совсем заснул, положив голову на кожаный аналой и приседая. Его разбудил какой-то шум, происходивший на дворе.. В окно он увидел Прохора Порфирыча, расправлявшегося с Лизаветой Алексеевной, которая-таки не вытерпела до утра и тихонько успела пробраться в мезонин.

— Уйду! уйду! уйду... Ради бога! Ах, не увечьте! Сама! сама! сама!

С такою же точно рассудительностью проводил Прохор Порфирыч и следующие дни; в день похорон, почти в одно и то же время, он распоряжался в кухне, подавал к столу тарелки, бежал за водкой, утешал маменьку, выводил из-за стола пьяного, подтягивал вместе со всеми

«вечную память!» и тут же засовывал в карман какую-то вещь, присовокупляя про себя: «ременная, аглицкая» и т. д. Без Прохора Порфирыча никто не мог дохнуть; отовсюду слышались голоса: «Порфирыч, Прохор Порфирыч!», и в ответ на них Порфирыч беспрестанно сыпал: «Ссию минуту-с, ссию минуту-с... Иду, иду, иду!»

Кончились похороны, дом опустел: везде были открыты окна и двери, ветер свободно гулял повсюду, вытаскивая в отворенное итальянское окно мезонина ветхую зеленую стору и подгоняя ее под самый князек крыши; в комнате, где так долго умирал барин, было все взрыто: старые тюфяки и перины, рыжие парики с следами какой-то масляной грязи вместо помады, банки с какими-то мазями, прокопченные куревом трубки и чубуки, все это наполняло душу отвращением, гнало из комнаты, уже опустевшей. Внизу и вверху лопались обои, и за ними то и дело шумели потоки сору.

Прохор Порфирыч это время постоянно находился при маменьке, изредка заглядывая в дом, где через несколько времени начался аукцион. Порфирыч долго рассматривал вещи, долго молчал, и когда решался, наконец, просунуть в толпу голову и произнести «пятачок-с!», то это значило, что ему попалась такая штука, за которую люди знающие, «охотники», дадут несравненно больше. Зацепив какую-нибудь подобную вещицу, он скромно возвращался к маменьке, покупал ей на свои деньги водку (малиновую сладенькую любила Глафира) и к чаю брал у растеряевского лавочника Трифона тоже любимые Глафирой грецкие орехи и винные ягоды...

— Кушайте, маменька! сделайте милость, — говорил он.

— Не могу, Прошенька, я этого чаю глотка проглотить, чтобы без эвтого без сладкого... Изюмцу или бы чего...

— Кушайте, на доброе здоровье, не томитесь.

— Что ж это, Проша, будет ли нам какое награждение от покойника?..

— Надо быть. Я так думаю, чем-нибудь же должен он свое поведение оплатить... Надо за этими крюками-то поглядывать!.. — намекал он на душеприказчиков.

— То-то, ты, Проша, посматривай!.. Поглядывай, как бы они чего не наплели там...

— Авось бог! Кушайте, маменька, кушайте!

После аукциона душеприказчик позвал Прохора Порфирыча наверх.

— А, ты! — сказал чиновник, когда Порфирыч вошел и поклонился. — Вот вас барин наградил.

Порфирыч осторожно подвинулся к столу и упорно смотрел в валявшуюся там бумагу. Он что-то прочитал в ней.

— Вот деньги. Отдай матери.

— Покорнейше благодарим, васскородие!

Порфирыч поцеловал у чиновника руку...

— Ну, ступай!

— Слушаю-с...

Порфирыч стал у двери.

— Больше ничего; ступай!

— Слушаю, васскородие!

И все-таки остался у двери.

— Тебе что-нибудь нужно?

— Так точно-с; потому, васскородие, самые пустые деньги вы изволили отдать-с...

— Как?

— Так точно-с... Мы это знаем-с. Сделайте милость, извините... барин по бумаге отделили третью часть на сирот; следовательно, пожалуйте нам полностью. На что нам такая безделица? Вы, васскородие, сделайте вашу милость, доложите, что следовает...

— Ступ-пай! Я тебе говорю!

— Слушаю-с.

И опять-таки стал у двери.

— Ты не уйдешь? — через несколько минут злобно закричал чиновник.

— Сделайте божескую милость, васскородие, пожалуйте деньги-с полностью!

— Вон!

— Я, васскородие, по суду буду искать. Как вам будет угодно!

Грозное молчание...

— Как вам угодно-с... Я к господину губернатору... Опять же мы и Федор Федорыча довольно хорошо знаем... Как вам угодно!

— Я сам Федор Федорыч! Что ты мне грозишь! Плевать я на него хотел!

— Как вам будет угодно... Ну, только я этого грабежа не оставлю!

Порфирыч, весь зеленый от гнева, спускался с лестницы. Чиновник нагнал его и бросил в лицо пачкой бумажек.

— Ты деньги-то не швыряй! — заговорил Порфирыч во все горло. — Ты свою рожу-то береги...

— Дьявол! — послышалось сверху...

Блистательная победа над чиновником завершилась не менее блистательной попойкой в кухне. Брат Порфирыча уезжал в деревню, в конторщики; в кухне по этому случаю кипели самовары, на столе стояли полуштофы, валялись орехи, винные ягоды, рыба, куски ветчины, и шло веселье и плач. Брат Порфирыча, никогда не пивший водки, сильно охмелел с двух рюмок, лез обниматься и кричал:

— Брат!.. Бррат! Я доверяю!..

— Проша! — приставала хмельная мать...

— Господи! — умиленно говорил Порфирыч... — Братец!

— Брат!

— Братец! видит бог!

— Брат! Я доверяю! Маменька!.. Брат!..

— Всей душой!.. Боже мой!

— Брат!

Порфирыч обнимался с братом, прижимая к его спине полштоф.

— Брат!

Лакей совсем осовел и валялся как сноп, не переставая повторять: «Бр-рат!» Наконец его ввалили вместе с гитарой в мужичью повозку, присланную из деревни, и Прохор Порфирыч остался с матерью вдвоем...

— Ну, маменька, — говорил он ей на другой день. — Надо думать!.. Не сегодня-завтра в шею погонят...

— О-ох, надо, надо!

— Я так думаю, домик бы? Деньги, они, не увидишь, разбегутся...

— Уж как ты знаешь!.. Куда мне, я не пойму ничего... Еще изобьют, пожалуй, и суда не сыщешь... Мне бы где свой угол...

— Я так думаю, домик... Я похлопочу... По крайности будет у вас свое имение...

— О-ох, давно своего-то не было!..

— То-то и есть! Братец, дай бог здоровья, доверяют мне.

— Да я-то нешто зверь какой? Ты меня не ограбишь... Не выдашь... Из моего дому не выгонишь...

— Пом-милуйте!.. Ведь тоже вашего заводу-то. Слава богу! — и Прохор Порфирыч целовал у маменьки ручку.

Душеприказчик ходил с купцами вокруг дома умершего барина, пробовал стены топором, мерял землю цепью и, сердито постукивая в кухонное окно, говорил:

— Выбирайтесь, выбирайтесь, выгоню!

— Не беспокойтесь, сделайте вашу милость, уйдем-с! — отвечал Прохор Порфирыч.

Несколько дней он употребил на отыскивание дома, наконец нашел. В лачуге жила одна старая баба, никогда не показывавшаяся на свет божий. Ходили слухи, что она с мужем занималась когда-то «нехорошими» делами, вследствие чего муж и умер без покаяния, без причастия. Не захотел. Поэтому старуху все боялись, и никто не старался узнать, что с ней делается: в окнах у нее никогда не светился огонь, печь не топилась, и чем питалась она, тоже было неизвестно. Умри старуха — все бы побоялись войти к ней. Но Прохор Порфирыч зашел. Старуха превратилась в какое-то совершенно одичалое существо. Долго не понимала она, что такое толкует ей Порфирыч, но когда он показал ей деньги, старуха заговорила:

— Давай! давай!.. Я зарою...

— А сама уйдешь?

— Давай... Уйду! уйду!..

Кое-как Порфирыч, наконец, растолковал ей, в чем дело, и дал целковый. Старуха с жадностью схватила его, обернула тряпками, спрятала за пазуху и забилась на печь в самый угол...

После того как был отыскан дом, действия Прохора Порфирыча приняли какой-то таинственный характер. Притащив матери из кабака сладенькой, он просил у ней позволения сходить на минутку в одно место и поспешно направился в какой-то глухой закоулок. Здесь жил известный городской кляузник-приказный. Прохор Порфи-

рыч вежливо раскланялся с хозяином и, отведя его к столу, объявил, в чем дело.

— Однако, извините меня, — говорил приказный, внимательно выслушав шопот Порфирыча, — как вы молоды, и какая у вас в душе подлость!

— Что делать! время не такое!

— В первый раз в таких молодых летах встречаю такую низость...

— А я так думаю, надо бы мне бога благодарить?

— Раненько-с... Чего доброго, еще нашему брату горло перекусите... вот обидно что!

— На этом будьте покойны. Ну, а дело через это все-таки, я полагаю, само собой?

— Это до дела не касающе. Вы остаетесь при вашем свинстве...

— А вы при вашем!..

— А я-с при моем. Посылайте за полштофом!

Приказный с шумом перевернул лист бумаги.

С этого дня между Порфирычем и приказным начались какие-то непостижимые отношения: они никогда не были вместе, но и не разлучались; в то время, когда Порфирыч сидел с маменькой и угощал ее, вдруг в окне, как молния, мелькала рожа приказного, делавшая какие-то ужимки и гримасы. Порфирыч срывал с гвоздя фуражку и исчезал. А то можно было их встретить еще так: Порфирыч стоял на одном конце улицы, а приказный на другом, и разговор шел тоже непостижимыми жестами: приказный махал куда-то головой в сторону, Порфирыч показывал ему кулак; в ответ приказный тряс головой, крестился и вынимал из бокового кармана бумагу... Порфирыч почему-то плевал сердито в землю, но шел к приказному. Приказный, стараясь вызвать Порфирыча ночью, громко кашлял под окном или начинал петь. Днем стоило Порфирычу выйти на улицу, как тотчас же раздавалось откуда-то «ссссс... сссс...» и в стороне показывалась фигура приказного, поднимавшего почему-то три пальца; Порфирыч также иногда показывал ему в ответ три пальца только в другой комбинации... После таких таинственных сцен приказный на минуту зачем-то явился в кухне у Глафиры вместе с Прохором Порфирычем, жался у двери, а когда Глафира сказала сыну: «да я этого ничего не понимаю», приказный вдруг развернул

на столе бумагу, опрокинулся над ней, зачеркал пером и что-то заговорил. Та же сцена произошла в доме старухи, у которой покупали дом. Затем приятели снова разошлись в разные стороны. Стоя на крыльце гражданской палаты, Порфирыч манил приказного, торчавшего где-то, бог знает, как далеко.. Приказный показал что-то руками, Порфирыч еще поманил. Тогда приказный направился к палате зигзагами, почему-то миновал палатское крыльцо, потом повернул назад, поплелся по стенке и, снова поровнявшись с крыльцом, вдруг юркнул туда, как рыба в воду. Порфирыч исчез за ним...

Результатом таких таинственных деяний провинциальной адвокатуры было то, что Прохор Порфирыч воротился из палаты хмельной, постоянно улыбающийся, выложил перед матерью из кармана совершенно смятые ягоды, яйца и все хихикал.

— Все ли, батюшка, Прошенька, теперича-то.

— В-всссе! Будьте покойны! Кушайте на здоровье... Теперь... уж все! уж теперича, маменька, вполне!

— Ну, и слава богу!

— С-слава богу!.. Эт-то справедливо. Да-с! уж все!.. Порфирыч вдруг хихикнул.

— Маменька! — сказал он, зажимая рукою рот и фыркая... — А что я вам скажу... Дом-то... Дом-то, ведь он мой-с!..

— Ах!.. — вскрикнула Глафира и обомлела...

Прохор Порфирыч попробовал было сделать серьезную физиономию, но вдруг фыркнул и рванулся в дверь, повалив на ходу скамейку и оставив Глафиру в каком-то оцепенении.

Скоро Глафира и Прохор Порфирыч перебрались в купленную лачугу. Глафира заливалась слезами и кричала на всю улицу.

— Маменька, — сказал на это Порфирыч строго: — ежели вы так продолжать будете, я, ей-богу, в полицию не постыжусь...

После этого Порфирыч перенес ругань от брата, нарочно приехавшего из деревни.

— Я с тобой, с подлецом, и говорить-то бог знает чего не возьму! — заключил свою речь брат и пошел к двери...

— Сейчас самовар готов, братец... — произнес все время молчавший Порфирыч и проводил разгневанного брата до ворот.

Преодолев такие трудности, Порфирыч приступил к старухе:

— Ну, старушка, ступай с богом...

— Что ты, очумел, что ли?

— Как очумел? дом мой! ступайте с вашим капиталом.

— Куда я пойду? Да я тебе все глаза выцарапаю, только ты заикнись.

Порфирыч порешил это дело повести через полицию, а старуха безмолвно скорчилась на печи.

Сознав, наконец, себя полным хозяином, Прохор Порфирыч с истинным благоговением произнес:

— Боже! Благодарю тя!..



III. ДЕЛА И ЗНАКОМСТВА

Так поселился Прохор Порфирыч в Растеряевой улице. Ветхая и забытая изба старухи оживилась, приосанилась; около нее несколько дней возились два поденщика: отставной раненый солдат, с засученными рукавами и панталонами, густо смазал ее глиной, таская за собой наполненное глиною корыто и шайку, из которой он по временам брызгал водою на стену; плотник с своей стороны усердно охаживал избу кругом, тщательно выбирая местечко, куда бы, не опасаясь падения избы, можно было загнать хороший гвоздь. Скоро ярко выбеленная изба пестрела повсюду множеством светлых планок, досок, досчатых четыреугольников, ярко вылегавших на почерневших и полусгнивших досках крыши, ворот и забора. И несмотря на такие старания, изба все-таки напоминала физиономию обезьяны, если посмотреть на нее сбоку: нижняя выпятившаяся челюсть соответствовала выпятившимся бревнам в фундаменте, вследствие чего окна верхним концом уходили в глубь избы, а нижним

выпирали наружу. В одно и то же время с преобразованием наружного вида избы шли и внутренние реформы. Прохор Порфирыч неутомимо вводил разные «положения»; для маменьки было «положение»: знать свое место, сидеть и дожидаться последнего часу; изюмы и сладкие малиновые наливки были отменены — «не такое время»; насчет старухи, которую не выжила никакая полиция, было положение «не касаться»: «хочет издохнуть — издыхай, не хочет — как угодно»; из домашних харчей ей не отпускалось ничего; маменька, убитая сыном, выговорила у него дозволение хотя в спокое доживать век и не трепаться около печки; Прохор Порфирыч попятился, припомнил маменьке ее недобропорядочную жизнь, но все-таки взял в стряпухи бабу, которая была тоже оплетена положениями: солдат не водить и не таскаться по соседям — «нечего слоны слонять» попусту; баба тотчас заступилась за свое правое дело и выговорила только одного солдата, и тот обещался жениться на ней после Святой.

Скоро явился солдат, расстегнул сюртук, закурил трубку, начал поплевывать по сторонам, запахло махоркой, послышались слова: «фитьфебиль», «чихаус», «каптинармус». За солдатом потихоньку вошла какая-то баба, спросила: «что, нашей курицы не видали?» и села. За ней другая, тоже насчет курицы, третья — пошел говор, дружба, словом, житье, которое Прохор Порфирыч не мог замуровать никакими положениями. Он изредка высовывал сюда голову и грозно произносил: «Черти! аль вы очумели?» Солдат прятал пылавшую трубку в карман, бабы замолкали, но через несколько времени начиналась та же самая история. Порфирыч поэтому держался преимущественно в своей половине.

Прохор Порфирыч выбрал себе на житье другую половину избы, отделенную от кухни сенями с земляным полом. Маленькая комнатка его хоть и смотрела окнами в забор, но зато не предвещала того близкого разрушения, которым ежеминутно грозило жилище маменьки: стены были довольно крепки и прямы, окна не так гнилы и не так ввалились внутрь комнаты; тут же была особая печка с лежанкой. Некрасивый вид комнаты, при деятельном старании Порфирыча, принял некоторое благообразие. Перед окнами стоял станок, на котором Порфирыч обыкновенно высверливал дуло револьвера и

зарядные отверстия в барабане; на этом же станке оттачивались как эти две штуки, так и все принадлежности замка, собачки, шомпола и другие части, которые доставляются кузнецом в самом аляповатом виде, едва-едва напоминающем настоящую форму оружия. Необходимые для этого инструменты были воткнуты за кожаный ремешок, прикрепленный к стене несколькими гвоздями. Над ними, у самого потолка, на больших гвоздях, болтались вырезанные из листового железа фасоны разных частей оружия; по ним можно было проследить все «последние» растеряевские новости в мастерстве Прохора Порфирыча. Без пособия каких бы то ни было руководств, без самомалейших признаков какого-нибудь печатного лоскута по этому предмету, Прохор Порфирыч всегда умел «поддеть» самую последнюю новинку. Проезжий офицер из Петербурга, помещик, облетевший весь мир и возвращающийся в отечество с двумя-тремя десятками заграничных вещиц, никогда почти не ускользали от зоркого глаза Прохора Порфирыча. Где-нибудь в гостинице Порфирыч убедительно просил такого проезжего дать вещицу «на фасон»; тут же, повертывая эту вещицу перед глазами, смекал, в чем дело; в крайних случаях прикидывал вещицу на бумагу и обводил наскоро карандашом, а до остального додумывался дома. Таким образом, в глуши, где-то в Растеряевой улице, Порфирыч знал, что на белом свете есть Адамс и Кольт, есть слово «система», которое он, впрочем, переводил в свою веру, отчего оно преображалось в «исцему». Мало того, пистолеты, выходившие из рук Порфирыча, носили изящно вытравленное клеймо: «Patent», смысл какового клейма оставался непроницаемою тайною как для Порфирыча, так и для травщика; но оба они знали, что когда работа украшена этим словом, то дают дороже.

Все остальное в комнате, не относившееся до мастерства, относилось исключительно до личных потребностей Прохора Порфирыча. Деревянная скрипучая кровать с грубым ковром, когда-то принадлежавшая растеряевскому барину, кожаная подушка того же барина, манишка на стене, сундук с тощими пожитками и, наконец, на лежанке, издали казавшейся грудою кирпичей, кусок тарелки с ваксой, сапожная щетка с оторванной верхней крышкой и оплывший сальный огарок в низеньком жестя-

ном подсвечнике. Все эти признаки убожества в глазах Прохора Порфирыча принимали совершенно другое значение, потому что говорили о *собственном его* хозяйстве.

Сени также не пропали даром: в них было «положено» спать подмастерью, которого Порфирыч скоро «припас» для себя. Подмастерье этот был не из т-ских; он был тамбовец и на счастье Порфирыча обладал таким множеством собственных бед, что вовсе не требовал за собою ни строгого присмотра, ни понуканья, ни ругательств. Он был почти вдвое старше Порфирыча, испытал наслаждение быть полным хозяином, имел *благородную* жену, которая и помутила всю его жизнь, доведя, наконец, до того, что он, Кривоногов, бежал из родного города, куда глаза глядят. В Т. проживал он без билета, что составляло его ежеминутную муку. Ко всем этим несчастиям присоединилось еще одно, едва ли не самое страшное, именно непомерная сердечная доброта, покорливость и ежеминутное сознание своей ничтожности. Такие беды сделали из него горчайшего пьяницу, но опасность попасть в пьяном виде в полицию, а потом в руки жены иногда могла удержать его в пределах одного шкалика в сутки. Прохор Порфирыч, имевший возможность по крайней мере раз тысячу убедиться в честности своего подмастерья, знавший полную его неспособность сделать какую-нибудь гнусность, все-таки, уходя из дому, заглядывал в кухню и говорил бабам:

— Присматривайте за этим молодцом-то!

Самою задушевною собеседницею подмастерья была Глафира; при ее помощи как-то таинственно являлась выпивка, соленый огурец, потом, благодаря им, тянулись долгие разговоры шопотом, ибо грозная тень Порфирыча невидимо витала в мастерской. Подмастерье рассказывал про свое имущество, что «всего было», как он с полицеймейстером пил шампанское на балконе, как ходил за женой в маскарад, куда она укатила с офицерами. Потом еще более глубоким шопотом присовокуплял, как жена его била и ругала. При этом дело происходило так: «Харя!» говорила ему жена, на что будто бы Кривоногов отвечал: «Покорнейше вас благодарю!» — «Рогожа!» — «Чувствительнейше вас благодарю! . .» Разлетится, разлетится, по щеке — хлоп! «Сделайте вашу милость, еще. . .»

После разных мытарств, перенесенных им от супруги, последняя однажды пожелала с ним помириться... «Я, говорит, тебя, Федя, ни на кого не променяю...» — «О?» — «Провалиться! Потому, я тебя без памяти обожаю...»

— Обрадовался я, признаться, — рассказывал Кривоногов. — «Пройдись со мной под ручку...» Подхватил, пошли. Шли-шли... «Зайдем сюда на минутку, вот в этот дом...» Изволь, говорю. Зашли. Завела она меня к какому-то военному, да и говорит: «Нельзя ли моему мужу лоб забрить?» Я как услыхал — прямо в окно, да бежать. Вот от этого-то и здесь очутился; не знаю, как отсюда-то бог вынесет...

Кривоногов вздыхал и принимался за работу.

Если иногда случалось, что подмастерье запивал и начинал поговаривать, что сам господин хозяин перед ним ничего не стоит, то хозяин, то есть Прохор Порфирыч, брал его за шиворот, тащил в амбар и, толкнув туда, запирал дверь на замок.

— И покорнейше вас благодарю! — говорил на это Кривоногов, очутившись где-нибудь в углу среди корыт и пустых мешков.

Обремененный разными невзгодами, подмастерье не переставая работал целые дни, и под защитою его двужильных трудов Прохор Порфирыч не спеша обделывал свои дела. Главною задачею его в эту пору было оставлять в своем кармане по возможности самую большую часть той красненькой, которая получалась за проданный револьвер, то есть отделять из нее *по возможности* как можно меньше в пользу кузнецов и других лиц, которые участвуют своими трудами, и уплачивать им, если можно, натурою, в «надобное» время. Сообразно с такими планами, Прохор Порфирыч особенно ценил только два дня в неделе: понедельник и субботу.

Понедельник был для него потому особенно дорог, почему для прочего рабочего люда он был невыносим. В понедельник Прохор Порфирыч делал дела свои потому, что вся «мастеровщина» города в этот день не имела сил ударить палец об палец, утверждая, что в этот день работают «лядкины детки», а все настоящие люди рыщут целый день, желая отдать душу дьяволу, только бы опохмелиться. И этот-то общий недуг доставляет в руку Порфирыча несколько таких недужных субъектов живьем.

Но для этого им приходилось пройти еще многое множество рук, всегда достаточно цепких и много способствующих успеху Порфирыча. Дело совершалось примерно таким путем.

Приятный для Прохора Порфирыча субъект пробуждался в понедельник в какой-то совершенно неизвестной ему местности. Только самое тщательное напряжение разбитой «после вчерашнего» головы приводило его к заключению, что это или архиерейская дача, за пять верст от города, или Засека, за четырнадцать верст, или, наконец, родная улица и жена со слезами, упреками или поднятыми кулаками. Успокоившись насчет местности, бедная голова мастерового успевает тотчас же проклясть свое каторжное существование, дает самый решительный зарок не пить, подкрепляя это самою искреннею и самою страшною клятвою, и только выговаривает себе льготу на нынешний день, и то не пить, а опохмелиться. Такое богатство мыслей совершенно не соответствует внешнему виду мастерового: на нем нет ни шапки, ни чуйки, куда-то исчезли новенькие «коневые» сапоги, но почему-то уцелела одна только «жилетка». Мастеровой понимает это событие так: около него возились не воры-разбойники, а, быть может, первые друзья-приятели, которые, точно так же, как и он, проснулись с готовыми лопнуть головами и такие же полураздетые или раздетые совсем. Тот, кто оставил на мастеровом «жилетку», думал так: «Чай, и ему надо похмелиться-то чем-нибудь!»

И пошел искать в другое место.

Сожаления о коневых сапогах и чуйке, терзания больной головы, проклятия мало-помалу исчезают в размышлениях над «жилеткой», и в особенности в сомнении относительно того, как на этот предмет посмотрит Данило Григорьич.

Полная, здоровая фигура Данилы Григорьича уже давным-давно красуется на высоком кабацком крыльце. Поправляя на животе поясок, исписанный словами какой-то молитвы, он солидно раскланивается с «стоющими» людьми или, понимая смысл понедельника, принимается набивать стойку целыми ворохами *переменок*. Под этим именем разумеется всякая *ношебная* рвань, совершенно не годная ни для какого употребления: старые халаты, сто лет тому назад пущенные семинаристами в заклад и

прошедшие огонь и воду, лишившись в житейской битве полы, рукавов, целого квадрата в спине и проч. Вся эта рвань предназначается для несчастных птиц понедельника, которые то и дело залетают сюда, оставляя в заклад чуйки, жилетки и облачаясь в это уродское тряпье для того, чтобы хоть в чем-нибудь добраться домой.

Весело похаживает Данило Григорьич; по временам он запевает какую-нибудь духовную песнь: «Господи, помилуй...» или идет за перегородку, откуда скоро, вместе с его смехом, слышится захлебывающийся женский смех.

— Грех! — слышно за перегородкой...

— Эва!.. — басит Данило Григорьич.

На крыльце кто-то оступился от слишком быстрого вбега, и перед Данилою Григорьичем, солидно обдергивающим подол ситцевой рубахи, вырастает полуобнаженная и словно на морозе трясущаяся фигура. Данило Григорьич спокойно помещается за стойкой.

— Сделл... милость! — хрипит фигура, подсовывая жилетку, и более ничего не в силах сказать. — Сделл... милость!

— Покажь-ко, за что миловать-то еще?

Начинается самая мучительная ревизия всех дыр жилета. Данило Григорьич трет его мокрым пальцем, рассматривает на свет, словно фальшивую бумажку.

— Сделл... милость! Ах ты, боже мой! а? — царапая всклокоченную голову, хрипит фигура. — Данило Григорьич! Сделл... милость... Ах тты, боже мой!

Мучитель швыряет жилет под стойку и говорит мастеровому, тыкая себя пальцем в грудь:

— Только един-ствен-но моя одна доброта!

— Отец!.. Да разве... Ах ты, боже мой!..

Данило Григорьич с сердцем откупоривает кривым шилом полштоф, с тем же ожесточением сует маленький стаканишко, склеенный и сургучом и замазкой, почему потерявший очень много в своем и без того незначительном объеме.

Ужас охватывает мастерового.

— Данило Григорьич! Побойся бога!

— Я говорю, истинно только из одной жалости. Поверь ты мне... Я с тебя бог знает чего не возьму

божиться... Для того, что видеть я не могу этого вашего мучения!

— Данило Григорьич! Отец! Да ты что же *это* мне?.. Опять, стало быть, на неделю испорчен? Данило Григорьич!

Целовальник молча ставит полштоф на прежнее место.

— Данило Григорьич! — умоляя, хрипит мастеровой. — Ради самого господа бога... Данило Григорьич!

— Я теб-бе говорю, — хочешь, а не хочешь...

— Сто-сто-стой! Что ты? Сделай милость!.. Ах ты, господи...

— Для господа, я так полагаю, пьянствовать нигде не показано... Ну-кось, поправляйся махонькой.

Мастеровой долго смотрит на стаканишко с самым жестоким презрением, с горя плюет в сторону и, наконец, пьет...

Долго тянется молчание. Слышно хрустение соленого огурца.

— Нет, — говорит, наконец, мастеровой, немного опомнившись: — Я все гляжу, какова обчистка?..

— Спроворено по закону...

— А?.. Одну жилетку?.. Это как же будет?..

— Скажи еще за жилетку-то «слава богу»!

— И, ей-богу, скажешь!..

— Еще как скажешь-то...

— Ей-ей... Еще, слава богу, хоть жилетку оставили!.. Ах ты, боже мой!. а?.. Обчи-и-стка-а... ай-ай-ай... а? Кан-ёвые сапоги одни, — душа вон, — пять целковых, одни! Да ведь какой конь-то!..

— Эти, что ль?

Целовальник вынес из-за перегородки два сапога...

— Он-ни! он-ни! — завопил мастеровой, простирая руки. — Ах, братец ты мой!.. Как есть они самые.

— Ну, теперь не воротишь!..

— Где воротить!.. не воротишь!

— Теперь нет!

— Теперь, избави бог, ни в жисть не вернуть... Они как есть!.. Обчистка!

Мастеровой развел руками.

— То-то и есть: говорил я тебе... ой, не больно конями-то своими вытанцовывай...

Идет долгое нравоучение.

— И опять же скажу, это на вас от господа бога попущение... Докуда вам маммоне угождать? .. — заключает целовальник.

Мастеровой вздыхает и скребет голову...

— Данило Григорьич! — умильно начинает он, голос его принимает какой-то сладкий оттенок. — Сделай милость! маленькую!

Данила Григорьича охватывает гнев. Не отвечая, он в одну секунду успевает нарядить посетителя в *переменку* и за плечи ведет к двери.

— Маленькую! отец!

— Ступ-пай! Ступай с богом!

— Полрюмочки!

— Ступай-ступай!

— Как же быть-то?

— Думай!

— Думать? Ведь и то, пожалуй, надо думать...

— Дело твое!

— Надо думать! .. Ничего не поделаешь! ..

Черной тучей вваливается мастеровой в свою лачугу и, не взглянув на омертвевшую жену, нетвердыми ногами направляется к кровати, предварительно с размаху налетая на угол печки и далеко отбрасывая пьяным телом люльку с ребенком, висящую тут же на покромках, прицепленных к потолку. Не успела жена всплеснуть руками, не успела сдавленным от ужаса голосом прошептать: «разбойник!» — как супруг ее, с каким-то ворчаньем бросившийся ничком на постель, уже заснул мертвым сном и храпел на всю лачугу. Испуганный этим храпом ребенок вздрагивал ногами и плакал. Оцепененье бедной бабы разрешается долгими слезами и причитаньями... А муж все храпит... Наконец рыдающая жена решается на минуточку сходить к соседке. Наскоро рассказывает она приятельнице, в чем дело, занимает до вечера хлеба и тотчас же возвращается домой. Прямо под ноги ей бросаются из избы три собаки, с явными признаками молока на морде. Чуя погибель молока, припасенного ребенку, она делает торопливый шаг через порог и наталкивается на пустой сундук с отломанной крышкой; в сундуке нет платья, на стене нет старой чуйки, на кровати нет мужа, а люлька с ребенком описывает по избе чудовищные круги, попадая то в печку, то в стену. Оконча-

тельно убитая баба долго не может ничего сообразить и вдруг пускается вдогонку.

В это время муж ее с каким-то истинно артистическим азартом выделывает в дальнем конце улицы удивительные скачки: иногда он словно подплясывает, а вместе с ним пляшет и хвост женского платья, выбившегося из-под «переменки».

— Держи, держи!.. — голосит баба, путаясь в подоле отнявшимися и онемевшими ногами: — ах, ах, ах... Разбойник! Грабитель!

Какой-то лабазник стал ей поперек дороги, растопырив руки, словно останавливал вырвавшуюся лошадь. Прохожий солдат обнял на ходу и раза два повернулся с ней. Остановился и засмеялся чиновник с женой... А супруг в это время уже поровнялся с храминою Данилы Григорьича и с разлета всем телом распахнул обе половинки дверей.

Добралась, наконец, и баба. Мужа не было.

— Где муж? — едва переводя дух, закричала она. — Подавай! Слышишь? Сейчас ты мне его подавай, кровопийцу...

— Я с твоим мужем не спал! — категорически ответил Данило Григорьич. — Ты его супруга, ты и должна его при себе сохранять.

— Подавай, я тебе говорю!

Баба вся помертвела от негодования.

— Ссию минутую мне мужа маво! Знать я этого не хочу!..

Целовальник усмехнулся.

— Малаша! — произнес он, направляя слова за перегородку. — Вот баба мужа обронила... Сделайте милость, присоветуйте?

— Ххи-хи-и-их-хи-хи-хи! — раскатилось за перегородкой.

— Шкура! — заорала баба. — Мне на твои смехи наплевать!.. Твое дело распутничать, а я ребенку мать!

— Чтоб те разорвало!..

— Ах ты!..

— Что за Севастополь такой? — громче всех закричал целовальник. — Ишь, генерал Бебутов какой.. мутить сюда пришла? Так я опять же тебе скажу — мужа твоего здесь не было!

— Не было-о?

— Нету! Проваливай с молитвой! К Фомину убежал!

— К Фомину-у?

— К нему. С бог-гом! В окно выскочил.

Баба замолчала, тихонько заплакала и медленно пошла к двери.

— Все ли взяла? Как бы чего не забыть? .. — подтрунивал целовальник.

— «А я вот-он, а я во-о...» — вдруг запел кто-то...

Баба узнала голос мужа. Но где раздавалось это пение — на чердаке ли, под полом ли, или на улице — решительно разобрать было нельзя. Тем не менее баба бросилась на хохотавшего целовальника.

— Подавай! Сейчас подавай! Я тебе голову разобью!

Хохотал целовальник, хохотала баба за перегородкой, и пение опять возобновилось.

— Разбойники! Дьяволы! У меня корки нету... Поддав-вай сейчас!

— А я вот-он, а я во, а я во, а я во, — хооо! ..

Смех, гам, слезы...

— Ну, с богом! — заговорил целовальник решительно и повел бабу на лестницу.

— Я на тебя, изверг ты этакой, — доносилось с улицы: — во сто раз наведу, ма-ашенник! Я тебя, живодера этакого, начальством заставлю...

— Ду-ура! Нету такого начальства, башка-а! Где же это ты такое начальство нашла, чтобы не пить? рожа-а! — резко и внушительно говорил целовальник, высовывая голову на улицу. — В начальстве ты на маковое зерно не смысли-ишь! Какого ты начальства будешь искать? Прочь отсюда, падаль!

Баба долго кричала на улице.

Целовальник, разгоряченный последним монологом, плотно захлопывал дверцы.

— Не торопись! — остановил его Прохор Порфирыч, отпихивая дверь: — совсем было прищемил! ..

— А! Прохор Порфирыч! Доброго здоровья.. Виноват, батюшка! С эстими с бабами то есть, не приведи бог... Прошу покорно.

— Ай ушла? — шопотом проговорил мастеровой, приподымая головой крышку маленького погреба, устроенного под полом за стойкой, у подножия Данилы Григорьича.

— Ушла! .. Ну, брат, у тебя ба-аба!

— О-о! .. У меня баба смерть!

Мастеровой выполз из погреба весь в паутине и стал доедать пеклеванку..

— Какую жуть нагнала-а? — спросил он, улыбаясь, у целовальника.

Тот тряхнул головой и обратился к гостю:

— Ну, что же, Прохор Порфирыч, как бог милует?

— Вашими молитвами.

— Нашими? Дай господи! За тобой двадцать две...

— Ну что ж, — сказал мастеровой: — эко беда какая!

В это время из-за перегородки выползла дородная молодая женщина, с большой грудью, колыхавшейся под белым фартуком, с распотелым свежим лицом и синими глазами; на голове у нее был платок, чуть связанный концами на груди. По дородности, лени и множеству всего красного, навешанного на ней, можно было заключить, что целовальник «держал при себе бабу» на всякий случай.

Прохор Порфирыч засвидетельствовал ей почтение.

— Что это, Данило Григорьич, — заговорила она: — вы этих баб пущаете... Только одна срамота через это!

— Будьте покойны! — вмешался захмелевший мастеровой: — она не посмеет этого. Главное дело, — обратился он к Порфирычу шопотом: — я ей сказал: Алена! .. Я этого не могу, чтобы каждый год дитё! ... чтобы этого не было! ... Мне такое дело нельзя!

— Ну и что же? — спросил целовальник.

— Говорит: не буду! Потому я строго...

— Маланья! — ухмыляясь, произнес целовальник. — Вот бы этак-то... а?

— Вы всё с глупостями.

— Ххе-ххе-хxe! ..

Мастеровой тоже засмеялся и прибавил:

— Нет, надо стараться! .. И так голова кругом ходит!

Целовальничья баба отвернулась. Прохор Порфирыч кашлянул и вступил с ней в разговор:

— Ну что же, Маланья Иванна, по своем по Каширу тужите?

— Чего ж об нем... Только что сродственники...

— Да-с... родные?

— Родные! Только что вот это. Конечно, жалко, ну, все я такой каторги не вижу, когда братец Иван Филиппыч одним мастерством своим меня задушил... Они по кошачьей части... одно погляденье на этакую гадость... тьфу!

— А все деньги!..

— Ну-у уж... гадость какая!

— Данило Григорьич! — шептал мастеровой, колотя себя в грудь. — Перед истинным богом...

— Ты еще мне за стекло должен! Помнишь?.. — гудел Данило Григорьич.

— Данило Григорьич!..

— Ну, Малань Иванна! а в нашем городе что же вы? пужаетесь?

— Пужаюсь!

— Пужливы?

— Страсть, как пужлива... Сейчас вся задрожу!..

— Да, дда, да... Место новое...

— Да и признаться, все другое, все другое... За что ни возьмись... Опять народ горластый...

— П-па каакому же случаю я тебе дам? — восклицает в гневе Данило Григорьич.

— Данило Григорьич! Отец!

— Народ горластый и опять же, чуть мало-мало, сейчас драка! Норовит как бы кого...

— В ухо!.. Это верно! Потому вы нежные?.. — покашиваясь на мастерового, ласково произносит Прохор Порфирыч.

— Нежная!..

— Умру! умру! — заорал мастеровой, упав на колени.

— А, чудак человек! Ну, из-за чего же я...

— Каплю, дьявол, каплю!

— Что? Что такое? — заговорил, нехотя повернув голову к спорящим, Прохор Порфирыч. — В чем расчет?

— Да, ей-богу, совсем малый взбесился... Просит колупнуть, но как же я ему могу дать?

— Любезный, заступись!.. Я ему, душегубу, за бесценок цвол (ствол ружейный). Цена ему два целковых.. Прошу полштоф, а?

— Что же ты, Данило Григорьич! — произнес Порфирыч.

— Ей-ей не могу. Мы тоже с этого живем...

— Покажь! — сказал Порфирыч: — что за цвол?

У мастерового отлегло от сердца.

— Друг! — заговорил он, осторожно касаясь груди Порфирыча: — тебе перед истинным богом поручусь, полпуда пороху сыпь.

— Посмотрим, попытаем.

Целовальник вынес кованый пистолетный ствол, на котором мелом были сделаны какие-то черты. Прохор Порфирыч принялся его пристально рассматривать.

— Сейчас околеть, — говорил мастеровой: — Дюженцеву делал!.. Еще к той субботе велел... Я было понадеялся, понес ему в субботу-ту, а его, угорелого, дома нету... Рыбу, вишь, пошел ловить... Ах, мол, думаю, чтоб тебе!.. Ну, оставить-то без него поопасался!..

— Да ко мне в сохранное место и принес! — добавил целовальник: — чтобы лучше он проспиртовался... чтобы крепче!

Мастеровой засмеялся...

— Оно одно на одно и вышло, — проговорил он: — Дюженцев этот и с рыбою-то совсем пьяный утоп...

— Вот так-то!

— Ах, и цвол же! ежели бы на охотника.

— Это что же такое?.. — произнес Порфирыч, отыскав какой-то изъян.

— Это-то? Да друг ты мой!

— Я говорю, это что? Это работа?

— Ну, ей-богу, это самое пустое: чуть-чуть молоточком прищемленно...

— Я говорю, это работа?

— Да ты сейчас ее подпилком! Она ничуть, ничево!

— Все я же? Я плати, я и подпилком? Получи, брат...

Прохор Порфирыч кладет ствол на стойку, садится на прежнее место и, делая папиросу, говорит бабе:

— Так пужаетесь?

— Пужаюсь! Я все пужжаюсь...

— Ангел! — перебивает мастеровой. — Какая твоя цена? Я на все, только хоть чуточку мне помощи-защиты, потому мне смерть.

— Да какая моя цена? — солидно и неторопливо говорит Порфирыч: — Данилу Григорьичу, чать, рубль ассигнациями за него надо?

— Это надо!.. Это беспременно!..

— Вот то-то! Это раз. Все я же плати... А второе дело, это колдобина, на цволу-то, это тоже мне не статья...

— Да я тебе, сейчас умереть...

— Погоди! Ну, пущай я сам как никак ее сровняю, все же набавки я большой не в силах дать...

— Ну, примерно? на глазомер?

— Да примерно, что же? Два больших полыхнешь за мое здоровье; больше я не осилю...

— Куда ж это ты бога-то девал?

— Ну, уж это дело наше.

— Ты про бога своими пьяными устами не очень! — прибавляет целовальник.

Настает молчание.

— Так вы, Малань Иванна, пужаетесь все?

— Все пужаюсь. Место новое!

— Это так. Опасно!

— Три! — отчаянно вскрикивает мастеровой. — Чтоб вам всем подавиться...

— Давиться нам нечего, — спокойно произносят целовальник и Порфирыч.

— А что «три», — прибавляет последний: — это я еще подумаю.

— Тьфу! Чтоб вам!

— Дай-кось цвол-то!

— Ты меня втрое пуще моей му́ки измучил!

Порфирыч снова рассматривает ствол и, наконец, нехотя произносит:

— Дай ему, Данило Григорьич!

— Три?

— Да уж давай три... Что с ним будешь делать... Малый-то дюже тово.. захворал «чихоткой»!

Мастеровой почти залпом пьет три больших стакана по пятачку, обдает всю компанию целым проливнем нецеремонной брани и, снова пьяный, снова разбитый, при помощи услужливого толчка, пущенного услужливым целовальником, скатывается с лестницы, считая ступени своим обессилевшим телом. Прохор Порфирыч спокойно

прячет в карман доставшийся ему за бесценок ствол и снова обращается к целовальничьей бабе, предварительно вскинув ногу на ногу.

— Так вы, Малань Иванна, утверждаете, что главнее по кошачьей части, то есть на родине?..

— По кошачьей! Такие неприятности!

— Конечно! Какое же удовольствие?

Такой образ действия Прохор Порфирыч называет уменьем потрафлять в «надобную минуту», и в понедельник мог им пользоваться в полное удовольствие, употребляя при этом почти одни и те же фразы, ибо общий недуг понедельника слагал сцены с совершенно одинаковым содержанием.

Побеседовав с целовальничихой, Прохор Порфирыч отправлялся или домой, унося с собою груду шутя приобретенных вещей, или же шел куда-нибудь в другое небезвыгодное место. Между его знакомыми жил на той стороне мещанин Лубков, который был для Порфирыча выгоден одинаково во все дни недели.

Мещанин Лубков жил в большом ветхом доме, с огромной гнилой крышей. Самая фигура дома давала некоторое понятие о характере хозяина. Гнилые рамы в окнах, прилипнувшие к ним тонкие кисейные занавески мутносинего цвета, оторванные и болтавшиеся на одной петле ставни, аляповатые подпорки к дому, упиравшиеся одним концом чуть не в середину улицы, а другим в выпятившуюся гнилую стену, все это весьма обстоятельно дополняло беспечную фигуру хозяина. В летнее время он по целым дням сидел на ступеньках своей лавчонки. Вследствие жары и тучности ноги были босиком, на плечах неизменно присутствовал довольно ветхий халат, значительно пожелтелый от поту и с особенным старанием облипавший выпуклости на тучном хозяйском теле. Такой легкий летний костюм завершался картузом, истрепанным и засаленным с затылка до последней степени. Беспорядок, отпечатывавшийся на доме и на хозяине, отмечал едва ли не в большей степени и все действия его. Сначала он занимался разведением фруктовых дерев; дело тянулось до смерти жены, после

чего Лубков вдруг начал для разнообразия торговать говядиной, но, не умея «расчесть», стал давать в долг и проторговался. Кризисы такие Лубков переносил необыкновенно спокойно, и в тот момент, когда, например, торговля говядиной была решительно невозможна, он вел за рога корову на торг, продавал ее, на вырученные деньги покупал водовозку и принимался, не спеша, за водовозничество. Точно с таким же нерасчетом завел он кабак, который сам же и посещал чаще всех, хлебную пекарню и проч., и на всем спокойно прогорел. К довершению своей добродушно-бестолковой жизни он опять женился на молоденькой девушке, имея на плечах пятьдесят лет, и благодаря этому пассажу имел возможность хоть раз в жизни чему-нибудь удивиться и вытаращить глаза. У него родился сын. Событие было до того неожиданно, что Лубков решился оставить на некоторое время свое любимое местопребывание, крыльцо, и направился к жене.

— Наталья Тимофеевна, — сказал он ей, почесывая голову: — это... что же такое будет?

— Убирайся ты отсюда... знаешь куда? много ты тут понимаешь!

— Да и то ничего не разберу...

— Пшол!

Через минуту Лубков попрежнему сидел на крыльце. Спокойствие снова осенило его. Раздумывая над случившимся, он улыбался и бормотал:

— К-комиссия...

Шли годы, и нередко ребята, то есть мастеровой народ, имея случай посмеяться над Лубковым, извещали его о близкой прибыли в то время, когда он, казалось, и не подозревал этого.

Несколько лет таких неожиданностей и насмешек снова нарушили покой Лубкова. Он вторично покинул свое седалище с целью поговорить с женой.

— Наталья Тимофеевна! — сказал он ей: — вы, сделайте милость, осторожнее...

— Нет, ты сперва двадцать раз подавись, да тогда и приходи с разговорами!

— Хоть по крайности сказывайтесь мне... в случае чего.

— Пошел!..

Постигнув наконец, что ему безвинно суждено быть отцом многочисленного семейства, Лубков на шутки ребят отвечал:

— А ты бы, умный человек, помалчивал бы, ей-богу! Во сто бы тысяч раз было превосходнее, ежели бы ты молчком норовил... так-то!

В настоящее время у него попрежнему существовала лавка, но род промышленности был совершенно непостижим, потому что лавка была почти пуста. В углах висели большие гирлянды паутины, с потолка свешивалась какая-то веревка, которую Лубков собирался снять в течение десяти лет, а на полках помещались следующие предметы: ящики с ржавыми гвоздями, куски железа, шкворень, всякий железный лом и полштоф с водкой. Более ничего в лавке и не было, кроме дивана, покрытого рогожей. На этом диване любила сидеть жена Лубкова и обыкновенно во время этого сиденья занималась руганьем мужа на все лады. Неподвижная спина Лубкова, подставленная под ругательские речи жены, ленивое почесыванье за ухом или в голове, среди самых патетических мест ее, смертельно раздражали разгневанную супругу.

— Демон! — вскрикивала она в ужасе.

Муж встряхивал головой, и сдвинутый на сторону картуз снова сидел на прежнем месте.

Другого ответа не было.

В понедельник в лавке Лубкова было довольно много посетителей и происходило что-то вроде торговли. Дело в том, что потребность опохмелиться загоняла даже к Лубкову целые толпы беднейших подмастерьев, которые, за неимением своего, тащили добро хозяйское: в сапогах или потаенных карманах, приделанных внутри чуйки, тащили они к Лубкову медную «обтирню» или дрязгу, целые вороха всякого сборного железа по копейке или по две за фунт. Все это у него тотчас же покупали люди понимающие. Иногда и сам Лубков принимался как будто делать дело: он выбирал из сборного железа годные в дело петли, крючки, ключи, откладывал их в особое место и при случае продавал не без выгоды. Иногда в общей массе железного лома попадались какие-нибудь редкостные вещицы, например, замок с фо-

кусом и таинственным механизмом. Ради этих диковинок заходил сюда и Прохор Порфирыч, имея в виду «охотников», которым он сбывал любопытные вещи за хорошую цену, платя Лубкову копейками, на что, впрочем, тот не претендовал.

Лубков, по обыкновению, молча сидел на ступеньках крыльца, когда с ним поровнялся Порфирыч.

— А-а! Батюшка, Прохор Порфирыч! В кои-то веки!..

— Что же это ты в магазине-то своем не сидишь?

— Да так надо сказать, что приказчики у меня там орудуют...

— Торговля?

— Хе-хxе-хе.

Порфирыч вошел в лавку и, поместившись на диване, принялся делать папироску.

— Подтить маленичка хлебушка искупить, — произнес хозяин, кряхтя поднимаясь с сиденья, и пошел в лавчонку напротив; под парусинным пологом торговал хлебник, на прилавке были навалены булки, калачи, огурцы, и стояла толпа бутылок с квасом, шипевшим от жары. Подойдя к лавчонке, Лубков долго чесал спину, глубоко, повидимому, вдумываясь и в квасные бутылки, и в огурцы, и в ковриги хлеба. Наконец он коснулся пальцем о белый весовой хлеб и сказал:

— Ну-кося! замахнись на три фунтика!

В то же время в самом «магазине» происходила следующая сцена. Рядом с Прохором Порфирычем на диване поместилась молодая черномазенькая смазливая жена Лубкова, в маленькой шерстяной косынке на плечах, изображавшей красных и черных змей или, пожалуй, пиявок.

— Ты что же, домовой, — говорила она Порфирычу: — когда же ты мне платок-то принесешь?

— Да ты и без платка выйдешь!

— Ну, это ты вот, на-кось!

— Ей-богу, выйдешь! Потому я на тебя твоему главному донесу!

— Мужу-то? Лешему-то?

— Н-нет, Евстигнею...

— Прошка! — ошарашив по плечу еще глупее улыбавшегося Порфирыча, воскликнула собеседница: — я тебе тогда, издохнуть! башку прошибу...

— Хе-ххе-хе!

Молчание...

— Прохор! — заговорила опять жена Лубкова. — Если это твой поступок, то я с тобой, со свиньей... Тьфу! Приходи вечером... Чорт с тобой!..

— Без платка?

— Возьмешь с тебя, с выжиги.

И она еще раз огрела его по плечу.

Порфирыч улыбался во все лицо.

В это время на пороге показался Лубков; он нес подмышкой большой кусок весового хлеба, придерживая другой рукой конец полы своего халата, которая была наполнена огурцами. Свалив все это на стойку, он взял один огурец и, шмыгая им по боку, говорил Порфирычу:

— Какая, братец ты мой, комедия случилась... Алешку Зуева, чать, знаешь?

— Ну?

— Ну. То есть истинно со смеху уморил!.. Малый-то замотался, опохмелиться нечем. Что будешь делать!.. Сижу я, никак вчерась, вот так-то на крылечке, гляжу, что такое: тащит человек на себе ровно бы ворота какие. Посмотрю, посмотрю — ко мне! «Алеха!» — «Я». — «Что ты, дурак?» — «Да вот, говорит, сделай милость, нет ли на полштоф, я тебе приволок махину в сто серебром...» — «Что такое?» — «Надгробие», говорит. Так я и покатился! Это он с кладбища сволок. «Почитай-кось, говорит, что тут написано?..» Начал я разбирать: «Помм-яни». — «Ну, вот я и помяну», говорит... Хе-хе-хе!

Смех...

Лубков откусывает пол-огурца.

— Каммедия! — говорит он, усаживаясь снова на крылечке.

Настает общее молчание. Жена Лубкова грозит кулаком около самого носа Порфирыча. Тот сладко улыбается, полузакрыв глаза...

В обиталище Лубкова он делал дела пополам с шуткой; но я не стану изображать, каким образом тут в руки Порфирыча попадала та или другая нужная ему вещица, отрытая в ящике с сборным железом. Все это делается «спрохвалá», тянется от нечего делать долго, но вместе с тем, благодаря талантам Порфирыча, не носит на себе ничего отталкивающего. Самый процесс обира-

ния Лубкова весьма мил. Жадности или алчности не было вообще заметно в действиях Прохора Порфирыча: на его долю приходилось слишком много такого, что можно было брать наверняка, без подвохов и подходов; да кроме того, даже при таком тихом образе действий, Порфирыч мог еще подготовлять себе *надобную* минуту. Уходя от нужного человека домой, он находил полную возможность сказать ему: «Так смотри же, *за тобой* осталось... Помни!» Вообще, особенность Прохора Порфирыча состояла в уменье смотреть на бедствующего ближнего одновременно и с презрительным сожалением и с холодным равнодушием и расчетом, да еще в том, что такой взгляд осуществлен им на деле прежде множества других растеряевцев, тоже понимавших *дело,* но не знавших еще, как сладить с собственным сердцем.

Взяв от понедельника все, что можно взять наверняка, Прохор Порфирыч, спокойный и довольный, возвращался домой. Поджидая у перевоза лодку, он присел на лавочке, закурил папироску и разговорился с своим соседом. Это был старик лет шестидесяти, с зеленоватой бородой, по всем приметам заводский мастер. На коленях он держал большой мешок с углем.

— Что же, ты бы работы поискал, — говорил внушительно Прохор Порфирыч.

— Друг! работы? По моим летам теперича надо бы по-настоящему спокой, а я вон...

Старик как-то пихнул мешок с углем.

— Стало быть, нету, — прибавил он. — Что я знаю? Всю жизнь колесо вертел, это разве куда годится?..

— Плохо! Ну, и... того, потаскиваешь уголек-то?

— И — да! братец мой... Я в эфтом не запираюсь: которые господа у меня берут, те это знают: «Что, старичок, подтибрил?» — «Так точно, говорю, васскородие!..» Так-то! Ничего не поделаешь!

Старик замолчал и потом что-то начал шептать Порфирычу на ухо, но тот его тотчас же остановил.

— Ты, старина, таких слов остерегайся!

Старик вздохнул. Лодка причалила к берегу, и в нее вошла толпа пассажиров: «казючка» (женщина зареченской стороны), больничный солдат с книгой, два мещанина, старик и Прохор Порфирыч. Лодка тихо отплыла от берега.

— Вытащили его? — спрашивал один мещанин другого.

— Вытащили... Главная причина, пять дён сыскать не могли: шарили, шарили... Раз двадцать невода закидывали, нет, да нá поди... А он, что же? какую он штуку удрал!..

— Н-ну?

— Знаешь ключи-то у берега? Он туда и сковырнись, засел в дыру-то, нет — да и полно!

— Вот тоже наше дело, — заговорил солдат с книгой. — Я говорю: васскородие, нешто голыми людей хоронить показано где? А он мне...

— Это к чему же речь ваша клонит? — иронически перебил Порфирыч.

— Чево это?

— В как-ком, говорю, смысле?

Старик прищурился и, видимо, не расслышал иронических слов соседа.

— Он-то, что ль? — заговорил старик. — О-о-о! Он смыслит! Еще как концы-то прячет! Ты, говорит, богом тоже в наготе рожден. Вона ка-ак!

Порфирыч, откинувшись к краю лодки, с презрительной улыбкой глядел на полуглухого старика, который начал медленно набивать табаком свой золотушный нос.

— Он, брат, пон-нимает!

Выйдя на берег, Порфирыч повернул налево, мимо каменной стены архиерейского двора. У задних ворот, выходящих на реку, стояло несколько консисторских чиновников в вицмундирах; одни торопливо докуривали папиросы, другие упражнялись в пускании по воде камешков рикошетом и делали при этом самые атлетические позы. У берега бабы и солдаты стирали белье, шлепая вальками. Порфирыч пошел городским садом. На лавке, среди всеобщей пустынности, сидел какой-то отставной чиновник, в одном люстриновом пальто и в картузе с красным околышем. Это современный капитан Копейкин. Принеся на алтарь отечества все во время севастопольской кампании, то есть съев сотни патриотических обедов, устраивавшихся для ополченцев, он и теперь как будто ожидает возвращения такого же счастливого времени. Рядом с ним была женщина подозрительного свойства; она как-то особенно пристально

всматривалась в лицо проходившего Порфирыча и делала томные глаза.

— Костенька! — сказала она: — мне скучно!

— А мне чорт с тобой! — злобно прорычал собеседник.

— Как вы вспыльчивы!

Скука, жара...

В середине сада, в кругу, обставленном разросшимися акациями, сидит несколько темных личностей, что-то оборванное, разбитое; одни дремлют, прислонившись спиной к дереву, другие лежат на лавке, подставив спину солнцу.

— Посмотрите-ка, голубчики, что он со мной сделал, — говорит какой-то мастеровой и отнимает от локтя огромный газетный лист. Локоть оказывается разбитым, льет кровь.

— Хло-обысну-л! — говорит кто-то.

— А? И за что же, голубчики вы мои, он меня этак-то изувечил, как вы полагаете, а? Прросто удивление! Вхожу я к нему и только два словечка всего и сказал-то: одолжи, говорю, мне, Тимофеюшко, на копеечку хренку! Только всего и сказал-то, а? и заместо того, что же?

Все удивились. Прохор Порфирыч понял, что у Тимофеюшки, наверно, теперь расшиблены оба локтя. Он закурил папироску и вышел из сада.

Пошли длинные безмолвные улицы, длинные заборы, взрытые тротуары.

Тишина. Скука. Жара.

— Держи! держи! — раздавалось вдруг, и на перекрестке мелькала фигура улепетывавшего от жены мастерового.

«Понедельничают еще!..» — думал Прохор Порфирыч.

Наставал отдых. Под защитою «двужильных» трудов Кривоногова Прохор Порфирыч имел возможность иногда ничего не делать целую неделю, вплоть до субботы. Время отдыха, проводимое другими мастеровыми обыкновенно в кабаке, непьющему мастеровому решительно некуда деть. (Так было двадцать лет назад.)

Предоставленный самому себе, он чувствует себя очень неловко: что-то, глубоко задавленное трудом, в эту пору как будто начинает оживать, чего-то хочется, какие-то странные мысли залетают в голову и, застывая в форме неразрешенного вопроса, еще более тяготят малого: дело оканчивается или сном, или кабаками.

Прохор Порфирыч в свободное время принимался посещать знакомых и таким образом избегал обоих несчастий. Зеленый, довольно объемистый сундук его мог указать еще другую пользу знакомств: наполнявшие его разного рода, длины и вида брюки и сюртуки были подарки за ту или другую услугу от разных знакомых. Правда, все эти подарки были довольно дряхлы и засалены, но Прохор Порфирыч умел скрыть эти недостатки не только от глаз посторонних, но, можно сказать наверное, и от самого себя; он был уверен и мог уверить кого угодно из растеряевцев, что это вот, например, сукно аглицкое, этот жилет французского покроя, а такого сукна с искрой, которым покрыто пальто, теперь нигде отыскать невозможно. Знакомился Прохор Порфирыч только с благородными, потому что сам он тоже благородный, и еще потому, что благородный человек не скажет: «угости», а, напротив, угостит сам.

Иногда он был до того глупо доволен своими «благородными» знакомствами, что, казалось, даже терял некоторую долю расчетливости, чего, в сущности, никак бы не могло быть.

После обеда, когда Кривоногов лег в сенях отдохнуть, Прохор Порфирыч тщательно украсил себя чем мог, запасся коротенькою сломанною тросточкою, подарок растеряевского живописца, и не спеша отправился попить чайку и посидеть к чиновнику Богоборцеву.

Знакомство с этим чиновником завязалось благодаря кахетинской курице, забежавшей к Порфирычу и доставленной им в целости хозяину, то есть Богоборцеву. Кроме непреодолимой страсти к курам, Богоборцев имел множество особенностей, совершенно выделявших его из класса «чиновников». Его не интересовали канцелярские тайны и чиновнические разговоры столько, сколько конная, оранье прасолов и цыган; любимым зрелищем его была драка, которую он всемерно старался «подгвазживать», то есть раззадоривать. Любил слушать двухорные

концерты и с глубоким вниманием смотрел, как гоняют «сквозь строй», и проч. Книг он не читал ни одной, хотя был уверен, что духовные книги неизмеримо выше светских, но все-таки не читал и духовных. Относительно политики полагал, что «все наши». В двенадцатом году *мы* всех взяли. На поляков сердился и советовал их уничтожить. Насчет внутреннего устройства собственной персоны он не имел никакого понятия; знал, что в человеке есть сердце, «душа», живот, но в каком порядке размещены эти предметы: душа, живот и сердце, — объяснить не мог. Среди сменяющихся поколений, или так называемой «реки времен», господин Богоборцев представлял собою скалу, о которую разбиваются всякие «направления», «плоды реформ», «отрадные явления» и явления, над которыми «можно призадуматься». Все это, бушующее около него даже в провинции, не имело сил хоть на волосок оттянуть его от любимого окошка, где по вечерам Богоборцев неизменно присутствовал и при этом обыкновенно пел весьма нежным голосом:

— «Вво-об-облаце ле-эхце-э. . .»

От жары в квартире Богоборцева были заперты ставни. Раскаленный, отвратительный воздух наполнял сени. Прохор Порфирыч вошел в горницу. Хозяин сидел в полуосвещенной комнате около стола и доедал обед.

— А! Приятель! — радостно сказал он.

— Здравствуйте, Егор Матвеич! Кушайте!

Хозяин отодвинул блюдо и почувствовал, что сыт по горло.

— Ффу, батюшки. . .

— Жарко-с! — говорил Порфирыч, отирая лицо платком. . .

— Беда! — сказал хозяин.

Начался вялый разговор, поминутно прекращавшийся за отсутствием всяких новостей. Обоюдные усилия хозяина и гостя завязать разговор были напрасны. Наконец ударили к вечерне.

— Э-э-э! — радостно произнес хозяин. — Самоварчик пора. Авдоть! Авдотья-а! . . .

Ответа не было.

— Что она, никак оглохла?

Хозяин вышел в другую комнату, потом в сени. Порфирыч сел посвободнее, оглянул комнату — на стенах

висели рамки с разными редкостями: птица, сделанная из настоящих перьев, наклеенных на бумагу; «отче наш», написанный в виде креста, с копьями по бокам; «верую», в виде пылающего сердца. Только такого рода редкостные вещи интересовали Богоборцева в области искусств. Во всей комнате была одна картина, изображавшая людей, но и та попала сюда совершенно случайно. Не понимая ее содержания, Богоборцев был глубоко уверен, что теперь таких картин уже нет нигде. Как любителю редкостей, Прохор Порфирыч часто «всучивал» Богоборцеву разные таинственные замки и прочие вещи, добытые у Лубкова.

Хозяин возвратился с прежним упорным желанием завязать разговор. Прохор Порфирыч, ужаснувшись предстоявшей каторги, прямо ударил в любимую тему хозяина.

— Как куры, Егор Матвеич? — спросил он.

— Что, брат! Горе мое с этими курами! Главное дело, негде держать!

— Это неловко-с!

Хозяин вынимал из шкафа чайную посуду.

— Курице надобен простор, — говорил он: — а я ее в бане морю... Коли хочешь, пройдемся?

Гость и хозяин пошли. Егор Матвеич прошел двор, нагнувшись под веревкой, протянутой для белья, вошел в сад и направился к бане.

— Негде им разойтись-то! — оборачиваясь, говорил он: — вот!.. Выпусти — украдут!

В темной бане бродило по полу с писком и криком несколько породистых кур и множество цыплят; все это население загомозилось при виде хозяина. Цыплята начали пищать почти не переставая. Один цыпленок забрался на бочку со щелоком и поминутно взмахивал крыльями, опасаясь опрокинуться в пропасть.

— Эко у вас, Егор Матвеич, кочет-то богатый!

— Горлопан-то? о-о-о! он у меня беда. Ка-агда глаза-то продерет, почнет голосить, смерть!.. Кочет бедовый!.. Вот кахетинки меня сконфузили... Цыпляки как есть все зачичкались.

Хозяин подхватил одного цыпленка с полу и вынес к свету.

— Вот. Погляди-кось!

Цыпленок еле раскрывал глаза и чуть-чуть издавал плаксивые звуки.

— С чего же это они?

— Скука! со скуки. тоска! взаперти, выпустить боюсь, народ, сам знаешь, какой?

— Это что! ..

— Вот то-то! Ну, и грустит!

Хозяин пустил цыпленка, отворил передбанник и показал породистую индюшку.

— Вот тоже охота у Филипп Львовича!— проговорил Порфирыч, но вдруг был поражен неожиданной переменою, происшедшей в хозяине.

На лице его выразилось презрение. Филипп Львович был тоже охотник и, стало быть, соперник.

— Много вы с твоим Филипп Львовичем в охоте смыслите? О-о-хота! Много вы постигаете в охоте-то! .. — покраснев, в гневе произнес хозяин.

— Егор Матвеич! — испуганно проговорил совершенно струсивший Порфирыч. — Я это истинно, перед богом упомянул, то есть так...

— Вам еще до настоящей охоты-то сто лет расти осталось! У Филипп Львовича охота!

— Егор Матвеич! Богом вам божусь, я даже сам *обезживотел* со смеху, когда этот Филипп Львович сказал: «У меня, говорит, охота»... Ей-ей... Так и покатился! Собственно, только для этого и упомянул!

— У него охота!

— Ей-богу... Просто обезживотел! У меня, говорит, охота! .. Так я и покатился! Ей-ей!

Прохор Порфирыч оробел.

— Знает ли он, — продолжал хозяин: — что такое охота? Настоящая охота, гляди сюда.

Хозяин для примера взял в руки цыпленка и заговорил с расстановкой, отделяя каждое слово:

— Первое дело порода: это ведь он ни шиша не постигает. Потому, есть курица голландская, и есть курица шампанская...

— Это веррно!

— Погоди! Это рраз! Ежели, храни бог греха, повалят ублюдки, это для охотника что?

Порфирыч молча и испуганно смотрел на хозяина.

— Видишь, вон щепка валяется? Вот что это для охотника!

— Трудно! — сказал Порфирыч, не найдя другого слова.

— Второе дело! — продолжал хозяин: — шампанская курица бу́рдастая, из сибе король... бурде — во! Понял?

Порфирыч кашлянул и переступил с ноги на ногу...

— Филипп Львович! Чижа паленого смыслит он! Опять, индюшка: ежели в случае ее по башке: тюк! она летит торчмя головой! Но аглицкий петух имеет свой расчет: он сперва клюет землю...

— Егор Матвеич! — вопиял Прохор Порфирыч, чувствуя только, что он виноват: — перед богом, я это упомянул только ради смеху, сейчас умереть! какая же может быть у него охота?

— Болван он! Вот ему цена!

Хозяин бросил цыпленка и вышел.

— Я так и покатился! — говорил Порфирыч, следуя за ним.

Богоборцев не отвечал, хотя и успокоился.

В комнате на столе уже кипел самовар.

Началось долгое и дружное чаепитие.

Через несколько времени Порфирыч остановился у ворот дома, принадлежавшего отставному «статскому генералу» Калачову. Прежде нежели войти во двор, он тщательно осмотрел свой костюм, спрятал под жилет концы галстука, растопыренного в разные стороны «для красоты», и несколько раз откашлянулся. Все это делалось на том основании, что генерал Калачов считался извергом и зверем во всей Растеряевой улице; чиновники пробирались мимо его окон с какою-то поспешностью, ибо им казалось, что генерал «уже вылупил глазищи» и хочет изругать не на живот, а на смерть. Словом, все, от чиновника и семинариста до мастерового, или боялись, или презирали его, но ругали положительно все. Растеряевой улице было известно, что он скоро в гроб вгонит жену, измучил детей и проч. Порфирыч, спасенный генералом от рекрутства, считал обязанностию задаром чинить ему садовые ножницы, разные столярные инструменты и был тоже убежден в его звер-

стве. Приведя в порядок свой костюм, он осторожно входил в калитку; представление о генерале разных ужасов почему-то подкреплялось этой необыкновенной чистотой двора, всегда выметенного, этими надписями, начертанными мелом на сырых углах и гласившими: «не сметь» и проч.

Порфирыч встретил генерала на дворе: он торопливо шел из сада с большими ножницами.

— А! — сказал генерал. — Милости просим! — и скрылся в дом.

Порфирыч зашел зачем-то в кухню и потом робко пробрался в комнату.

В маленькой комнатке, с старинною, но чистою и блестевшею мебелью, сидело семейство генерала: около яркого кипевшего самовара сидела дочь с бледным болезненным лицом и равнодушным взглядом; рядом с ней брат, молодой человек, с изморенным лицом, боязливым взглядом и сгорбленной спиной; он как будто прятался за самовар и нагибал голову к самой чашке. У окна, завернувшись в заячью шубку, грелась на солнце жена генерала, протянув ноги на стул. Лицо ее действительно было полно грусти, болезни и скорби. Она постоянно вздыхала и говорила: «О-ох, господи батюшка!»

При появлении Порфирыча все сказали ему «здравствуй».

— Садись, Проша! — сказал генерал, помещавшийся по другую сторону самовара.

Порфирыч кашлянул и сел. Настала мертвая тишина. Стучали часы, бойко кипел самовар. От самовара и от солнца, ударявшего прямо в окна, в комнате делалось душно. Генерал большой костлявой рукой вытирал огромный запотевший лоб с торчавшими по бокам седыми косицами.

Гробовое молчание. Сын все больше и больше прячется за самовар. Ему понадобилась ложка.

— Ма... Маш... — шепчет он чуть слышно.

— Мм? — спрашивает девушка.

Следуют знаки руками.

— Ло... Лож...

— Что там? — громко спрашивает генерал.

Все замирает. Сын начинает опрометью хлебать чай.

— Нет, это Сеня... — тихо говорит дочь.

Сеня в ужасе вытаращивает на сестру глаза.

— Что ему? — допытывается генерал. — Что тебе?

— Нет-с... это...

— Ты что-то говорил?

— Нет... я...

— А?

— Ничего!

Сеня высовывает сестре язык.

— Что ж ты там шепчешь?

— Скат-ти-на! — пригнувшись к самому столу, шепчет Сеня, посылая это приветствие сестре.

Снова мертвое молчание.

Порфирыч как-то и сам привык бояться этого громкого и твердого голоса генерала, если бы даже он говорил самые обыкновенные вещи. В мертвой тишине Порфирыч чуял ежеминутно бурю. Такую же бурю чуяли все.

Генерал начал тереть лоб, словно собираясь что-то сказать, но нерешительность и тревога, вовсе не соответствовавшие его энергическому лицу, останавливали его.

— Пашенька! — наконец мягко произнес он.

Жена вздрогнула; дети тоже.

— Там в саду у нас... вербочка. Она так разрослась, и я думаю... что ее необходимо... срубить...

Жена отчаянно махнула рукой.

— Я знаю, ты ее любишь... но...

— Руби! — нервно и почти визгливо перервала жена.

— Ты, ради бога, не сердись понапрасну... Мне самому ее смертельно жаль... Но я хотел тебе сказать...

— Что мне говорить? — напрягая всю силу горла, заговорила взволнованная жена. — Зарубил одно, захотел!

— Ради бога! Не захотел! Пойми же ты хоть раз в жизни, что я ничего не хочу! *Необходимо* срубить... Она задушила у нас две вишни...

Грозное молчание. Жена вся дрожит от новой прихоти мужа, потому что вербочка — ее любимое деревцо.

Прохор Порфирыч подался к двери.

Через несколько времени генерал начал было опять:

— Итак, мой друг, я... принужден...

— Всех руби! —завизжала и закашлялась жена. — Всех режь!..

— Фу т-ты!

Блюдечко с горячим чаем полетело на стол; генерал быстро вышел, хлопнув дверью.

Порфирыч пятился. Жена генерала была близка к истерике, дети были парализованы зверством родителя и сидели с вытаращенными глазами. Тяжесть свинца висела надо всеми.

А «генерал» между тем заперся в своем мастеровом кабинете и, утирая большим костлявым кулаком слезы, думал: «Господи! за что же! за что же это? Отчего?» — спрашивал, наконец, он вслух... И все-таки он не знал этого «отчего». Надо всем домом, надо всей семьей генерала царило какое-то «недоразумение», вследствие которого всякое искреннее и, главное, действительно благое намерение его, будучи приведено в исполнение, приносило существеннейший вред. В те роковые минуты, когда он допытывался, отчего он безвинно стал врагом своей семьи, он припоминал множество подобных нынешней сцен и ужасался... Горе его в том, что, зная «свою правду», он не знал правды растеряевской... Когда он перед венцом говорил будущей жене: «ты должна быть откровенна и не утаивать от меня ничего, иначе я прогоню тебя или уйду сам», он не знал, что на такую, в устах жениха необычайную фразу последует следующий комментарий, переданный задушевной приятельнице: «признайся, говорит, зарычал на меня ровно зверь... прогоню, говорит...» Он не знал, что слова его, всегда требовавшие смысла от растеряевской бессмыслицы, еще более бессмыслили ее. Страх, который почувствовала жена генерала перед громким голосом и густыми бровями мужа, она как-то бестолково передала детям. Если, например, случалось, сидела она с ребенком и вертела перед ним блюдечком, то при звуках мужниных шагов считала какою-то обязанностию украдкой бросать блюдце и вертеть ложкой. «Ты что-то бросила?» — говорил муж. «Господи! вовсе я ничего не бросала». — «Я видел, что ты бросила что-то! Зачем же ты утаиваешь? Отчего ты не хочешь сказать мне?» — «Господи, да вовсе я ничего не бросала!» — «Я сам видел». Муж, рассерженный ложью, сердито хлопал дверью. «Господи, — рассказывала жена приятельнице,— пришел, наорал, накричал, изругал.. как какую самую последнюю... и за что? Ей-богу, только что вот этак-то

блюдцем с Сеней играла... Господи, пошли ты мне смерть». Дети, устрашенные ужасом сцен, происходивших при появлении родителя, привыкли видеть в нем лютого зверя и врага матери. От «папеньки» старались прятаться, потихоньку думать, потихоньку делать и проч.

Так и пошло дело. Страх въедался в детей, рос, рос; бестолковщина растеряевских нравов, намеревавшихся идти по прадедовским следам не думавши, запуталась в постоянных понуканиях жить сколько-нибудь рассуждая. Растеряева улица, для того чтобы существовать так, как существует она теперь, требовала полной неподвижности во всем: на то она и «Растеряева» улица. Поставленная годами в трудные и горькие обстоятельства, сама она позабыла, что такое счастье. Честному, разумному счастью здесь места не было.

Не имея охоты оставаться в чайной, Порфирыч потихоньку спустился вниз, где были устроены две комнаты для детей. У маленького продолговатого окна стояла дочь генерала с лицом, убитым какою-то тупою ненавистью. Яркое вечернее небо так приветно сияло перед ней, и чем больше прелести прибавлялось в нем, тем тупее, злее делалось лицо девушки, потому что бестолково возмущенная душа ее упорно отталкивала эту, посылаемую небом, ласку.

— Семен! — нетерпеливо и раздраженно заговорила она: — отдай мою книгу... я читаю... Отдай!

Семен лежа держал в руках книгу, бегал глазами по строкам и не видел ничего, подавленный тою же, висевшею надо всем домом, тупою тоской...

— Отдай мою книгу-у! Семен!

Книга с шумом летит в угол.

— Свинья!

— Скатина!..

Прохор Порфирыч потихоньку поднялся с дивана и ушел. На дворе он увидел генерала, который вытащил из сада и молча бросил под сарай срубленную вербу.

Очутившись за воротами, Порфирыч вздохнул свободнее, снова выпустил и растопырил концы галстука и весело тронулся в путь, намереваясь сделать еще один визит, столько же веселый, сколько и необходимый в видах расчета.

Стоял душный летний вечер; скромные обыватели переулков, по которым шел он, не зажигали огней и все «высыпали» за ворота или высунулись в окна, полураздетые от духоты. В открытое окно из неосвещенной комнаты доносились звуки гитары, и кто-то пел:

Н-не ад-дной ли мы природы
С ттабой, Фе-ня, раждены?

Становилось темнее и свежее.

Прохор Порфирыч стоял под окном маленького домика, выходившего окнами на площадь, носившую название «плац-парада»: обыкновенно здесь происходят разного рода военные упражнения гарнизонных солдат; окно, с большим косяком кумачу в виде занавески, было открыто. Перед ним сидела девица с папироской и с необыкновенно аляповатой грудью, подпиравшей в подбородок.

Распространяя вокруг себя удушливый запах душистого мыла и розового масла, девица едва касалась губами папироски и пискливо говорила Порфирычу:

— Вы бы его привели сюда.

— Пом-милуйте, Таиса Семеновна! Тогда для них не будет этого, так сказать, рвения... Капитон Иваныч не такой человек. Им много будет приятнее, когда ежели в случае, тайно!

Девица улыбнулась.

— Именно правда! — подтвердила изнутри комнат «тетенька». — Для мужчины первое дело, не подавай виду! Особливо из купеческого сословия, он готов, кажется, себя заложить.

— Да как же-с! дело известное! Он в ту пору, то есть в случае интерес... Он тут голову прошибет, а уж доберется. По этому случаю, Таиса Семеновна, вы с Капитон Иванычем обойдитесь строго! «Эт-то что такое? Как вы осмеливаетесь?», а потом маленичко сдайтесь: «А конечно, мол, я точно без памяти от вашей красоты...» Ну, и прочее...

— Именно правда! — прибавила тетка. — Дай тебе господи за это всякого счастия!.. Как ты нам от души, так и мы тебе.

— Я истинно только из одного, что вижу я вашу доброту...

— И господь тебя не оставит... Это все зачтется.

— Я так думаю!

Тетенька удалилась в другую комнату; Прохор Порфирыч облокотился на подоконник и покуривал папироску, пуская дым в сторону, для чего всякий раз поворачивал голову назад. Разговор принял более умозрительное направление: толковали о том, кто вероломнее. Девица доказывала против «мускова полу», Порфирыч выводил начистоту «женскую часть».

В другой комнате послышалось бульканье наливаемой жидкости.

— Тетенька! — сказала девица. — Хоть бы вы чуточку подождали... Ну, приедет кто?

— Я каплю одну. Да опять и так думаю, пожалуй, что никто и не приедет, время постное.

Заскрипела кровать; тетенька легла спать.

— О-о, господи-батюшка, — шептала она, изредка икая... — сохрани и помилуй нас!

В это время к дому с грохотом подкатила пролетка, и с нее свалилось на землю три человека.

Послышалось непонятное мычанье.

— Тетенька! гости! — вскрикнула девица, подлетая к зеркалу и оправляя волоса. — Запирайте ставни.



IV. СУББОТА

В субботу мрачная физиономия Растеряевой улицы несколько оживает: в домах идет суетня с мытьем полов и обметаньем потолков, молотки на фабрике валяют с особенной торопливостью, на улице заметно более движения. Все полагают, что завтра, в воскресенье, почему-то будет легче на душе, хотя в то же время все вполне достоверно знают, что и завтра будет такая же смертельная тоска и скука, только слегка подрумяненная густым колокольным звоном да огромными пирогами, густо намасленными маслом. У генерала Калачова топят баню вскладчину — кто дрова, кто воду; вследствие этого через

улицу бегают девки, кучера, солдаты с водоносами, ушатами. В бане, по причине стечения множества субъектов обоего пола, идут веселые разговоры. Между вкладчиками, людьми благородными, вследствие разных «амбиций» происходят стычки за первенство обладания баней прямо после выхода генерала. Случаются поэтому ссоры.

Часов с шести вечера оживление еще приметней. Вместе с трезвоном колоколов поднимается стук дрожек и пролеток, развозящих по церквам православных христиан. Торопливо возвращаются с фабрик работницы, женщины и девушки; самоварщики целыми фалангами тащат ярко вычищенные самовары в склады; у каждого в руках по две штуки; изредка они останавливаются, становят ногу на тумбу и поправляются с своей ношей, подталкивая ее коленом. На фабриках идут расчеты.

В огромной комнате с низкими сводами столпился рабочий народ с книжками в руках и с крайне тревожными лицами: ждут расчета. И странное дело: как нетерпеливы они в то время, когда хозяин как-то бестолково оттягивает минуту расчета, разговаривая с приказчиком о совершенно посторонних предметах, столько же народ этот делается робким, трусливым, даже начинает креститься, когда, наконец, настает самая минута расчета и хозяин принимается громыхать в мешке медными деньгами. Начинается шептанье; передние ряды ежатся к задней стене; иные, закрывая глаза и заслонившись расчетной книжкой, каким-то испуганным шопотом репетируют монолог убедительнейшей просьбы хозяину: «Самойл Иваныч!.. ради господа бога! Сичас умереть, на той неделе как угодно ломайте... Батюшка!..» Другие, рассматривая книжки один у одного, фыркают и исчезают в толпе.

— Пожалуйте лащет! — произносит мальчишка лет девяти, в синей рубахе, босиком, с растопыренными волосами.

Хозяин удивленно взглядывает на него через очки и обращается к приказчику:

— Это что ж такое? Откуда он?

— Да я, признаться, Самойл Иваныч, — говорит приказчик, тронув шею и складывая руки назади: — при-

знаться сказать, в эфтим не могу вас удостоверить... то есть откуда он взялся.

— Давно ли он?

— Да боле, пожалуй, недели... Эт-та, ежели изволите вспомнить, на прошедшей неделе хлеб у нас ссыпали... Ну, я обнакновенно в сарае-с! хлопоты... Вижу, стоит посередь двора вот этот самый кавалер. Я, признаться, крикнул ему: «будет, мол, тебе башку-то чесать, иди помогай!..» Н-ну, он и стал... Дали ему потом в кухне поесть... Так вот и того... кое-что помочи дает-с...

— Пожалуйте лащет! — настоятельно повторил мальчик.

— Тебя кто это научил расчету-то просить?

— Большие научили...

— Большие? Ну, это они для смеху.

В толпе смеются, мальчишка молчит...

— Мать-то есть у тебя? — спросил хозяин.

— Нету, я теткин.

— Стало быть, от тетки родился?

Раздался дружный смех толпы, и сам хозяин весело закряхтел от своего смешного вопроса. Мальчишка в первый раз задумался над своим происхождением.

— Что ж ты у тетки-то делал?

— Побирались...

— Где ж она теперь?

— Она упала.. ушиблась, в больницу увезли...

Все молчали.

— Как же теперича его считать? — спросил хозяин у приказчика.

— Да так, я полагаю, считать, что, собственно, приблудный-с... на этом счету его и оставить... Бог с ним — пущай.. Куда ему?

Хозяин подумал.

— Все, я чай, приставу надо сказаться?

— Н-н-ет-с!.. Я так полагаю, господь с ним... Пущай его. Все что-нибудь в хозяйстве поможет... Бог даст, вырастет, получит свое понятие, тогда уж его дело-с... а может, и еще кто из «своих» сыщется.

Хозяин дал мальчугану гривенник. Тот бросился ему в ноги, брякнувшись об пол всем, чем только можно брякнуться: лбом, локтями, коленками..

Толпы рабочих, выходя из ворот фабрики, разделя-

лись на партии: одни шли прямо в кабак, другие сначала в баню и потом в кабак. Бани полны народом; вся река покрыта телами купающихся; в купальнях идет гам, крик, хохот; народу тьма, от большинства отдает водкой; все это норовит забраться «под самый перемет» купальни и оттуда нырнуть в воду. Берег реки около бань запружен купающимися. Черные фигуры мастеровых торопливо срывают с плеч чуйки, рубашки; слышен говор, смех.

— Ну-ко, господи благослови! — говорит мастеровой и с разбегу летит в воду, откинув напряжением ноги большой кусок земли от берега; вытянутыми вперед руками он врезывается в воду почти вертикально — и исчезает, взболтнув ногами.

— Нырок! — говорит кто-то...

Мастеровой выныряет среди реки и принимается отмеривать саженями, взмахивая головой в сторону, чтобы откинуть мокрые, закрывшие лицо волосы.

Дальше за банями, где берег уложен высокими стенами навоза, в мутных лужах полощутся мещанские девицы, опасаясь на аршин отделиться от берега, так как платье их может быть ежеминутно похищено разного рода юношами. Какая-то смелая баба, с головой, обвязанной платком, решается выплыть из лужи на реку.

— Ха-а, ха-а, ха-а! — грозно вскрикивает мастеровой и пускается за ней вдогонку, необыкновенно сильно и искусно работая руками. Баба в испуге поворачивается назад, взбивая ногами целые фонтаны.

На Большой улице с шумом железных засовов запираются лавки; мастеровые с работами рыщут от одной лавки к другой. Новые времена, отозвавшиеся в торговле, не поддаются на единственное доказательство мастерового: «христа ради!»

В ярко освещенной лавке стальных изделий сидит на диване молодой хозяйский сын в пестрых брюках; у прилавка, с ящиками разных стальных мелочей, стоит приказчик. Тут же, в качестве посетителя, присутствует лакей, держа подмышкой целый узел разного оружия.

— Так уж я так барину и передам-с, — говорит он.

— Так и скажи, — говорит хозяин.

— Конечно, мне какое дело, мне приказано: скажи,

говорит, ему (вам-то), что у меня этого оружия в избытке... Я так вам и передаю... хоть достоверно понимаю, что у них этого избытку не токмо в оружии...

Лакей шепчет.

— То-то и есть! — говорит хозяин.

— Верите ли? — многозначительно произносит лакей, скрестив руки.

— Ихнее дело прошло-о!

— Это как есть!.. Я теперь вижу, к чему идет-с... Теперь попрет купечество... вот-с! Оно теперича еще не очувствовалось как следует. Дай ему обглядеться, ббеда! Оно теперь робеет... Вот я вам скажу, — один купец купил у нашего барина коляску... а ездить-то боится... Еще робеют-с!

— Капитон Иваныч! — громко произносит мастеровой, появляясь на пороге лавки. — Отец! Что ж мне, околевать, что ли, на улице-то?

— Черти! Что у меня, бык, что ли, с позволения сказать, отелился? Из-за чего я должен разоряться? Ну, купи ты у меня! Видел товару-то? Ну, купи!

— Куда ж это деваться мне теперь?

Хозяин молчал.

— Толкнись к Шишкину... Аль уж, в самом деле, у меня монетный завод? Только и прут, что ко мне... Ступай!

Мастеровой уходит, отчаянно тряхнув головой...

В отворенные двери лавки видно еще несколько мрачных фигур, медленно лавирующих мимо. Они сходятся на углу; слышны слова: «Как тут быть, а?», «Дух вон, — хлеба не на что купить». «Ну, время!..»

Скоро между ними показывается чинная фигура Прохора Порфирыча. Товар его завернут в платок и засунут в рукав, а рукав, в свою очередь, засунут в карман, так что все-таки Прохор Порфирыч ничуть не теряет благородного вида. Неумелые в современных разговорах мастеровые обступают его со всех сторон; слышны просьбы, какие-то клятвы, «за что ни отдать».

— Я, ребята, обещания вам не даю, — говорит чрез несколько времени Порфирыч, — а попытать попытаю.

— Отец!

— Погодите, друзья; сами вы разочтите, какая в этом деле нужна словесность... раз! Окроме того, должен я

под него, ирода, подводить махину не маленькую... два! Все это хлопоты! Дело это, приятели, нелегкое... По этому случаю я уж с вас, ангелы, по полтинничку получу...

— Гряби! Хоть бы мало-мало... Палтинник! Гряби смело!

— То-то... Ну-кось, вали сюда!

Пять пистолетов падают в расставленный платок.

— Ну, — говорит, улыбаясь, Порфирыч: — творите молитву!

И чинно входит в лавку...

— Мое почтение! — провозглашает хозяин.

— Все ли в добром здоровье? — произносит Порфирыч, почтительно снимая картуз.

Хозяин почему-то таинственно прищуривает один глаз. Порфирыч утвердительно кивает головой. Между ними, очевидно, какое-то тайное дело.

— Так уж вы так вашему барину и доложите, что, мол, у нас у самих товару некуда девать... Опять же, это ихнее оружие не по нас, нам в теперешнее время нужна вещь грошовая, ярмарочная.

— Это само собой...

— Вот что-с! Нам теперича нужна вещь, лишь бы кое-как сляпана... Убьешь — хорошо; не убьешь — еще того лучше: зачем бить?

— Именно, правда ваша! — подтвердил лакей. — Я так вам докладываю:, мое дело — исполняй: приказано сказать «от избытка», я исполняю, но достоверно знаю, что не токма...

Следует шептание: хозяин поддакивает, издавая какие-то звуки вроде: «гм... гм...» или: «д-да! во-от!» и проч.

— До приятного свидания, — заключает лакей.

— Будьте здоровы!

Лакей уходит. Лицо Порфирыча превращается в радостную улыбку...

— Ну? — спрашивает строго и любезно хозяин, отводя его в сторону.

— Готово-с!

— Врешь, мошенник!

— Сейчас умереть! .. Я вам, Капитон Иваныч, такую девицу разыскал, истинно пшено! Провалиться!

— Прохор! Я тебя убью!

— Как вам угодно! Это именно уж сам бог вам помогает...

— Ежели ты в случае врешь, — сейчас умереть, так и разнесу!

— Что угодно! Я ей, Капитон Иваныч, так говорю: Таинька! Вы их любите? Вас то есть!..

— Ну?

— «Даже, говорит, до бесчувствия влюблена. .» А когда, говорю, вы влюблены, то вы и должны удостоверить Капитона Иваныча в полном размере...

— Ну?

— «Мне, говорит, стыдно; пущай, говорит, они меня сами вовлекут...»

— Первое дело!

— Н-ну-с; по этому случаю завтрашнего числа назначено вам быть в рощу... там дело ваше! Главная причина, маменька их очень строга, а насчет Таисы — вполне готова! Можно сказать одно: влюблена!

— А ежели врешь?

— Как вам угодно! Я подвел дело. Теперь трафьте сами...

— Я натрафлю!.. Верно ты говоришь?

— Издохнуть на месте! У меня, слава богу, одна спина-то...

Приятное молчание.

— Ну, Капитон Иваныч, — затягивает Прохор Порфирыч: — с вас тоже магарычу надо будет получить.

В дверях мелькают нетерпеливые фигуры рабочих. Порфирыч грозит кулаком; фигуры исчезают.

— Какой же это магарыч тебе? любопытно!

— Я много не прошу... Нам бы только как-никак перебиться... На вас вся надежда...

Порфирыч не торопясь вытаскивает свой револьвер.

— Ах т-ты, идол эдакой, подо что подвел! Небось, опять красную?

— Да уж что делать!

— Клади! Погоди, я тебя и сам подсижу!

— А вот эти рублика по четыре, что ли...

Следует развязывание узла.

— Неси-неси-неси-н-н-н!

— Капитон Иваныч! Что ж это вы говорите? Ради

субботы-то хоть снизойдите! Ведь посмотрите вы на эту лузгу, издыхают! А вам все годится... Четыре целковых! он в работе шесть стоит... Это я вам истинную правду говорю.. Капитон Иваныч?

— Клади! Пес с тобой!

Прохор Порфирыч получает деньги и, отделив себе что следует и даже что вовсе не следует, собирается уйти.

— Погоди, — говорит хозяин: — мы с тобой, того...

— Слушаю-с, я сию минуту...

Радостно приветствуют своего избавителя неумелые люди. И потом так рассуждают:

— Экой у этого Прохора ум, братцы мои!

— Чево это?

— Я говорю, у Прохора ума: страсть!

— О-о! У него ума страсть!

Мастеровые медленно разбредаются в разные стороны.

— Прощай!

— Прощай! до свидания... Ты куда?

— Домой. А ты?

— Я-то? Я, брат, домой... довольно!

Но медленность в походке, остановки и размышления над трехрублевой бумажкой, совершающиеся на каждых двух шагах, весьма ясно рисуют борьбу добра и зла, происходящую в душе мастеровых. При этом добро является в фигуре разваленной избы, в которой на трехрублевую бумажку почти невозможно получить ни единой крупицы радости, настоятельно необходимой в настоящую минуту; а зло — в форме кабака, где означенная бумажка может сделать чудеса.

Мастеровой делает еще два медленных шага, зло преодолевает, шаги принимают совершенно обратное направление... и скоро только что расставшиеся приятели с громким смехом встречаются у стойки кабака «Канавки».

К ночи над городом нависла большая туча, и пошел тихий теплый летний дождь... Улицы были совершенно пустынны; нигде ни огонька; ярко горели только кабаки и харчевни. В «Канавке» были растворены окна; из них, вместе с криками и звоном стекла, лились на улицу яркие полосы света и удушливый воздух, раскаленный плитою, на которой клокотали пятикопеечные пироги и се-

лянки; в отдаленной комнате неистово играла шарманка, и огромный бубен ежеминутно и как-то тяжело охал под напором ядреного пальца севастопольского героя. Ближе, среди хохота, раздававшегося с неудержимою силою, по временам шло пение. Какой-то тощий портной, оцивилизовавший свой почти прародительский костюм разорванным до воротника сюртуком, пел песенку про *вольника*,[1] приправляя ее некоторыми жестами. Прежде всего он сделал грустную физиономию, изображая собой старуху, мать вольника, прижал руку к щеке и, всхлипывая, тянул:

Да и что-о же ты, ди-и-тятко...
Будешь тама наси-и-ти?..

Тут певец вдруг встрепенулся и с отчаянным ухарством и присядкой торопливо запел:

Мма-минька — сертучки, — ох!
Сударынька — сертучки, — ох!

Пусс-кай сертучки-и!..
Ну что ж? сертучки-и!
Носить буд-ду серртучки-и!

Прохор Порфирыч, щедро упитанный Капитоном Иванычем, нетвердыми шагами возвращался домой и, вследствие непроходимой грязи, растворившейся в Растеряевой улице, поминутно поскользался на глинистой тропинке и хватался рукой за забор.

— Эт-то кто такой?.. — вскрикнул он, натыкаясь на что-то живое...

— Да что, друг, шапки никак не сыщу...

— Кто ты такой?

— Я, брат, не здешний. Никак, провалиться, не сыщу этого демона, шапки...

— Что же ты, леший, безо время шатаешься?

— Ды все, друг, теплого места ищу, которое ежели бы место, иной раз, сухое...

— Смотри, не попади в теплое-то!

— Я сам, братец, так полагаю... Надо быть, попадешь... во-во-во... Ах ты, анафема! вот она, шельма... ишь! Запотела!

---

[1] Человек, охотой идущий в солдаты.



Раздается хлясканье об забор мокрой шапкой...

Прохор Порфирыч пробирается далее... Усилившийся, но такой же тихий дождик чуть-чуть шумит в листьях дерев.

Совсем темно.

У одних ворот возится с лошадью пьяный извозчик; в темноте он растерял вожжи; лошадь переступила через оглоблю и, подаваясь назад, подвернула передние колеса под дырявые и изломанные дрожки, которые вследствие этого свалились набок.

— Тпрр... Тпр! — ласково говорит извозчик, засев по колено в грязь и отыскивая во тьме лошадиную морду. — Тпрррю.. Трр... Нич-чего!.. Трр... Милая!

Прохор Порфирыч, видя беспомощное положение хмельного человека, хотел было сначала посоветовать ему: постучись, мол. Хотел потом сам постучаться, но раздумал... «Шут их возьми!» И заключил размышлениями о том, какой человек свинья, ибо завсегда рад облопаться и насчет водки не имеет меры...

Извозчик все копошился в грязи. Лошадь поминутно шлепала в грязь переступившею ногою. Дрожки скрипели.

В непроницаемо темных сенях избы Прохора Порфирыча стояла Глафира и подмастерье. От Кривоногова отдавало вином.

— ...Это разве возможно, — шептал он над самым ухом Глафиры: — извольте послушать. «Хочу в маскарад, ты пьяница, немытая мочалка, вонючая рогожа». — «Я?» — «Ты...» — «Изволь! Ступай с богом». — «В лучшем костюме!» — «Сделайте вашу милость...» — «Я благородная! ты харя!» — «Как вам будет угодно: на бал — на бал, харя — харя! как ваша душа желает...» Дверью хлоп, ушла... Потом, того, слышу, с офицерами... Доброго здоровья!.. Это как же?

Вопросительное молчание. Глафира вздыхает.

— Или, — говорит Кривоногов снова: — как вам покажется... Повенчались мы с ней; все как следует: гости, шанпанское (околеть, было-с!). Отходим в спальню: как есть муж и жена... Я... Ну, она же, например: «Прочь отсюда... тварь!..» Благородно? Или как по-вашему?

Опять молчание.

— Ну, и валялся, как пес, у порога... «Вон отсюда!» И уйдешь в кухню... Это жизнь?

Шум дождя начинал слышаться яснее среди безмолвия улицы. Около повалившихся дрожек и спутавшейся лошади возился другой извозчик, уже сам хозяин квартиры и лошади, с фонарем в руках. Он сердито дергал лошадь за узду и злобно кричал: «Ног-гу! н-но!» Слышалось ярое хлясканье кнутом об лошадиную морду. Лошадь билась. Извозчик торопливо и сердито бормотал:

— Прр-апоица!.. Мало ты учен? Жживотное! Н-но!

И снова свист кнута...

— Кум! — глухо говорил пьяный извозчик, скрывшись где-то в темноте.

— Право, ненасытная утроба!.. Как ни бьется, как ни бьется, а уж к ночи готов! Па-адлец ты эдакой!..

— Кум! — сонно бормотал пьяный.

Извозчик с фонарем молча возился около дрожек. Сальный огарок в фонаре разливал тусклый свет на небольшое расстояние кругом, отчего три большие осины, кучей столпившиеся за забором и слегка освещенные снизу, уходили в темноту своими вершинами и казались бесконечными.

Отворив окно, Прохор Порфирыч присел к окну с папироской; хмельная голова его клонилась на грудь. С крыши лил дождь; где-то вдали с легким гулом вода била в пустую еще кадушку.

— Господи! — шептал Порфирыч. — Сохрани и помилуй ррра-ба твоего!

Лил дождь.

— Ка-арра-у-у-ул! — бушевало где-то далеко.



V. ИДУТ ДНИ И ГОДЫ

«...Горе по горю», — говорит пословица, а стало быть, и в Растеряевой улице все по-старому. Только вид ее и физиономия изменяются сообразно временам года: вот отошли ясные, свежие, осенние дни, поднялись со всех концов неба сизые тучи, заморосил нескончаемый осенний дождь — подошла глубокая осень. Растворилась грязь, на-

стала непроходимая топь, и отовсюду навалилась какая-то непроглядная тоска. Ежатся голуби под князьком крыши, пряча носы в перья, и встряхивают в студеных просонках мокрыми крыльями. Ежатся обыватели и устами старух говорят: «Господи! хоть бы зима поскорей!..»

Но вот начались крепкие утренние заморозки; подошел Варварин день, и повалил пухлый, рыхлый снег. В одну неделю покрыл он и улицу, и крыши, и верхушки заборов нежным и рыхлым снежным пологом, из-под которого, словно лица мертвецов из-под савана, смотрят черные, гнилые, полуразрушенные растеряевские лачужки. Ударил мороз, повисли на крышах сосульки, понеслись ледянки, зашумела метель и завыла по-волчьи в развалившейся трубе.

— Эка стыдь, эка стыдь! — твердят старухи, кутаясь на холодной печи. — И когда это только весна придет!

А тут, глядь-поглядь, и весна: вдоль всей улицы с шумом несутся потоки, унося с собою, в какую-то неизвестную сторону, все, что только накопилось, все, что было выкинуто на улицу зимою. Но эта картина топи и разрушения не производит, однако, того мертвящего впечатления, какое бывает осенью. Теплые, блестящие, греющие лучи солнца, воздух, окрашенный золотом этих небесных лучей, зовут жить. Без умолку трещат воробьи, громко, хоть и устало, каркают отощалые вороны; насильно выпихнутая из закуты корова, еле передвигая ноги, выползла на средину улицы, да так и закоченела под благодатными солнечными лучами; по целым часам не ворохнется она ни одним членом; впалые бока ее, подставленные солнцу, чуть колышутся едва приметным дыханием; глаза тупо смотрят в одну точку. Иногда, разогретая теплом солнечных лучей, она медленно подгибает колени и валится боком на теплую и мокрую землю, испустив глубокий вздох. Галки и вороны бодро разгуливают по ее дымящейся спине, поклевывая в нее острыми носами, но счастливое в эту минуту животное не замечает обиды.

Подошла страстна́я неделя. Громко загудел звучный колокол, а игривый ветер разнес эти звуки по окрестности.

В эту пору хороша даже и Растеряева улица.

А дни идут все теплей и ярче. В яркой зелени дерев

исчезли черные вороньи гнезда; под заборами и посреди улицы пролегли извилистые, крепко протоптанные тропинки; солнце начинает припекать.

— Вот и лето! — говорит обыватель, и сказать по совести, говорит не без тайного ужаса, потому что впереди, в неизвестном количестве будущих годов, видится ему то же тоскливое ожидание проливных дождей, вьюг и метелей.

И опять все то же!

То же и в жизни. Правда, между постоянной борьбой с нуждой и ежеминутными отдыхами от нее в кабаке в наших нравах бывают минуты, когда несчастным растеряевцам удается «отчунеть», то есть когда в отуманенные головы гостем вступает здравый рассудок, но область, над которою хозяйничает этот рассудок, так мала, что об ней можно говорить только между прочим, хотя, повидимому, рассудку есть над чем поработать: в эти минуты весь мир божий, от понимания тайн и красот которого растеряевец почти отвык, является множеством неразрешаемых вопросов. В эту пору ново все, что ни попадается на глаза. Между тем крошечные минуты «отчунения» — плохой помощник в таком множестве запутанных дел... Убитый обыватель наш в ужасе успевает только схватиться за свою разбитую голову и, не устояв под напором нахлынувшей на него тоски, спешит снова успокоиться в том же властительном кабаке. Не обладая способностью изображать всю трагичность этих коротких минут, я, тем не менее, буду продолжать мой рассказ о Растеряевой улице, удерживаясь *по возможности* в области деяний, совершающихся в трезвом уме и здравом рассудке, хотя и не ручаюсь за то, что желание это может быть осуществлено. Трудно не «пить» в Растеряевой улице. Впрочем, мы познакомимся и не с пьяницами только.

Оставим на время Прохора Порфирыча, — он живет так, как жил и прежде, — и будем рассказывать о других растеряевских «замечательных» личностях. Первое место между ними, без сомнения, принадлежит растеряевскому «и иных мест», то есть иных переулков и закоулков «растеряевской окру́ги», известному врачу, или, как он сам себя называет, «медику» — Ивану Алексееву Хрипушину. О нем мы теперь и поведем речь.

VI. «МЕДИК» ХРИПУШИН

Военный писарь Хрипушин с давних пор слыл в растеряевской окру́ге (и в особенности среди растеряевской чиновной мелкоты) за человека, обладающего весьма большими познаниями, и за искусного врача. Будучи человеком талантливым, он не только умел избежать общей участи наших доморощенных талантов, то есть одиночества и беззащитности, но, напротив, постоянно внушал к себе уважение и даже страх. В объяснение этого должно сказать и то, что он ни в чем не следовал примеру наших доморощенных талантов: он не выдумывал perpetuum mobile, не ломал головы над устройством какой-нибудь хитрой машины, из-за которой забываются жена и дети и которая оказывается уже выдуманною. Нет, талант Хрипушина был из непогибающих. Цели его были гораздо проще: ему желательно было каждодневно посещать по возможности все растеряевские кабаки и в каждом проглотить по рюмочке.

Достойные цели эти достигались Хрипушиным весьма успешно. Одною из главных причин этих успехов была, по правде сказать, самая его физиономия. Отроду никто не видывал более убийственного лица. Представьте себе большую круглую, как глобус, голову, покрытую толстыми рыжими волосами и обладавшую щеками до такой степени крепкими и глазами, сверкавшими таким металлическим блеском, что при взгляде на него непременно являлось в воображении что-то железное, литое, что-то вроде пушки, даже заряженной пушки. Эта кованая физиономия была вся налита кровью, которая до хрипоты стиснула его короткую шею и выпирала наружу огромные серые глаза, которые сами по себе могли поразить человека робкого. Маленький, как пуговица, нос и выпуклости щек были разрисованы множеством синих жилок. Общий эффект физиономии завершался огненного цвета усами, торчащими кверху наподобие кривых турецких сабель. Все это, взятое отдельно и в совокупности, делало, как увидим, удивительные вещи.

Все другие достоинства Хрипушина терялись перед громадностию впечатления его физиономии и служили

только как бы подкреплением ее ужаса. К этим качествам его относилась, между прочим, и медицина, которая никогда бы не получила у растеряевцев должного уважения, если бы об этом не позаботился Хрипушин.

Все, что только способно произвести такой эффект, какой производит на детей сказка о жар-птице, все было тщательно собрано им и в разное время заявлено пациентам: рассказаны были случаи с лягушкой, засевшей какими-то судьбами под череп одной купчихи и искусно вырезанной оттуда доктором-мужиком, и т. п. Первое впечатление, произведенное Хрипушиным на пациента, было всегда так велико, что никакая нелепица не могла повредить его авторитету в глазах слушателей. Напротив, слушатель всеми мерами стремился к тому, чтобы как-нибудь объяснить себе причину только что изображенного Хрипушиным чуда, и, не объяснив, ждал себе спасения все-таки от Ивана Алексеича. В таких случаях лавировка, которую производил Хрипушин, стараясь избежать объяснения, была опять-таки вполне достойна его таланта. Он начинал, по обыкновению, сыздалека, понемногу отклонялся от предмета и доводил дело до того, что успевал осушить с пациентом не одну бутылку водки, после чего начиналось пение духовных гимнов и было не до объяснений. Бывали, впрочем, случаи, хоть и весьма редкие, когда пациент весьма настойчиво обращался к Хрипушину за объяснением непонятной вещи. Тогда Иван Алексеич, с прежнею бодростью и готовностью, снова брался объяснять дело и снова на средине фразы восклицал:

— Да вы, Иван Иваныч, лучше всего вот как... Вы позвольте мне хоть двадцать-то пять копеечек, а я вам всю эту комиссию в книжке доставлю. Рассказывать — всего не расскажешь, а вы бы сами взяли книжечку? Ей-богу! Всё, авось, почитаете...

— Ну что ж, сделай милость!

Хрипушин получал требуемую сумму, засовывал ее за обшлаг рукава, где хранилась у него целая кипа каких-то бумаг, и говорил:

— И во сто раз будет для вас лучше. Опять книга редкостная и (прибавлял он шопотом) строго запрещена.

— Э-э?

— Да-с! Следят-с, и даже весьма опасно... так что ежели в случае чего, боже избави...

— Бог с ней и с книгой! — говорил, махнув рукой, пациент, — попадешься еще... Ну ее! Не носи!

— Как вам будет угодно!

— Нет, нет!

— Ну, как угодно... До приятного свидания!

Таким образом Хрипушин выходил сух из воды.

Между множеством черт, усиливавших влияние Ивана Алексеича, была непроницаемая таинственность, которая окружала его. Никто не знал, какого он происхождения, откуда и как попал в наш город. Вопросы эти рождались в умах пациентов потому, что сам Хрипушин иногда намекал на свое благородное происхождение, иронически и зло подтрунивая над своею солдатскою шинелью. О таинственности происхождения Хрипушина заставляли думать и неимоверные познания, которыми он умел блеснуть где нужно. Растеряевцы полагали, что Иван Алексеич знал решительно все; но полное торжество высокопросвещенного человека Иван Алексеевич выносил из бесед с пациентами, состязаясь с ними по предметам, знакомым для них. Главною темою для этих состязаний было священное писание. Растеряевский обыватель-чиновник всегда с любовию вспоминает свою семинарскую жизнь, вспоминает греческую грамматику, когда-то ненавидимую им, герминевтику, гомилетику и проч. Годы чиновничества, конечно, не давали ему возможности упиться вполне прелестью воспоминаний; они выедали в самое короткое время все прежние познания, так что из греческой грамматики растеряевец помнил только: «альфа, вита, гамма», а из герминевтики и из гомилетики только одни названия наук... С такими учеными Хрипушин мог справляться сразу, несмотря на то, что, при всей скудости оставшихся знаний, они были народ задорный и любили спорить о высоких предметах, особливо под пьяную руку. Часто среди глухой полночи, в облаках табачного дыма и неистового оранья песен духовного и светского содержания, на пирушке у какого-нибудь чиновника, Хрипушин нарочно заводил спор о высоких предметах и, махая у потолка фуражкой, кричал, покрывая голоса всех:

— Не соглашусь!.. Нельзя! никогда!

— Иван Алексеич! Позвольте!..

— Не могу! Опровергну!

— Пей!

Верх брал, конечно, Хрипушин, ибо впоследствии все спорящие настолько упивались вином, что языки их прилипали к гортаням, а Хрипушин, которого не могли споить никакие попойки, говорил уже один, и непременно тоном победителя.

— Эх вы! — говорил он, покачиваясь над бесчувственными собратиями, — спорить! Да имеешь ли ты столько ума, чучело?

На пациентов женского пола, с которыми ни о каких науках говорить было невозможно, Хрипушин действовал более осязательною таинственностью. Так, входя, он имел обыкновение бросать фуражку в угол и затем с мрачной физиономией говорил:

— Здравия желаю!

— Иван Алексеич! зачем вы шапку бросаете?..

— Оставьте без внимания, — мрачно говорил Хрипушин. — Это мое дело... Как ваше здоровье?

— Иван Алексеич, батюшка, возьми шапку на окно: право, душа не на месте!

— Сделайте ваше одолжение, не заботьтесь! это дело мое-с... и взять я ее оттуда не могу... Успокойтесь!

К довершению ужаса, Иван Алексеич, знавший, что пациентка следит с напряженным вниманием за каждым движением его, начинал пристально смотреть своими огромными глазами в угол, шевелил усами, едва заметно качал головой и принимался грозить пальцем...

— Батюшка! Голубчик! — вскрикивала чиновница, хватая Хрипушина за рукав... — Оставь! Брось... Ради христа! не мучь!

— Хе-хе-хе!.. Да будьте покойны, что вы-с?

— Будет, будет, ради христа!..

— Не беспокойтесь! — улыбаясь, говорил Хрипушин. — Вреда никакого нету... Только что... Да вы, Матрена Ильинична, вот что... вы позвольте мне хоть двадцать пять копеек: сварю я вам одну специю...

Но как при такой неисходной таинственности, окружавшей непроницаемым мраком происхождение Хрипушина и историю его жизни, как, повторяю, при всем этом не возбудить подозрения хотя бы просто-напросто «в беспаспортности» и не попасть вследствие этого в квартал? Хрипушин глубоко понимал это и для охранения своей особы от беспокойств и лишений, причиняемых кварталом, сумел заставить полюбить себя, как родную, необыкновенно умную, но загнанную и заброшенную силу, которую не понимает никто, которую всякий может обидеть и засадить в острог. Пациенты любили Хрипушина и дорожили своим медиком, как раскольники берегут и жертвуют всем ради своих попов. С целью достигнуть этой любви, Хрипушин прежде всего старался поднять упавший патриотизм растеряевцев. Во время севастопольской кампании он производил в нашей стороне неописанный фурор... С каким удивительным искусством передавал он подвиги солдата Кошки, ускользнувшего из-под носа целой французской армии! Не забыта была и баба, которую захватили на английский фрегат, для того чтобы отнять моченые яблоки, которыми она торговала, — без конца! В обыкновенное, мирное время Иван Алексеич действовал тоже при помощи разных иноплеменников, только картины выбирал не столь батальные. В мирное время он упоминал о том, как англичане предложили сто миллионов тому, кто «с одного маху» нарисует вот эдакую штуку... И что же! Ни один из народов не мог этого сделать... Взялись «наши» — и в одну минуту! От миллионов наши, конечно, отказались и попросили полштоф вина и фунт паюсной икры. Потом, благодаря Хрипушину, растеряевцам было известно, что те же англичане предложили двести миллионов тому, кто год пролежит на одном месте; наши опять взялись — и пролежали втрое более назначенного англичанами срока... Рассказы в таком роде тянулись до тех пор, пока слушатели-пациенты вполне не убеждались в превосходстве нашего народа над всеми народами мира. Когда это было достигнуто, Хрипушин тотчас же принимал унылый вид и с грустью говорил:

— А как у нас этаких-то людей ценят? стыдно подумать! стыд! срам!..

И затем начинались доказательства: тут упоминалось и о трех денежках в сутки, и об участи изобретателей разных секретов, о механиках-самоучках и т. п. Затем Хрипушин находил удобным выдвинуть на сцену, наконец, и себя:

— Да вот, — кротко говорил он, — хоть бы и мое дело... Слава богу, пятнадцать али больше годов пользую публику и никогда от нее неудовольствия не видал, а между прочим, позвольте вас спросить, какое же я себе награждение вижу? Шинелишка-то эта да фуражка? — это, что ль? Да ведь это и все, на всю жизнь! Еще и теперича, случается, иной раз не евши сутки двое проходишь; ну, а как старость-то придет, тогда как?

При этом Хрипушин вынимал из обшлага рукава скомканный в кулак и изодранный клетчатый платок, торопливо утирал нос и слегка касался глаз, на которых показывались слезы. Благодаря частому морганью заблиставших слезами глаз и в особенности благодаря скомканному, рваному клетчатому платку, Хрипушин приобретал полное сочувствие публики.

— А случись доктор какой-нибудь, будь на моем месте немец? И людей бы морил и миллионщиком бы сделался!

— Это верно! — подтверждали слушатели.

— Да уж я вам говорю! А что же он, будьте так добры, особенного-то имеет? Знаем-то мы, пожалуй, и почище его кое-что... Ну, а еще-то чем берет? Н-нет-с, у нас своих не ценят ни в грош! Немцы-с! ученые-с! как можно, чтобы, мол, какой-нибудь Иван Хрипушин с ним поравнялся!.. А Иван-то Хрипушин иной раз, пожалуй, и с ученым бы потягался... А как вы полагаете? Да я вот что скажу: насчет заочного лечения навряд ли, чтобы со мной кто равенство имел...

Рассказав несколько действительно изумительных случаев заочного лечения, причем иногда приходилось лечить не видя пациента и не зная его болезни, так как пациент старался держать это дело в секрете, он восклицал:

— А ну-кось, немец-то? Что он тут выдумает? Язык смотреть? Э-ге, брат!.. Окроме языка еще много чего

есть... Позвольте, будьте так добры, уж еще рюмочку. Язык! Нет, ты попробуй этак-то, когда тебе ничего не показывают, тогда я с тобой поговорю!

Хрипушин выпивал вторично и прибавлял:

— А наш брат все без хлеба, все середь улицы валяется!..

Таким образом, при помощи своих познаний, Иван Алексеич достигал того, что каждый день возвращался домой с практики под хмельком. Жил он в глухой улице, и не один, как были все уверены, а с раскольницей-женой, от которой ему не было житья ни днем, ни ночью. Можно не ошибаясь сказать, что буйная супруга Хрипушина, выгонявшая своего мужа из дому единственно ради его рыжих волос, и была причиною того, что Хрипушин из боязни, чтобы не умереть с голоду, выдумал свою медицину и всю свою изумительную эрудицию. В доме супруги он делался агнцем, терял всю свою солидность и думал только о том, как бы защитить свою голову от ударов супруги, грозивших обрушиться на него каждую минуту.

Ко всему этому мне остается прибавить немного. Костюм Хрипушина был: солдатская старая шинель, с разнокалиберными пуговицами и воротником, затянутым до невозможности. На голове он носил фуражку, внутри которой помещался платок. Насчет способа лечения должно сказать, что Иван Алексеич избирал средства преимущественно радикальные: у одного чиновника, например, с детства сидел в ухе кусок грифеля, — Иван Алексеич предложил ему стать вверх ногами. Один из пациентов его надорвал живот, — Хрипушин брал больного на плечи и, держа за ноги, встряхивал несколько раз. Вообще деятельность Хрипушина была велика и разнообразна, и количество знакомых большое.



VII. ХРИПУШИН ИЩЕТ РЮМОЧКИ

Идет Хрипушин по глухому Томилинскому переулку, одному из бесчисленных переулков «растеряевской окру́ги», и раздумывает, где бы ему выпить рюмочку и закусить икоркой? Кругом стоит полуденная тишина и зной. Где-то, в отдалении, среди густых фруктовых садов скрипят одним кольцом качели; в стороне слышится удар лодыжкой в забор, и вслед за тем детский голос кричит: «плоцка!», «шестёр!» Звук шагов, раздавшийся под окном у мастерской сапожника, заставил хозяина, сидевшего за работой, поднять голову и засвидетельствовать Ивану Алексеичу почтение.

— Здравствуй, здравствуй, друг! — говорил Хрипушин, трогая фуражку: — как бог носит?

— Ничего, Иван Алексеич! Помаленьку... День без хлеба, два дни так... Хе-хе-хе!

— Доброе дело! Ну, будьте здоровы!

— Счастливо!

Сапожник снова принимается за работу и, тихонько попевая, продергивает обеими руками дратву, постукивает о каблук молотком и поплевывает куда надо, а Хрипушин продолжает свое шествие. За несколько шагов до мелочной лавки он снова принужден снимать фуражку, так как хозяин, завидев Хрипушина, оставил свой зеленый стул, помещавшийся на высоком лавочном крыльце, и раскланивался с ним, держа шапку на отлете. После обоюдного приветствия Иван Алексеич, по обыкновению, спрашивает: «как здоровье?» Хозяин поблагодарит, объявляя, что всё слава богу.

Так идет прогулка Хрипушина в ожидании практики. Но вот, наконец, и самая «практика».

— Иван Алексеич! — раздалось над самым ухом Хрипушина.

В маленькое ветхое окно выглянула физиономия старушки-чиновницы Претерпеевой. Старушка кивала головой по направлению во внутрь комнаты и шопотом говорила:

— Зайди, зайди, отец мой!..

— Здравия желаю! — почтительно произносит Хрипушин, столь же почтительно наклоняя набок обнаженную голову.

— Зайди, батюшка, дело есть!.. Одно только словечко сказать...

— С великим удовольствием!

Хрипушин вступил на маленький топкий двор, нагибаясь в низенькой двери, пролез в сени и, наконец, очутился в горнице. Везде на ходу замечал он признаки расстроенного хозяйства, нерадения, неряшливости, везде на глаза его попадались вещи сломанные, разбитые, опрокинутые, грязь, немытые полы и лужи. «Парадная» комната, куда он вошел, веяла тою же пустынностью и отсутствием заботливости; шкаф, предназначенный для посуды, был пуст — на верхней полке болталась позеленевшая медная ложка, на нижней помещались тарелки с иззубренными и заклеенными замазкой краями. Все семейство Хрипушин застал в расстройстве и негодовании. Четыре дочери Претерпеевых, одетые весьма небрежно, ходили надувшись друг на друга. Самая старшая из них, обладавшая, кроме невзрачного платья, еще каким-то невероятным коком на самом лбу, наткнулась на Ивана Алексеича в передней и сердитым голосом сказала ему:

— Ах, мусье Хрипушин, ради самого бога, хоть вы усовестите их!.. Это, наконец, невыносимо! Сил нет!

— Что ж такое-с?

— Да тятенька!

Девица вспыхнула и с сердцем толкнула дверь в кухню.

Иван Алексеич, почуяв общую беду, медленно вошел в комнату и осторожно присел на стул около стола.

— Посмотри-кось сюда, отец, — шептала старушка, поднимая из-за стула пустой графин, на дне которого торчал перечный стручок. — Вот эдаких-то три уж!.. а? день-деньской, день-деньской, без роздыху! Эка жизнь! Господи!

Хрипушин молчал и соображал.

— Намедни, — продолжала старушка, нацеживая из другой посуды рюмку водки, — намедни три раза из должности присылали, управляющий спрашивал, — не мог! Ну, без чувств, как есть, и людей не узнает! а? Эка жизнь! Выкушай, Иван Алексеич... Как же быть-то, отец?.. Нет ли чего-нибудь?

Старушка умоляющими глазами смотрела на Хрипушина. Тот вздыхал, кряхтел и прожевывал закуску. Где-

то, за перегородкой, слышался невнятный бред спящего человека и злой, нетерпеливый шопот сестер: «Отдай мою шпильку! Это моя шпилька!» — «Вот еще новости!» — «Марья! отдай! я закричу!» — «Очень нужно!» — «У! бесстыжая!» Хрипушин все кряхтел и соображал. В комнату быстро вошла старшая дочь, шлепая стоптанными башмаками; в руках у нее был медный изломанный кувшин с водой; не обращая внимания на плескавшуюся из кувшина воду, она с сердцем толкала коленями стулья около окон, с сердцем тыкала пальцем в засохшую землю запыленной ерани и с таким же ожесточением затопляла забытый цветок водою.

— Да из-за чего вы изволите беспокоиться? — решился проговорить Хрипушин. — Все, слава богу, благополучно!

— О, ну вас, ради бога!

Слезы быстро наполнили ее глаза, и она бросилась в дверь, стукнув кувшином о притолоку.

— Обеспокоены! — заметил Хрипушин.

— Да, батюшка! — слезно заговорила старушка. — Какое же тут может быть спокойствие! Кажется, дрожим, дрожим! .. Опять, пуще всего в том досада, ничего не говорит...

— Молчит?

— Молчит и молчит! .. Что ни думали, что ни делали, ничего! ..

— Болезнь трудная!

— Ммм... — послышалось за перегородкой... — Н-неввоззможно!

— Как запущена! — прищуривая глаз, прошептал Хрипушин и покачал головой.

— Запущена? — плача повторила старушка.

— И весьма запущена!

— Батюшка! ..

— Н-невозможж! .. — опять раздалось за перегородкой.

В разных углах дома раздалось всхлипыванье.

— Покой-с! Покой дайте больному! — останавливал Хрипушин рыдавшую старушку.

— Видите? — срыву проговорила старшая дочь, на мгновение появляясь в дверях; глаза ее были красны. —

Видите? — продолжала она, указывая рукой на перегородку.

Хрипушин изумленно смотрел на нее. Девушка, не говоря больше ничего, повернулась и исчезла, хлеснув пружинами кринолина об стену.

Настало тягостное молчание. За перегородкой не слышно было никаких звуков; слезы исчезли, но общее негодование и грусть говорили, что беда еще не миновалась.

— Так как же, батюшка? — спросила, наконец, старушка, вытирая глаза концами изорванной шали.

— Да надобно, Авдотья Карповна, подумать-с... Что вы-то печалитесь?

— Ох, отец мой!..

— Вы должны показывать собой пример! Вы — мать! Через ваше уныние, может, еще более у Артамона Ильича недугов прибавляется? Это нельзя-с! Да кроме того, с божиею помощию, сварим мы кой-какую специю: может, оно и полегчает...

— Специю или что-нибудь, что знаешь, батюшка! а не то свози ты его к бабке в Добрую Гору... Многим старушка помочи дала... Сделай милость!.. Век, кажется, за тебя буду бога молить...

— И это можно... Только не унывайте и не ропщите... А насчет старухи как вам будет угодно: могу и за ней съездить и Артамон Ильича свозить...

— Свози! свози ты его, благодетель наш...

— Извольте, извольте-с... Только не будет ли у вас мелочи сколько-нибудь... На первое время...



VIII. СЕМЕЙСТВО ПРЕТЕРПЕЕВЫХ

Лет двадцать тому назад семейство Претерпеевых представляло картину совершенно другого рода. В то время Артамон Ильич и Авдотья Карповна только что перебирались, после брака, на житье в эту Томилинскую улицу. Артамон Ильич, длинный сухопарый чиновник, подновивший женитьбою свою тридцативосьмилетнюю

физиономию, отличался высокою кротостью и вполне подчинялся жене. Авдотья Карповна была маленькая черноволосая свежая женщина, насквозь пропитанная хозяйственностью: ни одной щепки, нужной в хозяйстве, она не пропускала без внимания и делала все это без крику, без брани, с лицом постоянно веселым. Впоследствии, когда, наконец, супруги поселились в своем маленьком новом домике, Авдотья Карповна до того предалась хозяйству, что Артамону Ильичу решительно нечего было делать. Авдотья Карповна не уставая шныряла из кухни в комнату, из комнаты в погребицу, шила, вытирала стекла, выгоняла мух, сдувала пыль и проч. Артамон Ильич благоговел перед женой и тосковал, не имея возможности хоть чем-нибудь содействовать успеху собственного благосостояния.

Счастье самое полное царило в жилище Претерпеевых. Авдотья Карповна старалась, из угождения к мужу, возвести хозяйство до высшей степени совершенства. Артамон Ильич, не зная, чем угодить жене, безмолвствовал, не пил ни капли водки, не спал после обеда и не носил халатов. Любовь его к Авдотье Карповне, согревшей его сердце, долго стывшее в холостой жизни, была беспредельна. Артамон Ильич, впрочем, не мог с достаточною экспрессиею выразить эту любовь: лицо его оставалось попрежнему спокойным, даже несколько холодным, и о признательности своей он не говорил жене ни единого слова; тем не менее супруги боготворили друг друга.

Шли годы. У Претерпеевых явились дети, из которых остались живы только четыре дочери. Но и увеличение семейства не было еще в силах поколебать совершенно правдивое боготворение, питаемое супругами друг к другу. Явились новые расходы; Авдотья Карповна завела корову и принялась торговать молоком и творогом. На огороде был разведен картофель, и осенью открыта продажа всех овощей. Все шло как нельзя лучше. Авдотья Карповна одна справлялась с нуждами семейства; Артамону Ильичу оставалось попрежнему быть покойным и благоговеть. Он так и делал, потому что, когда однажды, в видах соблюдения расходов, он попробовал было отказаться от нового казинетового сюртука, то Авдотья Карповна мало того что сделала ему внушение, но кроме

сюртука сшила еще новые сапоги. Сама же Авдотья Карповна, по мере того как подрастали дочери, отказывала себе во всем: она по годам трепалась в двух старых ситцевых платьях и носила шаль, которую за негодностью не хотела надевать даже ее бабушка. Вследствие этих сбережений в комнате дочерей появилось четыре новых сундука для приданого, и в них уже покоилось по нескольку трубок хорошего полотна.

Этими урезываниями собственных нужд в пользу будущего приданого заботы Авдотьи Карповны о дочерях не ограничивались.

Однажды Авдотья Карповна объявила мужу, что желает отдать старшую дочь Олимпиаду в пансион. Артамон Ильич давно уже догадывался об этом желании супруги и, по правде сказать, боялся его. Разные одинокие размышления привели его к убеждению, что «образованность» не принесет его дочерям ничего, кроме погибели. Он обдумал это во всех подробностях, и поэтому что ж мудреного, что, когда жена обратилась к нему за советом, сердце его екнуло. Где возьмет он силы победить этот умоляющий взгляд супруги? Разве хватит у него духа разбить так давно лелеянную ею мечту?

— Как же ты думаешь? — спрашивала убитым голосом Авдотья Карповна, испугавшаяся бледного лица мужа. — Али уж не отдавать? — прибавила она с замирающим сердцем.

— Нет! нет! — воскликнул Артамон Ильич. — Отчего же?

И Олимпиаду отдали в пансион.

В первый раз Артамон Ильич допустил в своих отношениях с Авдотьей Карповной неправду, и душа его была возмущена. Неспокойна была душа и у Авдотьи Карповны; она подглядела бледность на лице мужа в то время, когда дело шло о пансионе, и со страхом подумала: «Неспроста это!» Почудилось ей, что Артамону Ильичу вовсе не хотелось учить дочь.

«А если он не хотел этого, — думала Авдотья Карповна, — стало быть, имел основательные резоны. Артамон Ильич не такой человек, чтобы сдуру что сделать. . .»

Когда эти соображения залетели в голову Авдотьи Карповны, она в первый раз почувствовала перед мужем какую-то провинность и трепетала каждую минуту, боясь

увидеть доказательства собственного промаха. Устроив дочь в «пансион», она с особенною внимательностью принялась следить за каждым движением Артамона Ильича, за каждым изменением физиономии мужа. Прошло много лет; сотни куличей и сдобных булок было поднесено начальницам Олимпиады в день их тезоименитств и в высокоторжественные праздники; дочь перевели уже в последний класс, а Артамон Ильич попрежнему безмолвствовал, попрежнему не спал после обеда и не пил водки. Все было как должно. Раз даже, когда сама Авдотья Карповна чуяла беду неминучую, Артамон Ильич ни на волос не изменил своей тихости: Олимпиада явилась с просьбою свозить ее в театр.

— Все бывают, — кисло говорила она, — а я нет! Я хочу в театр!

Артамон Ильич молча сделал дочери удовольствие. Как Авдотья Карповна пристально ни смотрела на мужа, в эту минуту она ничего не заметила и порешила было совсем успокоиться, как случилась новая история. За несколько месяцев до выпуска Олимпиада обратилась к родителям с предложением распустить на всех ее платьях складки. Просьба эта была произнесена таким капризным тоном образованной барышни, с такими энергическими надуваниями губ, что Авдотья Карповна помертвела. К довершению испуга ее Артамон Ильич, преспокойно сидевший у окна, при последних словах дочери повернул голову и посмотрел на нее пристальным взглядом.

Складки были распороты, Олимпиада удовлетворена, Артамон Ильич неизменен, но в жизни супругов не было уже чего-то. Не было правды. Авдотья Карповна, чувствовавшая свой промах перед мужем, понимавшая, что у Артамона Ильича на душе не сладко, приписывала его муку себе, всеми мерами старалась сделать ему угодное и делала все поэтому против собственной своей воли, которую она ставила ни во что и не верила ей. Таким образом, благодаря дочери, супруги незаметно разъединились. Между ними не было уже той откровенности, какая царила прежде. В каждом последующем их действии присутствие «конфуза» делало несообразности, каких они никогда и ожидать не могли. Предметом этих несообразностей была все та же Олимпиада, которую все более и более начинала одолевать «образованность».

При каждом требовании ее Авдотья Карповна, из угождения мужу и большею частью против собственного желания, восклицала:

— Как это можно!

— Нет! нет! — прерывал Артамон Ильич, пораженный в самое сердце несообразным желанием дочери: — что ты, Авдотья Карповна? Отчего же и не сделать ей удовольствия? Худого нет...

И удовольствие делалось с общего согласия. Наивные супруги начали конфузиться друг друга и хотели взаимным угождением прикрыть свою наготу, словно листком. Благодаря этой добродушной стыдливости все требования «образованности», проявлявшиеся в Олимпиаде, удовлетворялись вполне. Этому, кроме того, много способствовала безграничная любовь к дочери, которую они не решались огорчить. Таким образом, Олимпиада Артамоновна, смертельно тосковавшая в доме родителей, все время по окончании курса проводила в одном «барском» семействе, где была ее подруга по пансиону. Артамон Ильич знал, что семейство это принадлежит к числу разорявшихся дворян, еле дышащих на последние крохи, но все-таки сам провожал дочь свою туда на вечера «с танцами», так как разорявшееся семейство, при малейшей возможности вздохнуть, тотчас же задавало балы и разные затеи. Балы эти и другие прихоти Олимпиады Артамоновны повели за собой невероятные для супругов расходы. Явилась надобность в платьях, лентах. Целые дни в доме Претерпеевых шла кройка материй и шитье нарядов; растеряевская портниха, или, как ее здесь называют, «модница», имела здесь полный простор для своей деятельности. Все это вконец измучило обоих супругов. Артамон Ильич потерял всякое соображение, Авдотья Карповна — всякую расторопность; она как-то осовела и целые дни еле передвигала ноги, будто только что вышла из жаркой бани. В таком парализованном состоянии супруги опростоволосились до того, что, по желанию Олимпиады Артамоновны, устроили в своем крошечном жилище званый вечер, ибо этого требовало «приличие», как справедливо заметила дочь. Услыхав предложение о бале, Авдотья Карповна подумала про себя, что в самом деле надо же отплатить господам за

их радушие к дочери, но под влиянием побледневшего лица Артамона Ильича воскликнула:

— Что ты! Что ты! Где нам балы задавать... Вот еще, господи!

— Нет, нет! — восклицал Артамон Ильич, посоловевший от этой затеи... — Отчего же? Мы, слава богу, не нищие!

И, в доказательство своих слов, он бросился в лавку за покупками, дрожа всем телом.

— Вот как у вас нонче, Артамон Ильич! — сказал ему лавочник. — Бал!

— Голубчик! — почти со слезами прервал его Артамон Ильич. — Не говори!

Во все время «бала» Артамон Ильич и Авдотья Карповна походили на каких-то истуканов с оловянными глазами; Артамон Ильич дошел даже до того, что когда кто-то из молодых людей пожелал закурить папироску и попросил огонька, он не двинулся с места и страшно испугался. Но когда забренчало фортепиано и начались танцы, Артамон Ильич очнулся: на физиономиях кавалеров и в их поступках он заметил что-то нехорошее; он видел, как кавалер, взявший Олимпиаду на польку, подмигивал соседу и старался половчее обхватить талию своей дамы; он видел, как в ответ на это другой кавалер многозначительно покашливал и слегка поддакивал ему утвердительным кивком головы. Иногда Артамон Ильич, словно в забывчивости, делал шаг по направлению к танцующим, чтобы остановить дочь, повисшую на руке кавалера, но мысль, что эти кавалеры и все эти благородные барышни будут смеяться потом над Олимпиадой, останавливала его, и он снова тащился в угол. В другой раз он инстинктивно отправился в сад, куда перед тем скрылась Олимпиада с кавалером. Но едва он сделал шаг, едва услышал издали веселый разговор дочери, как ноги его почему-то не пошли дальше. Как он проклинал этого негодного кавалера!.. Наконец, когда дочь его сердито крикнула: «Это что за новости?», Артамон Ильич бросился к беседке и хотел оборвать кавалера, но почему-то только кашлянул и поспешил уйти.

Рано ли, поздно ли, а все эти увеселения кончились. Олимпиаде Артамоновне пришлось жить исключительно в доме родительском, и она действительно страшно ску-

чала. Гнев ее возбуждало все, начиная от захолустья, где жили они, до кривого зеркала, в котором самое ангельское лицо превращалось в лицо сатаны. Кроме того, Олимпиаду Артамоновну мучило то, что после разлуки с «высшим» обществом ей решительно негде было показать себя и своих нарядов: единственный пункт, где собиралось общество, была церковь, но кого же приходилось ей встречать здесь: мастеровых, сапожников, мещан, чиновников с запахом водки и с небритыми бородами. Она одна по целым дням сидела дома, и ей не с кем было слова сказать...

— Отвращение! — с сердцем говорила она.

Артамон Ильич безмолвствовал.

Прошло три года; подросли другие три дочери, образование которых было возложено на Олимпиаду Артамоновну и которые, вследствие этого, не знали ровно ничего; они позаимствовали у сестры только манеру надувать губы, весьма выразительно говорить: «атвращение», и начали выступать против родителей с собственными протестами, пользуясь тем, что протесты сестры переносят родители беспрекословно. По примеру сестры, они роптали насчет складок и т. п. Авдотья Карповна, не считая их образованными, пробовала было прикрикнуть на них.

— Вы-то что? вам-то какого еще рожна недостает? — сердилась она.

— Маменька! Это что такое? — вступалась Олимпиада. — Так только на горничных можно кричать. Мы не горничные!

Авдотья Карповна замолкла. Протесты, таким образом, повалились на стариков градом со всех сторон... Года через два-три они уже сводились, к счастию, на одно только требование «жениха». В недовольных физиономиях дочерей родители явственно читали это требование: даже Олимпиада Артамоновна, кажется, непрочь была в настоящую минуту от посещений хотя бы и растеряевского кавалера.

— Ну, Артамон Ильич, — сказала, наконец, как-то Авдотья Карповна мужу. — Тащи женихов, ваших-то, палатских!

— С великим, матушка моя, удовольствием! — обрадовавшись, отвечал Артамон Ильич.

Никогда супруги не были так радостны и веселы... Но радость их была недолга.

По всей «растеряевщине», во всем соседстве Претерпеевых, про них шла уже *молва*. Томилинские дамы были обижены неприглашением на балы, томилинские кавалеры — пренебрежением к ним, по случаю знакомства с петербургскими и высокоблагородными, а главным образом вследствие того, что им не удалось отведать тех дорогих вин, которые года два тому назад покупались для благородных гостей. Все это обрадовалось и возликовало, когда, во-первых, узнало от лавочника, что три целковых, должные за стеариновые свечи, до сих пор не заплачены Претерпеевыми, и, во-вторых, когда увидело самого Артамона Ильича, с особенным рвением желающего завлечь к себе нашу томилинскую молодежь.

— Ай! подошло! — радостно подмигивая друг другу, говорили чиновники и перемигивались.

— Что же это у вас господа-то помещики петербургские не бывают? — спрашивали они, подсмеиваясь над Артамоном Ильичом.

— Уехавши-с! .. Давным-давно-с...

— Гм... Уехали! .. Ну, а Олимпиада-то Артамоновна отчего такие завсегда тоскливые? ..

— Ах, господи Иисусе Христе! — вскричал Артамон Ильич. — Чего тоскливые? Да господь ее знает!

— Господь! — поддакивали чиновники и подмигивали одним глазом.

Таких «кавалеров» Артамон Ильич завлек в свое жилище только тогда, когда обещал угостить вишневкой и на закуску подать маринованных пискарей. Кавалеры, наконец, начали посещать Претерпеевых. Но, господи, что это были за кавалеры, что это были вообще за люди! Обезображенные бедностью и одиночеством, они словно дикие звери смотрели на постороннего человека. Один вид искаженных физиономий, эти грязные манишки с торчащими из-за галстука тесемками, эти вечно испуганные лица, редко прилипнувшие на висках и на лбу волосы — все это в совокупности могло возбудить отвращение не только в Олимпиаде Артамоновне, но и вообще в человеке, не выносящем неопрятности. Ни один из них не умел сказать путного слова, то есть просто-напросто кавалеры эти не говорили ничего: об чем им было гово-

рить с такой барышней, как Олимпиада Артамоновна, которая говорит по-французски, играет на фортепиано и в разговоре употребляет слова вроде: «афрапировало» и проч. и проч.? Они чувствовали себя несколько свободными только тогда, когда Артамон Ильич просил их выпить водочки; тут они делались истинными артистами, потому что искусство глотания рюмок было доведено ими до высшей степени совершенства. Тут они на взгляд Олимпиады Артамоновны представлялись просто «мужиками»... Отвращению ее не было пределов. Вслед за ней томилинских кавалеров забраковали и другие сестры. Артамон Ильич хотел было вразумить дочерей, что иначе и быть не может, хотел было заговорить, но увидав, что Авдотья Карповна сочувствует дочерям, стал поддакивать жене и предложил отказать кавалерам.

— Как это можно! — возразила Авдотья Карповна, по обыкновению против собственного желания.

— Нет, нет! — в свою очередь возражал ей муж. — Нельзя... Великая неволя с этакими пьяницами!

Кавалеры томилинские были изгнаны. Тут-то они и показали себя во всем блеске. Застенчивость и конфуз, одолевшие их при Олимпиаде Артамоновне, заменились тою высокою наглостью, на какую способны только одичалые люди. Без ругательств они не могли пройти мимо ее окна и старались, чтобы она непременно слышала их слова. В церкви, на улице указывали пальцами, примаргивали, присвистывали. Целые истории пущены были в публику про претерпеевскую барышню: рассказывали, что не дальше как третьего дня у Претерпеевых был помещик Арапников, наделавший в прошлом году шуму своим кутежом с актрисой, и будто бы подарил ей брошку. Некоторые «дамы» рассказывали, что они сами своими глазами видели эту брошку. Другие прибавляли, что Олимпиада была уже вместе с матерью в гостях у Арапникова, и ссылались, в подтверждение этих слов, на извозчика Гришку, который будто бы из гостей привез одну мать. Томилинская скука подхватила на удочку эти новости и целые дни трубила о претерпеевской барышне. Везде, где только ни показывался Артамон Ильич, с ним, не церемонясь, начинали разговор о его дочерях... Артамон Ильич так упал духом, так был убит всем этим, что, думая восстановить истину, пытался вступать с кле-

ветниками в горячий спор и, не одолев, почти со слезами начинал умолять.

— Неправда! — говорил он, — всё лгут! Как не грех перед богом?

— Мы, брат, знаем! — отвечали ему.

— Да не верьте вы, христа ради! Какой это такой и Арапников есть на свете, мы его и в глаза не видали. Я — отец! я знаю!

— Ничего ты не знаешь, хоть ты и отец! А спросикось ты извозчика Гришку, он тебе кое-что порасскажет.

— Господи! — произносил с отчаянием растерзанный Артамон Ильич и умолял только об одном: не рассказывать этих слухов больше никому. .

Но этими муками на улице и в канцелярии мучения его не исчерпывались. Дома мучило его сожаление своих дочерей, своей жены и вид нищеты. Дочери знали, что́ про них толкуют томилинцы; были обижены ими и поэтому злы... Как на корень зла, негодование дочерей прежде всего обрушилось на Артамона Ильича, который решительно ничего не умеет сделать, даже женихов для дочерей не мог отыскать и пригласил каких-то тряпичников, которые врут про них без умолку всякие нелепости. К довершению картины общего расстройства в семействе Артамон Ильич заметил вражду между самими сестрами: они поминутно ссорились между собою за ленту, за булавку и причину непосещения их молодыми людьми приписывали Олимпиаде в той же мере, как и отцу. «На тебя никто не угодит! — говорили они ей. — Графа тебе, что ли, нужно? Бешеная!» Артамон Ильич видел, как с каждым днем под влиянием тоски и злобы увядали свежесть и красота его дочерей. Видел, как Олимпиада Артамоновна, сама постигнувшая свои ошибки, смотрела на него как на дурака, не умевшего остановить ее во-время; видел, как его любимица-дочь ходила в изорванных платьях, в стоптанных башмаках, наконец, чуял злобу и негодование, царившее над всем его домом; понял, что все пропало, все лезло врозь, и желание их с женой сделать жизнь детей лучше не удалось, и вот он сразу запил, а через год-другой сделался просто-таки «горьким пьяницей».

«Растеряевщина» не ожидала такого окончания. Она сжалилась над Артамоном Ильичом. Всякий, кто от

скуки сплетничал про его семью, спешил помочь ему, если видел, что Артамон Ильич упал на тротуаре и не может подняться.

— Артамон Ильич! Батюшка! Что с вами? Вставайте, сделайте милость! — говорил испуганный сосед... — Пожалуйте вашу руку, я вам подсоблю.

— Не стою! Н-не стою! — кричал Артамон Ильич. — Н-не стоит дураку помогать... Дурак! Дурак я!

— Вставайте скорей, бог с вами! увидят люди, — что хорошего...

Артамон Ильич не соглашался. Если же соседу и удавалось вымолить его согласие, то и после того возни с ним было еще много.

— Вставайте, вставайте! — говорил сосед.

— Н-нет, поз-звольте! — вырывая руку из руки соседа, лепетал Артамон Ильич... — Кто вы? В первый раз в жизни вижу вас!

— Будет вам, ради бога!

— Н-нет, позвольте! И решаетесь оказать помощь беспомощному?.. Кто вы, благодетель мой?..

— Сосед! Сосед ваш... Иванов... Вставайте!.. Дайте руку...

— Извольте-с!.. встану!..

Сосед начинал подымать Артамона Ильича, полагая, что, наконец, все кончено, как вдруг Артамон Ильич вырывал назад свою руку, снова падал на тротуар и бормотал, стаскивая с головы шапку:

— Н-нет, позвольте... Я перекрещусь! Бога я поблагодарю... за вас!.. Он! он, батюшка... владыко, послал...

И Артамон Ильич нетвердою рукою крестил свое лицо, мгновенно затопленное слезами.

Дома Артамон Ильич был молчалив и, явившись в нетрезвом виде, старался забиться куда-нибудь в угол, в чулан, на погребицу, и при появлении сюда кого-нибудь из семьи закрывал глаза, притворяясь спящим. Никогда от него не могли добиться слова. Недуг Артамона Ильича вконец расстроил семью. Разоренье дошло до высшего предела. На службе держали его только из жалости и грозились выгнать, если дела пойдут в таком виде «впредь». К бесчисленным заботам Авдотьи Карповны прибавилась забота и о муже. Она ничего не жа-

лела, лишь бы поставить его на ноги; знахарки и разные умные люди шептали над ним, отчитывали по «черной книге», поили всякой всячиной, но ничего не помогало. Хрипушин, неоднократно пользовавший Артамона Ильича, оправдывал неуспех лечения тем, что ему никогда Авдотья Карповна не давала докончить его как следует; непременно поторопятся, позовут другого, и все, что сделал он, Хрипушин, пропадает ни за что. Такие оправдания поддерживали в Авдотье Карповне веру в знаменитого медика, и она решилась еще раз обратиться к нему...

После свидания, изображенного в первой сцене, Хрипушин дня через два подъехал к дому Претерпеевых на телеге. Артамон Ильич только что проснулся и был трезв. Когда ему объяснили причину приезда Хрипушина, он тотчас же согласился с женой насчет познаний бабы-знахарки и не сомневался в собственном исцелении, хотя вполне знал, что никакая Добрая Гора и никакой Хрипушин не сделают ни на волос пользы.

Артамона Ильича усадили в телегу; рядом с ним сел Хрипушин. На перекрестке медик и пациент перекрестились, пожелали себе успеха и повернули за угол. Вослед им долго смотрела из окна Авдотья Карповна.

Выехав в поле, Хрипушин почувствовал, что ему совестно перед Артамоном Ильичом, лицо которого ясно показывало, что он ни на волос не верит волхвованиям старух и Хрипушина, а едет лечиться единственно из угождения семье.

Долго между обоими ими тянулось самое мучительное молчание. Артамон Ильич заговорил первый.

— Это ты лечить меня, Алексеич, собираешься? — сказал он с горькой улыбкой.

— Да надо бы, Артамон Ильич, — смешавшись, заговорил Хрипушин... — Надо бы вам... того... попользовать вас.

— Э-э, голубчик! — перебил пациент. — Друг! — присовокупил он, касаясь плеча извозчика. — Повороти-ка ты лучше всего налево. Вон туда!..

Слева от дороги торчал кабак.

Возница стал поворачивать. Хрипушин безмолвствовал.

Артамон Ильич проснулся в траве около кабака на другой день ввечеру. Хрипушин, успевший во время припадка своего пациента дать несколько благих советов целовальничихе и ее старухе-свекрови, стал торопить его домой. Ему нужно было доставить Артамона Ильича трезвым. Скоро они собрались и поехали.

— Хоть по крайности, ежели уж излечить вас нельзя, — въезжая в Томилинскую улицу, говорил Хрипушин, — по крайности фигуру-то свою хоть на минуту соблюдите.

— Фигуру-то я... я соблюду! — согласился пациент.

После общих надежд на благополучие, надежд, особенно ревностно подтверждаемых самим Артамоном Ильичом, на столе в горнице закипел самовар, и Авдотья Карповна вступила с Хрипушиным в самый дружеский разговор. Артамон Ильич вышел пройтись в сад. Здесь он прилег на скамейке в беседке и долго-долго рыдал.

В соседнем саду слышался веселый смех, и скоро в беседке, отделенной от Артамона Ильича забором, послышалось бряканье чашек, шипение самовара и, наконец, разговоры.

— Чем же мне угощать вас, господа? — говорил сосед Иванов, оказавший вчера Артамону Ильичу помощь на улице.

— Что за угощение! — отвечали любезно гости, и один из них тотчас же прибавил, понизив голос:

— Соседки у вас, Семен Семеныч, — вот это разве...

— А, понравились? Хотите, посватаю?

— Неужели же возможно?

— Это уж наше дело! Хотите? .

— Брюнетка особенно недурна... Вот бы!..

— Э-э-э! — перебил хозяин, — вот вы куда! Олимпиаду! Нет-с, уж на этот счет — извините! Эту я для себя берегу.

— Подлецы вы, канальи, мерзавцы! — во всю мочь гаркнул Артамон Ильич и опрометью бросился из сада на двор, со двора на улицу...

А Хрипушин и Авдотья Карповна восседали за самоваром и продолжали дружескую беседу. Хрипушин истощил, наконец, все аргументы, которые подтверждали его убеждение в окончательном исцелении Артамона Ильича;

в заключение своей беседы он уже взялся за шапку и хотел было упомянуть — «нет ли, мол, у вас, Авдотья Карповна, хоть сколько-нибудь мелочи. . .», как неожиданно под окнами послышался знакомый голос Артамона Ильича.

— Н-невоз-зможно! . . — бормотал он, стукнувшись плечом в ставню.

Хрипушин, завидев беду, незаметно юркнул вон из комнаты и скрылся.

IX. ОСИРОТЕЛАЯ СЕМЬЯ

Артамон Ильич Претерпеев умер; горький недуг, охвативший его в последнее время, скоро свел бедного чиновника в могилу. Авдотья Карповна, казалось, совершенно ослабевшая от несчастий и расстройств семьи, после смерти мужа неожиданно снова очнулась, пришла в себя и поняла, что теперь только от нее зависит все; нищета, исчезновение последних средств к существованию, общее несочувствие или какое-то враждебное отношение к семье Претерпеевых всех знакомых и соседей — все это сразу обрушилось на одну Авдотью Карповну. Бедная женщина вся впала в какой-то припадок хлопотливости и суетни; целые дни шмыгала она своими слабыми, старческими ногами по городу; на плечах ее был надет какой-то невероятно ветхий люстриновый салоп, сгнивший у подола и носивший на спине радугообразные, линялые полосы; ветхая, запыленная и искалеченная шляпка, засаленное прошение, крепко прижатое к груди, — жалостью и тоскою веяли на встречного человека, а тусклые, совершенно безжизненные глаза, в которых нельзя было приметить ничего, кроме тупого страха, заставляли встречного сомневаться в твердости ее рассудка. Целые дни убогую фигуру Авдотьи Карповны можно было видеть то на том, то на другом перекрестке, то на том, то на другом крыльце канцелярии или палаты. Каждый день во всех передних знатных и

сильных особ Авдотья Карповна успевала десятки раз упасть на колени, хватать вельможные ноги и получать утешительный ответ: «Все, что только от меня зависит...» и проч. Помощь и работу дали ей такие же горемыки, понимавшие размеры печалей Авдотьи Карповны, или богатые купцы, старающиеся успокоить свою совесть с помощию черствых кусков кулебяки и позеленелых екатерининских пятикопеечников.

Целый день такой неустанной гоньбы по городу, молений, просьб и слез доставлял Авдотье Карповне возможность не сидеть вечером без огарка сальной свечки и не мучиться без чаю и сахару более трех дней. Вечером, иногда очень поздно, возвращалась она в Томилинскую улицу и, запыхавшись, выкладывала перед семьей добычу с общественной благотворительности. Нищета и ужас положения были так велики, что ни одна из дочерей Авдотьи Карповны не решалась пустить в ход доморощенной критики и с покорностью пожевывала засохшую, черствую купеческую кулебяку или принималась за шитье и штопанье белья казенных рабочих или вообще за какую-нибудь другую, не совсем сообразную с званием их работу. В эту пору даже Олимпиада Артамоновна не решалась уже более уснащать речь свою французскими оборотами. Иногда только, когда ей приходилось довольствоваться только соленым огурцом вместо обеда или шить какую-нибудь слишком пикантную часть мужского туалета, она решалась подумать, что такое занятие способно ее унизить. Труд в то время считался делом унизительным.

Так и пошли дела Претерпеевых.

Месяцев через семь-восемь после смерти Артамона Ильича все позабыли о существовании семьи Претерпеевых. Хрипушин, знавший по слухам о печальном положении их, не находил особенно приятным для себя возобновлять знакомство, прерванное смертью пациента; кроме того, он решительно не надеялся отыскать у Авдотьи Карповны не только ничего по части «мелочи», но положительно был уверен, что когда-то хлебосольная хозяйка эта не найдет возможным теперь нацедить ему даже малую пропорцию увеселительного напитка. Хрипушин поэтому и не заглядывал к Претерпеевым, по крайней мере, с полгода и, по всей вероятности, не за-

глянул бы сюда никогда, если бы к этому времени в нашей улице не зачуялись признаки нового времени. Хрипушин ощутил их на убыли пациентов, на проявлениях какой-то недоверчивости в них и на весьма ощутительной скудости угощения. Не раз с горечью запускал он растопыренную пятерню под фуражку и, царапая свою голову, решительно недоумевал: где бы найти тихое пристанище, то есть приличную порцию очищенного и ошалелую от скуки пациентку.

— И что ж это за время! — вскрикивал он, хлопая себя по бедрам и в ужасе выбегая на улицу после неудачного визита. — И где же это видано? В какой земле? Чтобы ежели, например, ты пользуешь человека, и как есть всей душой, а он тебе только всего, что: «будьте здоровы!» И где же это самое благородство? Ну хоть бы же он насмех, хоть бы он мне в рожу-то плюнул: на, мол, полрюмки, сполосни свое сердце... А то... Ах!..

И Хрипушин снова в ужасе хлопал о свои бедра, качал головой, ахал и почти бегом пускался куда глаза глядят, на «авось»...

Раз, в припадке отчаяния, вследствие отсутствия всякой возможности где-нибудь выудить выпивку, Иван Алексеевич решился на последнее средство: зайти к Претерпеевым. Не без внутреннего волнения подходил он к знакомому домику, чувствуя всю тягость картины, которая ожидает его там. Каково же было его удивление, когда вместо печалей и воздыханий он встретил в семействе Претерпеевых всеобщую радость. Вся семья Артамона Ильича обступила Хрипушина с радостными восклицаниями: «Слава богу!», «Слава тебе, господи!» Все хватали его то за один, то за другой рукав, тащили каждый в свою сторону, чтобы рассказать какое-то неожиданно приятное происшествие, и чуть даже не целовали. Авдотья Карповна, захлебываясь от восторга и дрожа всем телом, пробилась, наконец, сквозь толпу дочерей и за плечи усадила на стул дорогого гостя.

— Погодите! погодите! — умоляла она дочерей, усаживаясь рядом с Хрипушиным. — Дайте вы мне хоть словечко... хоть словечко!..

— Иван Алексеич! нет, посмотрите, что... Мусье Хрипушин! — трещали, не переставая, дочери. — Позвольте, маменька, дайте я расскажу!

— Дайте вы мне, христа ради, хоть одно-то словечко!

— Позвольте, барышни, в самом деле! — вмешался Хрипушин. — Позвольте маменьке... Ах ты, боже мой! а? Слава богу! Слава богу! Рад! Ей-ей, рад!..

— Так рады, так рады!.. — голосили все...

— Посмотри-кось, какое дело-то! — говорила Авдотья Карповна. — Изволишь видеть, отец мой... Пошли мы к обедне.

— Авдотья Карповна! — перебил Хрипушин, — одну минуту! Нет ли, христа ради, какой росинки! Верите ли, все нутро изожгло! Ах бы в ножки вам поклонился!

К общей радости, графин с перечным стручком оказался не безнадежно пустым. Хрипушин, торопившись слушать интересный рассказ хозяйки, впопыхах проглотил три довольно объемистых рюмки, крякнул, черкнул ладонью по мокрым усам и торопливо произнес:

— Ну-те-с, матушка, благодетельница?

Авдотья Карповна развела руками и как бы в недоумении начала:

— И не знаю, как это тебе рассказать-то! И не знаю, как мне бога благодарить!.. Видишь, отец мой: пошли, говорю, мы к обедне. Месяца полтора тому будет... Стоим у сторонки этак кучкой, ровно бы прокаженные какие: молимся так-то, дескать, когда это господь-то по нас пошлет? Унываем мы таким манером, а Лимпиада все что-то на сторону поглядывает. «Что ты это, говорю шопотом, все на сторону поглядываешь?..» — «Да, говорит, вон посмотрите, какой-то, говорит, мужчина на нас покашивается. .» Оглянулась я: точно, стоит мужчина, и нет-нет да на нас глазом и замахнет... все покашивается...

— Покашивается? — глубокомысленно спросил Хрипушин.

— Все покашивается!

— Гм... да-да-да. Ну-с?

— Хорошо! Выходим из церкви, идем домой и, между прочим, нет-нет да обернемся назад, глядь — и он обернулся!..

— Цссс...

— Что за чудо? думаем. Что ему от нас? Думаем себе: верно, так что-нибудь. Однако же прошла неделя,

идем к обедне, глядь: опять он! И опять он все это как быдто бы.

— Покашивается? — перебил Хрипушин.

— Да-да! Все как быдто бы глазом норовит.

— Что ж? Слава богу! — в умилении произнес медик. — Олимпиада Артамоновна! Как вы полагаете? .. — продолжал он, ядовито прищурив глаз.

— Вот глупости!

— Отчего ж? Пущай его! ничего... Слава богу! Ей-ей! Ну-с, матушка, Авдотья Карповна?

— Ну, друг сердечный, так это дело и пошло... Где мы, глядь — и он торчит!

— Вот тут самое интересное! .. — сказала Олимпиада не без иронии.

— Погоди, не перебивай. Дай ты мне договорить!

— Дайте, барышня, маменьке вашей договорить... Ну-с?

— Ну, хорошо! .. Так все это и идет... Раз сидим мы так... дома сидим. скучаем... вдруг подъезжает мужик. «Здесь, говорит, такие-то живут?» — «Здесь...» — «Прислано вам, говорит, вон капуста... в день ангела...» (точно, Стеша была именинница). «Кто прислал?» — «Не приказано говорить...» Пытали, пытали — нет! .. Так мы растрогались, даже заплакали, право!

Хрипушин глубоко вздохнул.

— Ревем, — со слезами продолжала Авдотья Карповна, — и думаем: где это такой благодетель есть? За что нам господь милость свою посылает? .. Немного погодя, глядь, воз картофелю... фунт чаю... сахару... и все неизвестно от кого! .. Целковых, поди, на пять он, батюшка, нам всякой провизии презентовал! Каково это?

Хрипушин долго молчал, опустив голову вниз...

— Слава богу! — произнес он, пожав плечами и вздохнув. — Слава богу!

— Думаю я так, что беспременно *он* это посылает.

— Это который все покашивается-то?

— Да? — вопросительно произнесла Авдотья Карповна.

— Больше некому! — заключил медик. — Больше некому! Он... Олимпиада Артамоновна? Как вы полагаете?

— Будет вам, пожалуйста!

— Хе-хе-хе! .. Он, он-с! Что ж? Слава богу!

— Сколько мы ни разведывали, — начала снова Авдотья Карповна, — никто не знает... Наконец, вчера принесла от него баба ногу телятины... Стали мы ее молить-просить; сначалу-то не подавалась.. ну, а потом, видит наше умиление, сказала: чиновник, вишь, Толокнников..

— Белокурый? .. — встрепенулся Хрипушин.

— Вот! вот! — заговорили все разом, — всхохлаченный такой!

— Знаю! .. — стукнув рукой об стол, закричал Хрипушин. — Знаю!

— Лицо этакое еще суровое...

— Знаю! .. знаю! .. Теперь я понимаю... А? Ай да Семен Иванович! Покашивается! Каков? Проберу! Проберу, вот как... хе-хе-хе... Каков? Позвольте-ко мне полрюмочки! Каково? Молодец!

Хрипушин, пользуясь общим восторгом, успел опорожнить графин и собрался тотчас же отправиться к Толоконникову для пробрания последнего сообразно его проступкам.

— Проберу-с! — подмигивая и обращаясь к Олимпиаде Артамоновне, говорил Хрипушин. — Проберу-у! Нельзя! .. Как можно? Нет!

Авдотья Карповна убедительно просила медика передать этому благодетелю самую безграничную благодарность. Хрипушин обещался примерно наказать преступника и дал слово притащить его в будущее воскресенье к Претерпеевым, дабы сама Олимпиада Артамоновна распорядилась с кавалером, как только ей будет угодно.

Уходя, Хрипушин, вследствие неустойчивости ног, налетел плечом на притолоку и, пользуясь этой остановкой, снова обратился к Олимпиаде Артамоновне.

— Барышня! — сказал он нетвердым языком, — как вы полагаете? Покашивается-то? э-э? хе-хе-хе...



X. ЖИЗНЬ И «НДРАВ» ТОЛОКОННИКОВА[1]

Семен Иванович Толоконников принадлежал тоже к числу кавалеров «растеряевской окру́ги», и, следовательно, сердца «наших» дам и в особенности их сундуки с приданым были не совсем безопасны от посягательств этого юноши. Юноша этот имел от роду около тридцати шести лет, был с виду угрюм, богомолен и, что всего удивительнее, не пил ни капли водки... Такие качества его, повидимому, могли бы сулить томилинским дамам полное счастие и благоденствие, между тем на деле выходило не то, так что слово «небезопасны» я употребил с полным основанием. Прошлое Семена Ивановича до минуты поступления его на службу было обставлено множеством разного рода оскорблений: в детстве, в доме родителя своего, дьячка села Толоконникова, он был много бит, единственно ради непроходимого сна и обжорства, которыми были переполнены все годы его детства; в училище он был предметом общего поношения ради неспособности к наукам; затем, исключенный из последнего класса духовного училища, поступил на службу в одну из палат, и здесь к его мизантропии, начинавшей проглядывать в отрывистых ругательствах к сослуживцам, прибавилось еще несколько весьма резонных причин. Неповоротливость, угрюмость и деревенщина, одолевавшие Семена Ивановича, сделали то, что он стал какою-то притчею во языцех чиновников и на долгое время доставил им материал для развлечений во время курения папирос в коридоре. Первые годы служебного поприща Семена Ивановича были едва ли не самыми тягостными в его жизни. В эту пору общее полупрезрение, которым был он окружен, заставило его подумать о себе: у него начало шевелиться в груди что-то вроде сознания, что он несчастный человек, что его надо жалеть, а не насмехаться над ним; а так как над ним насмехались, то он, жалея себя, стал чувствовать потребность мести кому-то... Деревня, училище ни на волос не подготовили его к чиновнической жизни, к чиновни-

---

[1] Под фамилией «Толоконников» здесь изображено то же самое лицо, которое в очерке «Дела и знакомства» носит фамилию Богоборцева.

ческим интересам, и «выбиться в люди», отомстить путем чиновническим он не мог никак; сколько он ни ломал голову над этим предметом, сколько ни старался выучить себя разговаривать и даже ходить так, как его сотоварищи, ничего не выходило из этих многотрудных стараний... Тоска его, по всей вероятности, была бы безысходна, если бы, к счастию Семена Ивановича, ему не предложили другой должности. Новинка этой должности для Семена Ивановича состояла в том, что его поместили в отдельной комнате, в самом углу здания, вдали от тех частей палаты, где кишат рои опротивевших ему чиновников. Семен Иванович занимался исключительно печатанием конвертов и отправлением их на почту. Чиновники забегали сюда только на одну минуту. Семен Иваныч целые дни оставался в обществе молчаливых сторожей и в обществе бобровой шубы господина управляющего, которая безмолвно висела на гвозде как раз против физиономии моего героя. Тишина здесь была неописуемая. Отсутствие людей и человеческих звуков доставляло Толоконникову истинное удовольствие и незаметно навело его на мысль, что одиночество есть настоящее средство для достижения более или менее счастливой жизни. С этого времени, не отдавая себе обстоятельного отчета в своих поступках, стал Семен Иванович устраивать собственное хозяйство.

Со времени поступления Семена Ивановича в должность прошло уже более пятнадцати лет, а он попрежнему живет один-одинешенек. Хозяйство его доведено до высшей степени совершенства; посмотрите, чего-чего только нету у него: в шкафу, в верхней половине, все полки заставлены посудой, которой хватит на пятьдесят человек: тут и вилки дюжинами, и ложки, и чашки, и проч., и проч. — все подобрано под одну масть, «под кадриль», как выражается Семен Иванович. Нижняя часть шкафа, то есть комоды, битком набиты бельем разных сортов и видов; попадаются даже принадлежности женского туалета, и тоже всё дюжинами, всё новенькое, нетронутое... По стенам лепятся сундуки; откройте их и загляните туда: платье и летнее и зимнее наложено целыми ворохами, моль бродит по нем, потому

что Семен Иванович никогда еще не решался надеть и носить этого нового платья, — все ему чуется, что в нем самом или вокруг него нет чего-то такого, что бы дало ему право стать наравне со всеми, быть как другие, и ему стыдно было одеваться так, как одеваются другие. «С чего такого, подумают люди, вырядился?» — полагал Семен Иванович, и платье гнило в сундуках, ожидая счастливого дня.. Хотите вы папирос, Семен Иванович тотчас же предложит вам их во множестве сортов, легких, крепких, хоть сам никогда не выкурил ни одной папиросы. Хотите вы выпить водки или вина, Семен Иванович мгновенно представит вам и то и другое, хотя сам никогда не брал капли в рот. Словом, все, «что только вашей душе угодно», все найдется у Семена Ивановича; все это лежит недвижимо, наготовлено на пятьдесят «персон», ждет кого-то. И все никого нет, все героя моего одолевает тоска по чем-то, все он нет-нет да прикупит, для собственного утешения, новый подсвечник или сошьет новую шинель на вате и тотчас же навеки погребет ее в сундуке. Людей знакомых, вообще хоть какого-нибудь человеческого общества, у него нет. Каким-то чудом избежал он пьянства [1] и поэтому никак не мог заводить знакомства с чиновниками, так как вся жизнь провинциальной чиновнической мелкоты только и держится (двадцать лет назад было так) на выпивании, похмелье и опять выпивании. Из них могли рассчитывать на его знакомство только люди престарелые, прослужившие двойные служебные сроки, непьющие и ропщущие, как и Семен Иванович, на весь божий мир, или, напротив, новички чиновничьего мира, юноши неопытные и тоже страдающие. Семен Иванович мог даже первенствовать между теми и другими; но он знал, что никуда негодные старцы и неоперившиеся юноши не составляют людей «настоящих», самостоятельных, к которым бы Семену Ивановичу хотелось принадлежать. Из таких людей, в ряду его знакомых, был только один купец, который хотя и допускал его откушать чайку, но особенной важности особе его не придавал. Надо было еще чего-то...

---

[1] Его спасала «охота», любовь к курам, к бойцовым петухам, кулачным боям и т. д. См. гл. III.

Мало-помалу тоска Семена Ивановича начала выливаться в более определенные формы и заявлять более определенные требования. С течением времени все с большей и большей раздражительностью начал он принимать к сердцу такие вещи, как, например, похвала какому-нибудь постороннему лицу. С завистью слушал он, как какая-нибудь кухарка рассказывала про строгость господ и боялась опоздать домой хоть минутой. Семен Иванович в этом страхе кухарки видел силу и власть барина и считал его не только настоящим человеком, имеющим право жить, но и человеком необыкновенно счастливым. Услыхав какой-нибудь подобный этому рассказ кухарки или горничной, Семен Иванович тотчас приравнивал себя к строгому барину и находил громадную разницу.. «Небось, — думал он, — моя Авдотья этак-то не задрожит!..»

И Семен Иванович вздыхал...

За слишком долгое отсутствие всех приятных ощущений, какие доставляет жизнь, Семен Иванович, в вознаграждение своих долгих страданий в одиночестве, начал требовать с какою-то болезненною жадностью самого безграничного уважения. Разговоры кухарок про строгих господ, хорошие отзывы о «других», вообще все, что составляло чуждую ему жизнь провинциального общества, — все это навалилось на него какою-то громадною тяжестью и заставило его жаждать власти хоть над курами. Таким образом, из Семена Ивановича выходил давно знакомый нам отечественный самодур. Постороннему наблюдателю это казалось совершенно ясным, но сам Семен Иванович очень смутно постигал, чего ему хочется. Самодурство как-то уродливо копошилось в нем.

Вот сидит он один в своей комнате; он только что воротился от всенощной; кругом комнаты у потолка и особенно в углу ярко горит множество лампад; в комнате душно, пахнет деревянным ма́слом и тишина. Семен Иванович отпил чай; благоговейное ли мерцание лампад или торжественная тишина действует на него, только он упорно молчит; изредка, среди безмолвия, раздается едва слышное пение: «услыши, господи, молитву-у мо-ою...» и потом глубокий-глубокий вздох... Снова тишина, снова пение: «ду-ушу мою к молению...» и снова еще более глубокий вздох.

— Господи, господи! — наконец громко произносит Семен Иванович.

Входит старуха-кухарка. При всей привязанности к женскому полу Семен Иванович никогда не мог осуществить своей мечты — нанять молодую бабу; делалось это, конечно, по тем же самым причинам, по каким он не мог носить нового платья. Кухарка, кряхтя и охая, направляется к столу.

— Что ты?

— Самовар убрать.

Семен Иванович чувствует потребность добыть из кухарки хоть какую-нибудь крупицу утехи своему наболевшему самолюбию.

— Возьми, — говорит он кротко, и потом прибавляет не без негодования: — то-то, брат Авдотья, у нас всё так! Барин-то когда чай отпил, а ты только, господи благослови, трогаешься за самоваром.

— Нешто у меня сто рук-то? Небось, не одно дело...

— Молчи! — раздражительно, но неторопливо произнес хозяин. — Ма-алчи! Ты про дела говорить не смей... Ты...

— С чаво ж такое не говорить-то? Экося дело какое!

— Не говорри, Авдотья! Слышишь или нет?

Семен Иванович грозно приподымается с дивана; Авдотья отступает, прижав к груди самовар.

— У тебя дела? — продолжает хозяин. — А где же это ты рожу-то нажевала? пришла как щепка, а теперь эво рыло-то... все это от делов?.. Ах ты, бессовестная тварь!.. У тебя дела!

— Ну, пошел мутить!

— Нет, погоди... Стой! Я говорю, где ты нажевала рожу?

— Ты на меня не кричи! Чего ты, воевода какой отыскался? — вскрикивает в свою очередь кухарка. — Каки-таки вишь дела! Мало, что ль, делов-то? У тебя добра-то эва навалено... все прибери!

Семен Иванович, побагровевший и готовый на отчаянную брань, вдруг почувствовал, что фраза кухарки насчет изобилия добра пролила в его сердце нечто беспредельно отрадное; он утих и молча опустился на диван.

— У тебя, — продолжает в том же воинственном тоне кухарка, — эва что всего понапихано! Где ни повернись... Ровно бы помещик какой живешь, а я, небось, одна... Каки-таки дела.. Эва-а!

— Ах, дура! — кротко говорит хозяин, — сравнила с помещиком!

— А то что же? У иного помещика еще и этого-то нету... А у тебя погляди-кось! Все убери да подмети.

— Ах, дура, дура! — сладко произносит хозяин.

— Вот-те дура! Что́ платья, что́ белья, что́ чего!.. Все напасено, незнамо про кого только... Тебе с меня взять нечего, я человек старый... кабы жену взял, тогда и взыскивай с нее! Да и в ту пору с твоим богатырством еще не управишься... А то — одна! Нету делов!

Семен Иванович безмолвствует. Кухарка направляется к двери.

— Погоди! — нежно произносит герой.

— Чего еще?

— Постой... Так, говоришь... помещик... Я-то?

— Да помещик и есть...

— Погоди, Авдотья... Постой минуточку... Много всего, говоришь?

— Обнакновенно много всего... что́ одёжи, что́ чего!

— Д-да! Слава богу!

Семен Иванович вздыхает. Авдотья ждет нового вопроса.

— Идти, что ль?

— Погоди минуточку...

— Чего годить-то? У меня, небось, есть где хороводиться...

— Погоди же, господи!.. Позволь!

Настает продолжительное молчание. Авдотья ждет. Семен Иванович совершенно растаял от удовольствия, которое доставила ему Авдотья.

— Так ты, Авдотья, говоришь: я вроде как помещик?..

— О, да что это, дитё какое разыскалось! Мне ведь...

— Постой, Авдотья! погоди!

Но Авдотья уже исчезла.

По уходе кухарки мысли Семена Ивановича начали

принимать самые разнообразные направления; сначала он, поддаваясь новому ощущению, воспроизведенному словами кухарки, горячо благодаря бога за его милости, шептал: «слава богу», «слава тебе, господи» и вздыхал. Свет лампад весьма гармонировал с настроением души моего героя. Затем наболевшее и наголодавшееся самолюбие его начало требовать какого-нибудь нового удовольствия. Семен Иваныч, успевши убедиться, что он, благодаря бога, ничуть не хуже других, потихоньку начал помышлять о том, что, несмотря на преимущества, которыми обладает он перед многими виденными им лицами, он не получает должного уважения и не имеет нигде права голоса... «За что? — думал Семен Иваныч. — Что я, хуже, что ль, кого? Слава богу, кажется? Нет, погоди!..» При этом он нетерпеливо вскакивал с дивана и тотчас же садился опять. Разгневанная мысль его мгновенно вспоминает все оскорбления, которые он хоть когда-нибудь получал: Семен Иваныч вспыхивал и решал тотчас же на ком-нибудь сорвать кровную обиду. В жару негодования он вспоминает все ту же свою кухарку Авдотью, которая за несколько минут перед этим не дослушала его разговоров и ушла, несмотря на то, что он весьма ласково говорил ей: «погоди», «постой».

— Авдотья! — гаркнул он, с сердцем распахнув дверь в кухню. — Поди сюда!

— Это еще чего, вот. .

— Не разговаривать! Я эти разговоры-то слыхал.. Пошла сюда!

Семен Иваныч ушел и хлопнул дверью. Авдотья, услыхав, как хлопнула за барином дверь, поняла, что дело разыгралось не на шутку, и не без робости вошла в хозяйские покои. Хозяин в волнении сидел на диване, нетерпеливо болтал ногой и, увидав кухарку, заговорил с ожесточением:

— Когда ты будешь слушать, что тебе говорят? а?

— Господи помилуй! Слава богу, и так слышу...

— Нет, я говорю, когда ты будешь слушать?

Авдотья не нашлась, что отвечать.

— А? — продолжал хозяин. — Я тебе что сегодня утром сказал?..

— Мало чего ты говорил? У тебя нешто мало приказу-то?

— Нет, что я сказал?

— Что сказал, то и сделала... И нечего орать попусту...

— Мол-лчи! Что я сказал?

— Нечего молчать. Говорю, коли спрашиваешь. Сказал: отнести сапог в починку — отнесла... Приказал тарелки перемыть — вон они...

Семен Иванович еще с бо́льшим волнением принялся болтать ногою, готовясь гаркнуть пуще прежнего.

— Мало ли, — бормотала испуганная Авдотья... — Вон, сказал, огурцы пере...

— Чт-то я сказал?! — не удержался Семен Иванович и вскочил с дивана.

Вышедшая из терпения Авдотья плюнула и скрылась, хлопнув дверью...

— Вон! долой с места! — кричал Семен Иванович, но Авдотья не слыхала его.

Хозяин был в волнении. Шагая по комнате и ероша волоса, он ждал, что Авдотья явится и попросит извинения. Но она не являлась. Хозяин каждую минуту порывался в кухню для того, чтобы объяснить строптивой рабыне ее вину, но долгое время не решался этого сделать. Авдотья между тем, очутившись в кухне, сразу чего-то оробела и упорно задумалась над тем, что такое сказывал ей хозяин? Перемывая дрожащими руками тарелки, она долгое время перебирала в памяти хозяйские приказания, но ничего заслуживающего гнева не находила и убивалась пуще прежнего. Из комнаты доносились сердитые шаги барина. Время тянулось мучительно долго. Наконец шаги послышались в сенях, и барин вошел в кухню. Авдотья старалась не смотреть ему в глаза.

— Гляди! — грозно произнес барин.

Кухарка подняла голову: перед ней стоял разозленный хозяин и держал почти у потолка кошку, схватив ее за спину.

— Вот я что сказал! — говорил гневно барин. — Я сказал, — продолжал он, потрясая кошкой над головой кухарки, — я сказал: запирай кошку на ночь... Куда?

Кухарка трепетала.

— В чулан! — крикнул хозяин, и в то же мгновение на голову кухарки упала с отчаянным визгом кошка, а с потолка посыпался сор, так как хозяин ушел, сильно хлопнув дверью.

— Ах ты подлая! — с сердцем заключила кухарка, ногою отбросив кошку в угол...



XI. СЕМЕН ИВАНОВИЧ В ХОРОШЕМ РАСПОЛОЖЕНИИ ДУХА

Иногда, впрочем, судьба посылала пищу его голодной душе в формах более или менее скромных, не столь бушующих. В эти минуты угрюмое лицо Семена Ивановича освещалось весьма добродушной улыбкой, и герой мой являлся в новом свете. Вот он высунулся в окно и со вздохом поглядывает по сторонам. У ворот, в двух шагах от него, сидит хозяйская кухарка Прасковья в новом «каленом» коленкоровом сарафане и в цветной косынке на черных, как смоль, волосах и холодно посматривает своими большими карими глазами на двух молодцов, красующихся у ворот постоялого двора. Молодцы эти — кучера каких-то приезжих господ; они расфранчены, как только возможно: плисовые поддевки, красные рубахи, сапоги с красной сафьянной оторочкой; на голове шляпы с павлиньими перьями. Молодцы эти лукаво посматривают на Прасковью и, чтобы заслужить в ее мнении, стараются блеснуть чем-нибудь; они покрикивают на ямщиков соседнего постоялого двора, запрещают им курить папиросы, а сами ни за что не соглашаются погасить своих трубок. Ничто, однако, не привлекало к ним внимания Прасковьи. Семен Иванович, наблюдавший из окна над ухарством кучеров, попробовал сам попытать счастия и не без робости произнес:

— Прасковья! а Прасковья!

Кухарка оглянулась.

— Здорово!

— Здравствуй!

Семен Иванович радовался, что так благополучно началось.

— Что же, Прасковья, муж-то у тебя дома?

— На войне!

— А-а... Его, поди, уж убили?

— Когда бы господь дал!

— Вот как? Ты, Прасковья, если хочешь, я узнаю: жив он или нет.

— О?

— Ей-богу... у меня заведены этакие книги... что угодно... Ты вот что: ты зайди ко мне в комнату, на минуточку...

— Чего еще?

— Ей-богу... Ты чего боишься? Слава богу, я не какой-нибудь! Мы бы с тобою вместе поглядели в книге-то... а? Прасковья?

— Где такая книга?

Семен Иванович показал ей в окно какую-то книгу.

— Видишь? Тут все: кто убит, кто ранен... все. Прасковья?

— Ну-кося погляди: Иван из Яковлевского...

— Да ты иди сюда...

— Эва!

— Вот захотела: на улице разговаривать... Ты иди сюда!

Кухарка подозрительно посмотрела кругом и потом нерешительно произнесла:

— Ну, гляди: обманешь, не жить тебе...

— Иди! Иди!

Кухарка медленно поднялась с сиденья и пошла. Каким победным и сияющим взглядом посмотрел Семен Иванович на соседских кучеров!



XII. СЕМЕН ИВАНОВИЧ ЗНАКОМИТСЯ С СЕМЕЙСТВОМ ПРЕТЕРПЕЕВЫХ

Семейство Претерпеевых обратило на себя внимание Семена Иваныча по тем же причинам, по каким слова кухарки, величавшей его помещиком и богатырем, доставляли ему высокое наслаждение. Встретив их в церкви, он заметил, что его пристальные взгляды на них производят надлежащее действие: одна из дочерей Авдотьи Карповны тоже начинает поглядывать на него; затем между дочерью и матерью происходит какое-то шептанье, после которого они обе вместе взглядывают на Семена Ивановича... Все это говорило герою моему, что говорят о нем. Скоро Семен Иванович мог убедиться, что об нем не только думают, но даже боятся: после посылки воза капусты Претерпеевы не могли глядеть на благодетеля иначе, как с благоговением. Дальнейшие посылки сахару, чаю и проч. окончательно убедили его в безграничной преданности Претерпеевых; после того, как был сделан последний подарок в форме телячьей ноги и когда Авдотья известила благодетеля о том восторге, который произошел, когда узнали имя неизвестного благотворителя, Семен Иванович впал в какое-то сладостное забытье: сама Олимпиада Артамоновна, известная в растеряевской палестине за девицу высокопросвещенную и гордую, и та, по словам Авдотьи, пылала к нему беспредельным благоговением. Чего же еще?

Семен Иванович был истинно счастлив. В один вечер прилив доброты и снисходительности к человечеству в нем был так велик, что все живые существа того дома, где жил он, были изумлены не на шутку: Семен Иваныч отпускал каламбуры, шутил, вместо двух кусков сахару отпустил Авдотье целую горсть, без счету. В довершение восторга Семена Иваныча церемонная Прасковья решилась, наконец, напиться у него чаю, после которого и хозяин и гостья уселись играть в карты. В комнате громко раздавались слова: «ходи!», «сдавай!», «держись, иду пятеркой».

— Нет, когда ты меня полюбишь? — говорил Семен Иванович, с треском выкладывая перед Прасковьей козырную тройку; Прасковья крыла тройку и в свою очередь выкладывала перед хозяином «хлюст», прибавляя:

— А этого?

— Нет, когда ты меня полюбишь? — продолжал хозяин, торопливо «принимая» карты.

Эта приятная минута, сулившая, судя по развеселившемуся лицу бабы, полное упрочение дружбы, была прервана совершенно неожиданно: на пороге комнаты появилась фигура Хрипушина.

— А, друг-приятель! — радостно воскликнул Семен Иваныч.

Но Хрипушин, не отвечая на приветствие, остановился в дверях, развел руками и, поглядывая то на хозяина, то на гостью, заговорил:

— Не похвалю! Каково, Семен-то Иваныч? а? Не ожидал! .. ай-ай-ай! ..

Семен Иваныч смеялся.

— Да какую еще приятную компаньонку себе раздобыл! ах ты, боже мой... Не ожидал! .. Где такую бабочку, Семен Иваныч?

Прасковья тотчас же исчезла из комнаты, шаркая по полу босыми ногами. Хрипушин засмеялся ей вслед.

— Ну, садись!

— Ох, да уж, видно, придется у вас, Семе́н Иваныч, отдохнуть...

Хрипушин сел напротив хозяина и, отирая мокрые от дождя усы, лукаво посматривал на него.

— Ты чего таращишься-то? — спросил игриво хозяин.

— Будто не знаете? Про энтих-то? про томилинских-то? ничего слухов нет? ..

Хрипушин кивнул головой в сторону и подмигнул.

— Про каких? — словно ничего не понимая, переспросил Толоконников. — Про кого? Какие?

— А воз капусты-то? «Неизвестно кто»?

— О-о-о! вон куда! .. Будет тебе! Водочки не хочешь ли?

— Нет-с, позвольте! водочки само собой, а это дело своим чередом! Еще не все-с!

— Будет, будет! Оставь! Эко разговор нашел!

— Нет-с, позвольте! Приказано благодарить-с, то есть вот как: от души! Даже и слов нет!

Хозяин как бы нехотя попробовал было еще раз остановить гостя, но тот не слушал его и продолжал:

— Такого, говорят, благодетеля от роду рождения нашего не видывали! И дай ему, господи, на много лет, чтобы, то есть, в лучшем виде... Ей-ей... Это, Семен Иваныч, зачтется, поверьте! А вы что думаете? Да вы сыщите теперь на всем белом свете одного человека, чтобы он, к примеру, по-вашему поступил? Нет-с, бог видит!

Долго говорил Хрипушин в том же хвалительном роде. Хозяин таял от слов его и совсем было забыл о водке, если бы гость, у которого, наконец, пересохло горло от длинных монологов, сам не свернул разговор на этот предмет. После выпивки беседа пошла ровнее; Хрипушин доказывал хозяину преимущество брачной жизни, на что тот возражал:

— Жениться! Жениться можно, да что проку-то? Поди-ка, женись, завоешь!

Хрипушин опровергал это мнение и затевал новый разговор: принимался восхвалять Олимпиаду Артамоновну, негодуя против слухов, разгуливающих о ней по «растеряевщине», и доказывал, что при своем высоком образовании девица эта могла бы быть примерною супругой. Семен Иваныч опять возражал на это, что «жениться можно, да что проку-то? поди-ка, женись». Вообще разговоры Хрипушина по части законного брака оказались бесплодными; Хрипушин понял, что нельзя слишком сильно налегать на хозяина с такими предложениями, и решился действовать исподволь. С этой целью он пригласил Толоконникова, именем Авдотьи Карповны, на пирог в воскресенье, на что Семен Иванович сказал: «подумаю».

В самом деле, намерения Семена Ивановича были далеки от законного брака. В Претерпеевых он чуял таких людей, которые будут поклоняться ему и носить его на руках и «так», без женитьбы, единственно ради его к ним внимания и кой-каких съестных подачек. Все это подтверждается и дальнейшим ходом событий, которые следовали в таком порядке: благодаря содействию Хрипушина Толоконников присутствовал на пироге у Авдотьи Карповны; Иван Алексеич выручал в этот день всех, ел он за семерых и не забывал при этом потешать

публику разными анекдотами. Претерпеевы, пристально смотревшие на Семена Иваныча, не нашли в нем ничего необыкновенного, но, вместе с тем, решительно не могли объяснить себе его угрюмости и молчаливости, которая, нужно заметить, охватывала моего героя всякий раз, как только он попадал в незнакомое общество.

После этого пиршества Претерпеевы и благодетель не видались в течение недели. Бедная напуганная Авдотья Карповна полагала, что бесценный Семен Иванович забыл их, обидевшись тем, что за все благодеяния его поблагодарили неудавшимся пирогом с его же капустой. Но подозрения эти оказались ложными. В следующее воскресенье, часу в шестом вечера, когда Олимпиада Артамоновна в задумчивости сидела у окна, на тротуаре показалась фигура Толоконникова. Семен Иванович был в новом сюртуке, который старался спрятать под своим рваным пальто. Увидев благодетеля, Олимпиада Артамоновна издала пронзительный крик, и тотчас же вся семья Претерпеевых столпилась у окна и раскланивалась с Семеном Ивановичем.

— Доброго здоровья! — говорил Толоконников, неуклюже приподнимая свой картуз.

— Здравствуйте, Семен Иваныч, заходите!

— Что ж заходить-то... как поживаете?

— Как мы поживаем? Известно как!..

— Семен Иваныч! нынче фейерверк в саду! — совершенно неожиданно и необыкновенно быстро проговорила одна из претерпеевских барышень.

— А господь с ним!..

— И правду!

Всем желательно было пойти в сад и посмотреть фейерверк, но в то же время все почему-то «боялись» посторонней публики.

— Эка невидаль! — продолжал Семен Иваныч. — Да опять и отсюда увидим, ежели на то пошло, место высокое, гора, далеко видно.

Все немедленно согласились с этим.

— А в случае ежели пройтись угодно, так и это можно... Мало ли где? И без толкотни.

Претерпеевские барышни тотчас же оделись и вышли. Семен Иваныч повел их на кладбище; здесь уже в самом деле не было ни единой живой души, только какие-

то бабы, заливаясь слезами, хоронили ребенка. Семен Иваныч направился с дамами прямо к этой могиле и, сняв шапку, достоял погребение. Затем прогулка продолжалась в грустном молчании; все были неприятно настроены похоронами. Семен Иваныч вздыхал, говорил о смерти, о загробной жизни.

— Семен Иваныч! вон ракету пустили!

— Ну что же, господь с ней! О-ох, господи боже мой, подумаешь о смерти-то иной раз...

Все вздыхали; вдали, за кладбищенским валом, семинаристы играли в лапту; по шоссе мчались почтовые, весело заливаясь колокольчиками; издали доносились звуки музыки, и из облака пыли, затопившей город, по временам вылетали ракеты.

— Семен Иваныч! вон еще!..

— Господь с ней! — повторил Семен Иваныч.

А Авдотья Карповна прибавила:

— А вот и Артамона Ильича могилка!

Это известие уничтожило всякую возможность получить хоть какое-нибудь удовольствие от прогулки. Всеми овладели уныние и скорбь. Претерпеевы воротились домой с растерзанными сердцами.

Такие посещения Семен Иваныч начал делать все чаще и чаще. Иногда он приносил какое-нибудь угощение: фунт каленых орехов, десяток яблок. Наконец уважение, выказываемое ему Претерпеевыми, до такой степени разлакомило его, что он уже не мог пробыть минуты, не испытывая приятности этого уважения и раболепства. Семен Иваныч решил нанять квартиру у Претерпеевых и таким образом покинуть Растеряеву улицу для Томилинской. Ради этого он тотчас же поругался с хозяином, так как переменить квартиру, не поругавшись с хозяином, казалось ему делом невозможным, и принялся перевозить вещи.

В один день, вслед за возами, въезжавшими на двор Претерпеевых, шел Хрипушин; он осторожно держал одной рукой маятник, в другой придерживал полы своей шинели, по причине непроходимой грязи, и прожевывал какую-то закуску, которая сильно раздула ему щеку.

Вечером, когда в новой квартире Толоконникова было

все прибрано и хозяин с удовольствием поглядывал на свое добро, Хрипушин сладким голосом проговорил:

— Вот бы, Семен Иванович, жениться вам? Ей-богу!

Но Семен Иванович отделался своей обычной фразой, сложившейся в его голове по поводу этого предмета. Таким образом, Толоконников, или «благодетель», поселился в самом центре покоренной его благодеяниями области и продолжал доканчивать это покорение, чего требовало его жадное самолюбие.

Сначала, с непривычки на новом месте, Семен Иванович поступал с хозяевами чрезвычайно предупредительно и вежливо.

— Не нужно ли вам, Авдотья Карповна, сахару?

— Нет, нет, и так много! Покорнейше благодарим!

— Отчего же? Берите, когда есть... Да вам шкатулки не надо ли?

— Что это вы, Семен Иванович! Ей-богу, вы нас совсем конфузите... Мы и слов не найдем благодарить вас.

— Эва что! — добродушно заключал Семен Иванович, и шкатулка оставалась у Претерпеевых. Точно таким ласковым манером были снабжены Претерпеевы всем необходимым в хозяйстве; в их комнатах появились разные вещи Семена Ивановича: столы, стулья, диваны. Толоконников был ужасно рад, не сомневаясь, что власть его возрастает; но Претерпеевых задавили эти благодеяния.

Все эти шкатулки, самовары и прочие вещи, принадлежащие благодетелю, были чем-то вроде казенных печатей, наложенных в обеспечение чьего-либо прикосновения; Семен Иваныч своими благодеяниями наложил точно такие же казенные печати на свободную волю благодетельствуемых им лиц. Благодеяния до такой степени стеснили бедную семью, что недавняя нищета иногда показывалась ей едва ли не лучшим временем против теперешнего. Наравне с самоварами, сундуками и прочими символами величия Семена Ивановича не менее одуряющим образом действовало на Претерпеевых и самое реальное величие благодетеля. Слушая, с каким трепетом произносится его имя, как дрожит вся семья Авдотьи Карповны, если кухарка разобьет тарелку, принадлежащую благодетелю, или одна из дочерей закапает чаем скатерть, Семен Иванович не чуял под собой земли.

Ни к Претерпеевым, ни к Толоконникову никогда никто не показывался, и Семен Иванович поэтому мог благодушествовать как ему было угодно: порабощенная им семья с глубокою робостью внимала каждому его слову и суждению, которые только впервые начали шевелиться в голове Толоконникова и были иной раз, поистине, изумительны. Каждое мнение его, как бы оно ни было уродливо, принималось безапелляционно, и поощренный этим Семен Иванович, незаметно для самого себя, начал понемногу предъявлять новые и новые требования. Избалованная общим раболепством натура его уже требовала разнообразия. Семен Иванович, являвшийся прежде к хозяевам не иначе как в сюртуке или в шинели, надетой в рукава, начал являться в халате, очевидно, уже не страшась отвращения Олимпиады Артамоновны, или приносил девицам какую-нибудь принадлежность своего туалета и просил пришить пуговицу также без всякой церемонии.

Посягательства Семена Иваныча в таком роде продолжали усиливаться все более и более, так что в один день в семействе Претерпеевых происходила следующая сцена.

Семен Иваныч, уже разъяренный и надувшийся, стоял против трепещущей семьи Авдотьи Карповны и грозно вопрошал у нее:

— Что я сказал? Я что вчера сказал?

— Семен Иваныч!

— Что я говорил? Договорюся или нет? а?

Семья дрожала и безмолвствовала. Семен Иваныч с сердцем хлопнул дверью и скрылся.

— Что теперь делать? — захлебываясь от ужаса, шептала Авдотья Карповна. — Господи! Чай, обедать не пойдет? Что наделали? Что такое это он говорил?

— Мы почем знаем? Мало ли что он говорил! — отвечали испуганные дочери.

— Ах, господи! наказал господь!..

Стол был давно накрыт, но Семен Иваныч не являлся. Авдотья Карповна, еле таскавшая ноги от страха, поплелась разыскивать его. Она нашла его в саду; Семен Иваныч лежал в беседке, повернувшись лицом к стене.

— Семен Иваныч, кушать подано! Что вы, благодетель наш, сердитесь? Вы скажите, что вам угодно, мы

вам в одну минуту сделаем... А то как же так, не сказавши ничего?

Семен Иванович молчал.

— Благодетель наш! — повторила Авдотья Карповна.

Но ответа не было. Авдотья Карповна, убитая, воротилась в комнату и не знала, что делать. Наконец ей пришло в голову отправить депутатом самую младшую дочь Стешу, на которую Семен Иваныч обращал особенное внимание и иногда порывался даже обнять ее. За Стешей, не имевшей в этом походе никакого успеха и не дождавшейся от благодетеля ни слова, отправилась Олимпиада Артамоновна, за ней Саша, за Сашей Варя, потом опять сама Авдотья Карповна. Все они робко подступали к лежавшему Семену Ивановичу, робко просили пожаловать кушать и, ответом на эти приглашения, имели несчастие видеть ту же неподвижную спину благодетеля.

После тщетных стараний Претерпеевы решились обедать одни; аппетит оставил их, кусок останавливался в горле, и обед прошел среди молчания и тяжких вздохов. Кухарка убрала, наконец, посуду и собиралась отдохнуть на печи, как неожиданно в комнату вошел Семен Иваныч и в грозной позе остановился перед Авдотьей Карповной.

— Это что же такое? — сказал он, — за мои хлопоты да я же голодный хожу?

— Семен Иваныч, да ведь вас звали!

— Все натрескались, а мне куска хлеба нету?

— Да, батюшка! благодетель наш! .. — начала было со слезами Авдотья Карповна, но благодетель вторично хлопнул дверью и вторично исчез.

Через пять минут в беседке опять новая происходила сцена: Семен Иваныч попрежнему лежал лицом к забору. За его спиной вся семья Претерпеевых суетилась около стола, таская тарелки, миски с разными кушаньями и проч. Когда все было готово, Авдотья Карповна сказала:

— Семен Иваныч, подано-с! кушайте, отец наш, а то щи простынут.

Семен Иваныч нехотя повернул к публике голову.

— Это что же такое? — угрюмо и как бы не понимая, в чем дело, проговорил он.

— Обедать-с.

— Это в шестом часу-то?

— Да что ж делать, когда вы не изволили кушать?

— Да какой же чорт обедает ночью? Люди от вечерен пришли и чаю напились, а у нас обед?

— Семен Иваныч!

— Тьфу!

Благодетель быстро повернулся опять к стене и замолк.

Долго семья Авдотьи Карповны и сама она ждала какого-нибудь слова от него. Семен Иваныч молчал и, казалось, заснул. Тогда решено было перенести кушанья назад, в комнату, так как, стоя на открытом воздухе, они могут быть растасканы птицами или съедены собаками. Едва только это было исполнено, как Семен Иваныч снова появился в кухне.

— Где тут, — грустно и кротко, точно агнец, сказал он кухарке, — где тут у вас корки собакам валяются?

— Господи помилуй! Семен Иваныч! батюшка! Что это! Корки! Как можно!

— И корки-то мне нету?

— Господи!

Семен Иваныч ушел, не дождавшись объяснения. Через минуту он стоял у низенького забора и разговаривал с соседом-сапожником.

— А? — говорил он. — До чего я дожил! Корки не дают хлеба! а?

— Цссс! Боже мой!

— А? За мою хлеб-соль да я же не имею пропитания? Это что же будет?

— Семен Иваныч, отец наш! — рыдала из окна Авдотья Карповна. — Что ты, господь с тобой!

— А? — продолжал Семен Иваныч, обращаясь к сапожнику. — Вот как, друг! Поишь, кормишь, а заместо того с голоду околевай! .. а? Верно, только у бога правду-то найдешь! ..

— Это точно! только у одного бога! ..

— Д-да! Но авось и добрые люди не оставят... Дай хоть ты мне корочку какую... Чай, собакам тоже кидаешь? так мне этакую... собачью!

— Зачем же-с! мы, Семен Иваныч, с удовольствием.

— Нет, собачью!

— Что вы! Да мы сколько угодно!

— Нет, дай собачью!

Только ночью, когда лица всей семьи распухли от слез, Семен Иваныч решился войти в свою комнату; в глухую полночь, когда все заснули, он сам отправился в кухню, вытащил из печи горшок со щами и с жадностью пожирал их среди глубокой тьмы и безмолвия.

Такие штуки благодетель начал разыгрывать все чаще и чаще. Не чувствуя в семье Претерпеевых никакой к себе нравственной, сердечной привязанности и зная, что им, в сущности, не за что чувствовать ее, он, как истинный деспот, находил утешение в безграничном пользовании своими правами над людьми, которые подвержены ему волей-неволей. Изобретательность его в деспотическом желании довести семью до непрестанного к нему внимания и страха пред ним доходила до высокой виртуозности; вариации, которые он выделывал из преданности Претерпеевых, были, поистине, изумительны. Упитанный по горло всяким почтением и уважением, Семен Иваныч совершенно переродился; он сделался веселей и смелей; никакие насмешки сослуживцев не могли поколебать спокойствия его духа. Раз, когда один из чиновников вздумал было над ним подшутить, Семен Иваныч, не говоря ни слова, хлопнул шутника по голове связкой бумаг и прошел мимо.

Но вместе с возвышением величия Семена Иваныча упадала все более и более нравственная свобода Претерпеевых; все они оглупели, обезумели и превратились в каких-то автоматов, с тою разницей, что у них были сердца, поставленные в необходимость ежеминутно замирать и трепетать.

Однако, при всем их одеревенении, дальнейшие деяния благодетеля были такого свойства, что Авдотья Карповна не выдержала и, наконец, решилась произнести:

— Да лучше мы милостыню пойдем собирать, чем этакое мученье!

— Да ей-богу! — вторили дочери.

— Авось найдутся добрые люди, не оставят!

Всеми было решено не поддаваться больше фантастическим желаниям Семена Ивановича. Олимпиада Артамоновна первая решилась привести это намерение

в исполнение и обещалась завтра же пригласить в гости чиновника Сладкоумова, который уже давно засматривался на нее и выражал желание познакомиться с ее маменькой, Авдотьей Карповной, но боялся попасться на глаза Семену Ивановичу.

«Что же, в самом деле? — думала Олимпиада Артамоновна. — Докуда это будет?»

Однажды Семен Иваныч, довольный и счастливый, лежал в своей комнате, — дело происходило после обеда. Он совершенно не подозревал, что против него строятся козни, и потому можно представить ужас, который овладел им в тот момент, когда через отворенную в сени дверь он увидел фигурку юного писца Сладкоумова. Писец Сладкоумов был в белых, туго натянутых панталонах, в новом форменном вицмундире, красных вязаных перчатках, а волосы его были густо напомажены. Дерзкий гость, не замечая Толоконникова, осведомился у кухарки — «дома ли Авдотья Карповна?» и вошел в комнату.

Семен Иваныч был вне себя. Он узнал, что благодетельствуемая им семья знает людей кроме него и думает не исключительно о нем. Через секунду он узнал еще, что Претерпеевы не только думают о посторонних людях, но имеют дерзость и уважать их, ибо тотчас после того, как Сладкоумов вошел в комнату, из дверей выскочила Олимпиада Артамоновна и торопливо сказала кухарке:

— Марьюшка! голубушка! ради бога, самовар! поскорее, голубушка!

Олимпиада Артамоновна говорила эти слова с тем же трепетом в голосе, какой привык слышать Семен Иваныч только для себя одного. Благодетель не выдержал и закричал:

— Марья!

Явилась кухарка.

— Принеси самовар сюда!

— Там гость пришел.

— Принеси, говорю. Самовар мой!.. Пошла!

Кухарка принесла самовар. Семен Иваныч, пожираемый злобой, думал: «Ну-ко, пусть узнают, как без меня-то?» К несчастию моего героя, через несколько минут в его комнату отворилась дверь, и кухарка, показав ему какой-то другой самовар, с сердцем крикнула ему:

— И без тебя обошлись!

— Вон отсюда!

— Цалуйся с своим самоваром... Вон соседи дали! Скареда!

— Вон, говорю, бестия!..

— У-у! барин!..

Благодетель выскочил на двор, вызвал соседа-сапожника — и началось бушеванье.

— Грабители! — кричал Семен Иваныч. — За мою хлеб-соль!.. Анафемы!

Сапожник был в недоумении.

Авдотья Карповна, разливая чай и слушая крики на дворе, была ни жива ни мертва. Чиновник Сладкоумов тоже дрожал, как в лихорадке.

Дверь отворилась, и вошел сосед-сапожник с ремешком на голове и уже сильно под хмельком. Семен Иваныч угостил его.

— Сахарницу пожалуйте! — грубо заговорил он.

— Возьми, возьми, батюшка! Подавитесь с вашим сахаром! — выходя из себя, закричала Авдотья Карповна.

— Нечего нам давиться... Мы берем свое! Это все наше!.. Давиться! Обирать человека ваше дело, а за все благодеяния только безобразничаете? Пожалуйте нашу небиль! Это все наше! Так-то! Семен Иваныч переезжают...

— Берите! Берите всё! — кричала Авдотья Карповна. — Когда нас господь избавит от вас! Господи!!

Вся семья Авдотьи Карповны рыдала. Писец Сладкоумов улизнул вон из комнаты и, пробегая по двору, споткнулся о камень, пущенный ему под ноги Семеном Иванычем.

В этот день Семен Иваныч убедился, что могущество его рушилось. Он снова помирился с хозяином старой квартиры; но прежде, нежели переехать, пробовал отомстить Претерпеевым за нарушение покоя его души. Каких-каких ни выдумывал он штук. Объявив Авдотье Карповне: «съезжаю с квартиры!», он думал заставить ее снова повергнуться к стопам его; но, к ужасу благодетеля, Авдотья Карповна отвечала: «хоть сейчас!»

Тогда Семен Иваныч сказал:

— Нет, погоди! Мне еще семь дней сроку, по закону! Нет, врешь!

— У нас жилец есть на ваше место, Сладкоумов! — говорили ему.

— А! жилец! нет, погоди!

И Семен Иваныч продолжал сидеть на старой квартире, отобрав у Претерпеевых свою посуду, провизию, дрова, словом — оставив их в руках самой отчаянной нищеты.

— Семен Иваныч! батюшка! — умоляли его. — Нам есть нечего! Переехал бы Сладкоумов, все бы как-нибудь, хоть рублишко какой дал...

— Нет, еще погоди! Мне и сверх срока пять дней льготы!

Благодетель переехал только тогда, когда узнал, что Сладкоумов женился на мещанке, следовательно, жить у Претерпеевых не будет, а другого жильца еще и в помине нет.

Семья Авдотьи Карповны снова заголодала. Снова горькая вдова принялась собирать сухие купеческие пироги и проливать слезы на подъездах палат и канцелярий.

И вот Семен Иванович попрежнему на старой квартире, попрежнему в Растеряевой улице; у него те же хозяева, та же старуха Авдотья и вообще все, как и прежде. Вечер. Комната освещена ярким сиянием лампад. Тишина. Семен Иваныч и Хрипушин сидят на противоположных концах комнаты, и среди молчания, долгое время не нарушаемого, раздаются вздохи то хозяина, то гостя.

— Вот бы вам, Семен Иваныч, жениться теперь: самый раз! — робко говорит Хрипушин; но Семен Иваныч отвечает на это глубоким вздохом.

Опять настает молчание...

— Ну-с, Семен Иваныч, — поднимаясь и вздыхая, говорит медик, — пора!

— Куда же ты? — жалобно произносит хозяин.

— Нет-с, пора!

Семен Иваныч остается один; тоска гнетет его; он вздыхает все глубже и глубже, и, наконец, мертвая тишина комнаты нарушается заунывным пением. «Ду-ушу моою!..», закрыв глаза и захлебываясь от тягости наплывающих ощущений, тянет Семен Иваныч. «У-услыыши, господи, молитву-у мою...»

В комнате попрежнему пахнет деревянным маслом. Ветер бьет ставней. Неисходная тоска!..

Хрипушин шел по темным и пустынным переулкам. Был октябрь в конце; в одно время падал снег и дождь, вследствие чего топь на улицах стояла непроходимая. К ужасам грязи присоединялся порывистый ветер, поминутно сметавший с крыш талую воду и обдававший ею Хрипушина с головы до ног.

— Господи! — стонал Хрипушин с растерзанным сердцем и вязнул в грязи.



XIII. СЕМЕН ИВАНОВИЧ «У ПРИСТАНИ»

Мало-помалу Иван Алексеевич стал реже показываться в «растеряевской округе» и, повидимому, переселился в местности более отдаленные и глухие, глубоко сожалея о своих растеряевских и томилинских пациентах, нечаянные встречи с которыми почитал за истинное счастие.

А встречи эти иногда бывали.

Так, он шел однажды по большой городской улице; дело происходило в субботу, и по тротуарам валил народ: шли ко всенощной, в баню, из бани; мастеровые спешили за расчетом, несли самовары, ружья и револьверы.

— Иван Алексеев! — окликнул кто-то Хрипушина.

Хрипушин обернулся и увидел Семена Иваныча Толоконникова: он возвращался из бани.

— Какими судьбами? — воскликнули оба друга разом, пытливо оглядывая один другого.

— Ах, батюшка, Семен Иваныч! а? Сколько лет не видались-то? Какая перемена!

— Переменишься, брат!

— Ей-бо-огу! Ну, как же господь милует вас?

— Ничего, помаленьку. Ты-то как?

— Что мы! Наше дело тьфу! Вы как поживаете?

— Слава богу. Слышал али нет?

— Что такое?
— Женился!
— Семен Иваныч?
— Я!
Хрипушин отскочил в сторону, вытаращив глаза.
— Вы? женились?
— Я, я! Чего ты ощетинился-то? .. Пойдем-ко! Какая жена-то!

Хрипушин долго не мог опомниться. Семен Иваныч, идя рядом с медиком, рассказывал ему историю женитьбы и жены. Она была дочь одного однодворца, оставившего после смерти сорок десятин земли в приданое двум дочерям; одной из них было в то время двадцать четыре года, другой — шестнадцать; первая была крайне безобразна лицом и только пугала женихов, вследствие чего заслужила ненависть матери. Умирая, отец начертал в духовном завещании, в видах обеспечения старшей дочери, следующее: «Младшая может выйти только тогда, когда выйдет старшая, в противном случае она лишается двадцати десятин земли, а старшей достаются все сорок». Отец думал, что подобным маневром он не заставит старшую дочь сидеть в девках, потому что если она оттолкнет жениха физиономией, то притянет его землей. Младшая же может выйти и по любви: она молода и недурна. Но этот маневр на деле осуществился иначе: старшая дочь была до того безобразна, что никакие сорок десятин не могли победить отвращения женихов; младшую же не брали, боясь остаться совсем без земли, что не было особенно привлекательно. Из всего этого вышло то, что, кроме отвращения и злобы матери, на Марью (старшую дочь) обрушилось отвращение и злоба молоденькой сестры. Старой девой помыкали, как тряпкой; ей не было покою ни днем, ни ночью от упреков матери и сестры. Чтобы хоть как-нибудь победить отвращение и презрение родных, Марья работала за семерых: мыла полы, стирала белье, ставила самовары, доила коров и проч. Но и это не спасало ее от семейного презрения. В таком виде предстала она глазам Семена Иваныча.

Когда Толоконников, рассказывая историю женитьбы, дошел до изображения достоинств жены, то остановился на тротуаре и громко воскликнул над самым ухом Хрипушина:

— Так настращена, так настращена, боже защити!

Медик робко поглядел на Семена Иваныча и увидел, что ответить надо так:

— Что ж? Слава богу!..

— То есть вот как: ни-ни-ни!

— Слава богу! — повторил Хрипушин. — Ей-ей!

Затем, в доказательство «настращенности» жены, Семен Иваныч рассказал, что во все время его сватовства теперешняя жена его целовала у него руки.

— Позвольте попросить у вас воды, скажешь иной раз ей, — рассказывал Толоконников. — Тую же минуту несет воду и чмок в руку!.. Каково?

— Чудесно! — бормотал Хрипушин.

Скоро они пришли к воротам квартиры Семена Иваныча.

— Иван Алексеев! — сказал он шопотом, держась за кольцо калитки, — ты погляди-ко вот, что я тебе говорил... как напугана-то!..

— С великим удовольствием!

Едва только шаги Семена Иваныча раздались в передней, как из соседней комнаты выскочила испуганная женщина со свечкой в руке.

— Вот жена! — сказал Толоконников.

Хрипушин засвидетельствовал почтение.

Жена Толоконникова была существо истинно жалкое; вся физиономия ее носила следы какого-то нечеловеческого утомления и ужаса, который громадностью своих размеров не давал возможности обратить внимания на ее безобразие. Человек, впервые попавший в Томилинскую улицу, словом — человек свежий, при взгляде на эту женщину неминуемо должен был чувствовать боль в сердце и глубокую грусть, но томилинец, и на этот раз Семен Иваныч, засиял, как солнце, когда увидел, что Хрипушин разделяет его мысли. С каким-то удовольствием подставил он жене спину, для того чтобы она сняла шинель, и из снисходительности не допустил ее снять с себя калоши, к которым она было уже бросилась.

— Самовар! — кротко и нежно пропел притворяющийся зверь, входя в комнату.

Жена мгновенно исчезла в кухню.

— Видел? — шепнул хозяин гостю.

То есть вот как: лучше не надо!

— А?

— Золото! Как есть золото!

— Что еще будет! Ты погляди-ко!

Самовар явился мгновенно. Жена Семена Иваныча с тем же испугом суетилась около чашек и ложек. Муж с удовольствием поглядывал на этот испуг. Наконец он, не торопясь, опустился на диван и, мигнув Хрипушину, произнес:

— Маша-а!

Жена вздрогнула и чуть не выронила чашки.

— А что я тебе сегодня сказал?

Семен Иваныч подмигивал Хрипушину и указывал головою на жену, которая безумными глазами бегала по стенам, очевидно торопясь что-то вспомнить...

— Я... Семен Иваныч. все.

– Что я сказал?

Знакомая нам сцена тянулась мучительно долго. Наконец, когда зрители увидели, что бедная женщина окончательно выбилась из сил, Семен Иваныч подозвал ее к себе и сурово произнес:

— Гребешок! Я сказал: «Приду из бани, чтобы гребешок!»

Но жены уже не было в комнате, она бросилась за гребешком.

— Видел? — произнес хозяин.

— Сам бог вам посылает! Истинно: слава богу!

Семен Иванович был доволен и тешился забитостью жены до усталости. Все эти сцены были закончены угощением, устроенным хозяином ради того, чтобы показать жену в новом свете, со стороны хозяйственной. Такие маневры Семен Иваныч устраивал перед всеми своими знакомыми, которыми в последнее время обзавелся; знакомые эти были: почтальон, мучной лавочник и дьякон. Все они хвалили Семена Иваныча за его уменье обращаться с женой.

Встреча Хрипушина с Толоконниковым доставила медику одну новую пациентку, потому что это была Марья Филипповна — жена Семена Ивановича. Зная, что женский пол в отсутствие мужей гораздо свободнее и предупредительнее, медик являлся к ней по утрам, когда Семен Иваныч бывал на службе. Убеждение в предупредительности женщин не обманывало медика, и он всегда получал от Марьи Филипповны водку. С своей стороны, подобною же предупредительностью платил хозяйке и

Хрипушин. Всякий раз, замечая, что при появлении его Марья Филипповна утирает распухшие от слез глаза, медик заботливо спрашивал:

— Али чем больны?

— Нет, Иван Алексеевич, — это так!

— Как же так-то?

— Скучно!

— О чем же скучать изволите?

— Да так... просто... скучно сделалось!..

— Гмм!..

— С родными не видалась давно... вспомнила, ну, и...

— Так, так... Да вы, Марья Филипповна, вот как: вы позвольте мне хоть двадцать-то пять копеек... Я вам сварю одну примочку!

Хрипушинские примочки не помогали, и слезы не просыхали на глазах Марьи Филипповны: ей было о чем плакать. Впрочем, Семена Ивановича она не винила в своих слезах: она чувствовала, что обязана ему свободой от презрения родных.

Не могу подробно рассказать, что сталось с Претерпеевыми; достоверно только то, что Олимпиада Артамоновна живет не в Томилинской улице и не в родительском доме; источники ее существования никому неизвестны, но томилинская и растеряевская «молва» отзывается о них весьма неодобрительно.

Более о ней мы сказать ничего не можем.



XIV. РАЗНЫЙ РАСТЕРЯЕВСКИЙ ЛЮД

Теперь следовало бы возвратиться к жизни Прохора Порфирыча и рассказать благополучное окончание его карьеры. Но у нас есть еще два-три лица из растеряевцев, которых хоть и нельзя назвать «главными» действующими в растеряевском житье-бытье лицами, как Прохор Порфирыч и Хрипушин, но нельзя считать и личностями заурядными. Два-три слова сказать о них необходимо.

1. *Книга*

После смерти вдового шапочника Юраса остался сын, болезненный мальчик лет двенадцати, не узнавший вследствие постоянной хворьбы даже ремесла своего отца. Родственники тотчас же запустили свои руки под подушку покойника, пошарили в сундуках, под войлоком и, найдя «нечто», припасенное Юрасом для неработящего сына, тотчас же получили к этому сыну особенную жалость и ни за что не хотели оставить его «без призору». Кабаньи зубы и пудовые кулаки мещанина Котельникова отвоевали сироту у прочих родственников. Сироту поместили на полатях в кухне, водили в церковь в нанковых больничного покроя халатах и, попивая чаек на деньги покойного Юраса, толковали о заботах и убытках своих, понесенных через этого сироту. Пролежал на полатях сын Юраса года четыре, и вышел из него длинный, сухой шестнадцатилетний парень, задумчивый, тихий, с бледно-голубыми глазами и почти белыми волосами. В течение этих годов лежанья, от нечего делать прозубрил он пятикопеечную азбуку со складами, молитвами, изречениями, баснями, и незаметно *книга* в глазах его приняла вид и смысл совершенно отличный от того вида и смысла, какой привыкли придавать ей растеряевцы. Страсть к чтению сделала то, что сирота решился просить опекуна купить ему какую-нибудь книгу. Опекун сжалился: книга была куплена, и сирота замер над ней, не имея сил оторваться от обворожительных страниц. Книга была: «Путешествие капитана Кука, учиненное английскими кораблями Революцией и Адвентюром». Алифан (сирота) забыл сон, еду, перечитывая книгу сотни раз: капитан Кук все больше и больше пленял его и, наконец, сделался постоянным обладателем головы и сердца Алифана. По ночам он в бреду выкрикивал какие-то морские термины, летал с полатей во время кораблекрушения и пугал всю семью опекуна не на живот, а на смерть. Котельников понял это сумасшествие по-своему.

— Ну, Алифан, — сказал он однажды сироте, — гляди сюда: оставлен ты сиротою, я тебя призрел, можно сказать, из последнего натужился... Шесть годов, господи благослови, мало-мало по сту-то серебра ты мне стоил... Так ли?

— Я, кажется, до веку моего буду ножки, ручки...

— Погоди. Второе дело, старался я, себя не жалел сделать тебе всяческое снисхождение и удовольствие... Через это я тебе, например, вот книгу купил...

— Ах! — вскрикнул Алифан в восторге.

— Погоди... Вот то-то... Ты, может, читавши ее, от радости чумел; а спроси-кось у меня, легко ли она мне досталась, книга-то? Следственно, исхарчился я на тебя до последнего моего издыхания... Но так как имею я от бога доброе сердце, то главнее стараюсь через мои жертвы только бы в царство небесное попасть и о прочем не хлопочу... С тебя же за мои благодеяния не требую я ничего... По силе, по мочи воздашь ты мне малыми препорциями. Ибо придумал я тебе по твоей хворости особенную должность, дабы имел ты род жизни на пропитание.

Последнюю фразу Котельников похитил из уст какой-то вдовы, слонявшейся по нашей улице и просившей милостыню именно этими словами, похищенными в свою очередь из какого-то прошения.

Скоро Алифан вступил в новоизобретенную Котельниковым должность. На тонком ремне был перекинут через его плечо небольшой ящик, в котором находились иголки, нитки, обрезки тесемок, головные шпильки, булавки и прочие мелочи, необходимые для женского пола. Обязанности Алифана заключались в постоянном скитании по улице, из дома в дом, и целый день такой ходьбы давал ему барыш по большей мере пятиалтынный. Этот пятиалтынный приносил он все-таки к Котельникову, будто бы на сохранение. «У меня целей», — говорил Котельников.

И Алифан вполне этому верил.

Но книга и капитан Кук не оставляли Алифана и здесь. Замечтавшись о каком-нибудь подвиге своего любимца, он не замечал, как вместо полутора аршин тесемок отмеривал три и пять, или в задумчивости шел бог знает куда, позабыв о своей профессии, и возвращался потом без копейки домой. Если Алифану приходилось зайти в чью-нибудь кухню и вступить в беседу с кучерами и кухарками, то и тут он незаметно сводил разговор на Кука и, заикаясь и бледнея, принимался прославлять подвиги знаменитого капитана. Но кучера и кухарки, на-

скучив терпеливым выслушиванием непостижимых морских терминов и рассказов про иностранные народы и чудеса, о которых не упоминается даже в сказке о жар-птице, скоро подняли несчастного Алифана на смех. Скоро вся улица прозвала его «Куком», и ребята при каждом появлении его заливались несказанным хохотом; им вторили кучера, натравливая на бедного доморощенного Кука собак. Даже бабы, ровно ни буквы не понимавшие в рассказах Алифана, и те при появлении его кричали:

— Ах ты, батюшки мои, угораздило же его, — Кук! Этакое ли выпер из башки своей полоумной...

— В тину, вишь, заехал... На карапь сел, да в тину... Ха, ха, ха... — помирали кучера.

— Кук! Кук! Кук! — визжали мальчишки.

Алифан схватывал с земли кирпич и запускал в мальчишек; смех и гам усиливался, и беззащитный Алифан пускался бежать...

— Ку-ук! Ку-ук! — голосила улица. Общему оранью вторили испуганные собаки.

Торговля Алифана мельчала все более и более. Обыватели чиновные и в особенности обывательницы с улыбкой встречали его и, купив на пятачок шпилек или еще какой-нибудь мелюзги, считали обязанностью позабавиться странной любовью Алифана.

— Ну как же Кук-то этот? — спрашивали они. — Как ты это говоришь, расскажи-ко?

— Да так и есть...

Как же это? плавал?

— И плавал-с; вот и все тут...

Алифан, желая избежать насмешек, иногда думал было отделаться такими отрывочными ответами; но влюбленное сердце его обыкновенно не выдерживало: еще немного — и Алифан воодушевлялся, чудеса чужой стороны подкрашивались его пылким воображением, и картины незнакомой природы выходили слишком ярко и чудно̀. Алифан забывал все; он сам плыл на «Адвентюре» по морю, среди фантастических туманов и островов удивительной прелести; воображение его разгоралось, разгоралось... и вдруг неудержимый, неистовый хохот, как обухом, ошарашивал его.

— Батюшки, умру! Умру, умру, спасите! — вопил обыватель.

И Алифан исчезал.

Иногда выслушают его, посмеются в одинаковой мере и над Куком и над рассказчиком, продержат от скуки часа три и скажут:

— Ступай, не надо ничего.

Плохо приходилось ему. Синий нанковый халат, сшитый опекуном еще в первые го̀да опекания, до сих пор не сходил с его плеч, потому что другого не было. Если иногда Алифан принимался раздумывать о своих несчастиях, то по тщательном размышлении находил, что во всем виноват один капитан Кук. Но было уже поздно!

Таким образом, известнейший мореплаватель Кук, погибший на Сандвичевых островах, вторично погиб в трясинах растеряевского невежества; погиб — раскритикованный в пух и прах нашими кучерами, бабами, мальчишками и даже собаками. А вместе с Куком погиб и добродушный Алифан.

Горестная жизнь его была принята обывателями, во-первых, к сведению, ибо говорилось:

— Вон Алифан читал-читал книжки-то, да теперь эво как шатается... Ровно лунатик!

И, во-вторых, к руководству, ибо говорилось:

— Что у тебя руки чешутся: все за книгу да за книгу? Она ведь тебя не трогает? Дохватаешься до беды... вон Алифан читал-читал, а глядишь — и околеет как собака...

2. Балканиха

Тьма вопросов, являющихся у растеряевца в минуты «отчунения», требует такого помощника в уразумении их, какого Растеряева улица не видала еще ни разу с того времени, как вытянулись в кривую линию ее косые заборы и приземистые лачужки с своими голодными обитателями. Поэтому растеряевец с да̀внего времени привык полагаться на бога, будучи горьким опытом убежден, что спасение его не в руках человеческих. Только что рассказанная история с книгою и факты будничной жизни скажут наивному наблюдателю, полагающему, что в минуты

жажды совета и уразумения не худо бы подсунуть растеряевцу нечто общедоступное или даже общезанимательное, — будничный опыт скажет такому наблюдателю, что хлопоты его по этому предмету будут тщетны вполне. Голодный лунатизм Алифана только подкрепит взгляд растеряевца на непонятную вещь, именуемую «книгою», и попрежнему сомнения его и надежды будут в руках умов мудреных и загадочных, говорящих необыкновенными словами... Такие мудреные умы есть у многих растеряевских баб, одну из которых я тотчас же постараюсь отрекомендовать читателю.

Вероятно, всякому приходилось не раз встречать тип необразованной, но умной бабы, преимущественно вдовы, которая всю жизнь усердно ходит в церковь, пользуется всеобщим почетом, именуется «матушкой», получает за обедней просвиру наравне с генералами и заслуженными людьми. Вот именно все такие качества совмещает в себе Пелагея Петровна Балканова, иначе Балканиха, иначе Дунай-Забалканова. Последний вариант фамилии Пелагея Петровна считала самым правильным, объясняя сложность ее знатностью дворянского рода, от которого будто бы она происходила. К несчастию, документы о ее происхождении были затеряны, и хоть она ни на минуту не покидала надежды *отыскать дворянство,* тем не менее улица наша смотрела на нее пока как на мещанку, супругу маленького и тощенького мещанина. Но даже и в звании мещанки Балканиха обратила на себя внимание растеряевцев, как женщина умная; этому, главным образом, способствовали непостижимые, но самые существенные средства, которые употребляла она для укрощения мужа. Холостяком он слыл за вертопраха и сорви-голову; женившись — присмирел, оглупел, словом — сделался тряпкой. Средства, употребляемые Балканихой для его усмирения, мало того что были непостижимы, можно сказать наверное, не имели в себе ничего зверского, что почти невозможно в наших нравах. Пелагея Петровна не крикнула, не топнула, не плюнула супругу в *лохань* ни разу; в серьезном выражении ее почти мужского лица, в ее строгих, но всегда спокойных глазах, даже, быть может, в этих небольших усах, которыми была наделена она от природы, было что-то такое, что заставляло мужа ее осматриваться, самому *придумывать* себе вину и про-

сить извинения. Вследствие такого постоянно замирательного положения муж Балканихи начал питать к ней какую-то тайную ненависть, утешая себя возможностью когда-нибудь отплатить ей теми же мучениями, какие испытывал теперь сам. Но Балканиха не изменялась, и неотомщенный муж смирялся все более и более. Супруга приучила его подходить к ручке, по воскресеньям поздравлять с праздником, в известных случаях говорить: «виноват, не попомните!» Дело усмирения подвигалось вперед все быстрее и успешнее и окончилось одним весьма трагическим происшествием, о котором рассказывает растеряевская молва. Муж Пелагеи Петровны, привыкший все делать в темном углу, потихоньку, однажды вознамерился отведать на старости лет, стыдно сказать, вареньица! С замиранием сердца пробрался он в чулан, достал и развязал банку, проглотил одну полную вареньем ложку, и только что запустил было ее в другой раз, как неожиданно на пороге показалась серьезная фигура Балканихи...

Супруг вздрогнул, выпустил из рук ложку... и будто бы тут на месте испустил дух!

Пелагея Петровна была так уверена в справедливости своей власти над мужем, что даже в ту минуту, когда увидела труп его и когда, казалось, все земные прегрешения должны бы были забыться, она все-таки, по словам очевидцев, не могла не произнесть:

— Вот ежели бы ты как следует пришел бы да попросил у меня вареньица-то, а не воровски поступил, остался бы ты жив-живехонек. А то вот, господь-то и покарал!..

На похоронах Пелагея Петровна поплакала в самую меру, отпустив слез и причитаний ровно столько, сколько требовалось для того, чтобы растеряевские бабы не имели оснований упрекать ее в холодности и бессердечии. Совершив все это по установленному порядку, Пелагея Петровна вступила в новый период жизни — «принялась вдоветь». В ее власти находился небольшой собственный дом с мезонином, огород с несколькими кривыми яблонями, разбросанными там и сям, баня и небольшое количество разного рода добра, которое сумела скопить она. Из приближенных к ней людей остались с нею неразлучны

попрежнему только старая баба Харитониха, исправлявшая все должности от наперсницы до поломойки, и приемыш Кузька, самоварщик, о котором будет в своем месте более обстоятельная речь.

Прежде всего после смерти мужа она отправилась пешком к Троице-Сергию, так как давным-давно обещалась богу сделать этот подвиг, и, возвратившись оттуда, вступила на дорогу мирного и благочестивого жития. С этих пор начинается ее власть над нашей улицей. Рассказы про угодников божиих, про чудеса были до такой степени обворожительны в ее устах, что все бабы нашей улицы толпами стекались слушать их и выносили из Балканихиного жилища самые светлые ощущения. Пелагея Петровна не пользовалась, однако, этою минутною славою: при полной возможности шататься с своими рассказами по дворам и опивать на чаю весь женский пол нашей улицы, она этого не делала; напротив, в самом разгаре первой славы своей, она попрежнему сидела с шерстяным чулком в руках в своей маленькой каморке и басом пела «Да исправится», подражая напеву «лаврскому». Авторитет свой она устраивала не торопясь. Этому много способствовала Харитониха, которая от нечего делать находила возможность слышать и знать все, что делается у соседей и вообще по всей улице. Балканиха слушала ее без малейших признаков любопытства и только иногда, выслушав рассказ, одевалась и шла на место происшествия, где и давала разные советы. «Вы хоть бы погрели у печки одеяло-то, — говорила, например, она, — а то этак-то и в гроб родильницу отправить недолго». Или: «Матушка! видите вы — человек слаб, а вы ему в самое дыхание ладаном надымили. Разве это возможно! .. Дайте ему очнуться, может он вовсе и к смерти не принадлежит. . .» И случалось, что родильница, лежавшая под нагретыми одеялами, вдруг выздоравливала, или что человек, который по случаю загула пролежал дня два недвижимо и которого начинали уже душить ладаном, приготовляя на тот свет, вдруг, после совета Балканихи, приходил в чувство и хриплым голосом произносил:

— Ах бы солененького!

Все это служило Балканихе к добру.

— Дай вам, господи, доброго здоровья, матушка Пе-

лагея Петровна, — говорил воскресший растеряевец. — Без вас я, кажется, давно бы душу отдал, и опохмелиться бы не пришлось!

Так потихоньку слава Балканихи все росла да росла, хотя, казалось, это вовсе не радовало и не волновало ее. Но это только казалось; в существе же дела она очень была довольна и немало гордилась своею властью. Ее ум, ограничивавшийся в прежнее время уходом за супругом и домашними заботами, теперь имел более пищи, развивался и приобретал даже несколько философское направление. Балканиха начинала чувствовать в своей голове ум *несказанный*: ощущение совершенно новое и приятное, тем более, что вся наша улица не испытывала этого ощущения, ибо не имела ни минуты свободной на то, чтобы заглянуть в собственные мозговые сокровищницы. Мудрствования и философствования были необыкновенно приятны для нее, и она часто нарочно устраивала разные философские маневры, чтоб, во-первых, явственнее познать силу своего ума, а во-вторых, более изощриться в философских тонкостях. Такие маневры устраивала она пока только дома, ибо случаи к этому дома представлялись частые.

Один из жильцов ее был городской извозчик Никита, нанимавший у Пелагеи Петровны баню. У Никиты была огромная семья, и Балканиха из жалости брала с него только рубль серебром в месяц, с тем, однако же, условием, что всякую субботу, когда топится баня, Никита должен был выбираться оттуда с семьей и пожитками в сад.

Баня особенно часто топилась зимою, следовательно, Никита знал вполне, что такое холод. В той же мере знал он, что такое и голод, потому что с давних, почти незапамятных времен испытывал неописуемую нищету. Кто из трех врагов, опекавших его, голода, холода и запоя, явился прежде, вообще с чего началось его бездомовничество, — решить было очень мудрено. Пелагея Петровна, как женщина сердобольная, иногда предпринимала походы в области грешной души Никиты, с целию возвратить его на путь истины. Такие походы совершались преимущественно после обеда, когда мухи и жара не дают никакой возможности заснуть. В такую пору Бал-

каниха обыкновенно завешивала окна платками и среди темной комнаты, с жужжащими у потолка мухами, вела отрывочные разговоры с Харитонихой. Эта верная наперсница всеми мерами старалась придумать какую-нибудь интересную вещь, над которой бы Пелагея Петровна могла поумствовать: она сообщала сплетни, новости, пересуды. Истощался этот материал, Харитониха поднимала вопросы вроде того, что правда ли, будто рыжие в царство небесное не попадут, и нет ли этому какой-нибудь основательной причины? Если же истощался и этот запас, то Балканиха вдруг начинала чувствовать потребность доброго дела и приказывала звать Никиту, предварительно справившись: в рассудке ли он?

— Никита-а! — звала Харитониха.

— Сейча-ас! — отзывался Никита из сарая. — Чего там?

— Пелагея Петровна зовут к себе.

— Но-о! — злобно рычал Никита, стиснув зубы. — Зачесалось! Опять воловодить начнет... Иду!.. Как только это не совестно мучить человека... Скажи: иду!

Скоро действительно Никита входит в комнату Балканихи. Он делает низкий поклон, шопотом здоровается, отступает шаг назад к двери, обдергивает рубашку и с пугливым недоумением ожидает допроса. Пелагея Петровна начинает издалека; она задает ему вопрос: «куда душа человеческая надлежит *по-настоящему*», полагая про себя, что всякая истинно христианская душа надлежит в рай.

Никита недоумевает.

— Не понимаешь?

— Мал-ленечко, точно что. есть препону!

— Ну, ты подумай.

— Слушаю-с...

Тогда и скажи. Только хорошенько подумай.

— Да уж будьте покойны... Слава богу!.. Али мы! Приму все силы...

Настает мертвое молчание. Никита думает, по временам взглядывая на потолок; откашливается, потихонечку вздыхает и вдруг говорит, направляясь к двери:

— Я, матушка Пелагея Петровна, на минуточку...

— Нет, ты погоди!

— То есть... одну только минуту...

— Нет, нет... постой! Ты сначала скажи, что следует...

— И в самом деле, — соглашается Никита, — лучше же я теперича скажу вам все...

— Ну, вот...

— Да тогда уж и отлучусь. По крайности объясню вам. Во сто раз лучше...

Никита понимает всю безвыходность своего положения и с особенным напряжением ума старается разузнать истинные позывы своей души.

— Ну? — спрашивает Балканиха. — Куда же наша душа надлежит по-настоящему?

— Душ-ша наша, — робко и протяжно начинает Никита, — душа наша, матушка Пелагея Петровна, главнее норовит по своей пакости как бы, например, согрешить, например, в кабак...

— Глупец! — вскрикивает Балканиха. — Что ты это сказал!

Пелагея Петровна даже вскочила с своей кровати и подступила к Никите, который испуганно подался к двери.

— Опомнись! Что ты сказал? В рай нашей душе по божьему писанию надлежит, а не в кабак! безумец этакой, в ра-ай!

Никита спохватился.

— Так! так!.. в рай! в рай-с!.. это точно... Ах ты, боже мой! а я эво куда... Ах!..

— Нет, как ты осмелился это сказать? а? — еще ближе подступая, горячится Балканиха.

— Да что будешь делать! Хорошенечко не огляделся, ну, и... В рай-с! Будьте покойны! так, так...

— Ай-ай-ай... Видишь ты, как враг-то тебя оплел? а? В кабак! Следственно, душа твоя до какого же безобразия искажена? У кого же ты теперича будешь просить защиты?

— У кого ж, окроме вас...

Балканиха даже всплеснула руками и, отступая в глубину комнаты, воскликнула:

— Да что ты это? Очумел ты? У б-бога! только у бога одного!.. Сотвори крестное знамение...

— Прошибся! Не подумавши сказал... Виноват! Я было, признаться, и хотел-то это самое сказать, да маленечко, по грехам, не туда прохватил...

Озадаченный философским ухищрением, Никита уже с полным смирением слушал дальнейшие речи Балканихи и считал непременным долгом соглашаться с ней во всем; да и нельзя было не согласиться. Она так ярко изображала падшую его душу, стремящуюся прежде всего в кабак, так явственно рисовала ужасы адских мучений, что сердцу Никиты нельзя было не содрогаться: то видел он себя с огненной сковородой в руках, то чувствовал, как в его грешную спину загоняют железный крюк, чтобы повесить над огненной бездной...

— Верно! — произносил он в ужасе. — Верно, матушка Пелагея Петровна! Ах, справедливо!

Дело обыкновенно сводилось к тому, что Никита начинал клясться перед образом:

— Ежели только каплю, громом расшиби!

— Смотри! — говорила Балканиха.

— Будьте покойны! Ни в жисть не будет этого!

— Смотри!

— Даже ни-ни! Ни боже мой! Легкое ли дело... ни-ни! Пожалуйте вашу ручку.

— Цалуй... да сма-три!..

В эти минуты Никита действительно чувствовал такую энергию, о которой в обыкновенное время не мог и представить себе, так как вся рассудочная деятельность его была обыкновенно поглощена надеждою, что «бог не без милости». Тотчас же после нравоучения он решался вдруг все привести в порядок. Мгновенно, и даже несколько с сердцем, вытаскивал из-под навеса свои ветхие дрожки, устанавливал их посреди двора на солнечном припеке и, обдав водою, принимался скоблить, чистить, мыть. Все кожаное в своем экипаже смазывал густыми слоями сала, ослепительный блеск которого открывал целые миллионы изъянов, незаметных прежде под кучами грязи. Это, однако, не охлаждало Никиты.

— Ничего, живет! — говорил он, взяв в руки оглобли и лавируя с дрожками по Балканихину двору... — Еще как отлично-то!

Затем подобную энергическую реставрировку испытывала и несчастная кляча, потерявшая от нищеты хозяина и фигуру и способность что-нибудь ощущать: выражение глаз ее в ту минуту, когда хозяин вытягивал ее кнутом, было совершенно такое же, когда хозяин угощал ее

овсом. Потом следовали хлопоты в семье, в бане; Никита умывался, надевал чистую рубаху, расчесывал волоса, смазав их квасом, и с особенной любовью, какая может загореться в сердце человека с твердой верой в будущее благополучие, нянчил своих ребят, целовал их и разговаривал самым дружеским тоном.

На другой день рано утром Никита собирается ехать со двора. Старый армяк его вычищен и заштопан белыми нитками; шея обмотана новым, подаренным к крестинам, платком, подпирающим в самые скулы. В воротах он снимает шапку и не перестает креститься во все протяжение пути от ворот до перекрестка. Жена Никиты, с ребенком на руках, долго смотрит ему вслед, стоя за воротами. На перекрестке Никита, нахлобучив шапку, полыснул кнутом клячу — и дело пошло в ход. Лошадь потащилась своей упругой рысью, оглашая пустынную улицу бряканьем селезенки. Никита размышлял, чувствуя в себе что-то новое, небывалое... Вдруг его качнуло назад, и дрожки остановились, утонув колесами в выбоине перед крыльцом знакомого кабака... Лошадь остановилась здесь по привычке.

Пораженный удивлением, Никита долго молчал, опустив руки, и, наконец, шопотом пробормотал:

— Каково вам покажется?

— Никита Петрович, — весело шептал из окна целовальник: — иди, благословись косушечкой!

— У-у! Ссак-кррушен-ние! — рычал Никита, с сердцем вытягивая лошадь кнутом.

Такие не всегда удачные попытки сделать доброе дело не только не убавляли ничего в славе Балканихи, но, напротив, — еще более придавали ей весу: Никита, вернувшись домой опять со сломанными дрожками и в разорванном армяке, снова чувствовал себя виноватым перед Пелагеей Петровной, и этот страх не пропадал даром, потому что обыватели нашей улицы видели его и поучались. Ко всему этому Пелагея Петровна постепенно прибавляла новые поводы для уважения. Так, например, она перечитала все книги, найденные у ее жильцов: молитвословы, календари, богослужебные книги, поучительные примеры благочестия, «Камень веры» и проч. и проч.

Растеряева улица после этого вытаращила глаза на Балканиху, ибо в разговоре ее стали появляться такие слова, каких растеряевцы от роду своего слыхом не слыхали. Мало того, Балканиха могла каждому растолковать всякое подобное слово. В одинаковой мере понимала она, что такое значит: *круг солнца, вруцелетие, индикта,* как и такие тонкости, которые объясняют, что такое полиелей, преполовение. Рекомендую читателю представить себе, что должен был чувствовать растеряевец при взгляде на Пелагею Петровну в эту пору ее славы. Такие успехи она одерживала в то время, когда ей было только тридцать восемь лет от роду. В эту пору вздумал было посвататься за нее один мещанин, по фамилии Дрыкин, но скоро раздумал...

«С чего это он меня не взял?» — думала Балканиха в то время, когда вся наша улица полагала, что она сама отказала жениху, и совершенно не подозревала, что иногда в голову благочестивой Пелагеи Петровны закрадывалась мысль об отмщении за эту «обиду».

3. Мещанин Дрыкин

Мещанин Дрыкин до постройки огромного каменного дома не был известен почти никому в городе. Лет десять назад до этого времени видели его кой-кто на толкучке в ту самую минуту, когда он, не стесняясь громадным стечением публики, отнимал у жида-солдата нанковые панталоны, утверждая, что означенные панталоны принадлежат ему и хотя, повидимому, гроша не стоят, но что он, Дрыкин, имеет тайную причину считать их весьма ценными, почему и требует с солдата, кроме панталон, штраф в три целковых, да за бесчестие еще какую-то сумму. После этого пассажа встречали его еще кое-где: на нем был длинный изорванный черный сюртук, панталоны, похищенные у жида, картуз без подкладки, в руках держал он тонкую яблоновую трость. Так встречали его в продолжение многих лет, и затем он сразу делается обладателем огромного каменного дома, получая от растеряевцев наименование «темного» богача — то есть человека, который разбогател не то «убийством», не то

«грабежом», не то отыскал клад. Как бы то ни было, но, разбогатев, Дрыкин начал строить дом. Он строил его на широкую ногу, со всеми удобствами; ворочал большими капиталами. В эту пору он посватался было за Балканиху, но, почуяв в ней обширный ум, расчел лучшим отказаться и женился на молоденькой. Растеряевское предание говорит, что тотчас после свадьбы молодая супруга Дрыкина, по имени «Ненила», отдала приказание мужу, чтобы немедленно были приглашены все полковые музыканты и все господа военные из благородных, какие только есть в городе налицо. В ответ на это муж, не говоря ни слова, отправил ее доить корову, сделав такое жестокое рукопашное внушение, что Ненила сразу как бы оглупела, затихла и вообще до того «испугалась», что Дрыкину впоследствии не было решительно никакой надобности в рукопашных внушениях: достаточно было только взглянуть, сдвинув брови, чтобы то или другое желание его исполнялось беспрекословно. Впрочем, полный порядок, по мнению Дрыкина, воцарился в доме его только тогда, когда он вместе с женой переселился в какую-то маленькую каморку окнами на двор, а в трех этажах каменного дома загорланило население кабаков, харчевен, нумеров постоялого двора. Ненила целые дни торчала в этой каморке, не показывая глаз на свет божий, а муж ее уселся за воротами на лавочке, в тех же нанковых панталонах, с тою же тростью в руках. Он видимо богател; но это богатство ничего не изменяло ни в его костюме, ни в жизни: та же видимая нищета, тот же лук за обедом и проч. Даже кошелек его, казалось, вовсе не тучнел, потому что если какая-нибудь соседская баба обращалась к нему с убедительной просьбой насчет двугривенного, то в ответ на это он запускал два грязных пальца в дырявый карман жилета, вытаскивал заплесневелый екатерининский грош и почти детски невинным голосом говорил:

— С великим бы, матушка моя, удовольствием, да вот только всего и денег-то у меня... Правда, был об Святой гривенник меди; ну, да по времени на себя извел... Что сделаешь-то? А с тех пор и денег-то никаких не случалось. И не знаю когда! Да и где теперь деньгам быть? Кажется, вот-вот с семьей побираться пойдешь...

— Ну, извините, — говорила разобиженная баба.

— С великим бы удовольствием, да ведь что будешь делать! .. До приятного свидания...

— Будьте здоровы!

— И вам также!

После такого разговора Дрыкин крякнет тихонько, постучит палкой по тротуару, держа ее между раздвинутых колен, и возобновит прерванный разговор. На лице его не произойдет ни малейшей перемены, даже улыбки не явится.

Постоянное пребывание Дрыкина за воротами давало возможность познакомиться с его, так сказать, душевными симпатиями. Иногда кто-нибудь из «объегориваемых» им приносил почитать газету. Чтение происходило за воротами. Дрыкин особенно интересовался описаниями церемоний и изображением сверхъестественных происшествий: говорящая мышь, девица, проспавшая ровно пять лет и по пробуждении вдруг разрешившаяся от бремени, и проч. Об иностранных землях из тех же газет узнавал он тоже чудеса: упал камень с неба, чугунка под водой и под землей ходит и т. д. Нужно сказать правду, такие известия потрясали Дрыкина. Он ахал и вздыхал. «Боже мой! — говорил он: — в других-то землях что делается! а?» Но нужно сказать также и то, что при всей искренности этих вздохов, ежели бы судьба забросила как-нибудь Дрыкина в одну из этих стран, переполненных такими удивительными вещами, то он прежде всего осведомился бы: «почем овес?», а про чудеса едва ли бы и вспомнил за хлопотами. Наивность его решительно не давала никаких шансов к соболезнованию над ним по поводу тех ущербов, которые он должен понести в жизни, где, повидимому, так много самых простых вещей и явлений, могущих поставить его втупик. Нет! Ворочая огромными капиталами и имея сношения со множеством народа, он, между тем, все бухгалтерские книги, кредиты и дебеты ведет на притолоках амбаров и погребов, изображая углем и мелом палки, под которыми подразумеваются у него и люди, и овес, и проч. Кажется, уж как при таком невежестве не промахнуться, как не почувствовать потребности выучиться писать хоть по складам? Однако посмотрите, как он, не прибегая к чьему-либо посредству, сумел напугать своих должни-

ков, которые обходят его жилище за пять кварталов. Все это может быть объяснено только тем, что в натуре Дрыкина сумели уживаться самые противоположные вещи, смиренно равнялись и давали дорогу первенствующему стремлению «знать свой карман».

В эту пору жизни мещанина Дрыкина никакая победа над ним не была возможна. Если бы дела продлились в таком порядке, то Ненила не успела бы ни разу вздохнуть свободно во всю жизнь, а Балканиха не имела бы случая восторжествовать. Но господь помог им обеим.

Дрыкин с давнего времени жаловался на боль в глазах. Добрые люди советовали ему пить по зарям по два стакана чернобыльного настою, нюхать хрен и проч. Особенно было обращено внимание в этом лечении на то, чтобы суметь воспользоваться лекарством по возможности «до заутрени», «до петухов». В этом почему-то считали тайну лечения; однако, несмотря на всю силу доморощенных волшебств, дело кончилось тем, что Дрыкин ослеп.

В одно утро он открыл глаза, тер их кулаками, таращил, крестился и, наконец, почти со слезами сказал:

— Нилушка! ведь я не вижу!

— Что ты?

— Господи! Господи, что ж это такое? ведь ослеп!

Дрыкин заплакал. Ненила сначала в недоумении смотрела на мужа; потом ей вспомнилось что-то очень далекое, на лице появилась краска.

— Ослеп? — спросила она.

— Ослеп! как есть ослеп!

— Слава тебе, господи! — с истинным благоговением заговорила она. — Слава тебе, царю небесному! Ослепи ты его, ирода, навеки нерушимо...

— Жен-на! Побойся бога! — стонал муж.

Но жена, вместо сожаления, захохотала и весело стала дразнить его:

— Ну, тронь? .. Ну, сделай твое такое одолжение, тронь? Найди меня! .. где я? ха-ха-ха!

— Б-боже мой, бож-же мой!

С тех пор в доме Дрыкина пошло все вверх дном. Ненила, которой в эту пору было только двадцать шесть лет, тотчас же изгнала жильцов; вместе с ними выгнала вон из комнат своих ребят, которых она терпеть не могла

за их безобразные рожи, — и запировала. Начала она переменять платья по пяти раз в день; явились у ней толпы приятельниц и винцо в полуштофе; целые дни шло щелканье орехов, и частенько подгулявшие бабы визгливо орали песни.

Дрыкин стонал, лежа в своем подвале.

Такие безобразия Ненилы продолжались, по крайней мере, с полгода; к концу этого времени она успела нагуляться «на все» и поугомонилась, не переменяя, впрочем, своих отношений к мужу. За воротами, куда Дрыкин, наконец-таки, опять перебрался, шло попрежнему обделывание дел, но уже в степени гораздо меньшей против прежнего, ибо денежные расчеты Дрыкина постоянно перебивались мыслями совершенно побочного свойства.

— Ты говоришь, ударить ее? — говорил он, раздумывая, своему приятелю. — Ударить! Голубчик! как же ты ее ударишь, когда...

— Жену-то?

— Не про то! Теперича положим так: ну, даст мне господь, ошарашу я ее; но она заместо того пустит в меня из двадцати местов. И палочьем и чем угодно?..

— Так, того: в сонное бы время, — басил приятель.— Чать, знаете местоположение-то?.. Ну, вот тут бы ее и пристукнуть?

— Голубчик ты мой! — жалобно говорил Дрыкин,— ну, хорошо, пущай я ее разов пяток кокну в голову-то, но ведь получит она через это пробуждение и, следственно, опять-таки меня, боже защити, как?

— Мудрено!

— Так мудрено, так, друг ты мой, мудрено, даже весьма опасно!

В эту пору распутицы семейной жизни Дрыкина, Пелагея Петровна имела полную возможность одержать над ним какую угодно победу; это было тем легче, что слабые струны супругов не таились и были наружу. Принимая в расчет свойство этих струн, Балканиха находила весьма удобным и приятным для себя мутить между собою супругов. Делалось это с затаенной улыбкой и смехом. Главное орудие для супружеских стычек Пелагея Петровна имела в распущенном хозяйстве. Стоило ей показаться на дворе у Дрыкиных, как зоркий глаз ее

тотчас же подмечал множество неисправностей: кухарка потихоньку снабжает хозяйским молоком свою родственницу; приказчик вместо пуда сена отпускает проезжающему половину, и этот последний обещается вперед не ступать ногой на постоялый двор Дрыкина; под сараем кто-то кричит: «Подай!» — «Нет, врешь!»

Пелагея Петровна только головой качает и идет в сени; здесь раскрыты двери в чулан, в кладовую, в кухню; кто хочет — приди и возьми все: ни одна душа не хватится, и виноватого не сыщешь. Запасшись таким материалом, Пелагея Петровна являлась к Дрыкину и, поздоровавшись, начинала:

— Ну, отец, уж и хозяйство у тебя! Уж хозяйство! И что только это, дивлюсь я, жена у тебя смотрит? .. а?

— Матушка! .. — почти плача, говорил Дрыкин.

— А? везде крадут, везде тащат, все росперто; кажется, приди вор, возьми все, и не хватятся... Что это такое? Что ж ты на жену-то смотришь?

— Да, милая моя! Ну, положим, точно что, быть может, я ее и того... чем-нибудь... но ведь она в отместку и палочьем и...

— Да как же она смеет?

Дрыкин бледнел от злости и бодро произносил:

— И в самом деле?

— Доживешь, — продолжала Балканиха, — покуда по миру пойдешь побираться... Легкое ли дело, все на выворотку! Ах ты, боже мой! а? .. — качая головой, говорит она и идет в другую комнату.

— Ах, боже мой! — продолжает она, подходя к Нениле. — Я смотрю, смотрю на тебя: господи! кажется, в чем только душа держится... Похудела, осунулась... И как только ты это со слепым дьяволом живешь!

— Мочи моей нет! Убью я его!

— Именно! Скажите на милость, слепая чучела этакая, совсем молодую женщину...

Ненила схватывала половую щетку и как стрела налетала на мужа, который, в свою очередь, доспевал до возможности «кокнуть» супругу...

В ту же минуту Балканиха умела выскользнуть из комнаты; стоя за воротами, она прислушивалась к шуму битвы, происходившей в доме Дрыкина, и, с улыбкой глядя на небо, во всеуслышание говорила:

— Господи помилуй! господи помилуй!

Счастливо живет наша Балканиха до сей поры и попрежнему пользуется общим почетом. Дает советы и принимает за них посильные приношения. Только порой еще и теперь досадует она, что не удалось ей прибрать к рукам старого Дрыкина.

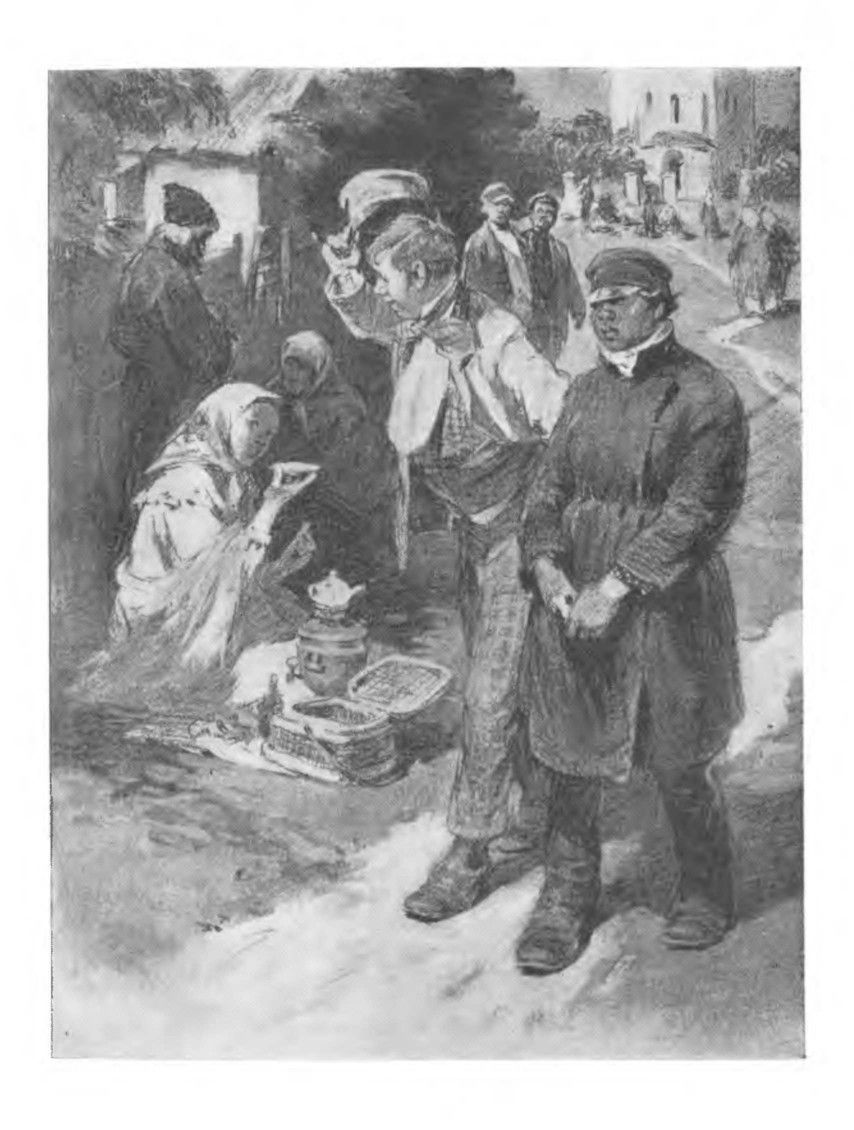
Возвратимся теперь и к Прохору Порфирычу.



XV. ПРОГУЛКА

В жаркое послеобеденное время по глухому переулку, в тени у заборов, шли два обывателя. Первый был известный читателю Прохор Порфирыч, другой самоварщик Кузька, воспитанник Пелагеи Петровны Балкановой. Это был здоровый малый лет семнадцати, с широким разжиревшим лицом, вздернутым носом и маленькими глазами, в которых проглядывало выражение какого-то непонятного негодования.

Оба приятеля были в «лучших» костюмах: Прохор Порфирыч, известный в нашей улице за изящнейшего джентльмена, в настоящую минуту совершенно оправдывал этот титул; все, что только отыскал он в своем сундуке аглицкого и французского, все было надето на нем. Незастегнутый сюртук, распахиваемый ветром, открывал пятившуюся вперед манишку и франтовскую жилетку, застегнутую на одну пуговицу. Новый шелковый галстук, из-за которого чуть-чуть показывались кончики воротников, скрипел и издавал какой-то металлический треск, далеко слышавшийся кругом во время безмолвного шествия. Нельзя не сказать, что такой наряд доставлял моему герою истинное удовольствие; держа обе руки назади, он гордо выступал вперед, холодным взглядом окидывая фигуру Кузьки, который представлял совершенный контраст с его джентльменской фигурой. Кузька был одет тоже во все новое; но его наряд в сравнении с на-



рядом Прохора Порфирыча не стоил ни полушки. Несмотря на нестерпимую жару, Кузька нарядился во все теплое: на голове у него был драповый новый картуз на вате; на плечах, кроме сюртука, драповая же ваточная чуйка с бархатным высоким воротником; шея была подвязана новым платком, но подвязана так, что Кузька не мог свободно повернуть голову и вздохнуть: кровь приливала к голове и стучала в мокрых от поту висках. Отправляясь на богомолье в село З—во, где, по расчетам Кузьки, должна собраться большая публика, он счел за нужное нарядиться во все лучшее, ибо в этом считал необходимое условие всякого праздника. Ко всем этим неудобствам его костюма нужно прибавить узкие выростковые сапоги, надетые на шерстяные чулки, и, наконец, глубокие калоши. Кузька прихрамывал и отставал.

— Ты ежели хочешь идти, так иди! — строго сказал ему Прохор Порфирыч: — мне с тобой возиться некогда. Этак мы к ночи не доберемся.

— Не сердись! — уныло сказал Кузька.

Порфирыч посмотрел на его раскрасневшуюся физиономию, по которой градом лился пот, и проговорил:

— Ишь рожу-то нажевал!..

— Да будет тебе, ей-богу! — беззащитным голосом протянул Кузька и обтер лицо колючим драповым рукавом.

— Ну иди, иди... Брошу!

Кузька, повидимому, очень дорожил компанией спутника, потому что утроил шаги и скоро поровнялся с ним.

— И кто это только праздники выдумал? — бормотал он шопотом, чувствуя во всем теле нестерпимый жар.

Приятели молча продолжали шествие по пустынным переулкам. Жаркий ветер по временам дул в их запотелые лица и чуть-чуть шевелил запыленными листьями корявых яблонь, ветки которых перевешивались кое-где через заборы. От жары народ попрятался в дома; везде были закрыты ставни; спали люди, спали собаки. А солнце жгло и палило не уставая...

Исчезли последние дворишки самого отдаленного переулка, и путники вышли в поле. Пыльный и узенький проселок извивался по небольшой возвышенности, отлого спускавшейся к болотистому дну неглубокой ложбины. Здесь, через трясину, перекинут маленький мост без

перил, запрудивший собою зеленую и гнилую болотную воду. На противоположном возвышении холма красуется новый кабак; около крыльца воткнут в землю длинный шест, к концу которого привязана пустая бутылка.

Народу идет «видимо-невидимо», преимущественно бабы, девушки и молодые мужчины всех классов и званий. Прохор Порфирыч идет молча, будучи обуреваем своими тайными размышлениями.

Размышления его имели довольно глубокомысленное направление. Как уже известно, во всей улице нашей он был единственный человек, умевший обходиться без кабака, без разбитого глаза и всегда имевший изящный костюм. Благосостояние Прохора Порфирыча было до сих пор прочно до изумительности; но последние трудные времена до такой степени оказались трудными, что поколебали даже и его благосостояние. Даже он вздохнул не один раз. Самое ревностное желание рабочего народа было желание войны. «Хоть бы подрались где-нибудь, — толковали рабочие, — все больше было бы сбыту на оружейный товар». Но войны как на зло нигде не случалось. Прохор Порфирыч в эту трудную пору до того унизил свой авторитет, что решился даже обратиться за советом и сведениями к Пелагее Петровне. Эта дама не дала ему, впрочем, положительного ответа ни на один вопрос, а насчет войны отозвалась, что «не слыхать».

— Точно что, — говорила она, — где-то заседают об этом деле, насчет того — где и как; но будут ли воевать или нет, наверно сказать нельзя.

Стали поэтому гнездиться в голову Прохора Порфирыча мысли о женитьбе и, следовательно, отчасти и о любви. Но эту последнюю вещь он тотчас же подвергнул собственной критике и убедился в полной ее невыгоде, тем более, что он в совершенстве знал женский пол нашей улицы. Понадеяться на этот пол было весьма опасно; в доказательство этого он мог привести множество примеров. Не дальше как вчера он пробирался ночью, держа сапоги в руках, к своей соседке, у которой муж на минутку отбыл в село Селезнево для излечения от запоя. Недели две тому назад встретил он в городском саду одну особу женского пола, которая несла из дому ужин брату-целовальнику, и имел с ней нечто секретное,

после чего еще раз убедился в правоте своего взгляда на женский пол. Положительные желания его насчет этого предмета состояли в том, чтобы взять жену с состоянием, не обращая внимания на физиономию и возраст; при этом область любви он намерен был уступить супруге в полное распоряжение, а сам предполагал заведывать исключительно капиталом, мечтая об осуществлении одного наивыгоднейшего предприятия. По мнению Порфирыча, самое выгодное занятие — кабак. В качестве умного человека, он устроит кабак около какой-нибудь большой фабрики, будет давать рабочим в долг, под условием получать деньги из рук хозяина, который согласится на устройство кабака около фабрики, потому что Порфирыч предложит ему «профит», то есть вместо, например, пяти рублей будет брать только четыре, а за рабочим запишется все-таки пять. В воображении Прохора Порфирыча кабак этот рисовался какою-то разверстою пастью, которая не переставая будет глотать черные фигуры мастеровых. Картина и план были весьма эффектны и выгодны, не находилось только невесты с капиталом. Давно уже пустился он за поисками того и другого, но удачи особенной не видал.

Размышления по поводу этих обстоятельств и этих надежд одолевали его голову в то время, как он шел на богомолье в З—во. Кузька молча следовал за ним, стараясь не отставать.

— У тебя много ль денег-то? — спрашивает его Порфирыч, не поворачивая головы.

— Да, пожалуй, целковых два наберу. Ты, Порфирыч, бери их... Бери все.

— Вона!.. Я на всякий случай... Кабы с купца получил...

— Чего там, с купца! Бери все... Куда мне их? Я и не приберу... Только ты меня не кидай...

— Куда же я тебя кину?

— То-то! Уж сделай милость, голубчик... Ежели бросишь, что я один-то?.. Легче же, во сто раз, воротиться...

— Ну, да ладно, не брошу! «Экая осина какая!» — подумал Порфирыч и замолчал снова.

А Кузька очень радовался, что будет иметь верного защитника и руководителя.

Пелагея Петровна, приходившаяся Кузьке теткой, взяла его на воспитание, когда ему было три года. Не любя мужа и не имея детей, она отдала весь запас женской любви воспитанию своего приемыша. Главные старания ее состояли в том, чтобы освободить Кузьку от тех несчастий и пороков, которыми видимо страдала наша улица. Поэтому Кузька с малых лет постоянно находился при ней, получая ласки в виде непрерывной еды. Общество мальчишек было для него чужим; он один катался на ледянке около ворот, не смея и боясь присоединиться к компании, и целые дни проводил в обществе старух, привыкнув к существованию вне общих растеряевских интересов. Кузька был усыплен и закормлен до такой степени, что никакая новость, никакой любопытный факт, который ему приходилось видеть в первый раз в жизни, не приковывали его внимания. Нужно было долго долбить одинаково сильными впечатлениями в окаменелую голову его, чтобы пробрать и заставить его заинтересоваться и жить. Но когда, наконец, он раззадоривался, — удержать его было трудно. На самоварной фабрике, куда Пелагея Петровна поместила его, в первый год затылок его был всеобщею наковальнею, на которой пробовалась сила хозяйских и товарищеских кулаков. На второй год он понял, в чем дело, и, развиваясь далее, норовил было уже отведать прелестей кабака; но Пелагея Петровна во-время спохватилась, и тут началась реставрировка его развращавшейся души при помощи розог. Каждую субботу Пелагея Петровна припасала для своего приемыша по меньшей мере два пучка. Такая классическая система сделала то, что Кузька, будучи уже взрослым малым, был глупее всякого растеряевского ребенка. Огражденный стараниями Пелагеи Петровны от развращенных нравов, Кузька, по планам этой дамы, имел уже все шансы на счастливое и безмятежное житие. Страх, который чувствовал Кузька к своей пестунье, заставлял его всеми мерами следовать ее теории насчет собственного благосостояния и выискивать в растеряевских нравах такие проблески жизни, которые не соприкасаются с кабаком, не носят в недрах своих увечья, разбитого глаза, сибирки и проч., — так как, в самом деле, «не всё же кабак»...

Но каково же было изумление Кузьки (выражавшееся, впрочем, самой неопределенной тоской во всем теле), когда продолжительный опыт доказал, что, помимо кабака, помимо проклятий собственной жизни, — в растеряевских нравах нет ничего более существенного. Чем делиться растеряевцу с своей семьей, которая, в большинстве случаев, тоже дает нравоучение в форме беспрерывных попреков? В этой ли голодной и холодной семье найти хоть какую-нибудь дозу удовольствия, лихорадочно необходимого после долгих трудов? Но главное, под силу ли трезвому человеку перейти то море нужд, которое тянется и тянулось без конца? Насущный и ежеминутный вопрос растеряевской жизни — нужда. Под ее влиянием наши удовольствия, радости, словом — вся физиономия жизни. Кузька благодаря попечениям Балканихи не знал нужды и, следовательно, не мог жить в Растеряевой улице. Ему незачем было жить здесь. Посмотрите, с какими усилиями добивался он этой жизни «без кабака» и чем вознаграждались эти усилия.

Вот стоит он за воротами в жаркий летний полдень. По причине праздника все пообедали рано, и поэтому на улице ни души. Кузька стоит на солнечном припеке, босиком, и со злобою скребет затылок, стараясь хоть чем-нибудь развлечься. Ветер треплет его нанковые шаровары и красную распоясанную рубашку. Все окружающее знакомо ему до мелочей. Но вот под забором спит чья-то собака. Выражение лица Кузьки делается определеннее; он осторожно достает кусок кирпича и, отставив ногу, развертывается камнем в собаку... Пыль столбом взвилась у забора, и собака с визгом и лаем понеслась прочь, поджимая раненую ногу...

Визг собаки доставил Кузьке некоторое удовольствие; он слегка скосил губы на сторону и вернул головой вбок. И опять скука! Кузька замечает наконец, что на углу, в тени, мальчишки играют в бабки. Он вдруг почему-то принимает самую зверскую физиономию, торопливыми шагами идет туда и сбивает ногою все бабки прочь.

— Ну чего ты? — пищат мальчишки.

— Прочь! — кричит Кузька, разгоняя толпу затрещинами.

— Что они — трогают тебя? — заступается баба.

— А другого места разве нет им? — возражает Кузька.

— Ах ты, разбойник этакой! Постой, я вот Пелагее Петровне скажу, — кричит баба вслед Кузьке.

— А по мне говори! Что она мне сделает?

— Вот увидишь что!

Кузька сконфужен. Снова попав в область самой мертвящей скуки, он не решается больше искать развлечений на улице и идет в сарай. Здесь Никита чистит лошадь. Кузька медленно оглядывает давным-давно знакомый ему сарай.

— Тебе чего нужно?— строго спрашивает его Никита.

— А тебе что?

— Ты чего тут не видал?

— Да вот хочу. Что, тебе жалко?

— Ах ты, дубина! — укоризненно говорит Никита. — Пелагея-то Петровна мало тебя бьет! .. Тебя, по совести-то, надо дубиной, да получше...

— Чего ты ругаешься-то? Что за барин уродился?

— Подлец! Именно подлец. Ну, чего ты здесь?

— Хочу!

— Дубина!

— Ну-ну, тронь! ..

— Глупцы! — раздавался голос Пелагеи Петровны — и порядок восстановляется. Разозленный Кузька заваливался спать где-нибудь на чердаке за трубой и с горя спал как убитый. Просыпался он ранехонько утром и тотчас, с голоду, принимался путешествовать по чуланам и кладовым, отыскивая что-нибудь съестное. Спросонок он действовал во время похищений очень неаккуратно: ронял горшки, опрокидывал банки. Разбуженная стуком Пелагея Петровна являлась на место преступления, и Кузька получал достойное.

Помимо полной невозможности отыскать себе хоть какое-нибудь развлечение, Кузька был еще несчастлив в том отношении, что, в качестве семнадцатилетнего ребенка, становился втупик перед самыми обыкновенными человеческими отношениями; весь мир божий казался ему множеством совершенно отдельных предметов, которые друг с другом не имеют никакой связи. Если же порой у него и мелькала иногда мысль, объясняющая то или другое явление, то Кузьке делалось как-то неловко, не по себе. Случалось, увидит он пригожую девушку и почувствует при этом нечто особенное; он почти пони-

мает, в чем заключается это нечто; но это кажется ему уже чересчур странным, и Кузька без разговоров выкидывает какую-нибудь безобразную штуку... Девушка, например, улыбается и посылает ему поцелуй, а Кузька показывает ей кулак, присовокупляя: «На-ко!» В заключение рассердится сам же на себя и со зла хватит камнем в собаку...

Между тем количество богомольцев, по мере приближения к З—ву, увеличивалось. Девушки шли толпами, звонко смеялись, расходились по густой и высокой ржи, плели венки из полевых цветов. Встретилась на пути жиденькая рощица, и богомольцы рассыпались между деревьями. Молодые люди, на которых девушки смотрели с выразительными улыбками, присоединялись к ним и шли вместе. Некоторые из молодых людей, понимая посвоему смысл этих выразительных улыбок, припасли по две и по три бутылки наливки *дамской*, схоронив ее в глубине своих карманов.

Слышались разговоры:

— Ну-ко, кто кого? — спрашивал один юноша у другого, показывая из-под полы горлышко бутылки... — Не хочешь ли потянуться?

Приятели вламываются в рожь и приседают. Скоро опорожненная бутылка, словно ракета, взвивается вверх.

— Вот они, богомольцы-то! — подтрунивают бабы. — Вот так богомольцы!

По пыльной дороге то и дело проносились купеческие тележки с крепкими и статными лошадьми; изредка тащились извозчичьи дрожки с седоком-чиновником, приготовлявшимся испить до дна чашу наслаждений, о которой означенный чиновник так много слышал от приятелей. Вся громадная толпа путников подвигалась весело вперед. Солнце начинало садиться; тени прохожих вытягивались по земле до громадных размеров. Вот, наконец, и село. Богомольцы спускаются с высокого холма, огибающего с двух сторон низменный луг, переходят небольшой, трепещущий от ветхости мост и вступают на средину сельской улицы. Направо тянется длинная линия просторных изб с сараями позади; налево, на возвышении холма, красуется помещичий дом и церковь, к ко-

торой примыкают дома причта. Обе эти стороны разделены небольшим ручьем с болотистыми берегами.

Вся сельская улица против домов запружена народом. На земле кипят самовары, и идет веселое чаепитие целыми компаниями. Кавалеры всяких сортов лавируют мимо женщин, занявшихся чаем, выказывая необыкновенно грациозные телодвижения. По мере того как надвигались сумерки и тетки, конвоировавшие молодых девиц, толпами отправлялись в церковь, — тайные цели кавалеров делались яснее. Девицы, схватившись под руки, весело разгуливали по сельской улице; кавалеры тоже целыми взводами двигались им навстречу, обжигая девиц многозначительными взглядами, и, наконец, решались вступить в разговор.

— Отчего же вы не в церкви?

— А вам какое дело?

— Как какое? Помилуйте!

А вы лучше отстаньте...

— Н-нет-с...

Начинается разговор, сплошь состоящий из какой-то чепухи; тем не менее в конце разговора кавалер считает себя вправе задать, наконец, вопрос шопотом и на ушко:

— Вы где ночуете? — шепчет он.

— У Селиверста, — отвечает девица.

— В сарае?

— Да!

— Так, следовательно, — говорит он вслух: — вы, напротив, того мнения, что любовь...

— Отвяжитесь, ради бога!.

Люди опытные знают наизусть способ ведения сердечных дел, а люди неопытные, напротив, — в крайнем стеснении.

Прохор Порфирыч и Кузька тоже были в толпе гуляющих. Кузька решительно не понимал, из какого источника льются эти нескончаемые разговоры кавалеров и дам? Где отыскать предметы для этих разговоров? Он был крайне сконфужен и плелся вслед за Прохор Порфирычем, как осужденный на смерть, тогда как последний видимо успевал.

Внимание его было привлечено одной женщиной, очень недурной и миловидной, которая была в З—ве без

подруг и одна сидела за самоваром. Она постоянно конфузилась и бросала на мужчин испуганные взгляды.

Прохор Порфирыч заметил это и погнал от себя Кузьку.

— Отойди! — сказал он: — мне нужно!..

— Да куда ж я? — заныл было тот...

— Отойди прочь, говорю... Отстань!..

Кузька с горечью отошел от него и выбрался на самый конец села, где не было ни души. Здесь он расположился на траве и вздохнул свободнее. Прохор Порфирыч тотчас пустил в ход всю свою опытность «по женской части». Девица конфузилась, потом украдкой взглянула на него. Прохор Порфирыч ответил ей легонькой улыбкой; девице, как кажется, очень понравилось это; но мой герой, «зная женский характер», побаловал незнакомку улыбкой всего только один раз и потом напустил на себя необычайную серьезность. Такой прием Прохор Порфирыч считал очень удобным в применении к женскому полу, и действительно девушка стала интересоваться им. Несмотря на свою видимую холодность, Прохор Порфирыч старательно следил за девушкой, всеми силами стараясь разрешить — кто она такая. На замужнюю не похожа, — таких молодых жен мужья не отпускают от себя в З—во. Не похожа также и на девушку, потому что около нее нет ни одной пожилой присматривающей родственницы. Считать ее «из этаких» он тоже не мог, потому что в ней не было ни нахальства, ни бойкости. Прохор Порфирыч недоумевал: не вдова ли? думал он; но и на вдову тоже не было похоже: непременно уж был бы около нее кто-нибудь старший. Не разрешив этих вопросов, Прохор Порфирыч решился, во что бы то ни стало, попасть на ночлег в тот именно сарай, где поместится и красавица.

Часов в девять вечера улица начала понемногу пустеть. Старухи возвращались от всенощной и укладывались спать в избах; самовары исчезли, изредка попадались кое-где фигуры пьяных мужчин. Сараи, помещавшиеся позади изб, были полны молодежью. Прохор Порфирыч стоял на улице и шопотом разговаривал с хозяином одного двора.

— Будьте покойны! — говорил хозяин.

— Здесь ли?

— Здесь, уж я вам говорю. Пожалуйте!

Порфирыч и хозяин вышли задними воротами к коноплянникам и направились к сараю.

— Уж я вас, — говорил хозяин дорогою: — в самое лучшее место положу.

Они вошли в темный сарай; сквозь плетеные стены его едва-едва прокрадывался лунный свет. В непроницаемой темноте со всех сторон слышался шопот, подавляемый смех и изредка многозначительный кашель.

— Где ж бы тут лечь? — спросил Порфирыч у хозяина.

— А вот-с, я сейчас, — сказал тот и зажег спичку. Яркий свет открыл довольно живописную картину: во всем сарае на разбросанном сене лежали вповалку мужчины и женщины. Женщины при свете тотчас «загомозились» и принялись прятать голые ноги под белые простыни, закрываясь ими до самых глаз.

— Да вот место! — сказал хозяин.

Прохор Порфирыч взглянул в угол, предназначавшийся для него, и увидел знакомую девушку, так интересовавшую его. Она чуть-чуть выглянула из-под «бурнуса» и тотчас снова завернулась с головой.

Спичка погасла. Прохор Порфирыч ползком пробрался между лежавшим народом и достиг своего ложа. Девушка отодвинулась в угол.

— Ничего-с! сделайте милость, не беспокойтесь... — проговорил вежливо герой.

Во всем сарае было какое-то бессонное молчание.

— Куда ты? куда тебя дьявол несет?

— Мне сенца!

— Я тебе задам сенца!

— Что вы орете? Вот удивление!

Снова наставало молчание, и потом снова разговор.

— Подальше, подальше, батюшка! У меня свой муж есть.

— Вам беспокойно? — спросил Порфирыч соседку.

— Нет, ничего-с!

— А то не угодно ли вот сюда?

— Нет, нет, — шептала та.

— Да что вы опасаетесь? будьте покойны. Я не какой-нибудь...

— Уж вы этого не говорите. А я вам прямо скажу, я не на это сюда пришла.

— Да помилуйте! Даже на уме не было! Я вот перед богом скажу вам, всей бы душой познакомиться желал.

— Это зачем?

— Как-с зачем? .. Позвольте ваше имя-отчество?

— Раиса Карповна.

— Так, Раиса Карповна, что же вы тятеньку имеете?

— Нет, ни тятеньки, ни маменьки нету, померли.

— Что же, стало быть, вы у родственников изволите жить?

— Н-нет... Я не здешняя...

— Приезжие?

— Епифанская... из Епифани...

— Да-да-да... И что же теперича вы здесь при месте?

Девица промолчала.

— Или в услужении?

— Н-нет... Я... Да вы заругаетесь!

— Ах! Что это вы? Как же я смею? Неужели ж этакое свинство позволю?

— Я... Господина капитана Бурцева знаете?

— Это которые полком тут стоят?

— Они.

— Ну-с?

— Ну, я при них...

— То есть как же это: по хозяйству?

— Нет... Я, собственно... Как они проезжали, и видят — я сирота... «Поедем», говорят... Ну я, конечно...

— Да-да-да... Что ж? дело доброе.

— Вот вы надсмехаетесь! ..

— Чем же-с? .. Даже ни-ни.

«Э-э-э! — подумал Порфирыч, — вот она птица-то!» и замолчал.

Тишина в сарае продолжала быть бессонной, и это очень растрогало Порфирыча; он вздохнул и обратился к соседке с каким-то вопросом.

— Ах, оставьте! .. Я и так уж...

— Что такое?

— Да самая горькая...

— То есть из-за чего же?

— Голубчик! Лежите смирно! Я вас прошу!

— Помилуйте, из-за чего же горькие? Будьте так добры... Обозначьте!

— Они уезжают: капитан-то...

— Н-ну-с. Что же? И господь с ними...
— Хотели меня замуж выдать, да кто меня возьмет?
— Как кто? Конечно, ежели будет от них помощь...
— Они дают деньгами...
— Много ли?
— Полторы тысячи...
У Порфирыча захватило дух.
— Ка-как? Пол-лтар-ры... Вы изволите говорить— полторы?
— Да... Перед венцом деньги.
— Раиса Карповна, — проговорил Порфирыч... — Верно ли это?
— Это верно.
— Я приду-с... К господину капитану... Приду-с!
— Голубчик! Вы надсмехаетесь?
— Провались я на сем месте... Завтра же приду!
— Ах, миленький... Обманываете вы... Я какая... Вы не захотите...
— Да я скорей издохну... Деньги перед венцом?
— Да, да... Уж и как же бы хорошо... Не обманете?
— Ах! . Раиса Карповна! .. Да что ж я после этого?
— Голубчик! ..

Между тем Кузька, улегшийся на траве за селом, был в большом унынии: ничто не могло расшевелить его настолько, чтобы заставить разделить общие удовольствия; его одолевала полная тоска. Долго лежал он молча. Взошел месяц, над болотом стал туман, заквакали лягушки, и на селе не слышалось уже ни единого человеческого звука. Наконец тошно стало ему здесь. Он решился идти в село на ночлег.

На сельской улице не было никого; только на одном из крылец сидел хмельной дворник и разговаривал с бабой, стоявшей на улице.

— Арина! — говорил дворник.
— Что, голубчик?
— Уйди, говорю, отсюда.
— Илья Митрич! За что ж ты меня разлюбил? Господи! Сирота я горемычная...
— Арина! говорю: уйди! Слышь?
— Илья Митрич!

— Я говорю, уйд-ди!

Кузька вошел в первые отворенные сени, спросил у хозяина позволения ночевать и лег с глубоким вздохом, надеясь, что, может быть, завтра будет легче на душе.

Но надежды его не сбылись и завтра. Во-первых, он снова был без руководителя, так как Прохор Порфирыч совершенно увлекся ночной соседкой, чему в особенности способствовали полторы тысячи «перед венцом». Второе несчастие Кузьки состояло в том, что утро другого дня не имело даже и того напряженного веселья, каким обладал вчерашний вечер: публика рано начала собираться в город, так как все самое интересное в празднике было уже вчера. Девицы и кавалеры, встречаясь друг с другом при дневном свете, были даже нелюбезны.

Публика разбредалась. На сердце Кузьки становилось все тяжелей и тяжелей: он не выносил с гулянья ни одного приятного ощущения; рубль семь гривен, которые он пожертвовал себе на увеселения, были целехоньки. «Неужели же, — думалось ему, — с тем и домой воротиться!» Как за последнюю надежду, ухватился он за мысль — снова пойти в кабак.

В кабаке было множество посетителей... Пили, говорили с пьяных глаз что-то совсем непонятное, спорили, жаловались. Внимание Кузьки было привлечено компанией подгулявшей молодежи.

— Нет, не выпьешь! — кричал один.

— Ан врешь!

— Что такое?

— Да вот Федор берется четверть пива выпить на спор.

— Дай, об чем?

— И спорить не хочу...

— Нет, нет, пущай его! Друг, пива!

— Поглядим...

Явилась четверть пива в железной мерке; Федор перекрестился, поднял ее обеими руками и принялся цедить.

Публика следила за ним с особенным вниманием.

— Н-нет! — произнес неожиданно Федор — и хлопнул четвертью об стол.

— А-а!.. — послышалось со всех сторон.

Охмелевший Федор присел к столу. Глаза его смотрели бессмысленно.

Кузька, в минуту неудачи Федора, вдруг почувствовал в себе сознание чего-то небывалого. Громадные нетронутые силы, давно ждавшие какого-нибудь выхода, зашевелились. Он видел теперь перед собой такое дело, которое понимал вполне и которое могло прославить его, по крайней мере, в з-ском кабаке. Кузька чувствовал, что теперь ему предстоит сделать первый сознательный и смелый шаг. Он смело подошел к гулякам и проговорил:

— Что дадите, я выпью четверть?

— А ты чем стоишь?..

— Берите, что есть: рубль семь гривен.

— Ладно! А с нашего боку, ежели выпьешь, пей сколько хочешь и чего твоей душе угодно... Деньги наши... Идет?

— Кричи!..

— Пивва! — заорала компания...

Скоро все общество в кабаке столпилось около Кузьки, который удивлял всех своим богатырским подвигом. Четверть пива быстро подходила к концу. Кузька ни разу еще не передохнул, только лицо его медленно наливалось кровью, глаза выкатились и сверкали белками...

— Ах, прорва! — говорил удивленный зритель.

— Батюшки, шатается! — вскрикнул другой: — шатается!..

— Держи, держи его... Расшибется!..

— Уйти от греха! — прошептал третий и выскользнул из кабака: на улице он слышал, как в кабаке что-то грузное рухнулось наземь...

XVI. БЛАГОПОЛУЧНОЕ ОКОНЧАНИЕ

Мне остается прибавить еще очень немного: Кузька умер в больнице, в бреду. Сонные нервы его были разбиты слишком непривычным хмелем. Прохор Порфирыч, напротив того, с успехом сделал второй шаг на поприще своего благосостояния: он явился к господину капитану Бурцеву, объяснил ему свое желание вступить в брак и

особенно настойчиво изложил условия этого брака. Фразы «полторы тысячи» и «перед венцом» занимали достаточную часть в его объяснении. Несмотря, однако, на видимую корысть, согласие было дано... Более всех радовалась бедная невеста, которая и не чаяла, как вырваться на божий свет. Она безмолвно благоговела перед своим женихом и из метрессы превратилась в покорное, любящее существо, готовое на всякую жертву.

— Голубчик! — с любовью шептала она, бродя вслед за Прохором Порфирычем по саду, куда капитан отправил их переговорить: — милый мой!..

Мой герой и здесь не уронил себя: видя в невесте неподдельную любовь, он постарался с своей стороны отплатить ей за это как можно благороднее. Для этого он вежливо задавал ей вопросы насчет того, — «не мешает ли, мол, вам табачный дым?», подхватывал упавший платок, подносил благовонный букет и среди всякого рода вежливостей не забывал присовокупить:

— Так уж сделайте милость, чтобы это было верно, — перед венцом-то!

РАСТЕРЯЕВСКИЕ ТИПЫ И СЦЕНЫ

1. БОЙЦЫ

I

Нестерпимо скучно становилось сидеть на подворье: на дворе стояла самая страшная послеполуденная жара, солнце било прямо в окно, из коридора тянуло в незатворявшуюся дверь самоварным дымом. Ко всему этому необходимо прибавить целые тучи мух, от которых, в буквальном смысле, не было «отбою», и непомерную тишину, повсюдное царство сна. Изредка на дворе погромыхивали бубенчики, кусались и взвизгивали лошади, и потом снова слышалось только жужжанье мух, опрометью проносящихся мимо уха. День вообще выдался отъявленный относительно скуки. Город не имеет ни окрестностей сколько-нибудь живописных, ни воды, ни лесу; камни-голыши да опаленные солнцем холмы. В довершение всех несчастий моих в этот день я не мог раздобыть ни одной книжонки, так как книжная лавка была заперта с утра, и когда отопрется — известно было только богу.

В такое-то скучное время вспомнил я одного мастерового, с которым познакомился, толкаясь в народе; он очень нравился мне своею понятливостию и знанием всей подноготной городка N. «Я, — говорил он мне, — понимаю все дела в существе, то есть вижу их настоящую тонкость», и действительно: надо отдать ему справедливость, иногда он видел довольно обстоятельно многие провинциальные неуклюжести. Семинаристы, с которыми он водил постоянные знакомства, снабжали его разного рода сочинениями и старинными журналами, вследствие чего талантливый приятель мой возымел желание зани-

маться сочинительством и не раз нашивал ко мне читать разные собственные произведения; в них изображались разные неправды, достойные обличения, сатиры на квартальных, обличение подлости цирюльника Ивана и проч. Впрочем, кроме произведений обличительных, было у него одно творение — исключительно художественное, носившее такое заглавие: «Злополучная Лиза, или что значит пойти против своей матери, и какие бывают подлецы. Сущая правда». Все эти произведения были нацарапаны на лоскутках бумаги, случайно попадавшихся ему под руку.

— Ничего не разберу! — читая собственные каракули, бормотал, краснея, Зайкин, — вчерась, и то насилу ночью урвался «пописаться...» От одной матери что крику было, — кажется, сохрани господи лихого татарина от этого оранья... Страсть!.. Кой-как царапал, да теперь вон и не разберу ничего... Это что такое? Пообе... Пообедав... ши. Э... э... э... Пообе... Что за дьявол!.. Тьфу! Ну ее!

Так иногда нам и не приходилось разобрать произведения.

К этому-то другу и приятелю моему и отправился я. Жара до того была смертоносна, что пот выступил мгновенно, словно от испуга или неожиданного обжога. Я старался пробираться в тени под заборами. Пока путь мой лежал в центре города, дело обходилось еще кое-как: иногда подвертывался большой купеческий забор с гвоздями наверху, иногда казенное здание, затоплявшее собственною тенью не только улицу, но и несколько близлежащих кварталов, так что вообще идти было сносно; но когда мои ноги с тротуаров и булыжных мостовых ступили на немощеную почву губернских закоулков, голова моя тотчас же поступила в полную власть смертоносного зноя: заборы и лачужки, лепившиеся по бокам улицы, были до того малы, что не могли дать ни крупицы тени. Глаза невольно закрывались, в висках и во лбу чувствовалась страшная тяжесть, и в моменты этого расслабления как-то особенно потрясающе действовал неистовый лай до невозможности соскучившихся собак, злые морды которых поминутно высовывались в разные прорехи заборов.

За маленькими заборами виднелись клоки травы, доедаемые теленком, привязанным веревкой к дереву, кро-

шечная баня с опрокинутой у двери корчагой золы, стул, еле держащийся на ногах и поставленный здесь по случаю приготовления варенья, о чем свидетельствует выжженный на земле круг. Посреди улиц, усеянных сапожными обрезками, железными выварками, стклянками и ворохами какой-то кухонной шелухи, ребятишки играли «в Севастополь», ради чего запускали друг в друга горстями песку и пыли, протирали глаза, ревели и бежали жаловаться... Из одних ворот выскочил какой-то пьяный мастеровой, босиком, в одной рубахе с оторванным воротником. Голова его была всклокочена и нос разбит до крови. Начались крик и брань на всю улицу; выскочили какие-то бабы, солдаты, тоже подгулявшие.

Остановившись у лачуги, в которой обитал Зайкин, я постучал в окно, состряпанное из кусков побуревших стекол, и скоро в окне показалась фигура девицы-мещанки в растерзанном платье. Рукою, обнаженною, благодаря разодранному рукаву, до самого плеча, она как-то испуганно отворила окошко и пискливо произнесла, предварительно вспыхнув:

— Кого вам?

— Гаврилу Иваныча.

— Ах-с... Гаврилу-с... Он сейчас... Ах, господи!

Девица переконфузилась и засовалась по комнате. Несмотря на грязь шеи, ушей и вообще всей физиономии, она зарделась, как маков цвет.

— Они сейчас идут.

Скоро отворилась калитка, и Зайкин предстал моим взорам весь мокрый...

— А, дорогие гости, — весело говорил он. — А я умываюсь... Жарко... Цыц! Пошел прочь! Шарик!.. Молчать!.. Пожалуйте-с. В сад не угодно ли?

— Пойдемте.

— Сделайте милость, я сейчас стульчик вам... Маша! Стул... Нет ли там стульев каких? Ай вы оглохли?..

— Да не суетись!

— Что такое, господи! Стулья у нас есть, сколько угодно... Маша! Поищи-кось там каких-нибудь стульев, покрепче какой... Все переломано!.. Пожалуйте пока в беседку... там того... тумбы этакие. Присядьте покуда.

Зайкин пустился за стульями и скоро притащил их целую пару.

— Орал, орал, а она, шельма, забилась в угол... боится, — бормотал он, расставляя стулья.

— Кто?

— Да Марья! Вот этот никак покрепче стул-то... Али этот? Нет, вот, вот! Прошу покорно!.. Такая дурашная девка... Совсем как очумелая. Мать-то уж оченно травленая баба, ну, и... Жильцы наши...

Зайкин был в рабочем фартуке. Поставив стул рядом с моим, он опустился на траву и прилег.

— Жара! —произнес он спустя немного.

— Да и скука...

— Ай вы скучаете?

— А что?

— Да как же? Чему вам-то скучать? У вас, кажется, первое удовольствие книга, лежи да почитывай.

— Книг-то нет. Лавка заперта.

— Да, да, да, я и забыл совсем. У них, у этих книжников, поминки сегодня... Бабка умерла. Так они поминают... так, так! Еще вчерась вечером в Гостевку (загородный трактир) на извозчике подрали. Теперь, должно, сутки через двои за дело возьмутся, пока не опомнятся... Так... так!..

Мы замолчали; в это время за забором послышался сердитый разговор.

— Подай лимон! — говорил мужской голос.

— Иван Петрович! Ну пойми же ты ради самого бога, что нету у меня лимону... — жалобно и робко отвечал женский голос.

— Жен-на! Я что говорю? Что я упомянул? Ты видишь, кто это?

Молчание.

— Это кто такое? Гость? Дорогой или нет? а? Для меня он дорог! Понимаешь ли это? Мы на одной доске... Понимаешь?.. Дорог мне!

— Да это, господи, кто ж про это...

— Ну и кончено!

— Мы их вполне уважаем и всегда...

— Н-ну и кончено! Что ж тут ломаться-то? Из-за чего тут куражиться-то? Понимаешь ты это или нет? Готов я ему отдать рубашку последнюю? Как ты полагаешь? Готов?

Молчание.

— В чем же дело? Из-за чего же ты клянчишь? Я тебя прошу об одном: принеси мне лимон, и — кончено! Следовательно, лимон и более ничего! Васька! Оборву, как шельму... Н-ну? и лимон! Маша! Понниммай!

— Грузен что-то секретарь-то, — умозаключил Зайкин, — должно, гостя-приятеля залучил... угощает...

Разговоры за забором на некоторое время прекратились.

— А вот что, Иван Петрович, — заговорил Зайкин, — скучно-то вам? Так не угодно ли вам от тоски от скуки на потеху одну поглядеть?

— Какую?

— На бой-с! Бои у нас кулачные бывают, так вот-с! Страсть что творится.

Предложение это мне пришлось «кстати», и я стал расспрашивать у Зайкина об этом предмете.

— Наши *п*-ские, — говорил он, — драку любят-с. Это у нас первое удовольствие. И летом и зимой у нас всё драки бывают-с, то есть для удовольствия... Зимой больше на реке дерутся — место ровное. Летом — тут недалечко, за семинарией. Опять тоже постом, в чистый понедельник, блины у нас вытрясают... В это время тоже драка у нас бывает крупная. Особливо баб любят трепать... иной случится, баба, которая, например, в тягостях, так что это такое бывает, помилуй бог!

— Как же эти бои устраиваются?

— То есть как устраиваются? Устраиваются они так, что... драка-с, кровопийство и более ничего.

— Нет, я про порядок говорю.

— Это-с! Да-да. Порядок у нас свой-с... Первое дело бойцы у нас есть, этакие особенные ловкачи... Н-ну, побьются об заклад — кто кого; которые заклад держат, сейчас они дают знать «в свою улицу» ребятам-с. Объявляют ребятам, так, мол, и так, в такой-то день... Ну и собираются. Как это вы не знаете, как «в улицу передают»? Это у нас первое дело: на смех ли поднять кого или новость какую любопытную, сейчас в улицу передаем. Это у нас вроде как почта. Как же-с! Опять песня новая в моду пойдет, — сейчас тоже в улицу, в свою. Ах бы, сударь, ежели б вы песенку одну написали про Сережку. Этакой шельма сибирная... Я бы сейчас бы в улицу. То-то смеху! А?

Я отказался от стихотворных работ и полюбопытствовал узнать, как появляются у них новые песни.

— Как то есть сочиняют? — переспросил Зайкин и продолжал: — у нас много сочиняют-с; у нас есть этакие свои авторы. Да-с. Вот у нас есть Протас, один музыкант, так он все стихами. То есть совершенно все, до последней буквы! И все у него самое первое удовольствие писать «прощанье с пьянством»! Прощай, дескать, косушка-матушка, и прочее и тому подобное... Напишет, да и напьется ту же минуту. Опять есть у нас один заводский чиновник тоже так-то, стихами все. А то, так вы не поверите, девица престарелая, в одном доме в услужении живет, — так уж вот сочиняет-то! До того, можно сказать, имеет дар, что, например, в кухне копошится, тарелки перемывает, да стихами, да стихами... Каково покажется? И главная у нее забота — себя описывает: все себя самое в смешных видах представляет, и преотличнохорошо представляет!.. Вот бы вам поглядеть!

Разговор возвратился к прерванной теме.

— У нас бой издавна, как же-с, — говорил Зайкин. — И бойцы в нашей стороне первейшие!.. По слухам-то так выходит, что нигде, почитай, этаких бойцов нету... Есть у нас один человек «соловьятник», соловьиную охоту держит и очень к ней привержен, так вот он сказывал, что, говорит: «где мне быть ни случалось, нигде, говорит, таких бойцов, как наши, не видывал: в Москве точно есть, ну а больше нигде нету». Вот-с как! А соловьятник-то этот много на своем веку видал, потому каждую весну он за соловьями по России пешком ходит; случалось так, что и за тыщу верст хаживал, ежели слухи бывали, что, мол, там-то, у такого-то купца соловьи первосортные... Так он чрез эти путешествия много на своем веку видывал народу, и до боев тоже охотник, однако же лучше наших бойцов нигде не находил, верное слово! Да у нас, что я вам скажу, у нас был один боец, почтальон, так он что же ?— кочерги эти гнуть, али бы деньги серебряные в трубку свертывать, это ему — тьфу! Он — издохнуть, не вру — человека с одного маху в гроб вгонял! И не то чтобы с подвохом каким... а честь-честью, по чистой совести: перво-наперво он показывал народу кулак, разжимает его, чтобы видели все — ничего нету, рука чистая! Опять то возьмите в расчет — в опасные места, примерно

в висок, он не бил, ни-ни! А бил он как следует, по правилу, по чистой совести, и с одного маху в гроб человека закатывал. Вот-с!.. И помер-то он, можно сказать, от своей силы. Пил он. И так надо сказать, что до помрачения он водку душил. Вот раз напился он до бесов, — стали ему демоны показываться и подмывают его будто на кулачки драться. Он и давай. Народ рассказывал: стоит, говорит, на улице, отдувается да что только есть силы-мочи руками размахивает... До того он махал, пока одну руку совсем из сустава не вымахал... С того и умер. Вот у нас какие есть бойцы!

— Ну и теперь тоже есть?

— Есть-с. Конечно, противу старинного времени драки потишели, ну все же есть бойцы знатные... Есть у нас один, Салищев, так это на удивление! Этот и почтальону не уступит... Си-ила! Страшенная! Э, да вы что! Мы пойдемте-кось с вами на бой-то, да и к Салищеву зайдем, посмотрите.

— Что ж, пойдемте.

— Ей-богу!

Разговоры наши тянулись довольно долго, но всё о предметах другого рода. Я не заметил, как прозвонили к вечерне, как мало-помалу спала жара и в воздухе повеяло прохладой. Выйдя на улицу, я нашел ее гораздо более оживленною: чиновники в форменных сюртуках и фуражках, в широких панталонах со складками и в разноцветных жилетах медленной, даже чересчур медленной поступью отправлялись с беременными женами на прогулку на кладбище. Пыль висела над городом, и солнце, уходившее за горизонт, затопило улицу во всю ее длину ярким, чересчур щедрым блеском. Тянуло в воду, купаться.

II

На другой день Зайкин, принарядившись в новую синюю чуйку, зашел ко мне на подворье, и скоро мы отправились сначала к Салищеву, а потом на бой. Всю дорогу, пока мы шли к лачужке Салищева, Зайкин воспевал его силу и невероятную доблесть. По его рассказам я представлял бойца каким-то Еросланом Лазаревичем,

с косую сажень в плечах. Вследствие этого я немало был изумлен, увидев длинную, сухую фигуру сапожника, с чахоточным румянцем и кашлем. Лицо его было зелено, руки худы, но необыкновенно жилисты. Мы застали его в разоренной и пустынной лачуге, омеблированной голыми и гнилыми стенами, мокроватым полом, с выпадавшими книзу половицами и с обрубком какого-то объемистого дерева, сидя на котором, Салищев торопливо тачал сапоги. Перед ним, на подоконнике, едва не касавшемся пола, стояли какие-то жестяные помадные крышки с разными специями кислейшего запаха, валялись сапожницкие ножи с трехугольным лезвием, обрезки кожи и проч. Больше в комнате ничего не было, и к тому ж она была чрезвычайно ветха. Появление наше, и в особенности мое, испугало и переконфузило Салищева, как ребенка. Зеленые щеки его вспыхнули, глаза забегали, и сам он как-то засовался, пожимая руку Зайкина своею черной дрожавшею рукою... Богатырь имел душу ребенка. Не успели мы войти, как он что-то забормотал и, съежив голову в сторону, юркнул было в сени.

— Куда, куда? — закричал ему Зайкин.

— Сичас...

— Ты это за водкой? Не нужно! не надо! Слышь! Не пьют...

— О-о?

— Не пьют! и я не буду!

Салищев воротился в комнату и еще раз проговорил:

— О? а по рюмочке?..

— Не будут, говорят тебе! Экой человек!.. Собирайся! Чай, пора...

— Теперь время! — бормотал боец, стараясь избегать чужих взглядов. — Эх, с сапожишками-то не поспел! Вчера еще приказному обещался, да...

— Загулял!

— Будет тебе!.. Эко!..

— Это песня известная. Много ли прогулял-то?

— Да что ты? при чужом человеке вздумал!.. Прогулял кольки там ни было... всё прогулял, — ухмыляясь, присовокупил боец.

— Собирайся-ко. Это дело-то складней будет.

— Без меня не начнут... А собираться-то чего же? Я и так...

— Неужто и прикрыться нечем?

— Эва! Нечем прикрыться! У меня прикрышка-то почище твоей!..

— Где это?

— В кабаке!.. — сказал Салищев и засмеялся!

— Ну, однако, в самом деле поторапливайся! — сказал Зайкин. — Нет ли чего на плечи накинуть? Что ж так-то?..

— Да есть, да...

— Курам в обиду? Тащи что есть...

Хозяин наш, не переставая улыбаться, медленно поплелся в сени и воротился с потупленным лицом, так как в руках его было что-то ужасное...

— Ах ты, холера этакая! — хлопнув ладонями о бедра, проговорил Зайкин.

Глядя на костюм, который, нехотя и не переставая хихикать, напяливал на себя Салищев, все мы не могли удержаться от улыбки. Наконец костюм был надет и оказался халатом с оторванной полой. Скоро к нему присоединилась другая часть туалета, старый картуз, вся ваточная часть которого скопилась у затылка и тянула весь экипаж картуза к шее; вследствие этого разодранный пополам козырек весьма напоминал руки, в ужасе воздетые к небу... Салищев запахивал рваный халат на груди, поправлял картуз, съезжавший поэтому на ухо, утирал рукавом нос и хихикал.

В таком виде вся наша компания выступила в поход.

Скоро мы были на месте боя. Дело происходило за городом, на лугу, поросшем мелкой травой. В ожидании боя большая часть публики столпилась у кабака, другая толкалась и бегала по лугу. Публика эта была самая разнообразная: мастеровые, солдаты, чиновная мелкота, семинаристы. Последние устроили на лугу игру в лапту, сняв предварительно сапоги и засучив панталоны выше колен. Удары палки о мяч и мяча в спины и ляжки играющих были до того увесисты и звучны, что их можно было с полною ясностью слышать у кабака, на холме.

Первым делом мы отправились к кабаку.

— Вот он! — радостно вскрикнул какой-то подмастерье в парусинном халате, высовываясь из кабака, и тотчас же юркнул назад. — Ребята! — слышалось из питейного здания, — Салищев, вот он! Ха-а-а!..

— Где о-о-оон? — гоготало множество голосов.
— О-го-го-о-о!! — добавило другое множество.
— Начинай!.. Готово!..
— Погоди! Ивана Абрамыча нету!
— Эко диво какое! Эй, становись в ранжир!..
— Постойте, братцы! — проговорил Салищев. — Надо Иван Абрамыча подождать.
— Коего чорта?
— Стой! Пойдем. Иван, поди, угощай!
— Ну вас к богу!
— Дубина!
— А Галкин здесь? — еще раз спросил Салищев.
— Давно, всё тебя поджидали... Галкин давно. Вся его команда тоже тут... Ты ему, Костя, скулу-то разожги.
— Как бы он нам не разжег! — начиная робеть, проговорил Салищев...
— Аво-сь! У нас в строю такие кутейники-дергачи, парочка припасена, ах! заводские...
— Ну, не очень-то! Это дело, брат, в руках божиих.
— Само собой... Все же ты его «тилисни» в полном смысле.
— Не загадывай! Сделай милость, не загадывай! — судорожно скорчивая лицо, говорил Салищев. — Ты меня этими загадками совсем обессилишь. Сказано, как бог!.. Да опять, коли Иван Абрамыч подойдет, а то так и пальцем не шевельну.

Зайкин разъяснил мне, что Салищев всякий раз чего-то робел и страшился перед битвой, несмотря на то, что всегда мог рассчитывать на победу.

Видимо, расстроенные нервы его, в ожидании роковой минуты боя, пришли в сильное напряжение; он перестал улыбаться, замолк, присел у кабацкого забора и, упорно вдумываясь во что-то, грыз ногти. Глаза его тревожно бегали из стороны в сторону и горели.

В ожидании Ивана Абрамовича, без которого, по уверению всех, дело никак сладиться не могло, мы с Зайкиным принуждены были довольствоваться сценами, происходившими в кабаке. Внимание наше обратила группа каких-то окровавленных людей, пьяных и еле вращающих языками. Все они столпились около какого-то господина в люстриновом пиджаке с засаленными бортами и лацканами, с опьяневшей сорокалетней физиономией,

кричали и чего-то требовали. Господин в пиджаке оказался стариком-учителем, считавшимся за человека необыкновенно умного и достойного всяческого уважения. Страсть к водке столкнула его с компаниею таких же недужных из простонародья и сделала их оракулом.

— Нет, ты разбери! — кричало несколько голосов.

— Капитон Петрович! он меня!.. Капитон Петрович, он меня занапрасно...

— Нет, врешь! Я говорю: кто первый?

— Стойте! стойте! — подымая руку кверху и возвышая голос до елико возможной степени, произнес господин в пиджаке, и шум понемногу затих... — Рассказывай ты!

— Капитон Петрович...

— Рассказывай т-ты! Дайте ему рассказать!..

— Изволишь видеть: сидим мы с портным вот здесь, вот... Портной-то из Орла, орловский... Только сидим мы, вдруг дверь отворяется и входит вот этот фитьфебель с собачкой... Вот он!

— Кто с собачкой?

— Мы-с! — кротко произносит фельдфебель, отирая кровавое лицо.

— Продолжай!..

— Пришел он этта и садится. Я портного угощаю; сидим смирно; только фитьфебель-то, вот он, во!.. только он и говорит: «Какую вы, говорит, имеете праву орловских портных угощать?..» — «Как, говорю, какую праву?» — «А так, говорит, что он орловской породы, так ему с вами, мошенниками, не якшаться»...

— Продол-лжай...

— «По какому же это, говорю, случаю нам не знаться?» — «А по такому, что вы известные мошенники... Такая ваша порода, ибо и кличка у нас — «орловцы проломанные головы» — тоже не очень-то подходящая статья». — «А вот лучше, говорю, извольте-ко ответить, на каком праве вы пса вонючего в горницу завели?» — «А это, говорит, мое дело!» Тогда я схватил этого пса-то, да, следовательно, псом-то этим по роже я его свиснул-с... В отместку он меня в глаз... И началось... Капитон Петрович, разбери нас!

— Капитон Петрович, — заговорило кругом множество голосов, — он меня ударил! Я ничуть ничего... Капитон Петрович!

— Стойте! молчать!..

— Они, орловцы, народ пустой.

— Молчать, говорю!

Толпа снова затихла и с большим терпением дожидалась слов своего учителя.

— Чья собака?

— Моя-с!

— Станови полштоф...

— Да помилуйте, — начал было фельдфебель.

— Станови!

Фельдфебель покорился; толпа зашумела от удовольствия. Оракул еще раз остановил ее.

— Я говорю — молчать! Кто первый дрался?

— Ударил первый точно что я-с...

— Станови и ты... Угощайте всех!

Толпа пришла в восторг; началась попойка. Через несколько времени оракул в люстриновом пиджаке сидел в углу, опустив голову на стол; против него почтительно помещался орловский портной.

— Пой же, чорт тебя побери! — путая языком и с сердцем топая ногой, кричал оракул.

Портной откашлянулся и начал фистулой:

М-мы спокойствие имеем,
Всё гуляем по горрамм...

— Глупо! очень-очень глупо! — бормотал оракул, пошевеливая головой. — Пра-адалжай!

В воскресенье мы говеем,
Не едим лишь по будням...

— Стой! Довольно! Поди, поцалуй меня!..

III

За несколько минут пред окончанием этой сцены суда в сенях кабака показалась фигура чиновника: это был Иван Абрамыч. Фигура эта была огромного роста, с отекшими щеками, раскрасневшимися и даже посинев-

шими от жары. Из-под соломенного состарившегося картуза, с черным пятном на козырьке, выглядывали две косицы, наподобие кабаньих клыков; разжиревший и отвисший подбородок окончательно распластывал потные воротнички коленкоровой манишки и толстым слоем лежал на аляповатом воротнике парусинной накидки, плотно застегнутой у шеи. Из-под этой накидки взорам наблюдателя выставлялись массивные руки с кольцом, въевшимся в жирный палец, палка с медным набалдашником, значительная выпуклость желудка, отсутствие жилета и присутствие широчайших панталон чуть не кисейного свойства, в широких концах которых прятались носки сапог. По рассказам Зайкина Иван Абрамыч служил в какой-то палате столоначальником и, несмотря на свое чиновническое звание, был смертельным любителем разного рода состязаний, которых в нашем городе N тьма-тьмущая; здесь, не говоря о боях людей, бывают бои гусей, петухов, соревнования голубями, соловьями, канарейками; все это составляет предметы споров, пари и иногда драк, так как все подобного рода дела суть достояние людей страстных и натур художественных, да к тому же и «из простого звания». Особенною симпатиею Ивана Абрамыча пользовались бои кулачные.

Он мог перечислить всех лучших бойцов лет за двенадцать поименно, мог припомнить наиболее громадные битвы и кровопролития. Словом, Иван Абрамыч был старожилом кулачных боев города N и совмещал в своей голове всю историю их. В настоящую пору он протежирует Салищеву, приписывая только себе возможность понимания этой удивительной натуры, которая имеет странную привычку дрожать и бледнеть не только перед дракой, но и перед курицей. Любопытно и омерзительно видеть, каким образом Иван Абрамыч откапывает в этой кроткой натуре зверские и буйные свойства.

При появлении его в горнице спор из-за собаки орловского портного затих. Иван Абрамыч, пыхтя и отдуваясь, прошел прямо к столу, тяжело опустился на стул, снял картуз и вытер совершенно лысый лоб и темя платком. Пока шло пыхтенье и оханье мецената боев, публика старалась сохранять тишину.

— Квасу! — хрипло проговорил Иван Абрамыч.

Явился квас.

— Да посвежее, черти! Что ты мне помои-то тычешь? Где Петр? Позови Петра...

— Здесь-с!

— Дай, братец, квасу... Чорт знает что такое! Со льдом, льду побольше! Поживей!

Петр исчез.

— Льду! — гаркнул ему вслед меценат.

— Да где же Коська?

— Он здеся-с! Константин! Салищев! Зовут! — высовывая голову в окно, крикнуло несколько человек.

Явился Салищев. Физиономия его была болезненно утомлена. Он неуклюже и робко поклонился своему патрону и стал у притолоки, повертывая в руках свою шапку.

— А-а! — отрывая губы от ковша с ледяным квасом, простонал Иван Абрамыч и снова впился в прохладительный напиток.

Наконец меценат оставил квас, крякнул, перевел дух и, после некоторого упорного молчания, проговорил:

— Кто твой супостат-то?

— Галкин-с, — ученическим тоном отвечал Салищев.

— А-а! Ну, что же ты, как думаешь?

— Да что же! дело божье!

— Справедливо!.. На враги же победу и одоление... Так!..

— Как бы его Галкин ноне не тово? — проговорил кто-то.

Салищев и меценат встрепенулись одинаково.

— Это еще почему?.. — сердито спросил последний.

— Да больно робок! ишь «прижукнулся»...

— Прижукнулся? Как тебя звать-то?

— Семеном-с.

— Дурак, брат, ты, Семен!.. Ничего ты не понимаешь! Все вы ни аза в Салищеве не понимаете, у него особый дух! Дубье стоеросовое! Прижукнулся!.. А вот мы тебе покажем, как он прижукнулся-то!.. Петр! Где Петр?

— Здесь-с! Я здесь-с, Иван Абрамыч...

— *Налей его!* — полушопотом прохрипел меценат, кивнув на Салищева...

Сии загадочные слова изображали собою только то, что целовальник обязан был «налить» Салищева водкой насколько возможно полнее.

При этих словах мецената Салищев кашлянул, отделился от притолоки и подошел к стойке.

— Дюже поздно, Иван Петрович! Надо бы поторапливаться, — говорили в толпе.

— Неужто? — почти с ужасом воскликнул меценат.

— Ей-богу-с! Шестой час на исходе...

— Так в таком разе, того... Ты, Петр, дай ему чего позабористее...

— Перцовки! — присоветовали в толпе.

— Во-во-во! Перцовки ему ввали!.. Чтобы поскорее разобрало... Так, так, так!.. Перцовки! Проворнее!

Во все это время Салищев был безропотен и покорен, как агнец, отдаваемый неизвестно по какому случаю на заклание. Не стану изображать, каким образом совершался процесс наливания Салищева. Больная грудь его, схваченная жгучей перцовкой, заколыхалась от удушья и кашля, которые, впрочем, скоро прошли. Несколько стаканов перцовки, выпитые один за другим, не произвели еще необходимого меценату ошаления...

— Под-дбавь! Я знаю... Подбавляй... Я вам покажу, как прижукнулся! Вот вы у меня и поглядите, что такое ваш Галкин...

— Галкин? — вдруг, одушевляясь, вскрикнул Салищев: — Галкин для меня — тьфу!

— Разбирает! — послышалось в толпе вместе с хихиканьем...

— Где это кутейники-то? — продолжал Салищев.

— Вот, вот они...

— Ну мы этим галчатам расщиплем перья!

Перцовка между тем делала свое дело. Руки Салищева, еще так недавно смиренно державшие картуз, начали засучиваться до локтя; показывались железные мускулы сухих и костлявых рук; кулаки для пробы опускались с полуразмаха на стойку, с которой, вследствие этого, кубарем слетали рюмки и опорожненные косушки, и голос Салищева, звонкий и резкий, покрывал голоса всех.

— Что же это, господа, докуда вы вожжаться будете? — сурово проговорил депутат галкинской партии, появляясь в дверях...

— Мы-то? Мы-то? — бессмысленно забормотал очумевший и озлившийся Салищев, обнажая руки.

— Мы-то докуда? А мы вот докуда... Мы...

И, стиснув зубы, он как бешеный ринулся вон из кабака.

Все заговорило, поднялось и хлынуло на луг; народ валил отовсюду.

Скоро из окна кабака видно было, как на лугу шла правильная потасовка. Отовсюду слышались крики, иногда стоны; жены старались оторвать мужей от этого зрелища и причитали, как над усопшими; начали попадаться бледные, окровавленные лица, раздавались вопли.



2. НУЖДА ПЕСЕНКИ ПОЕТ

Было блестящее летнее утро.

По случаю праздника в церквах шел громкий звон, среди которого особенно ярко выдавались веские и тягучие удары соборного колокола; на улице, куда выходили окна моего нумера, по обоим тротуарам валил народ, мещане в новых синих чуйках, в новых картузах с сверкавшими козырьками и в блиставших на солнце сапогах с бураками; чиновники с женами в «фильдекосовых» перчатках, и проч. Общее оживление праздничного дня пополнялось суматохой, происходившей посреди улицы: здесь опрометью мчались порожняки с подгулявшими мужиками и расфранченными бабами; шло хлестанье лошадей, слышалась брань, скрип колес, изнемогавших под тяжестию громадного воза сена, слышалось мычанье теленка с прикрученной к телеге головой...

Я сидел на подоконнике раскрытого окна, любуясь этой утренней суматохой. На столе у меня кипел самовар. В эту минуту дверь в мою комнату слегка приотворилась, и вслед за тем высунулась рука с бумагой, сложенной в форме прошения. Я только что хотел было встать, чтобы рассмотреть таинственного обладателя таинственной руки, как в коридоре раздался строгий голос коридорного, дверь захлопнулась, и рука исчезла.

— Куда прешь? Куда прешь-то? — бушевал коридорный... — Нет у тебя языка спроситься?

— Будьте так добры, извините! — кротко говорил неизвестный посетитель.

— Видишь, никого нету, а прешь?.. Вашего брата здесь много шатается... Вон столовые ложки пропали...

— Помилуйте-с! Мы не воры! Сохрани бог!..

— Ну этого нам разбирать некогда — вор ты или нет, — сердито говорил коридорный, поплевывая на сапог и шаркая по нем щеткой. — Нам этого, — продолжал он, — разбирать не время... У нас вон двенадцать нумеров в одной половине. Всякому принеси самовар да сапоги вычисти. У нас этого, брат...

— Доложите по крайности. Сделайте вашу милость!

— Так-то!.. У нас этого нет, чтобы... А то прет незнамо куда. У нас благородные останавливаются... На каждой соринке взыскивают... День-деньской как лошадь, прости господи, ни тебе уснуть, ни тебе...

— Ива-а-ан! — закричали на дворе.

— Тьфу, чтоб вам! Расхватывает же их, чертей!

— Ива-а-ан! Ты оглох?..

— Сей-час! О-о, чтоб вас разорвало!.. Сей-ча-ас-с!.. Давай бумагу-то! — швырнув сапог в угол, заключил Иван и торопливо вошел в мой нумер.

— Вон бумагу принес, — сказал он, сунув ее в мои руки. — Почитайте-кось... Надо быть, на бедность просит... А ты, любезный, — говорил он в коридоре, — ты в другой раз сказывайся... Нам этого нельзя... Шут тебя знает, кто ты такой? Сейча-ас! — ответил он на голос со двора и бросился по коридору.

Я развернул бумагу и прочитал следующее:

«Господин Иванов, пиро- и гидро-техник, на короткое время прибывший в г. N, честь имеет доложить высокопочтеннейшей публике, что имея искусство в египетской, арабской, ефиопской, индейской, халдейской и других магиях и состоящей из новых фантастических опытов и призраков тайной и натуральной увеселительной магии, что давая оные представления в высокоблагородных домах, по весьма умеренным ценам, с аппаратами и без аппаратов, попури из мира чудес, каббалистика и чревоувещевание по весьма сходным ценам; также индийское ескамотирование, гирлянда роз, невозможность в действии, обезглавление головы, носа и других частей тела, и проч., и проч., и проч...»

В конце было прибавлено: «льстя себя надеждой», и красовалась подпись: «Пиро-гидро-техник Капитон Иванов. Сего числа...»

Фокусов в подобном роде было насчитано очень много, и мне очень захотелось поскорее и покороче познакомиться с их автором; кроме того, мне было весьма интересно видеть соотечественника, подымающегося *на такие штуки,* просто как бедняка и, следовательно, человека несчастного, много видевшего на своем веку, и, наконец, потому даже, что этого Капитона Иванова можно просто усадить на диван и напоить его, беднягу, чаем...

Я так и сделал. Капитон Иванов, робко и поминутно раскланиваясь, вошел в мою комнату. Таинственный маг весьма походил на мещанина, о чем главным образом свидетельствовала серебряная сережка в ухе; лицо его не носило ни одной черты той плутоватости и даже подловатости, которая непременно оттеняет физиономии всех магов, начиная от известного волшебника и мага Кречинского вплоть до воришек копеечных, с одной стороны, и вплоть до воришек сотенных — с другой. У всех их, при самой мастерской игре физиономии, всегда можно приметить в глазах что-то такое, что заставляет думать: «нет, врешь, брат!» У господина же Иванова, кроме высокой кротости и робости, я ничего не заметил в глазах. Чародей был маленькая фигурка с птицевидною физиономией и клинообразным лбом, на который поминутно свешивалась прядь намасленных, ради праздника, волос. Костюм, состоявший из сюртука, застегнутого на все пуговицы, и синих панталон, засунутых в сапоги, не говорил в пользу его благосостояния. Робость, проглядывавшая в глазах мага, скоро совершенно овладела им, когда я предложил ему сесть и выпить стакан чаю. Он взял стакан и поместился с ним у двери. Стоило громадных усилий, чтобы, наконец, усадить его. Кое-как, после продолжительных увещаний, он согласился и сел на кончик стула. Во все это время он не забывал покашливать, закрывая рот рукою, и поминутно потрогивал шею, запихивая за галстук махры истерзанных воротничков.

Надо было о чем-нибудь говорить.

— Давно вы занимаетесь этим?.. — сказал я, не зная, как назвать его профессию.

— Да уж более, пожалуй, пятнадцати лет, — покашливая и потрогивая шею, заговорил маг... — Д-да-с! Пожалуй, что поболе пятнадцати-то годов будет, все этим же мастерством-с продолжаю... Плохое, вашскобродие, наше занятие-с! В прежнее время точно что... Ну, а теперь!..

Гость остановился, тряхнул головой.

— Теперь, вашскобродие, тихо-с!.. И даже так тихо, что вот как-с, — хуже нет! Да что ни возьмите, ведь и повсюду так-с. Тишина бедовая.

Иванов поднес ко рту полное блюдечко, откусил маленький кусок сахару, отряхнул его над чаем, хлебнул и заговорил:

— В прежнее время-с! В прежнее время, бывало, господа, которые случатся приезжающие или хоть и из жителей здешних, в прежнее-то время они вот как: «Сделай милость!», «С великим удовольствием!..» Да что ему? Он швырнет ассигнацию, и получай... Рубль ли, два ли, ему это и внимания не стоит... Ну, а уже теперь... тихо! Теперь, я так считаю, господам много дано забот-с! Хлопоты-с! все надо «самим» расчесть: в кое место! В теперешнее время посовестишься и рожу-то свою к господам совать: стыд! Ежели вот теперь я к вашей милости достиг, то уж истинно — вот куда подошло! Ей-ей-с!

Гость мой вздохнул.

— Н-нет-с! Это не то-с! В прежнее-то время, я так замечаю, было веселее... Всякий желал, чтобы где как приятнее. Купец ли, дворянин ли, чиновник ли, все он нюхает, где бы увеселения, то есть, докопаться... Бывало, зайдешь в лавку, купцы промежду себя балуются, кто в шашки, а кто простым манером, ногу за ноги заплетут — да обземь! Увидят меня: «А! шушвара, дескать, египетская (обыкновенно в шутку), показывай живо!..» В те поры услышишь это-то, да, бывало, еще заломаешься!.. Потому твое не уйдет: купцы эти без тебя на вожжах перевешаются от скуки. Всю эту историю понимаешь и, бывало, еще заломаешься. «Показать мы можем, да ведь, господа, разному показанью разная цена!..» — «Показывай, кричат, лучшева!» А я, бывало, опять: «Лучшева! и этого, скажешь, можно, да опять и то надо знать, какой сорт; есть, говорю, одно, есть и другое, а есть еще, говорю,

и такое, что уж лучше его нету!» — «Этого, кричат, самого! Какого нет опасней! Делай! Помудреней!..» — «Не будет ли, скажешь, господа, накладно? Пять серебра, менее не беру!..» — «Делай!» кричат: ну и делаешь.

Я налил гостю другой стакан чаю; он подвинул его к себе, вытер ладонью запотелый лоб и спрятал за ухо свесившуюся прядь волос.

— Бывало, — продолжал он, — какое ото всех почтение! Истинно говорю, умереть — не лгу, идешь, бывало, по улице-то, — только шапку сымаешь, только сымаешь: «А! Иванов! Капитоша! зайди, долбони рюмочку!» — «Эй! друг! сделай штучку. . .» — «Что дашь?» — «Что угодно!» Ей-ей-с! Иные и господа, а обращались в лучшем виде... У купца у Псунова у одного сколько я денег перебрал, кажется, сметы нет!.. В прежнее время у него в доме — Садом-Гамор: турок ли, арап ли какой, панорамщик, всякий, всякий к нему шел... И что только творилось!.. Музыканты играют, обезьяны ученые скачут, кто на флейте, кто на кларнете, кто фокусы показывает, кто колесом ходит, — ну, то есть, столпотворение было!.. А Псунов-то этот лежит, бывало, в одной рубахе на диване, только покрикивает: «Эй, ребята, проворней!» И я тут же толкусь... Нет-нет и на мою ладонь что-нибудь капнет, — все дай сюда! Все ребятишкам...

— Вы женаты? — спросил я.

— Как же-с! — сказал гость, и, к удивлению моему, сказал как бы даже с удовольствием. — Как же-с, уж у меня, слава богу, старшему сыну четырнадцатый год, как же-с! Слава богу... Изволили читать бумагу-то? Афишку мою? Все он-с!.. И преотличнейший почерк!.. Да-с, благодарен за это! Одно только и утешение, что семья... По крайности за нее отбиваешься... Ну и жена, дай бог ей здоровья, любит меня... Д-да! И даже так любит, что — на редкость!.. Собили [1] было мне невесту и с деньгами и из чиновничьего звания, да подумал-подумал я, что я с ней, с благородной-то, буду делать? Думаю — бог с ними и с деньгами!.. Взял простенькую, сироту, и слава тебе, господи, благодарю моего бога, живем дружно... Да опять, всегда уж у меня дома горшок щей-то найдется, с голоду не умру. . . «Когда же это, говорит,

---

[1] Сватали.

Капитоша, мы с тобой разбогатеем?» — «А вот, говорю, погоди... Скоро» (Рассказчик усмехнулся и прибавил:) Да ведь что будешь делать-то? Откуда взять? Ну, и посмеемся, пошутим с горя-то!.. И какое ей, то есть супруге-то, господь дал терпение, — ей-ей! Теперь вы возьмите наше житье: вот эдакую конурку мы вчетвером занимаем; стряпущей печки у нас нету, лежанка; понадобится иной раз что-нибудь съедобное, идем просить хозяйку: «Позвольте, дескать, нам горшочек в вашей печи поставить...» Так они, хозяева-то, жену мою — уж они ее! И «нищая!» и «когда вы передохнете; вы, говорит, с дьяволом знакомы...» Та все молчит. Только от хозяев нам и название одно: «трубалеты». Девчонки у них, у хозяев то есть, так и тех разным словам научают... Идет сын мой, а они ему: «трубалет, трубалет!» Жена моя подзывает его и говорит: «А ты ей скажи...» Он и скажи!.. «Ты трубалет!» А сын-то: «А ты», говорит... Прибежали хозяева — ва-ай-на! «Как вы смеете таким пакостным словам детей учить? Долой из нашего дому!..» А долой — так долой!

Гость мой вздохнул.

— И съехали!.. Да нешто в первый раз?.. Ну, а как же, позвольте вас спросить, неужто ж за свое кровное-то не заступиться? Ведь это вон и животная какая-нибудь — и та любит свое нарождение? А уж мы-то с женой сами не едим, да им даем!..

«И-и, да сколько я защиты от супруги моей видел, кажется, и пересказать нельзя! Только за ее сердцем и живу. И что только не перемучилась она! Однажды, помню об рождестве, объявляют набор... Военное время было в те поры, на военном положении. Я этого ничего не знаю; приглашают меня к купцу Тюрину — вечерок увеселить. Перекрестился, поблагодарил бога, пошел к нему. Все благополучно. Играю я, так-то, фокусы; очень мною господа довольны, хозяин два рубля серебром дали. Я ничего не знаю, продолжаю свое дело, только подходит ко мне господин Премудров, чиновник. «А тебя, говорит, Капитон, ведь в солдаты...» — «Как так?» говорю... Задрожал я весь, себя не помню. «Я, говорю, вашескородие, одиночка». — «Общество, говорит, определило...» Помутилось у меня в глазах, хочу-хочу фокус показать, пальцы окоченели, язык как палка, ничего

не могу! Принужден я объявить: «Так и так, говорю, почтеннейшие господа, не могу далее продолжать. Прошу вас, будьте так добры, извините... По болезни...» Собрал кой-какую механику (это для фокусов надобна она), собрал механику, бегу домой... Рассказал жене. Плачем мы, горюем: как быть, куда деться? Надумали мы к ее брату сходить; говорим, так и так. Жена в ноги. Я за ней. «Надо нам, говорю, братец, охотника нанять: я жену оставить не могу. Женщина больная, без мужчины ей быть трудно». Начал брат думать; думали, думали, придумали дом заложить. Прошло времени дни с два. Из управы прислан будочник: требуют через полицию в губернское правление... Пошел я тут к одному знакомому попросить: нельзя ли какое-нибудь пособие оказать? Знакомые купцы говорят: «Не робей, Иванов, выкупим! Пущай, говорят, тебя и забреют, все же тем временем ты подыскивай охотника, мы его окупим; что будет больше сотни — наше!» Порешили мы с жениным братом к закладчику ехать; надо ж на первое-то время, пока с охотником сладить, хоть сколько-нибудь капиталу. Да опять и сто серебром надобно раздобыть. Порешили мы с ним ехать, а денег-то на дорогу ни у него, ни у меня нету. А ехать надо было за четырнадцать верст, в Засеку. Засечный сторож под залог денег дать обещался... Ехать, ехать, — а ехать не с чем. Сейчас жена — самовар по боку, приносит три серебра, зелененькую... Наняли мужика, поехали. К вечеру добрались к закладчику, начинаем разговор: «Так и так, говорит брат, не возьмете ли дом под залог? Дом новый, всего десятый год строен». — «Надо, говорит, поглядеть». — «Да помилуйте, говорит брат, вот купчая здесь, говорит, и прописано, в котором году, и в планте сказано... А ехать ежели угодно, то и ехать можно, только нельзя ли нам сколько-нибудь под залог этого планту и купчей?.. Нам, говорит, завтрашнего числа в присутствие к приему надо, так потребуются деньги...» — «Нет, говорит, надо посмотреть... Я так отроду под бумагу денег не давал»...

«Что ты будешь делать? Поехали обратно. Назавтра мне и лоб забрили! Прихожу домой некрутом! Ах, ваш-скобрсдие, как в то время сердце мое разрывалось!.. Верите ли?.. Н-но, думаю, все бог! Пошел к этим купцам, что помочь-то собирались мне дать, пошел к ним.

«Вот, говорю, господа купцы, каков я стал!.. — на солдатскую шинель указываю... — Неужто ж не будет у вас никакой защиты?» — «Будет, будет, говорят, Иванов: ищи охотника...» Стала жена рыскать — охотника искать. Я тем временем уж и на перекличку начал ходить и артикул солдатский справлял; приду, бывало, под вечер домой-то, верите ли, как сердце замрет: поглядишь кругом — бедность, а жил бы, не расстался!.. Ей-ей! Подходит время к походу, две недели сроку осталось, подходит время из дому уходить, а охотника нет как нет!.. Наконец того — подыскали! Дешевисть необыкновенная: три дня гулять и пятьдесят серебра при походе... Пошел к этим купцам знакомым, прихожу к одному, говорю: «Нашел охотника!.. Не будет ли от вашей милости, что пообещали?» — «Изволь!» говорит и подает красную... Я говорю: «Что ж это такое? Я, говорю, на одно гулянье сто-то серебром должен исхарчить, где ж, говорю, вашскобродие, еще-то добуду?.. Ведь не сегодня-завтра поход!» — «Толкнись, говорит, друг, к другим!..» Пошел я к другим: у одного «деньги не дома»; другой говорит: «я думал, говорит, месяца через два»; третий просит: «подожди!» Нет мне ниоткуда пособия!.. Были десять целковых: охотник пристает с гуляньем, истратил их до копеечки! Где-то, уж господь его знает, женин брат — дай ему господи много лет здравствовать и всякого ему от бога благополучия! — где-то раздобыл он сотенную; сейчас мы охотнику пятьдесят по уговору, и три дня с ним гуляли... И какая у нас с женой радость была в ту пору!.. Радовались мы так-то, однако же подходит время охотника к приему вести, а он и глазом не моргнет. «Как это так? Ты, говорю, деньги взял, уговор был охотой.. За это, говорю, и начальство вступится. Силой возьмут да представят в присутствие...» — «Ну это, говорит, навряд!.. Меня, говорит, и по закону в охотники нанимать нельзя: я дьячок! С семейством! У меня семья!.. За меня ты, говорит, сам еще тысячу раз в солдаты пойдешь!..» Стали у чиновников спрашивать — так и есть, нельзя! А подошло время, через два дни поход... Царь небесный! Ревем мы с бабой, как ребята малые: чисто-начисто пропадать приходится... И что ж, вы думаете, вышло? На другой день к вечеру, накануне, значит, быть походу, стало мне легче! Ведь вот чудо-то какое!

Легче, легче, и совсем повеселел! «Маша, говорю, сём[1] я к господину откупщику схожу, фокусов сыграть, и может быть, между прочим, господь мне поможет...» Дело было на масленицу; надеваю я, для забавы, турецкое чалмо и этакой балахон — туркой наряжаюсь. Смотрит на меня супруга и говорит: «Сём, говорит, Иваныч, я и себе чалмо надену? Может быть, говорит, господин откупщик сжалятся над нами, когда увидят, что муж и жена одним мастерством живут; может, он и не захочет нас, говорит, разлучить!..» — «Матушка моя, говорю: ты в таком таперича положении (она в то время в этаком положении была-с), ты, говорю, в таком положении, для чего тебе натруждать себя?..» — «Ну, говорит, за одно! Либо, говорит, жизнь, либо смерть!..» Надевает она на себя чалмо турецкое, шаль (платок этакой, ковровой-с), шаль эту через плечо, по-цыгански. Пошли!.. Идем, идем, да заплачем оба, в чалмах-то этих! Идут люди, глядят на нас и говорят: «С чего это два турки плачут?» Приходим к откупщику. «Как об вас доложить?» — «Иванов, говорю, с супругой!..» — «Принять!» Входим мы в залу, гости... Страсть гостей!.. Откупщика, Радивон Игнатьича, я знал, и он меня тоже знавал... «А, говорит, ну, делай!» Начинаю я делать фокусы, сердце так и стучит: завтра в солдаты!.. Делаю фокусы, господа смеются, довольны. «А это кто же с тобой?» Радивон-то Игнатьич говорит. «А это-с, говорю, жена моя, супруга...» — «Что же, говорит, и она по этой части может?..» Я молчу. «Можете вы, душенька?» (У жены спрашивает...) «Могу-с», говорит... (Вижу, бе-елая вся!) «Так пройдитесь, говорит, „По улице мостовой"». Маша сейчас голову книзу, руки над головой согнула и поплыла... Да ведь как-с! Откуда это взялось!.. Барышня по фортопьянам ударила, а она плывет, извивается... Ах, замерло у меня сердце! Тут начали господа трепать в ладоши. «Преотлично, кричат, превосходно! еще! еще!..» А она и еще того лучше... Не удержался я: так у меня слезы-то полились, полились, кап, кап... Радивон Игнатьич кричит: «Это что? на масленице-то? У меня в доме?..» Я в ноги! Маша где плясала, тут на колени и повалилась! «Что-что? как-как?» Рассказали мы. «Одна надежда на

---

[1] «Сём я» — то есть: «Ну-ко я», или: «А что если» и т. д.

вашу милость!.. Завтра на войну... жена... дети». — «Не робей, говорит. Вот тебе...» И выносит двести серебром! «Поминай на молитве».

«Чуть я в то время с ума не сошел... Бежим по улице ровно угорелые... Люди идут. «Вон, говорят, турки побежали. Эко у нас, ребята, турок развелось тьма-тьмущая... Это, говорят, пленные!» (А это мы с супругой весь город обегали!) Бежим, земли не слышим... История было случилась на дороге, в другой раз в полицию бы потащил, а тут только шибче побег!»

— Какая история? — спросил я.

— Да так-с, свинство, необразованность... Бежим это мы с женой, как я вам докладывал. Попадаются двое пьяных, прямо против нас уставились. Один подходит ко мне. «В каком вы, говорит, праве турецкие чалмы носите?..» Я ему шуткой в ответ: «А потому, говорю, как мы турецкого наречия». — «А в какой вы, говорит, земле находитесь, в православной или в какой?» — «Мы, говорю, здесь пленные». — «А когда, говорит, вы наши пленные, то...» Да с этими словами ка-а-к!.. вот в эту самую кость! (Гость показал на собственный висок.) Мы с женой во всю мочь! Ну, вот-с и все! Тем и пошабашили!.. А на другой день и вольник подвернулся, мигом сдали...

Гость потер скомканным ситцевым платком собственный нос и, запихнув платок в боковой карман, продолжал:

— Вот-с так и живем! Только через семью и дышу... И точно: не оставляет господь! В холере был — жив остался. В солдаты было взяли, нашлись добрые люди — выкупили. Слава богу! Не пожалуюсь! Благодарю! И теперь уж на что время, сами знаете какое!.. а живу! сыт! Что дальше, богу известно. А пока ничего, слава богу и за это! А что, вашескородие, вижу я у вас на окне посуду одну... Сём я ее трону маленечко?

Я изъявил полное согласие. Гость мой выпил стакан вина, отер рукавом губы и сел на прежнее место.

— Нет-с, трудно, трудно нашему брату в теперешнюю пору... Ой, тяжело!..

— Отчего ж вы, — спросил я, — выбрали такое занятие, фокусы?..

— Да ведь выберешь и не такое, коли сюда подойдет (гость указал на горло): родители-то наши об нас не думали, когда на свет нарождали. Но я не ропщу! Видит бог!.. Маменька тоже и свою чистоту должна соблюдать... Извольте видеть, как было: маменька-то были девицы... А у них на квартире семинаристы жили... Вот один был, Иваном звали... Через все это и вышел Капитон Иваныч... Изволите понимать? Ну-с, так вот они меня и отдали на воспитание в чужие люди. Помню, десяти годов я был, мать меня от чужих взяли и к себе в дом поместили... И жалко-то ей и опасно. В ту пору за нее жених сватался. Ну и неловко. Призовет, бывало, меня с улицы, хочет азбуке поучить, скажет: «аз, буки». А калитка стук, — жених идет... Меня вон. «Спрячься на погребицу...» И сидишь. Да не один жених мешал: чуть кто-нибудь и из своих ежели случится, всё опасаются и вон посылают... Вижу и горько-то ей, и не можешь никак пособить... Раз гостила у нас полгода тетка матушкина, так меня целые полгода изо двора во двор гоняли. Как видишь стемнело, — домой; а матушка уж в саду у забора дожидается и еду принесла. Ем я, а она стоит да заливается, а потом уложит в бане спать, перекрестит, посидит еще, поплачет и пойдет... А чуть свет — я опять драла; где-где не шатаюсь! Вот тут-то я и в искусство начал входить... Настоящей науки-то, то есть читать-писать, не имел, мастерства никакого не знал, а во всем нуждался. Вот я и решил по волшебному мастерству пойти... А тут маменька вскорости замуж вышла, ну уж тут мне надо было совсем прочь уходить; вот я и стал со всякими проезжающими артистами знакомства заводить. Стал примечать... Они меня куда-нибудь пошлют, я заместо того прошу секрет мне растолковать. Вот так и началось... По первому-то началу трудно мне было. Разговор у этих, у иностранцев, чудной, ничего не разберешь. Ну, а потом стал привыкать, помаленьку да помаленьку, да теперь и достиг... С кем вам будет угодно могу разговаривать. Немец ли, француз ли, арап ли...

— С арапом-то как же?

— С арапом-то? Да как же с ними говорить?.. говоришь обыкновенно уж кой-как, как-нибудь там разговариваешь: гара-дара, кара-бара, ну он и понимает... «А что, скажешь, сём мы по рюмочке кольнем?» — «Бара-

бара!» Ну и выпьем... все едино! И можно даже сказать, что в нашей земле эти разные языки ничего не стоят; ежели в нашу сторону попал, то свой язык должен прекратить. Потому у нас первое дело — начальство: ты ему хоть по-каковски рассуждай, а прошение пиши по-нашему — на гербовой бумаге. Это раз. И опять же Иван Филиппычу два с полтиной ты отдай. На каком языке ни лопочи, а уж он с тебя стребует; у него разбору нет — арап ты или же ты наш православный. Цена одна для всех. Так-то-с!

Рассказчик на время приостановился.

— Так, докладываю вам, — продолжал он, вздохнув, — так вот я от дому поотбился... На семнадцатом годике начал я в первый раз от себя представления давать; через два года женился. Да так и живу! У маменьки-то теперь уже дочери замужние — за благородных выдала двух, третья, девушка, при ней... Один сын в Санктпетербурге, в военной службе, офицер. Кое-когда слухи доходят; к маменьке иной раз зайдешь с заднего крыльца: пирога вынесет, поцелует в лоб, заплачет и скажет — «ступай!» Сестры-то и знают, кто я, но виду не показывают. И я на это не обижаюсь, истинным богом говорю. Кто я? Сказано: «непетый кулич никто есть не станет», так и я... Ежели они со мной перед людьми знакомство выкажут, тотчас же мораль об них пойдет. Лучше же я их оставлю. Дай им, господи, всякого благополучия! Сказывали уж и за младшей жених присватывался, дай ей бог!.. Истинно — от души! И родителя тоже редко вижу. (Давно уж в камилавке!) Издали только голову качнет, когда видит, что я ему кланяюсь... Чует мое сердце, хочется ему мне словечко сказать, ну, да сан ему не дозволяет. Так я вот все один с семьей и треплюсь! Однажды только военный-то брат, что в Санктпетербурге, забежал ко мне... Уж истинно осчастливил; как же-с, сами посудите, благородный человек, и разыскивал меня по всему городу!.. Только и это дело у нас не поладилось. Обрадовался я ему и послал тихонько за водкой. Надо же чем-нибудь человека принять!

«Сидим мы с ним в саду, толкуем. «Позвольте, говорю, жену я вам свою покажу?..» — «Я ее, говорит, видеть не могу... Она погубила тебя... Ты опустился, упал. Я, говорит, и шел за тем, чтобы тебе это сказать... Ты

должен, говорит, бросить жену... ты самородок, она дубина!» Я руками и ногами. А в это время — несут водку. Братец мой осерчал, и весьма осерчал... «Ты, говорит, пьяница! Я хотел, говорит, тебя поднять, а ты свинья...»— «Помилуйте, говорю, братец! Верьте богу, истинно от души!» — «Нет, нет, говорит, я вижу... Это в вас самих, говорит, сидит подлость-то! Хочешь разъяснить ему, а он водку!.. Свинья!..» — «Да, братец», говорю... «Нет, ты просто, говорит, свинья, свинья и свинья... До свиданья! Прощай!» Хлопнул калиткой — и был таков.

«Так я больше никого и не видал из родных у себя... Точно, грустно иной раз бывает, всеми оставлен, ну, да зато жена, дай ей бог...»

Через несколько минут, стоя у окна, я видел, как господин Иванов плелся по тротуару. Шел он тихо, заглядывая во внутренность лавок, и остановился у дверей фруктового магазина. Я видел, как лысый купец взял у него из рук бумагу, посмотрел и опять возвратил, махнув рукой. Иванов вежливо раскланялся и поплелся дальше.

3. ИДИЛЛИЯ

(Из чиновничьего быта)

Была осень. По небу бродили сероватые тучи и медленно сыпали на мокрую и грязную землю хлопья рыхлого снега.

У растворенных ворот одного небольшого домика в три окна стояло два чиновника, держа друг друга за руки.

— А то зайдемте, Семен Кузьмич, — говорил один из них, в старой шинели, надетой в рукава, с отвисшей из-под капюшона коленкоровой подкладкой.

— Да уж заходить ли? — в раздумье проговорил другой.

— Что там! эва! Заходите — да и только. Право, по одной пропустить истинно приятно!

— Разве по одной?

— Ей-богу; у меня есть этакая особенная... Пойдемте-ко!

— Ну-ну так и быть уж!

И они пошли.

Скоро они вошли в небольшую комнатку. В углу горела лампадка перед образом в большом красном киоте, на котором до самого потолка громоздились просфоры в бумажках, расписанные яйца и другие подобные предметы. По полу расстилались чистые половики, у стен чинно разместилось несколько старых кресел с круглыми спинками.

— Прошу покорно! — сказал хозяин и, наскоро сотворив крестное знамение, направился в чайную.

В это время в соседней комнате на столе кипел самовар. Старшая дочь хозяина, девушка лет семнадцати,



разливала чай; мать ее, старушка, сидела тут же. На пороге показался отец.

— Ты с кем это? — спросила жена.

— С Семеном Кузьмичом. Чайку нам дайте да свечу! Поскорее!.. Эй ты, Марфа! — крикнул он горничной, — свечу неси.

— Сейчас принесет, — проговорила жена. — Что это долго так нынче? — прибавила она.

— Да, таки долговато... Ирмосы тянули-тянули. Я думал, и конца не будет...

Проговорив это, муж хотел было удалиться, но какая-то тайна, очевидно, мучила его. Нерешительно подвигаясь к двери, он потирал кулаком спину и необыкновенно тихо заговорил:

— Поясница что-то...

— Опять, небось, распахнулся на паперти?

— Нет... О-ох!.. Как ломит! О-ой!.. Ты бы нам дала по рюмочке, да закусить чего-нибудь.

— Пошли закусочки! — отчаянно произнесла жена.

— Ну что закусочки? Мелет, не знает что!

— Нет, знаю!..

— А ты, сделай милость, молчи... Во сто тысяч раз лучше это будет.

— Что молчи-то? И так все молчу. Совсем дурашная какая-то стала.

— И была-то не больно — тово! Дура дурой и была-то! — бесцеремонно заметил супруг и вошел в залу, аккуратно притворив за собою дверь.

Гость молчал. Молчал и хозяин.

— Намедни у Еноховых «вечную кликали», — наконец проговорил гость.

— А! Сорокоуст? — спросил хозяин.

— Сорокоуст-с.

— Это когда?

— Третьего дня.

— Да-да-да. А мы с Емельяном Иванычем были у Селезневых на перепутье.

— Что же, как? — с любопытством спросил гость.

— Хорошо. Признаться, до такой степени, что именно — еле-еле...

— Хе-хе-хе-хе.

— Никольский, Егор Егорыч, знаете? так тот все просил, чтоб его в колодезь опустили в бадье.

— Зачем же?

— Уж и, ей-богу, даже совершенно не могу вам определить этого...

Хозяин и гость дружно засмеялись.

Из соседней комнаты показалась горничная с подносом, на котором помещались графин водки и тарелка с кусками белого хлеба. Приятели выпили.

В это время в передней застучал кто-то калошами и хлопнул дверью.

— Кто там? — спросил хозяин.

— Это я-с!

— А-а!

— Кто это-с? — полюбопытствовал гость.

— Сын мой.

Гость оправился.

Вошел молодой человек, лет под тридцать, с примасленными волосами и лоснившимся лицом, выражавшим высокое смирение.

— Где был? — спросил отец.

— В Крестовой-с, — подходя к родительской ручке и потом свидетельствуя почтение гостю, произнес сынок.

— Садись-ко!

— Сяду-с.

— Водки хочешь?

— Не пью-с.

— Ну что ж, много народу было?

— И-и, боже мой!

— Там ведь постоянно большое стечение, — вмешался гость.

— То есть яблоку негде упасть, — с умилением добавил сын.

— А-а-а!..

— Да-с. Нынче архиерейские певчие пели двухорное «Слава в вышних», Бортнянского сочинение. Басы, я вам, тятенька, скажу, просто на стену лезли!

— Именно на стену, — вмешался гость.

— И как глотки целы, подумаешь? — произнес сын и задумался.

Подали чай.

— Саня! — крикнул отец, — нет ли там ромцу?

В соседней комнате мать и дочь встрепенулись.

— Послушай-ка, что-то говорит, — произнесла мать, вся обратившись во внимание.

— Рому спрашивают, — отвечала дочь.

— Нету; намедни с этим же пьянчугой-то выпили.

— Нету рому, — приотворив двери в зало, проговорила дочь.

— Ну, нет ли наливочки какой? Поищите там...

— Наливки пожалуйте! — говорила дочь матери.

— Слышала, — отвечала с горечью та.

— Я к маменьке пойду-с? — вопросительно произнес сын.

— Поди!

— Вот подите же, человек вышел, — проговорил отец, кивнув головой на удалявшегося сына, — а я, признаться, совсем не ожидал.

— Что-о вы?

— Именно говорю: опасался, не ожидал. Да я вам что скажу, — ближе придвигаясь к столу, произнес хозяин: — он было меня со свету сжил!

Хозяин вопросительно смотрел на гостя.

— Он какие со мной штуки делал: определил я его на службу прямо из училища. Учился он хорошо: из закона пять, и из других там... тоже слава богу! И начальники, случалось, ежели спросишь: как мол? — тоже все говорят: «Слава, мол, богу!»... Ну, думаем с женой: «Слава тебе, господи!» И вообще по науке, чистописание или что — не пожалуюсь! Ну только был этакой вялый, дробный. Думаю себе: придется кормить ни за что. Поместил его в свой стол. Только что же? Раз в именины приносит мне чашку. «Вот, говорит, тятенька, прошу принять посильный дар». — «Это ладно, говорю, где ты деньги-то взял?» — «Посильные, говорит, труды». И замялся. Ну я понял, порадовался, авось, думаю, облегчит бремя родительское. Почему же не брать хоть за справку или там за что? Бери! Ну хорошо; только что дальше! Приехал к нам гурьевский мужик. Вот стоим мы с ним в палатском коридоре и говорим промежду себя. Гляжу, мимо сынок идет, посмотрел так-то на нас и пошел. Немного погодя и я тоже пошел. Через час никак иду к этому самому мужику, авось, думаю себе, что-нибудь перепадет, — гляжу: навстречу сын. «Ты куда?» —

«Никуда-с, говорит. А вы не к гурьевскому мужику?» — «Тебе на что?» — «Так-с. Если к нему, так не ходите-с: я получил». Как сказал он мне: «я получил», так я и обомлел. Как? у отца? сын? перебивать? «Ты как же, говорю, смел это сделать?» — «Виноват!» говорит. «Сколько же, говорю, ты, мошенник, взял?» — «Рубль сорок», говорит. «Подай, стервяк ты эдакой!» — «Тятенька!» говорит, и заплакал: жалко стало! Отодрал я его тут за виски, говорю: «Не перебивай! Сам собой как знаешь, а у отца ни-ни-ни! Помни: чти отца твоего!» Ну-с хорошо, прошло никак дня два. Опять такая штука; немного погодя — другая. И пошло-о-о! Верите ли, никак месяц домой с пустыми руками приходил. Да что ж это, думаю наконец, ведь этак, прости господи, и без куска хлеба не долго остаться? Что он меня, аспид эдакой, заморить, что ли, хочет? Не вытерпел: призываю, говорю: «Убирайся из нашей палаты вон!» — «За что же?» говорит. «За то, что я тебя видеть не могу. С глаз долой!» — «Тятенька, помилуйте!» — «Что миловать? говорю. Ну вот, говорю, ты скажи-ка мне, что ты меня с голоду хочешь уморить, что ли?» — «Помилуйте, тятенька, как можно!» — «Ну и убирайся, говорю, подавай просьбу за болезнию». — «Да, тятенька, говорит, я здесь обжился». Я так и обомлел! «Да мерзавец же ты! Я здесь сижу тридцать пять лет, три дюжины стульев под собой просидел: все это мне известно!» — «И мне, говорит, известно». Измучился я. «Да бери ты, говорю, где хочешь, только не препятствуй мне. Не мешайся в мои-то дела!.. Не мути моего покою! Что ты, как бес, между ног бросаешься! В дураки меня не ставь!» Нет, да и полно! — вымолвил хозяин, разводя руками, и понюхал табачку.

Гость все время выражал в лице своем удивление, качал головой, безмолвно раскрывал рот и опять качал головой.

— Ну-с, батюшка вы мой. «Нет, говорит, мне здесь спокойно. Я, говорит, обжился». Что делать? Подумал, подумал, да и махнул просьбу «нашему», что, мол, будучи тесним беспрерывно своим единокровным сыном, я прибегаю к позлащенным мудростию стопам вашего превосходительства, омочая оные старческими слезами, ну и прочее, и прошу выгнать вон. Выгнали! Не вижу год. Раз как-то в соборе на страстной гляжу: стоит в шубе.

Енотовая славная шуба! Я ничего, ни-ни-ни... Начали выходить, гляжу это с паперти, подают ему дрожки. «Ну, думаю, авось и на новом обжился». Немного погодя слышу-послышу — в чиновники особых поручений в слободы раскольничьи назначен. Н-н-ну, думаю!

И хозяин и гость разом выразили удивление подвигам молодого чиновника.

— Никак через месяц на конной, вижу, жеребца торгует, к лесу приценяется. Раз как-то сижу я дома, от ранней пришел, подают записку от кого-то. Читаю: «Милостивый государь тятенька!» А! думаю... «Долго и напряженно думал я, как вас назвать, наконец называю тятенька». Посмотрел вниз, подписано: «Сын ваш такой-то». Читаю далее, просит прощения. Подумал я: что мне злиться? Взял и пишу: «Сын! когда ты меня называешь тятенькою, то я тебя сыном моим называю», подписался: «Отец», и послал. Прилетел сам, увез меня к себе. Гляжу: барином живет. Дамочка какая-то ходит. «Кто, говорю, такая?» — «А это», говорит и, знаете, замялся. Ну я смекнул — кто такая, усмехнулся, говорю: «Ничего», успокоил его, говорю: «Все мы грешны».

Гость осклабился.

— Угостил он меня тут обедом. Славный был обед: разварная стерлядь, вершков в пятнадцать, а то и весь аршин. Да-а-а! Ну и выпили мы тут. Разгорячившись, я подзываю его метрессу и даю ей полтинник. Обиделся ведь!

— Обиделся? — спросил гость.

— Обиделся! «Тятенька, говорит, неужели же я, говорит, не могу удовлетворить моему греховному поступку?..» Хе-хе-хе!

Гость тоже залился смехом, но потом крепко вздохнул и, грустно покачивая головою, произнес:

— Ох, детки, детки! Что горя-то с ними перенесешь! У меня тоже существует сынок. Только, я вам скажу, поискать да поискать, а такого животного навряд ли где сыскать можно.

Гость раздул ноздри и, выпучив глаза, уставился на хозяина.

— Да-с. Примерная скотина! Непочтителен, груб, безбожник. Сидит за книжкой — молчит. «Чего это ты, говорю, молчишь?» — «Ничего». Я как тресну по роже.

Только позеленеет! «Вот тебе, говорю, ничего: будешь знать, как родителю отвечать». Не пронялся же! Раз встаем из-за стола, не перекрестился! Говорю: «Почему ты не перекрестился?» — «Я, говорит, так хочу». — «А я, говорю, тебя изувечу». — «И я тебя, говорит, изувечу...» — «Да я — отец!?» — «А я, говорит, сын!» Я ему прямо в волоса! Уж трепал, трепал! — ибо сил моих более нехватило... терпеть!

— Где стерпеть!

Часа через два с крыльца сходил, еле держась на ногах, гость. Хозяин тут же стоял со свечой, покачиваясь из стороны в сторону; его за рукав придерживала дочь. И хозяин и гость что-то бормотали, но что именно, разобрать было трудно.

На дворе была темь.



4. ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

(Из чиновничьего быта)

I

Осень тянулась долго; целые дни и ночи лил дождь, щелкал капель, и слякоть на улицах делалась все ужаснее, грозя потопить весь город. Бабы думали, что зимы совсем не будет, полагали, что где-нибудь «морба-холера» началась или что-нибудь подобное, только вообще «не к добру», и пугались. Но зима таки пришла и заковала все сразу: еще вечером была настоящая грязная, дождливая осень, а утром царствовала зима: снегу, правда, не было, но мороз сковал все взрытые посреди улиц колеи грязи, и по поверхности замерзших лужиц мальчики смело катались на коньках.

А скоро повалил снег, и настала настоящая зима.

Смеркается зимой рано. Часу в пятом вечера на западе горели какие-то красные, студеные пятна; полусонные вороны тучей поднимались с крыши присутственных мест, почему-то так любимых ими, каркая проносились над городом и на пути рассыпались по обнаженным сучьям дерев, торчавших в садах, среди глубокого снега. В эту пору движение в Барановой улице затихает; тьма быстро сходит на землю, и кое-где зажигаются огоньки. В домах в это время закрывают ставни: во тьме слышен скрип по снегу валенков, хлопанье ставней и стук кулака в железный болт. Улица начинает заметно пустеть, все живое словно замерзает и коченеет. Только и копошится толпа мальчишек, из-под горы втаскивая длинную ледянку; задыхаясь и делая широкие шаги, взбегает вся толпа на вершину покатой улицы и через минуту мчится снова, разместившись один за другим. Они подталкивают

ледянку ногами и в это время все разом говорят и размахивают руками; между тем ледянка начинает забирать в сторону, врезывается в сугроб, и скоро вся компания лежит на снегу, заливаясь звонким смехом. Катанья в хорошую погоду продолжаются долго; но сегодня что-то «сиверко», и поэтому гуляки скоро разбредаются по домам.

В доме чиновника Галкина, помещавшемся на конце улицы, давно отпили чай, о чем свидетельствовали опрокинутые чашки, залитая скатерть, мокрые куски хлеба, валявшиеся по столу там и сям. В комнате было темно, свечку заслонял большой самовар, допевавший в эту пору свою так недавно еще бурливую песнь; пение его было уже сонное, вялое; он поминутно запевал на разные тоны, но на первых же порах замолкал и через несколько времени затягивал снова, на другой лад, чтобы замолчать опять.

Около стола, в тени самовара, сидела жена чиновника, дожидаясь, пока встанет муж, мерно храпевший за ширмами; пенье самовара приковывало все мысли задумавшейся чиновницы, и думы эти так же печально бежали в ее голове, как жалобно пел самовар.

«Вот зима, — думала чиновница, — холод... ребятишкам надо шубенки... чулки теплые... а где взять?.. Все больше да больше... не напасешься... одни башмаки одолеют... Не успеют надеть, подавай новые... каторга! Не дать — жалко, не подкидыши какие-нибудь... свои... мать тоже... как ни на есть — а любишь, не кинешь, не убежишь... Тут вот еще нового жди... Кто-то будет: мальчик либо девочка? Бог знает!»

«Мальчика бы, — думает опять чиновница, — с мальчиком хлопот и возни меньше, с девочкой возись! Когда-то еще вырастет и где женихов найдешь? Женихи-то, по нонешнему времени, редки... Нет чтобы пристроиться, все больше — ветер ходит, ни постоянства, ни степенности! Ловить их надо; а как его поймаешь? Блоху и то трудно поймать, а жениха невпример... без приданого трудно! Нет, мальчик лучше! Того только знай, когда сечь, а уж он дорогу найдет, выскребется из беды...»

— Что это он в самом деле спит-то? — говорит чиновница вслух. — Иван Егорыч!.. Чай давно отпили, простыл совсем самовар!

Иван Егорыч всхрапывает отрывисто, словно чего испугавшись во сне, и не отвечает.

«Заспался, — решает чиновница и думает: — А девочке хорошо как муж попадется... Да коли хороший человек будет... За чиновника выйдет — бить будет, пьян когда напьется — нет хуже! За купца — тоже бить будет... Убежать от мужа? Куды от него убежишь?.. Поймают, вдвое дадут... А там ребяты пойдут, жалованье небольшое, в обрез, доходов нету. Нониче господа сами «хлопочут», бывало откупались, теперь всё сами... Ребят наплодит, чем жить?»

Самовар вдруг начал хрипеть, словно умирал и испускал последнее дыхание. Чиновница сразу встала со стула и принялась будить мужа.

— Что это, в самом деле: всякий раз ждешь-ждешь, самовар кипит-кипит... Иван Егорыч!

— Не хочу! — необыкновенно скоро и очень невнятно проговорил муж.

— Встанешь, что ль? Слава богу, с третьего часу завалился до коих пор... все напились давно...

Муж ровно дышал, обернувшись к стене.

— Ну как знаешь! Не пеняй!

Чиновница подозревала, что муж слышит.

— Как хочешь! Не встаешь и не вставай! Скажу самовар убирать...

Муж не отвечал.

— И сиди без чаю! До двенадцатого часу, что ль, держать? И так никакого порядку нет... У других все разом отопьют, тихо, смирно... а у нас как постоялый двор!

Чиновница начинала входить в раздражительный тон.

— Один придет, другой уйдет, пять самоваров, что ли, ставить? Ты хоть бы для примеру... хозяин ты называешься или нет! Хозяин! Протянулся, как колода; нечего сказать — пример!.. Кто бы со стороны посмотрел, похвалил бы. До седьмого часу, легко сказать! Будишь, будишь...

— Отстань! — гаркнул муж.

Чиновница сразу замолкла, ибо при конце своего монолога начинала думать, что муж не слышит, и гово-

рила единственно ради того, чтобы высказать накипевшие на душе обиды.

— Зуда! — добавил муж, когда чиновница снова сидела у самовара... — ду-ду-ду-ду-ду-ду! Минуточки покою не дадут!

«Какого еще покою? — подумала чиновница, — заплыли глазища от дрыхни, все беспокойно!..»

— И бери свой самовар, очень нужно! — тише и скромнее заключил муж, укладываясь покойнее и закрывая глаза.

Чиновница молчала и думала:

«Возьми-ко самовар-то, сам после будешь зудеть: хозяину глотка чаю не дали; пою, кормлю, — а сам все с голоду»...

И самовар остался на столе. Чиновница была обижена и поэтому впала в какое-то тупое, бездумное состояние, которое у ней иногда ни с того, ни с другого разрешалось слезами. Она встала и вошла в детскую.

Это была небольшая комната, битком набитая детскими кроватками, люльками и наполненная каким-то нездоровым воздухом, потому что здесь на веревочке, протянутой около печи, сушились детские одеяльца, пеленки и проч. Стены были ободраны, в особенности около детских постелей; из-под болтавшихся лоскутьев обоев виднелись какие-то мелко исписанные бумаги, линеванные бланки, газетные объявления и проч. В углу висел длинный и темный образ, а сбоку, на стене около гвоздя, к которому цеплялся шнурок от лампадки, темнело большое пятно, нахватанное масляными пальцами. Дети шумели, тащили кошку; другие, с более мирными наклонностями, устраивали из стульев театр и представляли Петрушку, которого они еще в прошлом году видели в балагане у Спаса на Хлебной площади во время масленицы. В углу тихо поскрипывала люлька, и над ней засыпала кормилица.

— Где это наша Федосья? — спросила чиновница. — Пришла она?

— Пришла... В кухне греется, — сказала нянька.

— Что это, хоть бы ее позвать, что ли, уж? скука такая...

— Сём я сейчас позову?

— Позови! Я ей чайку налью... Рассказала бы что-нибудь, рань такую ложиться, не заснешь...

Нянька встала, положила на кровать почерневший шерстяной чулок, со спицами и клубком, и направилась в кухню.

II

Федосья Гавриловна, или попросту Гавриловна, была богомолка; целые десятки лет ходила она по святым местам, и в ее берестовой коробочке (из-под икры) можно было найти разные драгоценности, взятые на самом месте святыни и крепко хранимые, как воспоминание об них: тут были богородицыны слезки, вата от Иверской, песок из киевских пещер, пузырек почаевской воды, с выдавленной на стекле ножкой, и проч. Во время долгого хождения своего по Руси завела она в разных городах, у купцов и чиновников в достатке, знакомых и заходила к ним зиму зимовать. Но наставала весна, веяло теплом — и Гавриловна путешествовала снова, награжденная каким-нибудь рублем и строгим наказом помянуть в Ахтырке «раба божия Кузьму со чады»... Приход Гавриловны на зимовку всегда был радостен: мало ли расскажет она чудес, которые совершились там и сям на Руси и про которые мы, навеки прикованные к городу, ничего не слыхали? А Гавриловна все это представит как по писаному. Казалось, что она вовсе не старела; одежонка ее не менялась, не худилась и не особенно маслилась; ни о каких недугах не знала она и хворала только после долгого оседлого житья. К концу такого житья она обыкновенно успевала пересказать все виденное в течение года и от нечего делать начинала впадать в сплетни. Уличала кухарку в нехорошем деле, кучера в краже овса и проч. По всему дому затевался шум, шла интрига и брань, и все оканчивалось тем, что у самой Гавриловны враги находили какую-нибудь хозяйскую вещицу: ложку чайную, платок носовой или что-нибудь подобное. Неприятности утраивались, и Гавриловна, обиженная и негодующая, торопливо надевала на себя котомки и узелки, прощала всем грехи и обиды (причем кучера и кухарки начинали плакать) и уходила на богомолье.

— Зачем ты странствовать-то пошла? — спрашивали ее.

— А затем и пошла, что с людьми никакого ладу нету! Я, милые мои, с малого измальства в господском доме жила, потому, ежели по правде посудить, и сама-то я господской крови, не мужичьей...

— Как так?

— Случай такой... При французе еще... Шел на нашу деревню француз в те поры... Барыню в город отвезли, а девки-то с барином остались... и мать моя тут... Слышим-послышим, скоро надоть французу подступать... мать это мне рассказывала. «Начали, говорит, мы робеть... Так робеем, так робеем — невозможно сказать!» Вот однова барин и говорит: «Идите, говорит, девки, ко мне в покои, всех я вас отбороню». Они обыкновенно в те поры что понимали? Дуры как есть были... и пошли! А барин у нас, ух, какой был — бог с ним! Ну, родилась я тут... Барыня была у нас добрая, взяла она меня в комнаты на обучение... Бездетные они были... Стала я подрастать, все примечаю, все примечаю... Вижу, людишки крадут, воруют... тащат... Я сейчас тихим манером барину али бы барыне: «так и так»... А господа нешто хвалят за это? — драть!.. Отдерут его, вора, как лучше; приутихнет он, а потом опять тем же порядком: и хлеб волокут, и мясо волокут... А я опять — и опять драть его на конюшне... За это-то меня и не возлюбили; всякую пакость мне делают; я терплю, думаю, господь за правду терпел, сём и я... Все терплю! Только однова повар... была у него собака... Вышла я раз на крыльцо кольцо поднять, — барыня в окно уронила, а повар собаке: «кусь-кусь!». Собака как прянет да цап меня за нос... Так уродом я и осталась... Залилась я, милые мои, слезами, плачу, причитаю: как без носу жить? как на народ глядеть? Так-то ли горько рыдала! думаю: «Господи! хошь у тебя правду найду настоящую!» Взяла оделась, обулась в худенький кафтанишко, простилась с селом, с полями, с лесами: «Прощайте, леса, прощайте, поля, прощай, мать сыра-земля, прощайте, птицы — звери лесные!» Вышла я за село, заплакала, поклонилась барскому дому да церкви Спас преображения — и пошла...

— И много, чай, старушка, исходила?

— И, милые, где-где я не была! Чего не видала!!. — говорила обыкновенно Гавриловна и тут же принималась рассказывать.

III

Гавриловна, целый день скитавшаяся по обедням и купцам, поздно вечером воротилась в дом Галкиных и, разувшись, лежала на полатях. В кухне было тихо; работница дремала в углу у стола, подпирая щеку рукою; кучер сидел тут же и чесал волосы, которые в настоящую минуту закрывали всю его физиономию. Из рукомойника капала в ушат вода, и за печкой перекликались сверчки.

— Ну что ж, ты все так и странствуешь? — хладнокровно спрашивал кучер, поднося гребень к свету и раздвигая пальцами волосы, застилавшие глаза.

— Все и странствую.

— Доброе дело!.. А то бывают тоже странники: иному в остроге надо быть, ежели по закону, а он странствует.

— Ну что мелешь? Ну что твой язык глупый мелет? — в негодовании воскликнула кухарка. — Про кого ты такие слова говоришь?..

— Нешто я вру?

— И есть врешь! Про божьего человека какие разговоры разговариваешь...

— За это, милые, — вмешалась с полатей Гавриловна, — за это, милые мои, крепко взыщется!

— За что?

— А не осуждай! Спокаешься — да уж поздно!

Кучер продолжал чесать волосы, шумя гребешком.

Гавриловна ворочалась на полатях и от времени до времени произносила:

— Как так можно обзывать? Это невозможно! За это как достается-то? и-и-и!..

В это время в кухню вошла нянька и позвала Гавриловну.

— Пойди, барыня чайку даст.

— Ох, пила я...

— Ну все равно, соскучилась очень. Поди!

Гавриловна, кряхтя, начала слезать с полатей и потом вместе с нянькой отправилась в горницу.

Кучер, кончив свой туалет, долго думал, за что приняться, и наконец решился пойти в горницу послушать, как будет Гавриловна рассказывать. Осторожно ступая

своими огромными сапогами и боком пролезая в дверь, подкрался он к детской и схоронился за притолокой, выставляя в детскую только голову. Тут же около дверей толпились кухарка, горничная и еще неизвестно какая-то баба. Гавриловна сидела на полу, у печки, протянув свои худые ноги, обутые в башмаки, плетенные из покромок солдатского сукна; кругом ее лепились ребята, на кровати сидела хозяйка, и все вместе внимательно слушали рассказы старухи.

— ...Ну, — говорила она, — иду я, милые мои, из Звенигорода к Миколе можайскому. В сумочке у меня тридцать пять рублей денег, — зиму зимовала я в Москве, у купчихи, у Скандириной, и платила она мне за труды; денег этих я ни чуточки даже не тратила, думаю: «К Соловецким монастырям пойду». Ну, иду. Товарок со мной не было, иду одна. Только на дороге, вижу, идет старушка. «Здравствуй». — «Здравствуй». — «Куда?» Туда-то! «И я. Пойдем вместе!» Пошли. Шли-шли, — а старушка и говорит тихим таким голосом: «Прочие, говорит, вокруг себя деньги — паспорты обшивают». — «Какие у меня деньги, говорю... Христовым именем, говорю, не разживешься». — «Да так, так». Идем, приходим мы в деревню, — вечером уж было; зашли в избу: старая баба в печи парится. Очень меня охота взяла попариться, — кости болят, и ноги и руки. «Раба, говорю, божия, сём мы странницы малость попаримся?» — «Да вы не беглые?» — «Нет, говорим, мы прохожие!» — «Ну, парьтесь». Разделась моя товарка, и вижу я — вся-то она в рубище. Рубашка рваная, в узлах... Жаль мне ее стало, говорю: «На̀ рубашку!» Свою ей рубашку дала. Попарились мы, вылезли, — ноги, руки у меня заныли, легла я спать на полати. И в тую ж минутую заснула. Только слышу, кто-то будто около меня шевелится. Перепугалась я, думаю, кто такое. Господи Иисусе Христе! «Кто здесь? Враг сатана, откачнись от меня». Нет, никого нет. Сплю я опять. Товарка на лавке тоже, слышу, спит... Только впросонках кто-то опять меня толкает: «Вставай, говорит, разиня, сумку твою товарка унесла!» Схватилась я: ах-ах-ах, ах-ах-ах! Что такое? Господи! Ничего не придумаю. Плачу-причитаю: где паспорт? где тридцать пять рублей денег? Вот тебе: «Прочие вокруг себя деньги, билеты обшивают!» Ах ты, подлая!.. Ма-

тушка царица небесная, защити. Оделась, побежала... Куда бежать? Думаю, пойду опять старой дорогой... Пошла к Звенигороду. Как деревня, в каждую избу иду спрашивать. «Не видали ли вы тут, странница проходила?» — «Какая?» — «Рябая, сумочка у нее кожаная, моя сумочка-то». И все расскажу: «Шла я, идет богомолка; пошли вместе; она говорит: «Прочие вокруг себя деньги, билеты обшивают»... И все по порядку. «Ах ты, дура-дура», говорят... «Не видали ли?» — «Нет, не видали...» В другую избу зайду, расскажу опять... И все меня же лают!

«Плачу я, иду дальше. Пришла в Звенигород, к знакомому чиновнику в дом. А у них пир: приказные судейские подгуляли. «Что тебе, баба?» — «Так и так... Иду богу молиться. Встретила старушку, пошли вместе. «Прочие, говорит, вокруг себя деньги, билеты обшивают». Я думала, она добрая, а она меня обобрала. Батюшки, защитите!..» — «Стой, старушка, не робей... Мы тебе сейчас бумагу напишем». Начали они писать мне. Написали. «Снеси ты эту записку на ту сторону, в лавку к купцу Гвоздеву; он тебе скажет, что нужно». Прихожу к купцу, прочитал он и говорит: «Двенадцать бутылок пива приказано с тобой прислать... Донесешь ли?» Залилась я опять; ишь, какую шутку сшутили! Нечего делать, понесла я пиво; принесла, говорю: «Батюшки, не надругайтесь надо мной. Так я обижена. Пособите!..» Сжалились они, начали писать бумагу, но никак не могли написать ничего, потому очень уж пьяны были... Человек пять брались писать, все не выходит... Пера не могут держать; наконец один подходит и говорит: «Пусти, я!» Тот чиновник пустил. А этот, другой-то, начал выводить пером. «Ах, говорит, жаль старушку!..» Вижу я, что и этот ничего не может, только думаю: авось как-нибудь. А он мурчал, мурчал, да, видно, позабыл спьяну-то, о чем я прошу, — да как вскочит да гаркнет: «Тебе чего тут? Какого тебе дьявола тут возможно написать?.. Ты кого беспокоишь?..» Кричит, милые мои, словно рассудку решился. Я бегом от него бежать... Он за мной... «В гроб заколочу бродягу!»

«Выскочила да опять в поле, села на распутье, выла-выла, думаю: куда бежать? Пойду опять к Миколе можайскому... Иду-иду да заплачу; ударюсь обземь,

вою! Подхожу к Можайскому, — река... Время было — весна самая; лед хрупкий, желтый; думаю, как перебраться на ту сторону? Ну провалюсь? Перекрестилась, поползла ползком и все причитаю: «Угодники печерские, угодники переяславские, угодники соловецкие, воронежские, ты, Микола можайский, пособите старушке! Не потопите ее, грешную, без покаяния, без причастия!» Переползла... Думаю, подсобили угодники божии... Прихожу в Можайск к купчихе знакомой. Плачу-причитаю... «Что ты?» — «Так и так... Иду дорогою, вижу, старушка... «Прочие, говорит, вокруг себя деньги, паспорты обшивают...» Я думала, она добрая, а она меня обобрала!» и все по порядку рассказала.

«Не видали ли, говорю, богомолки такой-то вот?.. Рябая она...» — «Рябая?» — «Рябая... Сумочка кожаная... Моя сумочка-то». — «Видела рябую... Она у меня теперь гостит». — «Матушка, милая! — покажите вы мне ее!..» Замолилась я тут, себя не помня. «Она, говорит купчиха, теперь у всенощной». Я ко всенощной. Вошла в церковь, купила свечку, зашла спереди; сама ставить начала, чтобы мне спереди-то ее рассмотреть, вижу — будто она. Хорошо-то не разгляжу, в зимнем приделе в то время служили, церковь темная... Сём, думаю, рядышком с ней стану, помолюсь. Стала; она в землю, и я в землю... Смотрю, смотрю — она! «А, думаю, бессовестная!», а сама все молюсь... Отошла заутреня, выходим мы на паперть, я ее за рукав. «Батюшки, защитите! бьют меня, странницу невинную!..» А я ей: «Подай сюда сумку, бесстыжая! Вот зачем: «Прочие вокруг себя деньги, билеты обшивают», а?» Собрался народ, я за сумку тяну. Начали мы суд судить. Купец какой-то подошел, говорит мне: «Коли твоя сумка, скажи, что в ней?» Я начала: «Платок клетчатый, паспорт Федосьи Гавриловой, Чернского уезда, Тульской губернии...» — «Гляди!» Посмотрели в сумку — так точно. Тогда купец говорит воровке: «Моли бога, что я сегодня именинник, а то я б тебя, шкуру, в каземате сгноил бы...» И ушел. Воровка плачет; сумку мне отдала. Начала я считать деньги, вижу три медных гривны... Бросила ей — не мои. Я сосчитала деньги — все! Тут зачала она у меня прощения просить: «Прости да прости». — «Ну, говорю, бог с тобой...» Пошли мы с ней вместе к купчихе. Воровка все плачет, прямо ей в

ноги — прости, вишь, ее. Никогда такого греха не было, а тут враг совратил. «Целую ночь, говорит, показывался; глазища зеленые и все шепчет: «Возьми сумку!»

«Ну, тут ее все простили. Купчиха говорит: «Я сейчас увидала, что ты недобрая женщина, — зачем ты сумочку, как пришла, под лавку сунула?..» Так вот как «прочие деньги, билеты обшивают»!.. Пожила я тут деньков, может, с пяток, опять в дорогу...»

— Погоди, — перебила чиновница, — я пойду, мужа разбужу, пусть он послушает... он это любит!

— Разбуди!

Чиновница пошла. Проходя темную девичью, она услыхала, что кто-то в углу пискнул; ей показалось, что это Аксинья, горничная, и она сочла нужным сделать ей замечание.

— Аксинья! — сказала чиновница с укором: — что ты, маленькая, что ли, все хи-хи-хи?

— Да что же он трогается! — отвечала Аксинья из темного угла, и вслед за тем в дверь, идущую в сени, с шумом вылетел невидимый в темноте кучер.

— Маленькие! разыгрались!

— Нашли место, — добавляла Гавриловна.

Чиновница принимала всевозможные меры для того, чтобы поднять мужа на ноги; но все усилия были напрасны. Муж говорил как-то несвязно и то по одному слову, так что изумленная и разобиженная жена, наконец, озлобленно спросила:

— Боишься ли ты бога-то?

— Не боюсь! — отчетливо проговорил впросонках чиновник.

Жена была так удивлена таким ответом, что несколько времени молча стояла над телом мужа, думая, что тот опомнится и ужаснется своих слов. Но тот был безмолвен и недвижим. Чиновница только могла произнести:

— Ска-ажите на милость!.. а? Какие словечки выучился говорить?.. Прекрасно!..

Пораженная ответом мужа; медленно пошла она к дверям и продолжала:

— Вот, дождались!.. Так-то ли явственно выговаривает, не постыдится, как язык-то поворачивается? тьфу!

— Ну что? — спросила Гавриловна, когда чиновница явилась в детской.

— Как камень!.. Я ему то-се, а он мне такое словечко сказал...

Чиновница развела руками.

— Мужчина! уж это обыкновенно! — произнесла нянька. — Мой тоже покойник: иной раз такое прочтет... молчишь!

— Встал, что ль? — спросила Гавриловна.

— Как же! На том свете проснется разве... Рассказывай!..

Все снова начали готовиться слушать. В это время сенная дверь хлопнула опять.

— Аксинья! ты? — спросила чиновница.

Никто не отвечал.

— И эта туда же улетела!

— Поиграть захотелось, — сказала нянька с улыбкой.

— Ну, я знаю, я ей наиграю спину-то... Рассказывай, Гавриловна.

— Да вы слушать-то устали?..

— Рассказывай, бог с тобой... Что ты?

— Ну, так и быть. Вот, думаю себе, пойду я теперича на Москву, а оттуда в Соловецкий монастырь. Иду. Все, слава богу, благополучно; но только под самой под Москвой иду я пролеском; пролесок этакой неезжанный и мостик ветхенький, через овражек-то. Заблудилась я, что ль, только народу по этому тракту совсем не видать... Ну, иду. Взошла на мост, как откуда ни возьмись — солдат... Оборванный, худой, глазища страшные, желтый лицом! «Есть сухари?» Перепужалась я — говорю: «Есть!..» — «Давай!» Начала я развязывать узелок. «Давай!» кричит. «Дай развязать-то?» — «Давай!», да и полно! И вижу я, что совсем он обголодал. Не вытерпел он, начал с меня сам узлы рвать, отыскал узелок с сухарями — ест! И тряпки рвет зубами, и сухари жует на обе щеки — зверь-зверем! Вижу, схватил все имущество мое и прочь бежит. «Пачпорт-то! кричу, пачпорт-то... Все возьми!..» — «Только пикни!» — «Голубчик! Служивый, на что он тебе? Бабий-то вид?» — «Удавлю!» кричит... сам не зная что!

«Я опять молить его, ничего не говорит — идет; вижу, выкинул какую-то тряпку, вместе с сухарями попала, и скрылся в лес... Что делать? Ничего не могу в слезах придумать, только думаю: господи! за что? Пойду

прямо... Шла-шла, очутилось предо мною село... Идет баба. «Милая! где тут расправа?» Указала мне баба расправу, — пошла я. Сидит писарь. «Что тебе?» Так и так... Солдат ограбил...

«Писарь подумал, говорит: «Надо допрос сделать...» Я говорю: «Хоть к присяге сейчас...» Писарь опять подумал. «Есть у тебя деньги?» (А деньги я на груди зашила.) — «Есть».— «Сколько?»— «Два целковых».— «Давай!» Дала я ему два целковых, написал он. «Придешь, говорит, в Москву, объяви по начальству»... Сокрушаюсь я. Пришла в Москву. Улицы длинные, дома каменные, ничего не разберу; у кого спросить — не знаю. Подхожу к служивому, говорю, так и так: «Солдат меня ограбил, отнял все, в лес ушел, нельзя ли мне какую бумагу дать?» — «Так у тебя нет виду-то?» — «Есть, говорю, так, махонькая записочка». — «Записочка?.. Пойдем». Пошли мы; приводит он меня в горницу и говорит чиновнику: «Ваше благородие! вот на улице бродягу взял...»

«Чиновник посмотрел на меня. «Посадить, говорит, ее на хлеб, на воду!» Сижу я в тюрьме, плачу-рыдаю. Дали мне работу — корпию щипать (в те поры войну воевали). Сижу день, сижу неделю. В конце недели идут за мной к допросу. «Какого звания?» Я говорю: «Женского...» — Я это все расскажу, запишут; опять сижу. Однова входит ко мне женщина; начала я ее молить: «Милая! отыщи ты мне Грузинскую полковницу, с мужем они тут живут. Была у них в деревне, гостила, так говорила барыня эта мне: «Приходи, говорит, к нам в Москву»... Отыщи, красавица, я тебе награжу!» — «Есть деньги?» — «Есть». — «Давай целковый, отыщу!» Дала. Взяла женщина эти деньги, и след простыл. Проходит так, милые мои, месяц, а может, и больше. Я дни-то совсем перезабыла, ничего не помню. Призывают меня в часть, связали руки веревочкой, повели в другое место. Тут тоже допрос пошел: «Какого звания?», «На каком основании?» — все как прежде. Я им говорю: «У меня солдат сумку украл, нельзя ли отыскать, в сумке и билет есть; там это все прописано...» — «Посадить!» Связали руки веревочкой, повели в другую тюрьму. Сижу я здесь месяцев пять. Выходит однова женщина. «Милая! говорю, сыщи Грузинскую полковницу. Я тебя награжу».

Взяла женщина деньги — и след простыл! Работу тут мне всякую давали: рубашки стирала, полы мыла, все, все делала, никакой ниоткуда помочи не вижу. А тут слышу-послышу, бытто дело мое решилось, бытто сказано — пересадить бабу в острог. Услыхала я это, к частному смотрителю; начала его упрашивать, ноги целую: «Чем я виновата? за что столько время в тюрьме неповинно сижу? Ежели бы мне Грузинскую полковницу сыскать...» — «Какую?» — «Анну Митревну». — «Ты ее знаешь?..» — «Как не знать!» и все рассказала. «Ах, говорит, ты, дура-дура! зачем же ты прежде не сказала, я б тебя пустил на свободу. Я сам Грузинскую полковницу знаю». Тут вскорости меня и выпустили. Уходила я, смотритель говорит: «Совсем про тебя у меня из ума вон: дело твое пустое, забываешь иной раз. Скажи ты мне раньше, не сидела бы в тюрьме восемь месяцев... Ну, с богом! Поминай раба Порфирья со чады» (это его-то). Ну, так я и пошла в Соловки...»

— Эка тебя тиранили-то! — сказала чиновница.

— Да, милые, было. Всякий надругается, всякий норовит как хуже для тебя сделать. Право слово! Пакостят ни за что. Однова иду, вижу, едет верхом молодец какой-то... В поле дело было. Поровнялся со мной, говорит кротко таково: «Подойдите, говорит, старушка праведная!» Я подошла. Как он меня плетью вдоль всеё спины. «Поминай Петра!» И ускакал. А я лежу на земи, охаю...

Гавриловна несколько времени помолчала и потом сказала:

— Ну, пора спать вам. Пойтить и себе вздохнуть!

— Посиди пока!

— Нет, пойду! Надо идтить! Завтра рано вставать нужно.

В это время в сенях что-то стукнулось или упало.

— Что такое? — сказала испуганно чиновница. — Марья! Посмотри-ка! Господи Иисусе Христе!

Марья вышла в сени, и потом из-за запертой двери слышно было, как она сердито говорила:

— Полунощники! Что это такое? Удивительно, как это в вас никакого стыда нету... Право! — добавила нянька, входя в горницу и притворяя дверь.

— Что такое?

— Да это наши любезные. Аксютка с кучером игры подняли. Она на него ушат воды вылила, а он ее водоносом...

— Ишь, каторжные! На морозе разгулялись, — ядовито сказала Гавриловна.

— Прижал ее к двери, кажется, уж не дохнуть, а все грохочет!

В это время в дверях показалась фигура чиновника в халате, шерстяных носках и с взлохмаченной головой.

— Что ж чайку-то? — сонно сказал он жене, почесывая в затылке.

— Слава богу, в двенадцатом часу-то? Пожара наделать?..

— Полчашечки!

— Где я тебе возьму? Самовар кипел, кипел, двадцать раз будила, как бревно бессловесное! Нету чаю!.. вставай раньше!

— Ну, я водочки, да того... Постель надо перестлать...

— Опять спать?

— Что ж делать-то?

Жена не возражала; она и сама понимала, что делать действительно нечего.

Через десять минут чиновник снова храпел.

— Подвинься, — говорила жена, влезая на кровать. — Что это, поперек кровати лег; как повалился, так и заснул. Подвигайся!

Но чиновник уже безмолвствовал.

5. ЗАДАЧА

(Из чиновничьего быта)

Чиновник Кыскин только что воротился с кладбища, где похоронил своего двухнедельного ребенка. Он в задумчивости ходил по темной комнатке, носившей неподходящее название зала, и, раздумывая о разных разностях, по временам подходил к окну, чтобы отереть слезу, так как о смерти ребенка ежеминутно напоминал запах ладана, оставшийся еще в комнате. Темный ли зимний вечер, или этот запах ладана, или, наконец, грустное настроение, следствие похоронной церемонии, взволновало его, только Кыскин раздумался о своей прошлой жизни: то вспоминал он сладкую минуту получения первого чина, то не менее сладкую минуту женитьбы, и затем эти отрадные минуты сразу замирали в воспоминаниях о тяжелых годах нужды и заботы. Главным образом душу его возмущала невозможность увеличить собственное семейство; крошечное жалованье, множество трат на семью, уже существующую в громадных размерах, ясно доказывали ему, что дальнейшее приращение семейства невозможно, иначе непроглядная нищета грозит и ему, и жене, и его детям. Все это весьма убивало Кыскина: он был еще молод, любил жену и семью, и вот теперь должен отказывать самым отрадным и единственно не зависящим от служебных обязанностей движениям собственного сердца. Такие мысли уже давно залетали к нему в голову; несколько лет тому назад он уже начал поговаривать на крестинах того или другого из своих детей, что «это уж последний!» Но гости подмаргивали ему одним глазком и весьма сомневались в этом.

Кыскин делал новые уверения, давал новые заклятия и зароки, а через год снова плелся отыскивать кума и куму. Сегодняшние похороны и особенно настоятельные зароки, данные им на крестинах третьего дня, сидели в Кыскине особенно упорно.

— Будет! Довольно! Слава богу, доволен! — говорил он, ходя по залу и отирая новую слезу. Крики ребят, бушевавших в отдаленной комнате, драки, происходившие между ними, и дерки, отпускаемые им в школах, где они оказывали весьма малые успехи, укрепляли еще более убеждение Кыскина в невозможности «продолжать далее»... Этому, кроме того, способствовала и самая смерть новорожденного ребенка: как ни жалел отец, но, подумав, нашел, что в смерти этой виден промысел божий: сам бог подумал о нем и прибрал новорожденного, видя, что ему в будущем грозит нищета.

— Нет, довольно! — вслух произнес Кыскин и старался утешить себя тем, что и лета его не позволяют далее продолжать супружеских обязанностей. Надо теперь, думал он, молиться поболее богу и просить его помощи, так как действительно только на него у бедного чиновника и оставалась надежда. С этою целью сегодняшний день он всунул в могилу сына счет расходов на погребение, твердо веря, что двенадцать целковых, истраченные им по этому предмету и составляющие две трети месячного жалованья, обратят внимание неба на его усердие и любовь к детям, для которых он ничего не жалеет. Кроме того, и непорочная душа умершего младенца помолится за него, Кыскина, и за его жену и...

— Авось, как-нибудь! — заключил чиновник и, вздохнув, вышел в другую комнату, где сидела жена.

— Ты что это там говорил? — сказала ему жена и улыбнулась. — Ходит один да бурчит себе под нос что-то.

— Так! — ответил он, потирая бороду.

Улыбка жены произвела на него странное действие; в хлопотах о хозяйстве, среди постоянных забот и нужд, ему редко приходилось встречать ее на лице жены, и поэтому теперь сердце его сжалось, так как теперь улыбка эта уж не должна была его радовать. Кроме улыбки, его испугало еще другое обстоятельство: в этот вечер жена его была очень недурна; после болезни она похудела и сделалась лучше; на ней было все чистенькое,

опрятное, и, в довершение всего, по плечам рассыпалась еще густая коса, которой завидовали многие чиновнические жены; кроме того, жена Кыскина была еще очень молода, ей было не более двадцати шести лет. Все это, при другой обстановке, в другом быту, никого не могло бы и не должно бы испугать, а вот Кыскин испугался!..

Он сделал над собой страшное усилие и проговорил:

— Знаешь что, Маша? Я теперь так думаю: довольны мы с тобой... от бога...

Кыскин смешался, стал потирать платком нос, но не мог не заметить, что спутанная речь его была понята женой: она покраснела и, расчесывая косу, повернула лицо к окну; она думала о том же, о чем и муж, и пришла к тем же убеждениям.

— Да! — продолжал Кыскин, — слава богу!.. Как ты думаешь?

— Так и думаю! — проговорила жена.

— Именно!.. И надо просить бога, чтобы он нам помог... Другое дело, ежели дадут прибавку! Ну тогда... Но при нашем обременении...

Оба супруга вздохнули...

— Что делать! — проговорил муж. — Да, кроме того, надобно нам и о душе подумать хоть безделицу...

— Разумеется! — добавила жена.

— Во-от!.. Вот это так! Надо нам вспомнить и душу нашу... Не все же земное и преходящее... Да к тому же, друг мой, в писании сказано: «Пецытеся убо о душе»... Следовательно... я буду в зале спать, а ты здесь...

— Я здесь...

— А я в зале...

Жена помолчала и потом произнесла:

— Гораздо лучше!

В ответ на это муж вздохнул. Чтобы как-нибудь заглушить неприятное состояние духа, Кыскин решился повернуть разговор в другую сторону и сначала спросил: «который-то теперь час?», и узнав, что в остроге пробило давно девять часов, сделал другой вопрос: «не пора ли чего-нибудь закусить?» Затем последовал молчаливый ужин, перерываемый напряженными разговорами о разных разностях, преимущественно же о начальниках и сослуживцах. Разговоры эти решительно не клеились: муж и жена думали о другом и были скучны. Кыскин

выпил несколько рюмок водки, но и это не развеселило его: напротив, он вздыхал все чаще и глубже, и если хмель сделал что-нибудь, то разве заставил Кыскина говорить громче и громче. После ужина явилась кухарка и принялась перестилать постель. Это обстоятельство снова сильнее прочих обстоятельств подобного рода встревожило Кыскина; глядя, как кухарка вскидывала и взбивала подушки, он содрогался при мысли, что лишен уже возможности разговаривать с женой о снах и видениях, неожиданно встревоживавших кого-нибудь из супругов по ночам и заставлявших в прежнее время обсудить это дело сообща; кроме того, самые невинные мелочи супружеской жизни сразу припомнились ему и заставили затосковать; но Кыскин перемогся еще раз и сказал кухарке:

— Ты, Акулина, постели мне постель в зале, на диване...

Акулина, накрывавшая перину одеялом, в изумлении повернула голову к чиновнику и пристально посмотрела и на него и на чиновницу.

— Да! — продолжал чиновник, опустив от смущения лицо вниз: — да, Акулинушка, в зале... Что делать!.. Слава богу!.. Надо подумать и о душе...

Эти три фразы, произнесенные безо всякого порядка, еще более придали Акулине любопытства.

— А сама-то? — спросила она в изумлении.

— Друг мой! — сказал охмелевший чиновник. — Она будет здесь! Ты ничего, ровно ничего не понимаешь!

Тут Кыскин остановился и, сообразив всю запутанность своего положения, вдруг произнес:

— Когда тебе говорят: стели в зале, следовательно, барыню ты не беспокой. Понимаешь?

Акулина замолчала и стала делать то, что ей приказывали. Но и она вздохнула.

Наконец в зале на диване была готова постель. Но Кыскин почему-то медлил идти туда. Он присел на сундук и вяло проговорил, обращаясь к жене:

— Так-то, Маша!.. Ну-ну, что делать! Видно, бог указует нам окончание!

А когда жена, решившаяся сразу переменить образ жизни, сказала ему весьма решительно: «пора спать!» — Кыскин предложил ей поцеловаться, говоря: «В послед-

ний раз!.. ведь пойми!» Когда же супруга поцеловала его, Кыскин долго еще не мог оставить ее, потому что плакал и вытирал слезы. Плакала также и жена.

— Ну ступай, ступай! — проговорила она наконец, поспешно отирая слезы.

— Маша! — произнес супруг.

— Пора! Двенадцатый час!.. Ступай! будет!

Наконец Кыскин должен был отправиться на новоселье. Но и тут он не утерпел и остановился в дверях.

— Как ты думаешь, — сказал он, — затворять двери или так оставить — открытыми?

Решено было оставить «так».

Затем снова было предложено: не лучше ли будет, если диван поставить против дверей, так чтобы не было скучно и при случае можно было сказать слово?

Решено было диван передвинуть по желанию Кыскина. Наконец кое-как все уладилось.

Несколько минут продолжалось самое упорное молчание. Оба супруга, чувствуя себя в новом положении, не могли скоро уснуть; но, чтобы не подать друг другу подозрения в неудобстве новых помещений, старались притвориться спящими и оба молчали.

— Маша! — робко проговорил, наконец, муж.

— Гм?

— Ты спишь?

— Нет... не спится что-то...

— И мне, брат, что-то не спится...

— Новое место!

— То-то я думаю... Не от нового ли в самом деле это места?

— От нового. Спи!

Снова настало молчание. На этот раз оно продолжалось дольше прежнего, потому что в голове Кыскина мелькнула такая мысль: «Ну а что если дадут прибавку?» И поэтому он долго думал о разных разностях до тех пор, пока в спальне жены не раздался шопот:

— Иван Абрамыч!

— Я, матушка?

— Спишь?

— Нет, что-то, милая ты моя, не спится... Я так полагаю: не от нового ли это места?

— Это от нового. С непривычки!

— Должно быть, друг мой, что с непривычки...

— Который-то теперь час?

— Час-то? Да, пожалуй, час первый...

— Какая позднота! Пора спать. Спи! Пора!

Иван Абрамыч вздохнул, и молчание водворилось еще более продолжительное. Он чуял, что и жену его мучит та же тоска, какую испытывал и он. «Господи! — думал Кыскин, — ну не чудно́ ли? Что теперича я такое?.. Умер! совсем умер!.. Н-но... — вдруг мелькнуло у него в голове. — Ну а ежели господь пошлет прибавку?» Тут ему представилась картина, происходящая в его семействе по получении прибавки; в этой картине он прежде всего увидел, как все радуются. Решительно все: от двухлетнего ребенка до кухарки Акулины, — все счастливы, все довольны...

— А бог-то? — вдруг проговорил Кыскин.

— Чего ты? — послышалось из спальни...

— Нет, это я так!.. Что-то не спится!

— Спи! спи! — ворочаясь, говорила жена.

— Право, что-то все того... — поворачиваясь лицом к спине дивана, бормотал муж. — Блохи не блохи, а так что-то...

— Спи! там блох нет ни одной.

— Да то-то я думаю: откуда блохам быть? Так что-то.

— Никаких блох нету, а это от нового места.

— Должно быть, что от нового места. Как-то так всё...

— Спи!

Жена замолчала, а в голове Кыскина снова явился вопрос: «А бог-то?» И вслед за этим мысль его в одно мгновенье перелетела чрез множество всевозможных затруднений, тяготевших на его семейной жизни и за несколько минут перед этим сознанных вполне, непреложных и очевидных для всякого. Что-то упорно побуждало его ни под каким видом не разрушать сложившуюся картину семейной жизни, влагало в него какую-то невероятную решимость отказаться от куска хлеба для того, чтобы удержать за собою единственную сердечную привязанность вполне, без ограничений; и тут же мелькала перед ним картина безотрадного существования,

если он переломит себя и захочет «подумать о душе»... «Господи! — шептал он, — Маша!..»

— Маша, ты спишь? — произнес он вдруг громко.

Но жена не отвечала.

«Спит!» — подумал он.

А она долго еще не спала, долго еще думала, крепко прижавшись к подушке, то же самое, что и муж ее; но она яснее его смотрела на вещи и тверже решилась заглушить в себе всякую мысль, как только мысль эта наталкивала ее на вопрос: «А бог-то?» Поэтому-то она и не отвечала мужу, когда тот назвал ее. Притворясь спящей, она слышала, как Иван Абрамович ворочался на диване, охал, шептал: «Господи! Господи!»

— Спишь? — опять послышалось из зала.

Она поспешно закуталась в одеяло с головой и не отвечала. Раскрыв глаза под одеялом, она упорно старалась не думать ни о чем. Как бы рада она была, если бы голова ее превратилась в камень! Долго продолжалось это напряженное состояние, наконец глаза ее начали слипаться, сон все больше и больше охватывал ее, и вдруг...

— Кто это? — в испуге вскрикнула она.

— Там в окошко дует... всю спину простудил... озяб! — бормотал Иван Абрамыч, держа в руках подушку...

Чрез несколько месяцев Иван Абрамыч сидел за ужином и думал — кого бы пригласить в кумовья? Физиономии его и жены были убиты, и сердца растерзаны: диван давно уже стоял на старом месте, а прибавки попрежнему не дали...

По окончании ужина Иван Абрамыч вздохнул и сказал:

— Теперь, Маша, уж действительно надобно подумать нам! Довольно! как ты думаешь?..

Жена молчала.

6. ПАРАМОН ЮРОДИВЫЙ [1]

(Из детских лет одного «пропащего»)

I

...Юродивый Парамон был самый настоящий крестьянский, мужицкий святой человек. Происходил он из мужиков, был женат; но, повинуясь гласу и видению, оставил дом, жену, двух детей и ушел спасать свою душу... Душу он спасал также русским крестьянским способом, то есть самым подлинным умерщвлением плоти, основанным на физическом мучении и даже самоистязании: на голове он носил чугунную, около полупуда весом, шапку, обшитую черным сукном, в руке таскал чугунную полуторапудовую палку, а на теле носил вериги. Вериги состояли из цепей, кольца которых были величиной и толщиной в обыкновенную баранку; цепи эти опоясывали его стан, крест-накрест пересекали грудь и спину; на спине, там, где цепи перекрещивались, была прицеплена к ним, лежащая на голом теле, чугунная доска, в квадратную четверть величиной, с вылитою на ней надписью: *«аз язвы господа моего ношу на теле моем»*. И действительно, он носил на теле настоящие, подлинные и притом ужасные язвы. Вериги были закованы на нем наглухо, на веки веков, а он, надевший их в молодых летах, рос, кости его раздавались, и железо въедалось в его тело; ржавчина и пот разъедали кожу до степени настоящих язв, а в жару, например в бане, которую он «по грехам» очень и очень

[1] Настоящий рассказ написан гораздо позже «Растеряевой улицы». Я помещаю его, однако, в конце этих ранних очерков потому, что в нем я попытал изобразить самые существенные свойства «растеряевщины», с которыми она и вступила «в новую жизнь» («Разоренье»).

любил, раскаленное железо так пекло эти язвы, что из них лила самая настоящая кровь. Не довольствуясь этими мучениями, заставлявшими его поминутно, при самом малейшем движении, испытывать ощущения уколов шила или иглы, он еще любил жечь на огне, на свечке пальцы свои, ставить подошву на уголь, не говоря уже о том, что летом ноги его постоянно были изодраны острыми камнями мостовой, а зимой кожа на них лопалась до крови от морозов...

Он так глубоко верил в будущее блаженство, так глубоко был проникнут сознанием того, что выше этой «вечной славы» ничего нет ни в жизни человека, ни на земле, ни под землей, что всякий раз, когда его мучила боль от вериг или боль от лопнувшего на огне свечки пальца, он хотя и не в силах был удержать крупных каплей пота, выступавших в это время на его лице, но был истинно счастлив, и его обыкновенное, рябое, с веснушками, мужичье лицо и его обыкновенные, маленькие белесые мужичьи глаза делались истинно прекрасными, до того прекрасными, ангельскими, что все, какие бы то ни были при этом, черствые, сухие, охолоделые души, — все чувствовали, хоть на мгновение, пробуждение чего-то детски-радостного, чего-то легкого, светлого и бесконечного.

Проживи я еще не пятьдесят, а сто пятьдесят лет, я и тогда, кажется, не забуду этой фигуры; она припоминается мне всякий раз, когда жизнь, дав хороший урок, заставит задуматься хотя бы о том, отчего в тебе нет того-то и того-то, отчего ты не запасся тем-то и тем-то, и принудит искать причин этих недостатков в обстановке и условиях раннего детства... Корявый, необразованный, невежественный Парамон, с своей странной теорией спасения посредством физических страданий, этот простяк святой в такие минуты припоминается мне, как одно (боюсь сказать единственное) из самых светлых явлений, самых дорогих воспоминаний.

Оставшись рано круглым сиротой, я с шести лет жил у дяди, брата моего отца, человека семейного, служившего в одном из губернских присутственных мест... Часто я, будучи большим, негодовал на воспитание, на забитость, неразвитость этих воспитавших меня людей; но делаясь стариком и ознакомясь с жизнью больше,

чем я был знаком с нею в двадцать лет, я уж не сержусь на них. Детство мое прошло в конце тридцатых и в начале сороковых годов, а эти года для «обыкновенной» русской толпы были самым глухим, самым мертвым временем. Все, что родилось и провело в эти годы свое детство, все это, как бы ни был ребенок даровит от природы, было близко к потере сознания человеческого достоинства, с детства переполнялось всеми сортами трусости, приучалось боязливо мыслить, чувствовать и вовсе отвыкало от аппетита как-нибудь поступать, как-нибудь действовать... Не шевелиться, хоть и мечтать; не показать виду, что думаешь; не показать виду, что не боишься, показывать, напротив — что «боишься», трепещешь, — тогда как для этого и оснований-то никаких нет: — вот что выработали эти годы в русской толпе. Надо постоянно бояться — это корень жизненной правды; все остальное может быть, но может и не быть, да и не нужно всего этого остального, еще наживешь хлопот: — вот что носилось тогда в воздухе, угнетало толпу, отшибало у нее ум и охоту думать.

Семья, в которой я рос, была именно такая семья; семья угнетенная носившимся в воздухе молотом: «еще наживешь хлопот!» Вечное, беспрерывное беспокойство о «виновности» самого существования на свете пропитало все взаимные отношения, все общественные связи, все мысли, дни и ночи, месяцы и годы, начинаясь минутой пробуждения, переходя через весь день и не покидая ночью... Как будто кто-то предсказал всем членам этой семьи (а таких семей было много, — если не вся тогдашняя русская толпа), что в конце концов ей предстоит гибель, и как будто камень этого сознания лежал у всех на душе. С этим камнем молились богу, привозя в дом чудотворную икону, с этим камнем родили детей и хоронили их. С этим камнем шли на службу, принимали гостей, шли сами в гости. Уверенности, что человек имеет право жить, не было ни у кого: напротив — именно эта-то уверенность и была умерщвлена в толпе. Все простые, обыкновенные люди не жили — «мыкались» или просто «кормились», но не жили. Как только начинаю себя помнить, чувство какой-то виновности, какого-то тяжелого преступления уже тяготело надо мной. Так действовала на меня эта унылая, мертвая атмосфера,

созданная людьми, искони потерявшими смысл и аппетит «жизни», что я еще семи или восьми лет уже чувствовал тот самый камень на сердце, какой чувствовали все мои родственники, все мои сверстники.

В церкви я был виноват перед всеми этими угодниками, образами, паникадилами. В школе я был виноват перед всеми, начиная со сторожа — куда! — с вешалки, на которой вешал свою шинель; на улице каждая собака (мне казалось так!) только и ждала моего появления, чтоб меня если не совсем съесть, то уж непременно укусить. Мальчишки, пускавшие змеи, казались мне отверженными богом, одержимыми злым духом, порождением дьявола — так казалась громадна их дерзость: как не бояться будочника, который только и смотрит, чтобы схватить тебя и утащить неизвестно куда!.. Словом, атмосфера, в которой я рос, была полна страхов, была полна впечатлениями неприятных, неприветливых лиц, неприятных, неприветливых отношений, угроз беспрестанных, беспрерывных, неведомо откуда и как, но во множестве являющихся огорчений.

Все, что я ни видел вокруг себя, все как бы отказалось от самого себя и только заботилось о том, чтобы не погибнуть, точно было ввержено в какую-то пропасть... «Пропадешь!» носилось надо всеми мне близкими; «пропадешь, если посмеешь чего-нибудь захотеть сам, если сам что-нибудь позволишь себе...» — «Хватай невесту-то, покуда можно... а то пропадешь!» И человек хватал урода, от которого спивался... «Хватай место... останешься без места, пропадешь!», и художник, талантливый человек, «хватал» место попа, почтальона — и спивался... Ни одной светлой точки не было на горизонте. «Пропадешь!» кричали небо и земля, воздух и вода, люди и звери... И все ежилось и бежало от беды в первую попавшуюся нору.

Под гнетом сознания необходимости *пропасть,* осенявшим колыбели моих сверстников и мою, мы и влачили существование изо дня в день многие годы. Холодно было в прожитом, а впереди чуялось еще холодней, еще неприветливей, потому что с каждым годом приближалась та минута, в которую предстояло наконец-таки окончательно пропасть.

И вдруг является Парамон...

II

Помню потрясающее впечатление, которое произвело на весь наш дом первое его появление. Он вошел в калитку сада, выходившую в глухой переулок. Первый заметил эту фигуру я и, под ужасным впечатлением его шапки, от тяжести надвигавшейся на глаза и задерживаемой только носом, бросился, не помня себя, в дом... Дело было летом, все двери стояли отворенными; я бежал, не останавливаясь, через двор, через сени, через все двери, какие только ни попадались мне на пути, и, должно быть, впопыхах пробормотал что-нибудь комунибудь о необыкновенном явлении, потому что, очнувшись и отдышавшись, я нашел весь дом пустым: все выбежали на двор.

Успокоившись, вышел и я... Кучер, кухарка, горничная, няньки, дети, солдат, стоявший постоем, мой дядя, тетка, гости, которые были у нас в это время, — все это в глубоком молчании и с замиранием сердца столпилось около ворот сада и смотрело на Парамона...

Он шел медленно по средней большой дорожке. Голова в тяжелой шапке свесилась к груди и качалась как бы в забытьи; каждый шаг босыми ногами задерживался тяжелой палкой, которую перестанавливать надо было с большими усилиями. Тяжело «тукала» она в землю, и этот короткий тупой звук больно отдавался в больном сердце каждого зрителя. Что-то необыкновенное, — не то погибель, не то милость, не то само будущее, — шло к нам, и мы могли только замирать и трепетать и все до одного были убеждены, что это «святой человек».

Оцепенение и страх продолжались недолго. Не доходя нескольких шагов до ворот сада и до толпы, Парамон остановился и вздохнул: все поняли, что он очень устал, и бросились тащить кто лавку, кто стул, и в это время страх исчез, заменившись благоговением. Скоро все разглядели вериги, разглядели шапку и палку, сразу поняли, что человек свят, велик, необыкновенен, и сразу почувствовали радость чего-то нового, незлого, светлого и высокого! Нечто *совсем постороннее*, чуждое нашему несчастному, холодному, боязливому влачению жизни, пришло к нам, осчастливило нас, оторвало наши мысли от земли, по которой мы ползали ползком, подняло нашу

уныло согнувшуюся голову к небу и звездам, нежданно вошло в сердце, заставило его сильнее биться, заставило грудь вбирать больше воздуха.

Молча сидел Парамон на стуле и тяжело дышал. Мы все также молчали и жадно вбирали своими завядшими сердцами новое ощущение, ощущение чего-то постороннего земле и несомненно великого. Тяжело вздохнув и ежась от боли ран, Парамон, повидимому, с большим трудом снял тяжелую шапку и надел ее на кучера, который стоял к нему ближе всех. Шапка хватила кучеру до самой бороды, но он не посмел шевельнуться и стоял как столб; руки его дрожали. Парамон долго продержал его в таком положении, шепча какие-то слова. Надо сказать правду: плоха была фантазия у этого верного послушника «гласа» и «видения». Было у него выдумано или измышлено несколько фраз, две либо три — не больше, фраз, которые по всей вероятности должны бы были выражать какую-нибудь мысль, но, по безграмотству мужика-подвижника, не означали ничего, кроме чепухи. Не больше умения выказал он и в других приемах влияния на толпу. Другой, ловкий, умный и хитрый святоша и вериги бы сделал ременные, а не железные, и жил бы припеваючи, пуская в ход какие-нибудь уловки, но Парамон был простой человек, мужик, человек крайне недалекий, неграмотный и не выдумал ничего доходного и легкого. Вериги носил он настоящие, носил настоящие язвы и пальцы жег тоже настоящим манером, жег так, что кожа и ногти трескались на огне, да кроме того обещал еще загнать под кожу гвозди железные, и я уверен, что со временем он наверное сделал и это. Несмотря, однако, на отсутствие умения обморочить, а может быть, именно вследствие этого неумения, впечатление, произведенное им, его бормотаньем бессвязных слов, его шапкой, палкой, веригами, — было громадно: он был совсем посторонний нам, он не знал ничего нашего, не думал ни о чем, о чем думаем мы, шел по дороге в небо, тогда как мы ползли к какой-то темной «земной» яме: — вот были достоинства Парамона, и, раз оторвавшись от этого вечного ползанья, раз, благодаря ему, пустив в свое сердце что-то с неба, что-то светлое, широкое, великое, мы все до одного, из живших в семье, уже не могли расстаться с ним.

III

С первого же дня Парамон, его вериги, его язвы, его бессмысленные фразы сделались необходимы для всего дома; всякому непременно надо было слышать эти слова, необходимо было видеть эту шапку, эту палку, чтобы возобновлять в душе ощущение «постороннего» нашему жалкому, тяжкому, будничному влачению жизни. Мы, дети, были, конечно, счастливы больше всех и больше всех ожили от появления Парамона и его «посторонних» планов. Эти посторонние задачи и цели Парамона дали нам возможность убедиться, что люди, которые нас окружали, люди, среди которых мы росли, отцы, матери, родственники, — что эти люди могут радовать нас веселыми, иной раз даже одушевленными лицами, думать и говорить не об одном только горе и несчастии своего существования на белом свете. Мы неоднократно слышали после появления Парамона разговоры между нашими отцами и родственниками, не разговаривавшими никогда ни о чем, кроме бывших и будущих «неприятностей», грозящих и нам и соседям, грозящих сегодня, и завтра, и через час, и через минуту. Теперь между этими людьми начали происходить разговоры, касавшиеся совершенно посторонних предметов и решительно не имевшие ни малейшей связи с разговорами вышеупомянутого безнадежного свойства. Говорили, например, о боге, о том, что есть безбожники, о будущей жизни, о рае, аде, причем, на наше и всеобщее счастие, оказывалось, что великое множество народу, которого мы и наши отцы дрожали, боялись, как огня, неминуемо должно попасть в ад, несмотря на тройные оклады получаемого в сей жизни жалованья и каменные дома. Оказывались вообще из этих, посторонних нашей несчастной жизни, разговоров — вещи необыкновенные, являвшиеся как-то внезапно, вытекавшие сами собой, нежданно и негаданно. Иной раз, заговорив, например, о пути в рай, наши робкие, забитые, обезнадеженные отцы, помимо собственной воли, которой к тому же они решительно ни в чем, ни в речах, ни в поступках, ни даже в мыслях, никогда «не знали», — договаривались до такого простора, до такой широчайшей возможности дышать полной грудью, ходить распрямившись, что дух захватывало у бедных

людей от необъятного, сильного ощущения радости жизни, вдруг неожиданно оказывавшейся совершенно возможной и сейчас, сию минуту всем доступной. А кто не знает, как быстро и как сильно передается детям самая ничтожная радость семьи? Три-четыре разговора, изменившие лица наших отцов из несчастных в счастливые, отдались в наших детских сердцах (уже засыхавших, как увидит читатель, уже объеденных безнадежностью и огорченных жизнью) безграничною радостью. Как Лазарь, жаждавший капли воды, наша заморенная мысль тотчас, в одно мгновение, пользуясь только этими тремя-четырьмя «посторонними» смерти и тоске выражениями лиц, вся отдалась счастию знать, что есть это постороннее, огромное, беспредельное, веселое и радостное. Это сделали два-три оживленных мыслью лица только — так мы были рады и так жаждали освежающей капли!

Боже мой, сколько открылось новых, небывалых и немыслимых до сих пор перспектив! Рай, ад, правда, совесть, подвиги — все это целым роем понятий новых, небывалых осаждало наши головы! Оказывалось, что есть что-то и выше и лучше гимназии, инспектора; что есть какая-то правда, которая выше всех, выше всех пятерок и двоек; что есть какие-то наказания и для инспекторов, наказания почище сечения розгами, которыми несчастные эти инспектора обладают в совершенстве. «Пропадешь», «сгинешь» совершенно исчезли из наших понятий. Парамон, думали мы, норовил же вон «прямо в рай», в вечную жизнь, куда уж не пробраться никаким «хорошим ученикам», никаким соседям купцам, ни квартальным, никому, кто был к нам близок и пример которых, как идеал живых людей, угнетал нас бедных, забитых. Без всякой боязни этих людей, без малейшего уважения к их благополучию и счастию Парамон, вон, идет прямо к богу, в «угодники». И до чего, с высоты Парамоновой задачи, все это было ничтожно, глупо — передать нет возможности. То, чего мы вчера и боялись и страшились и чему завидовали, теперь, когда мы узнали, что есть нечто, всему этому постороннее, стало все ничтожно, мелко и даже «проклято». Что такое думает о себе купец Маломальчиков, наш сосед? Что он богач-то? Что он с полицмейстером друг и приятель и

что после него останется миллион? А что он скажет, когда черти явятся тащить его душу? Ангел никогда не придет к миллионщику! И представлялось нам, как толстую утробу Маломальчикова черти рвут железными крючьями, и противна нам была глупость, тупоумие и, главное, робость человека, который предпочитал аршинничать и угощать полицмейстера, словом — ползать как червь, вместо того чтобы находить счастие, и удовольствие, и блаженство в «постороннем», вместо того чтобы думать о «пресветлом рае»... А в раю-то! ангелы, свет. облака... *и ничего этого нет!*.. Стоит ли после этого жить так, как все эти грешники?

IV

А грешниками нам казались все ужаснейшими: ведь присутствие Парамона держало нас постоянно на недосягаемой высоте над ними. Парамон поселился в нашем саду в беседке и своим примером, своей спиной, обозначавшей кольца железных вериг, своей шапкой, палкой, растрескавшейся кожей ног и рук, своей «посторонней» всему болтовней и поступками, *никакого* смысла не имеющими (например, оборвет все завязи с дерева), держал нас в непрестанном сообщении с иным миром, в котором нет ни капли того, что есть в этом, где живут Маломальчиковы, инспектора гимназий и учителя немецкого языка. Толчок был силен небыкновенно, и благодаря ему мы неожиданно стали на дороге, по которой можно бы дойти до сознания прав живого человека на земле. Но к Парамонову толчку не было прибавлено никем ничего другого, и мы, покоренные присутствием Парамона, должны были сосредоточить все наши представления об иной жизни только на жизни в раю, как полагал и Парамон, считать обязанностью своею на земле презрение к себе и страдание, а радость, счастие и веселие жизни видеть только в мечтании. Мы поэтому морили себя голодом, представляли себя живущими на Афонской горе, насыпали гвоздей в сапоги, и тот из нас был молодец, у кого из подошв шла от этих гвоздей кровь. Беседку Парамона мы всю увешали картинками, конечно лубочными, духовного содержания: бесы,

ангелы, скелеты, старцы-мученики, виды мощей, монастырей, «уединенных мест», затворников, пещер и проч. и проч., — все это мы, наперерыв друг перед другом, несли к нему в беседку и наклеивали на стены. На потолке были ангелы, глаз божий, и, уверяю вас, этот глаз был для нас живым, настоящим божиим глазом, который решительно все видит, все — до малейших душевных движений. Под этим внимательным и чистым взором мы не смели сказать слово неправды, не смели допустить в душу ни одного дурного побуждения. Всевидящее око глядело на нас, только глядело, а у нас пробуждались понятия правды, искренности, простоты, доброты, пробуждалось все живое, все нужное человеку, чего, увы! ни единой капли не давали трудные, безнадежные условия действительной жизни.

Парамон своей детской радостью этим картинам, радостью вполне бесхитростною, возбуждал нашу восторженность неослабно. Он был неграмотен и ничего не знал, кроме того что мученики мучают себя, и поэтому бывал несказанно рад, когда мы, грамотные, знакомили его по лубочным картинкам с подлинным изложением подвигов разных великих угодников. От нас он узнал жития святых, акафисты и очень удивлялся, что все это продается и можно купить. Он думал, что все это можно узнать где-то за пятьсот тысяч верст, на необитаемом острове, у каких-то подземных старцев, которые в сто лет съедают один гриб. Он полагал, что надо куда-то идти дальше Иерусалима, что надо «сподобиться» сделать над собой невозможные истязания, чтобы узнать не все — куда! — а чуть-чуть. Необычайно он был рад, когда узнал, что все это можно было разузнать тут же, в беседке, хотя упорно продолжал думать, что «самое настоящее» еще не тут и что надо за ним идти пять тысяч верст, и так же, как прежде, думал, что без истязаний ничего, пожалуй, и не выйдет. Некоторых святых он прямо не любил. И искушения у них мало, и акафист мал, и чудес не слыхать. А иных любил. Тот угодник хорош, которому акафист тянется три-четыре часа, так что у нас пересохнут горла, изноют спины и распухнут досиня колени (мы все это производили на коленях), а сам Парамон устанет до того, что, поклонившись в землю, не в силах бывает подняться с полу.

Беседка Парамона казалась нам истинным раем. Кроме картин, мы увешали ее лампадами (весь дом помогал нам в этом) и по вечерам зажигали их. Окна беседки по вечерам бывали занавешены: Парамон молился и никого не допускал, но этот свет, проникавший сквозь занавески, свет лампад, заставлял нас пламенно завидовать блаженству, испытываемому Парамоном во время молитв. Воображение наше населяло эту беседку ангелами (они являлись к Парамону), небесным светом, голосом, доносившимся с неба. Сад, темная ночь — были, напротив, переполнены чудесами и бесами в разных видах, и одна только беседка Парамона, маленькая беседка в полторы квадратных сажени, — вот наше счастье, надежда, цель, все!

Весь дом, вся семья наша ощущала в эти минуты цель и смысл жизни человеческой. *Мы* что-то должны... *Мы* что-то можем... Не все кто-то может над нами, и не всем мы должны. Вот какие необыкновенные ощущения пришли в наше, почти совершенно утраченное сознание.

Пришли и ушли... но уж навеки!

Могли ли мы ожить, не только рожденные, а прямо зачатые в сознании безнадежности и тоски жизни?.. Не раз (не утаю этой черты) высота, на которую вознесло наши души появление Парамона, не раз эта высота казалась нам всем на мгновение чем-то чрезвычайно трудным. Это ощущалось всеми нами, повторяю, по временам, мгновениями: вдруг станет как-то необыкновенно утомительно; нам было трудно подняться на долгое время даже и над уважением к богатству купца Маломальчикова, над почитанием его громадного живота и его толстого мерина... Поднятые над *всем этим* появлением Парамона, мы иной раз вдруг испытывали пред *всем этим* сильнейшее чувство страха, во время которого *все это* на мгновение вновь казалось нам именно главным, «настоящим», способным раздавить нас за наше неповиновение. Так мало было у нас сил стоять за «постороннее» нашему ужасному и угнетенному положению дело, за постороннюю нашему обезнадеженному сознанию мысль. Но Парамон был с нами, жил тут в беседке; ангелы и бесы тут, в двух шагах от купца Маломальчикова, в двух шагах от нас самих, являлись к Парамону, ободряя и искушая его, и вообще связь с высшим, нездешним благодаря присут-

ствию Парамона не прерывалась и тотчас уносила (по крайней мере нас, детей) вновь в область неведомого, высшего, не давая овладеть нами страху действительности. Но что страх этот был во всех нас, даже в нас, детях, уже врожденным, неисцелимым, как глухота или немота, — это доказало нам всем одно неожиданное событие, которого я также не забуду вовеки.

V

Был поздний (часов одиннадцать уж поздно по-провинциальному) летний вечер; тихо, тепло было в воздухе и чудно хорошо на небе: небо было темносинее и горело звездами. Месяца не было. Вся наша семья, и в том числе мы, дети, не могли расстаться с этим чудным вечером и, почти не разговаривая, но молча наслаждаясь им, сидели в саду. У Парамона в беседке, в глубине сада, чуть теплился огонек... Мы, ребята, подкрадывались несколько раз потихоньку к его молельной, замирая сердцем, и слушали давно знакомые нам звуки: это Парамон стучит лбом об пол, молится. Никогда наша семья и мы не чувствовали такой близкой связи нас всех с высоким небом, и вообще никогда не было такой глубокой внутренней гармонии между Парамоном, его молитвой, нашими мыслями, небесами и самым даже воздухом. Так было всем хорошо, так покойно и свято чувствовалось, что никто не решался не только уйти домой, или сказать «пора», или зевнуть, но просто пошевелиться никто не мог, чувствуя, что он самым малейшим движением нарушит эту гармонию, обидит тихо настроенного соседа, молящегося Парамона, оскорбит даже самый воздух, который и сам «своей дремоты превозмочь не может»: так хорош был вечер.

Резкий стук кольцом калитки, вдруг раздавшийся раз, два и три и вдруг разбудивший собак, испугал нас. Вы, читатель, не пугаетесь, когда звонят к вам? А мы пугались... Почему? Такие уж мы испуганные люди... Или тоска, или испуг, или злорадство, — другой школы для нас не было!

Итак, мы испугались все от млада до велика. Когда стук кольца калитки повторился четвертый раз, мы уж

так были испуганы (не зная еще «отчего»), что уж и небо забыли, и Парамона забыли, и друг от друга готовы были разбежаться. В испуге этом было все: и то, что поздно, и то, что неизвестно, кто стучит, и то, что стук этот предвещает *для нас* что-нибудь худое, а главное, то, что мы все были люди, пропитанные сознанием, что за нашим забором — все против нас, что мы рождены только для неожиданного и непременно для нас «худого». Четыре громкие удара в кольцо в неурочное время сразу отрезвили нас, то есть сразу повергли нас с высоты в прах, в пресмыкание, сразу разбередили нашу подоплеку, то есть тоскливое ожидание удара, неприятности, вреда. Особенно подействовало на всех то обстоятельство, что стук кольцом был «громкий» и «частый». Все поголовно в один миг заключили, что к нам стучит кто-то такой, кому «надо». Что же от нас может быть кому-нибудь надо, кроме желания прищемить нас, прижать в угол?..

Что такое случилось? Кто-то застучал ночью с улицы в калитку. Не случилось больше ровно ничего, а между тем мы, и взрослые и дети, ждали неприятности и все перепугались. Мы не то чтобы знали, а всем своим составом чувствовали, что не пройдет минуты, как мы окажемся в чем-нибудь необыкновенно подлы, словом — узнаем нечто такое, что нас прямо бьет по лицу, тыкает этим лицом, да и не лицом даже, а «рылом», рылом-то тыкает в землю, кому-то под ноги.

Точно на смерть, как истинный герой, решившийся тотчас, сию минуту, сложить свои кости, тронулся, наконец, на этот стук мой дядя. Он пошел быстро, не оглядываясь, и мы, оставшись в саду, понимали, что он «решился», что он пошел так потому, что сказал себе: «Во всем воля божия, пропадать так пропадать!..»

И, не изменяя своей отчаянной походки, дядя прошел сад и скрылся в дали двора, в темноте. Некоторое время не было слышно ни единого звука. Собаки примолкли — они были одной с нами школы. Мы замерли. Ни звука. Всякий слышал биение своего сердца и шум крови в ушах, всякий из нас «покорился и ждал», так как по уходе дяди испуг перешел уже в явное сознание угрожающей опасности, опасности неминуемой, которая висит над нашими головами; никто уже не сомневался, что это — опасность, и всякий «покорился и ждал».

Идут! Идут по дорожке двое, один — дядя, другой... не разберем, кто такой этот другой?.. Разговаривают о чем-то...

— Помилуйте! — слышно убедительно-низкопоклонное и нищенски-умоляющее слово дяди...

«Так!» тупым тяжелым ударом отдается это у нас в сердце... А дядя и неизвестная фигура, которая пришла ночью и ни с того ни с сего заставила немедленно просить у себя помилования, эта фигура приближалась.

— Это насчет Парамона.... — произносит дядя шопотом, ровняясь с нашей окаменевшей группой, и прибавляет: — Ничего!

Фигура оказалась квартальным.

— Он тут какие-то лекарства дает?... — говорила фигура спокойным, как говорят опытные доктора, тоном: — давно ли он у вас?..

Мы все тотчас «сознали», что виноваты, так как Парамон поселился у нас давно...

— Н... н... н... — дребезжал дядя...

— Паспорт есть у него?

Едва было сказано это слово, мы мгновенно и искреннейше узнали, что мы не только виноваты, но и глупы... «Об аде да об рае толковали... а паспорт? Где у него паспорт, у Парамона? Без паспорта — так и святой?..» И тысячи подобных вопросов каждое мгновение пробегали в нашем сознании, все более и более определявшемся. «Как мы, глупые, могли забыть этот паспорт! Разве это ничего не значит? Паспорт-то забыть! Беспаспортный, и ангелы являются! Ангелы! Паспорт-то где?» И нам казалось, что и ангелы-то, заслышав этот вопрос: «а где паспорт?», разлетаются от Парамона кто куда, точно испугавшись и одумавшись. А это действительно отлетал от нас ангел пробужденного сознания! Да! мы, дети, уж больше могли любить только то, что нас бьет, давит, чем то, что дает нам право свободно дышать и жить. В одно мгновение, от одного появления квартального, от двух его жестоких вопросов, мы уж считали квартального «настоящим», а Парамона и все, что принесено им, — не «настоящим», во всяком случае неравносильным с значением квартального.

— Позвольте-ко взглянуть, где он у вас?.. — так же, как доктор о пациенте, спросил квартальный и сделал шаг вперед.

— Не сюда-с! — поспешил предупредить дядя и торопливо повел ночного гостя в другую сторону, к беседке. Все, что дал нам Парамон своим присутствием, все доброе, светлое, чистое, невинное, простое, душевное, словом, все, что мы пережили вместе с ним благодаря ему, — все на мгновение воскресло в каждом из нас, и слезы душили всех. Парамон воскрес в нас вновь, во всей божественной, неземной красоте, и до чего было в нем хорошо все, решительно все, от ног, грязных и в болячках, до волос, висевших длинными нерасчесанными прядями, — я не могу, не в силах передать теперь! Мы чуяли, что потеряли все это, чуяли опять предстоящую нам тьму. Эта тьма так была ужасна, что у нас, у ребят, вдруг захватило дыхание сильнейшею судорогою слез. Мы побежали, не могли оставаться и сидеть, но подойти к самой беседке не могли — не то что боялись, а просто «не могли», как не можешь отрубить себе пальца...

Видим: у Парамона огонь; стучат к нему; стучит дядя. — «Кто-о-о?..» — «Я, я! — кротко, но фальшиво, как подкрадывающийся вор, шепчет дядя. — Отвори-ко!..» — «Господи Иисусе... о-о-о...» «Устал Парамон на молитве,— думаем мы, — задремал было, бедный!» Долго не отворяет он. Мы знаем, что он не может скоро подняться, если только лег или стоит на коленях; знаем, что у него к ночи все болит, ноет спина, руки и ноги... Мы знаем, как он, поднимаясь, захлебывается от жгучей боли язв; мы знаем, как неожидан для него, бедного, измученного, этот гость; знаем, жалеем, ужасно жалеем, но не менее боимся и этого гостя. Нам было жаль Парамона, жаль всей душой, и мы боялись, как бы нежданный гость, наскучив ждать, покуда он отворит, не застучал бы в дверь кулаком... Но когда в самом деле прошло еще минуты две-три, а Парамон не отворял, ощущения наши изменились: мы уж только боялись, как бы не рассердился гость. «Ну же, ну, Парамон Иваныч!» — уж с некоторым нетерпением в голосе произнес дядя, после того как гость громко кашлянул. А после этого кашля мы уж почти обижались на Парамона... «Эк копается!» — прошептал кучер, который, как и мы, жалел Парамона две минуты назад...

«О-ох-х!..» — слышалось из глубины беседки; слышались тяжелые, редкие-редкие шаги Парамона, но дверь не отворялась. Гость, наконец, застучал-таки, а мы, как только он загрохотал кулаком в дверь, уж все были недовольны Парамоном, его невежеством. Мы уж забыли, что его ждет горе, а думали о том, как это он заставляет ждать это горе, это неожиданное несчастие? Почему это мы полагали, что гость прав, придя разорять гнездо измученного человека, а измученный человек неправ, заставляя подождать своего разорения? Несомненно, что у всех нас было сердце, но сердце это уже поколениями приучено считать худое — правдой и основой жизни, все приносящее несчастие, притесняющее — настоящим, стоящим, а простое, доброе, незлобивое и светлое — хоть и хорошим, но не особенно важным сравнительно с первым.

Парамон, наконец, отворил дверь.

— Чево тут?.. Ты, что ль — Иваныч?.. — как труднобольной, еле поднявшийся с постели, говорил он... Он, очевидно, устал и только что задремал; у него, по всей вероятности, ныло все тело.

— Вот... тут, — начал дядя: — к тебе!..

— А-а? О-ох, владыко живота моего! Чево-о?

— Вот тут...

— Тут есть до вас дело, — перебил гость, — позвольте войти.

— Войди, войди! — крестясь и, видимо, ничего не подозревая, проговорил Парамон и еле поплелся от двери.

Вошли. Приблизились к беседке и мы...

Парамон, добравшись до кровати (голые доски), сел, опершись ладонями в эти доски, и, слабо охая, опустил голову на грудь.

Мы думали, что он «испугается», и ждали испуга. Нет! Парамон только охает...

— Вы откуда родом? — оглядывая стены, увешанные картинами, спросил квартальный и, поглядев на всевидящее око, глянул на дядю. Дядя глянул в открытую дверь, а мы глянули друг на друга. — «Что настряпали?» — говорил нам взгляд дяди. «Не я один — и ты!» — взглядывая друг на друга, говорили мы и сознавали, что поступили преступно.

Это все — дело одного мгновения.

— Родом откуда вы? ваше звание?..

— Чево хочешь? — ничуть не пугаясь и даже не думая взглянуть и рассмотреть хорошенько пришедшего, произнес, охая, Парамон.

— Родом, родом откуда, какой губернии?

— Родо-ом?.. Кур... о-ох ты, мать пресвятая!.. Кур... о-ох! погоди-погоди!..

Парамон, всхлипывая от боли в спине, осторожно поводил плечами, желая подвести под вериги здоровые, неизъязвленные места тела.

— Курский, брат, о-ох, курский...

И опять помолчал и поохал.

— А волость наша — Почиваловская... Аль сам-то курский?..

— Полиция получила бумагу о разыскании беглого крестьянина Почиваловской волости, Парамона Денисова... Ты Парамон Денисов?

— Денисов? я!

— Парамон?

— Парамон! Парамон, брат, Парамон!

— Женат?

— Был женат, а вот уж восьмой год разженился.

— То есть семью бросил?

— Мне глас был...

И ни капли не испугался, даже тона допрашивающего не замечал, а говорил как всегда и со всеми.

— Разженился, братец ты мой! Сподобил меня господь...

— Паспорта нет?

— И-и! как-кие паспорты!.. Чево там... на что мне!.. У меня паспорт господний... не надо мне этого!

Сказано было все. Все замолчали на минуту.

— Испужался я!.. — ласково глянув на дядю, проговорил Парамон: — застукал ты, испужался... Думал, уж не *черненький* ли (так Парамон называл бесов) балует тут... ан это ты пришел... Побудь. Ладно у меня тут-то... Дай бог тебе, успокоил меня!

«Ведь подводит нас всех под обух!» — подумали мы единодушно и решительно вознегодовали на дурость Парамона... Но главное, что охладило к нему, — это *именно его безбоязненная уверенность в своей правоте.* Испугайся он, засуетись, начни врать, кланяться, — мы бы поняли

его. Но видя, что он ничего не делает, ни капли не боится, а просто и без всякого сомнения в себе, в своем положении и поведении продолжает верить в свое дело, — это сделало нас совершенно равнодушными к его положению: мы «не могли» понимать такой верности самому себе, она нам казалась глупостью. Посудите: пришли из полиции, разыскивают, спрашивают паспорт, а он говорит: «мне глас был!» Вот сию минуту его «возьмут в темную», а он говорит — «побудь, побудь, посиди!», точно в самом деле гостей принимает. Тут человек еле дышит, боится, как бы его не притянули к делу за то, что дал приют беспаспортному, а беспаспортный, как на грех, «ляпнул» при «самом» квартальном: «это ты меня успокоил». Ну не разиня ли? Ну, что бы ему испугаться, заерзать «по земи», если нужно, на коленках, попросить прощения, дать взятку (наверно, припрятывает деньги-то! внезапно осенило нас), а он болтает бог знает что, да еще без паспорта, да других подводит! Бог с ними — с этими святыми!.. *только беды наживешь!*

Это не только взрослые и опытные думали, но и мы, дети, так широко осчастливленные Парамоном, и мы чувствовали, что бог с ними, с этими святыми: только беды наживешь!..

— Как же теперь? — тихо сказал квартальный дяде.— Ведь надо его отвести...

— Парамон Иваныч!.. — окликнул Парамона дядя.

— Что, золотой?

— Вот они говорят, нельзя, мол...

— На место жительства, — прибавил квартальный, — вас требуют.

Парамон поднял голову...

— Меня, что ли?..

— Да, — продолжал дядя, — вас требуют на место жительства...

— Ну во-от! Что мне там!

— Нельзя!.. Требуют!

— А пущай!

— Да нельзя же ведь!.. — уж с нетерпением произнес дядя.

— Чево там — нельзя... ну!..

Это неуважение к «нельзя», которое мы почитали еще в утробе матерей наших, просто взбесило всех; даже нас,

детей, взбесило. «Как «пущай»? — обиженно думали мы. — Начальство требует, а ты — «пущай»!»

— Что — «ну!» — обидевшись, проговорил квартальный. — Что тут «ну»? Когда требуют — так тут нечего нукать...

Парамон ничуть все-таки не испугался, а не умел понять, что ему говорят, и робко ответил:

— Ну господь тебя помилуй... Ничего! Что там!

— Опять-таки не «ничего», а требуют по этапу, домой! — произнес квартальный, мало-помалу входя в аппетит притеснения.

— По этапу, Парамон Иваныч! — пояснил дядя.

При словах «по этапу» мы опять стали все жалеть Парамона...

— Пущай! — опять ответил Парамон, ответил так, не понимая, и опять мы перестали его жалеть... Хоть бы тут-то он испугался! Или хотя бы тут-то понял, что он «ничтожество»!

— Ну, — проворно заговорил квартальный: — разговаривать тут нечего! Я должен тебя взять с собой...

— Где живешь-то? — простодушно спросил Парамон.

— Вот изволь собираться, и пойдем. Там узнаешь.

— Ох, трудненько, трудненько... пущай бы утречком прибежал! За семейку помолился бы.

— Ведь это вас в часть ведут, Парамон Иваныч! — пояснял дядя, явно негодуя на глупое предложение молиться в части. «Часть — это вещь серьезная; должен же ты понять, что там не до твоих глупостей!» — вот что, казалось, хотел он сказать своей фразой.

— Ну что ж, эко! — отвечал Парамон. — Помолюсь, ничего... Добрый человек... Все люди, все человеки...

Говоря это, Парамон, очевидно, и не думал идти.

— Ведь сейчас надо! — опять нетерпеливо пояснял дядя.

— О-х, сейчас-то!.. Чего уж? Утречком добегу...

«Что ты будешь делать с этакой дубиной!» — подумали и почувствовали все мы, не исключая и квартального.

— Ну вот что!.. — не вытерпел квартальный. — До завтра он останется здесь...

— Слышишь, Парамон Иваныч! Остаешься до завтра! — сказал дядя.

— Утречком, утречком!

— Остается под вашей ответственностью. Все, что здесь есть (квартальный указал на стены), все должно так и остаться до завтра, до моего прихода... Изволите слышать?

— Пом-милуйте!..

— Завтра будет составлен протокол... Что это, — часовня, что ли, у вас? — вновь оглядывая беседку, произнес квартальный.

— Помилуйте, господин надзиратель! Рябятишки... баловство, больше ничего!

— Сколько времени он у вас живет? Отчего вы не донесли в полицию, что у вас беспаспортный?..

— Господин надзиратель...

— Хорошо-с! Завтра все разберем... Так чтобы все как вот теперь, все чтоб осталось. Я все помню.

Надзиратель, очевидно, стоял на твердой почве, чувствовал себя легко, свободно, знал, что его дело сделано, и попирал нас всех каждым своим вопросом, каждым словом. Дядя в ответ ему испускал только полуслова — «помми...», «господин надзир...», опять «пом...», «будьте покойны; будддте покойны!» и т. д.

— Ну, со Христом! По домам, ребятушки! — неожиданно произнес Парамон: — поздно-о! Поздненько! Немогута!.. Со Христом, ступайте! отдохнуть надо мне, окаянному...

— Ладно, ладно, отдохнем, не беспокойся! — не спеша направляясь к двери, проговорил квартальный.

— Ну, спаси-те Христос!.. Устал ведь!..

— Хорошо-хорошо... Так до завтра!..

Квартальный спустился со ступеньки крыльца в сад. Дядя пошел вслед за ним.

По уходе дяди и квартального мы, дети, и некоторые из домочадцев продолжали оставаться в саду. Всем стало легче, когда кончилась эта сцена, но в то же время все мы чувствовали, что теперь, после того как ушел незваный гость, мы уж стали не те, какими были до его прихода. Парамон, как и всегда, сидит в своей беседке; как всегда, огонек лампадки чуть светит из-за занавески, и беседка была та же самая, что и пять, десять минут назад (вся сцена продолжалась не больше десяти минут); все было то же самое — и Парамон, и небо, и воздух, — но мы были уже не те. В десять минут мы позволили пережить на-

шему сознанию и сердцу такие скверные ощущения, такие гадкие чувства, такие подлые предательские мысли, и притом в эти десять минут таких скверных и гнусных мыслей и чувств обнаружилось в нас так много, их такое открылось обилие в недрах нашего сознания и сердца, что все, так недавно близкое, родное нам — Парамон, беседка и небо, — было теперь ужас как далеко от нас! Между нами была наша измена, внезапная и глубокая; отделаться, изгладить ее следы не было никакой возможности: измена шла, помимо нас, из глубины сердца... Мы узнали, чего не знали прежде, что мы — истинное ничтожество, узнали это теперь в глубине своего сердца...

Горели звезды в небе, благоухал воздух, ангелы приходили, как и всегда, к беседке Парамона, — а мы уж и не смели ни думать об этом, ни наслаждаться, ни радоваться...

Мы теперь чувствовали себя предателями!

Темное, холодное и унизительное вошло тогда что-то в наше детское сознание, а главное — в сердце. Мне лично казалось, когда ушел квартальный, что я как-то даже ростом стал меньше и с боков съежился, точно кто меня окорнал по краям и охолодил все мое нутро.

— Будет шататься-то! — не входя в сад, со двора закричал дядя. — Дошатались вот... пошли спать.

Он был вне себя.

Все разбрелись по своим местам, чувствуя себя преступниками, изменниками... Я спал, завернувшись одеялом с головой и испытывая впервые вполне сознательно полную безнадежность моего существования. *После этого* я — чужой всему, никому не нужный и себя не уважающий человек. Я уж знал с этого дня, что себя я *не могу* ценить ни во что: факт был налицо. С этого вечера я стал страдать бессонницей и, утомленный, засыпал тяжело, точно опускали меня в темную, сырую, холодную, бездонную яму...

Проснувшись поутру, мы узнали, что Парамона уже нет в нашем доме.

Пусто и холодно стало нам; но благодаря дяде эта пустота была тотчас замещена чем-то другим. Этот бедный человек, попавшийся в беду самым положительным образом (протокол, мы узнали, был уж составлен), терзался больше нас всех; больше нас всех он чувствовал

себя предателем, изменником и одновременно с этим негодовал на себя, как на дурака, позволившего себе увлечься на старости лет какими-то посторонними интересами. «Дурак! Старый дурак!», «Подлец! Предатель!» одновременно разрывало его душу. «Отчего ты не заперся? Чего ты испугался? Сунул бы ему красную! Человек-то цел бы был... Связался с беспаспортным!.. Угодники! вертись вот за них... Святой человек!.. Пальцы жжет... а теперь вот, поди-ка, с протоколом-то!..»

— Что вы тут дрыхнете до двенадцатого часу? — истерзавшись от сознания и глупости и низости своей, закричал он, войдя в комнату, где мы, дети, спали. — Пошли в беседку!.. Сейчас вставать!..

Он шатался по всему дому, орал на всех и на все...

Мы не только не сердились на него, на этот крик и брань, но жалели его, зная, как ему скверно на душе и что он именно от этого и мечется и бесится.

— Погоди, разбойник, — кричал он на дворе на кучера. — Я вот увижу барина, я ему про тебя... пусть вспишут! Кан-налья этакая!.. Кш! Что вы распустили тут кур? дурье этакое! — неимоверно возвышая голос и очевидно желая проникнуть им со двора в самую глубь дома, продолжал он, — я вот доберусь до вас, разини! Эй, где вы там!..

Мы оделись, бегом побежали в сад, в беседку, как приказал нам дядя. Не добежав до нее, мы слышали, как он что-то там уронил на пол, потом что-то выбросил на дорожку, не переставая ругаться.

— Что рты разинули? — завопил он, завидев нас. — Настряпали делов? В гимназию ходить — «болен», а болтаться мастер? Ничего, погоди! я вас приведу к одному знаменателю... Возьми метлу-то, дубина!

Ругался он и рвал со стен беседки картинки, которые мы наклеивали с такою любовию.

— Ммон-нахи! Как же!.. подвижники тут завелись!.. поррросята этакие! взодрать хорошенько!.. инспектору вот!..

...И ангелы, бесы, подвижники... все это клочьями валилось со стен и проворно, при содействии нас, детей, метлами выметалось из беседки. Из наших светлых ощущений вырастали кучи сора под нашими же руками,

и скоро ничего, кроме этой кучи у порога беседки и пол-всевидящего ока на потолке, не осталось от светлого эпизода нашей жизни... Пол-всевидящего ока, то есть полглаза, и потом голые доски — этот уцелевший кусок прошлого — особенно как-то успокаивал нас в нашем унизительном положении. Разодранное, оно хоть и глядело чуть-чуть и половиною зрачка, но торчавший из-за него лоскут с гербом (на подклейку шли казенные бумаги) и потом доски уничтожали все впечатление смотрящего глаза и практически удостоверяли нас, что оно едва ли что видит: «бумаги и доски!»

Ощущение успокоения в нашем унижении, испытанное нами благодаря разорванному и уничтоженному оку, было для нас ново и облегчало душу. За это ощущение рады были ухватиться все...

Нельзя же в самом деле удовольствоваться только сознанием своей ничтожности (а все мы знали это доподлинно). Носить это бремя тяжело; хоть по временам хочется считать себя не совсем ничтожным и хоть капельку правым; и вот волей-неволей, именно вследствие нашего ужасно тягостного душевного состояния, мы все как бы согласились врать в собственную свою пользу, облегчать себя, доказывая собственную правоту всеми неправдами. В сущности мы не были виноваты в том, чем были. Но нельзя же жить годы, изживать век, довольствуясь только такою невинностью... Чтобы не задохнуться в своем ничтожестве, которое, повторяю, в деле с Парамоном было доказано нам самими же нами, мы должны были волей-неволей искать спасения в лганье, в выдумке: — ничего, никакого другого ресурса у нас не было...

— Да, — как бы нечаянно вспоминая, произносил дядя во время какого-нибудь вовсе не относившегося к нашему несчастному положению разговора: — Парамон-то! рассказывали у нас, у него, брат, семь человек детей... Всех бросил, побираются, а он вот... поживает! Говорят, в Киеве, у купчихи, у богатой...

— Вот те святой!.. — отзывался кто-нибудь из семьи иронически.

И врали оба: сверлило всех парамоновское дело, и все выдумывали что-нибудь, от чего бы полегчало.

— Они, эти угодники-то, тоже ловко!.. — раздобаривал даже кучер (ведь и он вздыхал о Парамоне

тайком!): — без паспорту шатается себе... да!.. Вериги надел, да и того, например... очень прекрасно они в эфтом деле, ежели с купчихами...

— У них и вериги-то фальшивые, — прибавляет кухарка. — Им бы только так, шаромыжничать...

— И то правда! — уже совсем весело произносит кучер.

Ведь ужас как легко становится виноватому человеку, когда он думает, что он вовсе не виноват. «Шаромыжничество!» — это слово кухарка сказала именно для того, чтобы нанести, с позволения сказать, такую «оплеуху» своему ноющему сердцу, дать ему такого тумака, чтоб оно перестало плакать. И кучеру стало весело, что кухарка отыскала этот тумак в таком ловком слове...

— Я не возьму паспорта, ты не возьмешь, другой не возьмет, третий: что ж это будет? — заводил речь, все в тех же видах успокоения, и дядя, когда уже, в смысле надувателя, Парамон был исчерпан и когда требовались материалы для облегчения совести из таких областей нравственности, которых мы обыкновенно и касаться не смели и не понимали (куда нам!).

— У иностранцев этого нет, — прибавлял он. — Как это можно? Поди-ко у иностранцев-то не возьми паспорта? Там, брат, вот у каких, у младенцев, а уж нумер есть!

Мы знали, что все это неправда, но довольствовались представлением, что и Парамон *также* виноват в чем-то... «не всё мы!»

Итак, мы врали и врали и понемножку привыкали лганье делать облегчающим нашу жизнь элементом. Соврал — и точно дело сделал, и, главное, ведь врать-то приучались ради самих себя! *Сами врали себе, для того чтобы жить,* чтоб не сознавать своего ничтожества, нравственного бескрылия, чтобы не ощущать ежеминутно так прочно возделанной в душе трусости, чтобы не терзаться сознанием не менее прочно возделанного... увы! почитания к кулаку, к тому, что изуродовало нас и заставило нутром чтить руку «бьющего», паче ближнего и паче самого себя! Лганье, вздор, призрак, выдумка, самообман и прочие виды лжи, неправды — единственный выход из ущелия, образуемого с одной стороны кулаком, уродующим тебя и заставляющим тебя ежеминутно самого убе-

ждаться, что ты никогда неуродом и не был, а с другой — неотразимым сознанием, что ты урод и что кулак выше тебя неизмеримо! Одно и выходит — ври и живи!

Вот какие феи стояли у нашей колыбели! И ведь такие феи стояли решительно над каждым душевным движением, чем бы и кем оно ни возбуждалось! Не мудрено, что дети наши пришли в ужас от нашего унизительного положения, что они ушли от нас, разорвали с нами, отцами, всякую связь!..



СТОЛИЧНАЯ БЕДНОТА
(Мелкие очерки)

1. СТАРЬЕВЩИК

(Из московской жизни)

Зима, жгучий мороз.

Задолго еще до первого колокола, до первого визга извозчичьих саней по закаленному лютым морозом снегу начинает пробуждаться жизнь на столичном дворе. В грязных клетушках, в нижних этажах, где гнездятся сапожники и портные, напоминающие миру о своем существовании скромною вывеской, уставившейся своим золотым сапогом или растопыренными ножницами куда-нибудь в стену, в кучу дров или в такой угол, куда с незапамятных времен не забредала ни единая человеческая нога, — в этих-то сырых подземельях, обдающих свежего человека какою-то кислятиной вместо воздуха, прежде всех просыпается людское горе, с вечера «звонко» залитое в кабачке под известным заглавием: «Уединение», «Мечта», «Перепутье». Просыпается оно в тощей фигурке сапожника Сидора Иванова, портного Ивана Сидорова и, запахиваясь рваным халатом, сквозь который мороз запускает свои колючие, как иглы, лапы, ежась, бежит опохмелиться, «поправиться», обыкновенно пуская ребром последний пятачок, а за отсутствием его — собственный жилет, сапожную колодку, женин платок и вообще все, что ни подвернется под руку. А навстречу ему уютное пристанище с отрадною надписью: «распивочно» давно уже распахнуло свои гостеприимные объятия и ежеминутно погребает за своей почерневшей дверью весь этот болеющий люд, испугавшийся при дневном свете собственного безобразия и старающийся куда-нибудь скрыться даже от самого себя. Этот же внутренний испуг заставляет

до свету убраться со двора увлеченную юнкером Тесаковым камелию, вчера же претерпевшую множество оскорблений от высоконравственной хозяйки, у которой господин Тесаков нанимает комнату и которой уже давно ничего не платит. Виляя своею измятою юбкою, нетвердою поступью бежит она через двор и, выйдя за ворота, направляется в сторону «Крымского ада».

Где-то ударили к обедне. Жизнь на дворе шумит сильнее и сильнее: тащится с салазками молочница; со скрипом въезжает водовоз вместе с бочкой, составляющей как бы один довольно объемный кусок льду; медленно плетется на дровнях с угольями весь почерневший от соседства с ними мужик и, став посреди двора, громко кричит: «уголь!», выставляя при этом свои белые, как снег, зубы. Просыпаются рачительные хозяева и спешат на рынок, причем, выйдя за ворота, крестятся и кланяются на все четыре стороны. Просыпается харчевник Кузьма Шестов и выкатывает собственную трехобхватную особу на крыльцо, находя почему-то нужным почесаться непременно в виду всей улицы. Он так толст, тучен, жирен и тепел, что от него идет как бы дым и пар, в то время как исхудалого оборванца жжет, щиплет и душит лютый мороз. Из-под извозчичьих полозьев несется неумолкаемый визг и как бы какой-то бесконечной визгливой струей вьется над всем городом. Из труб медленно ползут кверху столбы дыма, застилая собою небо, и сквозь эту дымную занавеску тускло смотрит, колеблющимся пятном, красное солнце морозного дня.

В это время посреди двора стоит старьевщик. В теплой дубленке, в теплом картузе и валенках, он не боится холоду и поэтому не спеша попевает свою песенку:

— Ссстаррова тряпья... старых сссаппагов нет ли продавать?

Попоет-попоет, поправит подмышкой аккуратно сложенный кулечек и поведет глазами по окнам, преимущественно заглядывая или вверх под крышу, или вниз в подвал, откуда печально смотрят эти микроскопические продолговатые оконца, летом сплошь забрызганные грязью, а зимой скрывающиеся за напухшею грудою снега, льду и сосулек.

Смотрит старьевщик, постукивает нога об ногу и снова тянет свою песенку, и поет он ее таким заунывным голо-

сом, так плакуче, что ее слышит только та непроходимая голь-нищета, у которой вся надежда на существование — это старые голенища, да и то тогда только, когда за них сподобит господь заполучить копеек двадцать.

Где-то вверху открылась форточка, женский пискливый голос позвал старьевщика, и скоро он, шагая по грязной, обмерзлой лестнице, расспрашивал у добрых людей: «Как пройти в квартиру мещанки Слезовой?»

Мещанка Слезова сама утверждала, что господь наложил на нее особый крест, который она должна нести до гроба. Крест этот она называла совестью.

— Наделил меня, батюшка милостивый, наделил! — говаривала она. — И столь он, батюшка милостивый, наделил меня, что всякий может мне на шею сесть! — добавляла она, заливаясь горючими слезами.

Не неси она этого креста, ей не нужно было бы теперь сбывать оставшийся после покойника мужа хлам, потому что сама она с голоду не умрет: женщине много ли нужно? «Так, пожевала-пожевала что-нибудь всухомятку — и сыта». А на это, разумеется, хватит; стало быть, с этой стороны и толковать нечего. Но ее постоянно мучит постоялец, отставной прапорщик Волшебнов, непременно требующий обеда, да еще старуха Митревна, уже третий день проклинающая, лежа на печи, и жизнь свою сибирную, и соседей, и хозяйку, — старуха, которая ежеминутно молит бога о смерти, и притом только потому, что в эти три дня ей не удалось потешить чайком свою ветхую утробу... Можно было бы уладить дело и с этой стороны, можно было бы доложить Волшебнову, что уверение в благородстве хоть и важная вещь, но что в лавочке за него не дадут и ваксы на две копейки. Да и Митревну можно было бы посдержать, напомнив, что, «мол, я, Слезова, не из корысти держу тебя, не из корысти пою-кормлю, а только ради холода твоего да голода, соболезнуя твоему горю, от которого и самой некуда деться...»

Но, видно, так уже была устроена Слезова, что мысли о заступничестве за собственный карман она никаким образом не допускала близко к себе, и потому-то ежеминутно терзалась и голодным желудком прапорщика

и жаждою старухи. В подобные минуты ей даже казалось, что на нее с укором смотрят и холодная печка, и пустые горшки, и согнутый на сторону самовар... «Что же ты, говорят будто бы эти враги, топи, что ль, меня? А! тебе нечего варить во мне, хозяйка тоже!.. Тьфу ты! вот что ты, а не хозяйка!..» А занятые третьего дня у соседки три куска сахару... Господи! — какими камнями лежат они на ее честной, правдивой душе!

Сообразив такое состояние людей, обитавших в кухне, читатель, может быть, поймет, что небесная помощь, в каком бы то ни было виде, здесь ждется всеми, и поэтому очень естественно, что старьевщика, как воплощающего в своей плутоватой фигуре эту помощь, приняли здесь с распростертыми объятиями.

— Куда тут? как бы кадушку-то не того... опрокинешь неравно! — говорил он, влезая в кухню и втаскивая с собою тучу холода, которым и без того изобиловало жилище Слезовой. Шурша своим точно железным от мороза тулупом, на ходу зацепляя им ухват, сковородник и кочергу, старьевщик вступил в соседнюю комнатку, до того микроскопическую, что помещавшиеся в углу образа занимали чуть не целую ее треть. Тут же стояла кровать, а на стене болталось зеркальце, имевшее особенную способность стягивать все черты лица в одну точку, к концу носа.

Войдя, старьевщик произнес: «доброго здоровья!», уложил на пол свой мешок, шапку и рукавицы, обтер полою полушубка заледеневшие усы и холодно произнес:

— Продаете что?..

— Да, вот кой-что есть! — говорила Слезова, нагибаясь к полу и запуская под кровать палку.

— То-то, продавайте, я ноне добрый... Сейчас издохнуть!.. Такой милостивый, и-и-и!.. натощак не выговоришь... Меху нет ли? галунов? Пошарьте!

— На-кось, вот, сюртук... годится ли?

Принимая в руки сюртук, старьевщик окинул его зорким глазом «с одного маху», и, заглядывая в мельчайшие закоулки, нападал на такие пятна, прожженные дырья и изъяны, которые Слезовой очень желалось бы спрятать... И вот от этой-то зоркости старьевщика каждая дыра на поле или на рукаве прожигала такую же дыру и в ее сердце.

Вскоре из-под кровати, при пособии палки и кочерги, которою орудовала старуха, появились на свет божий, вместе с кучею сора и неизвестно откуда взявшегося пуху, старые, совершенно желтые панталоны покойного супруга Слезовой, Онуфрия Максимыча; потом заплесневелая бутылка с продавленной внутрь пробкой и, наконец, чей-то, бог весть каким образом попавший сюда, форменный картуз с зеленым околышем и разорванным козырьком. Все это будило в голове Слезовой забытое прошлое, поднимало и вихрем несло ее прошлые скорби. То представлялось ей, как покойник супруг-парикмахер, в видах барышей перебравшийся в Петровский парк на дачу, вдруг запил, запропал в городе и, наконец, совсем пропал без вести. А тут зима. Лес опустел, снег сугробами одел дорогу в Москву, а мороз уже успел проглодать углы в дощатой хибарке. Со слезами на глазах, завернув в полу заячьей шубки свою Лизу, которая теперь где-то в белошвейках на Дмитровке, бредет она, Слезова, в Москву, к Каменному мосту: «дескать, не распознаю ли у сродственников про Онуфрия Максимыча?» Ветер дует в упор, вязнут в сугробах слабые ноги, а идти далеко! Добрела. «Не у вас ли, Марфа Марковна, супруг мой?» А супруг, будто кругом виноват, смирный такой, услыхал из другой комнаты и кротко таково говорит: «А, говорит, Аксюша! ты это... здравствуй! виноват я, Аксюша!..» И присела она в то время на оконник и сидела ровно бессловесная, потому — и слеза нейдет, и слова выговорить нельзя... Или вдруг, — смешно сказать! — эти желтые панталоны, протертые на коленях и заплатанные синим тиком от жениной шубы, какую страшную сцену воскрешают они в ее памяти! Помнится ей, как вот в этих самых панталонах, над которыми старьевщик покатился со смеху, привезли Онуфрия Максимыча замертво. Подняли его добрые люди где-то на улице; а оттого он довел себя до этого, что не на добрые деньги вздумал гулять: пустил ризу с венчального образа, «раздел» его, батюшку, донага! И вот он в больнице; то хочется ему огурчика, то селедки, то кваску, — и Аксюша с каким-то особенным искусством, рождающимся только в пору высокой привязанности, умеет протащить ему эти продукты, утаив их от зорких глаз начальства, где-нибудь на груди, в концах головного платка или под полою. «Виноват я, — говорит

больной, — много я тебя, Аксюша, бивал понапрасну, ни за что, и много я у господнего престолу должен ответу дать за мои буйства и кровопролития! Только прости ты меня, Аксюша, здесь, на сем свете, потому и без этого я, новопреставившийся раб божий, должен идти в муку вечную. А под подушкой, на Лизино счастье, узелок есть, и скопил я там, на ассигнации, сто рублев...»

И много-много еще!..

Осажденная этими воспоминаниями, Слезова с каким-то замиранием сердца расставалась с разным хламом, пробуждавшим в ней эти трогательные воспоминания и теперь валявшимся на полу кучей какой-то рвани. Старьевщик все принимал и даже старался ободрить хозяйку, видя, что она конфузится, подавая какой-нибудь шерстяной носок с дырявой пяткой или заплесневевший картуз: он надевал носок на руку, утверждая, что из него очень легко сделать варежки; примеривал картуз, и примеривал таким ухарским манером, что даже Слезова не могла не улыбнуться, а старуха просто плюнула, проговорив:

— О, шут тебя возьми, пугало воронье!..

Наконец, сев на пол и подобрав под колени весь собранный скарб, старьевщик придавил его растопыренною рукою и произнес:

— Еще чего нет ли?

— Нет, больше ничего нету.

— Пошарьте!

— По комодам разве?

— Ну, по комодам... Галунов нет ли?

— Нет, галунов нету... Ничего больше нету!

— Ну, так, стало быть, сколько? Говори, мать, по-божьему?

— Что мне? Я по-божьему...

— Ты сам-от по-божьему-то! — произносит старуха, чувствуя потребность заступиться за Слезову, потому что теперь она уже не сомневается в возможности посидеть за самоварчиком.

— Мы завсегда по-божьему. Мы люди, бабка, во как — одно слово!.. А я, милая моя, вот как: я свою цену даю, ты свою... Что же? разберем так: сертук этот самый, что говорить, очень он превосходен, и дадут нам за их милость двадцать копеек, а мы, значит, даем ему назна-

чение — гривенник по той причине, как и нам самим преферанц надобен. Так-то-с!

Все выражают крайнее негодование; но старьевщик, кажется, и не слышит этого и спокойно продолжает речь, примеривая картуз:

— Они теперича... Какое об них мнение? Мнение будет высокое! А цена трынка. Так ли, милочки мои?

Опять ропот.

— Да ты вот что: бог-то есть в тебе?

— Маменька! Бог во мне есть?

— Ан вот нету!

— Милая моя, мамочка! Поверь мне, есть! А что ежели что трынка, так чем же она не монета?

В это время в дверях показался постоялец, офицер, с взъерошенными волосами, в плисовом рваном халате.

— Ты! — обратился он к старьевщику, — купишь?

— Покажьте-с!

— Что тебе, нюхать, что ли? Видишь, сабля!..

— Придется, и нюхаем... Только он, оружий этот, дешев.

— Как??.

— Ничего он для нас не стоит...

— Мерррзавец!

Постоялец исчезает.

— А то вот не купишь ли? — говорит старуха, вылезая из кухни.

— Какой товар?

— Пуговицы костяные...

— Много ль?

— Пара всего... Теперь таких пуговиц нету...

— Ну, стало быть, и пущай они дружка с дружкой... парочкою, стало быть, миленочка с миленочком!

— А гривну если?

— Гривну-у? гривну-то я за тебя, старушка, дам ли?.. И то ежели на распорку, коли дело будет. Вот как, балетная моя плясунья, по-нашему разговаривают-то с вами!

— Покупаешь? — произносит снова явившийся офицер.

— Никак нет, ваше сиятельство!

— Ну, подлец после этого.

— Должно быть, так!

— Сердит барин-от, — прибавляет старьевщик, прислушиваясь, как за Волшебновым хлопает одна дверь, другая и потом падает на пол кинжал.

Прапорщик свиреп: он быстро ходит взад и вперед; но немного погодя снова принимается рыться в тощем чемодане с тою же целью — продать что-нибудь старьевщику. Попадался ли ему старый эполет, сломанная шпора, покрасневшая пуговица с цифрами, — он все валил в кучу и назначал, по собственному мнению, самые умеренные цены, хотя в итоге образовывалась такая кругленькая сумма, которою прапорщик предполагал распорядиться самым милым образом.

— Сколько за все? — восклицает он через минуту.

— Да что, ваше благородие, я скажу так, что для нашего брата вся это теперича ваша премудрость — ровно плюнуть да растереть.

— Вон отсюда! — завопил прапорщик, швырнув на пол весь свой товар, и исчез уж «навсегда».

В то время как в разочарованную душу прапорщика врывались терзающие мысли о том, отчего судьба не дала ему более широкой дороги, где бы он, не печалясь, как теперь, о трехдневном отсутствии водки, мог бы безмятежно покоиться под титулом штабс-капитана, разъезжать на рысаках, звонко покрикивать «пошел», обладать первой в Москве камелией, совершая все это на вдовьи капиталы купчихи Рыдаевой, — в эти плачевные минуты прапорщичьего негодования на судьбу, лишившую его всех только что изображенных благ, старьевщик с присказками и прибаутками валил в мешок все достояние мещанки Слезовой, вместе с старьем навеки погребая в этом же мешке и все ее воспоминания, все прошлые скорби.

— А что, хозяюшка? — говорил старьевщик, вынимая из-за пазухи сверток сахарной синей бумаги, в котором сочно звякали медяки, — я у вас эту старушку, бог с ней, поторгую! — и он кивнул головою на старуху. — Именно правда, потому кожа у ее, у этой, у старухи... Рубь сорок да семь — рубь сорок семь пожалуйте-ко! Потому, говорю, кожа у этой, у старухи оченно способна, и погоним мы ее на лайковые перчатки...

Слезова грустно улыбалась; но старуха едва ли что-нибудь слышала из слов старьевщика, потому что была

совершенно поглощена заботами о чае и хлопотала около самовара.

Через полчаса кухня Слезовой представляла несколько иной вид: сама хозяйка, слегка подрумяненная рюмочкой водки, поминутно совалась то к столу, на котором пыхтел самовар и не менее его пыхтела старуха, то к печи, где дымился котел, около которого тощее пламя единственного полена как-то подобострастно егозило и, казалось, хотело сжать его в своих объятиях, лишь бы только угодить Слезовой и поскорее вскипятить щи. В углу стояла соседка с рюмкой в руках, готовясь поднести ее ко рту, причем говорила Слезовой что-то очень утешительное, награждая ее в будущем всяким счастьем, — чего, в одно и то же время, желала и сулила ей также и старуха; но Слезова только вздыхала и полагалась во всем на власть божию. Не то было за перегородкой, в комнате прапорщика. Расстроенное воображение его не давало ему покою.

— Господи! господи! — взывал он в душе, — хоть бы что-нибудь!..

Соображая предстоящие барыши, плетется старьевщик по пустынному переулку. От нечего делать он может зайти в лавочку, где ему все друзья-приятели от мала до велика, почему он всегда смело может прибегнуть сюда и перехватить рублик-другой, без залога узла, делая это, конечно, только в тех случаях, если где-нибудь поблизости «лафа», то есть можно погреть руки около чьей-нибудь добротной шубы, салопа и вообще вещицы, на которую нехватает казны, размещенной по всем карманам, во всевозможных узелочках, завертках, «портманеях» и тому подобных казнохранилищах.

Тут, в лавке, он потолкует с хозяином, дескать, «какие нонче времена тугие», сообщит, пожалуй, известие, что какой-нибудь купец Столбов пожертвовал в приход колокол пудов в тысячу; пошутит с приказчиком, посочувствует ему в эротических подвигах на Цветном бульваре; одним словом, он может толковать обо всем и всегда, именно потому, что не толковать иначе, как «про все», невозможно в его звании и положении. «Такое наше дело, — говорит он: — человек ты завсегда на народе, на самом на юру, — ну, и должен со всяким вступать в разговор; от этого-то я и могу во всем постигать».

Но всмотритесь пристальнее в эту плутоватую личность, сбросьте с обросшей «образины» старьевщика весь груз прошедших лет, — и перед вами бойкий столичный мальчишка; весь двор зовет его «юлой»; иные, впрочем, заменяют эту кличку «шилом», а собственный родитель не иначе именует сына, как «щенком». Усматривая в сынишке несколько жульническую сообразительность и пронырливость, родитель, резчик печатей Голодаев, умел в раннюю пору детства направлять такие достоинства ребенка в собственную пользу: то препоручал он щенку передать «полковницкой» кухарке Агафье, чтобы она вечером выходила на тротуар, да так, чтобы матка не заметила и чрез глупую его, щенка, голову не намылила бы, при сборище целого двора, и косматую голову самого родителя-изменщика. И щенок отлично исполнял такое поручение! Или, в период голоданья и холоданья, щенок отправлялся, напичканный разными наставлениями, за похищением где-нибудь щепок, дров.

— Ты, Миша, нахрапом! — говорил отец. — Ноне нахрапом не возьмешь, — к вечеру без головы останешься...

И нужно было видеть, как прыгало и трепетало сердце горемычного родителя, когда он усматривал все тонкие или, напротив, наглые сношения щенка с плотником, работающим около длинного бревна, протянувшегося чрез двор. Нужно было видеть также всю злобу разных квартирных хозяев и хозяек, приготовившихся было только что выступить в поход за этими щепками, уже отогревающими теперь семейство щенка. В этом негодовании на собственное простоволосье никто из них не задумывался запустить в щенка кирпич, заржавленную задвижку, гвоздь, словом — все, что ни попадалось в руки. Но и от этого щенок умел «улизнуть».

Как ни прибыточна была для резчика Голодаева такая деятельность только что оперяющегося пройдохи, однако же нежелание предоставить сыну голод и холод своего неблагодарного ремесла заставило родителя искать ему более обеспеченную дорогу. И вот скоро Мишка-щенок — микроскопический портной. С плотно остриженными волосами, сквозь которые синеют желваки, только что полученные от собратий по мастерству, как знак вступления в «новое» общество, прытко шныряет он с

огромным утюгом, чтобы где-нибудь подсунуть его на чужую плиту. Дело у него так и кипит, и тосковать о горькой доле ему некогда, да оно и не стоит: пусть бегает он босыми ногами по льду, без шапки и в одной нанковой рубашке, — он сумеет и согреться, прокатившись с разбегу по льду, или двинет кого-нибудь из своей братии плечом и тут же для собственной потехи лизнет горячим утюгом по снегу. Все у него кипит под руками! И вдруг, когда портных дел мастер только что хотел убедиться в том, что уже ремень и колотушка, в приложении к щенку, не имеют более никакого смысла и что с ним, щенком, нужно вести дело на другой манер, «из-под ласки», — в это-то завидное для многих время щенок страшно роняет себя, похитив какой-то жилет и прогуляв вырученные за него копейки на пряниках. За жилетом следуют панталоны, сюртук... А через неделю щенок уж на воле: он снова живет в обиталище своего родителя, который теперь клянет его за опиванья и объеданья.

Обдумывая способы исправления сына, резчик Голодаев приходит к тому заключению, что теперь остается одно: *«драть его, шельму, до зеленого змия!»* Не медля ни минуты, с горестью и вместе любовью в сердце принимается он за веник, и тут-то происходит доморощенное врачевание от всех пороков и зол, во время которого из квартиры Голодаева, сквозь мельчайшие щели и скважины, несется вопль и стон несчастного, очевидно наводимого на путь истины. Вот после этого-то врачевания, спустя месяцев шесть, вы и встретили прежнего щенка на Кузнецком мосту; говорю — *прежнего* потому, что теперь вы *щенка* не узнаете — перед вами уже такая личность, которую в Москве определяют одним словом: *чуйка.*

— Сударь, сударь! ваше сиятельство!.. — негромко и таинственно произносит «чуйка», догоняя прохожего.

— Что тебе?

— Пожалуйте на минуточку-с!

— Меня?

— Вас, вас!.. на секунт!.. за угол только!..

— Меня ли? почем ты меня знаешь?

— Как не знать-с! Что вы?.. Знаем-с, пожалуйте!

Прохожий идет, недоумевая и чего-то опасаясь.

— Ну говори, что такое?

— Покупка есть... Как бы кто не увидал!.. Магазинская цепочка-с, «первый сорт»!

«Чуйка» оглядывается по сторонам и вытаскивает из-за пазухи какую-то цепочку, которая горит перед глазами прохожего и рассыпается искрами на солнце.

— Куда же ты ее прячешь?..

— Невозможно, вашскородие, никак: увидят... Сто цалковых стоит... сорок прошу.

— Да это краденая!

— Сохрани бог! что мне?.. В кутузке-то мне не очень желательно сидеть... по нужде продаю.

— Что-то неладно ты говоришь!

— Барин! барин! ваше благородие!.. куда же вы?.. Двадцать пять!..

— Десять!

— Что вы, ваше благородие! Обижать человека... Гаспадин, позвольте!

— Ну?

— Угодно двадцать рублей? не по-моему, не по-вашему?

— Ничего мне не угодно!

— Как ваша цена? Как же так, ничего не угодно?

— Пять целковых, она не нужна мне...

И прохожий идет.

— Эх, какой вы барин сердитый! — вяло произносит «чуйка». — Ну, пожалуйте, бог с вами... На чаек бы...

— Ну-ко, брат, оцени-ка, сколько заплатил? — говорит прохожий приятелю, показывая покупку.

— Пятачок?

— Что-о-о-о?..

В другой раз «чуйка» встретилась вам у Иверских ворот. Под аркой, среди грохота и стука сотни экипажей, среди разнообразных криков и пения, доносящегося из часовни, как-то назойливо журчит речь «чуйки». Держа в руках книгу «Химический анализ», пачку конвертов и две-три палочки сургуча, она неотступно следует за каким-то купцом и ежеминутно дребезжит над самым его ухом:

— «Аннализ»!

Купец идет молча; но «чуйка» не отстает, она словно прилипла к нему: забегает вперед, егозит и тычет ему в самый нос свою книгу.

— Аннализ!
— Прочь!..
— Аннализ! особбенная книга-с!
— Прочь!..
— Пользительные советы!..
— Прочь, говорю!

Сцена этого рода обыкновенно оканчивалась тем, что иной прохожий находил необходимым позвать полицейского, а другой, соблазнившись достоинствами книги, покупал ее, тащил куда-нибудь на Ордынку, за Москву-реку, сажал за нее сынишку, с явным желанием вложить в его тучное существо какие-нибудь познания; но эта попытка, по обыкновению, никакого успеха не имела, а «Химический анализ» очень скоро находил приют в кухне и употреблялся на подстилку под кулебяки.

И вот, спустя год-другой, та же «чуйка», только сделавшаяся опытнее, старше и солиднее, ходит по дворам в виде старьевщика. Совершилось это перерождение в силу той же причины, какая родила на свет божий поговорку: «Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше». И действительно, «чуйке» теперь много лучше: скитаясь по Кузнецкому, толкаясь у Иверской, она была воплощенная нужда, искавшая милости в каждом; а теперь эта же нужда, которой везде непочатый угол, сама гоняется за «чуйкой» и на долгие годы вперед сулит ей хороший кусок хлеба.

2. ПЕРВАЯ КВАРТИРА

(Из записок пролетария)

...Претерпев множество неприятных и комических столкновений, неизбежных для провинциала, впервые попавшего в такой запутанный город, как Москва, я, наконец, нашел себе маленькую работу и отыскал столь же маленькую, как и работа моя, комнату. Между множеством разного рода неряшливых и непривлекательных съемщиц, которых приходилось видеть мне во время поисков квартиры, Марья Петровна, теперешняя моя хозяйка, могла смело первенствовать. В пользу ее опрятности говорило, во-первых, то, что она считала себя «мадамой», то есть содержательницей белошвейной мастерской; во-вторых, то, что она была чиновницей, супругой театрального чиновника; в-третьих, она была молода и, наконец, в-четвертых, водила знакомства с благородными семействами и в особенности с благородными мужчинами.

Все эти качества, неизвестные мне в первый момент посещения ее квартиры, не имели, однако же, той чарующей силы, которая бы могла уничтожить во мне дурное впечатление ее фигуры. Это была молодая, но истрепанная личность с редкими и едва даже не облезлыми волосами. Я ее застал в самом растерзанном утреннем костюме и тем ввел, повидимому, в неописанный ужас. Желая поправить очевидно невыгодное впечатление, произведенное ею на меня, она старалась прикинуться наивною девочкою, улыбалась, куталась в изодранную блузу и не упускала при этом случая распахнуться и пощеголять тощими прелестями собственных плеч и рук.

Быть может, я бы снова пустился на поиски другой квартиры, но комнатка, которую показала мне эта мадам, понравилась мне, была недорога, удобна, и притом же тот дом, где работал я, был отсюда недалеко. Я остался.

Комнатка эта находилась на антресолях; здесь же помещалась мастерская, битком набитая швеями; и в то время, когда хозяйка показывала мне комнату, молодые лица их с особенным вниманием и улыбками рассматривали в полуотворенную дверь нового жильца.

Жилец был рад такому соседству, потому что любил деревенские песни, а здесь надеялся услышать их в изобилии, ради чего в тот же вечер и перебрался на московскую квартиру.

Окончив работу, я в тот же вечер сидел в своей комнате на подоконнике: окна были какие-то маленькие, квадратные, лепились почти около пола, как обыкновенно бывают окна на антресолях, и поэтому для того, чтобы увидеть хоть клочок неба, необходимо было садиться на подоконник.

Стоял удушливый летний вечер. Кусочек неба, который выглядывал из-за крыш огромных домов, был какого-то грязно-желтого цвета; московская пыль тучей стояла над городом и застилала небо. Из переулка и с улицы доносился треск колес. На дворе кто-то пел. Я высунул голову в окно. На коридоре нашей квартиры, углом поворачивавшем от кухни, на растворенном окне сидели все швеи госпожи Поляковой, моей хозяйки, и вели разговоры. Заметив меня, — они замолкли; но через несколько времени разговоры начались снова, только немного тише.

— Я б ему за это показала! — храбро говорил молодой голос. — Барские помои!.. Ежели б он так со мной, как с Дуняшей...

— Молчи! — прервал шопотом другой голос, по всей вероятности голос Дуняши.

— Сластёха этакой! — продолжала первая.

— Погоди, попадешься и ты, — заметила кухарка, что я узнал по грубому голосу, который слышал утром.

— Я-то?

— Ты! И ты попадешься!

— Ну это вот! видишь вот это? Это вот на-ко...

— Ладно!.. Твой век, Татьяна, не очень-то долог! — продолжала кухарка. — Будь ты в этом покойна, и даже так, что совсем твой век короток!..

Татьяна захрабрилась пуще прежнего.

Она просыпала в ответ такое множество слов, и притом так скоро, что я ровно ничего не мог расслышать хорошенько, но из храброго тона ее голоса я, впрочем, мог смело заключить, что Татьяна твердо верит в свой долгий век. Храбрые речи свои она закончила каким-то отрывистым смехом, тотчас же звонко затянула какую-то песню и вдруг бросилась за кем-то по коридору «догонять». Через минуту слышно было, как бегущие «строчили» по лестнице. Они выбежали на двор и принялись ловить друг друга, оглашая внутренность двора звонким смехом.

На окне в коридоре остались Дуняша и кухарка Акулина. Они долго молчали. Акулина, почесывая голову, зевала и неизвестно у кого спрашивала: «который-то теперича час?» Затем через несколько времени, удовлетворяя собственному любопытству, так же сонно отвечала себе:

— Теперь, надо быть, час девятый!

И успокоивалась.

Дуняша вздыхала, но вздыхала так, что решительно не было возможности сделать какую-нибудь связь между этим вздохом и тем проступком против нее кого-то, про который упомянула Татьяна: что-то вялое, неопределенное слышалось в ее вздохе.

— Поди, жильцу-то самовар пора? — лениво заговорила Акулина.

— Ты понесешь? — спросила Дуняша...

— Да хоть и ты... неси!..

— Сём я? Кто такой: скубент какой-нибудь?..

— Куды-то ходит... Говорит, отсюда близко... Бог его знает...

— Мы, Акулинушка, — вяло говорила Дуняша, — мы вместе самовар-то понесем?

— Нукштож!.. Кто его знает! Сразу человека не распознаешь... Чужой человек, кто он? Бог его знает...

Кухарка и Дуняша зевали и почесывались. Дуняша попрежнему вздыхала каким-то звонким вздохом.

— Которого человека и знаешь, да и то надумаешься...

— И-и ка-ак!

— То-то и есть! Вот Андрюшка твой!..

— Выжига! — перебила Дуняша...

— Выжига! А был, небось, не выжига!.. Кажется, не один день знала, а когда вполне оказался! то-то и есть!.. Понесем самовар-то... О-ох, батюшки, что-то меня мутит как... Бери... тьфу, господи, то бишь, неси чашки-то! О-о-ох!

Кухарка и Дуняша исчезли; исчезли, впрочем, медленно. Дуняша, поднимаясь с подоконника, не упустила случая вздохнуть.

Я стал ждать посещения. Сидя попрежнему на подоконнике, я слышал, как в кухне, находившейся под моей комнатой, постоянно хлопала дверь и швеи толпами возвращались сюда из коридора; они разговаривали, звонко смеялись, затягивали песни. В промежутках этих разговоров и смеха слышался грубый голос Акулины, раздававшийся всякий раз, как только труба самоварная грохалась обземь, чему в особенности способствовала беспрерывная беготня посетительниц. В ответ на суровые предостережения Акулины раздавался смех, еще более громкий и дружный, снова затягивалась песня, и все шло по-старому. Должно быть, благодаря этому и постоянно обрушивавшейся трубе самовар прибыл ко мне очень поздно, но зато вместо двух гостей, которых я ожидал, к моим дверям подвалила целая ватага.

Посещение это я, впрочем, предвидел, потому что по говору и шлепанью по лестнице ног чуял, что «грядет сила несметная». Среди затаенного шопота и смеха слышалось звяканье чашек, шипенье самовара и голос Акулины, усовещивавшей кого-то нести свечу на виду. Затаенная тишина приближавшейся толпы перерывалась чьим-нибудь ударом по платью, звонким смехом и падением с лестницы. Наконец все затихло перед моими дверями.

— Фу, батюшки! — слышался вздох Акулины. — Танька, отвори дверь! отвори, что ль!..

Никто почему-то не исполнял ее приказаний. Слышалось фырканье.

— Дуняша, отвори ты!

Но и Дуняша не отворяла.

— У-у, бесстыжие! — зарычала Акулина, толкая дверь ногою, — нашли место хихикать! О господи! Отворите, сделайте милость! — обратилась Акулина, повидимому, ко мне, потому что говорила особенно ласково и звонко. Я исполнил ее просьбу, потому что и сам сделал бы это с первого слова Акулины, обращенного к своим спутницам насчет двери, если бы не казалось мне, что дверь отворится сию минуту; кроме того, я решительно не знал, почему *они* не хотят отворить.

— Покорнейше благодарю-с! — возгласила Акулина, появляясь в комнату с самоваром. — Сделайте милость, уж извините... Обеспокоились. Наши девки, дуры, испугались...

— Чего же?

— Да ведь нешто они понимают!.. Ну, жилец новый... Бог его знает... и боятся!

Акулина поместилась у притолоки и очевидно желала со мною познакомиться.

— У нас вам будет покойно, — заговорила она тихо. — У нас тихо... Шуму это, гаму — нет... Песни иной раз девки запоют — это разве. Да и то запретесь, не слыхать.

Я возился около самовара, слушая Акулину. Между тем дверь начала приотворяться; явились две-три физиономии слушательниц.

— Эта комнатка у нас счастлива, — продолжала Акулина, — не пустует, любят. У нас покойно... Потому у нас тихо и никогда чтобы чего-нибудь... Всё больше чиновники живут... Скубенты, случается... Но редко... Всё чиновники больше. Вы какие будете?..

Я сказал, что служу.

— А-а-а... чиновники! так-так... Вот у нас жил чиновник тоже... Кузьмичев... Не знаете?

— Нет, не знаю...

— Их ведь много, не узнаешь всех-то...

Дверь отворилась совсем почти; слушатели теснились у стены в темноте.

— А то, — оживляясь, заговорила Акулина, — был у нас один жилец, — так это уж только одно удивление, что за жилец такой!.. В первый раз в жизни я такого и видела... Сумашеччий, что ли, он или уж, бог его знает, какой такой! Чиновник...

— Он не служил! — послышалось из темноты.

— Отставной-с! За это сумасшествие его, надо быть, и отставили... И что только он делал! Бывало, все животики надорвешь!.. Иной раз, слышь, зовет меня... Придешь к нему, а он: «Акулинушка, говорит, есть у меня хвост?» — «Да и какой еще большой», говорю. Просто смехи — смехи неописанные! Ну и вином шибко зашибал.

— Это Солошин жених! — раздалось робко в темноте.

— Что такое Солошин? Еще что?

— Обнакновенно твой! полно отпираться-то!.. Ишь!..

— Стыдно!

— Хе-хе-хе! — засмеялась Акулина... — Шутят!..

— Он ей, — продолжали в темноте, — ковригу хлеба в именины подарил.

— И чемодан!

— Ври!

— Ты-то не ври!.. Ты больше знаешь!

— Кому знать, как не тебе? А вот я сейчас про Андрюшку...

Очевидно было, что кому-то зажали рот на полслове. Беседа в подобном роде тянулась долго, и знакомство наше быстро двигалось вперед. Разговоры в темноте к концу визита Акулины шли во всеуслышание, хотя разговаривающие и не решились показать своих физиономий.

Акулина долго рассказывала про своих жильцов. Когда запас материала, с которым она считала нужным меня познакомить, истощился, она снова, для округления беседы, свела речь на теплоту и всякие удобства квартиры, очень обстоятельно объяснила, каким образом нужно «кликать» ее, Акулину, если понадобится что-нибудь или когда нужно в лавочку послать. Все это она вызывалась сделать с величайшим удовольствием.

— А за сапоги, — заключила она, выступая на лестницу: — за сапоги, когда почистить случится, там уж как-нибудь... что пожалуете! Приятного сна вам! Покойной ночи!

Дальнейшее знакомство мое с хозяевами и другими сожителями продолжалось не в такой уже степени быстро, как в первый день переезда. Большею частью я дома не бывал, забегая только на минутку, чтобы вы-

курить папиросу, отдохнуть, полежать минуту, и уходил опять. Этими короткими минутами и ограничивались все мои отношения к соседям и хозяйке. Хозяин и хозяйка были люди примерные во всех отношениях. Ни малейших столкновений даже «на словах», — что уж совершенно неизбежное явление вообще в супружеской жизни, — между ними и помину не было. Обстоятельство это было тем удивительнее, что для семейных столкновений у хозяев моих были весьма основательные поводы: и муж и жена имели «на стороне» множество историй, не приличных званию супругов. Сальная и постоянно заспанная физиономия супруга, поздние возвращения домой, преимущественно не в весьма полном рассудке, говорили очевидно против него. С своей стороны, по части отлучек не отставала и супруга. Но все это делалось по общему согласию, и вот отчего не было ни столкновений, ни ссор.

Поднималась хозяйка обыкновенно часов в двенадцать и тотчас принималась за туалет, в то же время не упуская случая показать, что она *мадам:* громко, как может кричать сердитая баба, кричала она на мастериц и иногда выбегала из своей комнаты в мастерскую, давала пощечину кому следует и снова возвращалась к туалету. Часто за моими дверями слышался робкий плач. Удары и пощечины приходились преимущественно на долю двенадцатилетней девочки Ани, которая была еще *ученица,* следовательно, по одному уже принципу Марии Петровны требовала пощечин. Ради этого Аня всегда ходила с опухшей щекой или губой, красными глазами и лицом, измазанным черными засохшими потоками слез.

— Тебя бьет она? — спрашивал я Аню.

— Чертовка! — отвечала она шопотом, утирая как-то локтем заплаканный нос.

— За что она тебя бьет? — допытывался я.

— Чертовка этакая!.. — твердила Аня.

Так я никогда и не мог допытаться, за что ее бьют. Если я с тем же вопросом обращался к мастерице, то получал ответ:

— За дело!..

— Что же она такое делает, что ее каждый день колотят?..

— Ничего! — говорила мастерица, словно и не слышавшая моего вопроса. — Нас тоже били! Это еще не битье!

— Это что! — подтверждали другие.

— Вон, поди-ко поживи у Капитонихи, на Тверской! А это что!..

— Не сахарная!

Этим заканчивались все мои сведения насчет причины битья.

Расправившись с Аней, Марья Петровна снова принималась за туалет, потом принимала заказы и, пообедав какой-нибудь дрянью (ели они все ужасную дрянь, так как все вырученные за работу деньги хозяева проигрывали в карты), торопливо раздавала мастерицам работу и отправлялась в гости, к знакомой купчихе, у которой она и оставалась часов до трех ночи. Купчиха эта была вдова, состоятельная женщина, значительно закутившая на старости лет. У ней собирались ухарские офицеры, шла игра в карты, и время проводилось очень весело. Между «дамами», собиравшимися сюда, иногда, из-за ревности, происходили, как говорят, и «рукопашные».

Таким образом, муж мотал и транжирил свои деньги, Марья Петровна — свои. Встречаясь друг с другом, они перекидывались двумя-тремя словами, вроде, например, «который час?» или «сегодня, кажется, четверг?», и исчезали каждый по своему благоусмотрению. Они так отвыкли от семейной жизни, что единственного своего ребенка отдали куда-то на воспитание и по полугоду не видали в глаза.

Все обязанности по хозяйству лежали, таким образом, на Акулине, которая и была действительною хозяйкою: она варила мастерицам обед, мыла полы, присматривала и прикрикивала на кого следует и в промежутках неустанно кляла Марью Петровну, как мотовку и в то же время как нищую. Причиною этого неудовольствия Акулины на хозяйку был неплатеж денег и нежелание хоть что-нибудь прикинуть к тому рублю, который оставляла она на прокормление всей огромной семьи швей. Вообще Марья Петровна не любила платить долгов и с обычною своею грациею, о которой я уже упомянул, отвиливала более полугода от хозяина, которому много была должна за квартиру. Когда являлся управляющий

с требованием уплаты долга, Марья Петровна очаровывала его своим респектабельным обхождением. Управляющий, еще очень молодой человек, таял от этого обхождения и с удовольствием решался ждать будущей недели; но и через неделю он попрежнему не дожидался ничего, кроме тех же восхитительных ласк хозяйки. У супругов, таким образом, никогда не было денег, и Акулина справедливо кляла их за это. Кроме попечений о хозяйстве и о порядке, Акулина была единственным существом, к которому все швеи обращались с вопросами и от которого получали всевозможные советы и указания и решительно все сведения о жизни. Удовлетворяя всем требованиям швей, Акулина оказывала для них, кроме того, услуги и другого рода... Но об этом после.

Тотчас по удалении хозяйки мастерицы и ученицы, сидевшие за работой часов с шести утра, опрометью бросались в кухню, хохотали и в эту пору иногда забегали ко мне, чтобы прибрать комнату, принести воды. Эти маленькие работы они исполняли с особенным удовольствием: тут у нас шли разговоры, рассказы. До полной откровенности со стороны моих соседок я, однако, дошел нескоро. В первое время они были со мной очень конфузливы: не то боялись меня, не то подсмеивались надо мной, как мне казалось. С большою вероятностью эту неподатливость их на самые простые отношения между нами я могу объяснять тем, что все они предполагали во мне какие-то затаенные против них замыслы. После довольно значительного промежутка «привыканья» друг к другу мое независимое и вовсе «не жильцовское» поведение с ними расположило их ко мне, и в последнее время я пользовался их полною откровенностью.

Из довольно большого кружка моих соседок я обращу внимание читателя преимущественно только на три личности. Первое место между ними занимала та самая Татьяна, которая в первый вечер моего пребывания на квартире так крепко стояла за свой долгий век. Это была очень молодая коренастая девушка, бойкая, певунья и разбитная; я не мог приметить в ней только одного качества, которым она должна бы обладать в совершенстве, — смеха: она и пела, и подтрунивала, и резвилась как-то живо, проворно, но без смеха. Обязанности

свои она исполняла исправно, то есть аккуратно отрабатывала заданный хозяйкой урок, и потом уж принималась за песни. Не имея за душой никаких «пороков» и проделок, она, как мне казалось, не без гордости смотрела на своих подруг. По всему было видно, что она очень свято хранила деревенские заветы и увещания. Видно было, что в воображении ее еще слишком ярко стоял образ матери, которая так горько болела о предстоящей жизни своей дочери в Москве и давала деревенские советы насчет того, как «остерегаться»... Вопрос насчет этого крепко засел в голову Татьяны и сильно занимал ее. В дни моего пребывания жильцом Марьи Петровны Татьяна вся была поглощена недавнею историею Дуняши и, при всяком удобном случае, старалась ввернуть об этой истории словцо: пример Дуняши и сознание собственных сил еще более укрепляли Татьяну насчет ее долгого века. Совсем не такого свойства была Дуняша. Собой она была недурна, в русском вкусе: полна, слишком бела и слишком румяна. Глаза маленькие, голубые, с каким-то вялым выражением; походка всей ступней, разговор тягучий. Вообще в ней была заметна какая-то ленивая тоска.

Заходя иногда ко мне, она или конфузилась при самых невинных моих вопросах, или неожиданно рассказывала всю подноготную своего недавнего романа и в то же время видимо удивлялась, — что это она такое делает? При самом поверхностном знакомстве с ней я мог вполне убедиться, что Дуняша — одна из числа того огромного класса русских женских натур, которые решительно не знают, как собой распорядиться, если их судьбою не заведуют родители или вообще люди, власть над ними имеющие. Такие русские женщины без особенного ропота идут за людей, которые им положительно не нравятся, и, странное дело, сознание собственного несчастия — быть всю жизнь за нелюбимым мужем — иногда бывает для таких женщин единственным интересом жизни. Свободой такие женщины распорядиться не могут, не умеют, да и не знают, что такое свобода.

У Дуняши была мать, но не в Москве, а в деревне, и притом так далеко, что виделись они один раз в два года; следовательно, Дуняша была почти свободна. Принадлежа к сорту тех женщин, о которых я только что

упомянул, она не могла ни любить, ни ненавидеть глубоко, потому что она умела только чувствовать, но не умела понимать. Отсутствие матери мало-помалу отучало ее от страха к угрозам, которые та сулила ей *в случае, ежели...* Между тем подошли лета. Дуняша чувствовала, что ей пора замуж; ей хотелось какой-нибудь перемены в жизни. Все работа да работа (хоть и не утомительная) ей надоела. И тут-то неожиданно случился роман. Частенько разговаривали мы об этом романе.

— Что же ты, — спрашивал я у нее, — очень любила его?

— Стало быть, любила! — вяло произносила она в ответ.

— И вовсе даже ты его ни чуточки не любила! — вставляла правдивая Татьяна.

— Ну ври!

— Да ей-богу!

— Не любила! — обидчиво вскрикивала Дуняша. — Что ж я, из корысти, что ли?

— Да и не из корысти!

— Тьфу! прости, господи! — сердилась Дуняша. — Аль я бешеная?

— И не бешеная!

— Ну, так как же это?

Дуняша краснела.

— А шут вас разберет!

— Это точно, — вмешивалась обыкновенно Акулина: — этого не разберешь... Наша сестра тем несчастна, что не знает, когда потеряет, а когда найдет... Этого не угадаешь... И с Авдотьей вот то же самое: так вот, тррр, тррр, колесом!..

И Акулина завертела руками, желая, повидимому, изобразить колесо.

— Будет вам, ради бога! И все-то это неправда! — говорила жалобно Дуняша.

— Как же это так, неправда-то? Это же какими такими судьбами? — возразила Акулина. — Ну диви́ бы он уж был красавчик какой, афицерик или что-нибудь. А т-то, — делая отвратительную рожу и говоря каким-то отвратительнейшим голосом, продолжала она, — а т-то — лакей, спичка, выжига прокаленая, урод! То есть, вот;



вполне вам объяснить — рожа! Картавит, ободранный... Тьфу!.. Даже противно! Ну и где же ты его любила?

— Обыкновенно любила! — крайне робко говорила Дуняша и, видимо, старалась понять, как же это так все случилось?

— И ведь, изволите видеть, — продолжала Акулина, — скучает-с!.. И полагает так, будто бы по нем-с...

— Конечно по нем... — говорила Дуняша...

— Врешь!..

— Нет, по нем!

— Врешь, говорю! — прерывала Акулина с сердцем. — Врешь! просто у тебя дурь в голове-то стоит... Вот!.. О, да господи, и не поймешь, что у них там в голове-то! Сказано — дуры, дуры и есть! Сдуру пропадет, да потом «люблю», вишь! Врунищи этакие! Вон Солоша (Соломонида), та, по крайности, прямо говорит мне...

Таким образом в истории Дуняши не было ни одного основательного повода, который бы мог объяснить ее несчастье. Как же это так? Погибнуть (Дуняша впоследствии погибла окончательно) безо всяких причин?

Герой Дуняшина романа закончил последнюю главу его тем, что тихонечко отыскал другое место и тихонечко туда переехал. Тайному побегу его способствовал дворник, хранивший тайну переселения на другое место до тех пор, пока переселение это не было устроено окончательно. Уладив это дело, дворник надел новую синюю чуйку, туго подвязал галстук, примазал салом белобрысые волосы, даже, кажется, смазал этим же салом кстати и всю физиономию и отправился в мастерскую Марьи Петровны.

— Хозяйка дома? — вежливо спросил он.

— Куда залез! — закричали на него девушки. — Убирайся! Мужлан!

— Будьте так добры! — вежливо говорил дворник. — Что такое? Марья Петровна у себя?

— Нету! Ступай!..

— А мне бы надо было. Дело есть!

— Ступай, ступай! Нечего проедаться.

— Я пойду... А Андрюшка-то (герой), — того... сбежал!

Дуняша ахнула и обмерла.

— Стал на место, не сказался где, этакой подлец! — продолжал дворник. — Как он про вас, Дунечка, отзывался...

— Как? — спрашивала плакавшая Дуня.

— Безобразно-с! Ругал, ругал!.. Уж он вас так-то ли... Даже слов нет!

— Ах он! — вскрикнула Дуня.

— Да-с. И не сказался. Стал на место неизвестно где... Подлец!

Дворник постарался как можно лучше раскрасить Андрюшку и, когда убедился, что вполне достиг этого, почтительно раскланялся и ушел.

Такой, поистине лакейский, поступок героя первое время занял внимание всей белошвейной. Не знала только хозяйка: она вообще решительно ничего не знала, что делается у нее в доме.

Дуняша, слишком неожиданно получившая оскорбление, в первое время как будто бы изменилась: из вялой и кислой она стала решительнее.

— Я ему, подлецу, сделаю! — говорила она, стуча кулаком о кулак, когда по вечерам все швеи выходили на коридор.

Такие восклицания несколько недель сряду я слышал из моего окна постоянно.

— Погоди он! — грозилась Дуняша, как будто затевая месть самого отчаянного свойства. Все интересовались знать, что такое она сделает, хотя для всех было очевидно, что она ровно ничего не сделает, несмотря на то, что заклялась, заклялась на смерть.

— Ни в жизнь, никогда! — говорила она совершенно искренно и горячо.

— Ну, это ты пустяки разговариваешь! — хладнокровно возражала Акулина. — Ты это, Авдотья, так надо сказать, совсем пустые слова говоришь...

— Пустые? Нет, вот как! — восклицала Дуняша. — Ежели я... то не видать мне матери никогда!

— Ты с ума сошла видно? Что ты, — очумела? Разве это можно?.. А ну как матери-то и не увидишь? а? Скажите на милость, — обращалась Акулина ко всей публике, — совсем ведь девка-то ошалела! Ах ты, господи!

Но Дуняша крепилась и на этот раз, видимо, боролась даже; она так страшно поклялась насчет этого *никогда*, а между тем попрежнему находилась в тех же условиях, которые устроили ее первый роман. Условия эти хорошо знакомы всякому рабочему человеку и вообще всякому человеку неразвитому.

Нужно с особенною внимательностью изучить всю трудную жизнь рабочего человека, чтобы понять, как неизбежны были для Дуняши те вещи, от которых она «заклялась». Только рабочий человек может объяснить вам, почему он, например, так скотски напивается в минуту отдыха. Из объяснения его вы увидите, что заливание через край известного напитка совершается большею частью вовсе не с горя... Неразвитому, неученому рабочему некуда деть своего отдыха. После трудов, по большей части слишком однообразных, утомленные нервы, возвращенные наконец собственному благоусмотрению, неизбежно, настойчиво жаждут приятного.

В таком же точно положении была и Дуняша. Работа у ней была не утомительная, но слишком простая, однообразная. За работой не думала она ни о чем, и тем менее было пищи для ее ума во время отдыха. В такую пору швеи выходили обыкновенно на коридор и для развлечения имели перед собою следующую привлекательную и разнообразную картину: пустой и вонючий двор, по которому изредка двигались люди; прямо перед глазами каменная высочайшая глухая стена соседнего дома. И на этот вонючий двор и глухую стену смотрели все соседки мои не один уже год: все та же стена, все тот же двор! Господи! Как при таком одурении, которое непременно должно было явиться от такого бесчеловечного однообразия жизни, как не сделать самой страшной глупости? Утомление, производимое однообразием, здесь могло поспорить с утомлением от самого тяжкого труда. И если бы не россказни Акулины, — думал я, — то почем знать, что было бы с этими девушками еще год тому назад? Матери и отцы их были далеко. Да в Москве и не в ходу материнская наука.

После заклятия, которое Дуняша наложила на себя, прогулки по коридору и созерцание стены продолжались попрежнему, и, следовательно, все шло по-старому. Переждав первое время ненависти ко всем мужчинам,

которую чувствовала Дуняша, дворник вторично напялил на себя новую синюю чуйку и, выбрав время, поместился посреди двора, против окна, на котором сидели белошвейки.

Сняв почтительно картуз, дворник раскланялся и произнес:

— Все ли, красавицы, в добром здоровье?

— Мужик! — отвечали ему.

— Ах! — шутливо воскликнул дворник. — Что такое? Неужто ж мужик не стоит ничего? не угодно ли, барышни, папиросочек? Легкие-с!

— Давай! — кричали ему сверху.

— Царь небесный! — с улыбкой воскликнул дворник. — Слава богу!

Через минуту он был на коридоре.

— Что же вы, Дунечка, как теперь?

— Ежели ты мне только посмеешь поминать об этом, — я тебя!

— Ой! — вскрикивал дворник.

— Чуфыря!

— Это еще что такое?

— Михрюк! — вставляла Татьяна.

— Хряк! — присовокупляла третья подруга.

Раздавался дружный хохот.

— Акулина Матвеевна! — говорил дворник, обращаясь к кухарке. — Как меня-то? Изволите слышать?

— Дуры! — решала Акулина.

— Нет-с! — заступался дворник. — Они — барышни, а мы мужики необразованные! Им обидно! Ну-с, до приятного свидания! бог с вами!

Уходя, дворник кивнул Акулине.

С следующего дня, быть может благодаря советам Акулины, дворник принял другую методу: он попрежнему расфранчивался, маслил волоса, но «мужицких» своих разговоров не разговаривал. Аккуратно, в известный час, он появлялся посередине двора и раскланивался.

— Иди сюда, Иван! — звала Акулина из коридора. — Иди к девушкам...

— Зачем ты его зовешь? — с негодованием восклицала Дуняша. — Мужицкая образина!..

— И правду! — подтверждала Татьяна. — Этот еще хуже Андрюшки, Полено деревенское!

— Погляжу я на вас, — говорила Акулина, — и совсем-то вы ду-ры! ей-богу! «Хуже Андрюшки»? Ну как же ты смеешь это говорить? Андрюшка прощелыга, сделал грех и ушел — не сказался, а этот человек — строгий... всегда он дома, и уйти ему некуда!..

Входил дворник и робко помещался на кадушке против Дуняши, помахивая картузом.

— Что вылупился! — вскрикивала ему прямо в глаза Татьяна.

Дворник молча двигался на своем сиденье и не отвечал.

— У-у! рожа.

— Дура! как есть дура! Ты, Ваня, не смотри на нее, скоро и она хвост подожмет! — говорила Акулина.

— Как вам угодно! — жалобно произносил дворник и попрежнему сидел молча и недвижимо.

Так тянулось долго. Девушки шопотом разговаривали между собою. Иван, которого они ругали, сделался-таки единственным предметом для разговора.

— Иван! что ж, угощай девушек-то чем-нибудь! — командовала Акулина. Мгновенно из карманов Ивана являлись папиросы, пряники, орехи.

Девушки долго отнекивались, но потом все-таки принимали услуги. В то же время Иван вздыхал, поднимался, жалобно говорил «счастливо оставаться» и уходил.

По уходе его продолжали лакомиться и подсмеивались над Иваном.

— Как это тебе, Татьяна, не стыдно? — говорила Акулина. — Он всей душой к вам, а вы над ним потешаться вздумали... И ты тоже, Авдотья!

— А мне что? — возражала Дуняша.

— Дура! — заключила Акулина. — Тьфу! По мне как хотите... Вот навернется другой Андрюшка, вспомнишь!

Дуняша не возражала: она боялась лишиться расположения Акулины; боялась этого потому, что без советов и указаний Акулины решительно не знала, что с собой делать.

Такие появления дворника происходили аккуратно каждый день вечером и тянулись месяца полтора. Вро-

следствии, уходя домой, он свидетельствовал почтение почему-то уже только одной Дуняше.

— Счастливо оставаться, Дунечка! — говорил он уходя.

— Что он ко мне прилипает? — досадовала Дуняша.

— Дура! — отвечала на это Акулина.

В самом деле, дворник ни для кого не был привлекательною личностью; кроме того, что он был нехорош собой, во вред его сердечным делам главным образом служило то, что он был «дворник». С чиновником, с *скубентом,* наконец, с купцом делать сердечные дела — еще так и сяк, можно бы; но дворник, мужик... Кроме него, в Москве разве мало приятных мужчин?

К несчастью, на нашем скучном дворе не попадалось приятных мужчин. К однообразию этого двора и вековечной каменной стене присоединилась фигура дворника, и вот уже полтора месяца не сходит с глаз у исскучавшихся девушек. При полном презрении, которого, по понятиям девушек, он был достоин, дворник незаметно занял собою все внимание их и в особенности внимание Дуняши. Они над ним подсмеивались, выдумывали, какую бы устроить против него каверзу (впрочем, всегда невинную), но все-таки думы эти и придумыванья были для него и о нем.

Иногда, желая отделаться от него окончательно, все они уходили из коридора наверх и принимались петь песни. Вдруг Дуняша произносила:

— А Иван-то теперь ждет!

— Да чорт с ним! — отрезывала Татьяна.

И опять пели, и опять неожиданно кто-нибудь спрашивал:

— Ждет Иван-то?

— Ждет!

— Посмотри-ко в окно!..

— Ну-ко, я посмотрю...

Все разом высовывались в окно и разом восклицали:

— Ждет!..

Дело оканчивалось тем, что все шли на коридор; Акулина звала Ивана, и происходило обычное молчаливое угощение.

Были минуты полнейшего негодования Дуняши на назойливость Ивана. Иван видел это, но ни на иоту не

изменял своего поведения: в известные минуты он появлялся на своем месте и безмолвно смотрел на Дуняшу, по временам вздыхая.

Акулина не возражала на ругательства Дуняши; она пережидала.

Наконец место отчаянного негодования заступило полнейшее равнодушие, прежняя скука. Иван оправился, повеселел и к обычной своей фразе: «счастливо оставаться, Дунечка», начал прибавлять:

— А я, Дунечка, все об вас думал!..

— А мне какое дело?..

— Право-с!..

Встретив Дуняшу где-нибудь на дворе, он почтительно снимал фуражку и как-то загадочно говорил:

— Дуняша!

— Отстань!

Дворник вздыхал.

Дела шли с неизменным постоянством. Дуняша скучала. Скука давно изгладила в ее сердце сильное заклятие, которое она наложила на себя. Дворник попрежнему продолжал безмолвные визиты; Акулина глубокомысленно давала советы и особенное внимание обращала исключительно на Дуняшу. Между своими советами и рассказами она поминутно вставляла несколько ругательных фраз насчет Андрюшки и прибавляла тотчас же словечко в пользу дворника:

— Вот Ваня, — ну, этот не такой!

Услышав это, дворник, поднимаясь с бочки, на которой обыкновенно сидел, трогал туго затянутую шею, ловко встряхивал волосами и, крякнув, садился опять.

Одно и то же повторялось каждый день. Дворник сделался неизбежным для внимания девушек предметом, как и двор, как и стена.

Дуняша, некоторым образом вкусившая плодов любви, томилась.

Акулина подметила эту минуту. Сидя по вечерам на окне, я слышал, как она, оставаясь наедине с Дуняшей, заговаривала:

— Этот — не Андрюшка! По мне как хочешь; мне что! А я тебе всей душой говорю. Это человек строгий... Он любит порядок... Чего доброго и замуж возьмет!

Таким образом дворник, благодаря разговорам Акулины, приобрел вдруг неоцененное достоинство. На него начали смотреть благосклонней. Даже Татьяна не огрызалась.

— Ну ты, жених! — покрикивала она на него при случае, и этим только ограничивалась.

Дворник все молчал; все чего-то ждал, нужно сказать правду, с убийственной стойкостью. Насчет свадьбы он не сказал еще ни одного слова. Дуняша попытала у него об этом через Акулину. Эта дама передала самый удовлетворительный ответ. Дуняша видимо обрадовалась этому известию. Прибирала ли она у меня в комнате или гуляла на коридоре, только и разговору было, что про Ивана: какой он будет муж? будет ли драться? Мало-помалу Дуняша сроднилась с мыслью, что она невеста, и смотрела на Ивана как на жениха. Новое звание, приобретенное Иваном, расположило к нему всех. Отвращения уже не было. Не было и равнодушия: Иван ведь решался женитьбой прикрыть Дуняшин грех. Дуняша начала вступать с ним в разговор; сама приказывала, какого именно принести гостинцу.

Мало-помалу, при помощи скуки, пустоты и обещания жениться, дело было так поведено, что в один из вечеров произошла на коридоре следующая сцена.

— А что, Дунечка, — заговорил дворник, — вы всё сидите? Всё бы когда по Тверскому прошлись... Публика любопытнейшая и опять же музыка.

— Я и не знаю, — поддакнула Акулина, — что это за девки такие? Всё дома, всё дома... Диви бы кто их на цепи держал, ей-богу!

Дуняша покраснела.

— А и то! — тихо сказала она. — Татьяна, ты пойдешь?

— О, да ну вас...

— А тебе непременно Татьяну! Ты без Татьяны, кажется, шагу не сделаешь? — присоветовала Акулина.

— Нашему брату, — продолжал дворник, — нашему брату дело другое. Нам ни на минуту отлучиться нельзя. А вы куда захотели — туда и пошли... Да право-с!

— И то! — весело сказала Дуняша и бегом побежала наверх одеваться. За ней и другие.

Тотчас по удалении девушек дворник быстро вскочил с бочки и каким-то испуганным шопотом, скороговоркой, заговорил с Акулиной. Та, не отвечая, вырвала из его рук картуз, поспешно надела его на голову Ивана, козырьком набок, и, повернув его за плечи, почти спихнула с лестницы. Через секунду дворник, как молния, мелькнул по двору и скрылся под воротами.

Ни на другой, ни на третий день Дуняша не показывала глаз в мою комнату. В мастерской было какое-то затишье; Акулина, напротив, все эти дни была под хмельком и чувствовала прилив необыкновенной словоохотливости. Дворник на другой же день скинул свой праздничный костюм и шатался в одной распоясанной рубахе. Он сделался вдруг разговорчивым, даже подсмеивался над швеями, покрикивая им со двора:

— Эй вы, мымры! Что приуныли?

И целые дни горланил песни самого бессмысленного свойства, как, например:

Мне не жалко туфеля,
Жалко белого чулка...
Ах, ха, ха... Ах, ха, ха.

Или, наконец, просто орал на разные тоны.

Спустя довольно долгое время после второго романа Дуняши (к которой вернусь в следующей главе) произошла удивительная история с Татьяной, оправдавшая вполне предсказания Акулины. История эта до такой степени удивительна, что я, не решаясь и не имея никакой возможности объяснить ее происхождение, берусь передать дело так, как оно произошло, по точным рассказам всего швейного мира.

Дело происходило таким удивительным образом.

Как я уже сказал, Татьяна была самая рассудительная из всех швей, работавших у Марьи Петровны. Каждое сердечное несчастие той или другой из подруг ее еще более укрепляло Татьяну в уверенности, что ее век действительно очень долог. Да и, кроме того, обращение ее с мужчинами показывало, что она подозревает почти всех мужчин в мире в самых грубых поползновениях. Она, не робея, отталкивала непрошенного обожателя,

если тот предлагал пройтись «под ручку» или был настолько предупредителен, что охотно брался проводить ее до дому. Татьяна спасовала в одном, повторяю, совершенно невероятном событии.

Однажды, часа в два дня, возвращалась она из лавки с тесемками в руках. В это время кто-то, не говоря ни слова, подхватил ее «под ручку» и спокойно произнес:

— Куда ты, милочка, бежишь?

Татьяна в испуге бросилась от своего кавалера; но тот крепко держал руку ее и, улыбаясь, говорил:

— О, глупая!

— Отстаньте! — крикнула Татьяна.

Татьяна начала отбиваться и наконец вырвалась. Тотчас же она юркнула под ворота. Господин в пуховой шляпе, с сероватыми усами, улыбался и шел за ней следом. Наконец она добралась к двери своей квартиры. Господин остановился рядом с ней.

— Уйдите, ради бога! — убедительно просила его Татьяна, боясь хозяйки, которая в эту пору обыкновенно бушевала в мастерской. — Хозяйка дома, она увидит... Подумает...

— Что ж такое? Как ее звать?

Танечка решительно не знала, что делать. Вдруг она отворила дверь, юркнула в кухню и заперла дверь на крючок.

— Слава богу! — говорила Татьяна, очутившись в кухне и дрожа от испуга.

В это время неожиданно раздался звонок с парадного хода.

— Татьяна, отвори! — приказала Акулина.

— Ну-ко он?

— Отвори!

Звонок повторился. Татьяна отворила: это был *он*.

— А! вот и ты! Ну, проводи меня в комнату...

— Барин, голубчик! Тут хозяйка!

— Ну, в кухню проводи! Хозяйка! Что ж такое? Где кухня?

Барин прошел в переднюю и потом в кухню.

— Кто там? — крикнула сверху хозяйка.

— Это... к Акулине! — ответила Танечка.

Между тем барин уселся в кухне на лавке; снял шляпу, закурил не спеша папироску — и разговорился

с Акулиной. Барин был так прост с ней, несмотря на то, что, повидимому, был очень богат, что Акулина тотчас же растаяла перед ним. Через две-три минуты к Татьяне, присутствовавшей в кухне, присоединились две-три подруги сверху, и барин просто обворожил их. Он показывал, например, ключик от своих золотых часов: в ключе была сделана микроскопическая картинка клубничного свойства; девушки смотрели и помирали со смеху; дверь из кухни поэтому заперли. Такого же свойства картинки были сделаны у барина в палке, в папироснице и, кажется, во всех пуговицах жилета. Барин все это показывал им и вместе с ними смеялся. В заключение он показал свою палку; все нашли, что в палке нет ничего особенного. Тогда барин из палки сделал стул, и каждая из девушек считала обязанностью присесть. Даже Акулина попробовала и нашла стул великолепным.

Все были в восторге.

Показав стул, барин опять сложил его в палку, взялся за шляпу и сказал Татьяне весьма ласково:

— Так уж, милая Танечка, я у вас буду опять!

— Ах нет, нет.

— Буду, буду-с!.. Непременно-с!.. К пяти или к шести часам в четверг... Поедем, погуляем!

— Что вы! что вы! — закричали все девушки.

— Непре-мен-но-с! К шести часам!

Барин скрылся.

Танечка, да вообще весь швейный мир решительно не знали, что подумать об этом и что тут делать. Самое вероятное было то, что храбрая Татьяна начала бояться незнакомого господина, *как барина.*

Акулина не могла ничего присоветовать. Сказать хозяйке — та не поймет, в чем дело, разорется, подумает бог знает что и изобьет. Я присоветовал прогнать — все возопили.

— Он-те прогонит! — говорила Танечка.

Целую неделю вплоть до четверга она ходила в каком-то забытьи, в лихорадке. Я старался ее разуверить, что барин не приедет и не посмеет ничего сделать, и Танечка немного успокоилась. Пришел четверг. Пробило шесть часов — барина не было. Я ушел из дому в полной уверенности, что он не будет совсем, потому что,

в самом деле, не мог себе представить, чтобы на белом свете мог существовать подобный наглец.

Вечером, однако, я узнал следующее.

По уходе моем Танечка была совершенно спокойна. Она вместе с другими сидела в кухне и пела песни. На дворе шел дождь.

— Не придет! — говорили все.

Вдруг дверь отворилась, и барин — мокрый, с зонтиком — вошел в кухню. Все обомлели в буквальном смысле слова. Закоченели, замерли.

— Готова? — спросил барин.

Татьяна была бледна, как полотно. Она так испугалась «барина», что не нашла против его требований никакого возражения. Она вдруг почувствовала себя во власти этого «барина», крепостной страх охватил ее, и она едва-едва пролепетала:

— Башмаков... нету!

— Так дайте же кто-нибудь башмаки! Эй ты, дай ей башмаки!

— Авдотья, дай! — шопотом приказала Акулина, решительно не понимавшая, что делается кругом.

Танечка, не помня, что делает, торопливо надевала башмаки.

— Это несносно! — горячился барин. — Дайте же ей чем-нибудь накрыться... Это чорт знает что такое!.. Лошадь ждет!.. Дайте хоть платок!

Мигом принесли всё; Танечка сама торопливо укуталась; а Акулина, также вся охваченная атмосферою крепостных преданий, проворно выговорила с угодливостью рабыни:

— Готова-с!

Барин с сердцем толкнул дверь, вывел Танечку за руку и скрылся.

Все были поражены и решительно не могли ничего сообразить.

Я воротился часов в одиннадцать ночи. В кухне против обыкновения был огонь. Все швеи сидели вокруг стола и молча смотрели на Татьяну, которая была вся в слезах.

— Танечка, что с тобой? — спросил я.

— Убирайтесь вы! — неистово закричала она на меня.

Я ушел к себе в комнату. Через несколько минут ко

мне тихонько явилась Акулина и шопотом передала только что случившуюся историю. «Барин» оказался одним из крупнейших московских обжор и воротил; с ним *ничего нельзя было сделать* (на Руси есть такой тип!), так как всякое дело он мог «затушить» и уже давно привык к этому. Он был нагл, потому что *все мог.*

После таких треволнений, возмутивших спокойствие нашей квартиры, настало совершенное затишье. Дуняша спокойно путешествовала в дворницкую; Танечка притворилась, как будто с ней ничего и не бывало; хозяйка попрежнему не платила денег, и к вящей тишине и спокойствию нашей квартиры — даже не являлся управляющий. Хозяин попрежнему возвращался под хмельком, на заре, и вообще все шло по-старому. Солоша, третья личность, на которую я хотел обратить внимание, все шепталась о чем-то с Акулиной, и в кухне начали появляться какие-то старухи; слышно было, что Солоше сулят счастие и благоденствие. В последнее время даже у Татьяны завелись какие-то тайны; по вечерам и она исчезала куда-то вместе с Дуняшей. Все это делалось втихомолку, тайком, крадучись.

Несмотря на это, повторяю, в нашей квартире было полное затишье. Так тянулось месяца три. Затишье сделалось до такой степени несносной вещью для всех, что вся квартира наша жаждала какой-нибудь перемены.

Судьба положила предел этой тишине катастрофой, ужасной и трагической.

Началось дело с того, что в один вечер Дуняша явилась ко мне под хмельком и едва ворочавшимся языком объявила, что Иван ее обманул. Он отпирается от своих слов насчет женитьбы. «Ты, — говорил он Дуняше, — несоответственного поведения... Мне этого нельзя!» Дуняша плюнула по этому случаю дворнику в бороду и убежала искать старого друга Андрюшку. Кроме отказа от женитьбы, дворник сделал еще другую безобразную вещь: он утаил адрес Андрюшки, который, уходя в Грузины, дал его для передачи Дуняше.

Дворник, убедившись, что последовал разрыв, расславил Дуняшу на весь дом и не давал проходу через двор. Андрюшка, которого Дуняша нашла-таки, изображал из себя обиженного человека и обошелся холодно.

Чтобы отделаться от старой подруги своей, он напоил ее допьяна и отправил на извозчике домой.

С этого дня начались ссоры и брань. Дуняша ругалась с Акулиной. Акулина утверждала, что она никогда не говорила Дуняше насчет женитьбы Ивана, и тоже ругалась. Дуняша снова заклялась; но чрез день прошел слух, что ее сманил «старик-табатер», сделавший ей шелковое платье. Дуняша начинала являться домой все чаще и чаще под хмельком.

В эту пору неприятно было ее видеть.

За этим, как кажется, плачевным окончанием Дуняшиной жизни последовало новое, глубоко печальное событие.

В одно утро, уже часу во втором дня, на двор с грохотом влетела пролетка, и скоро в кухню вбежал трактирный половой в чуйке.

— Здесь девица? — шопотом спросил он.

— Ты от кого? — спросила в свою очередь Акулина.

— Из трактира «Ростов»... Здесь, через Анну Филиповну, рекомендовали одному купцу даму — Соломониду?..

— Здесь...

— Пожалуйте. Они требуют... Так как они желают их для услужения... Опять же деньги получены...

— Половину денег получили... только; где же остальные?

— На месте-с!

Разговор этот происходил шопотом; но я слышал его, стоя на лестнице и приготовляясь отнести в кухню графин. Все, что только услышал я, испугало меня. Очевидно было, что Соломонида была «продана» и — что особенно горько — желала быть проданной; я теперь только уяснил себе «шопот» между нею и Акулиной, и этот шопот теперь выяснился мне как спокойный, торговый разговор. Я тотчас же отправился в залу, чтобы объяснить Марье Петровне все, что у нее делается. Марья Петровна была любезна сверх сил. Я надеялся высказать ей много, как неожиданно раздался опять звонок, и спустя несколько минут явился управляющий.

Марья Петровна встретила его с обычной восхитительной улыбкой; но управляющий, к удивлению ее, не

улыбался, даже не поклонился, а прямо подошел к ней и с сердцем сказал:

— Извольте выехать немедленно с квартиры!..

— Однако, вы говорите дерзости...

— Я терпел-с; был снисходителен... Но мера из границ вышла... Извольте выехать... Долг взыщут чрез полицию.

Хозяйка сидела бледная и дрожала от негодования.

— Кроме того, у вас... у мастериц развиваются болезни... Господин доктор!

Из передней выступил полицейский доктор.

Начался общий плач. В самом деле, следы заразительной болезни были очевидны. Даже у маленькой Ани голова была в струпьях.

Удар для всех был неожиданный. Девушки, узнав, что их будут «требовать» к доктору и после этого первого визита, — бросились к матерям, у кого последние жили в Москве. Явились матери и отцы, начались слезы, ругательства, проклятия. Ссора и плач стояли по всей нашей квартире. К довершению всех бед хозяин, пьяный, разбил голову, и его принуждены были свезти в больницу... Купчиха-вдова, узнав, что делается в заведении Марьи Петровны, боялась принимать ее к себе. Марья Петровна рыдала. С квартиры гнали с удивительной настойчивостью. Не было сил жить в этом омуте. Я переехал.

Прошло более двух лет после только что рассказанной истории, и однажды мне снова довелось встретить одну из моих старых знакомых, именно Дуняшу. Встреча эта была возмутительна. Раз шел я по Страстному бульвару. На средине его, у загородки, выходившей (в то время) на большую Сенную площадь, что за Страстным монастырем, столпилась огромная толпа всякого проходящего народа. Некоторые смеялись, большинство же стояло молча или разговаривало негромко. Я пробрался через толпу к бульварной загородке и увидел следующую картину: на каменной мостовой сидело несколько женщин известного сорта и выщипывали руками траву, прораставшую между камнями. Женщины эти были грязны и одеты в какую-то подозрительную рвань;

головные платки, завязанные концами на спине, были спереди надвинуты на глаза для того, чтобы скрыть от зрителей физиономии. Все эти женщины были еще очень молоды, и некоторые из них, несмотря на свой позор, находили возможность даже хохотать, перекидываясь остротами с зрителями Страстного бульвара. Тут же поодаль от них стоял городовой и какой-то жид с бадьей воды: день был жаркий, и жид поминутно подносил эту бадью то к той, то к другой из женщин. В одной из них я, не без сожаления, узнал Дуняшу.

Из разговоров, происходивших в толпе, я узнал, что несчастные эти наказываются «уличной работой» по распоряжению полиции.

— Скажите на милость, — со вздохом произносил кто-то из зрителей: — и при всем том многие еще находятся — жалеют! Ах вы, грабительницы этакие!

3. ПРО ОДНУ СТАРУХУ

I

«И с кем это старуха разговоры разговаривает?» — недоумевал отставной солдат, сидя за починкою старого сапога в одном из гнилых, сырых петербургских «углов» и слушая, как за ситцевой занавеской другого «угла» с кем-то ведет разговоры только что перебравшаяся новая жилица-старуха.

«Кажись, — думал солдат, — никого я у нее не приметил, а разговаривает?»

И он прислушивался.

Новая жилица вбивала в стену гвоздь и действительно с кем-то разговаривала.

— Ишь! — сказал солдат.

— По крайности хоть своего ангела образок нажила за сорок лет! — слышалось за ситцевой занавеской вместе с звуками вколачиваемого гвоздя. — Родительского благословения у нас с тобой нету! По крайности хоть свой ангел... хорошо ли так-то?..

Вколачивание гвоздя прекратилось, и солдат подумал, что сейчас вот кто-нибудь ответит, хорошо ли она повесила образ. Но никто не отвечал; слышно было, как старуха села на свое скрипучее, из полен и ящиков составленное ложе и вздохнула.

— И своего-то ангела отдать мне некому, друг ты мой! — вздохнув, заговорила старуха. — Ох, и где-то детки мои милые? Где детушки мои родименькие! Где-е? скажи ты мне?..

Последний вопрос сопровождался громким и внезапным рыданием, и как бы в ответ на него послы-

шался какой-то посторонний, как бы сочувствующий вздох.

«Есть кто-то! — приостанавливаясь работать, недоумевал солдат. — Тоже плачет!»

В звуке, который послышался за занавеской, действительно слышались как будто слезы.

«Плачет и есть!»

Солдат осторожно положил на обрубок, заваленный принадлежностями сапожного дела, свою работу — рваный сапог, и стал едва заметно приближаться к занавеске, с каждым шагом все ниже и ниже наклоняясь и приседая к земле.

«Кто бы такой?» — подвигаясь на четвереньках, думал он.

— Ох, и взыщет господь за детушек моих! с господ взыщет! С нас что взыскать? мы люди подневольные! У нас воли не было ни капельки, ни единой минуточки! Был один страх — только всего! Чего со страху не сделаешь? И тебя ежели учнут бить да колотить, и ты уйдешь... И я бегивала, да глупа была, не знала, куда бежать! Ох, детушки мои! Где вы? ни одного нету! Теперь и волю дали, и хромая я, одна на всем свете, хоть бы кто один был жив, мальчик... пришел бы! нет, нету!..

Жилица плачет громко навзрыд, и ей отвечает какой-то мучительно болезненный стон неизвестного собеседника, вслед за которым вдруг раздается оглушительный лай, и солдат, просунувший было голову под занавеску, кубарем летит к своему обрубку...

— Дурдилка! Глупая! Цыц! Что ты это, глупая, на кого?.. — останавливает собаку старуха.

— Жид вас заешь! — потирая щеку, оцарапанную собакой, кричит совершенно рассерженный солдат. — С собаками разговаривают, дубье эдакое! Я думал... Ах вы, анафемы эдакие!.. Как же ты можешь с собакой разговаривать?..

— Да не с кем мне!..

— Не с кем! — несколько утихая и успокаиваясь, пробурчал солдат. — Не с кем! Какую отличную компанию нашла — собаку!..

— Да не с кем мне, батюшка!.. Все в господском доме жила, дворовая была, а вот теперь мне волю дали... Прослышали господа, дай бог им здоровья, что воля будет

всем, ну и пустили меня на все четыре стороны, потому я уж стара стала... хрома, нога болит... что ж меня кормить-то задаром? Ну и отпустили! Ни отца, ни матери нет... деток нету! — У нас строгая была барыня... Н-ну с кем же мне? И есть что одна собака... Дурдилушка! что мы с тобой будем делать... а?..

— Ха-ха-ха! — совершенно успокоившись, засмеялся солдат. — Волю дали!.. И шутники же только, ей-ей!

— Уж да! Уж шутники!.. — согласилась старуха... — Пустили человека по ветру!..

— Ха-ха-ха! Ну, и как же теперь ты, старушка?

— И не знаю, господин кавалер! Я так думаю, надо с терпением ждать своей кончины!..

— Гм!.. По крайности ты бы с приезду, для начатия знакомства, хоть мало бы мальски угощеньица солдату? Все, авось, что-нибудь...

— Что ж, я с моим удовольствием: есть у меня серебряная ложка...

— Господская?

— Господская, господин служивый, не утаю! Не умирать, сам суди... Я почесть босиком ведь ушла на волю-то!

— Ну, ничего... ты эту ложку-то дай мне, а я уж все предоставлю и сдачи принесу!

Солдат скоро оделся и, ожидая ложки, которую старуха доставала из тряпок и узелков, смотрел на собаку и говорил:

— Ничего собачка!.. Они тоже случаются верные собаки... И разговор понимает!.. ничего!.. Я тебе сдачи принесу с ложки-то...

Солдат ушел. Старуха, в ожидании его, снова связывала свои тряпочки в узелки и плакала, а Дурдилка сидела против нее молча, угрюмо и не спускала с нее глаз.

II

Настасья, так звали старуху, действительно была в беззащитном положении. Круглая сирота и больная, она, кроме того, была несчастна незнанием жизни, несмотря на то, что была уже старуха. В самом деле: «дворня»

и «жизнь на воле», даже та, какую ведет ломовой извозчик, поденщик, простой нищий, это — большая разница. Все они знают людей равных себе, знают, как с ними вести дела, знают, на кого работают, потому что у каждого семья или хоть просто личная потребность не умереть с голоду. У каждого из них есть приемы, как изловчиться в трудной жизни. У Настасьи этого ничего нет. Хлеб она всю жизнь ела господский, — и теперь заработать его не умеет; работала она, что прикажут, но не для себя, а для других; а с людьми жила так, как приходилось. Словом, относительно жизни она была чистый ребенок. В течение двухлетнего житья в углах за ней заметили однажды грех, покражу платка, и долгое время звали воровкой, тогда как она лично не считала своего проступка пороком. Она привыкла к этому в дворне. И множество других привычек, усвоенных ею на дворне, въелось в нее и портило ее отношения хотя и к нищенской, но более или менее самостоятельной жизни, окружавшей ее на воле. Работает она, например, целую неделю без устали, по двугривенному в день в прачешной, встает в четыре часа и приходит в свой угол в девять; выработает что-нибудь и пропьет, хотя бы ей давно надо было купить башмаки. На нее, пьяную, смотрят с презрением (и действительно, она неприятна), а у ней нет другого удовольствия: до сорока лет она привыкла «урвать да уехать», то есть воспользоваться свободной минуткой, случайно попавшим гривенником. Другие из жильцов в углах угощают друг друга кофеем, сплетничают, ругают хозяев, ругают лавочника; она же ни к чему этому не имеет аппетита, она не привыкла стоять за себя. И как же скучно ей на воле!.. Как она печалится, видя, как живут люди, и сравнивая, как свой век прожила она. Из-за чего ей биться и мучиться, больными ногами стоять по колено в воде в холодной прачешной?.. Нет у ней ни друзей, ни детей. Друзья из той же дворни сами может быть, так же как и она, где-нибудь доживают свой век. А дети? О детях страшно и подумать... Куда она их девала? И зачем? Боялась строгой барыни, когда бога нужно было бояться больше ее! Душевное одиночество страшно вообще, и уж как страшно оно у Настасьи!.. В два года житья в углу ни одного вечера не прошло, чтобы трезвая или хмельная Настасья не плакалась на себя, возбуждая

негодование соседей своим хриплым неприятным голосом, не плакалась перед Дурдилкой о своем горьком житье...

— Смотри! — говорила она Дурдилке, — только задумай уйти... Разыщу, удавлю своими руками!..

— Я те дам! — отзывался солдат. — Попробуй!

— И удушу! Ты что тут? Нешто твоя собака?

— Не моя, а не дам!.. На то есть начальство собак бить, — а не ты. Не дам!.. Себе возьму!

— К себе?.. Да ты хоть озолоти ее, не пойдет она к тебе.

— Эх, дура старая!.. Я ей кусок дам, она сейчас ко мне пойдет!.. Сладкое ей у тебя житье, нечего сказать!.. Тютек!.. Иси, сюда, пострел!

— Ну-ну! — говорит Настасья, смотря на Дурдилку. — Поди-поди, попробуй!

— Иси, сюда! нá говядины!

— Поди, Дурдилка, возьми у кавалера говядины, она у него с француза еще в зубах застряла...

— Старуха-а! не шуми! — довольно строго предостерегает солдат.

— Ты зови собаку-то!.. Ну зови!.. чего ж ты?

— Старая баба! — презрительно заключает солдат, так как Дурдилка решительно не поддавалась соблазну.

— Ай взял? — с удовольствием кричит Настасья соседу... — Так, так, Дурдилушка! Нá тебе корочку, у-у ты, моя легковерная слуга!

Настасья употребляла иногда в разговоре слова совсем не те, какие следует; это потому, что она на своем веку слышала слов довольно мало и теперь, на воле, усвоивала всякое слово без разбору.

«Легковерная», по словам Настасьи, Дурдилка была действительно верная собака, и не потому, чтобы она была облагодетельствована Настасьей, а по одинаковости положения. Это тоже была «дворовая» собака, без конуры, без хозяина. В характере ее было много мрачности, равнодушия и вместе недоверия. «Нá кость!» — говорит ей какой-нибудь добрый обыватель угла. Дурдилка мрачно смотрит на него и не идет. «Нá, дура!» Она чуть-чуть вильнет хвостом и — все ни с места. Надо бросить кость и уйти: и тогда, подождав и убедившись, что кость одна и никто над ней не сторожит, она медленно подойдет к ней,

медленно возьмет и медленно понесет в такой угол, где уж ее не сыщешь. В жизни Дурдилки бывали разные случаи и разные повара. То она привыкнет свободно входить в кухню и наверное рассчитывать на кость; то вдруг, явившись в веселом расположении духа, получает от нового повара полный ковш кипятку на свою спину. Когда ее били, она не визжала и не рычала, а только поджимала хвост и уходила: она привыкла. Настасью она знала и была уверена, что если у Настасьи есть что-нибудь из съестного, то и ей, Дурдилке, достанется. От этого она и верна была ей; да кроме того она чувствовала, что время ее прошло, что собака она была не хозяйственная и что на улице ей делать нечего: только поглядит, да и пойдет в угол лечь. Во всем доме, во всем дворе ей не симпатизировала ни одна собака. Если иной раз к ней разлетится какой-нибудь джентльмен, то Дурдилка просто отойдет от него, опустив голову, словно конфузясь за джентльмена, что он не на ту напал. И джентльмен действительно поглядит ей вслед чуть-чуть и тоже уйдет. Настасье нравилось это отчуждение Дурдилки от собачьего общества. «Нечего тебе с ними, — говорила она ей: — что за компания? Издерут последнюю шкуру. Нá кость — и сиди!» И Дурдилка сидела в ее углу. Раз только Дурдилка позволила было себе вмешаться в чужие дела. Выйдя на двор, она увидела, что с молоденьким, месяцев пяти, щенком играет собачка, постарше щенка месяцами двумя. Собачка повалилась на спину и пренежно целовала щенка, который совал ей голову в самый рот. Дурдилка зарычала на собаку. В эту самую минуту ее настигла возвращавшаяся домой Настасья. Как несчастная мать, много выстрадавшая из-за неудовлетворенного чувства любви, она сразу поняла, что тут происходит.

— А, плут-собака! — накинулась она на Дурдилку, — завидуешь, шельма этакая! Зачем сюда пришла? — пошла домой! (Дурдилка пошла, поджав хвост.) А, каналья, — продолжала Настасья, войдя в угол и обращаясь к Дурдилке, которая уже была в темном углу под кроватью. — Что норовишь? Тебе ли, старой дуре, соваться в чужие дела? Уж лежала бы, старая дура, ждала смерти (под кроватью слышался вздох). Тоже завидуешь! Али ты думаешь, мне легче твоего? Что ж, и мне теперича, стало

быть, надо думать, отчего это у нас с тобой, у старых псов, ни деток, ни..?

И начался длинный монолог о горькой доле, принимавший все более и более драматические оттенки, по мере того как опоражнивалась посудинка с водкою (бутылочка от одеколона, тоже господская), посудинка, которую Настасья имела обыкновение приносить с собою, возвращаясь с работы.

— Проклятущая! — кричала она на Дурдилку поздно ночью — Из-зуродую! лежи не евши!..

Иногда пьяная Настасья была очень отвратительна: зубов у нее нет, глаза громадные, черные, злые; впалые, дряблые щеки побелели от злости; голос злой, хриплый, гадкий... и как же зато была она несчастна! Дурдилка — и та на что-то надеется, даже вот хочет защитить щенка. А Настасья так измучена, больна, одинока, что и подумать не может быть с кем-нибудь, кроме Дурдилки, в приятельских или враждебных отношениях.

— Когда ты замолчишь, старая карга? — не вытерпев, закричал ей солдат. — Городового позову!.. Что это такое?

А Настасья все ругала и проклинала Дурдилку, а сама плакала. Потом позвала Дурдилку, накормила ее и все-таки плакала... Дальше солдат ничего не слыхал.

III

Однажды Настасье пришлось мыть полы в квартире каких-то молодых супругов, которые только что женились и были в отличнейшем расположении духа. Их «хвалил» в эту пору весь обыкновенный штат петербургского дома, получающий и просящий на водку. Дворники, швейцар, кухарки, газетчик и т. д. — все их называли: «вот уж господа, так-та́к!», потому что господа совали деньги куда попало... Они были ко всем расположены. Это расположение попало и на долю Настасьи. Барыня ее расспрашивала, сколько она получает, где живет, отчего не лечила ногу. Господа удивлялись, жалели, обещали послать ее к знакомому доктору, дали лишний полтинник, напоили чаем, подарили башмаки и сказали, чтоб она приходила к ним, когда нет работы. Словом, господа эти,

по мнению Настасьи, поняли ее и жалели; очень хорошо чувствовала она на душе. Ей казалось, что она живет уже не одна на свете и не на воздухе висит, — у ней есть под ногами земля. Она может сходить «в гости». И она ходила в гости, только каким-то особенным образом.

В сундуке ее были какие-то удивительные наряды, всё, конечно, из «господских». Была тут коротенькая юбка, словно балетная, шелковые заштопанные шерстью чулки; была тут какая-то черная люстриновая баскина, вся на камыше и железе, концы которых давно вылезли наружу, словом — наряды самые удивительные. Одевшись в это шутовство, она чувствовала себя хорошо и шла *в гости,* где вела себя так: прямо отправлялась в кухню «молодых господ», засучивала рукава баскины, подтыкала балетную юбку, снимала шелковые чулки и башмаки и принималась мыть, стирать, подметать, словом — делать все, что следует делать кухарке. *«В гостях»* она перечистит все ножи, перемоет все тарелки, вспотеет от работы десятка два раз и, напившись кофею, уйдет. Угощалась она таким образом очень странно, но все-таки ей было удивительно весело на душе. Чем бы она ни отблагодарила «молодых господ» за внимание, если бы могла, но, кроме стирки, в ее распоряжении не было ничего.

Так она ходила *в гости* довольно долго и впоследствии приводила с собою даже Дурдилку, которая однажды, когда господа почувствовали одним вечерком порядочную скуку, даже очень развлекла их и понравилась им.

— Не взять ли нам собачку? — предложила молодая жена.

— Д-да! — согласился муж... — Необходимо завести что-нибудь... вообще... даже двух...

Настасья разыскала им двух щенят, но Дурдилку водить перестала.

Так прошло довольно долго, и Настасья чувствовала себя хорошо, как вдруг случилось следующее обстоятельство. Раз, на масленице, к молодым господам нежданно-негаданно наехало и нашло пропасть приятелей и друзей. Вдруг поднялось такое веселье, которого нарочно никогда не устроишь: полилось вино, заиграло фортепьяно, пошли танцы, шутки, смех. Настасья давно не видывала такого веселья. Ей было так хорошо и весело, как, может быть, бывало только в раннем детстве. Она забыла, что у ней

болит нога, бегала по десяти раз за вином, выпивала и опять бегала, и раз какой-то шутник из гостей вдруг обхватил ее и провальсировал с нею по комнате, причем все хохотали. Настасью поили вином, заставляли ее шутить, говорить прибаутки, которых у ней было в запасе довольно. В передней набилось горничных со всей лестницы; пришли посмотреть на потеху какие-то неизвестные люди, довольно прилично одетые в новые сибирки, и, поглядев немного, раскритиковали всю публику и ушли. Настасья не слыхала этой критики и веселилась как ребенок, не помня себя, возбуждая всеобщий хохот, и господ и зрителей передней: она проплясала какую-то удивительную пляску, целовала ручки, представляла, как ездит «легкая почта», причем почему-то боком скакала по горнице, словом — делала всевозможные глупости. Но репертуар их у Настасьи был невелик, а ей хотелось дальше и дальше.

Послали ее не то за табаком, не то за вином. Полетела Настасья с лестницы, как птица, и вдруг видит, что дворник забыл на площадке лестницы топор. Ей вдруг смертельно захотелось украсть этот топор; ей представилось, как это будет необыкновенно весело, и она в одну минуту схватила его, притащила в горницу и объявила: «У дворника украла!» — и залилась громким смехом. Это было так глупо, что все покатились со смеху, а Настасья, разумеется, больше всех. Не замечая того, что веселье, во время ее отсутствия за покупкой, приняло другое направление, она, воротившись, рассказала, продолжая покатываться со смеху, что встретила на лестнице дворника, который искал своего топора (представила даже) и, не находя, ругался... Так как это продолжение истории о топоре было совершенно неожиданно среди нового направления веселья, то публика опять засмеялась, а Настасье стало еще веселее. Как кончился веселый день и вечер — никто из гостей на другой день хорошенько не помнил. Не помнил никто и о Настасье, и только недели через полторы уже кто-то — барыня или кухарка — вспомнили о ней: «Что это давно не видать Настасьи?»

Прошла еще неделя, Настасьи все нет.

Кухарка зашла к ней на квартиру, но и там ее не было; там сказали, что недели две с половиной назад пошла она в баню и с тех пор «не бывала». Угол ее отдан другому,

сундук и «ангел» — у хозяйки, а Дурдилка шатается где придется. Хозяйка не весьма ласково отзывалась и о Настасье и о Дурдилке, которая, кстати сказать, очень внимательно слушала этот разговор.

А с Настасьей вот что случилось.

На другой день после веселого дня Настасья пошла в баню, намереваясь оттуда пройти к «молодым господам», помыть полы «после вчерашнего», поприбрать, словом — «в гости». Воспоминания о вчерашнем веселье не покидали Настасью. Она так разлакомилась вниманием и смехом, которые возбуждала вчера, что и сегодня так ее и подмывало отмочить какую-нибудь смешную штуку. Выходя из бани, она заметила целую груду шаек и, проворно схватив, спрятала одну из них под полу: ей представилось, как господа захохочут, когда она явится и похвастается вновь покражей, как смеялись все вчера покраже топора. Схватив шайку, она побежала бегом; но думая, что еще будет веселей, если притащить две (у туляка, думала она, их много!), вернулась, схватила другую, потом вдруг третью, потом веник...

— Ты что это делаешь? — строго, но спокойно сказал неожиданно появившийся дворник.

— Батюшка, я в шутку.

— В шутку!.. — повторил дворник и тотчас, с тем же спокойствием петербуржца, крикнул младшему дворнику, расчищавшему снег: — Иван! покарауль старуху, гляди, не убегла бы, я городового приведу...

— Батюшки! родимые! Христом богом!

— У нас две тысячи шаек в год публика ворует, всё тоже — в шутку. Гляди, держи!

Вопли Настасьи собрали толпу, которая сильно осрамила Настасью. Ее взяли в часть.

IV

Настасью взяли в часть просто для «острастки», в шутку, на одну ночь; но утром, когда ее хотели выпустить, она лежала вся в жару, совершенно больная. Водочкой погреться после бани ей не удалось, а и на дворе и в камере части было довольно холодно. Кроме того, она была испугана и глубоко огорчена. Она горько плакала, сидя

с ворами и пьяницами и вспоминая Дурдилку, которой никто теперь поесть не даст и которая, после знакомства Настасьи с молодыми господами, иной раз получала хороший кусок и даже привыкла к этому куску. К утру Настасья совсем разнемоглась. Ее поместили в больницу, и здесь-то пролежала она, почти не вставая, шесть месяцев. Разболелась нога, о которой в веселье она забыла думать, спина, грудь, сердце. Все это, измученное и старое, поддерживалось прежде водочкой, а теперь все это расклеилось, пошло врозь. Настасья каждую минуту ждала смерти, вспоминала свою жизнь, детей, думала, что будет гореть в аду, думала беспрестанно о Дурдилке, представляла, как ее гонят со двора, как она умирает. Словом, в эти шесть месяцев и физически и нравственно она выстрадала ужасно много. Она чуяла, что смерть приходит, что она не за горами, и это-то предчувствие заставило ее бодриться, чтобы в последний раз поглядеть на белый свет, посмотреть на Дурдилку, на господ.

Слабая, раздражительно-нервная выписалась она из больницы. Надежда — что вот сейчас она увидит молодых господ, которые пожалеют ее, несколько ободрила Настасью. Выйдя из больницы, она выпила водочки и поплелась к господам. Шла она долго, утомилась, устала. Наконец добралась.

Но господа переехали — там живут другие.

Как ножом ударило это Настасью в сердце: ей отдохнуть, даже присесть было негде.

— Куда переехали, милый человек, такие-то? — спрашивала она у дворника.

— Выехали в Москву... в деревню!

Настасья вдруг потеряла бодрость, вдруг ослабела и присела у ворот, прямо на тротуар. Долго сидела она в одышке; но так как дело шло к вечеру, нужно было идти куда-нибудь.

Она пошла к Дурдилке в свой старый угол.

Поздно уже ночью добралась она туда.

И действительно, только любовь к собаке держала еще ее на ногах. С самым лучшим, с самым задушевным другом мы не так встречались, не с такою пламенною любовью спешили к нему навстречу, как Настасья желала и спешила встретиться с Дурдилкой.

Но в «угле» Дурдилки нет.

— Где ж она? — едва дыша, произнесла Настасья.

— Где? Да солдат твой взял ее...

— И пошла? Дурдилка с солдатом убежала?

— Чего ж ей! Ее здесь кормить некому.

Настасья окаменела от такой измены. Дурдилка могла умереть с голоду, но изменить! Настасья никогда не ожидала этого.

— У-у, проклятая образина! — разозлившись, закричала она. — Удушу и с солдатом-то вместе! Бессовестные разбойники! Куда солдат переехал? давай адрес мне, пойду изуродую обоих разбойников!

Солдат, оказалось, переехал куда-то очень далеко, и идти теперь, ночью, не было никакой возможности. Настасья, в гневе и в возбужденном состоянии, провела в кухне хозяйки целую ночь, предварительно выпив, за уступленную хозяйке баскину, довольно много водки. Целую ночь она плакала, ругалась, забываясь только на минуту; целую ночь ругали ее за беспокойство угощенные ею же обыватели углов. Утром, с хмельными парами в голове и еще более больная и слабая, она пошла к солдату. Она так была больна, что не могла злиться на Дурдилку, рассудивши ее беззащитное положение; она была уверена, что собака обрадуется ей, и все пойдет по-старому. Ей нужно было только взглянуть на нее.

— Где собака? — довольно категорически спросила она солдата, разыскав его в «углу» на Петербургской стороне.

— Какая собака?

— Какая! моя собака! где Дурдилка?

— Теперича она не твоя! — спокойно и даже с иронией отвечал солдат.

— Как не моя? Вор ты этакой!

— Не шуми, старуха! Толком тебе говорю, не твоя собака теперь! Не пойдет она за тобой, хоть ты ее озолоти.

— Врешь, разбойник!.. горло перерву вору!

— Слушай, старуха! ведь ежели я примусь...

Солдат показал кулак.

— Берегись этого! Я говорю дело. Вон твоя собака, поди попробуй, пойдет ли?

В углу за сундуком действительно виднелась морда Дурдилки. Настасья замлела от радости, как только увидела эту морду.

— Голубчики! — прошептала она с истинно материнскою нежностью, осторожно подходя к Дурдилке и недоумевая, почему это она сама не идет к ней и почему эта морда и глаза как будто не те, что прежде?

— Дурдилушка! — протянув руку к собаке, шептала Настасья.

Но Дурдилка вдруг оскалилась и, захлебываясь, зарычала на Настасью, как на лютого врага.

— Ай взяла? — с удовольствием произнес солдат. — Ну, поди, подступись!..

— Дурдилушка! Матушка! — шептала ошеломленная Настасья, не помня себя... — Это я... что ты?

Но Дурдилка рычала все грозней и грозней. Шерсть у нее на затылке стояла дыбом.

— Да что же это ты сделал, варвар этакой? — вдруг в совершенном отчаянье вскрикнула Настасья, обращаясь к солдату. — Что ты сделал с моей собакой?..

— Дура! — остановил ее солдат. — У ней щенята!.. Чего ты ко мне лезешь? тресну, ведь дух вон!..

— Щенята! — побледнев, прошептала Настасья.

И тут началась отвратительная и ужасная сцена.

В углу солдата раздавалась возня, крик, лай, визг щенят, удары, звон разбитых стекол.

Эту сцену кончили городовые.

— Щенят перебила, — рассказывали на другой день в углах. — Солдату щеку раскроила... Все переломала... Собаке ногу переломила... После увезли в часть. Говорят — сумасшедшая.

Настасья, должно быть, на этот раз и умерла в части, потому что жить ей стало совершенно незачем.

4. ИЗВОЗЧИК

(Очерк)

В глуши Калужской губернии стоит заметенная снегом деревушка; есть в ней крошечная и шершавая избенка, — в избе живет баба с двумя ребятишками. И баба и ребятишки прежде всего желают что-нибудь есть, а сборщик желает получать с них подушное, и вот ради всего этого по Петербургу мыкается извозчик Ванька, тот самый, который рекомендует вам прокатиться на «американской шведке» или просто надоедает возгласами вроде: «вот на порядочной!», «ах бы, за гривенничек прокатил!» Ради подушного, толокна и красного платка, ожидаемых в деревушке, Ванька переносит в столице множество всевозможных страданий. Прежде всего немало уедает у него веку хозяин.

Человек этот вышел из таких же Ванек, сумел понравиться господам, попадал в жизни несколько раз «на счастие», которое являлось к нему в виде людей, желавших носиться из трактира в трактир не иначе, как во весь дух, — и в короткое время, на лютую зависть всем землякам, «вышел в люди». В Ямской он нанял целый этаж, когда-то населяемый господами, и переселил из деревни всю семью. Остатки обоев, золотых багетов и паркетных полов как-то по-свойски мешаются с деревенскими бабами, шатающимися в барских покоях с грязными ребятами; ковши с квасом — на каменных подоконниках, грязные шерстяные чулки у камина, вовнутрь которого вдвинута клетушка с гусыней, изломанное вольтеровское кресло с прорванной подушкой, деревянная лавка, чашка с капустой, громадное зеркало, расколотое в самом центре,

и проч. Самовары с зелеными и красными потеками не перестают здесь клокотать целые дни; ковриги хлеба, соленые огурцы, картофель до такой степени изобилуют в жилище Ванькина хозяина, что даже деревенские родственники его, первоначально потерявшие рассудок от возможности поглощать означенные продукты «сколько душе угодно», в короткое время сообразили, что в этом нет особенного дива и что «по Петербургу завсегда так!» На то он и Петербург прозывается, чтобы «чего угодно... так-то-ся!» Тем не менее увеличение роскоши в огурцах и капусте, происходящее в верхних апартаментах хозяйского жилья, имеет непосредственное отношение или давление на нижний, подвальный этаж, где копошится в отравленном и душном воздухе сорок человек Ванек и их промокшие полушубки, далеко пахнущие овсянкой, их промокшие сапоги и рубахи, в которых гнездится тиф. Ванька этого в счет не ставит. На первом плане его забот стоит хозяйский приказ: «хоть роди, — а два серебром предоставь». Бывают случаи, что в руки Ваньки перепадает кое-что и сверх выручки; но бывают, что вся эта прибыль, накопившаяся в течение нескольких недель, в один несчастный день целиком попадает в хозяйский карман, так как хозяин имеет ту «правилу», «чтобы ничего этого в расчет не принимать!» «Знать я этого не хочу, — говорит хозяин, — потому у меня положено, чтобы было два серебром»... Но и Ванька тоже имеет свою защиту в таких несчастных случаях. Во-первых, он надеется на бога, а во-вторых, у него есть секреты; этими секретами он, словно рожнами, от беды отпихивается. Вот он выехал, помолился на церковь и стал на «счастливое» местечко. По преданиям, на этом самом месте, на углу, около трактира «Амстердам», стоял Иван Шумелов, которому господь такое счастие послал, что теперь он первый из хозяев-лихачей и имеет пребольшой капитал в ломбарде. Попав на счастливое место, Ванька почти покоен и, ожидая седоков, мерзнет с некоторым даже удовольствием. В такие минуты он думает о том, какой-то попадется седок, так как седоки бывают разные; один любит расспрашивать про женский пол; другой говорит: «ну, что же ты теперь — свободный?», а третий умеет только кричать — «пошел же, чорт тебя побери!» Размышляя о свойствах седоков, Ванька вполне уверен, что седоки эти будут непременно,

«потому Иван Шумелов тут же стоял, и теперь он, можно сказать, первый по Петербургу»... Размышляя таким образом, Ванька погуливает по панели, похлопывает рукавицами, подпрыгивает и плечами передергивает, ибо мороз пробирает его тоже не в шутку, а по-столичному, по-петербургски, то есть до костей. Мимо, по улице, несутся извозчики с обледенелыми бородами, седоки с руками, засунутыми в карманы, и поднятыми воротниками. Все визжит и дымится, не знает, куда укрыться от лютой зимы. Ванька все стоит, погуливает да покряхтывает. Идут седоки, но цену несоответственную дают, гривенник с Песков на Английский проспект или в Мастерскую. Ванька тоже понимает цену и за такую ничтожность везти не берется. Но вот с противуположной панели сел на извозчика какой-то барин, и Ванька тотчас же перемахнул с своими санями с *счастливого места* на *теплое*. Теплое место — тоже хорошо. Оно иной раз невпример даже «счастливого» лучше бывает: Ванька в этом вполне убежден. Попал он на теплое место и подскакивает, и плечами передергивает, и седоков ожидает... Идут люди и дают цены несоответственные. Но Ванька цену знает себе... и ждет.

— Извозчик! — раздается наконец.

И седок без торгу заносит ногу в Ванькины сани. Ванька подбирает вожжи и пускается в путь, бодро смотря в лицо морозному ветру и сохраняя за своей спиной барина, который изредка пускает вопросы из глубины своего воротника.

— Что это у тебя нос-то желтый? — спрашивает барин.

— Отморожен-с, вашескобродие! Не доглядел-с — ан морозом-то его и отъело. Отойдет-с!

— Неужели отойдет?

— Отходит-с. Гусиным салом первое дело... от него отходит-с. Потому у нас это кажинный год, кажную зиму бывает-с, ну а через гусиное сало он опять входит в свое понятие. Следственно, шкура с него лезет, отваливается. И страсть, вашескородие, что шкуры-то этой мы с носу-то... упаси господи! Ну а к лету она вторительно нарастает...

— Вновь?

— Да уж обыкновенно она вновй нарастает, потому мы ее, шкуру-то, снимаем-с. Сдираем ее, она негодная от

морозу-то-с, а летом-то уж она опять нарастание имеет вторительное. Так-то-ся!

Седок, у которого мороз захватил дыхание, прижимается за спиною Ваньки и долгое время молчит.

— Так гусиным салом? — говорит он наконец, освободив на минуту свое лицо из-под воротника и видя, что Ванька сидит к нему полуоборотом, что ясно свидетельствует о желании последнего продолжать разговор и приятное знакомство.

— Гусиным-с! гусиным салом-с! И преотличнейшее средство... потому мы в этом известны. Это у нас кажную зиму носы повреждаются с морозу-с. Первое дело мы дерем с его шкуру. И старайся ты, вашескобродие, в случае чего, салом этим... Как салом смазал — сейчас он, нос-то, в облупку пойдет... Как ты его обдерешь...

— Стой! — говорит седок, — подожди, вышлю.

— Слушаю-с!

Принимается Ванька ждать...

«И какой барин разговорчивый попался», — думает он, попрыгивая на окаменевших ногах и хватаясь каменной рукавицей за каменный, отмороженный нос... Час проходит, и два прошло, и три. Ванька начинает входить в «сумление». Но по его соображению обману быть не может: первое дело — барин, второе — с *теплого* места взят; по всем расчетам не выходит, чтобы был здесь обман... Но прошел час и еще час, — идет Ванька в ворота, становится среди двора, водит глазами по этажам и думает. Мне кажется, что самый просвещенный ум, став в положение скромного Ванькина ума, в короткое время мог бы убедиться в ничтожности человеческого существа вообще. Какими, например, судьбами бренный ум наш может проникнуть сквозь каменную стену, на которую долгое время был устремлен испытующий взор Ваньки? Какой из шести лестниц, выходящих на двор, отдать предпочтение пред прочими, признав ее именно тою лестницею, по которой исчез неизвестный седок? Что должен предположить европейски образованный ум, если, кроме безмолвной стены и не менее немых лестниц, на том же дворе существуют проходные ворота?

Европейский ум должен потерять сознание. Ванька потерял его наполовину, он угрюмо смотрел в каменную даль проходных ворот, чесал голову и бормотал: «К при-

меру»... Через несколько времени, не изменяя направления взора, он принялся чесать голову и спину и бормотал:

— Ишь он к примеру... Так-то-ся!

— Тебе кого?

— Барин тут... Часа с четыре жду...

— Э-э, — произнес дворник и, не говоря больше ни слова, юркнул в свою квартиру.

Ванька долгое время по уходе дворника стоит посреди двора, несколько раз плюет в раздумье и принимается шататься по лестницам, робко трогая ручку звонка, слушая суровые отзывы прислуги и в ужасе отдергивая свой мерзлый нос из захлопывающихся дверей. В заключение Ванька снова стоит посреди двора, смотрит в стену, чешет затылок и бормочет: «а называются господа». Дело оканчивается тем, что он, наконец, возвращается к своим саням; проходя мимо лошади, дает ей кулаком в голову, а затем садится на козлы, подбирает вожжи и принимается стегать свою шведку во всю мочь, устремляясь в какую-нибудь знакомую харчевню вроде «Ямки», что за Казанским собором, где пьют и едят всё свои. Тут есть биллиард и волчок; девицы в красных платьях поют романсы вроде: «Он тиран — тиран, вор мальчишка, он не любит, вор, меня». Атмосфера прокалена запахом масла, луку и водки. Извозчики распоясались, разгорелись и, выбегая на улицу посмотреть лошадей, дымятся от тепла, которое выносят с собою.

Выпив и закусив с горя в *ямке*, Ванька снова молится на церковь, и затем начинается опять проба счастливых и теплых мест и прочих секретов.

МЕЛОЧИ



1. ДВОРНИК

В бесконечном ряду темного, незаметного люда, с утра до ночи трудящегося на пользу процветания и удобств столичной жизни, по всей справедливости занимает первое место дворник, этот человек в полосатой шерстяной фуфайке, которого всякий видал миллионы раз; не думайте, чтобы этот предмет был слишком маловажен, — напротив, в настоящее, совершенно пустынное от всяких героических личностей, время дворник может занять довольно видное место. В самом деле, чего хотите вы от истинного героя? Мужества, несокрушимой твердости духа, самоотвержения? Все это, даже в большей степени, вы найдете в столичном дворнике; прибавлю даже, что как истинным героем, так и порядочным дворником нельзя быть, не обладая этими качествами и преимущественно доведенным до высших границ самоотвержением, заставляющим из-за вашего покоя и тепла пожертвовать своим теплом и покоем. Всем, решительно всем вы обязаны этой пестрой, неугомонно работающей куртке; вы в этом тотчас же убедитесь, если только будете иметь терпение проследить хоть один день ее трудовой жизни; одно уже то, что вы будете *только наблюдать* эту жизнь, измучает вас прежде всего физически, потому что если вы действительно решаетесь познакомиться с программою занятий дворника, то вам нужно подняться чем свет, и тут вы будете изумлены тем, что дворник уже опередил вас: на дворе давным-давно стучит его топор, раскалывающий дрова, фуфайка дворника давно пропотела от швыряния в сарай поленьев и дымится на утреннем морозе; работа идет все

шибче и шибче — и скоро вам не угнаться за этой фуфайкой! Вот вы встречаете ее на лестнице с целой горой дров на спине, уставившуюся в землю лбом, осторожно поворачивающую свое тело на изгибе лестницы; спустя немного — дворник попадается вам на той же лестнице с огромными широкодонными ведрами; затем вы видите его на окне магазина, с тряпкой в руке, шлифующего зеркальное трехаршинное стекло, вы видите его со скребком на тротуаре зимою, с ломом — во время гололедицы, с метлой — летом. Эта же пестрая куртка иногда мелькает вам за кулисами театра, с натугой выкатывающая на сцену величественное облако или грандиозную морскую раковину, на которой с невыразимой грацией поместилась балетная героиня... Все, решительно все для вас — и ничего для себя! И это потому, во-первых, что конура, над входом в которую видна дощечка: «Дворник», изобилует самыми худшими чертами всех времен года — летней духотой, с быстрыми переходами к лютому холоду, осенней сыростью и гнилью подвального воздуха; словом, изобилует всеми неудобствами, о которых вы давным-давно успели позабыть, если хоть когда-нибудь слыхали о них. Потому еще «не для себя» живет он, что где-то в Осташкове существует сын Иван и жена Авдотья; и отписала эта жена Авдотья «письмо», где значится, что «в чистую избу никак им перейти невозможно, потому что подрядчик Иван Семенов не пущает до тех пор, говорит, пока двадцать целковых за стройку не отдадите». Да еще пишет Авдотья эта, что «нельзя ли картузик сынку, да ей платок, да два целковых за башмаки еще не отдавали, но что Федор кум и сестрица кланяются и что Гаврило Прокофич недавно погорел. Затем прощайте...»

Все это огромной массой забот лежит на плечах столичного дворника; об этом Осташкове, об этой Авдотье и о чистой избе думает он с болью в сердце, потому что за хлопотами приходится думать только украдкой, только в промежутки дум о вашем покое, о чистоте улицы, за укладкой дров, за тасканьем воды. И эти осташковские дела заставляют хватать подходящую минуту, стараться и бегать для кого бы то ни было, лишь бы потом за услугу перехватить «что-нибудь».

Только что поставил дворник метлу, после продолжительной прогулки с нею по панели углового дома,

и, войдя в свою совершенно темную от темноты зимнего вечера дворницкую, отломил огромную краюху хлеба, которой так давно жаждал проголодавшийся желудок, как над самым окном его раздался отчаянный звонок.

— О, шут тебя возьми!.. — произносит дворник, вылезая из своей норы.

— Дворник! — кричит какой-то франт, стоя в воротах и заложив руки в карманы.

— Что, что там? Кого надо?

— Ты дворник?

— Я! Что угодно?

— Послушай, поди сюда!

Франт идет в темный угол под воротами.

— Что угодно?

— Вот тебе... возьми...

— Благодарим покорно!

Получив в руку, дворник считает нужным снять шапку и вполне отдается воле благодетеля, который говорит:

— Послушай, братец, — не знаешь, кто это такая побежала сейчас?

— Куда это-с?

— Прямо из ворот и потом, кажется, вон в угол?

— В угол-с? Это которая же... в платочке?

— Да-да-да...

— Это, надо думать, Марфуша... швейка.

— Швейка? Гм! Так, братец, того, поди-ко сюда...

Идут в угол более мрачный, где посетитель шепчет дворнику на ухо и потом произносит:

— Понимаешь?

— Будьте покойны!

На дворе стоит лютый зимний вечер. Посреди улицы мчатся промерзлые рысаки, широко раздувая ноздри и оставляя клочки пара, который тотчас же расхватывает на части мороз. В небе красные полосы. Посреди улицы итальянец-шарманщик, в легком пальтишке, с грязным шарфом на шее, подпевает под мотив из «Эрнани», но мороз хватает его за горло, и поэтому вылетают по временам какие-то отрывистые басовые звуки. Да и шарманка тоже по временам сипит: мороз победил жаркий итальянский напев. Франт подпрыгивает на тротуаре, круто поворачивая от угла назад, заглядывает в ворота и марширует опять.

А дворник между тем не спеша поднялся по черной лестнице и остановился около квартиры портнихи Оборкиной; подумав с минуту, он осторожно отворил дверь и очутился в мастерской. Около стола, на котором лежали кучи кисеи и разных материй, сидели и стояли девушки. Одна из них только что вернулась с улицы, о чем говорили ее румяные щечки.

— Ну, девушки, — говорила она: — какой за мной франтик гнался! От самого Аничкина моста... Я бегу — он за мной, я бегу — он за мной...

— Что Марьи, полковницыной куфарки, тут нету?.. — спрашивает дворник.

— Затворяй дверь-то, ишь барин какой! Холоду напустил! Какая тебе тут Марья?

— А я думал, здесь; барыня спрашивает — а ее нету... Я так мекал — здеся.

— Ступай, ступай!

Дворник мнется.

— А я так думал... — тянет он, и во время этого ненужного разговора Марфуша, только что рассказавшая погоню за ней, успела заметить, что дворник то мигал ей глазом, кивая при этом в сторону головой, то пальцем манил... Все это, надо сказать прямо, уже было знакомо Марфуше, потому что этими же самыми жестами дворник вызывал ее к купеческому сыну Алеше. Она окончательно убедилась в том, что есть какое-то экстренное дело, когда дворник, медленно затворявший дверь, успел еще раз поманить ее своим большим пальцем. Все эти символы были ясно поняты; Марфуша толкнула свою подругу Соню и воскликнула:

— Ах, батюшки! Где ж это рюш-то?.. Никак я его... Ах, батюшки мои...

Марфуша нагибалась под стол, искала по карманам, но рюша не было нигде.

— Так и есть! Ведь я его никак потеряла!

— Где-нибудь на улице...

— Да на улице и есть! Ах, батюшки мои!

— Оденься-ко да побеги...

— И то, пожалуй, побежать... Мы, тетенька, побежим с Соней. Я не увижу, она увидит!

Девушки поспешно накидывают кой-какие пальтишки, на головы набрасывают маленькие платочки, напоминающие самое жаркое лето, — и вон!

— Идите скорей... Кольки времени ждут! — сердито ворчит дворник на темной лестнице. — Право, толкутся, словно бы барышни какие!

— Ну, молчи!

— Да право!

Девушки выскочили за ворота, побежали было в одну сторону, потом тотчас же поворотили в другую сторону, и тотчас же за их спиной раздался осторожный кашель и учащенные шаги... Девушки хихикали, останавливались на минутку у окон часового магазина, потом бежали куда-то, опять поворачивали назад, зачем-то перебежали дорогу, повернули за угол, а в сущности кружились на одном месте. Шаги все стучали сзади их. После таких маневров, продолжавшихся, благодаря морозу, только пять минут, франт шел уже рядом с девушками, зацепляя ногою дырявые ситцевые подолы их жиденьких, легоньких платьев. Еще минута, и дворник, интересовавшийся концом этой истории, слышал, как за углом шел такой разговор:

— Все мужчины обманщики... Уж это вы не говорите!

— Кто это вам сказал? Извозчик!

— Ну да, как же... сначала любит, а потом...

— Да откуда вы это берете? Извозчик! Совершенно не то! Извозчик! Напрасно вы так... Подавай!..

— А потом обманет...

— Что вы! Кто это вам внушил?.. Подавай! Стой! Стой! Сонечка, — сюда! Марфуша со мной! Пошел!..

— Эй, вы! — встряхнув вожжами, вскрикивает извозчик. Сани раскатываются на углу, швырнув в сторону и снегом и искрами...

— Ах!

— Поехали! — заключил дворник.

Глубокая ночь. На углу стоит обмерзлый газовый фонарь, в который рвется ветер, стараясь задуть огонь; словно птица, мечется огонь в стороны, и по панели прыгает тень клетки от фонаря; у запертого винного погреба

ветер качает большую виноградную кисть; городовой в башлыке, с мерзлыми усами, прислонился спиной к стене, всунув рукав в рукав, туго пожимает плечами и дремлет. Пустынно, хоть и слышится еще тихий, словно усталый полутреск и полушум от полозьев и колес карет; извозчики дремлют на своих санях, закрываясь дерюгой, побелевшей от снегу, которым так упорно играет метель и мороз... Дворник в огромном полушубке, волочащемся по земле и вздымающемся выше головы, с толстой дубиной в руках, не спит... Ходит он по панели, садится на скамейке у ворот, отворяет парадную дверь какому-то запоздавшему господину, не совсем твердо ступавшему ногами; шуршание тулупа во время ходьбы дворника, громыханье ключа и грохот выпуклой железной вывески, привешенной на внутренней стороне двери, — все это нарушало на минуту холодную и горькую столичную пустынность. Дворник снова ходит, снова дремлет, но не спит. В темном переулке, сбоку, где судьба и полиция нашли удобным поместить только два фонаря, — посреди улицы раздаются пьяные голоса: толпа молодых людей, один за другим, вываливаются из четырехугольной калитки в воротах какого-то мрачного и сверху донизу беснующегося содома; нетвердым языком разговаривают они, но кричат сильно, и притом все вдруг: один уронил с плеч шинель на снег, нагнулся, поднял ее и упал. Друзья-приятели не замечают этого и с тем же говором и шумом влезают в калитку соседнего дома. Оставшийся долго что-то бормочет над своей шинелью, философствует, — наконец начинает дремать, но свежий воздух берет свое...

И пустыннее становится кругом, ближе и ближе подступает та минута совершенно беззвучной тишины, которая хоть на одно мгновение, но непременно бывает и в бессонном организме столицы. Дремлет дворник. Из-за угла в это время выезжает извозчик: лошаденка маленькая, мухортая, обвешанная сосульками, дуга облупленная, связанная посредине бечевками, одна оглобля белая, другая черная, извозчик — ветхий старичок; это — ночной извозчик, так называемый *желтоглазый,* карикатура в глазах денных ездоков и предмет посмеяний, как такое бесталанное существо, которое поставлено в необходимость брать *«пятиалтынный за Дунай».* А на полуразва-

лившихся санях этого желтоглазого, санях, которые словно ходенем ходят под седоком, которые все изранены — и внизу и в задке налетавшими смаху дышлами, — на этих убогих санях едут наши знакомки: Соня и Марфуша. Марфуша то и дело принимается песни петь, ногой притопывает: «А-ах, лешеньки» и кричит: «Ах, извозчик, пошел!..» Соня, которая в первый раз испытывает на своей, рано или поздно предназначенной к погибели, голове ощущение хмеля, пугается этого ощущения, останавливает Марфушу, покачивающуюся из стороны в сторону, и дрожит ее сердце при виде знакомого пятиэтажного дома, где живет портниха Оборкина.

— Эко девки-то напились как! — соболезнуя, говорит дворник и поднимается со скамейки. — Где вас шут носил?

— Голубчик дворник! Ваня! — любовно говорит Марфуша, нетвердо стоя на панели. — Ванюша!.. Гуляли...

— Вижу!.. Зачем вино-то жрешь?.. Как теперь покажешься к мадаме-то?..

— Да я не покажусь...

— Не покажусь! До естольких пор волочаются... Мне же достанется...

— Кто мне может запретить? — воодушевляясь, произнесла Марфуша, размахнув руками, и во все горло затягивает песню...

— Иван Иваныч! Голубчик! — робко произносит Соня: — мы боимся!..

— Прижала хвост-то... — снисходительно произносит дворник, медленно идя под ворота. — Пошли спать сюда! — продолжает он, толкнув ногой дверь в дворницкую. — Чем свет взбужу — как-нибудь потихоньку проберетесь... Пошли!.. Клади-ко ее... Эко Марфа-то в самом деле как ослабла!

Улеглись девушки в конуре дворника — Марфуша вялым языком что-то рассказывала, быстро приподымаясь с полу и почти так же быстро падая опять... Принималась песни петь... Соня глаз не могла сомкнуть от страха, который все больше и больше охватывал ее.

— Господи! — шептала она во тьме...

Вьюга шумела на дворе, и попрежнему, ежась от холода, дремал на скамейке дворник...

...День. Марфуша сидит за работой с больной головой и побледневшей, как полотно, физиономией. Неразговорчива она — «да» и «нет» — и больше слова не добьешься, и грустно ей, и вся разбита, нездорова она.

А дворник, как и вчера, еще до рассвета принялся за свою обычную работу и, усевшись потом за еду в своей дворницкой, вовсе не обращает внимания на то, что какая-то женщина давным-давно взывает к нему, стоя посреди двора.

2. ПО ЧЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ

...Женщина эта, одетая почти по-деревенски, по своей робости и глупости никак не решалась позвонить в дворницкую, потому что ей казалось, что звонок существует для господ, а простой народ обязан обходиться собственными голосовыми средствами. Вместе с добродушным простоватым видом женщины звонкие возгласы ее, обращенные к пятиэтажным стенам петербургского дома, заставили дворника считать эту женщину просто за «глупую бабу», с которой можно и не церемониться. Вследствие этого дворник не тронулся с места до тех пор, покуда к воротам дома не подкатил какой-то офицер.

Отчаянный звонок, обличивший появление у ворот барина, заставил дворника выйти наружу, и тут Марфа могла, наконец, узнать, что 29 №, где живет г-жа Иванова и где требуется кухарка, будет по черной лестнице, в таком-то этаже.

Марфа давно знала, что ей всю жизнь придется скоротать на черной лестнице, по заднему ходу; поэтому-то ее нисколько не удивила ни атмосфера черной лестницы, ни мерзлые рубцы льду и сору, ни ушаты с мерзлым сором и воткнутой в них метлой, ни лари, из которых несет разлагающейся провизией, — все это в ее понятиях иначе и быть не могло. Дверь из двадцать девятого нумера была отворена настежь, и из нее белыми клубами валил удушливый кофейный дым. Перед плитой, из дыр которой вырывались огненные языки пламени, с раскаленной кочергой в руках стояла кухарка — худая, общипанная... Это был тип истой петербургской кухарки, знающей

«бонжур» и «мерси» и резонерствующей в лавочке о господах. Марфа должна была занять ее место в 29 №. Вращая огненной кочергой и отдернув в сторону голову, кухарка утопала в облаках дыма и пара, потому что в эту самую минуту, когда Марфа решилась вступить в кухню, кухарка в азарте перевернула вверх дном горшок с какою-то жидкостью.

Марфа пережидала, пока на плите происходило шипение пролитого кушанья и грохотание чугунных конфорок, и потом произнесла:

— Бог на помощь! Что, милая! барыня, госпожа Иванова, здесь живут? — сказала она.

— Вы от кого? — спросила та.

— Сами от себя... Тут куфарка требуется?

— Ах! это вас рекомендовали? от прачки?

— Федосья-с — она...

— Так, так — Федосья! Иванова здесь... Вы, душенька, отдохните, ее дома нету, ведь она у нас верченая... — затрещала кухарка. — Ведь она у нас очумелая!.. Тепериче вот Семен Михалыч принес десять целковых — чем бы что путное сделать, а она хвостом вильнула, да по магазинам... безо всякого, можно сказать, рассудку... Иной раз... кофию-то, что же я? Господи помилуй!..

— Благодарствуйте на кофее...

— Как можно! Что вы!

Медный кофейник тотчас же заклокотал на плите, а вместе с ним неудержимым потоком хлынула разговорная трескотня кухарки.

— Ведь она, барыня-то наша, не совсем-то барской породы, — трещала кухарка: — это ведь только мужчины-дураки наглядеться на нее не могут, безумные! И скажите на милость, что в ей? Ну ежели бы что-нибудь, а то ведь просто стыд сказать!.. Худая, злая, да и... Кажется, ежели бы на моем месте, да я бы не только что уважение ей какое оказала, а просто и внимания бы не дала... Ну скажите на милость, каково вам покажется после этого, что, например, Семен Михалыч, так тот до чего: бьет его, ругает, и он же у нее прощения просит! а? Думаю, и не могу понять, из-за чего такое безумие? Да мне, я вам не хвастаясь скажу, один генерал — тоже к ней ездит — так он мне, может быть, несколько раз говорил: «вы, говорит, Натали, много бы против барыни себя превозвысили...

если б, конечно, вы были в настоящем вашем виде!» И ей-богу: одень-ко меня — я б... уж бы высказала бы!.. Другой тоже, конный офицер Кузмичев, говорит мне: «Вы, говорит, лучше всякой барыни!..» А мне что такое? Я не хвастаюсь, а одно, что люблю я правду... Мне этих пошлостев не нужно; имею я своего знакомого военного — и довольна от бога! Чего мне еще желать? Надо понимать во всем свою правду...

— Это точно! — подтвердила Марфа.

— А то как же? Через то, что видеть я не могу, какую она дозволяет себе команду над благородными людьми, я и от места отхожу. Что мне? Мне мой военный говорит: «Вы, говорит, Наташенька, не опасайтеся! Вы, говорит, довольно красивы в своем лице, и во всяком благородном доме могут вас принять. Вам опасаться нечего!» И вправду: вон теперь к синатору поступаю... И слава тебе господи! Кого мне опасаться? Я как есть перед богом! Ее-то, что ль? Так это уж сделайте ваше одолжение!..

Тут кухарка остановилась перевести дух; она торопливо подоткнула юбку, взявшись за нее спереди обеими руками, и надвинула на темя съехавшую назад сетку, внутри которой изгибался хвостик косы, весьма похожий на высохшую селедку.

Марфа с некоторым изумлением слушала трескотню своей предшественницы.

— Ежели бы на мою волю, — начала та опять наставительным тоном, — так я бы и господ-то этих, да и ее-то...

— Это что такое? Это целый день дверь будет распертая стоять? — сердито произнес новый женский голос, захлопывая дверь.

Кухарка бросилась снимать салоп и на ходу шепнула Марфе:

— Барыня!

— Целый двор хочешь, что ли, натопить? — продолжала сердитая барыня.

Храбрая кухарка не выказывала ни малейшего протеста, но нашла-таки возможность шепнуть Марфе два словечка:

— Проюхляла деньги-то по магазинам, вот и щетинится!

Барыня между тем заметила Марфу и сочла нужным вступить с нею в переговоры; для этого она потребовала

ее к себе в горницу и задала известные вопросы по поводу паспорта, поведения и проч. Марфа при этом не упустила случая упомянуть о своем служении в доме генерала Папухина, который по обыкновению остался очень доволен ее услугой. Разговаривая таким образом, барыня и кухарка неожиданно оказались землячками — они вместе были крепостными господ Адоньевых, Рязанской губернии. Госпожа Иванова вспомнилась Марфе двенадцатилетней девочкой, вертевшейся в услужении у барышни в то время, когда Марфа уже успела проводить мужа-солдата на войну, где он и доказал уже свою доблесть, получив чью-то пулю куда-то навылет. Это обстоятельство оживило сухой разговор землячек.

— Ну, здравствуйте, — сказала Марфа, — ишь господь где свидеться привел!

Барыня попробовала было ей поддакивать и тоже радовалась встрече, но скоро свернула на разговоры более барские, низвела месячную плату Марфы с пяти рублей до четырех с полтиной, упомянула насчет строгости нравов и назначила срок переезда. Марфа поняла свое место и говорила: «слушаю-с!»

Старые знакомки расстались на этот раз, как расстается барыня с кухаркой, а через два дня Марфа уже переезжала к госпоже Ивановой. Сидя на куче узлов, поглотивших извозчичьи сани, она одной рукой придерживала образ Троеручицы, украшенный потемневшими цветами и фольгой, а другою обнимала извозчика за шею. Въезд ее был до того трогателен или, вернее сказать, потрясающ, что управляющий дома, увидав фигуру задохнувшегося в объятиях Марфы извозчика, испуганно позвал дворника. Дело, однако же, обошлось без особенных несчастий, и Марфа поселилась в кухне госпожи Ивановой, вытеснив свою предшественницу, которая в то же время переехала куда-то на квартиру. Несмотря на зимнее время, предшественница Марфы были одета в легчайший бурнус, голова была повязана крошечной косыночкой, и на коленях ее помещался маленький зеленый сундучок без замка. При каждом ухабе крышка сундука отворялась, открывая взорам наблюдателя его пустую внутренность, где прядала какая-то помадная банка и рыжая роговая гребенка. Все это, однако, не мешало ей иметь гордый, независимый вид и не препятствовало критиковать го-



спожу Иванову во всеуслышание всех бывших на дворе в момент отъезда.

Таким образом Марфа стала на новом месте.

Как сказано выше, Марфа была не что иное, как *баба глупая;* кроме доказательств, уже приведенных нами, положение это подтверждается еще крайне ограниченными размерами имущества Марфы: оно состояло из старого сундука, где под крышкой, выклеенной изнутри конфектными картинками с расплывшейся и размазанной краской, находилось два-три ситцевых платья, весьма ограниченное количество белья, несколько платков и коробка из-под монпансье, где лежали иголки, пуговицы, наперстки и, по временам, медные деньги. Все эти вещи она предоставляла на жертву жильцам тех хозяев, у которых ей приходилось жить: иголки и нитки занимали у ней все жильцы — бесплатно и безвозвратно, и несмотря на то, Марфа никогда не отказывала в просьбах, обращенных к ней; такие проступки добродушия Марфы никак не могли происходить от ее необузданной щедрости, составляющей достояние только вельмож, потому что Марфа считала непростительным грехом отнестись с пренебрежением даже к булавке, попавшейся ей в сору, стеариновому огарку величиною в одну десятую долю вершка. Всему виною было именно то, что Марфа была «баба глупая». Термин этот может быть объяснен несколько подробнее. Дело в том, что судьба с ранних лет обрекла Марфу на труд и нужду, а сама Марфа почему-то вздумала прибавить ко всему еще и правду, борьба которой с трудом и нуждою была одним из самых тяжких страдальческих крестов, лежавших на Марфе. В вознаграждение за все эти лишения и скорби судьбою предлагалась ей одна только отрада — возможность прокормиться, каковую отраду Марфа привыкла считать единственною целью своей жизни. С самого детства, с первых дней, она едва ли имела возможность представить себе, что есть на свете и другие, более торные дороги. Под влиянием таких велений судьбы Марфа должна была жить так, как велит ей «правда нищеты и бедности», выработанная всем «черным народом». Придерживаясь этой философии, Марфа представляла себе столицу почти тем же, чем

простонародному воображению представляется грозная литва, упавшая с неба туретчина или неметчина, с тою разницею, что во взгляде ее на столицу не было ни вершка места для иронии и самодовольства, с которым можно и даже должно относиться к таким плюгавым государствам, как неметчина и проч.; напротив, в столице она чувствовала себя в плену и была убеждена, что с ней могут поступать так, как кому захочется. Правда нищеты, выработанная именно сознанием этого плена, учила ее покоряться всему безропотно; заставила не удивляться ни единому ужасу столичной жизни, ни единому уродливому требованию тех, от кого зависит ее возможность прокормиться. Жила она поэтому где придется, не брезгала ни жидами, ни немцами, ни татарами; вся жизнь ее уходила на изучение «нрава» ее господ; все заботы и думы ее устремлялись к улучшению чужого благосостояния, чужого покоя. Иногда, покоряясь той же правде черного народа, она делала нечистое дело — например, когда посылали с ней извозчику деньги, она выторговывала у последнего пятачок и оставляла его у себя; или передавала от барышни записку офицеру, несмотря на запрещение маменьки и единственно ради двугривенного, данного барышней, и проч. Но весь черный цвет этих пятен уничтожается в той массе всякой житейской, темной и грязной действительности, которой должна была она покоряться. Она воевала за свое существование, билась как только могла, и немудрено, что война эта изувечила и изранила ее душу и голову. Раны ныли и болели, и как только Марфа хоть на минуту заключала перемирие с действительностью, как только она получала возможность, пользуясь отсутствием господ на дачу, просидеть целый день одна-одинешенька и подумать самой о себе, она никогда не обходилась без слез; в это время представлялась ей и сестра, которая бьется с малыми ребятами в деревне Босоноговой и которую бьет муж, и свои сироты, разбросанные по воспитательным домам и топким кладбищам, и сама она, Марфа, сирота,— и тогда она плакала-заливалась; только в слезах и рыданиях была она свободна, только в них высказывалась вся ее неподкупная, неизмеримая нравственная чистота.

По переезде на новое место Марфа прежде всего вешала в углу кухни образ Троеручицы, задвигала под кровать сундук и, покончив таким образом с собственным имуществом и устройством жилища, принималась изучать свойства квартиры, имевшие непосредственные отношения к печке и плите: чуланчики для провизии, помещения для дров, прачешные и чердаки и проч. На обозрение всего этого она, впрочем, тратила довольно мало времени, так как ее умственной работе предстояла еще другая, более серьезная пища: ей необходимо было, как уже сказано, изучить нравы новых хозяев, узнать, что им нравится и что нет, и наизусть выучить симпатии и антипатии их. В таких видах иногда ей приходилось радикально преобразовывать свою походку — так как господа не любят, чтобы шлепали ногами по полу, — телодвижения, голос, выговор и проч., ибо господам не нравится, когда хлопают дверью или не затворены двери, или задевают локтем за стул, или громко говорят, что может испугать господ, и т. д. и т. д. Все это Марфа должна была переработать в собственной голове, проникнуться всем этим до мозга костей, до действительного, непритворного и неподдельного ужаса, если как-нибудь неожиданно приходилось нарушить хозяйскую привычку. Убиваясь над такой кропотливой и отупляющей работой, Марфа находила возможным благодарить судьбу за то, что судьба эта не оставляет ее без места больше недели, тогда как сама Марфа не прибегает в этом случае ни к конторам, ни к агентам, а руководствуется единственно случаем, нечаянным знакомством в прачешной, в булочной, лавочке. Только молитвы «родителев», думала она, не допускают ее погибнуть, как песчинку, и не оставляют без места, перегоняя из одной геенны огненной хозяйских прихотей в другую. Рассуждая таким образом, Марфа и не подозревала, что за пять целковых месячного жалованья господа хозяева охотно готовы получить целого человека в бесконтрольное распоряжение, всю Марфу целиком, с ее мыслями, устремленными к заботе о хозяйском добре, с ее руками, растопляющими печи, стирающими белье, обжигающимися на плите, подающими, принимающими. Пусть читатель сам припомнит все причастия действительных и страдательных глаголов, которые к тому же имеют странное или, вернее, петербургское свойство быть поминутно возврат-

ными, — и обязанности Марфы определятся ему в некоторой степени. Ноги свои Марфа считала ни во что и, летая по двенадцатиствольным петербургским лестницам, заботилась не о том, как бы не задохнуться, а о том, чтобы не опоздать с папиросами, за которыми ее посылали.

Эту теорию исследования господских прихотей и привычек Марфа на новом месте должна была приложить к госпоже Ивановой. То обстоятельство, что госпожа сия происходила из одной деревни с Марфой, мешало последней беспристрастно рассмотреть ее сущность, так как среди исследований в сердце Марфы неожиданно залетала зависть к своей землячке, и в голове являлись такие мысли: «Вот, — думала Марфа, — тоже ведь нашей, мужицкой породы, а поди-кось какие генералы да сенаторы наезжают! Нет, уж видно, кому бог пошлет...» и т. д. Тут Марфа принималась сравнивать свою участь с участью барыни и находила ее большою счастливицею. В сущности же зависть Марфы не имела никаких оснований. И барыню и кухарку равняло уже одно то, что они были землячки, обе имели одну житейскую цель — возможность прокормиться, и разница была в том, что Марфа пошла к этой цели напролом, принялась биться из-за своего существования, а землячка, барыня Иванова, вознамерилась достигнуть той же цели путями окольными.

Первые сведения об этих окольных путях получила она в господском доме, находясь в услужении у барышни. Здесь увидела она, что могут люди жить, ничего не делая и не пачкая своих белых ручек; в качестве смазливенькой девочки она узнала, что на рынке барских прихотей ее молодости и свежести стоит хорошая цена и что есть на свете удовольствия почище медовых пряников и каленых орешков, которые рекомендуются прекрасному полу деревенскими волокитами. Попав потом в Петербург в белошвейки, будущая госпожа Иванова, а попросту Нютка, узнала не только цену своей молодости и достоинствам, но даже стоимость до копеек и полукопеек. В короткое время планы ее были приведены в исполнение при услужливой помощи некоторых сведущих в столичной жизни людей. И вот действительно она уже не швея, а госпожа «полу-барыня», как называют ее дворники, у нее своя квартира, мебель, посуда, везде чистота, и опрятность, и уважение: именитые, можно сказать, особы заез-

жают к ней. Завидуй, Марфа, этому почету, мебели и теплу, но не завидуй сердцу госпожи Ивановой: оно одиноко и холодно больше, нежели твое, в сотни раз! Воспитываясь в школе господских прихотей, г-жа Иванова выкинула из своего сердца все радости, которыми Марфа имела еще возможность пользоваться, радости деревенские, рожденные курной избой и унылыми полями... выкинула все деревенские впечатления, словом — все то, что должна была она иметь в качестве обитательницы курной избы. Взамен этого она должна была наполнить свое сердце теми интересами, радостями и печалями, которые возможны только в кругу прихотей и затей. Полюбила она поэтому наряды, длинные шлейфы, шиньоны; поняла прелесть Невского в два часа дня, прелесть прогулки на дорогом извозчике. Кодексом ее жизни ради тех же прихотей сделалась жизнь того класса людей, который, благодаря толстому карману, весь мир божий представляет себе каким-то рестораном или кафешантаном... Но у Нютки, или уже у Нетти, не было толстого кармана, она должна была рассчитывать на карман своих развратителей и, порабощенная их наукой, каждую минуту дрожала от мысли, что когда-нибудь да отнимут же у нее этот толстый карман. Среди всей этой чистоты, мебели и драпировок жило, таким образом, измученное, до рабства трусливое сердце, умевшее только злиться и оскаливать зубы на судьбу, но не умевшее уже плакать.

И Марфа напрасно завидовала г-же Ивановой. В тот момент, когда Марфа поступила к ней в услужение, госпожа Иванова имела от роду уже двадцать семь лет и успела много потерять в своей свежести и красоте. Лицо ее было утомлено, бледно, грудь сухая, узенькая; она принадлежала вообще к числу субъектов, которых купцы определяют термином «хлипкая». Тощенькая и маленькая коса ее, когда-то доходившая до колен, теперь значительно уже поредела, да и все сокровища красоты и свежести были промотаны настолько, что Семен Михайлыч Михайлов мог спокойно распоряжаться ими, не опасаясь быть отставленным. В самом деле, при взгляде на фигуру господина Михайлова трудно было объяснить себе, как г-жа Иванова решается сносить близкое присутствие его особы в течение нескольких уже лет; с другой стороны, тоже казалось не совсем удобопонятным, отчего господин

Михайлов не плюнет и не уйдет от госпожи Ивановой куда-нибудь на край света, так как сия госпожа не дает ему ни минуты покоя, отравляет ему каждый глоток чаю и вообще выказывает явное презрение к нему, иногда даже награждает очень веской пощечиной.

Страх голодной смерти и невозможность отцветшею красотою полонить более сносное существо, чем господин Михайлов, объясняют, почему г-жа Иванова, выгнав вон своего приятеля, тотчас же посылала кухарку воротить его обратно; но то, что господин Михайлов, не успев простыть от полученной пощечины, тотчас же снова возвращался в лоно самых невероятных жизненных отрав, объясняется полным, безграничным и беззащитным одиночеством сего человека и его жизненным объюродением.

Господин Михайлов служит в какой-то петербургской конторе, целые дни выводит цифры, пассивы, активы и проч. Изредка отрывая голову от бумаги, он изредка может созерцать только белые высокие и безмолвные стены конторы и молчаливых товарищей. В пять часов, по окончании работ, он отправлялся в кухмистерскую, где помещался среди молчаливых и незнакомых соседей и ел свои пять блюд, подносимые ему тоже безмолвными служанками, головы которых имеют право работать только над вопросом: «суп или щи?» Промолчав час или полтора в столовой зале, г. Михайлов отправлялся в биллиардную, чтобы сыграть две-три партии с маркером, и, наконец, выходил на улицу. Дорогою он поглядывал в окна магазинов, прочитывал знакомые вывески и после такой поучительной прогулки возвращался домой в свою крошечную комнату на Гороховой, где его ожидали четыре безмолвные стены, запах табаку, кровать, на которой можно было растянуться, потолок, на который не возбранялось смотреть целые годы. Все развлечения или, вернее, все личные интересы сводились на трактиры, танцклассы, и только. Чем тут поживиться бедному, заброшенному сердцу, которое ни минуты не перестает молить о жизни? Человеку нужен известный сердечный приют, тепло; нужен очаг, который смог бы отогреть охолодевшую от одиночества душу... Михайлов, старый холостяк, давно уже зачерствел среди молчаливых, однообразных стен конторы, кухмистерской, своей каюты на Гороховой улице,

и все-таки жаждал уюта, тепла, сочувствия. Одиночество исказило его наружность, сделало его странным, неуклюжим и застенчивым до испуга, среди обыкновенных петербургских людей, живущих всем известными интересами журфиксов, и поэтому он мог добраться до необходимого ему уюта только как-нибудь окольным путем.

Госпожа Иванова взялась за это дело, обязавшись настолько приголубить одинокого холостяка, насколько ей позволяло ее истерзанное, остывшее совершенно сердце — с одной стороны, и сознание своей необеспеченности — с другой. Михайлов обязывался платить за квартиру и обеспечивать все нужды бедной и тоже вполне одинокой женщины. И он отдавал все, что у него было, несмотря на то, что в сущности сердцу его не было от этого никакой отрады. Приходил он в квартиру г-жи Ивановой преимущественно вечером к чаю и успевал уже к этому времени проглотить несколько рюмок водки и стаканов пива. Это обстоятельство заставляло его робеть перед порядком и чистотою жилища его подруги, которая тоже всегда держала себя, особенно в последнее время, в строжайшем порядке и опрятности. Робея, он подходил к ней, целовал ее руку, стараясь затаить дыхание, чтобы не дохнуть винными парами, и чуть-чуть прикасаться губами, чтобы тоже не побеспокоить свою властительницу мокрыми губами. Совершив все это с величайшей осторожностью, Михайлов садился подле рабочего столика и молчал. Молчала и властительница, отлично знавшая, что он уже выпил и водки и пива и чувствует себя виновным.

Долго длилось обыкновенно такое тягостное молчание.

— Вы долго будете сюда шататься, как в кабак? — наконец спрашивала госпожа Иванова.

Михайлов взглядывал на нее и тянулся к ручке.

— Сидите! — вскрикивала повелительно Иванова, отдергивая руку.

На крик ее из разных углов звонко откликались комнатные собаки, которых госпожа Иванова любила до безумия. Начинался лай, который заставлял Иванову топать на собак и кричать еще больше. Все это потрясало Михайлова, и он поминутно отирал платком лоб... Опять наставало молчание... долгое, напряженное...

— Положите, я вам говорю, ножницы. Положите на место!

Ножницы летели из рук Михайлова на пол, отчего снова поднимался лай, крик, топанье и еще более тягостное молчание...

— Хотел было... ко всеночной!.. — начинал, наконец, Михайлов довольно нерешительно.

На это ответа не было.

После продолжительного молчания он начинал манить к себе собаку, и когда та подходила и начинала обнюхивать его ногу, он принимался гладить ее по голове с величайшей осторожностью и неподдельною нежностью, чтобы заслужить благосклонность владычицы своей. Все идет благополучно: собака виляет хвостом, госпожа Иванова не сердится. Господин Михайлов просиял; но, желая еще более угодить своей владычице, он намеревается посадить собаку на колени и берет ее за лапу; вслед за тем раздается визг, поднимается лай, на руку господина Михайлова обрушивается полновесный удар, в голову его летит мокрая шапка, и среди лая раздается:

— Вон! вон! К чорту!

Господин Михайлов прячется за дверь. Стоя здесь, он слышит, как колотят собак, дергая их за уши, топают ногами, роняют стулья и проч. и проч. Проходит полчаса. Все утихает. Михайлов начинает по вершку приотворять дверь, понемногу влезает в комнату и, делая вершковые шаги, приближается к первому своему месту, на которое усаживается с утроенною против прежней осторожностью.

Тишина и молчание бесконечно длинные.

— Пойдем ко всеночной? — произносит, наконец, Михайлов.

— Подите к чорту, сделайте милость! — отвечают ему. — Положите же ножницы! Убирайтесь вон! Марфа! Позови дворника!

Такие возгласы в неизменном порядке следовали в течение целого вечера, вечернего чая и ужина и оканчивались, когда весь Петербург, а следовательно, и герои наши спали мертвым сном. И несмотря на это, Михайлов с удовольствием отдавал все, так как жилище госпожи Ивановой было единственный уголок, где об нем так или иначе думали. Никакие драки и потасовки, которыми награждала его подчас властительница, не могли оторвать его от ее квартиры.

Раздраженное состояние, в котором всегда являлась госпожа Иванова перед глазами Михайлова, не покидало ее и тогда, как ей приходилось быть совершенно одной. Ее бесил лай собак, которых она не могла все-таки выгнать вон, стук двери, падение ложки и т. д., все это производило моментальное буйство, мгновенно затихавшее, чтобы вспыхнуть с новою силою опять ради какой-нибудь ничтожной причины. Помимо лая собак, топанья ног и криков, раздававшихся как-то вдруг, в одну минуту, никаких звуков по целым дням не было слышно в квартире Ивановой; только в первых числах всякого месяца, когда Семен Михайлович приносил во власть своей повелительницы свое жалованье, в ней пробуждались полузабытые привычки, и она принималась разъезжать по лавкам, по Гостиному двору, покупала всяких безделиц и, оставшись к вечеру без гроша, делала всем жителям дома своего отъявленную сцену: собакам отрывались уши, Марфе летели в голову картофелины и котлеты, а Семен Михалыч принимал на главу свою сумму всех поруганий и обид. Промотавшись в Гостином дворе, госпожа Иванова с следующего дня принималась спускать только что купленные наряды и безделушки жидовкам, которые имеют все резоны видеть в особах подобного рода большую поживу. На вырученные таким образом крошки начиналось довольно горестное существование, преисполненное постоянного озлобления на все и на всех. Бывали моменты, когда средства госпожи Ивановой и ее покорного раба оскудевали окончательно, и тогда квартира ее представляла в высшей степени поучительное зрелище. В кухне на кровати лежала Марфа и молча оплакивала свою жизнь. На полках блестели чистые кастрюли, на чистом и пустом столе молча сидела кошка, недоумевая над нерадением господ хозяев о ее желудке, и угрюмо глядела холодная плита. А госпожа Иванова, безмолвно стиснув зубы, покоилась на кровати лицом к стене, и ей казалось, что самые стены ее квартиры зло подсмеиваются над нею, дразнят ее голодными днями, которые рано или поздно застигнут ее.

Одинокое существование Ивановой иногда разнообразилось посещением знакомых. Это были — или ее старинные друзья «мужчины», которые иногда по старой памяти привозили ей билет в театр или в маскарад, или такие же,

как и она, особы женского пола. Как и она, все эти особы были швейками, потом какими-то судьбами вышли за восьмидесятилетних старцев, умерших через два дня брачной жизни и оставивших своим молодым женам пенсион в пятьдесят рублей в месяц и довольно звучный, в пределах Коломны, титул. Этот титул решительно сбивает с толку несчастных женщин; он не дает им возможности заняться работою, а объем пенсиона не дает возможности шнырять по лавкам, так что титулованным швеям остается одно: спать, пить целые дни кофе, вздыхать, опять спать и ходить первого числа в казначейство за получением пенсии. Зайдя в гости к госпоже Ивановой, такая особа заваливалась на кровать, расшнуровывала платье и вяло перебрасывалась с старой подругой разговорами об Александринском театре, о Гостином дворе и о приятном мужчине военного звания, виденном ею у Покрова, и о прочем. В промежутках разговоров рекой льется кофе и идет еда. И во всем проглядывает одна гнетущая пустота бездействия...

Но бывали минуты, когда госпожа Иванова сильно задумывалась над своею участью, и тогда ее охватывала непроглядная тоска: ни в прошлом, ни в будущем нечего ей было вспоминать добром — все собиралось и собирается погубить ее, и нет ниоткуда помощи, ни участия. Ужас оковывал ее злое и испуганное собственною жизнию сердце; не зная, куда деться от него, она как-то отчаянно выбегала в кухню и говорила Марфе:

— Сбегай, принеси полштоф очищенной!

И горе было Семену Михайловичу, если он в эту минуту осмеливался высунуть свою голову в ее комнату. Опьянев, властительница его входила в настоящее исступление, и Марфа с минуты на минуту ждала всякого буйства, что было вполне возможно.

А между тем находились люди, да и немало их было, которые завидовали житью г-жи Ивановой, да и Марфа ей завидовала... Но читатель поймет, кому из них больше можно завидовать!

3. ОБСТАНОВОЧКА

I

...Долго ходил я по пыльным и горячим тротуарам Петербурга, отыскивая себе комнату; прочитал множество билетиков, лепящихся около звонков к дворникам, но ни «шамбр-гарни», изящно выведенные косыми буквами, ни бледнорыжие приглашения занять «маленки комнат» у чухонца-сапожника не влекли меня пройтись в четвертый этаж, в такой-то и такой-то нумер, так как мне уже в достаточной степени были знакомы как французские привычки содержательницы шамбр-гарни, желающей всякую муху, которая влетит жильцу в нумер, превратить в порцию и получить за нее деньги, так и идиллические нравы чухонского сапожника с чухонской кухаркой, полагающей, что если ее пошлют за папиросами, то их надобно принести непременно в рассоле от селедки.

Наконец на дворе у одного подъезда увидал я ярлычок, на котором то же приглашение «в 4-й этаж» было изображено с соблюдением всех знаков препинания и орфографии. Почерк ярлычка ясно показывал мне, что комнату отдает чиновник: какие-то ненужные и особенно прихотливые крюки букв ясно говорили, что за ними скрывается существо, которому уже давно надоели буквы в обыкновенном своем виде, которому среди однообразного писанья необходимо выдумывать все эти крюки и завитушки, чтобы как-нибудь переносить свою обязанность, и это существо не может быть ни француженкой, ни чухонкой, а непременно должно быть губернским или коллежским секретарем...

Поднявшись в четвертый этаж, я позвонил

Меня встретил тщедушный человек в жиденьком рваном халате, с кривым глазом, скрывавшимся за круглым стеклом синих очков; несмотря на темносиний цвет очков, я мог видеть как кривой глаз, так и здоровый, заметил, что при появлении моем глаз этот вытаращился до значительных размеров и несколько времени довольно часто моргал, выражая чрезмерное изумление, которое, кроме того, подтверждалось всеобщим подергиванием лица с угла на угол.

— Позвольте посмотреть комнату?

— С-с-с удовольствием!.. — вдруг проговорил чиновник и сунулся между какими-то занавесками.

За ним сунулся и я. Мы очутились в довольно приличной комнате. Я стал осматривать комнату кругом, и чиновник делал то же, как будто бы он ее в первый раз видел...

— Как вы находите комнату? — спросил он наконец, дернув щекой и головой в сторону.

— Мне очень нравится.

— Нравится?.. Гм?..

— Нравится.

— Очень рад!.. Я люблю обстановку... Положим, что я немного стеснился, но я... но жена... но обстановка... все-таки же... обстановочка? не так ли?

— Это так! — сказал я.

— Не так ли? Я откровенно скажу, мы с женой стараемся сделать обстановку... стульчик... кроватку — все, чтобы было хорошо.... мы с женой горды... у меня жена институтка, но мы горды! Моя ступка по всему дому ходит...

— Ступка? — спросил я в недоумении.

— Ступка! — сказал чиновник и опять вытаращил глаз.

Очевидно, что в запутанной голове чиновника ворочались какие-то мысли, которые он желал предъявить мне, чтобы зарекомендовать себя с хорошей стороны, но мысли эти, перебиваемые неловкостью минуты «первого знакомства» и дерганьем щеки в сторону, совершенно путались в его голове, и когда из уст чиновника, вследствие тайной связи мыслей, по всей вероятности существовавшей в его уме, одновременно вылетели такие разнородные слова, как «гордость» и «ступка», взаимное родство между которыми

было решительно невозможно, по крайней мере для постороннего человека, и когда он в тоне моего голоса заметил недоумение, то мне делается совершенно понятным, почему после моего вопроса «ступка?» чиновник начал не только дергать глазом и щекой, но принялся чмокать широким выпятившимся ртом и как-то фыркать носом. Оправившись немного, чиновник начал снова:

— Моя жена институтка! — нерешительно пробормотал он. — Она скорее согласится умереть, нежели попросить у соседей чайную чашку. Она горда...

Я начинал понимать, в чем дело...

— Тогда как, — продолжал чиновник, — моя ступка ходит по всему дому... Изломали, испортили — я очень рад! Во всяком случае, что такое ступка? Пустяки! Но, между тем, я настолько горд, мы с женой настолько горды... что я думаю — чорт вас возьми со ступкой! Не так ли? Жена говорит — бог с ними! Мы с женой говорим — бог с вами! Настолько-то хватит гордости... — ступка! что такое? Двугривенный... Не так ли?

Я слушал, чувствуя некоторое головокружение от этой умственной пыли, которая клубами летела в меня из уст чиновника, — пыли, в которой мои глаза слепли и уши глохли от беспрерывно путавшихся ступок с институтками, гордости с обстановкой и со ступкой и т. д., — я поторопился встать, простился и обещал переехать на днях.

II

Фамилия моих хозяев была Гвоздевы. — Муж, чином губернский секретарь, назывался Гаврил Иваныч; жена — Клавдия Петровна. Спустя несколько дней после моего переезда хозяин, вполне довольный тем, что мне нравится обстановка его комнаты, объявил, что намерен относиться ко мне не как хозяин к жильцу, «но как человек к человеку»... Если читатель помнит запутанность мыслей в голове чиновника, о которой упомянуто в предшествовавшей главе, то ему будет понятно, почему отношение человека к человеку было не более, как ежеминутное шатание в мою комнату без всякого разбора того, занят я или нет...

— Не как хозяин, но как человек, — говорил он обыкновенно, входя ко мне и отрывая от работы. — Это вы Беранже читаете?

— Я пишу... не читаю...

— Гм!..

Хозяин усаживался, и начиналось молчаливое моргание кривым глазом и подергивание щекою и головой в сторону.

Почему казалось ему, что я непременно должен читать Беранже, когда я пишу; почему вообще в голове у него шла какая-то околесица — мне в первое время было совершенно неизвестно. Но так как отношения человека к человеку не прекращались и я невольно должен был присутствовать при рассказах хозяина о разных случаях из его жизни, то умственная околесица его с течением времени несколько разъяснилась для меня. Таким образом мне стало известным, что Гаврил Иваныч имел от роду лет тридцать семь, супруга его — не более двадцати трех. Муж учился в молодости в гимназии, но из второго класса вышел, несколько времени жил на родительских хлебах, потом получил место, стал шататься по увеселительным заведениям, «пожил!», как он говорит, обзавелся разным худосочием и женился. Относительно умственного фонда можно сказать, что он знал имя барона Брамбеуса и «крамбамбули», которое не раз слышал на Крестовском. Жена училась в каком-то институте, где по обыкновению «не столько медикаменты, сколько рвение», то есть не столько наука, сколько «тонкое обращение» («ах, как нас строго держали!» — говорила жена Гаврила Иваныча); лепетала по-французски, была очень нежна, горда, как выражался муж, и притом недурна.

Достоинства, которыми обладали супруги, показались им достаточными для того, чтобы вступить в брак, и они вступили. От этого благополучного брака произошли, разумеется, дети. Так как папаша их обучался на Крестовском и в Екатерингофе, то дети родились с кривыми ногами, с золотухами, английскими болезнями. Так как мамаша более говорит по-французски, нежели понимает окружающие ее предметы, то относительно излечения детских недугов она совершенно одинакового мнения с кухаркой. Так как супруг и супруга одинаково не понимают существо так называемых общественных потребностей

и главным образом считают себя не людьми просто, а «благородными», то мамаша учит детей по-французски и готовит их неизвестно для какой профессии. Папаша согласен и с этим и, слушая, как головастый сынок с распухшим от золотухи носом гнусит — *табль, шез,* — чувствует себя весьма довольным...

Головастые уродцы росли, неизвестно для удовлетворения какой общественной потребности.

— Скажите, пожалуйста, — спросил я у жены хозяина: — зачем вы учите вашего сына французскому языку?

— Как зачем? Это ему годится в обществе, — ответила она, сконфузившись и мигнув по-институтски глазами.

— А жить он чем будет?..

Оказалось, что дети еще малы и «мы не думали с Ганей».

Я советовал учить ребенка какому-нибудь ремеслу, говоря, что класс людей, сидящих на общественной шее, и без того велик. Барыня слушала, поддакивала, улыбаясь, но, видимо, не понимала, что такое общество, общественная шея...

— Он будет получать жалованье! — вдруг произнесла она...

Достойный потомок достойных родителей смотрел на меня во время этого разговора сердитыми оловянными глазами и вдруг разразился ревом.

— Ха-ацу в ваен-ные! — захлебнувшись слезами, порешил он, и я поспешил удалиться...

Спустя несколько времени я заговорил о том же предмете с самим родителем, но и он, оказалось, вне обстановки понимает только то, что существует 20-е число и казначей, у которого можно брать вперед, «перехватить»...

Углубляясь в существо этого брака, или, вернее, роясь в этой куче бессмыслиц, находим наконец, что единственная причина, которая побуждает такого рода людей устраивать такие прочные союзы, есть то, что Гаврил Иваныч называл «обстановка» и иногда «обстановочка» — свои комнаты, гости...

— Не в том штука,—сказал мне однажды Гаврил Иваныч, — чтобы подать селедку! Что такое селедка? — а как подать ее! Вот в чем дело! Везде нужна обстановка,

обстановочка... Нужно ее распластать, посыпать лучком, чтобы было прилично... И вы посмотрите, как моя жена приготовляет селедку... Теперь я немножко стеснен... Мы с женой стеснены... Но во всяком случае мы настолько горды... Селедку найдете у меня всегда... Мы... мочим ее в молоке...

Вся эта обстановка с французским языком и глупостью начинала мне надоедать.

III

Хозяин несколько раз говорил мне, что он с женою теперь стеснен в обстоятельствах. Соображаясь с его взглядами на вещи, слова эти надо было понимать так, что ему нет возможности хорошенько распластать селедку, словом, развернуться и свободно вздохнуть, приобретя что-либо, соответствующее развитию и усовершенствованию обстановки.

Однажды я был разбужен утром какими-то довольно громкими звуками, доносившимися из передней.

— Почивают еще, вчера поздно пришли от знакомых, — говорила горничная кому-то.

— Нет уж, сделайте милость, разбудите Гаврила Ивановича, — умоляющим тоном произнес какой-то надорванный голос. — Мне никак нельзя... Как же, сами приказывали поскорее, я старался, заказной сюртук заложил на материал под жилет... Нет уж, сделайте милость!

— Да право... В первом часу бы.

— То есть никак нельзя... Я бы рад всей душой... Ну никак невозможно... Сделайте одолжение! Ребенок нездоров... Велики им три рубли?

Горничная молчала, слушая убедительнейшие просьбы портного, и, наконец, пошла к хозяевам. Через несколько времени она возвратилась и сказала:

— Право бы, в первом часу...

— Нет, уж я больше не могу!

В голосе портного звучало раздражение.

Вследствие особенного устройства петербургских квартир я невольно слышал все, что ни говорилось у хозяев; крик и разговоры детей порядочно-таки надоедали мне.

Горничная во второй раз возвратилась к хозяевам, и на этот раз я слышал какой-то шопот. Полагая, что у них нет денег, и зная, что через день-два мне придется платить за квартиру, я позвал горничную и отдал ей деньги для передачи хозяевам. Голос портного был до того действительно трогателен и пропитан крайнею нуждою, что я с охотою решился внести деньги прежде срока, хотя они были мне очень нужны самому.

Горничная отнесла деньги господам.

— Очень вам благодарен! — произнес хозяин громко, и между супругами начался полугромкий разговор. Среди его к уху моему, ожидавшему услышать что-нибудь благоприятное для портного, стали доноситься слова совершенно другого рода.

— Простенький, а? — слышалось мне. — Из крепированных волос?

— Да. Это хорошо! — сказал самодовольно хозяин.

— Помилуй, ведь надо же наконец! — лепетала супруга.

— Как же ему-то?

— Переговори!.. Что такое — не может подождать трех целковых; ему же дают хлеб, работу, и он не может погодить. Поди сам!

Портной кашлял, стоя в передней и ожидая, как сказала горничная, что барин сами выйдут. Послышалось шлепанье туфлей и покашливание.

— Здравствуй, любезный! — сказал барин.

— Доброго здоровья, Гаврил Иваныч... Уж вы сделайте милость...

— Я даю себе честное слово, что заказываю тебе в последний раз.

— Воля ваша!

— Я даю тебе хлеб, тебе же хочу сделать пользу, а ты...

— Я бы всей душой!

Голос хозяина возвышался; в передней поднялся крик, но портной был выпровожен без денег.

— Право, свинья! — входя ко мне, в волнении проговорил хозяин.

— Он очень нуждается, — сказал я.

— Помилуйте, нуждается! Что такое? Подай, подай! У меня у самого крайность... Вот собираюсь детей везти

к доктору, нужно лечить... Кроме того, жена давно скучает без шиньона: надо же и ей... Положим, что мы стеснены теперь в средствах, но мы горды... Надо же наконец!

Я не отвечал, и хозяин скоро удалился.

— Из крепированных волос... знаешь... легонький... — слышалось за стеной...

— Что же!.. У Афанасьевой из крепированных?

— Нет — у нее тяжел...

— Живот!.. о-о! — запищал ребенок.

— А ты не вертись! — сказала мать. — А? Право? Из крепированных... Это очень пушисто... Что ты вертишься, как на игле? Разбить хочешь чашку?.. И так уж перебили посуды... от этого и живот у тебя болит... Право... Из крепированных, а, Гаша?

— Что ж... Люба просит жалованье... — глухим голосом прибавил муж.

Жена несколько времени помолчала.

— Она умеет только просить жалованье да бить посуду!

— Вы мне позвольте хоть за два месяца... Мне мужу нужно; ему в деревню посылать... — сказала необыкновенно робко горничная: — Я за три месяца не получила...

— Ты, матушка, — довольно храбро наступила на нее барыня, — прежде, чем считать, сколько тебе должны, подумай, кто будет отвечать за шинель, которую украли прошлого года!

— Чем же я-то, господи, виновата? Кажется, вместе с вами из бани шли; барин сами отворили двери, я прошла, а за мной еще барин оставались...

— Кто же у нас обязан смотреть за дверью — барин или горничная? скажите, пожалуйста!..

— Распотевши была... Распахнуться боялась — холодом обнесет.

— Распотевши! Вот это мило! Тебе придет в голову запотеть — а тут хоть все вытащи, тебе и горя мало! Хоть стены одни оставь... Распотевши!

Горничная молчала.

— Нет, матушка, — сказала барыня: — я год целый спускала тебе эту шинель... Мы не миллионеры... Шинель стоит шестьдесят рублей!.. Я могу тебе отдать за три месяца — изволь; только ты завтра же через мирового

отдашь мне шестьдесят, она с бобровым воротником... Теперь, матушка, в одну минуту взыскивают.

— Чем я виновата? — попробовала было возвысить голос горничная.

— Ну так я сегодня подам к мировому... Мы узнаем, кто виноват.

Горничная заплакала.

— Клаша, ты это — напрасно... Ну вычитать бы...

— Молчи, пожалуйста! Какое тебе дело?

— Ну-ну, матушка, — сказал он горничной. — Ты это оставь глупости... Тут тебя не грабят ведь. Я ведь смотрю-смотрю, да ведь и двину... Сделай одолжение!

— Живот... — простонал ребенок.

— Что такое у него? — спросил муж.

— Просто извертелся, избаловался. Ему минуты покойно не посидится. Нужно положить его спать.

— Рано! Ведь только встали.

— Что за рано? Люба! Поди-ко вот, чем хныкать-то, уложи Колю спать.

— Не хочу спа-ать! — начиная реветь, протянул ребенок.

— Ну как же! Все умничают!.. Положи его! — заключила барыня.

Начался плач... Среди его по временам слышались слова: «право, из крепированных, а?» Слышался легкий треск плетеной люльки, куда рассерженная кухарка пихала ребенка. Во время этого плача мимо моих дверей прошумел подол платья, проскрипели сапоги Гаврила Иваныча, и супруги исчезли.

В квартире царствовало какое-то ревущее безобразие.

Бессмысленное убеждение относительно приобретения шиньона, основанное единственно на том, что нельзя же без шиньона, когда и Авдотья Андреевна уже приобрела его, было столь сильно в обоих супругах, что они как будто не понимали, что наравне с необходимостью приобретать шиньоны на их обязанности лежит более настоятельная необходимость содержать здоровыми желудки собственных детей. Сила бессмысленных желаний, выходящая из общего источника вышеупомянутых бессмыслиц, на которых зиждилось и воспитание супругов и их законное соединение для совместного делания бессмыслиц усиленных, — сила эта была так велика, что

покорила даже сострадание к горничной, к портному, которые в глазах супругов в настоящие минуты были действительно забывшими бога людьми. Стеснительные обстоятельства были забыты при первой возможности удовлетворить «обстановке».

Часов в двенадцать дня, когда я сидел за работой, громкий звонок возвестил всему ревевшему семейству чиновника о прибытии хозяина и хозяйки.

— Ради бога! извините, пожалуйста! мне на минуточку взглянуть в зеркало. У вас самое большое наше зеркало, — в каком-то самозабвении заговорила хозяйка, влетая в мою комнату и торопливо снимая с головы шляпку.

— Извините, пожалуйста! — проговорил муж с мокрым лицом, с коробкой в руках и с трубкой материи подмышкой. — Разорился! — продолжал он. — Что делать! Думали купить шиньон, ан тут подвернулся остаток материи. Нонешняя, бисмарк. Не хотелось... Уж заодно!

— Недурно, Гаврила Иваныч? — бормотала супруга, вертясь перед зеркалом. — Не правда ли, мило?

— Очень мило! Из крепированных волос, — обратился он ко мне. — Легонький!

Трескотня эта продолжалась минут пятнадцать, наконец супруги ушли.

— Спит Коля? — послышалось за перегородкой.

— У них животик тугой.

— Пусть его спит... а? Не правда ли... мило?

— Очень, очень прилично!.. Что же ты — надо дать на обед.

Последовал шопот.

— До десятого надо протянуть, — говорит муж. — Погодить бы покупать-то.

— До которых пор это годить?.. Позвольте узнать?

— На стол-то мало.

— Пожалуйста, будь спокоен... На̀ — вот тридцать копеек... купи картофелю... Детям вредно мясо... тяжело ложится на желудок... гороху.

Горничная ушла; между супругами происходил разговор насчет того, что как это все к лицу и дешево, и насчет того, что как бы с тремя рублями протянуть до десятого.

Во время этого разговора супруг опять вошел ко мне и объявил:

— Долго ли я ходил? Каких-нибудь два часа, а пятнадцати целковых как не бывало... Вот оно, батюшка, семейная жизнь! А нельзя! Надо поддерживать обстановку!.. Такие уж уродились мы с женой — горды мы очень!.. Гордости тьма-тьмущая!

После целого дня всевозможных бессмыслиц, которых мне пришлось быть свидетелем, я полагал уже, что гордая глупость моих хозяев разыгралась до конца и продолжения ее не будет; но ночью, когда все живущие в квартире были уже в постели, с двуспальной кровати моих хозяев, вопреки моему желанию, до меня неожиданно донеслись слова:

— К другим ходим, к себе никого... Много ли тут... водки, селедки... — говорила жена.

— Н-да... Селедочку с лучком... помочить ее.

Очевидно, что супругам недостаточно было того, что шиньон лежал в коробке на шкафу; им нужно было видеть его в действии. Вследствие этого вечером следующего дня ко мне еще раз явился хозяин.

— Позвольте вас просить, — сказал он, — завтра провести с нами вечерок.

— Я должен быть в другом месте. Извините!

— Очень жаль! А то бы в карточки? партийку?

Не играю в карты.

— Очень жаль. Особенного ничего не будет. Но, надеюсь, все будет прилично. Мы с женой...

— Не могу! — сказал я решительно.

— В таком случае позвольте просить у вас комнату на несколько часов?

Я изъявил согласие.

Целое утро следующего дня хозяин бегал по городу, отыскивая денег. Часам к двум он воротился с кульком, потным лицом, вытаращенным глазом и дергающейся щекой.

— Что будешь делать! — говорил он мне. — Не успел повернуться — десяти целковых нет в кармане! Живи, как знаешь...

Я снова изъявил сочувствие.

Часу в шестом начали появляться гости, мужчины и дамы, и тотчас же принялись за стуколку. Так как ком-

наты хозяев были заняты чайным столом, то детей с больными желудками оттеснили в кухню, стараясь поплотнее притворять дверь, чтобы гости не слышали крика и плача... Я тотчас же ушел из дому и воротился в третьем часу ночи, будучи уверен, что все уже кончилось; но, к удивлению моему, окна моей комнаты были освещены. Я поднялся по черной лестнице и вошел в кухню.

Здесь моим глазам представилось ужасающее зрелище, устроенное взаимными усилиями просвещенных супругов. Атмосфера маленькой кухни была раскалена до последней степени. Волны чада закрывали все, кроме огненного зева плиты, — и в глубине этого ада слышался плач и стоны детей, которые не могли заснуть от боли в желудках, от жары и угоревших голов. Кухарка, которую подняли с пяти часов утра, которая была измучена работой — так как она должна была принимать одежду гостей, подавать чай, таскать детей из комнаты в кухню и, кроме всего этого, мучиться муками мужа, которому нечего послать в деревню, — была разозлена и на просьбы плачущих детей отвечала чуть ли не дракой, после которой у нее самой выступали слезы.

— А? Не правда ли, — лепетала Клавдия Петровна в гостиной, поворачивая к гостье затылок с шиньоном из крепированных волос... — Недурно?

— Оч-чень, очень мило!

— Легонький! — прибавлял супруг, рассоловевший от водки.

Мне некуда было деться, так как хотя хозяин и относился ко мне как человек к человеку, но забравшись с гостями в мою комнату, кажется, и не думал уходить оттуда.

Злодейства эти продолжались до девяти часов утра.

Злодейства «обстановки», — результатами которых был горох, плач детей, французский язык и неизменная атмосфера глупости, — продолжаются до сего дня.

ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ
1862—1866 гг.

НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ В ВСЕСВЯТСКОМ

Село Всесвятское лежит в четырех верстах от Триумфальных ворот по Петербургскому шоссе. Оно получило свое название от церкви во имя всех святых, неизвестно с которого времени там существующей.

В летописи Всесвятское встречается на 1598 году под именем Села Святых Отец, по случаю бывшей там встречи шведскому королевичу Густаву, когда он въезжал в Москву ко двору Бориса Годунова. А когда Иверия (Грузия) отдалась под покровительство России, Всесвятское было отдано некоторым из потомков имеретинских царей, прибывших в Москву на жительство. Из числа переселенцев царевна Дарья Арчиловна в 1736 году построила там ныне существующую каменную церковь также во имя всех святых. В 1812 году всесвятская церковь осквернена была французами: служила им стойлами для лошадей. От времени ее построения богослужение в ней совершалось грузинскими священниками. Там погребены и потомки имеретинских царей: князь Дмитрий Егорович и дочь его Мария Багратион, князья Дмитрий Павлович, Михаил и Петр Дмитриевичи и княгиня Елисавета Михайловна Циціановы.

Везде в русских городах и селах от прежних времен было, и теперь еще более или менее ведется, обыкновение в дни приходских праздников съезжаться из разных мест в гости. Так справлялся, вероятно издавна, день всех святых и в селе Всесвятском. Съезжалась туда к обедне и московская знать разделить праздник с единоверцами грузинской нации, а после обеда начиналось некогда эки-

пажное гулянье. Впоследствии стали наезжать московские жители и прочих сословий. Так составилось общенародное гулянье, подобное тем, какие бывают в Сокольниках первого мая и в Марьиной роще в день Семика. Это продолжалось до открытия Петровского парка, куда перешла знать, а за нею и другие. Во Всесвятском осталось простонародное гулянье, на которое в прошлое воскресенье и вздумалось взглянуть мне.

В два часа я был на пути в Всесвятское. Отдаленные переулки Москвы, по которым мне пришлось ехать, больше и больше напоминали мне глухой уездный город, а в иных закоулках стук и дребезжание калибера производили что-то вроде эпохи: быстро отдергивалась занавесочка у какого-нибудь окна, чьи-то руки неистово толкали раму, которая забухла от дождей и не отворялась; и уж долго спустя, на самом выезде, увидел я, как кто-то почти до половины высунулся в окно и с жадностию всматривался направо и налево. Собаки с остервенением бросались в подворотни и захлебывались лаем, высовывая оскаленные морды: они, казалось, боялись упустить случай побрехать в свое удовольствие.

Несмотря на такую пустынность, и среди ее число кабаков и разных сивушественных учреждений увеличивается в громадной прогрессии. Казалось бы, что тут и пить-то некому, а кабаков все больше и больше: под конец что ни дом, то кабак. Очевидно, и это явление имеет свои причины, но я до них дорываться не буду.

Исчез последний закоулок Москвы, и колеса покатились по Ходынке. Поле. В разных направлениях белеют протоптанные тропинки. Город далеко горит своими золотыми куполами. Свежий воздух, отличная погода, — как хорошо!

В стороне пасется одна-одинехонька лошаденка. Заслышав стук, она поднимает голову, но потом опять прядает по траве, глухо стуча спутанными ногами. С другой стороны плетется ряд мужичьих тележонок; один порожняк отстал; из глубины его привстал мужик, тронул вожжой, свистнул каким-то особенным, извилистым свистом, от которого так и отдает чистым полем и одиночеством, и лошаденка побежала маленькой рысцой... Мужики проехали. И опять поле и поле... Мухи целыми тучами шныряют в воздухе и преследуют нашу клячу, которая

поминутно отмахивается от них хвостом, отфыркивается и судорожно бьет задней ногой.

— Эко мух! — произносит извозчик, сгоняя их с своей физиономии.

— Отчего это, не знаешь ли?

— Отчего мух-то?

— Да.

— Да от лесу, надо быть.

— Как от лесу?

— Знамо от яво. В лесу какой гадины не бывает! Теперича, вишь ты, вот на дубу; дуб то есть...

— Ну?

— Ну, дуб это, осина тоже... сосна... А то орешник, — девки по орехи ходят.

— Ну так что же?

— Стало быть, всякое произволение в ём... в лесу-то

Так мухи-то отчего же?

А господь их знает.

Настало молчание. Колеса опять застучали по камням: мы въехали на шоссе. Мимо шел обоз, окутанный рогожами; ряд расписных дуг медленно колыхался. Огромные запыленные колеса вертелись не спеша, и откормленные лошади, казалось, совершали что-то вроде прогулки. Иные коренники не упускали при этом случая выхватить клок сенца из пехтеря переднего воза.

На переднем возу, в глубине рогожной кибитки, приделанной на передке, завалился мещанин в синей жилетке, выставив наружу ноги с подошвами, усеянными десятками гвоздей, которые ярко горят на солнце. Мещанин приподнял голову, сонными глазами посмотрел на проезжих и опять завалился, слегка тронув одной ногой.

Из-за леса выглядывает церковь. Это Всесвятское. А попадающиеся на пути пьяные, из которых иные, не преодолев трудностей обратного пути, в разных местах раскидались по полю и покоятся мертвым сном, возвещают, что веселье началось во Всесвятском с утра. Общий вид поля и пьяных мог бы послужить темой для изображения поля битвы.

Всесвятское, расположенное когда-то в лесу, теперь горемычным своим видом заставляет только вспомнить, что на свете все непрочно: кто-то начал вырубать лес,

и жаль смотреть на эту оголенную равнину с торчащими пнями и саженками дров, наваленными в разных пунктах. Загородный трактир, когда-то шумный, теперь представляет один из тех старых домов, которые, напоминая о минувшем барстве, вдохновляли поэтические панихиды прошлому с справедливым ему упреком. В пустынных комнатах две-три души — тишина и безмолвие. В растворенные в сад двери ярко слышится щекотанье какой-то птицы, ровный шум деревьев и чья-то страшная, самая национальная руготня.

Народное гулянье располагается на небольшой, несколько низменной лужайке между церковью и лесом. Тут палатки с пряниками, около которых толпятся ребятишки. По обеим сторонам узенькой и пыльной дорожки, направляющейся к мостику, перекинутому через ручей, расположены распивочные с самыми разнообразными и заманчивыми вывесками. Нарисован, например, мужик с бокалом, похожим на Сатурновы часы и почти равняющимся росту своего обладателя, а внизу подписано: «Господа! эко пиво!» Или просто надписи: «Раздолье», «Доброго здоровья», «До свидания». С писком вертится убогий самокат с коньками, от которых за ветхостию остались одни только какие-то лучинки да лохмотья телячьей кожи, что, впрочем, не мешает записным охотникам дополнять остальное воображением.

Со стороны шоссе два мужика ведут на цепи ученого медведя, который на ходу вдруг становится на задние лапы, но потом широкими шагами следует за хозяином. Гуляющие толпами, взапуски сбегаются со всех сторон, и скоро из середины круга, образовавшегося около медведя, слышится однообразный лубочный барабанный стук, и порой долетают слова поводыря:

— А ну-ка, покажь, Миша, господам-боярам, как бабы угощают мужиков.

Миша, должно быть, удачно изображает способ угощения, потому что раздается неудержимый смех.

— Ах ты, пострел!

— Как ведь он это ловко! Трясь его расшиби!

Представление кончилось, и зрители, как от бедствия какого, бросаются прочь. Недалеко другая куча народа. Тут действуют какие-то собаки. Две-три шарманки в одно

и то же время тянут три разные песни, заглушая говор, отчего разговаривающие принуждены орать во всю глотку.

Повсюду толкаются солдаты, бабы-сарафанницы, мастеровые, простые мужики. Все это пестреет самыми яркими цветами рубах, сарафанов, платков. Изредка двигается женский зонтик или выглядывает убогий кринолин с переломленной в основании сталью, бьющий вперед в виде кормы. Вот из толпы отделилась здоровая баба в красном сарафане и пошла по направлению к лесу; за ней следует солдат в кепи.

— Ариша-а! — кричит вслед им звонкий женский голос.

Баба оборачивается.

— Гляди ж! — прибавляет голос.

— Да ладно! — произносит Ариша и на ходу накрывает голову большим платком; ветер дует ей в упор и, плотно охватив весь перед, полощет подолом назади.

Чета устремляется в лес.

Над массой гуляющих возвышается парусинный трактир с красными флагами по углам. Посетители еще редки, и только вот солдатик какой-то да два мещанина, что называется, еще на почине. Маленький тщедушный солдатик с сухими, топырящимися косицами, что делает его очень похожим на воробья в зимнюю стужу, потребовал тихенько шкальчик и два яичка, а хлебушка с собой весового в узелке захватил. Выпив стаканчик, и солдатик и его подруга долго отплевываются и жмурят глаза, корчась, как в страшных мучениях. После чего солдатик, однако, произносит:

— Ноне водка супроти прежней много стоит! Много! Скус какой!

И солдатик сплевывает.

— Как же можно! — подтверждает подруга.

И оба принимаются жевать молча.

Между мещанами на другом столе идет такой разговор:

— Так такое дело. Закатили это у Евсюхиных; иду домой. Третий час ночи. Иду, думаю: надыть супругу успокоить: тоже жена.

— Ну да как же! Стало быть, что жена.

— Да. Припер домой — тьма кромешная! В голове туман: ничего не вижу. Что за пропасть! Щупаю это

рукой — мягкое, и никак не пойму, что это Марья-работница на лежанке спит. Никак не постигну, что такое. Опомнился, как она заорала: «Караул! живот отдавили! Батюшки!»

— Хе-ххе-хе!

— «Что ты, говорю, орешь!» Пробираюсь к спальне, Двери заперты. Надо лезть через перегородку. Думаю, стану на рукомойник, оттеда на стул. Только полез, братец ты мой, нога у меня и соскользни! Я на рукомойник верхом; рукомойник оборвался в таз; таз на пол. Стра-а-а-сть! Утром жена встала, видит лужи, думает: ребятишки. Схватила одного за вихор: дескать, просись, просись! А я-то лежу, помираю со смеху.

И приятели залились смехом и потом продолжали пить чай молча.

Вваливается толпа подгулявших мужиков в дырявых полушубках, свитах и, шурша своими одеждами, усаживается за стол.

— Митряй, насупроти, насупроти садись.

— Сядем-с, Яков Антоныч.

— То-то. Здеся насупроти, говорю.

— Благодарим покорно.

— Левоша! — слышится через несколько времени. — Я так говорю: за что мы пропадаем?

Левоша тупо смотрит в стол.

— За что, я говорю, погибаем? Помрем все!

— Все! Это уж шабаш!

— Просшай! Просшайте, други милые!

— Экой народ, — замечает иронически половой, подавая зажженную спичку какому-то дачнику в парусинном пальто, — как это мало-мальски попало ему, тут ему и смерть, и пропали да погибли, режут нас да обижают. Только у него и разговору.

— Нет, во што! С мертвого возьмем! — кричал Яков Антоныч, царапнув в стол кулаком.

— Возьмем!

— Нешто нет? Сейчас издохнуть, возьмем! Мы по начальству. Что такое! Али мы...

— Шалишь... э-э...

— Я те, погоди! — произносит Левоша, прищуривая глаз и прилаживаясь курнуть папироску, причем держит ее обеими руками.

— Это ты что подал? — орет дачник.
— Коньяк-с.
— Коньяк?
— Так точно-с.
— Свинья!
— Как вам будет угодно.
— Да вот так мне и угодно!

Около стойки совершенно трезвый мужик, приготовляясь пропустить шкальчик, рассказывает молодцу, как у него лошадей увели:

— А какие животы-то! Сейчас издохнуть, за гнединького-то гуринский барин двести серебра давал! «Не тебе бы, говорит, Митька, ездить: во что!» Уж как приставал, как приставал, — все крепился. Ведь что такое; слава богу, нужды нету, а тут вот...

— Все гордость!
— Она! Она!
— Как увели-то?
— Да как уводят? Напали середь чистого поля: «вылезай-ка, друг любезный!» Отобрали рукавицы, кнут, все дочиста. Шапку было тоже норовили, да спасибо один заступился. «Нет, говорит товарищу, шапку ему отдай: вишь вьюга (перед масленой дело-то было). Отдай, говорит, а то чего доброго простудится, умрет: богу за душу ответишь».

— Вона как!

Некоторое молчание.

— Шкальчик! — произносит солдат, выкладывая на стойку пятачок.
— Сию минуту-с.
— Да в белой посуде чтоб.
— Нет-с, это не можем.
— Да что ты? Ай нам впервой? Мы, слава богу, учены!
— Что же-с, кавалер, нам тоже надыть себе преферанс оказывать. Копеечку набавьте — так; ноне не бог весть какие доходы-те: когда-когда ведро в сутки сбудешь.
— Так что ж нам трынка-то важность, что ли? — вломился вдруг в амбицию солдат.
— Кто говорит!
— Иван Егорыч, оставь! — пищит солдату какой-то люстриновый капот. — Господь с ним.

— Постой! Что ты мне: «господь с ним»? Этак «господь с ним» с одним да с другим, так тебе в день шею свернут!

— Сделай милость, оставь!

— Кавалер, не горячитесь.

Нет, я те во чем угощу!

— Ну, это еще надвое!..

Кое-как солдат с бранью удаляется от стойки.

— Так это-то ты ромом называешь? — орет опять дачник.

— Так точно.

— Так ты мерзавец, повторяю я.

— Напрасно, вашескородие.

— Пятую рюмку пью: вода водой. Дай штоф очищенной.

Скоро дачник затихает.

За парусинной стеной слышится бубен и шарманка. Какие-то бабы затягивают:

Едет милый с по-о-о-оля...
Черкескай убор...
На нем шапка в три-ии-и-ста...
А шинель в питьсот...

В сторонке русый мужичонка в ваточном жилете строчит чуть слышно на балалайке и притопывает пяткой, загнав ногу далеко под стул. Товарищ, значительно подгулявший, подтягивает:

Ой, сударыня, разбой, разбой, разбой,
Полюбил меня детина удалой...

Певец останавливается; балалайка делает соло, и парень начинает опять:

Он схватил меня в охапочку,
Положил меня на лавочку...

— Э-э-х да ниа-а-дна, — затягивает дрожащий, несколько удушливый тенор; скоро какие-то могучие груди подхватывают, и веселье загорается во всей силе.

Половые с чайниками в обеих руках снуют туда и сюда; отовсюду несутся песни; иные обнимаются и взасос целуются, а через минуту с кулаками друг к другу лезут... Прыснул дождичек, и во все двери повалил на-

род: мещане в шляпах, укутанных носовыми платками, мастеровые с закинутыми на головы чуйками. Пережидая дождик, кто-нибудь из забежавших высовывает на воздух руку или голову, посматривает вверх и произносит какое-нибудь суждение.

— Энта тучка-то вбок, к Коломне попрет.

Энта-то-с?

— Энта к Коломне — верно!

— Пошли! пошли! — гнал половой ребятишек, жавшихся у дверей.

— Дяденька, мы ноне утресь подсобляли.

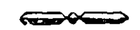
— Прочь! прочь!

Ребятишки выскакивают на дождь.

Дождик перестал, народ высыпал опять. Опять толкотня и песни.

Под звуки шарманки, наигрывающей «По улице мостовой», идет пляс: сарафанница, как пава, слегка подергивая и поводя плечами, чуть-чуть подвигается вперед. Вдруг пляска переходит в удалую, и молодой фабричный пускается вприсядку, подобравши полы.

Гулянье делается все пьянее и пьянее. Где-то затеялась драка, потом заорал кто-то: «Караул! разбой!» Из трактира при усилии половых выталкивают нашумевшего гостя. По дороге и на лугу количество валяющихся пьяных увеличивается, и далеко от самого гулянья слышно, как чья-то рука немилосердно дубасит в турецкий барабан.



ГОСТЬ

Дело происходит в одной из отдаленных и глухих частей Москвы; на дворе стоят крутые морозы. Воскресенье. Чиновник Знаменский, воротившись с рынка, куда ходил посмотреть, не попадется ли леску, расхаживает по зале, заложив руки под фалды сюртука, и дожевывает кусок булки, закусывая им только что выпитую рюмку полыновки.

По временам он подходит к окну и смотрит на улицу, по которой спешат на базар возы с сеном, дровами, курами, битком набитыми в плетушки. Возы эти часто раскатываются и стукают о тротуарные столбы.

— Легша! Легша! — орут передовые мужики, махая издали кнутьями.

Иногда какой-нибудь воз березовых дров подзадоривает чиновника, и он принимается что есть мочи стучать в стекло и кричит на все комнаты с целью остановить мужика. Но мужик видит только, как барин делает какие-то гримасы, и идет дальше, подпирая воз плечом.

— А возик ничего! — говорит чиновник и продолжает путешествовать, поправляя на пути коленом стул, придвигая к стене стол и не забывая при этом чуть-чуть тянуть какую-то духовную песнь.

Но вдруг, заметив на стене отодранный клок шпалер, он мгновенно прерывает пение и сердито произносит:

— Кто это? Все Гришка! Погоди! Я когда-нибудь на досуге соберусь — всех передеру вповалку. Семь пятниц в одну соберу!

Ребятишки, шумящие в другой комнате, на минуту замолкают, слыша эту угрозу.

— Филипп Ионыч спрашивают, — докладывает горничная, неся из передней утюг на палке, которая дымится от раскаленной ручки.

В комнату входит господин, очень похожий на мелкопоместного дворянина. На нем все слегка засалено и поношено: панталоны, вздувшиеся на коленях, очень коротки; по атласному жилету с стеклянными пуговицами, отстегнутому у шеи, пролегает дутая бисерная цепочка синего цвета, а из кармана, сквозь протертый атлас, белеет серебряная луковица.

Поздоровавшись, хозяин просит гостя присесть и сам помещается на стуле с одного конца ломберного стола, стоящего в простенке под зеркалом, на котором видны следы детских ручонок, измазанных помадой, чернилами.

— Просьбица-с, — произносит гость, садясь напротив хозяина и задвигая ноги под стул.

— Что такое?

— Такое дело.

При этом гость закрывает полой сюртука живот и, охватив рукой шею, пялит голову кверху, желая подобным маневром придать своей физиономии самый благопристойный и деликатный вид.

— Приехал тут из Соловы один мужичок, — продолжает он.

Гость кладет на стол плисовый картуз, в котором виднеется фунт чаю, завязанный в красную бумагу, и продолжает:

— Приехал мужичок-с по одному делу; так просил меня, говорит: «Филипп Ионыч, пособите, христа ради». Я говорю: «Хорошо, схожу к Федор Митричу: как они». Вот теперь иду с рынка и думаю: сём заверну? и зашел.

— Насчет лесу, небось, на рынке-то были?

— Насчет лесу-с. Стропилы у меня подгнили, так дубков два-три надо было посмотреть.

— Гм!

— Ну-с, изволите видеть, просит этот мужичок... то есть, чтоб его посекли. Выходит, вырубил он казенного лесу — самый пустяк: одну никак слегу. А ему это и сочли за самовольную порубку, да и присудили рыть канавы

два месяца. Извольте судить: семья у него большая, мал мала меньше; работник он теперича один на такую орду. Стало быть, ежели оторвать его оттуда, ведь вся семья должна с голоду помереть. Плачет это малый, говорит: «Пущай, говорит, лучше меня высекут; тут по крайности отстегали, и шабаш. Я, говорит, за сотней не постою, только чтоб разом всыпали». Так вот я, собственно, насчет этого.

— Да, пожалуй, — неохотно начал хозяин: — высечь, оно можно. Отчего не высечь? Да вдруг, говорю, мы высечем его, а канавы сами по себе пойдут попрежнему: не в зачет то есть? Ведь может случиться?

— Конечно... Дело божие!

— Ну, вот видите.

— Мужичок-то больно просит?

— Да я что ж, пожалуй; напишу старшине записку. У вас в Солове-то Шкалик?

— Шкалик-с.

— Ну, пожалуй, напишу.

— Явите, Федор Митрич, божескую милость, потому, я вам докладываю, и без того измучился с семьей мужичонка.

Настает молчание. Из другой комнаты робко пробирается по стульям хозяйский сынок лет десяти, не сводя глаз с гостя и держа во рту палец.

— Ну, как супруга? детки? — спрашивает хозяин.

— Благодарение богу.

— Вас, никак, поздравить надо с прибавлением?

— Да-с, в августе еще опросталась.

— Мальчик?

— Девочка-с. В те поры такой случай: довелось мне купить у одного барина — доктор тут один проезжал — меренка; цена самая незначительная: восемь рублей дал с хомутом и две пары вожжей. Только как эта лошадь, по нищете хозяина, питалась весьма редко, то и имела из себя вид самый ужасающий. Купил это я ее, веду домой, вижу — бежит навстречу Фекла, кухарка. Говорит: «Барыня дюже трудна». Я так думаю: надо лошадь попридержать за воротами, по той причине, как ежели поведу ее по двору, неравно увидит супруга, испугается: господь знает, что может приключиться, ибо, говорю вам, лошадь — страсть какое безобразие! Баба теперича ежели

в таком положении да перепугается, ведь этак и дитя может уродом сделаться.

— А может!

— Может-с. Так, думаю, лучше не вести ее на двор, и не повел.

Небольшое молчание.

— А много ль у вас деток-то? — спрашивает хозяин.

— Да что... деток-с... довольно! Перво-наперво, доложу вам, оно в охотку идет...

— В охотку?

— Так это даже удовольствие составляет, ну, а после-то дюже скучно делается. Иной раз это разорутся: у того живот, у того зубы, — не приведи бог! Думаешь себе: господи! хоть бы прибрал кого!

— Ох, правда!

— Да ей-богу-с!

Гость вынимает красный платок и отирает пот на лбу.

— А иной раз и то в сумнение взойдет — думаешь: поишь, кормишь их, одеваешь, а какая за это может от них благодарность произойти? Чего доброго, за такие родительские благодеяния в шею накладут, недорого возьмут.

— Да, так!

— То-то вот-с. Опять же и учить тоже нужно: не оставишь же без просвещения.

— Как же без этого? Нельзя!

— А хлопот-то что с учителями, — сами изволите, чай, знать?

— О да, боже мой! Мука мученская!

— Вот, к примеру, недавно со мной что произошло, какого я, то есь, горя отведал. Есть у меня тут племянничек из семинаристов. Моя сестрица за дьяконом замужем, так вот ихний сын; зовут Петей, Петром то есь. Прошлую весну перевели его в реторику. Ну, ничего. Осенью, этак-то, привез его отец из деревни и поставил на фатеру в Роговой улице. Это, ежели изволите знать, за Знамением: как от церкви-то повернете налево, тут и есть Рогова улица. Поставил на квартире у одной мещанки, — Тимофеевной звать. Ну, снабдил его. Уезжает отец-то домой, просит меня, говорит: «Братец, наблюдайте за сыном, стерегите». Я говорю: «Отчего же, пожалуй». Уехал. Тут понадобился Мишутке учитель.

Думаю: возьму-ка я Петю; лучше своему деньги платить, чем чужому. Пущай, думаю, родному достанутся. Деньги хоть и небольшие, — мы больше двух рублей не даем, — ну да все, говорю, могут быть подспорьем: подметки подкинуть, заплату там какую присадить...

— Да мало ли...

— Да-с! То, другое понадобилось, ан и есть. Подумал, говорю жене: «Пашь, а Пашь! говорю, вот как я думаю». Она говорит: «Ну что ж!» Ничего так ничего. Послал за ним, объявил ему — рад-радехонек. Хорошо. Ходит неделю, ходит другую. Начинаю я замечать, что малый отвиливает: денек пропустит, два; после говорит: голова болела, али бы живот там. Я молчу. А тут вдруг перестал ходить. Думаю: с чего такое? Не ходит месяц, два. Я и забыл об нем думать, как — такой случай. Лег раз я после обеда отдохнуть. Еще, помню, у меня в желудке что-то бурчало; говорю жене: «Не от грибов ли?» — «Нет, говорит, от каких грибов?» Ну-с, лежу, только слышу, кто-то в спальню прет из прихожей прямо к кровати. Вижу, баба. «Кого тебе?» Она прямо бултых в ноги. «Батюшка, говорит, племянничек-то ваш, что у меня на фатере стоит...» Да и расскажи мне. Внизу-то, под семинаристами, то есь где племянничек мой живет, помещался хозяин, мещанин с дочкой. Дочка-то, к примеру...

— Коля, поди отсюда, — относится хозяин к сыну, который уже стоит около стола, уставившись на гостя.

— Пущай выйдут-с, — добавляет гость.

Иди же. При детях-то, знаете, не тово... как-то...

— Справедливо-с. Так, говорю, дочка была, то есь одно слово... Вот она к себе Петьку-то и примани. Дескать, то, се... милашка... розанчик... Ну, и все такое. Малый растаял, зачал туда ходить к ней, зачал ходить, до того дошел, что почесть и днюет и ночует там. Заложился для нее весь. Оставалось у него муки третной пуда с три да тюфяк. Он, что же? Возьми, из тюфяка вытряси мочало, да и набей его мукой. Опосля того взвалил на плечи, да к купцу Кочеглыжину на Пятницкую улицу и снес, а там продал никак за рубль. «Как узнала я, — мне хозяйка-то говорит: — что такое дело вышло, так залилась горючими! Думаю: господи! Такая крупчатка! Ах, мука! Рыдаю, говорит, не могу удержаться. Легла спать — плачу! Слышу, к заутрене ударили, встала, пошла: все

рыдаю. Аттеда иду — тоже. Слышу, на паперти говорит кто-то: «Ах, батюшки мои! Верно, у нее кто помер». Как перед богом, сама говорила. После того не утерпела баба, прибежала ко мне, рассказала про все. Думаю: вот комиссия! Нечего делать, слез с кровати, оделся, иду к нему на квартиру. Хозяйку послал вызвать его каким-либо манером; сам стою за воротами. Жду. Выходит в сертучишке каком-то, без картуза... Увидал я его, говорю: «А, здорово, говорю, Петя!» Да, к примеру, за шиворот его и сцапал. «Что, говорю, не зайдешь никогда?» Малый это егозит, ежится, дескать: ослободите, выпустите шиворот-то. А я будто не замечаю, загребаю это в руку-то еще, говорю: «А я, мол, жду, авось, думаю, Петя зайдет когда-нибудь. Хоть пирожка когда поест». Сжал я малому шею, то есь вот не провернет языком: надулся весь, хочет вырваться. Не-э-эт, думаю, не туды попер! и продолжаю: «Ныне, говорю, обедни отходят в одиннадцатом часу, так прямо бы к пирогу». Да, извините, по сусалам-то его, по сусалам. Завыл малый. «А что, говорю, не зайдешь. Да ты, говорю, не ори: неравно подумают — грабят кого, а нешто я тебя граблю? Я тебя добру учу». Ну, признаться, произошла у нас битва немалая!.. Потолковали мы с ним тут в этаком же роде, воротился я домой, думаю: укротил. Ан через неделю хозяйка доносит опять: — так и так, малый опять расклеился и дает этой девке расписки: «мол, нарушив семейное, к примеру, спокойствие... сего числа обязуюсь в замужество взять» и прочее. Окромя того, зачал шмыгать по трактирам. Я подумал этак-то, взял да и написал в село зятю. Дескать, приезжай, по той причине, как сын твой сущей свиньей стал. А сам пустился отыскивать оголтелого-то в трактирах. Приезжаю в «Везувий», вижу: малый на биллиарде жарит; увидал меня — прямо с кием в окно. Я за ним — он в другой трактир. Я опять — он домой. Я за ним, загнал домой, подступаю. «Так ты так-то, говорю, своего отца бережешь? а? так-то, говорю, к сану готовишься?» А он мне: «Да вы чего?» говорит. «Как чего?» — «А так; я вас вытурю отседа по шеям! (Изволите видеть, просвещение-то!) По шеям-с, говорит, вытурю, потому вы в неузаконенный час пожаловали». А было первого половина, ночью. «В какой неузаконенный?» — «А в такой!» И почал мне грубить. Опасаясь его, — человек пьяный, буй-

ный, — господь его знает: он тут те на месте уложит... опасаясь, говорю, его, удалился я домой... Через месяц прибыл родитель. Только что было пришли мы с супругой из рядов, — нужно было пол-аршина серпянки прикупить, — только пришли из рядов, говорю, в шестом часу дело было, ан через полчаса и пожаловал дьякон. Поросенка мне в гостинец привез. Только я после посмеялся же над ним; поросенок, доложу вам, самый изможженный: худоба это, хворость во всем теле; зубы ощерил, на боках синяки. Ну, думаю, угостил, спасибо! Однако я виду не подал: родственник! Не подал, говорю, виду. Идем мы к Петрушке на квартиру. Приходим. Дьякон и говорит: «Братец, неужто это все правда, что вы мне писали?» Я говорю: «А вот увидишь». Дьякон это поднял кверху руки, закрыл глаза, говорит: «Боже, очисти мя!» Я говорю: «Пойдем». Приходим к хозяину; племянника не было; мадам эта сидит, шьет что-то... Я этак кашлянул, думаю: «Надо за родню заступиться!» Подхожу к девице, говорю таково вежливо, говорю: «Что это вы, сударыня, изволите шить?» — «Салоп-с», говорит. «Салоп-с? Стало быть, приданое, выходит?» — «Нет-с, говорит, это одной советнице». — «Советнице-с! Так! А себе-то, говорю, еще не принимались шить? Али уж сшили всё?» — «Какое себе?» — «Что же, говорю, вы нас на свадьбу не приглашаете?.. Мы ведь тоже, говорю, родственники, какие ни на есть. Хоть завалящая, да родня. Вот они, говорю (на дьякона-то указываю, а он стоит в углу у двери, мнет шапку в руках), вот они, говорю, так отцом жениху доводятся». — «Какие, говорит, женихи?» Ну, тут уж я не мог преодолеть себя! «Ах ты, говорю, такая! Ах ты сякая! Да я тебя в острог!» Довольно я тут на нее побрехал. А девка тогда себе: «Да ты чего же, говорит, тут орешь-то? Да ты что такое? По какому указу? Откуда-а? Да я сама в суд-то дорогу найду! Да у меня, говорит, все по документам. Али мы дураки?» Орет! Зятек мой перепугался, дергает меня за рукав, говорит: «Братец! Ради господа! Что за гам такой! Да не кричите вы! Боже мой!» Я говорю: «Как? Не кричать? Ну, не буду». Сел в угол, сижу, не пикну, потому обидно мне! — хотел за своих за родных заступиться, а тут они сами в омут головой прут. Взял и молчу. Тем временем вылезает из спальни ее родитель; прямо со сна. «Вы, говорит, что тут разгорлани-

лись, господа честные? А вы, ваше привелебие (это дьякону-то), по каким причинам пожаловали? а? Я, говорит, ведь не посмотрю, что вы такое лицо: у меня прямо в часть!» Дьякон стоит ни жив ни мертв. Смотрит на меня. Дескать: помоги! Э, думаю, нет-с! «Как знаешь, говорю, как знаешь! Я молчу...» Сижу ровно пень. Началась у них тут возня! Отец-то документы кладет на стол, говорит: «Вот-с какое дело!..» Дочка кричит: «Я теперича самадругà». Зять мой молит, просит их, — не берет. Жаль мне стало его, встаю. «Ну, говорю, нечего делать...» И повел все это дело по форме, по пунктам. Дескать, это как? А это? А вот это-с? А в Сибирь не желаете? Как пошел, как пошел! Мещанин мой присел. Эта-то тоже язык свесила, — молчок! Бились этак-то мы часа четыре, насилу помирились на сотне. Сто целковых — легко сказать!

— Бедному человеку! А-а-а?..

— Да-с! Ну, за это я Петьку тоже осчастливил, - даже захворал.

— Ну, а девица-то?

— А девица-то вышла вскорости за мастерового. Сказывают, этакий дылда длинный да сухопарый: урод уродом. Но девка ничего; говорит: сойдет! «Хоть лучинка, да мужчинка!»

— Ишь ты ведь...

— Так-то-с. А тем временем ребятишки болтаются, время уходит...

Гость слегка приподнимается на стуле, поправляет полы и садится снова.

— Вот так и мучаешься все!

В комнату входит хозяйка, приземистая женщина в чепчике, закалывая булавкой платок на груди. Она здоровается с гостем и садится в противоположном углу комнаты. В ту же минуту к ней бросается один из множества младенцев, — издали протягивая руки, чтобы ухватиться за платье.

— Вот я сидела в той комнате, — начинает хозяйка, трогаясь на стуле, — так слышала: вы что-то про учителей толковали.

— Д-да-с? — вопросительно произносит гость.

— Вот у нас тоже. Что я вам объясню. Занадобился Гаврюше учитель. Попросили добрых людей — нет ли, мол? Прислали. Покойник Митрий Митрич рекомендовал.

Пришел это учитель. «Как, говорим, цена?» — «Да, говорит, четыре целковых» (окромя пищи и фатеры, потому мы учителей у себя помещаем). «Как, говорю, четыре целковых? а? (Хозяйка поднимается со стула и во все продолжение своего рассказа шаг за шагом приближается к гостю.) Как четыре? Да где это такие цены виданы? В коем царстве? говорю: неужто харчи-то ни во что не ставите? Ведь вам, говорю, не подашь гороху? Ведь вам подай щей с мясом, да жаркое, да пятое, да десятое».

— Ноне все так-то не рассчитывают ничего. Что, мол, такое! А поди-ка, отведай, — перерывает гость, посмотрев на хозяина.

— Д-да! — продолжает поглощенная рассказом хозяйка, отгоняя рукой сынишку, который жмется около нее. — «А теперича, говорю, подите-ка, приступитесь к говядине-то. Об огузках мы не говорим — это не наша пища, не по карману; а вот хоть ребрушко или грудинка. Ведь она, говорю, пять копеек фунт! Нынче пять, завтра пять, ан и расход».

— А то как же? Оно по мелочи-то и не видать...

— «Окромя того, говорю, чай, сахар...»

— Барыня! а барыня! — раздается из передней: — ставить, что ль, пироги-то?

— Постой... «Окромя того, говорю, чай, сахар. Опять и то — прачка... возьмите, говорю, в расчет...»

— Ей-богу, правда, — продолжает плачевно голос из передней: — печка простынет.

— Отстань! Говорю: «Прачка, — ведь она с вас по пятаку за рубаху сдерет. Это, говорю, тоже расход. Как вам, говорю, не грех цену-то такую заломить? Да еще, говорю, середы и пятницы мы по христианству держим, едим рыбное».

— Барыня! — жалобно произносит кухарка.

— «Рыбное. А подите-ка с рублем, говорю, на базар».

— Что ж мне с пирогами-то делать?

— Да поди к ней, — говорит хозяин.

— Сейчас. Говорю: «Ну-ка, с рублем-то подите на рынок да поторгуйте на семерых рыбки»... Сейчас иду, постой!.. «Так вам и дадут по три пискарика на душу. Так-то...» Ну, что там? — заключает хозяйка, направляясь к двери и ведя за руку сына; но сделав два шага,

она останавливается и продолжает, обернувшись к гостю боком: — Так я его тогда урезала — страсть! Я говорю: «Этак, говорю, можно на шею сесть бедным людям! Это, говорю, без всякой без совести, простите меня».

— Барыня!

— «Это, говорю, подло, бесчестно, говорю, — четыре целковых».

— Да ну иди, что ль, к ней, — перебивает муж.

— Пойду; чего тебе?

— Иди; слышь, зовет.

— Ну и пойду.

Супруга замолкает и пристально смотрит на мужа.

— Так вот какое горе, — относится она к гостю. — Пойдем, Миша.

— Да, трудно жить на свете! — замечает гость.

— Трудно!

Немного погодя гость собирается в путь.

— Не хотите ли водочки? — спрашивает хозяин.

— Нет-с, благодарю покорно: не употребляю.

Давно ли?

— Да вот уж в ту пятницу два месяца будет. Видел я сон один. Весьма зловещий. Проснулся и дал зарок водки не пить. С тех пор вот, слава богу, господь крепит. Иной раз идешь мимо шкапа-то, так те и подмывает, так и подмывает.

— Хе-хе-хе-хе...

— Но креплюсь!

Прощаясь в передней, гость накидывает на одно плечо шинель и, нагнувшись к самому уху хозяина, произносит шопотом:

— Не взыщите. Там на окошечке оставил.

При этом он указывает большим пальцем через плечо.

— О, да напрасно вы... — вяло говорит хозяин.

- Помилуйте-с, как можно!

— Право, напрасно.

— Ничего-с.

И гость натягивает шинель на другое плечо.

— А не слыхали вы, — говорит он громко, нагибаясь за калошами: — будто Чаев купец помер?

— Нет, не слыхал.

Будто, говорят, в бане запарился?

— Ничего не слыхал.

— Мне Прохор Егорыч сказывал.

— Нет, не знаю; не слыхал.

— Ну-с, до приятного свидания! Насчет мужичка-то не забудьте.

— Нет, нет. Вы ему велите толкнуться сюда ко мне в обед завтра.

— Очень хорошо-с.

Гость уходит. Хозяин запирает за ним дверь на крючок и направляется в залу за чаем; стоя у окна, он видит, как гость идет по двору и на ходу надевает шинель в рукава. В столовой жена чиновника читает какую-то духовную книгу.

— На, вот, — произносит супруг, кладя перед нею чай.

Та повертывает фунт в руках, подносит к носу, нюхает и произносит:

— Э, да это в целковый.

— О?

— В целковый.

— Ну что ж! Дело-то пустое. Не пора ли нам обедать?

Начинают накрывать на стол.

В ДЕРЕВНЕ

(Летние сцены)

I

...В самую страшную полуденную жару мы расстались с городом; здесь в эту пору мертвенность полная; ставни заперты, и по опустелым улицам друг за другом гоняются песчаные вихри, по временам подхватываемые неизвестно откуда налетевшим ветром. Неслышно катится наша повозка по пустынным переулкам, прилегающим к полю; кое-где врезывается она в вязкую грязь никогда не пересыхающей лужи, и потом — снова не слышно шума колес и стука неподкованных лошадиных копыт, только мелкая песчаная пыль не отстает от нас и густым облаком ползет под повозкой. Миновав почерневшую и насквозь прожженную каменную кузницу, внутри которой глухо шипели мехи, густо разлетались из-под тяжелого молота искры и суетились закопченные кузнецы, изредка выбегая наружу с надвинутой на затылок шапкой и ручьями черного пота на лице, — мы, наконец, совсем расстались с городом. Меньше и меньше слышится кузнечный молот, и скоро хор кузнечиков, грянувший во ржи, глушит его своим назойливым чириканьем... В эту минуту вы чувствуете себя хорошо, и потому именно, что невыразимо быстро мелькнувшая картина городской жизни нарисовала вам целые толпы людей, которые разом разевают свои рты, говорят что-то, и вам, как жителю города и знакомцу этих людей, не нужно иметь слишком чуткого уха, чтобы расслышать здесь жалобы, просьбы. Жалобы эти так стары, столько веков зудят они над человеческим ухом, что для действительной помощи им ни во что пошла бы целая ваша

жизнь, да и то ничего не вышло бы. А поэтому-то в настоящую минуту в вас и родилась хоть и дикая, но совершенно законная дума: «Слава богу, что мне самому не пришлось протянуть ног в этом бучиле».

Жара не дает вам покою; вы жмуритесь; лоб болит, и кажется, что вместе с вами жмурится и само солнце от нестерпимого блеску и духоты. Черные, кое-где уже вспаханные под озимое поля, словно в дыму, тонут в синеве палящего зноя, который обдает собою верхушки соснового леса, отчего ярче виднеются красные сосновые стволы, будто освещенные снизу кострами. Картина, раскинутая перед вами проселком, не может похвалиться особенным разнообразием: вдали видны неподвижно растопыренные мельничные крылья, ярко зеленеет лоскут конопли, врезавшийся между ржи, а повсюду — и направо и налево — по отлогим равнинам разбросаны разноцветные шашки полей. Там и сям, в разных точках над колосьями, виднеются нагнутые бабьи спины, виден взмах пучка срезанных колосьев, загорелое лицо бабы, обернувшейся посмотреть на вас, и потом снова нагнутая спина ее.

Все это молчит, без умолку работает; в эту пору в деревне не сидит сложа руки ни одна человечья душа; а поэтому постоянная безлюдность и без того глухого проселка увеличивается теперь в сотни раз и, наконец, начинает вам надоедать... Кроме лесов и ржи, вам хочется встретить хоть одну живую душу, — будь то становой, который не замедлит при этом обдать вас песком и пылью и оглушить неистовой трескотней колокольчика, или простая деревенская баба, — все равно. И вот, наконец, вдали показывается телега; на возу с каким-то продуктом, плотно укрытым кожею и увязанным веревками, покоится мещанин, подставив спину солнцу и подложив руки под голову; воз поровнялся с вами и проехал; вы опять в поле и здесь имеете достаточно времени рассуждать о том, почему при таком незначительном случае, как ваша встреча с мещанином, не могло обойтись без того, чтобы мещанин или ваш возница не наехали друг на друга, не сцепились осями и оглоблями и не послали друг другу «чорта», «подлеца» или «идола»...

После этого и вы и мещанин спокойно продолжаете свой путь. С пригорка возница начинает придерживать

лошадей и направляет их мимо мостика, почему-то предпочитая вязнуть в трясине и плестись шагом; но скоро, — вспомнив, что мост этот принадлежит к числу повинностей, исполняемых натурою, — вы и сами оправдываете возницу, потому что всякая подобного рода штука в результате непременно постарается устроить вам какое-нибудь увечье или калечество. На этих-то пунктах, на этих-то лжеудобствах и вывихиваются руки, шеи, ноги; здесь-то ломаются ребра и сокрушаются кости... А поэтому мы крайне счастливы, что перебрались на другую сторону помимо моста. Медленно взбираемся мы на небольшую песчаную возвышенность и на самом высоком пункте этой возвышенности, на перекрестке двух дорог, натыкаемся на два маленькие креста простой, мужицкой работы. Стоят они на распутии одни-одинешеньки и говорят прохожему народу о какой-то загадке, и слишком уж страшный смысл этой загадки, неизвестно, впрочем, почему представляющийся таким, заставляет каждого прохожего постоять тут и покреститься...

— Не знаешь ли, брат, что это за кресты? — спрашиваете у возницы.

— Тут *такие* люди зарыты.

— Какие люди?

— Смертобивцы...

— Кого же они убили?

— Да они сами...

Не обладая слишком размазистой фантазией записного литературщика, можно почти мгновенно сварганить по этому случаю забористую драму из народной жизни,— стоит только обставить жизнь этих смертобивцев разными *прискорбиями;* тут рисуются изверги-старосты, прелестная Офелия-Фекла, грустно ободряющая возлюбленного фразою такого, например, рода: «Еще розы не перестали цвести — не горюй, ненаглядный Вахрамей», и проч.; словом, все что угодно; и если в эпилоге, когда стонущие решаются выпалить в свои лбы, прибавить заунывную песню и заставить хоть полминуты пошуметь темный бор, — штука выйдет весьма потрясающая... Героев можно, впрочем, для большей народности, втащить на осину и тут покончить с ними; выйдет картина еще капитальнее...

— Так ты говоришь, что тут самоубийцы? — спрашиваете вы извозчика опять.

— Так точно...

— Не знаешь ли ты, брат, отчего это они?

Извозчик повертывается к вам и произносит:

— Да вот, изволите видеть, отчего: первое дело они это напились, как, можно сказать, свиньи, ды ночью-то и врюхались в это самое болото, в полую воду!.. Так совсем с лошадью.

— А-а!..

И тут разрушается такой удачный, только что состроенный план народной драмы.

Скоро ваше внимание привлекает толпа народу, разлегшаяся на границе леса, в тени. Не хорошо постигая, в чем дело, вы обращаетесь снова с вопросом:

— Что такое?

— Мижавые, — говорит возница и потом прибавляет: — которые мижують... Ишь народу-то наволок! — недовольно заключает он.

— А что?

— Да как же: ему по закону-то трех бы человек надыть, а он целую деревню томит попусту...

Подъехав, вы действительно различаете целую кучу людей, посреди их стоит около инструмента таксатор; по полю шагает мужик с шестом в руке, на котором вверху привязан белый лоскут.

— Зачем же он их томит-то?

— Да, стало быть, для него это много лестней...

Межевой, завидев вас, и в особенности то, что вы так пристально смотрите на него, мгновенно забирает себе в голову изумить вас своими подвигами и так разукрасить их, чтобы вы откровенно сознались, что тут ровно ничего не смыслите, но что он, напротив, все это до тонкости понимать может. С этою целию он вдруг приободряется, засучивает, словно для драки, рукава, в то же время громогласно командуя мужикам с шестами, произносит какое-то мудреное слово, которое вы только слышите, но понять может исключительно он один, и, упершись засученными руками в бока, прищуривает один глаз и прицеливается другим в щелку алидады...

Побежденные таким горячим делом, мы едем далее и скоро въезжаем в прохладную тень леса... Колеса

наши часто подпрыгивают по обнаженным, далеко протянувшимся корням придорожных дерев и потом снова вязнут по ступицу в песок. Лесная проселочная дорога начинает мало-помалу расширяться и, наконец, небольшой полукруглой лужайкой врезывается в лес... На этой лужайке торчит одинокая хибарка, которая еще издали произвела на наших лошадей какое-то приятное, знакомое впечатление: они приободрились, побежали рысцой и прямо к хибарке. Несмотря на то, что кучер усердно теребил вожжами лошадиные рыла, желая направить коней на дорогу, — кони выгнули свои спины, дружно наперли грудью вперед и как вкопанные стали у хибарки...

— Ах, черти подлые!.. Как они к этому кабаку приучены, — говорит извозчик. — Хошь глаза завяжи, и то разнюхают этот кабачище...

Стало быть, как часто нужда, горе или что-нибудь другое толкает русского мужика к кабаку, если даже лошади уловили типические черты этого заведения и по чутью распознают его повсюду.

Избенка, около которой остановились наши лошади, помещалась одна-одинешенька среди леса, тянувшегося длинной полосой. Она была очень ветха. На соломенной крыше, почерневшей и плотно склеенной частым мхом, кое-где росли целые кусты разной травы, из-за которой выдвигалась черная деревянная труба, сверху защищенная крышей. Наружу избенка смотрела маленькою дверью, в которую можно было пролезать, только согнувшись особенным образом, каким заставляет сгибаться только страшное уважение к сивухе. Маленькое оконце, словно старческий глаз, пораженный бельмом, уныло смотрело на дорогу и редких проезжих, и только в это оконце обитатели избенки награждались светом божиим. В избе было сыро и пустынно; в углу в сенях валялась собака и при появлении нашем как-то испуганно вытаращила глаза, будто не знала: что ей — брехать или нет?

Извозчик предлагает нам отдохнуть и закусить. Он распрягает лошадей, а мы, пока старая баба возится около загнетки, стряпая яичницу, отправляемся в лес... Чем дальше пробираемся мы в его прохладную чащу, разгребая руками ветки и снимая с лица беспрестанно цепляющуюся паутину, тем более и более охватывает нас

со всех сторон такая деловая и полная любви и серьезности жизнь, что вы среди такой пустыни не смеете и на мгновение подумать о скуке или желании вернуться назад. Над вами и со всех сторон вы слышите говор спокойный и счастливый, видите неумолкаемую работу целых благоустроенных царств. Тут все до такой степени свято и цельно, что вам кажется, будто ваша собственная особа здесь совершенно ни при чем; вами не нуждаются; после вас во всяком случае окажется какой-нибудь изъян, нарушающий общую гармонию... И поэтому не мешайте здесь и уйдите отсюда, если вас здесь серьезно что-нибудь не интересует.

На пути попадаются нам срубленные бревны, разбросанные там и сям и говорящие, что тут был человек, — и действительно, вы скоро выступаете на вырубленную среди леса площадь, на которой устроен майдан (особого рода печь для гонки дегтя). В настоящее время майдан пуст, только на самом дне вырезанного в земле конуса валяются потухшие и убеленные золою уголья.

Миновав майдан, мы снова в лесу, — а кругом такая невыразимая прелесть. Мы выбрались на дорогу, пролегающую через лес, и только что успели сделать несколько шагов, как встретились с большим тарантасом, ехавшим против нас. Узенькая дорожка не давала возможности свободно пробираться тройке, и пристяжные иногда отставали, осторожно перенося копыта через пни. Высокий кожаный верх зацеплял сучья, которые скребли по коже и заставляли ямщика нагибать голову, потому что рукастые ветки, того и гляди, сорвали бы с него шапку. Тарантас останавливается, и оттуда вылезает особа в военном сюртуке и кепи, а за ним простой мужик — караульщик леса. Вас интересует, зачем они приехали и что такое за дела они начнут тут делать, и поэтому минут через десять мы с лесничим знакомы.

— Вот наша должность, — говорит наш знакомец, — целый день на жаре.

— Какого же рода ваш труд?

— Варварский-с; я занимаюсь устройством лесов, лесных дач, — гордо говорит новый знакомый. — Недавно, — продолжает он, — я у помещицы Булавкиной устроил двести десятин — в одну неделю.

Вас, во-первых, несколько интересует, что такое именно значит *устраивать лес?* И ежели это не какой-нибудь вздор, то не менее интересно узнать: как таким быстрым путем достигается благосостояние нашего лесного края? Вы изумлены, тем более, что знакомый наш, продолжающий рассказ о своих трудах, поминутно растет в ваших глазах, ибо посмотрите-ко, от каких бед он вас обороняет:

— У нас в губернии, батюшка вы мой, считается по бумагам двести тысяч десятин лесу, а я вам даю голову на отсечение, что их нету и ста тысяч. Вот-с! Кроме того, есть еще такие лесные дачи, которых вы не отыщете с микроскопом. Вы не знаете даже, куда делись эти двести десятин, про которые вам доносят.

— Отчего же не привести это в ясность?

— В ясность? Вы потолкуйте *нашему-то,* который при ревизии смотрит у полесовщиков только пуговицы. Он говорит: «Зачем *там* беспокоить? Как думали, так пусть и думают». Но я этого не оставлю.

Господин устроитель порядка долго говорит в таком роде, и у вас радостно шевелится в голове: «Наконец-то, наконец-то».

— Вы не откажете мне пройтись с вами?

— О, сделайте одолжение...

Нам очень интересно знать, каким это образом случится так, что мы через четверть часа выйдем уже из *благоустроенного* леса, а господин устраиватель обогатится при этом рублей на сто, полагая не весьма малую цену за труд его на каждой десятине. Но тут меня (и только меня) мгновенно осияло что-то свыше, и я, прозрев, сразу увидал малейшие закоулки сердца устроителева, а вместе с тем и то, что в них делалось. Я увидал, что устроитель порядка еще давным-давно, в своем учебном руководстве, твердо выучил строчку, которая говорит, что все это делается только для одной видимости, но в сущности приносит убыток. Я сейчас могу указать эту строчку и твердо помню руку, начертавшую ее, и страницу, осчастливленную ее присутствием. Вижу я также, что устроитель явился сюда вовсе не за тем, чтобы разыгрывать комедию на мотив исполнения долга; он уехал теперь из дому на помещичьих лошадях, во-первых, для того, чтобы только пробыть несколько часов

в лесу, а потом за это получить с помещика приличный гонорарий, ибо кто же может допустить высокое ерыжничество и шарлатанство в столь прелестном молодом человеке (в следующей главе мы еще встретимся с этим барином)? А во-вторых, едет этот франт сюда за тем, чтобы набрать земляники или белых грибов и поднести эти невинные продукты какой-нибудь деревенской тоскующей невесте, так как подобные особы неиссякаемы.

Я уже окончательно не верю ни единому движению, ни единому слову нового знакомца. Мы идем.

Перед нами стоит осина.

— Вот видите, — говорит он, — это осина... Я так и запишу...

И пишет на бумажке «осина».

— Но ведь здесь же и береза?

— Ах, да!..

И березу записывает.

На губах наших является злая ирония. Пугается ли наш спутник этой иронии или видит, что он весь, как фонарь, светится со всеми своими не слишком обточенными фокусами, только он силится, во что бы то ни стало, поддержать предо мною свой авторитет и показать, что он действительно работает. С этою целию он произносит, как бы задумавшись, какое-то мудреное слово, вроде «ситуация» и проч... и надевает кожаные сапоги.

— Лесник! здесь граница? — спрашивает он у лесника.

— Здесь-с.

— «На границе ель», — пишет г. N (будем называть так устроителя).

— Скажите, ради бога, зачем все это вам нужно?

— Это мне необходимо для распределения правильности рубки.

— То есть — что же это?

— А то, что в этом именно и заключается устройство леса...

И мы и г. N — ровно ничего тут не понимаем и молчим.

— Скажите, пожалуйста, что еще вы будете делать?..

— А вот погодите... Вы увидите.

Мы идем еще... Г. N записывает «клен», «дубовые насаждения» и проч.

Раздумье, наконец, берет нас, и, предпочитая лучше одного г. N оставить на поприще устройства почвы и леса, мы сами направляемся к нашим лошадям, и скоро опять в дороге...

II

Большое село Кошки, куда мы добрались поздним вечером, было пустынно, но нельзя сказать, чтобы оно заснуло окончательно: где-то вдали слышался звонкий девичий смех и не менее звонкая песня, подхватываемая десятками чистых, как серебро, девичьих голосов. Песня оканчивалась всегда высокой нотой, которую певцы долго-долго тянули и замирать заставляли незаметно... Песня эта далеко гуляла за селом вместе с назойливым мотивом дудок, нырявшим между двух-трех нот. Вместе с песнью и деревенской музыкой не спали до белого света гуси и, столпившись в кучу на открытом воздухе середи двора, словно дрожа от ночной свежести, гоготали до утра... Чуть-чуть позамолкли они на теплом солнышке и потом уже, разваливаясь и солидно разговаривая, поплелись к пространной луже посреди села, где в это время уже стучал валек и бабы полоскали белье. Старуха баба выпустила из ворот двух бодрых и крепеньких свинок; они радостно рванулись на улицу, зацепляя ногами о подворотню, и побежали, похрюкивая и суясь своими мордами туда и сюда, очевидно с целию отыскать заброшенную кем-нибудь картошку, огурец и проч.

Короче, сельский будничный день начинается. Чтобы нам самим узнать, хоть слегка, сельскую будничную жизнь, нам необходимо посетить некоторые пункты, около которых ютится эта жизнь. Мы начинаем странствовать по помещикам и в неделю добиваемся хоть ничтожного осуществления наших целей. Нельзя не заметить, что среди этой жизни все смотрит на вас как-то угрюмо, укоризненно, словно вы виноваты в том, что, например, Егор Петрович Репа в настоящую минуту не может гнать сломя голову свою тройку в город за сорок верст, чтобы там у квасника на базаре выпить на копейку квасу, и потом гнать тройку назад, не забывая при этом щедро наделять пинками спину кучера...

Господин Репа, принадлежа к числу так называемых широких натур, с великой горечью вспоминает о недалеком прошлом и ежеминутно запивает это прошлое из старинной дедовской сулеи. Ему больше ничего не остается делать, как запивать; горькое горе заставляет его с презрением смотреть на рюмки и обходиться посредством дедовских же «стаканух». У него только и осталась одна дорожка к шкафу, где помещается заветная сулея, и в такие минуты в сердце Репы, кроме лютой злобы на весь мир, нет ничего. В это время ему не хотелось бы даже двинуть пальцем, ни шевельнуть ни одним членом, а тем менее о чем-нибудь думать и развязывать старинные запутанные узлы: конец чувствуется вблизи, — стало быть, не из чего натруждать свои мозги, тем более, что эти упражнения мозгов издревле считались самыми неприятными упражнениями. По временам только вспоминалась бросившая Репу жена и сын, единственный наследник, увезенный матерью.

«Но они уж шестнадцать лет не дают о себе слуху,— думает Репа, — стало быть, или околели где-нибудь, или счастливы и знать меня не хотят... Вообще: чорт их подери».

— Барыня приехали, — возвещает лакей...

— Какая барыня?

— Наша-с, с детками...

— Вы меня не узнаете? — произносит жена Репы, появляясь перед ополоумевшими глазами мужа, окруженная полчищем ребят.

— Никак нет-с. Я и не знал вас никогда.

— Я ваша жена.

— Чьи же это дети? У меня был один, а здесь шесть.

— Это ваши дети... Повторяю, — я *ваша* жена, следовательно, *ваши* дети.

— Не мои-с.

— Как хотите, только вы ихний папаша.

— Да на кой ляд мне эти щенки? Подлецами какими-то смотрят все. Где вы их, сударыня, нахватали? И зачем привезли сюда? Неужели затем, чтобы я вышвырнул их за окошко?

— Нет-с, не затем. Они в настоящее время в таком возрасте, когда им необходимо воспитание.

— Ну-с?

— А для этого нужны деньги. И кроме вас, как отца, никто не даст им этих денег, никто с такою теплотою не озаботится...

— У меня, сударыня, — резко и с расстановкой говорит муж, — ни денег, ни теплоты нету. А поэтому позвольте вас препроводить всех к чорту... и...

Репа судорожно сжимает в руке подсвечник; жена защищает лицо руками.

— И... и... и... — задыхаясь, тянет муж, находя, что поток слов истощился и необходимо теперь пустить в ход подсвечник.

— Вы не смеете орать здесь! — воодушевляется супруга. — Это мой дом... да! и я не уеду отсюда до тех пор, пока не получу от вас деньги... Вы думаете, что я в самом деле стану ухаживать за таким животным, как вы?

Репа вдруг чувствует, что он как есть животное. В неизбежные минуты скуки он все-таки поверял себя и находил, что он действительно имеет задатки свинства и глупости. Теперь это подтверждает человек разозленный, следовательно, говорящий сущую правду. В груди оскорбленного мужа идет борьба, страшная, неразводимая драка. Мгновенно припоминает он разные «коварства», «вероломства», измены, которыми истерзала его эта женщина; свою *пламенную,* но *попранную* любовь... все это клокочет, шумит, лезет наружу в задыхающуюся грудь и выпученные глаза и заставляет-таки руку запустить подсвечником, который попадает в стекло, и из уст Репы вырывается:

— Делайте, что хотите, змеи, и будь вы прокляты отныне и до века...

Репа уходит и на другое утро узнает, что супруга уехала, а вместе с тем узнает и то, что ему не из чего напиться чаю, так как самовар увезен; не из чего и нечем есть, так как и ложки и тарелки — все это увезено... Через день приходят неизвестные люди и объявляют, что если он, Репа, хочет спать не на полу, а на кровати, и если не хочет, чтобы исчезли из залы столы, стулья, зеркала и проч., одним словом, если не хочет уподобиться летучей мыши, гнездящейся в самых пустынных местах, — то должен заплатить известную сумму за прокат.

Репа соглашается, только просит подождать...

По временам, спустя долго после катастрофы, когда Репа успеет прилежаться к новой, более скудной обстановке, у него снова является охота позабавиться, но в эти минуты грусть, плотно заседая в бровях, не оставляет своего места и проясняется только слегка...

С трубкой в руках и самым спелым, как бы слегка припеченным носом выходит он на крыльцо в сад и безмолвно созерцает серьезный шум елей, которые будто жалуются, что и они теперь ни при чем, что некому теперь под их широкими ветвями творить всякие игрища... На грядках кое-где работают мужики...

Г. Репа стоит и безмолвствует долго; наконец, придумав штуку, произносит, обращаясь к мужикам:

— Эй, Семен, Иван!.. что ж, прошения-то подавали?

— Какие прошения? — удивленно спрашивают Семен и Иван.

— Как какие?

Репа так произносит эту фразу, что другие мужики, как и все, строгие к своим делам, особенно теперь, оставляя работу, приближаются к барину.

— Как же не подавали? Что вы в Сибирь, что ли, хотите?..

— Мы не подавали...

— Ах вы, дураки, дураки.

Мужики сразу перепугались, вовсе не зная, какие это прошения и о чем приказывают им просить, а барин продолжает:

— Срок и так уж пропущен, а они и не думают.

— Егор Петрович, ты нам, бога ради, напиши, — говорит один кто-то.

— То-то, бога ради!.. Не скажи — не догадаются... Вон, тоже вчера из Прялкина троих поволокли в каторжную работу... Тоже вот так-то мялись; ну уж так и быть, напишу...

— Теперича, поди, свидетелей надыть?.. — озабоченно произносит один из мужиков.

— Понятых надо созвать беспременно, — говорит другой.

— Ничего не нужно, я вам так сделаю...

Мужики рады; а Репа идет в комнаты; час ищет перо, другой час — бумагу, третий — думает, выпивает и, на-

конец, придумывает, что лучше всего настрочить мужикам жалобу на судебного следователя и мирового посредника...

Жалоба готова и вручена мужикам, которые, ничего не понимая, шлют бумагу, куда нужно. А Репа остается опять среди скуки и в трезвые минуты вздрагивает при мысли, что эта жалоба наделает бед.

Действительно, через несколько времени являются в обиталище Репы какие-то незнакомые люди, возвещают ему, что он под судом за смущение крестьян и ложный донос.

— Ну что ж, — кротко говорит Репа, приученный ко всякого рода бедам, а через минуту прибавляет: — Ах вы, дьяволы-дьяволы!!. Везите вы меня уж лучше прямо в каторгу, а то я вам пропасть хлопот наделаю...

Вообще нужно сказать, что для мужеского полу из породы «сильных» натур теперь великий загон настал, и они находятся в нестерпимой и жгучей тоске. Кроме сильных натур, в деревне тоскуют только барышни, которым хочется или *за афицера,* или уехать в город поплясать. Истинные хозяйки, особенно занятые и крайне поэтому довольные, именно в нынешнее время не скучают. У них нет свободной минутки. С раннего утра вы видите, что настоящая обитательница села уже на ногах: поминутно снует она от амбара и погреба на огород, в коровник, в сад... Там посмотрит, хорошо ли полют, там пожурит, и вообще хозяйский глаз не пропустит ни одной точки, которая более или менее имеет влияние на хозяйскую гармонию, без того, чтобы не привести ее в надлежащий порядок. Ежели настоящая хозяйка ездит в город, то не за какими-нибудь беленлрясами, а в гражданскую или какую другую палату, и на губернских дам смотрит с презрением.

— Что они делают-то? Едят да сидят? Что ж это за жизнь? Да я куском-то подавлюсь, ежели знаю, что не я его выхолила, а с базару кухарка принесла...

Если вы даже вовсе не хозяин, если вы точно так же, как и барыня губернская, выросли на чужом, купленном хлебе, — вам все-таки невыразимо приятно будет денек-другой прожить в домике сельской хозяйки, и притом прожить исключительно порядком и стройностию, которая господствует в ее жилище. Весь этот окружаю-

щий вас покой слагается многими терпеливыми годами, и хозяйка, гордясь им, подробно и без малейших упущений расскажет вам, как по писаному, историю всего окружающего вас благоденствия: эти два кресла куплены пять лет назад, когда убили и продали двух черных свиней. Но что стоило откормить и взлелеять их? Вот эти портреты двух генералов выменены за два ушата отличнейшей малины; но что стоило привести эту малину в отличнейшее состояние? и т. д. И зато все эти стулья так горды собою, генералы до такой степени чинны и величественны в своих мундирах и воинственных посадках, что вам непременно нужно несколько посмириться и для вашего же собственного сельского счастья уважить окружающую вас стройность.

Скучают, говорю, только барышни. Общества у сельской барышни мало; приходит, правда, к ней иногда дьяконская дочь, но «какие же могут быть с ней разговоры»?

— Тятенька вчерась купили лошадь, — скажет, например, дьяконская дочка.

— Какую? — сама не зная зачем, спрашивает барышня.

— Мерена-с...

— Хорошую?

— Она лошадь очень даже хорошая, ну только — стали у нее в роту смотреть, а у нее нету языка...

— Как нету?

— Да так-с... отвалился-с... — заключает серьезным тоном дьяконская дочка. А потом снова сидит полчаса молча, не шевелясь, и пощипывает бахрому у мантильи, смотря при этом в землю.

— Ну, прощайте, — произносит, наконец, она.

— Куда же вы?

— Домой-с, нужно.

— Приходите же опять.

— Прийду-с...

И расстаются. А барышня принимается опять скучать. Книг у ней никаких нету; правда, отыскала она какую-то толстую книгу, но это была такая серьезная книга, что барышня в ней ровно ничего не поняла. В голове ее почему-то уцелела фраза из этой книги: «Висок

есть самая чувствительная часть человеческого тела». Иногда она стоит у окна, ничего не думает и вдруг вспоминает: «Висок есть самое чувствительное...» и проч. Что за гадкое состояние!

— Скажи ты мне на милость, о чем это ты ахаешь,— рассерженно спрашивает у дочери мать, когда та от тоски разрешается продолжительными вздохами.

Дочь молчит.

— Что ты — не сыта?

Молчит.

— Платьев нет? Не одета? Не обута? — продолжает мать. — Жениха очень хочется?

Дочь делает движение плечом и чуть слышно произносит:

— Вот еще!

— Так пожалей ты хоть меня-то: где же я тебе женихов возьму?

— Маменька!

— Что мне с улицы, что ли, их скликать? а?

— Маменька, ради бога.

— Так скажи же, ради самой царицы небесной, чего тебе?

Дочь молчит, потому что не знает, чего ей хочется.

— Ну и дура, когда так...

Мать уходит, а дочь вздыхает и хочет что-то шить, но снова натыкается на толстую книгу и снова узнает, что «висок самое чувствительное место...» и т. д.

На дворе между тем полдень; две свиньи, пустившиеся утром на поиски съедобного, теперь лежат в грязи у плетня, обвалившегося и нависшего над этой лужей, на дне которой какая-то никем не замечаемая тварь на свободе занимается пусканием пузырей: они лезут оттуда кверху, вздувают грязную зеленоватую массу и потом лопаются, заставив своим щелканием шевельнуть свинью ухом. За забором, устроенным из двух длинных непиленых дерев, слегка приподнятых одно над другим и привязанных к воткнутым в землю шестам, толкаются между толстыми подсолнушниками маленькие деревенские девчонки и мальчонки. Уписывая кто огурец, кто большую, но сухую и завалящую корку, они толкуют что-то между собой своими цыплячьими голосами, а ветер по временам приподнимает с ихнего лба белые

и чистые волосенки. Кроме этих ребят-караульщиков, некого и встретить на селе.

Накрыв голову белым платком и вооружившись самым простым зонтиком, ходит вдова-помещица по огороду, прилегающему к самым окнам дома; у окна сидит скучающая дочка...

— Маменька! — произносит она, — когда ж мы в город-то?

— Рожна вот еще...

Эту фразу мать говорит таким грозным тоном, что дочь вдруг лишается всякой возможности продолжать разговор.

И скучает она так и дни и годы...

А судьба нежданно-негаданно посылает ей великую утеху в особе г. N, который в это время, только еще впервые, подъезжает к селу Кошкам. Эта езда дает мне возможность несколько уяснить внутренний мир г. N, так как я (что имел уже случай высказать) награжден в отношении к его особе особенною прозорливостию. Для этого мы пока оставим и Кошки и помещичье семейство.

Принадлежа к числу людей, которые везде если не приносят особенного удовольствия, то во всяком случае не нагоняют тоски и не сидят сложа руки, г. N еще интересен как жених и как человек, видевший Петербург. Последним обстоятельством может справедливо гордиться и сам он, потому что Петербург дал ему все необходимое в жизни, «как она есть». Г. N, живя в Петербурге, ушел от всех толков и учений, но не потому, чтобы понимал смысл какого-нибудь учения и находил его вредным для себя, а потому, что учения эти не бросались ему в глаза, которые от природы способны были видеть только то, что учит умению *жить*, умению изворачиваться и услуживать. Столичная жизнь, имеющая магическую силу заставлять людей думать над собою, приводить в порядок свои силы и поселяющая по этому случаю большие смуты в человеческом сердце, всегда недовольном самим собою, — не положила на нем своей развивающей печати. Ежели же, сверх всякого ожидания, к нему и навертывалась такая тоскливая минута, то стоило только пойти к хозяйке, глотать с нею цикорный кофий, плести про жильцов всякий сор, — и такая минута отлетала. Положим, что хозяйка была урод, что

ей было шестьдесят лет от роду и ни одного зуба и что ей особенную приятность доставляла беседа с буточником, занимающимся теркою табаку, — молодой прекрасный человек не уступал буточнику в мелочи и запутанности интересов и ничуть не находил потерянным время в беседе с оглупевшей старухой: ему нужно было дотянуть время до чаю, а после он отправится на Выборгскую молоть такую же чепуху и танцовать с барышнями. И здесь им все довольны, ибо он не оказывал здесь ни малейшего уклонения от казенных ловкостей, потому что это была школа его, а барышни были болваны, на которых вырабатывал свой лоск будущий прекраснейший молодой человек. Явившись с этими же, но усовершенствованными достоинствами в провинции, он сразу заслужил уважение; а в деревне эти достоинства и уважение возросли сторицею. Поэтому мы можем быть вполне довольны, что деревенской барышне небеса посылают такую штуку, утеху, как г. N. Он так неслышно, незаметно подкрался к помещичьему дому на обывательских, что барышня узнала о его прибытии только тогда, когда он появился в зале. Первым делом ее по этому случаю было шарахнуться в спальну — одеваться. Не могу при этом не сказать, что такое неожиданное посещение бросило барышню в пот, острый и колючий, но непродолжительный.

Г. N остается с матерью и объявляет ей, что он *сам* захотел устроить ее дачу, так как в его руках два-три свободных дня. Барыня благодарит, но нельзя не заметить по ее глазам, что она плохо постигает, в чем тут дело, и решается поддакивать, как хорошая хозяйка, из одного убеждения только, что это так необходимо... Г. N не упускает при этом случае объяснить барыне, в чем дело, для чего все это делается, но объясняет так, что барыня пуще прежнего убеждается, что необходимо.

— Изволите видеть, — говорит он, — здесь ведь в чем расчет-то? Представьте себе: у вас лес, — при этом N показывает рукою по направлению к барыне, так что та невольно взглядывает на собственный желудок. — И у меня лес,— и N показывает себе в живот.— Но мой лес, так как он постоянно находится в этакой тесноте... Свободный приток воздуха недостаточен... Питание скудное. Очевидно, необходима прорубь... просека...

— Так-так...

— Вот-с, изволите видеть...

И так далее в этом роде.

Потом время проводится таким образом.

Через четверть часа г. N сидит с барышней в саду.

— Скучаете? — спрашивает он.

— Да.

Г. N не находит, что сказать, и, чтобы протянуть время, усиленно трет ладони. Барышня вдруг вспоминает, что она, бог знает зачем, нарядилась в платье с открытыми плечами. Ее снова бросает в пот, потому что она не уверена в чистоте своих плеч и обнаженных выше локтя рук; почем знать, что у ней не прилипла где-нибудь ягодка малины, земляники и т. п. Положение ее делается почти нестерпимым, она начинает понимать, почему дьяконская дочка все смотрела в землю и молчала.

— А у нас недавно староста церковный умер, — произносит она, совершенно как дьяконская дочка.

— Что же такое? отчего?

— У него было что-то здесь.

Барышня при этом обвела рукой большое пространство на левом боку.

— Сердце болело?

— Нет... дальше... еще за сердцем.

— Где же это? Легкие, печень?

— Нет-с, еще гораздо дальше... за легкими...

Барышня останавливается, вся пораженная потом, а г. N догадывается со слов ее, что эта болезнь была где-то: «пройдя легкие, налево или направо, за угол» — что-то в этом роде.

На дорожке показывается мать, хлопотавшая о разных закусках и теперь считающая обязанностию занять гостя... Она тяжело опускается на лавку и после некоторого молчания говорит:

— Скажите вы мне, что же теперь за Петербургом?

— А там уж море идет.

— Море? А как же это тут вот рассказывал кто-то, что за Петербургом война начинается.

Г. N очевидно понимает, что барыня что-то запорола, но отчего же ему не сказать, что это так, тем более, что голова у него не отвалится.

— Может быть-с! может быть. Бог ее знает.

— Кажется! — победным тоном говорит барыня. — Война!..

— Может быть-с. Да оно так и выходит: место глухое.

— Сырость.

— Вот и это-с!.. Сырость, глушь... вот им и *хорошо для драки-то?*

— А как же...

И так далее.

После всевозможных закусок, в продолжение которых N рассуждает с самой барыней, так как дочь отлучается по хозяйству, закладывают тройку дюжих коней, и N отправляется в лес, где мы уже имели случай с ним встретиться... После того как мы оставили г. N в чаще леса, работы его продолжались в таком порядке: на часах было еще час, и, следовательно, время нужно *протянуть* до обеда, и поэтому N, от времени до времени расспрашивая лесника, где граница и проч., набирал спелые ягодки земляники. Все это заняло довольно времени, так что в доме помещицы обед вопреки обычаю совершился часом позже. А после обеда N отзывает хозяйку в другую комнату, требует план ее леса, развертывает его во всю ширину, тычет пальцем в какую-то точку, говорит непонятные слова вроде «таксация», «астролябия», «съемка» и проч. Все это заставляет добрую помещицу недоумевающими глазами смотреть на N, по временам несколько трусить, что она до приезда N никаких этих вещей не знала и не озаботилась об них, и все-таки еще более уважать этого N, вызвавшегося избавить ее от бед, может быть весьма многочисленных.

Оставшись один, N развертывает бумажку, на которой беспорядочно разбросаны заметки, сделанные в лесу: «осина», «ель», «березовые насаждения», и начинает приводить все это в порядок. Это работа нетрудная. Стоит только эту бессмыслицу набранных названий дерев пересыпать бессмыслицей другого рода — частицами «но», «хотя», и выйдет штука, очень похожая на дело: «Хотя и развивается преимущественно береза, но также заметна и осина». Далее, чтобы поразнообразить и эту фразу, N иногда пишет просто: «Хотя осина, но и береза», и т. д. без конца.

— Вот-с! — вручая описание барыне, говорит он.

— Тут все?

— Все-с; теперь будьте покойны...

N замолкает; барыня понимает, что требуется возблагодарить за услугу.

— Вы уж от нас завтра уедете, — просит она г. N через четверть часа.

— Завтра, завтра, — вторит барышня.

— Если это вам не будет стеснительно, — покорно пожимая плечами, говорит N, — то я, конечно, с величайшим удовольствием.

— Пожалуйста, — говорит барышня.

N остается. А вечером в темном, еще не освещенном зале он сидит с барышней у отворенного в сад окна.

— Скажите, — говорит та, — можно ли два раза любить?

— Хе-хе-хе, можно-с, — произносит N самым подлейшим тоном, но вслед за тем серьезно прибавляет: — То есть, смотря по тому, какая любовь. Ежели любовь истинная... Вы про истинную изволите говорить?

— Про истинную.

— Ну, тогда дело совершенно другого рода...

— Нельзя?

— Более одного разу нельзя-с...

— Я и сама так думаю...

В зале снова показывается хозяйка, хлопотавшая насчет ужина. Некоторое время царствует молчание. Понимая, что нужно снова занять гостя, хозяйка говорит:

— А что, скажите вы мне, сделайте одолжение, есть ли такие места, откуда никаких дорог уж нету?..

— Должно быть, есть-с...

— Где же, например?..

— На самом конце-с... Откуда уж некуда больше...

Все добродушно хохочут.

— Ах ты, господи!.. — помирая со смеху, произносит мать. — Что значит неученый-то человек, не догадаешься... — И т. д.

На другой день г. N в дороге. Добрые кони подхватывают покойный экипаж, из которого виднеется длинный футляр с планом, а г. N в это время чувствует, что за десятину ему пришлось «недурно».

А для барышни настает снова скука. Снова невыразимо долго ползут жаркие полдни и настают одинокие вечера...

— Можно ли два раза любить? — спрашивает она себя, стоя у окна и смотря на собирающийся в небе дождик. — Нельзя... Почему?.. Почему... висок есть самое чувствительное... Тьфу ты, господи, какая тоска!

III

Для большего знакомства с жизнью села Кошки нам необходимо, хоть слегка, остановиться на другом пункте деревенской, исключительно мужичьей, жизни. Это — *сборня*. Оставшись после упразднения здесь волости, сборня не могла похвастаться слишком рьяною деятельностью в своих стенах, так как здесь не было даже писаря, а существовали одни караульщики и десятские. Половина дома почти пустовала, и для приезжего чиновника оставалась только одна комната со столом, сплошь закапанным сургучом, и множеством наставлений в больших черных рамах с синими стеклами, угрюмо смотревших с выбеленных стен. Мел на стенах сохранился только у верха, так как снизу стен мужичьи спины усердно вытирали его своими армяками, отчего бревна лоснились, как полированные. На дворе сборни, по очереди, стояли обывательские тройки на случай проезда чиновников по делам службы. Впрочем, местные власти не поскупились бы дать лошадей, ежели бы кому-нибудь из чиновников вздумалось проехать в монастырь на богомолье или писарю предстояла надобность купить в городе, верст за сорок, четвертку курительного табаку. Сборня собственно и существует для таких проездов. И если бы кто вздумал придти сюда с целью разобрать какое-нибудь дело, пожаловаться, требовать законного удовлетворения, — он не нашел бы ничего и никого, кроме старика — слепого сторожа, от которого бы он ничего и не добился. Все обиды, жалобы, просьбы берегутся и терпятся до приезда чиновника.

Однажды в село донесся с поля сильный звон колокольчика. Казалось, что вот-вот еще немного, и колокольчик забьет в самом селе, но звуки его вдруг почти

замирали; слышались с новою силою опять и опять замирали, — очевидно, что экипаж с колокольчиком ехал по извилистому проселку, который мог спускаться в овраги, перебегать перелески и прочее. Наконец-таки колокольчик загоготал на селе, и скоро около сборни остановился тарантас. Приехал чиновник особых поручений, и вместе с ним на двух-трех подводах пожаловали: головы, старосты и проч. из волости. Сборня оживилась; старик-десятник был отряжен к попу с просьбой самовара и чашек; другая пустовавшая половина сборни была отворена, и в ней затоплена печка; на крыльце сборни явилось сразу человек десять с жалобами.

— Погодите, любезные, потерпите... Теперича им некогда, пойдут в училище. Разбор после пойдет.

Бабы с бумагами в руках, завернутыми в платки, стояли молча, потом слезли с крыльца и, отойдя от него к воротам, стали снова. Бабы были задумчивы, ни слова не говорили друг другу.

Скоро явился и закипел самовар; писарь нес посреди улицы на длинном чапельнике сковороду, на которой еще клокотала только что снятая с огня яичница. Закусив, чиновник вспомнил, что у него находятся похвальные листы, которые ему поручено раздать отличным ученикам, и поэтому отправился в училище. Надо сказать, что кошкинское училище не распространяло особенного просвещения. Иногда в нем можно было застать только двух-трех мальчиков из шестидесяти, как значилось в отчетах, и те не знали, что делать, потому что дьячка-учителя не было.

— Зачем вы тут сидите? — спрашивали их.

— А неравно придет дьячок и распустит.

В настоящее время училище было заперто. Минут через пять был принесен ключ какого-то странного вида; это была длинная железная палка с железными же хвостами на конце; палку эту приходилось продевать в дыру, выверченную в притолоке, потом вертеть ею в разные стороны, пока железные хвосты не зацепляли веревки, протянутой с потолка и начинавшейся у щеколды. Тогда только можно было отворить щеколду и впустить публику. Операция эта была довольно затруднительна, потому что, несмотря на присутствие чиновника, имеющее способность возбуждать все силы и искусство десятских,

сотских и других властей, — вход в училище оставался камнем преткновения. Человек пять, поочередно запускавшие и грохотавшие ключом в щелке, отходили с каплями пота на лбу, говоря:

— Ах, чорт те возьми, засел как! Ничего не сделаешь!..

Наконец попробовал удачи писарь:

— Отойдите все; я ее сейчас обработаю.

Писарь засучил рукава, поплевал на руки и запустил палку внутрь.

— Иной раз так-то, — говорил мужик за спиной чиновника, — гремять-гремять, вертять-вертять — ничего... ребятенки ждуть-ждуть, ды и ко дворам.

— Ах, чорт тебя побери! — заключил и писарь, шваркнув ключ обземь.

Староста между тем, без шапки, бегом побежал к дьячку известить его, что ревизор приехал. Дьячок в это время спал мертвым сном, отпуская носом тучи храпу и треску.

— Побудите его, христа ради, — говорил голова дьячихе.

— Побудить-то я побужу-с, ды право только не знаю, встанет ли.

— Меркулыч! Меркулыч! Левизор спрашиваит! Прислали в сборню! — каким-то отчаянным голосом, необыкновенно быстро просыпала эти слова дьячиха за перегородкой, должно быть толкая при этом мужа, потому что трель храпения несколько заколебалась, словно заходила и зашаталась вся туча нависшего над дьячком храпа.

— Не встает!

— Как же это можно? Нет, вы уж его как угодно.

— Ды что же я сделаю, когда человек спит навзничь? Что же с ним можно сделать? Я сама завсегда больше на спине... Ну, только это совсем другое.

Дьячиха опять ушла.

— Ах, кол те в горло, спит! — говорил староста.

— Да вставай же ты, господи! Этакое безумие! Бога-то бы ты побоялся... Что это такое — ливазоры едут, начальство перепугамшись.

А дьячок выше и выше забирал носом.

— Ну, собака, спит! — сказал староста.

— Ничего не могу сделать. Разве к ночи, может, опомнится на минутку.

— Ну, прощайте... — заключил староста и снова пустился бежать в сборню, куда уже возвратился чиновник, не добившийся входа в училище.

В это время у крыльца сборни стояла уже куча мужиков; на плетне, между двух растопыренных, выдвинувшихся вверх кольев, утверждено было ведро с водой; за углом плетня пряталась баба, выглядывая одним глазком на сходку; она, повидимому, старалась как можно менее занять места, потому как-то ежилась и закрывала одну босую ногу другой, словно ей хотелось, чтоб у нее была одна нога. Чиновник сел на крыльцо с трубкой в руках и, приготовляясь к беседе, соображал, что недурно бы мужикам сказать в приветствие «милые дети».

— Ну, дети, — начал он.

— Ваше благородие! — гаркнул вдруг пьяный голос.

— Что скажешь?

Мужик молчал и, покачиваясь из стороны в сторону, глотал рвавшуюся наружу икоту.

— Ну, говори же, что ль?

— Ничего я не смею сказать...

— Как хочешь.

— Даже ни-ни-ннн...

— Ну, так ступай, когда-нибудь скажешь.

— Не смею говорить ннни-и...

Мужика вталкивают в толпу. Чиновник снова приготовляется говорить и предварительно затягивается несколько раз.

— Ваш благородие! — всем горлом возглашает мужик опять.

— Это что еще?

— Мне стыдно.

— Уберите сейчас его, скота.

— Братцы, уберите меня, — заканчивает мужик, изнеможенно обвисая на чьих-то могучих руках, подхвативших его подмышки.

Наконец чиновник имеет возможность приступить к делу.

— Я привез вам весточку: вам дают лес, в вашу пользу.

Слышался радостный гул.

— Чтобы вы не воровали... Поняли? Только вот что, друзья мои, — продолжал чиновник таким серьезным тоном, что мужикам почудилось, будто у них эту благодать отымут сейчас же. — Дело вот в чем; лес хорош, чудесный, только не лучше ли бы вам подумать. Тут около лесу есть болото, у вас же лугов нету. Так я про то говорю, что, положим, вы лес возьмете, хорошо; а ну как вдруг, лет через сто, болото высохнет? Сейчас казна его к себе берет.

Мужики думали.

— А ежели в казенном ваша скотина потраву сделает, что тогда? Как теленок, поросенок зашли — штраф! То-то и есть! А лесок, нешто я говорю? лесок чудесный, да ну-ко болото высохнет?

Мужики долго думали, шептались.

— Лучше болото взять, — сказал кто-то негромко.

— Болото, — возговорили все.

— Ну, вот и чудесно!..

Чиновник снова курит. Староста и прочий синклит предпочитает навытяжку стоять за его спиной.

— Что это у вас, братцы, скотина плоха? Ехал я — лошади как мыши.

— С чаво ей расти-то.

— С голоду сыт не будешь, ребры-то подведет, — слышалось из толпы.

— Луга на оброке-с! — говорит писарь. — За двадцать пять рублей в год.

— Так вот бы вы и сложились.

— Целую зиму резку даем, — гудел кто-то, обрадовавшийся, что, наконец, вспомнили про его давнишнее горе.

— Да у нас и так деньги были...

— Откуда?..

— С кабака. Под кабак старую сборню отдавали — пятьдесят целковых сбили.

— Где ж эти деньги?..

— Деньги у Егор Иванова...

Писарь вдруг откашлянулся, выступил вперед, слегка тронул шею и живот и произнес:

— Деньги точно что пятьдесят цалковых я на свои руки брал, и как теперича в то время пошли у нас неуро-

жаи, саранча, то я деньги эти для мужичков в церковь божию положил, чтобы две фаруѓьи (хоругви) справить, в случае, когда молебен, чтобы, значит, от чистого сердца...

Чиновник курил молча...

— Я, вашескородие, для ихнего добра очень стараюсь... Теперичe в Щепыхах пруд изволили видеть? все я-с... Издавна была тут лужа, на этом, стало быть, месте. Ну, я собрал народ, говорю: для вашей же пользы, говорю, так и так... и ежели, говорю, не пойдет кто копать — по уши в землю вгоню... Пошли-с.

— Ну, и выкопали?

— Через неделю, даже трое утонуло...

Писарь снова поправил шею и тронул живот, гордо посматривая на народ.

Чиновник долго сидел молча, докуривая трубку и выпуская большие клубы дыма. Наконец он начал выколачивать трубку в пол крыльца, подул в нее и произнес:

— Ну, братцы, ступайте с богом... Скоро поеду назад, тогда толканитесь.

Мужики молча расходились, надевая шапки не иначе, как за углом.

Желая отдохнуть после трудов, чиновник приказал запереть ставни и притащить сена; встал он поздно; в полуотворенную дверь смотрел розовый кусок неба; доносился топот лошадиного табуна, сзади которого промчался верхом мальчишка без шапки, болтая ногами и локтями; у крыльца пищали чьи-то утки, мычала корова.

— Але, але, — шумела баба с хворостиной на двух басистых свиней.

Писарь доложил, что когда их высокородие почивали, приходили какие-то солдаты с орденами и жаловались на дьячка, что он не учит их детей, а когда, месяц назад, приезжал штатный смотритель, то дьячок начал хватать ребят, попадавшихся на улице, за вихры и приговаривал: «Так-то вы свое начальство благодарите? Я об вас стараюсь, а вы что?»

Чиновник решил, что нужно пойти к дьячку и внушить.

Напившись чаю, он отправился. Дьячок обитал в новой, только что выстроенной после пожара избенке с одним окном; из соломы, покрывавшей крышу, далеко вид-

нелись непокрытые жерди; несколько таких же жердей приставлены были к избе сбоку; дверь, выходившая на улицу, вела прямо в жилье. Это была необыкновенно маленькая комната, перегороженная от угла печи дощатой стеной, за которой почивал дьячок. Он только что проснулся и сидел на своем ложе, с ополоумевшими глазами. Даже появление чиновника не произвело на него никакого действия и не изменило выражения лица; он только несколько начал трясти головой.

Чиновник что-то начал было говорить насчет школы, но дьячок так часто заговорил: «не взыщите нас... в нужде живем», что чиновник остановился.

У потолка жужжали мухи, по стенам полчищами гуляли тараканы и шлепались звучно об лавку или пол. На полатях, на печи виднелись головы; все присмирели при появлении чиновника; два мальчугана, толкавшиеся у дверей, дали друг другу кулаками в живот и заорали на всю комнату...

— Не взыщите нас, — твердил дьячок.

— Не разгулялся еще, — оправдывала мужа дьячиха, выпихивая ребят наружу...

Дьячиха вдруг села на лавку около чиновника, сделала слезливую физиономию и начала:

— Две дочери-невесты... женихов нет... Думали, гадали — что придумаешь-то... хотели за мещанина... — Дьячиха начала сморкать рукою нос, что предвещало близкие слезы.

Чиновник поспешил уйти.

На другой день он уезжал. Перед отъездом ему вздумалось взглянуть казенную лечебницу.

— Что ж, много больных? — спросил он старосту.

— Никак нет-с... Никого больных не слыхать.

— Так никто здесь никогда и не лежит?

— Писарь выпимши точно лежит коли... Да вот, ваше высокородие, не можете ли вы этому мальчонке бумагу какую дать? — заговорил вдруг староста. — Эй, Мить, иди сюда.

От плетня отделился маленький, лет двенадцати мальчишка с крайне старческим лицом, говорившим, что он много видел горя на своем веку. Он был без шапки, и ветер слегка приподнимал махры волос на висках.

— Родители его ушодчи, — говорил староста.

— Как?

— Да бог е знает, куда ушли... Изволите видеть, батьку-то его перво отдали в солдаты — он и жил с матерью. Потом, кольки там ни жил, пришел отец из войны и жену взял, а этому говорят: «Ты маленько погоди, мы сейчас»... Как пошли — вот пятый год...

Чиновник смотрел на мальчишку.

— Который ему год?

— Никак двадцатый, вашескородие, — отвечал староста.

— Чем он занимается?

— Да так: то то, то се: там попасет, там что...

— Хорошо, я подумаю...

Чиновник достал из тарантаса булку и дал ее мальчишке. Мальчуган тотчас же сел к плетню, натянул подол рубахи на свои колени и с великой осторожностью принялся за трапезу, так что ни одна самая ничтожная соринка хлеба не оставалась попусту в его подоле, над которым он держал булку. Это были счастливейшие минуты в его жизни.

И долго уже после отъезда чиновника опустевшая улица и безмолвная сборня невольно наводили мальчугана на мысль о барской булке.

«И что ж это, милые мои, за еда! — сладко думал он. — Уж еда! Ежели этак-то бы побольше поесть, — бесприменно с радости поколеть можно!..»

ПОБИРУШКИ

(Очерк)

I

Только неудачи, несчастия и горе постоянны на земле, и, зная это, не нужно особенно пристальной наблюдательности, чтобы убедиться в существовании довольно большого класса людей, который, не зная, на какой труд девать свои руки, или же не умея приложить их ни к какому труду, живет изо дня в день чужой подачкою, копейкою, выработанною чужим трудом. Столичный двор, в длинной картине своих будней, столичные улицы, церкви— все это дает множество типов разных побирушек.

Только что вы успели открыть глаза в свежее летнее утро, как середи двора громко грянула музыка; весь дом всполошился; вы слышите, как по коридору мимо вашей комнаты пробежало несколько человек, поднялась повсюду суматоха; взгляните в окошко, и вы увидите, что далеко прежде вас высунулся в окна весь дом, — на дворе толпы народа: мастеровые, кухарки, бросившие свое дело, разносчики с лотками на головах и с застывшим криком на разинутом рту. А звуки, стиснутые высокими стенами каменного четыреугольника-двора, гордо рвутся вверх, разливаются по окрестности и сзывают новых зрителей, которые на ваших глазах один за другим шмыгают в подворотню.

Оркестр между тем кончил какую-то пьесу; трубачи, перевернув вниз трубы, выдувают из них накопившуюся от дыхания воду, — и некоторые из музыкантов посматривают на публику, разместившуюся по окнам: очевидно, нужна подачка; об ней не говорится, потому что все эти бедняки, к большому их несчастию, люди с само-

любием, развитым данным на несчастие талантом. И это, по-моему, самые жалкие и в особенности достойные помощи бедняки.

Однако оркестр кончил; скрипачи и кларнетисты засовывают свои инструменты под полы своих сюртуков и пальто, маленькие музыканты-нищие нагружают, кроме того, на свои спины кипы нот; они несут подмышкой пюльпитры, и вслед за всей капеллой музыкантов ползет под ворота и толпа зрителей. Мастеровые, с ременными ободочками на головах, подхватывают с земли своих ребят, слышны говор, смех; скоро оркестр гремит на другом дворе, и потом жизнь входит в свою обычную колею — стучат ножи, из нижних этажей валит удушливый запах цикорного кофе, поджариваемого в бесчисленном количестве, — настает мир стряпни и дела. Но внутренность двора опустела ненадолго. Если в это время, через несколько минут по уходе оркестра, разносчик не кричит: «кавры половые», то скрипит водовоз, или некоторый человечек в подряснике из простого черного сукна, с ременным поясом и открытой головой, звонким тенором поет на весь двор: «На построение погоревшей» и проч. Он потупил свои бойкие глаза в книгу с несколькими медяками на переплете и, медленно обходя около стен, причем старается ближе подойти под окна, неумолкаемо тянет свою всенижайшую просьбу.

— Милый человек! — возглашает, выступая из дверей нижнего этажа, персона женского пола, по всей вероятности вдова какого-нибудь фельдфебеля. — Зайди, бога ради, на малое время.

Подрясник ниже нагибает голову, что означает поклон, и заходит ко вдовице. Тут сейчас затевается самовар, — и за этой скромной, но весьма продолжительной трапезой, под неоднократно возобновляемое доливание в самовар, тянутся рассказы: какие на земле есть места чудные, и какие разные бывают чудеса, и проч. На эти разговоры стекаются разные вдовы и съемщицы, и под конец многие прослежаются. А странник скоро на другом дворе поет попрежнему: «На построение погоревшей» и проч.

— Милый человек! зайди на малое время! — раздается голос из-под крыши. И снова самовар и снова рассказы. И невидимо зиждется погоревшая обитель.

Настает тишина, и опять-таки ненадолго; побирушки разных видов и наций поминутно сменяют друг друга. Входит кучка людей в каких-то рваных сюртуках, из-под которых выглядывают ноги, обтянутые в трико. Тут же много ребят — тоже в трико; на головах у них надеты венки, состоящие из бумажного обруча, перевитого разноцветными коленкоровыми лентами. Это акробаты; они скоро раздеваются, расстилают на голых и мокрых камнях рваный ковер и начинают свой спектакль. Под музыку шарманки и бубна кувыркаются эти нищие, ломают ребят, — и вас невольно остановит и заставит задуматься судьба этого маленького существа — мальчик ли оно или девочка, неизвестно, — которого на ваших глазах какой-то геркулес, должно быть глава всей шайки и, стало быть, нищий из нищих, хватает одной рукой за пояс на спине, подымает вверх над всей толпой и заставляет дрыгать маленькими ногами и ручонками под звуки канкана. Тут рождаются уже ученые побирушки; от отца в наследство переходит вся наука попрошайничества.

Наконец на ваш карман рассчитывают полчища шарманщиков, целый день гудящих под вашими окнами разные арии и русские песни с припевом безрукого, но голосистого солдата. Если вам приходится выйти на улицу, то во всяком случае вам не придется долго остаться без того, чтобы кто-нибудь не заявил своего желания попользоваться вашим карманом. Если вам приходилось долго ходить по одной и той же улице, то вы непременно заметите, что на одном и том же месте весь день стоит какой-нибудь солдат, слепой, весь обвязанный тряпками; рядом с ним старуха, тоже в лохмотьях; один играет «Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке» или что-нибудь другое, — старуха поет. Эта картина производит неприятное впечатление. Когда бы вы ни шли мимо этой четы, все она в одном и том же положении: старуха что-то хрипит, старик вертит ручку сиплой шарманки и другой рукой беспрестанно водит по крыше своего инструмента, надеясь нащупать монету.

Кроме того, во всякое время дня и ночи не раз придется встретить вам некоторых персон, именующихся отставными капитанами, офицерами, воевавшими при Севастополе и проливавшими именно за вас, за ваше спокойствие свою благородную кровь.

Вздергивая своими массивными плечами и держа картуз сбоку головы, трогательнейшим голосом произносит воин свою просьбу:

— Помогите бедному, беззащитному офицеру! Подавал прошение на службу — нет местов... Жена, дети... Позвольте у вас покорнейше просить три рубли серебром.

— Не могу-с.

— Ради всего священного...

— Помилуйте, — да у меня самого теперь нету таких денег.

— Ну, сколько можете.

— Двугривенный — возьмите.

— Ах! Миллсс...дарь! Вы не понимаете всей тяжести... н-но! позвольте. Блаадаррю вас! Хотя грешно такой ничтожностью обижать человека... можно сказать...

— Делать нечего.

Вы идете.

— Бог, милл...ссдарь, со временем припомнит вам! — кричит особа издали. — Желаю вам испытать те чувства, которые в настоящую минуту...

Вы продолжаете идти.

— Двугривенный!.. Свинья!.. — заключает особа, понимая, что вы уж не расслышите этих слов.

В другой раз вы идете пустынной улицей. Ночь. Дорога ваша лежит как раз против какой-то части. Ни души. Стук ваших собственных шагов только и слышен кругом.

— Почтенный гасспадин! — раздается над вашим ухом.

Вы оборачиваетесь: какое-то существо мужеского пола в картузе с разодранным козырьком и в довольно прохладном костюме.

— Что вам угодно?

— Позвольте узнать, сделайте милость, где здесь первая часть?

— Вот она!

— Ах-с! Не имея пристанища, как благородный человек, хочу попросить правительство укрыть меня от ночи.

Персона эта заявляет вам причину ночевать в полиции именно потому, чтобы вы выкинули из своей головы всякую мысль о его темном существовании, о беспаспорт-

ности и проч. Если он сам идет в полицию и если он действительно беспаспортный, бродяга, — то уж там ему быть — не миновать. Стало быть, он вовсе не какой-нибудь, если не боится этого. Затем неизвестный рассказывает вам, что он пять часов тому назад только в Петербург приехал сюда с барином; барин ушел из гостиницы, унес с собой ключ, и он принужден скитаться кое-где.

— Ну, пойдемте, я вас проведу в часть.

— Благодарю вас, милостивый государь... пойдемте-с. Но не можете ли чем-нибудь помочь?

— Не могу ничем.

Мы идем; около самых дверей части неизвестный останавливается.

— Мил...сдарь! Я теперича опасаюсь...

— Как?

— Ну-ко барин придут — меня нету? Лучше я домой.

— Как хотите.

— Так точно, я лучше домой-с. Хоть пяти копеек нет ли у вас?

Вы даете.

Особа мгновенно юркнула в тьму, и скоро издали вы слышите такое приветствие:

— Шаромыжник! Подавись ты своим пятаком! — отчетливо произносит знакомый голос, из заискивающего превратившийся в подлый и дерзкий.

Класс *салопниц*, без сомнения принадлежащий к числу побирушек, сумел так себя поставить в чиновном быту, что, вполне проживая на счет этого бедного и постоянно нуждающегося народа, ни разу не отопрет рта для того, чтобы попросить о чем-нибудь: все дается им добродушными хозяйками без просьбы, ибо эти хозяйки крайне обязаны салопницам за убитую скуку целого будничного утра, за кучу новостей, за совет, как узнавать, когда у ребят зубы начнут прорезываться, за предсказание — кто будет новорожденный: мальчик или девочка. Последние предсказания всегда сообразны с желаниями родителей.

— Страсть как я мальчиков люблю! — говорит чиновница.

— Постой-кось, ангельская душа, — говорит ей салопница. — Я сейчас погадаю, — ты только повернись лицом к солнцу, нà полдень!

Чиновница повернулась.

— Видишь ты, как оно обозначает. Дай-кось в эфтом месте пощупаю.

— Щекотно, Власьевна.

— Ну, я ведь чуток. Шевелился?

— Третёводни так-то забился!

— Гм. Ну, а Семен-то Петрович с которого боку ложится?

— С левого. Он у меня всегда под левым боком, как чурка какая, валяется.

Салопница смотрит внимательно на лицо будущей матери, не раз щупает в разных местах, причем чиновница взвизгивает от щекотки и говорит: «Как тебе не стыдно!»

— Ничего, дело женское, знаю, — все прошла.

— Ну, — кто?

— Мальчик!

— Фекла! Станови самовар! Беги в лавку: сливок... кофею... Власьевна, вот тебе платок ковровый! — бушует обрадованная чиновница.

Таким образом класс салопниц получает полное право гражданства в этом обществе мелких чиновных людей; это чиновные ведомости, газеты, и если бы существовали такого рода ежедневные известия для столичной мелкоты, то для того, чтобы они имели громадный расход, нужно, чтоб все содержание их состояло из рассказов салопниц; дальше этих россказней и сплетен интересы столичной и нестоличной мелкоты не идут.

Все эти шарманщики, акробаты, оркестры, бедные, но благородные люди — все это будничные типы столичной нищеты. Они постоянны, иногда только бывают некоторые вариации, но при внимательном размышлении непременно придется заключить, что это одно и то же.

Но иногда, среди столицы, в темной улице, в дождь, останавливает вас плаксивая, совершенно не похожая на столичную, просьба русского деревенского нищего:

— Батюшка! Милай ты мой! Подай, батюшка, нищенкам...

Вы оборачиваетесь и видите перед собой толпу простых деревенских побирушек: мужик, охающий, как баба, и баба, в великую, внезапно нагрянувшую беду получившая вдруг твердость, — все это в рубищах, в рвани протягивает к вам свои руки. Мальчишки и девчонки с непо-

крытыми головами, разиня рты и спрятав руки в глубину своих рукавов, — что-то гудят жалобное, под стать горькой просьбе своих отцов...

— Подайте, кормилецы! — твердят они.

— Кто вы такие?

— Мы дальние, батюшко... дальние...

— Как вы сюда попали?

— Ды так, батюшко, и попали... что дома-то делать? все одно — есть нечего. Ну вот и пошли по миру... деревня за деревней, город за городом — так и доволоклись.

— А отчего ж вы по миру-то пошли?

— Ах, милый человек, — великое тут горе случилось... Баба начинает хныкать и рассказывает свою историю великого горя, которую я теперь и хочу передать здесь.

II

Маленькая деревенька Лемеши, в одной из южных русских губерний, только что начинала освобождаться от снегу, из-под коры которого выступила темная и распаренная весенними лучами земля. Наконец против этих весенних лучей не устояли последние тоненькие слои льда и снежные залежи в оврагах, и весна зацарствовала над лесами и полями. Но для Лемешей это пришествие было нерадостно: только что лемешовский мужик Иван вышел впервые в поле с разными хозяйскими думами, как на черной и начинавшей просыхать земле он заметил крупу не крупу, а так какие-то семечки. Сердце Ивана забилось... Он помнил, что в прошлом году неслась чрез Лемеши саранча, помнил, как она в то время закрыла весь небосклон, как опустилась на лемешовскую рожь и понеслась дальше. «Не положила ли она яиц своих?» — содрогаясь, думал Иван и опрометью бросился в деревню разузнать, что это за крупа такая в самом деле. В каждой деревне есть такого рода старички, которые более или менее, сообразно своим летам, помнят историю села или деревушки. Между лемешовскими стариками были такие, которые помнили, как к ним налетела саранча, как ела и крушила она всякий посев и сколько в то время пошло по миру людей. Вот этих-то стариков и поволок

мир в поле. Долго разглядывали они загадочную крупу, наконец все решили:

— Сарана![1]

Все замолкли; неотводный божий бич висел над головами всех.

— Как быть?

— Надо теперь, братики, собирать ее... да покуль она не народилась...

Общая опасность и громадность этой беды были так велики, что мир тотчас же принялся за дело, и всю саранчу, которую увидел Иван, в одно мгновение собрали в мешки и представили в волость; собрано яиц всего четыре четверика; писарю ничего не стоило в докладе начальству написать, что, при усиленных трудах его, — опасность миновалась, ибо собрано яиц саранчи до сорока четвертей; начальству ничего не стоило в свою очередь написать в донесении своему начальству, что, при усиленных мерах его, — опасность прошла, ибо собрано яиц до четырехсот четвертей. Везде мир и гладь: меры предпринимались быстрые; зло истреблено в корню — и всякое начальство довольно по горло. Мало того, оно хочет, чтоб были довольны и *там;* и действительно, скоро и *там* узнают о неимоверных усилиях всех властей к истреблению саранчи, — усилиях, приведших к самым благоприятным результатам, ибо собрано до четырех тысяч < четвертей > брошенных этим подлым существом яиц.

А между тем пашни лемешовские вспахались, прошел май и июнь, и на них уже стояла полчищем колосистая рожь. Жара была нестерпимая, целые дни собирался дождь, по небу ходили какие-то дымно-синие тучи, вдали видны были полосы дождя, и в жаркие полдни издалека доносились раскаты грома, а по вечерам со всех концов неба вспыхивали зарницы, но дождя не было, и зной палил.

В один из таких дней лемешовский мужик, возвращавшийся из города проселком, пролегавшим чрез рожь, изумленно вытараща глаза, увидал, что весь длинный и узкий проселок словно шевелился и, как покрытый водою, блестел на солнце; но стоило только вблизи шевеля-

---

[1] Так называют на юге саранчу.

щейся массы застучать телеге и лошадиному копыту, как дорога и песок обнажались снова. «Сарана!» — испуганно заключил мужик и поспешно слез с своей телеги...

Он быстро подошел к окраине ржи, присел, и перед его глазами открылась страшная картина: полчища саранчи, сотнями лепившейся около каждого колоса, шли на лемешовскую рожь и из лемешовской переползали через дорогу в соседнюю. Растерявшийся мужик не знал, что думать; позабыв про лошадь, он пошел вдоль проселка, и везде была саранча. Верста, другая, Лемеши уже в стороне, а саранча все идет, все идет, и вместе с тем, не останавливаясь, шествует вперед ополоумевший мужик. Дело страшное! Тут только пришло в голову, что сбор яиц, найденных Иваном, был вовсе недостаточен и что лень, отчасти укрепленная этим четырехчетвериковым сбором, — укрепляла естественное желание покоя и чаще заставляла говорить и думать: «авось бог помилует» и проч.

Тот же невыразимый страх, который заставил мужика окаменеть при виде саранчи, заставил его и опомниться. Бросился он к своей телеге и лошади, которые оставались далеко от того места, куда незаметно забрел мужик, и скоро Лемеши знали опять про великое горе...

Бабы заголосили; мужики шарахнулись на сходку толковать: «как быть?»

— Православные! — говорил с крыльца голова: — дело это божее — нужно, стало быть, тут осторожно...

— Чтобы не прогневить его, батюшку...

— Это верно!

— Что ж теперь делать, православные? — спрашивал опять голова.

— Как мир... — отвечали в один голос все, то есть сам же мир.

— Ну вот, стало быть, и надо миром толковать...

— Чаво толковать, коли тут головы твоей нехватает! — вдруг произнес сурово кто-то.

— Ты, Мироныч, этого не говори: над нами и так гроза висит, а ты лаешь, — это нельзя.

— Как не лаять, коли совсем пустые разговоры заводить начали. Можешь ты об этом толковать, когда ты в этом никакого рассудку не имеешь?

— Обноковенно я не могу; дело это для нас внови... И надыть сейчас старичков вспросить: как они...

— Стариков, стариков, — заговорил мир...

В ожидании стариков мир молча толпился у крыльца расправы. По временам слышался шопот, и голова, присевший на лавку, иногда поправлял на лбу волоса, сдуваемые ветром.

— Эка напасть! Ах ты, господи!.. Теперь совсем пропащее дело, — слышалось иногда.

Скоро пришли старики; с полчаса стояли они молча, опершись на свои палки, и кряхтели.

— Ну что ж, как, старинушки, по-вашему-то? — в сотый раз допрашивал их голова.

— Да что по-нашему-то? По-нашему-то это дело нужно совсем бросить!

— Как так?

— Да так; потому это божеское наказание, и нам, грешным, ничего тут не сделать.

— Да оно так... только как же это, милые... есть тоже надо. По миру, что ли, пойдем?

— Господь захочет — и по миру пойдешь.

— Это, православные, — вмешался голова: — так точно он говорит, что собственно мы еще господа-то благодарить должны — вспомнил нас... рабов своих.

Доказательства к бездействию были верны, непреложны, и мужики только с крепкими думами расходились по домам, где их ждали бабьи слезы.

А саранча размножалась больше и больше. Через неделю принуждены были отслужить молебен на пашне и обойти все посевы с крестами. Еще через неделю отслужили другой молебен и начали думать, как укрыться, — божий гнев был слишком велик. В этих мерах против несчастия горячее и прежде всех выказали себя некоторые особы из помещиков, испокон веку занимавшиеся агрономией и изучавшие русское хозяйство по немецким книжкам.

Первая мера, которая была принята лемешовским начальством, состояла в следующем: от каждого крестьянского двора потребовалось в волость по девяти аршин холста; холст был представлен немедленно, и тотчас же на каждых трех десятинах устроились из этого холста палатки. Основываясь на том, что саранча имеет слишком

чуткий слух, агрономы рассуждали, что если в этих полотняных палатках вырыть ямы и посадить в тех же палатках по мальчишке с дудочкой, на которой тот посвистывал бы хоть таким образом, как подманивают перепелов, — то саранча пойдет на эту музыку, придет в палатку, попадет в яму, — а здесь музыкант и должен был прихлопнуть ее особенного рода колотушкой.

Палатки устроены, музыканты расселись в целом уезде, на каждой десятине; зудят их дудки, а во ржи шумят кузнечики, и их чириканье заглушает поход полчищ саранчи, которая кишмя-кишит здесь, точит ржаные колосья в корне и не думает идти в западню.

— Ну что, убил? — спрашивали на селе возвратившегося вечером с поля музыканта.

— Убил.

— Много?

— С полдесятка, поди, ухлопал...

— Что ж мало?

— Поди-кось ты боле наволоки в яму-то! Ну-кось ты сам в яму-то... охотою... А... небось, нос-то заворотил бы. Так и она...

— Это точно.

— То-то и есть! А то — мало! Что ты ее за волосы, что ль, в яму-то тащить станешь?

— У нее, поди, волос-то нет?

— Какие у нее волоса, когда она, можно сказать, самая подлость — животное, а то — яма! мало! на дудочке! Я ноне со скуки весь день этак-то ли важно песни играл — страсть!..

Через несколько времени другой вернувшийся музыкант тоже говорил:

— Я уж и казачка принимался играть — ничего, хоть ты тресни, — ни одна не пошла.

— Нет, милые, — говорил третий, — это дело совсем пустяк. Тут хоть сам целый день пляши — ни идола не сделаешь.

— Это верно!

Вскоре и агрономы пришли к тому убеждению, что эта затея в самом деле пустяк; через несколько времени были сняты и палатки. Бабы пришли в расправу за холстом.

— Старушки, — сказал писарь: — а бог в вас есть?

— Как же богу в христианской душе не быть — его дыхание.

— Так! Стало быть — какого же тут холста?

— Обноковенно... нашего... Поди, чай, на небо холстину-то не возьмут...

— Это верно! А я-то про что же говорю?..

— А господь тебя разберет, про что. Ты по-ученому, а нам холстина обноковенно хозяйское добро.

— Опять же это вы верно говорите, — но где же я возьму холстину, которая теперича, может быть, за тридевять земель? Теперь, может, холстинку-ту вашу на войну отвезли: раны да язвы солдатские вязать... а?

Старухи молчали.

— Ведь они, солдатики-то, ваши же детища; неужто вы своих детищев без жалости безо всякой оставите?

Старухи собирались выть; писарь мучил:

— А? А вы — «холстину подай!» Где ж я ее возьму! А солдатикам и без того тошно...

— Соколик ты мо-ой!.. — завыла одна баба; другие подносили к глазам свои фартуки. А писарь мучил:

— Нехорошо... Нехорошо, старушки; бог не полюбит за это. Сейчас умереть, — очень ему будет это неприятно.

И рыдающие старухи разбредались по дворам; вслед им писарь добавлял:

— Очень вредно, божии старушки, поступать так... На том свете — как за это! Прежестоко за это на том свете будет! Не хвалю — истинно не хвалю! Холстина! Ах вы, прорвы!.. — заключил писарь, входя в сени расправы.

Агрономы скоро действительно пришли к тому заключению, что необходимо озаботиться насчет новых мер. Многомудрые соображения их скоро разрешились тем, что необходимо по ночам устраивать костры, располагая их на проселочных дорогах; без всякого сомнения, саранча придет на огонь и потом, тоже без малейшего сомнения, сжарится здесь. Расчет был бы верен, если бы оправдались надежды агрономов относительно рассудительности саранчи: что лучше ей не беспокоить начальство, а прямо самой залечь на костры, — так как она должна же понимать, что сама в этом горе виновата кругом.

На костры потребовался хворост и валежник. Нужно было просить у лесничего разрешения взять этот продукт, — началась бы возня, переписки, дело потянулось бы чорт знает сколько времени, — и поэтому сами мужики решились пожертвовать своими плетнями. Костры запылали, но, к величайшему удивлению, ни один субъект из саранчи не подступал к этой добровольной плахе, — напротив, говор ребят, разместившихся около костров, и треск сучьев отогнали саранчу далеко от огня; во ржи чувствовался усиленный шум, потому что саранча опрометью бросилась в противуположную от огня сторону.

Таким образом, и эта мера не удалась. Агрономы порешили положиться на власть божию, отслужить опять молебен и послать за советом к начальству, так как усиленная помощь была необходима, ибо еще немного — и саранча должна была тронуться с места: в то время она начинала окрыляться и недели через две непременно должна была получить способность летать. В этот момент от корня колосьев она поднималась на самые колосья, и в одни сутки на множестве десятин ржи оставалась только солома: все зерна бывали съедаемы дотла. Между тем бумага получилась начальством. Тотчас же было поручено чиновнику ехать на место, где саранча, и донести об этом деле во всех тонкостях.

В одно из воскресений, рано утром, по дороге к губернскому городу скакала тройка чахлых обывательских лошаденок, на средней из которых подпрыгивал мальчишка в белой свитенке, дырявых лаптях и в белой же, наподобие черепенника, шапке. Лошади неслись во всю прыть, сзади тройки взвивались клубы пыли, и веревки, составлявшие убогую лошадиную сбрую, вились в воздухе. Мальчишка потому так гнал своих кляч, что писарь при отправке как-то особенно напирал на слово «немедленно», да, кроме того, в сумке, которая была надета у мальчишки через плечо, лежал конверт с припечатанным к нему гусиным пером. Это еще более заставляло мальчишку гнать лошадей, и вследствие этой гоньбы сломя голову деревенские обыватели скоро увидали перед собой город.

Чиновник, назначенный для поездки на саранчу, торопился не менее мужика, потому что и у него в бумаге было *«немедленно»*. Он наскоро завернул к обедне, — и то

к самому выходу, — положил два-три земных поклона и вместе с прочими богомольцами направился к выходу.

— Прощайте, Петр Прокофьевич, — говорил чиновник: — еду!

— Куда это?

— На саранчу.

— Надолго?

— Да как вам сказать? Недели на две...

— Гм. На две! А что я хотел вас попросить: возьмите моего Костю?

— Извольте, — отчего же-с.

— Право! Мальчишка он любопытный, это ему будет очень занимательно.

— Извольте. Так вы уж собирайте Костю-то... Я заеду... часа в два...

— Ладно.

К двум часам Костя был совершенно готов; но чиновник не являлся: ему нужно было зайти проститься в два-три дома, ибо и у него тоже были царицы его сердца и проч.

— Прощайте, Марья Васильевна, — говорил чиновник.

— Пишите! — говорила плаксиво барышня.

— О! Я буду писать... каждое мгновение... каждую минуту. Но будете ли вы помнить обо мне?

— Несносный! — сказала барышня: — для чего ты еще мучишь меня!

— О женщины! — хватив ладонью по лбу, заключил чиновник.

Чиновник был растроган. В эту минуту он ясно понимал, что «Ехал казак за Дунай» и «Прощаюсь, ангел мой, с тобою» — вещи вовсе не достойные посмеяния.

Часа в четыре он был дома.

Он поспешно принялся есть и во время еды погонял всех и вся, чтобы торопились укладывать в тарантас разные погребцы и проч. Часам к шести все это было готово. Чиновник был в легком белом пальто, на пуговице которого болтался кисет с табаком... Этим, однако, еще не вполне обеспечивался выезд из города. Нужно было заехать за Костей, который в это время был совершенно готов, постоянно толкался на крыльце, постоянно выбегал на угол, чтобы посмотреть: «не едут ли?» Отец Кости спал,

и когда, наконец, в седьмом часу подъехал тарантас, Костя опрометью бросился будить его.

— Что?

— Приехали!

Пока отец вставал, чиновник ходил по залу, поправляя виски. Наконец хозяин вышел.

— А! Готовы... Я сейчас: надо на дорожку посошок... — произнес он и скрылся опять.

— Федор, — поспешно и шопотом говорил он кучеру в сенях: — беги, — бутылку донского... Проворней!

— Да зачем это вы, право? — во всю глотку орал в зале чиновник, желая, чтобы его услышали.

— Живей, живей!

Принесена была бутылка, через час другая, через полчаса — графин водки.

— Я все делаю; я страдаю. Я мучусь... — говорил один из подгулявших чиновников.

— За что они меня тиранят? Я руку вывихнул на следствии — этого мало?

Чиновники говорили такими жалкими голосами, что у непривычного человека сердце разорвалось бы на части.

— Скоро ли? — твердил Костя.

— Счас, счас! — нетвердо владея языком, говорил чиновник.

— Лошади готовы... устали.

— Счас, милушка... Иди сюда... — Чиновник хватал Костю за шею, тащил к себе и потом целовал мокрыми и слизистыми губами, так что Костя после поцелуя принужден был обтирать рот рукавом.

А у тарантаса в это время происходили такие сцены. Няньки вытащили ребят, сажали их на подушки, причем, держа подмышки, заставляли слегка подскакивать, приговаривая:

— Вот поехали, вот поехали...

Дети захлебывались от радости.

— Меня... меня... — пищала девочка, протягивая с тротуара руки.

— Погоди, и тебя... Ты сколько ехала; Ванечку только посадили, опять тебя?.. Ишь завидущие глаза... — строго сказала нянька.

Девочка поднесла к глазам кулаки и залилась, а за ней заревели и все ребятишки.

Нянька расставила руки, присела и сказала:

— Слава богу!.. Дождались! Вот папенька услышит, он вас... плаксы... высекут как...

— Что такое? Кто? Передеру всех!.. — раздался голос папеньки, высунувшегося в окно.

Ребятишки утихли...

Часов в десять вечера, наконец, уселись все.

— Ты ел? — от нечего делать спросил мальчишку чиновник, весь налившись, как рак, и с трудом всползая со дна тарантаса на подушку.

— Никак нет...

— Трогай!

Уехали. Выехав в поле, чиновник сразу почувствовал потребность спасать отечество: именно в это время с особенною настойчивостию шумела у него фраза: «немедленно», и он с особенною ревностью кричал: «пашел!», но препятствия попадались попрежнему на каждом шагу. Только что они отъехали несколько верст от города и проезжали посредине небольшого подгородного сельца, как на дороге попался здешний священник: тары да бары — начались разговоры.

— А то чашечку чайку выпьем? — сказал священник.

— Разве одну... — согласился чиновник.

Заехали. Выпили и чайку и водочки и, стало быть, разговорились еще душевнее. Прощанье совершалось долго; сначала прощались в зале, потом в передней, потом на крыльце — и везде по крайней мере по часу. Наконец-таки тронулись. А между тем ночь была безлунная, и тьма кругом царствовала кромешная. Тарантас подвигался медленно; истомленные дневным стоянием на жаре, лошади плохо двигались вперед, колеса иногда не попадали в колею, и тарантас ехал боком, — чиновник злился.

Наконец дорога уперлась в какую-то лужу непроходимую, — чиновник вылез и приказал ямщику проехать с пустым тарантасом, чтоб не утонуть неравно. Тарантас зашумел колесами и скрылся во тьме: слышалось только хляскапье, и наконец лошади вернулись — переехали. До сборни, где должно было переменить лошадей, было всего верст пять, и эти пять верст ехали наши путники по крайней мере пять же часов; наконец въехали-таки в село. Тишина была мертвая, спали даже собаки и не лаяли по этому случаю. На улицах, черневших плетнями

и непроходимою раскислою грязью от вчерашнего дождя, царствовала топь. Наконец добрались до сборни. Ямщик слез и принялся ногой дубасить в дверь. Послышался какой-то глухой голос, и на дворе залаяли собаки. Ямщик продолжал колотить; наконец во тьме вытянулась какая-то длинная фигура в белой рубашке.

— Ты десятский?

— Так точно, десятский.

— Проведи к батюшке.

Десятский без шапки забрался на козлы.

В доме батюшки все спали, и удары десятского в ворота не получили никакого ответа, только собаки страшными басами голосили на весь двор.

— Ах, собаки страшные! — сказал десятский.

— Толкуй! — оборвал его чиновник.

Десятский, видя, что без особенных стараний горю не пособишь, стал одной ногой на оглоблю, потом взобрался на дугу, с дуги на ворота, перелез через верх, и с улицы было слышно, как в топкую грязь плюхнули его лапти.

Скоро приезд чиновника всполошил весь двор; священник был очень рад гостям, бегал, суетился, торопил с самоваром и проч. Между разными разговорами шли толки и о саранче.

— Что, не слыхали ли про Лемеши чего? — спрашивал чиновник.

— Как не слыхать!

— Что же?

— Да там какую-то новую штуку изобрели.

— Какую же?

— А что-то такое вроде колотушки. Барин наш нарочно ездил — в случае, чего боже сохрани, вдруг у нас то же несчастие, так чтобы как-нибудь запастись преждевременно мерами-то...

— Да, да... Ну, так какая же колотушка-то?

— А видите ли: это палка такая, а на конце ее доска, так что палка-то втыкается в средину доски, и с этим орудием мужик должен ходить за саранчой: как увидит ее где кучу — так и должен прихлопнуть на месте.

Но сообщив это, священник, вместе с тем, сообщил некоторые мнения старожилов по этому поводу: во-первых, говорил он, колотушка эта неудобна потому, что она не раздавит, а только вдавит насекомое в землю, после

чего оно всегда может выбраться оттуда и путешествовать дальше, а во-вторых, потому неудобен выше изображенный снаряд, что саранча боится всякого шороха и ваши шаги слышит бог знает за сколько расстояния, — следовательно, вам никогда не придется догнать ее, потому что о своем приближении вы напомните шуршаньем ног в колосьях и проч.

Разговоры эти тянулись долго за полночь, и поэтому на другой день чиновник проснулся очень поздно. Начались закуски, проводы, и в путь можно было двинуться только в два часа. Через два дня после таких путешествий, поминутно прерывавшихся разными посещениями помещиков и проч., путники наши кое-как добрались до Лемешей. День был жаркий, и в деревне не было ни одной души. Словно вымер или ушел куда-нибудь весь народ; даже на улицах не было заметно ничьих следов; ветер, слегка подувавший по временам, замел песком колеи от проехавших колес и следы прохожих.

Чиновник пробрался в сборню; заглянул в одну половину — пусто, заглянул в другую — на лавке сидела старуха, положив на колени руку, завернутую во множество разных тряпок.

— Где десятский?

— Нету, милай, десятского.

— Как нету?

— На сарану все пошли... сарану бить...

— Все-таки кто-нибудь из мужиков есть?

— Никого нету... Сыну маму́ очередь ноне... Ну, только все они пошли на сарану, я за сына села караулить.

— Кого ж ты караулишь?

— Бог е знает...

Чиновник приказал ехать в поле. Несколько времени на дороге не попадалось ни одного живого существа; наконец вдали, изо ржи показалась одна голова, потом скоро выглянул целый ряд мужчин и женщин. Все они стояли длинной шеренгой, все были вооружены метлами, которыми слегка шумели по ржи, осторожно подвигаясь вперед и по уходе оставляя несколько пригнутые к земле колосья.

При виде чиновника всякий говор замолк. Один из мужиков, командовавших делом, первый снял шапку, — это был писарь.

— Что, братцы, как? — спросил чиновник.

— Теперь, слава богу, благополучно.

— Как?

— Гоним... Бежит очень шибко, потому шуму боится... Вот теперь изволите пройти вперед — долго не увидите ее... Очень далеко ушла...

— Куда же вы гоните ее?

— А в Махровский уезд; тут в двух верстах граница, — к вечеру, поди, выгоним всю...

— И тоже в рожь?

— Тоже; что делать-то?..

— Так ведь она и там есть рожь начнет.

— Что же-с... Пущай...

Чиновник был озадачен: спасать себя верной гибелью других — было не слишком добросовестным делом, тем более, что уезд Махровский был одной и той же губернии; дело неладное.

— Как же там-то?

— А там как знают... Мы донесем, что ушла... Бывают такие случаи — уходит.

Чиновник думал-думал и со вздохом пришел к тому заключению, что донести со слов писаря можно и что в этом случае от начальства за быстроту действий перепадет что-нибудь вроде признательности...

— Ну, как знаете... — проговорил он и тронулся назад в село.

К вечеру лемешовцы начали подвигаться к границе Махровского уезда. От ходьбы и усталости некоторые останавливались и пили воду из круглых кувшинов с узеньким отверстием, другие затягивали песни, говор слышался веселее и шумнее, и когда вся саранча действительно перебежала за границу, — песни загуляли на селе целую ночь; народ был счастлив, к начальству неслось донесение с известиями о разных усиленных мерах и проч. Отслужен был еще один молебен, и настал покой.

Но покой этот продолжался недолго: в одно утро лемешовцы увидали опять саранчу, увеличившуюся в страшных размерах; черным покровом покрывала она всю рожь, всю дорогу и даже соломенные крыши домов. Ее было такое множество, что когда пробовали пугать ее шумом, убегавшая шеренга принуждена была шествовать по головам своих братий, — такая была теснота. Про-

изошло это самым простым образом. Жители Акуловой, небольшой деревеньки Махровского уезда, наделенные саранчой из соседней губернии, приняли те же меры, что и лемешовцы, то есть точно так же озаботились только перегонкою в другое место, и в то время, когда лемешовцы заливались горючими слезами, махровские власти слали в палату бумагу об усиленных мерах и служили молебен.

Через несколько времени не было видно ни одного колоса: саранча съела все, положила яйца и черной непроглядной тучей поднялась с своей опустошенной квартиры. Густота поднявшейся тучи была так велика, что солнечные лучи не проникали через нее. На народ напал ужас и панический страх — ждали последнего дня.

После лютой и голодной зимы настало голодное лето. Саранча отроилась во множестве и размножалась на целые уезды. Из палаты отнеслись в гимназию за советами у ученого мира насчет избавления от беды. Учитель естественной истории написал записку и решил, что крестьяне должны принимать меры к разведению каких-то еще других насекомых, которые должны были есть не рожь, а саранчу. Успех был бы несомненным не ранее как по истечении трехсот лет. Но помощь нужна была теперь, в эту минуту. Ее не было, и понятно, что настал голод, — весь запас хлебных магазинов был истощен в прошлую зиму.

И пошли по миру толпы побирушек. Город за городом, деревня за деревней, дальше да больше, как говорят мужички, — и добрались до Питера...

В другой раз я расскажу судьбу этих деревенских побирушек в столице — историю, основанную на положительных фактах, а в настоящее время только прибавлю, что простой крестьянский ум в последнее время изобрел оборону против саранчи, выкапывая на границах своей и чужой ржи — канавы, шумом и шорохом сгонял туда врага своего и засыпал землею, придавливая ее потом ногами.



ИЗ ЦИКЛА «СТОРОНА НАША УБОГАЯ»

(Очерки)

I

КОРРЕСПОНДЕНТ

(Вместо предисловия)

Скромный обыватель Овчинной улицы, чиновник Чернилов, начинал разочаровываться в жизни, которую встречал грудами собственноручных стихотворений, любовью и проч. Стихи писались реже и реже, потому что любовь все чаще и чаще приносила свои плоды в форме ежегодно возраставшей семьи и усиливавшихся хозяйских хлопот: Чернилов начинал делаться скучным, вследствие чего на окнах его квартиры появились две довольно объемистых бутыли с наливкою. Какой результат имело бы осушение этих двух бутылей и не повлекло ли бы оно за собою постоянного подливания — сказать не решаюсь, но полагаю, что это было бы так, если бы, к счастию Чернилова, бог не послал ему утешения, дозволившего снова открыть свою лирическую душу, снова тронуть пером, и притом тронуть уже на пользу отечеству, а не для того, чтобы самому наслаждаться плодами своих рук и головы. Дело в том, что Чернилов получил от приятеля из Петербурга письмо, в котором, между прочим, говорились такие вещи: «Об изложении не заботься: мы это здесь всё пересоорудим; главное дело, подхватывай на лету факты, события в провинциальной жизни, скандальчики (N. B. Слово *скандал* в провинции можно относить к происшествиям, вращающимся преимущественно в области физиогномии, как то: затрещина, оплеуха и другие хорошо известные в *общежитии* случаи. В столице слово *скандал* имеет гораздо более применений, потому что народ развитее). Так, главнее всего,

старайся поболее накопить таких скандалезных историй (покража казенных денег, госпожу N застали с писцом К. на Хлебной площади и проч., понимаешь?). В этом, надо сознаться, для публики главный интерес; это распространяет издание в провинциях. Но не забывай и столицы: столица всегда смотрит на вашу братию, провинцию, с нахмуренными бровями, — дескать: «Я тружусь, я думаю за вас, вы-то сами делаете ли что-нибудь?» Для сего ты в конце каждого письма прибавляй какое-нибудь известие, которое бы нашим пришлось, как говорится, понутру; например: такого-то числа с быстротою молнии пронеслись слухи об женской гимназии; известие это, как электрический ток, пробежало, охватило, обрадовало, и проч. и проч. в этом роде. Или рассказываешь ты, например, о том, что тогда-то и тогда-то пьяные наделали бесчинство в собрании, — ты здесь и остановись на минутку, скажи: мол, грустно, господа, в настоящее время, когда пароходы, мол, или там железные дороги; понимаешь? А в конце все-таки: с быстротою молнии пронеслись слухи о публичной библиотеке, и проч. и проч. Платить тебе будут аккуратно, и ежели не поленишься, — то что́ твое жалованье...»

Дня через два Чернилов уже работал, запускал руку в волоса и ерошил их, отчего вид физиономии был ужасен и заставлял домашних скрываться по углам соседних комнат и там сидеть не шевелясь. При этом, несмотря на постоянную серьезность, по лицу Чернилова иногда пробегала улыбка; в эти минуты он мысленно трунил над своим приятелем, написавшим между прочим: «Об изложении не заботься, мы это здесь всё пересоорудим...»

«Гм... — думал Чернилов: — изложение. Погляди-ко ты, какое у меня изложение». Размышляя таким образом, Чернилов писал и писал. И так как он был лирик и, кроме того, так как радость, что есть возможность писать о провинции, вытекала исключительно из желания тронуть свои лирические струны, — то поимка, например, вора с узлом изображалась пером Чернилова в такой форме: привожу один образчик.

«...Мрак заметно бежал на землю, и на небе догорали последние, позабытые закатившимся солнцем лучи, окрашивая тонкими пурпурными штрихами края обла-

ков, когда будочник Иван Федосеев встретил на заборе хищника.

«— Стой, подлец! — энергически произнес будочник, неколеблющейся рукой хватая вора за полу, и вдали, в соседнем саду тысячами переливов зазвучало эхо: «Подлец!» — говорили деревья, обнимая друг друга... «Подлец!» — прозвучала даль... «Подлец!» — замерло далеко, среди чистого поля, среди трав и благоуханий... У забора завязалась драка, и скоро прозвучала пощечина... Этот новый звук, словно ракета, невидимо взвивающаяся ввысь и ниспадающая каскадом бриллиантовых огней, рассыпался по каждому лепестку соседнего сада, выпорхнул в беспредельное пространство, где подхватили его крылатые духи и унесли к синему морю. Все это как нельзя лучше гармонировало с картиною вечера чудного, очаровательного, когда небо как бы просилось на землю, а земля как бы хотела на небо. Не потому ли и вора тянуло на забор!..»

Написав это, автор позвал жену и детей, желая насладиться их изумлением.

— Идите папашу слушать! — говорила мать, сзывая ребят. — Читать будет...

Разыгравшиеся на дворе ребята с изумлением стояли около стола во время чтения папенькиного сочинения... Кто-то из них нерешительно сапнул носом и был награжден ужаснейшим взглядом матери, которая искривленными и сжатыми губами словно говорила: «задеру». Другой, перепугавшись и не зная, что тут такое, потянулся к матери и тоскливо произнес: «мама-а, боюсь...», вследствие того был значительно заушен. Таким образом, чтение кончилось при совершенном внимании.

— Каково? — спросил автор...

— Хорошо, — сказала жена, не понимая, в чем дело. Потом, спустя минуту, она прибавила: — Ты, смотри, чего дурного не напиши...

— Не!..

— То-то... Тогда тебе самому в шею-то накладут...

Муж улыбался только и запихивал письмо в конверт. Приятеля он на первый раз просил, вместо высылки денег, выхлопотать ему, Чернилову, награду за отличие...

Через две с половиной недели приятель писал между прочим:

«Совсем не то; нужны факты. Для того, чтобы были они в твоих письмах, нужно искать их, самому натыкаться на них... Вор — это самое микроскопическое явление будничной жизни тем более, что правосудие, схватив его за полу, тотчас же прекратило существование злостного поступка, и благосостояние общества не нарушено... Вследствие всего этого советую выбирать явления крупнее, с участием лиц осанистых; подсматривай, подслушивай, подглядывай за фактом в щель, наблюдай на улице, в трактире, в салоне, — ежели это возможно... Излагай по возможности сухо и кратко; в прошлый раз, упоминая о синем море, — ты увлекся и не подумал, что подобного моря нет во всей вселенной... Избегай этого и в конце, как говорил я уже, — не забудь о пароходах и железных дорогах...»

Чернилов приуныл. Работа отрицала всякую возможность подхватывать говор ветра, подсматривать, как луна целовала землю, и проч. и проч. Нужно было натыкаться на факты...

«Как я на них буду натыкаться?» — недовольно думал Чернилов...

Положение неприятное.

«Бросить разве?» — размышлял он опять, — но практическая сторона работы тянула к себе, и Чернилов продолжал тосковать, как взяться за нее...

Делать нечего, как-нибудь надо...

В один день он собрался наблюдать...

«В салоне»! — соображал он. — Это что такое... А чорт его знает, что такое... про это не нужно... «Наблюдай в трактире»... Это, пожалуй, ничего... можно... Все-таки, чай, надо выпить, закусить... С женой воевать придется... Избави, господи, лихова лиходея! Не нужно и этого... Стало быть, только «на улице» да «в щель»... Гм...»

Напившись вечером чаю, Чернилов напялил шинелишку, — вышел на улицу наблюдать...

Слякоть, тьма, с крыш каплет, — дождь только что шел; ни души... Смерть царит кругом.

Чернилов послушал эту тишину и произнес вслух:

— Хоть бы что-нибудь, хоть бы караул закричал кто... А ни-ни...

Еще послушал...

— Тьфу!.. чтоб вам...

Кому? Неизвестно... и зашагал по грязи...

— Пойду... авось наткнусь на что-нибудь.

Чернилов прошел маленький переулок и очутился в другой улице.

Та же тьма... Только издали, с самого конца улицы доносится чей-то голос:

— Я те, шкурья порода, бока те поправлю... Жила! Чортова кукла!..

— Сам съешь, — едва внятно доносилось с другого конца улицы. — Сам съешь!..

И опять смерть...

— Тут хоть что-нибудь... Но все-таки — что же это... Это не годится... Впрочем, подожду...

Опять постоял, послушал: мертвая тишина, — даже страшно.

— Ничего... Пойду дальше...

Третья улица, и третье царство смерти. Где-то вдали чуть ухнули сани, донеслись едва внятно два-три аккорда гармоники.

— Ну что же? будет ли что-нибудь? — спрашивал Чернилов себя и мертвое царство...

— Ничего не будет, — отвечал кто-то: будто и сам Чернилов, будто и само мертвое царство...

— Господи! — вздохнув, произнес Чернилов, подобрал полы шинели и зашагал дальше.

Недолго странствовал он... Через полчаса Чернилов сердито скидывал калоши в своей маленькой передней и ворчал:

— Натыкайся! Вот и наткнулся!

Жена, сидевшая в соседней комнате, сочла нужным испугаться и подумала: «Господи? что там такое? не пьян ли?..»

— И наткнулся! — сердито произносит муж, швыряя шапку через всю комнату... — Черти!

Жена взглянула на него и обмерла...

— Где это тебя угораздило? Царица небесная!

Муж стоял к жене спиной и молча срывал с себя сюртук, жилет и проч.

— Думал, на факт, ан на пьяного наткнулся... Чтоб вам всем издохнуть, — говорил Чернилов, сердитыми руками надевая халат, схватил свечку и торопливо вышел в сени...

«Ну! втюрился!.. — размышляла жена: — истинно, как это говорится: сухо, по самое ухо...»

Из сеней муж воротился спокойнее...

— Ну, в другой раз будешь умней, — сказала жена.

— Теперь ты меня хоть озолоти, — так я ни-ни-ни, боже мой, на это дело не пойду...

Чернилов говорил это без особенного сердца и развешивал около печки свое грязное платье.

Дня через два успокоившийся Чернилов решился в последний раз попробовать удачи посредством последнего источника для наблюдений — щели... И задумал совершить это тихонько от жены... Случай представлялся отличный: в гостинице остановился уездный чиновник, и множество канцелярской мелкоты хлынуло к нему за поживой... Это уж факт — настоящий... Чернилов рад был, что подкараулил, наконец, врага; вот он у двери... Глаза его прищуриваются в щель и видят множество беззаконий...

— Вы, Егор Кузьмич, нам уж поровну, — а то ему два целковых, а мне всего шесть гривен... — говорит мелкота приезжей поживе.

— Тебе-то за что?

— А как же-с?..

— Вот тебе еще двугривенный...

— Да как же это можно? — говорит мелкота обиженным тоном.

— Не пикни!

— Нет, пикну! Всем по целковому да по два, а мне — восемь гривен. Хуже я кого?.. Не пикни.

— Замолчи, — вон выгоню...

— Их, батюшка мой! какие приужасные ужасти, — издевается канцелярская мелкота, чувствуя обиду: — кто бы попробовал...

Пожива грозно вскакивает со стула, мелкота стремится к двери...

«Это факт, можно сказать...» — думает Чернилов и вслед за тем кубарем стремится с длинной лестницы трактира, страдая под напором собственной тяжести...

«...можно сказать, положительнейший факт!..» — додумывала голова, очутившись на улице, и более думать на эту и вообще на какую бы то ни было тему не продолжала, потому что это была уже вовсе не та голова,

которая размышляла на плечах Чернилова за минуту перед тем: от верхнего края до нижнего — на физиономии воздвиглись рубцы, по числу ступеней лестницы, и всю эту ужасную сцену разрушения освещали несколько фонарей, разместившихся в изобилии на лбу, висках и проч. и проч.

На улице ходил народ, и поэтому Чернилов тотчас же вскочил на ноги и устремился куда потемнее...

«...И разрази меня гром... ежели я... хоть единожды... — слышалось жалобно из тьмы. — И с детьми и с женой лучше по миру буду, нежели... Провались я сквозь землю... Ах ты, владычица!..»

Чернилов бормотал это, обтираясь наскоро и по возможности приводя себя хоть сколько-нибудь в порядок.

Придя домой, он прямо стал против жены и сказал:

— Каково?

Жена взглянула и ахнула...

Муж стоял, опустив руки в карманы...

Потрясенная жена испуганными глазами смотрела на его физиономию, перевязанную крест-накрест двумя грязными платками, узлы которых выдвигались с боков головы и напоминали рога...

— Господи! — твердила жена, не отрывая глаз...

— Наблюдал! — с горчайшей иронией произнес муж и попрежнему начал озлобленно раздеваться, стоя к жене спиной и говоря:

— Истинно дьявол попутал!.. Бога забыл! «Подсматривай»!.. Ежели бы ты мне попался, — я бы тебя не так подсмотрел...

Молчание... Муж вздыхает, укладывая платье... Жена поняла, что теперь ее очередь, и начала:

— Что я ни говорю, сколько я ни твержу, что ни советую... Никогда, ни в одном слове ты мне удовольствия не сделал. Ну, и казнись...

Молчит.

— И носись с разбитой рожей... Чиновник!

Молчит и вздыхает...

— И где это видано, чтобы под чужими дверями подслушивать? Что ты, маленький, что ли? Слава богу, не первый годок... Вот бог-то и выдал... Хотел потихонечку да чтобы не знали, — ан вот господь-то сейчас и изувечил...

Муж лежал на диване лицом к спинке и молчал:

стало быть, жена правду говорила, потому что в обыкновенное время он бы не дал слова сказать...

Жена помолчала и произнесла:

— Ну уж вставай... Покажи рожу-то, может, я ее свешным салом вымажу...

Муж лежал лицом к стене. Слышались всхлипывания...

«Неужто плачет?» — подумала жена, и у нее из глаз хлынули слезы...

— Ну тебя!.. Вставай! — не владея собой, произнесла она.

Когда муж встал и физиономия была развязана, то жена ревмя заревела... и покатилась на стул...

— Боже мой! боже мой! боже мой! — изнеможенно твердил муж, стоя перед женой и склонив усталую голову на плечо. — Убей ты меня, ежели я хоть раз... хоть подумаю... За писанье за это...

А слезы, вырываясь из закрытых ресниц, журчали по взрытой его физиономии...

Тяжела доля физиономии провинциального писателя!

А между тем из нашего города все-таки нет вестей, все не подает он своего голоса... Скорбит столичная газета, которой только и заботы, как бы насажать в свои столбцы побольше этих *«из»* (из Кременчуга, из Одоева), дабы все это множество «собственных своих корреспондентов» говорило, что действительно очень заботятся умные люди об своем отечестве, что действительно и отечество пробуждается и совершенствуется: дела нет, если с разных, если не со всех концов вести состоят только в том, что солдатка такая-то родила семерых или градом хлеб выбило: умные люди сумеют узнать из этого, что отечество все вперед да вперед. И непременно только это и узнают.

Грустно столичной газете, понукает она черниловского приятеля, и шлет этот приятель письмо:

«...Ждали-ждали — хоть бы словечко; приходится заключить, что или ты не можешь с непривычки исполнить заказную работу, или действительно у вас в жизни степь сирийская или Сахара, что ли... Если так, то вот совет: пробеги письма из других городов, подумай над общей

конструкцией их, — узнай пределы, рамку и по возможности несколько окрась местными красками, хоть, откровенно говоря, такой метод изложения — довольно ветх. Но это не будет особенно зазорно, — ибо все города на Руси, как форменные фраки чиновников, — одни и те же. Поэтому-то и странно, что вы не даете о себе слуху; положим, так: в благоустроенном государстве думы, побуждения, стремления провинций — одинакие; все или почти все провинции заявляют нам свои симпатии (положим), заявляют о своем существовании и проч. и проч., вы — нет!.. Что это? В благоустроенном государстве одни идут вперед, другие стоят, а третьи идут назад? Нет! Это не благоустроенное государство... Неужели наше отечество не благоустроено??!! Видишь, до каких результатов, до каких страшных слов привело нас поведение вашего города, и на этот раз особенно твое... А поэтому пиши, пиши и пиши... Пиши, не выходя из комнаты, пиши по моему совету и не забудь в конце все-таки... Понимаешь? Пароходы, мол...»

«Не выходя из комнаты? — подумал Чернилов. — Что ж! Это, пожалуй, и ничего... Тут по крайности рожи не повредишь... Это можно...»

Благое намерение Чернилова скоро имело не менее благие последствия; он тщательно высматривал план других провинциальных корреспонденций и скоро нашел, что сначала нужно несколько фраз с *когда*, а потом несколько фраз с *тогда*... Дело нехитрое; тем более, что дальнейший план писаний тысячу раз начертан петербургским приятелем.

Вследствие всего этого в непродолжительном времени совершается следующая сцена:

Вечер. Чернилов сидит за столом, склонившись над листом бумаги и запустив руку в волоса; он думает; три фразы, начинающиеся с *когда*, уже готовы, нужно еще одну или две, непременно... Что бы это такое? Владычица, помози...

— Васька, уйди! — произносит Чернилов, топая на сынишку, который увивается около стола...

Васька отходит, но не уходит...

«Так что же бы еще-то? про пароходы? это внизу», — думает Чернилов и еще сердитее кричит на Ваську:

— Уйди, говорю...

Васька испуганными глазами смотрит на отца и держится за край стола, не идет...

Папенькина рука описывает в воздухе полукруг, и раздается затрещина.

Васька принимается голосить, а папаша, как бы вдохновленный свыше, макает поспешно перо и выводит:

«...Когда воспитание детей не ограничивается затрещинами и основано на кротком внушении, с присовокуплением сладкого конфекта...»

«Готово!» — сияя, думает Чернилов. Васька между тем, понимая всю прелесть сладкого конфекта, в дальней комнате дерет горло, насколько возможно драть его, а на Чернилова снова сходит тоска: «что бы еще?»

Корреспондент в задумчивости принимается ходить взад и вперед...

«Нейдет! — думает он... — Необходимо тово...»

Он подходит к окну, становится на колени, нагибает бутыль... За ораньем Васьки не слышно, как булькают глотки один за другим...

Через пять минут снова коленопреклонение...

Еще через пять — снова.

Потом в течение десяти минут — пять коленопреклонений.

Потом в течение пяти минут — десять коленопреклонений.

В результате оказывается, что Чернилов плохо владеет ногами. Направляясь к столу, он натыкается на стул, и в голове его мелькает опять приятная мысль.

Кое-как улаживает он в руках перо и, помогая ему тыкающимся в бумагу носом, выводит такую фразу:

«...Когда повсеместная трезвость не ищет с фонарем своего друга, когда упившегося столь же редко видеть, сколь редко видеть... и когда...»

«Стой... сстой!.. счас это я...» — нервно думает Чернилов, напрягая пьяную голову, чтоб догнать какую-то только что мелькнувшую мысль...

Мысль, однако, нейдет...

Чернилов быстро вскакивает с дивана, быстро подходит к бутыли, выпивает; возвращаясь, он уже не чувствует никакой бодрости в ногах, натыкается на стол.

опрокидывает его со всеми принадлежностями, валится сам на всю эту груду, и в комнате воцаряется тьма...

Через десять минут входят кучера с фонарями (один из кучеров захватил лом, на всякий случай), жена чиновника командует, кучера и кухарка подхватывают с земли барина и, сказав: «ну-ко, господи благослови!» — несут... Потом просят на водку...

На другой день поутру Чернилов снова переписал свое сочинение и, тоскливо думая, как его продолжать, говорил жене:

— Марфуша! как бы рассольцу!.. Доконала меня эта подлая газета!.. — И в то же время думал, нельзя ли вставить такой фразы: «Когда утро встречаем мы не рассолом и кислой капустой, а теплой, можно сказать, даже очень горячей мыслию о благе отечества...»

Через неделю Чернилов, глубже вникнувший в смысл и форму провинциальных корреспонденций, одолел-таки корреспонденцию и из нашего города... В письме этом было все как следует: несколько раз *когда* и несколько раз *тогда*, пароходы и железные дороги, публичные библиотеки и женские гимназии, просвещение и трезвость... В статье были, кроме того, все приемы петербургских фельетонистов: мы пошли, мы съели, нас тронули в висок и проч.

Все как следует...

Одним словом, скоро и столичная газета и отечество узнали и продолжают знать теперь, что и наш город — хоть куда.

Вымученная такими усиленными приемами корреспонденция, очевидно, много говорила неправды, много врала, потому что наша родная убогая сторона и до сих пор та же; наша убогая Овчинная улица попрежнему не думает ни о чем, кроме самой Овчинной улицы, и живет она, как жила пять-шесть лет тому назад. Теперь я и буду рассказывать, как именно она живет.

ПРИМЕРНАЯ СЕМЬЯ

На одной из улиц г. N стоит двухэтажный, необыкновенно узкий, как будто сдавленный с боков, трехоконный дом; вверху — жильцы, внизу хозяева. Как те, так и другие в мельчайших подробностях знают, что делается и даже думается в известную пору внизу или вверху: стоит наверху двинуть стулом и потом заскрипеть кровати — как внизу уже знают, что Марья Ильинишна легла спать, и т. д. Семейство хозяев состоит из вдовы, ее сына и его жены. Все это трио отличается необыкновенною тишиною нравов, признавая единственным законодателем и решителем всех вопросов исключительно маменьку; сама маменька с этим тоже вполне согласна; кроме этого, особенную, исключительную черту этой семьи составляет постоянное расстройство желудков и вообще крайне проховое телосложение: как будто материала, из которого вылеплены эти три существа, — отпущено было слишком мало, так что едва-едва хватило на всех, и то с весьма достаточною дозою воды; стоит взять одного из членов этой семьи за руку, чтобы получить ощущение мокрой губки. Такого рода телосложение заставляло членов этой семьи сызмальства ходить заткнув уши ватой, добиваться испарины и опасаться сквозного ветра; а так как подобного рода враги существуют постоянно, то постоянно и внимание было обращено исключительно на них; победа поэтому желалась только над ними, и, стало быть, полное счастие было при самых незатейливых условиях.

Сложилась эта примерная семья так: покойник Пискарев, занимавший какую-то теперь уже несуществующую должность, — оставил своей вдове дом, сына по одному году и крошечную пенсию. Положение вдовы было трудное: по смерти мужа ей одной приходилось иметь зубы, которые бы равнялись в сложности зубам обоих супругов, — потому что у ней попрежнему существовали куры, попрежнему со всех сторон существовали соседи и гнилые заборы, через которые куры будут летать точно так, как и при покойнике, только отбить их теперь будет много труднее, так как управлять приходится одной; вторая забота — надо воспитывать сына. Об этом нужно было уже думать и не ограничиваться одними зубами. Но господь помог ей в таких трудных обстоятельствах; к великому удивлению, куры хоть и перелетали через забор, но были возвращаемы при первых требованиях: один вид вдовы Пискаревой, с мужской продолговатой физиономией, украшенной круглыми медными очками и большим чепцом, вовсе не рисовал в ней ту разбитную соседку, которая обладает необыкновенно визгливым горлом, ежеминутною способностию выступить в поход с ухватом и проч. Соседки пожалели даже покойника, ибо увидали, что все когда-то происходившие дебаты из-за кур происхождением своим обязаны исключительно ему. Таким образом, дело с курами было улажено незаметно.

Вторая трудность — вырастить сына — трудность не малая, — но зато и плоды ее тоже неисчислимы: сумев достигнуть того, чтобы не знать ничего, кроме четырех стен своего жилища, вдова Пискарева достигла впоследствии полнейшего покоя, сделав единственного человека, который вязался с ее сердцем, — прямым порождением этих стен, почитателем их, ежеминутно страдавшим при всякой попытке сунуть нос на сторону. Маменька для него все: маменька сказала, что образ, который висит в передней и на котором, вследствие мрачнейшего письма,— Сеня ничего не мог разобрать, — что образ этот греческого писания, что такого образа теперича нигде сыскать невозможно, — и Сеня теперь умереть готов, если ему скажут иное... Помнит он, как раз в лютую зиму вошел в переднюю какой-то оборванный, в лохмотьях человек и начал жалобно болтать на каком-то, совсем не нашем

языке: повр, повр, анфан, анфан и проч. Маменька все говорила на это: «дома никого нету»; немец снова начинал канючить, а маменька снова орала ему: «говорят тебе, господа в город ушли». Немец долго стоял молча, ожидая помощи, но видя перед собой только изумленную рожу Сенечки и непрошибимое хладнокровие старухи, углубившейся в вязанье чулок, — вздохнул и вышел вон... Маменька тотчас побранилась с кухаркой, по тому поводу, что «не договорюсь, — сколько ни говорю, — запирай двери на крючок». Осмотрела, все ли цело в передней, не стянул ли немец салопа, и потом уже удовлетворила любопытство Сенечки, пристававшего с расспросами: «кто это такой?»

— А это, — говорила мать, — немец. Я сейчас его узнала по языку... Видел, какой у него язык-то — красный, как огонь, — и длинный, как змея? Не в пример православных языков длиннее!.. Вот ты, Сенюшка, и замечай, — как ежели увидишь у кого язык длинный и красный, знай, что это не наш крещен-человек, — а немец, и говорит-то он не по-нашему, — от этого ничего у них и не поймешь...

Сенечка слушал эту тираду о языках и нациях, — и если ему даже теперь сказать, что у его маменьки язык будет много подлиннее французского, и что она между тем отнюдь не француз, и бог между тем ее не наказывает, — он умрет, а не согласится. Таким-то образом все познания шли к Сенечке из рук матери, которая готовила их, так сказать, смаху, и притом с невыразимою быстротою. В гимназии Сенечка не высидел и двух лет: — в то время было трудное ученье, — науки были гораздо страшнее нынешних: то и дело раскраивались лбы, отрывались уши, выщипывались целые лысины детских волос. Сеня был комплекции слабой, — и материнское сердце, крепко болевшее над явственными признаками посещения Сениной головы наукою, решилось прекратить учение; одно уже оторванное ухо ясно говорило, что познаний Сенею захвачено настолько, что с ними легко можно будет одолеть кой-какие чиновнические обязанности. Таким образом, из рук мамаши Сенечка был передан на руки канцелярских старожилов; один из всех молодых чиновников он не пьет водки, ходит в летнюю пору с ватой в ушах,

не обнаруживает никаких молодых стремлений, попрежнему покупает чижей и ухаживает за ними. Жалованье все идет матери, и сыну оставляется сумма, потребная на покупку чижа.

— Семен! — сказала раз ему мать,— уж ты сегодня чижика-то не чисть... некогда — мы с тобой к невесте пойдем.

У Семена и руки и ноги задрожали.

— К какой, маннька, к невесте?

— К твоей...

— Маннька, как же это?.. Я, ей-богу...

Маменька несколько даже усмехнулась...

— Ох ты, моя дурашка! Что тебя съедят, что ли? Будешь теперь с женой жить, — вот и сказ...

— Да, ей-богу, я не знаю...

— Ну я научу... Уж это не твое дело...

Сын успокаивается, — маменька худому не научит. Невеста оказывается тоже какого-то золотушного, губчатого телосложения, — с испуганным выражением в лице.

Весь разговор жениха и невесты до свадьбы вертелся на таких предметах...

— Покорнейше благодарю, я больше чаю не хочу-с, — говорил жених...

— А еще не хотите? — с великим испугом говорила невеста...

— Никак нет-с...

Сеня в это время смотрит на маменьку, спрашивая глазами: можно ли еще?

— Пей, чего ты? — произносит маменька...

— Ну позвольте, полчашечки...

Или:

— Это ваша кошка?

— Наша.

Молчание.

— У нас тоже есть, Машкой звать...

— И нашу Машкой.

И т. д.

— Ну, что — полюбили вы друг друга? — спрашивают юную чету родители.

— Полюбили...

— Очень?

— Очень-с...

— Ну, так чего ж тут разговаривать-то?..

Волочить, действительно, не из чего; за несколько часов до свадьбы мать сыну что-то усиленно шепчет на ухо...

— Ей-богу, я ни за что... Как это можно!

— Да дурак! — шопотом произносит мать и еще убедительнее начинает работать губами над ухом сына.

Сын как будто убеждался в справедливости резонов, приводимых матерью, и почти не возражал, — отчего начинавшая уже успокаиваться маменька была несказанно изумлена, услыхав по окончании монолога: «Ни за что на свете!..»

— Прокляну! — оставалось сказать ей...

Сеня мгновенно притих, дело было слажено, и Сеня начал жить с женою.

Через месяц мать спрашивала:

— Ну что, теперь веселее жить-то?

— Теперь, маменька, чудесно...

— Привык?

— Привык-с...

— То-то, дуралей!..

Сенечка изображает беспредельно счастливую улыбку: глаза жмурятся, и хныканье слегка переходит в некоторое ржание.

Теперь маменька очень счастлива. Она начала ясно понимать, что жизнь ее идет совершенно так же, как и жизнь всякой достойной уважения женщины: с мужем жила она, — наживали, дом выстроили, не хуже других стали; вдовела, — горя многое множество перенесла, — но так как всё — бог, — то и тут сумела выкарабкаться: сына вырастила, воспитала, на службу определила и теперь женила. Мало ли? Чтобы, стало быть, закончить свою жизнь, вполне исполнив начертанную годами программу, нужно теперь внучат; нужно, чтобы она, Пискарева, была бабушка, чтобы она же нянчила внучат и чтобы, стало быть, все, что только в эту пору ни дышит около нее, все это была ее собственность — и без нее ни дышать, ни думать, ни шагу сделать — отнюдь не могло бы.

Поэтому все мысли господ Пискаревых теперь были о детях. Но, к великому горю, — детей не было. Ждали

год, ждали два, — нет. Общая скорбь одолела всех. Ждали еще год, — нету; советы и попытки помочь горю продолжались без конца; то советовали Сенечке в бане облить жену через плечо, то испить травы, настоенной на громовой стреле, то двенадцать зорь говорить, обернувшись спиной к солнцу, какие-то символические слова. Однако все это не помогало.

Приискивают средство другого рода.

— Ты, Сеня, слушай: три ночи... как у Казанской к утрене впервой вдарят...

— Маннька, я засну...

— Ну я тебя разбужу...

Бедная мать целую ночь дремлет у кровати спящих супругов — и ее заботливую голову до белого дня не покидает мысль, авось хотя это пособит...

Старуха сидит и клюет носом...

Загудел колокол.

— Семен! Семен! Оглох, что ли... Звонят...

Семен вскакивает с ополоумевшими глазами...

Опять ждут год, — и опять нет ничего.

Уныние одолевает семью, и иногда все трио заливается горючими слезами...

Как бы то ни было, — госпоже Пискаревой пришлось убедиться, что внучат у ней не будет, что невестка ее бездетная... Дети, по всей вероятности, своим появлением внесли бы множество хлопот, и, стало быть, жизнь пошла бы несколько разнообразнее. Этого разнообразия, при данных условиях, ждать было невозможно, и приходилось ограничиваться исключительно тем, что есть на глазах; что же такое есть на глазах? Куры, — вот за ними надо, стало быть, усиленнее ходить, и, во-вторых, больные желудки. Надо, стало быть, лечиться, плотнее затыкать уши и проч. и проч. Более других жаждали деятельности при внучатах маменька и жена, — эту же энергию хлопот перенесли они и на заботы о здоровье... Сенечка взял в свое распоряжение область кур. Его не трогали, пока он мирно вел беседы в курятнике с любимыми или нелюбимыми курами, — защищал здесь слабых и карал сильных, — но лишь только он попадал в комнату, как вместе с тем попадал и в когти нежнейшей

заботливости жены и матери... Вследствие этой заботливости весьма часто устраивались такие сцены. Стоит Сенечка, после обеда, с трубкой у окна и, глядя на соседского петуха, гордо разгуливающего по улице, сладко думает: «Погоди, милый человек, — я тебе прыть-то посшибу... пособью... ты думаешь, хохол-то твой застрахован... эгге, брат! шалишь...» и проч. А в это время в углу, за его спиной, и мать и жена, сообщая что-то друг другу на ухо, не спускают глаз с Сенечки, качают головами и толкуют:

— Что это, будто он в лице осунулся? Право!..

— И глаза мутные...

— Гм...

Мать исчезает в одни двери, жена в другие. Через полчаса, в продолжение которых Сенечка не оборачивал назад головы, так как петух приковал все его внимание, — возвращается жена и мать, с самоварами в руках; из средней двери, прямо за спиной Сенечки, выступает кухарка, держа обеими руками распахнутый тулуп...

— Заходи, заходи сзади... — шепчут мать и жена...

Кухарка на цыпочках приближается к барчуку.

— С разу его! — командует мать...

— Наземь, наземь вали, я перину подостлала, — командует жена.

— Ах, батюшки! — вскрикивает Сенечка, барахтаясь на перине в тулупе, которым плотно завернули его могучие руки кухарки. А в это время изумленные глаза его, пытливо доискивающиеся, в чем дело, — встречают два стакана — один с шалфеем, другой с мятой, стремящиеся поспешно к его рту...

— Маннька, что ж это такое?

— Пе-ей!.. — с ударением говорит маменька, накачивая сына мятой...

— Ему бы на живот припарку? — советует жена.

— Погоди-и! дай пропотеть хорошенько... Вторые поты начнутся, — тогда на живот...

А сын, успевши войти в роль больного, судорожно схлебывает с блюдечка то шалфей, то мяту...

— Ну, теперь легче? — спрашивает мать...

— Теперь, маннька, легче гораздо...

— Хорошо, что во-время захватили...

Скоро окно завешено ковровым платком, чтобы не

особенно ярко бил свет и не кусали мухи, — потому Сенечка спит!.. Во время сна постоянно то мать, то жена поминутно прокрадываются к нему, трогают лоб руками.

— Что? Жар?

— Меньше...

— Ну, слава богу...

Вечером Сенечка просыпается с какой-то кислой физиономией и с легким кашлем.

Таким образом идет жизнь семейства Пискаревых. Утром Сеня отправляется в канцелярию и, шествуя вялою, сонною поступью, бывает очень недоволен, что на пути беспрестанно попадаются извозчики, бегут люди, и все это не дает покою. «И что это им не сидится?» — размышляет Сеня. Мать и жена остаются дома: мать вяжет чулок и размышляет на следующие две темы: что если бы Сеню богоявленской водой спрыснуть? — авось как-нибудь тогда насчет внучат дело сладится; а другое желание: чего бы к обеду наварить подешевле? что, между прочим, составляет одну из главных целей чиновного быта. Жена собирается делать любимые Сеней левашники. Тихо идут будни, — вдруг под окнами с говором и шумом пробегает толпа народа. Проснулись собаки, проснулись люди, высунули свои лица на улицу.

— Милый человек? — слышатся вопросы отовсюду. — Не знаешь ли, что такое?

Один милый человек, запыхавшись, бежит мимо. Точно так же другой, третий. Это дает обывателю возможность подумать, что нынешний народ бога забыл... Наконец выручает какая-то старушка, при всех стараниях не угнавшаяся за толпой. Старуха сначала несколько минут откашливается, надрывая свою разбитую грудь и напрягая на дряблой шее все жилы, и потом говорит:

— Такое дело, милые мои... Я, признаться, хорошо-то и не знаю, только сказывала куфарка соседская, будто у Кузьминых кучер крысу поймал... Этакая большущая, каторжная... Он за ней — она от него... Хотел ее, вишь, поленом пришибить, — ушла... Вот народ сбежался, погнал... Не знаю, что дальше... Надыть подождать, поспрошать народ... Ох... ноги-то мои не ходят, — а то бы я это все в подлинности узнала: как и что...

Старуха, снова начинающая кашлять, садится отдохнуть у ворот...

— Который тебе год, бабочка?

— Да поди девяносто лет, милая... Ох, что-то они там, с крысой-то...

Лицо старухи изображает крайнюю заботу. Наконец толпа возвращается назад. Кучер победоносно несет убитую крысу за хвост. Общее оживление, общий говор...

— Ах! голубчики! — всплеснув руками, вскрикивает от радости старуха, снимаясь с своего места.

— Ловко, Петрович... Ей-богу, — как мы ее жиганули...

— Я, братцы мои, гляжу, — что такое? Сём, думаю, попытаю... Топнул ногою-то, а она пырь наружу... А! думаю... не уйдешь...

— Ха, ха, ха... важно!

— Как же это ты ее...

— Я ее перво метлой... Пустился за ней в каретный сарай, она в бочку, я метлу туда, только, подлая, как шаркнет... — и проч. и проч.

Толпа валит, разговоры оживлены, некоторые мастеровые складываются на выпивку...

А кучер, шествуя без шапки, продолжает тащить крысу за хвост; отовсюду продолжают слышаться вопросы: «Да как же это ты, братец, ее? а?» Кучер с тщательностию отвечает на каждый из этих вопросов, возбудив рассказом восклицания: «Ах, чтоб тебе!.. Ей-богу — важно обработал».

Сенечка приходит из канцелярии и сообщает такого рода новость:

— Маннька, нониче судейские в газете читали, будто из Севастополя наши французов шесть верст по морю на лошадях гнали...

— Так их и надо!..

— Только, маннька, как же это по воде-то?..

— Нукшто ж такое? Чай, генералы гнали-то...

— Генералы, маннька, это точно, что генералы.

— Ну вот так и есть: ты думаешь, генерал-то станет тебе глядеть, — что это вода али земля?.. Затрубил в трубу, — вот и весь разговор.

— Я и сам так думаю...

— А у нас нониче крысу поймали, — извещает жена.

— Где? Когда?

— У Кузьминых кучер... Она от него в бочку, а он ее метлой...

— Погоди! — останавливает мать: — прямо и в бочку... Пойдет она прямо-то: первое дело, Кузьма топнул на нее, — она вон, — он за ней...

— Ну?

— Ну, сбежался народ — убили.

— Ах, жалость, ей-богу, — с этой с канцелярией ничего не увидишь!

— Да, мы тебя вспомнили: стрась народу собралось... Сын очень горюет...

Приходит вечером гость попить чайку, поговорить. Разговоры гость ведет такие.

— Эко свечи нынче какие подлые, — оплывают...

— Дда! вы четверик палите?..

— Четверик... говорю Костромину: что это, говорю, свечи вы даете, — ни на что не похоже... — у самих, говорит, такие, — народ избаловался, — вся причина...

Молчание. Гость нюхает табак, стараясь как можно дольше продлить это удовольствие, и, запихивая табакерку в задний карман сюртука, говорит:

— Хотели было нониче клопов обварить, — да так что-то замешкались...

— Нам, маннька, тоже надо.

— Надо!.. Как-нибудь светлый денек попадет, я их всех выжгу.

— А у нас, — произносит молодой Пискарев, заметив, что гость уже два раза сряду зарядил свой нос и все-таки не находит темы для разговора, — а у нас нониче крысу поймали...

— О? — радостно восклицает гость.

— У Кузьминых, — спешит сказать жена.

— Кучер поймал, — спешит сказать мать...

— Говорят, публики было — страсть! — торопится прибавить сын...

— Как же, — благородных очень много прибыло... Должно полагать, какие-нибудь князья, — подтверждает мать.

Так тянутся дни и вечера; иногда, впрочем, Сеня достанет какую-нибудь книжку и читает ее вслух; книжка всегда почти такого рода, что улыбки и смеха не возбу-

ждает; описываются предметы чувствительные, заставляющие всех вздыхать, женщин еще раз убеждаться, что все мужчины подлецы и вероломщики, а мужчин, что все женщины тиранки и тоже вероломки. Впрочем, книги в этом быту — вещь редкостная и, по совести сказать, — ненужная... Читать незачем да и некогда: гость уходит рано, часу в восьмом, и маменька тотчас же заботится об ужине. Сенечка ест много, только впрок никакая еда почему-то не идет. Время за ужином проходит почти в молчании; маменька останавливает Сеню, когда тот начнет чавкать, или громко заговорит, или засмеется...

— Где ты сидишь? — говорит мать в таких случаях. — А? Что ты в конюшне, что ли, сидишь, — ржать принялся? Тут дар божий...

— Маннька, я не буду...

По мере того как Сеня наедался, неопределенная улыбка появлялась на губах его все чаще; почему-то хотелось смеяться; он вытягивал под столом ногу и толкал жену в колено; если маменька не замечала этого, то Сенечка запускал под стол руку. Жена наконец вскрикивала, и мать узнавала все.

— Пошел спать! — говорила она с сердцем.

— Маннька...

— Пошел, молись богу!.. Пошел!.. И ты пошла!

Муж и жена становились рядом...

Во время молитвы Сенечка почему-то начинал чесаться: то чесал коленку, то спину и перевирал слова молитвы беспощадно. При начале «Богородицы» — он начинал зевать. Но маменька дожидалась, пока дети произнесут «и всех православных христиан», и сама укладывала их спать.

Настават ночь.

Примерное семейство это существует и поныне, не изменив своего образа жизни ни на иоту, и надо думать, что в вечную жизнь они отойдут все разом, ибо розничное, так сказать, существование их немыслимо.

«НЕИЗВЕСТНЫЙ»

(Очерк)

I

Всякий, кому когда-нибудь приходилось пробегать страницы иностранных и отечественных драм, трагических романов и романических трагедий, без сомнения помнит загадочную фигуру *Неизвестного*, не имея никакой возможности сообразить — к какому сорту людей принадлежит эта фигура. Неожиданное появление, таинственный вид, гробовой голос, меланхолическая драпировка испанским плащом, который, вместе с широкополой шляпой, надвинутой на глаза, так укутывают неизвестного, что зрителю виден только энергический нос и единственный грандиозный ус, смотрящий вверх, к небу, наконец рука, медленно высовывающаяся из складок плаща и указывающая сначала в пол, а потом, при конце монолога, в потолок, то есть на небо, которое призывается сюда покарать неправое дело, — все это ставит неизвестного особняком от людей, встречающихся в обыденной жизни, и совершенно туманит читателя или зрителя, если тот ищет в пьесе не запутанности и неожиданности в завязке и развязке, — а живых людей. Глядя на эту закутанную фигуру, решительно невозможно допустить ни одного из вопросов, которые сами собою рождаются при взгляде на личность невыдуманную: что это за человек? где родятся такие люди и чем живут они? Ни фразы, которые изрекает таинственный незнакомец, ни его в высшей степени злые или в высшей степени добрые дела не помогут читателю решить этих вопросов, — а скорее оттолкнут его от этой фигуры, как от пошлой и тупой выдумки, заставят решить, что нет таких людей и быть

не может. Заключение ошибочное, потому что неизвестные существуют, и в огромном количестве, самых разнообразных красок и шерстей. Не существуй они, и поэт или *сочинитель* не выдумал бы и тех уродов, которые пугают зрителей и читателей одною уже своею внешностию. Попробуйте разоблачить в неизвестном всякую таинственную мишуру, сдерните с него этот плащ и эту шпагу, и вы увидите, что он сам откажется от своих гремучих и витиеватых фраз, от своего незавидного положения скитаться из одной драмы в другую; вы увидите на нем прорванный подмышками и на локтях сюртук, с остатками мелу на спине, разодранный козырек у картуза, две недели не бритую голову и нос, какой бог дал, иногда вовсе не энергический, потому что шрам, который видите вы на нем, ясно доказывает неустойку его в борьбе с тротуарной тумбой. Ни в какие добрые или злые дела, ни в какие чужие трагедии и драмы этот неизвестный не решается показывать своего носа, хорошо зная, что в обыденной жизни драмы оканчиваются кварталом и подачею прошения на гербовой бумаге в разные высшие инстанции, причем неизвестного могут прицепить к делу, — и тогда скоро не отвертишься. Поэтому неизвестный появляется не с какими-нибудь невероятными требованиями, не с ужасающими приемами и фразами, — а скромно, потихоньку, по возможности под вечер: он не надвигает своего картуза на глаза, но почтительно снимает его и, держа его около уха, не гробовым, а простуженным голосом произносит:

— Милостивый государь! Где вы посоветуете мне ночевать? — То есть: «Ради бога, — дайте мне хоть что-нибудь, потому что я наг, бос, голоден и без пристанища. Но я не говорю вам этого прямо и выражаюсь театральной фразой потому, что я из благородных... Да! я благородный, милостивый государь!..»

Словом, вы увидите вовсе не загадочную фигуру, в которой сходятся высшие точки добра и зла, — а просто-напросто *пустой желудок*, который тащит за собою все существо незнакомца и подвергает его множеству неожиданных столкновений, большинство которых не обходится без ущерба для него. Поэт, или вообще сочинитель, не разглядел этого, — он подхватил на свою удочку только пейзажную, так сказать, сторону этой фи-

гуры, то есть кажущуюся беспричинность появления, тотчас сообразил, что эта неожиданная нелепость может с успехом пригодиться для потрясения сердец высокопочтеннейшей публики, и, не долго думая, нарядил этого несчастного человека в уродский костюм, закутал в огромных полах испанского плаща свое неумение сладить с задачей и свое больное воображение, нахлобучил на глаза шапку и выпихнул на сцену, приятно созерцая вытянутые и недоумевающие физиономии зрителей. А пустой желудок, или тот же неизвестный, продолжал; попрежнему незамеченным, проскользать под самым носом у растроганного зрителя, являясь или на тротуаре, с просьбою о ночлеге, то есть в самом последнем градусе неизвестности, или только в виде вруна, еще нерешительного в своем вранье, без которого, впрочем, существование его уже невозможно. Пустой желудок сказывался ему во множестве этих непризнанных художников, поэтов, слоняющихся с каким-нибудь недоконченным эскизом или куплетом, который, по их понятию, должен когда-нибудь обратить на них все, теперь пренебрегающие ими, взоры; являлся в виде многого множества юношей, не знающих, куда деть себя, которые, нищенствуя и терзаясь внутренней пустотой, убиваются над решением высоких *философических* вопросов вроде: что такое жизнь? зачем она? — и вместе с тем тащат с собою в бездну погибели булочников, веривших в кредит, квартирных хозяев и проч., так что все их ежеминутное терзание со стороны принимает довольно комический вид. Вообще неизвестный проявляется в каждой фигуре того огромного класса людей, у которых, вследствие бесчисленных обессиливающих обстоятельств, отнята всякая возможность жить так, как хочешь, не делаясь при этом человеком лишним и паразитом. Выставляя этот самый заметный признак, по которому узнается неизвестный, в каком бы виде ни явился он, как бы он ни старался загородить, задрапировать себя, — мы, хоть даже и во имя этого признака, хотим узнать подробно все уничтожающие полезную деятельность причины.

Начинаем с провинции, где вековечная тихость нравов не доводит неизвестного до ужасающих картин столичного нищенства. Наудачу берем самую трогательную.

II

Под вечер, в небольшой, но опрятно убранной комнатке в городе N, сидит у раскрытого окна довольно флегматический господин, вечный холостяк, и соображает, о чем бы подумать? Думал он о жаре, мучившей целый день, думал о том, что теперь настало такое сухое время, когда ни думать, ни говорить решительно не о чем. Что бы еще? Думает он так, покуривает не спеша трубку, вздыхает... Вдруг из-за угла вырывается извозчик с седоком, огибает угол дома с другой стороны и останавливается у подъезда. «Кто бы это?» В ответ на этот вопрос в дверях является какой-то совершенно незнакомый гость; он торопливо сбрасывает с плеч полинялую люстриновую тальму, перекидывает ее через руку и, остановившись перед хозяином, произносит:

— Если не ошибаюсь, — господин Хрущов?

— Я-с!.. — говорит хозяин.

Гость делает шаг вперед и, сжимая руку хозяина, продолжает:

— Если помните — Бабков...

Недоумевающий взгляд хозяина заставляет гостя сделать о себе еще более точное напоминание:

— У Кузьмы Данилыча? в деревне? на обеде?.. Помните?.. — прибавляет Бабков, не выпуская руку хозяина.

— А-а... Помню-с...

Тут только хозяин действительно вспоминает физиономию гостя; вспоминает он, что видел его как-то мельком на деревенском обеде Кузьмы Данилыча и не обратил на него никакого внимания: фигура Бабкова мелькала там каким-то метеором — то там, то сям, не обращая на себя ничьих взглядов. Едва ли даже и сам хозяин обеда знал, кто такой этот Бабков. Но господин Бабков, кажется, не обращал на это никакого внимания и вместе с другими подходил к закуске, вежливо проталкиваясь вперед плечом и говоря при этом: «Па-азвольте, сделайте а-адалжение... Благодарю вас!..» Хозяин вспоминает, как по окончании торжества у Кузьмы Данилыча Бабков приставал к одному из гостей, уверяя, что «нам с вами по дороге», и как гость всеми мерами старался отклонить желание Бабкова ехать вместе. Между прочим почему-то вспомнился случай, происшедший тут же у

Кузьмы Данилыча, — а именно: пропажа чьей-то серебряной табакерки и проч. Все эти воспоминания о личности Бабкова были крайне невыгодны для него, ибо после них родилось в голове хозяина слово «прохвост» и чуть ли не «жулик». Кроме того, хозяин положительно не понимал причины его посещения и решился отделаться от него по возможности скорее...

Между тем Бабков, надеясь встретить в хозяине доброту провинциала, предполагал распорядиться временем иначе. Он ждал, что хозяин скажет: «Ах, очень рад, чаю не прикажете ли? водки?» — «Нет, я не... Впрочем, позвольте...» — «Да вы отпустите извозчика... Позвольте-ко, я велю ему отдать... Сколько ему?..» и т. д. Почти уверенный в таком ведении дел, Бабков не спеша повертывает кресло боком к хозяину, садится в него, вытягивает вперед ноги в лаковых ободранных полусапожках и в каких-то жидких замасленных панталонах и, стаскивая широкую пропотевшую палевую перчатку, говорит:

— Я вам мешаю?..

— Ннет-с... ничего...

Бабков швыряет перчатки в белый люстриновый картуз, значительно запыленный сзади, расправляет свои жидкие, но топырящиеся усы, кашляет слегка и ожидает одного из тех вопросов, которые были приведены выше. Но вопросов этих не следует. Бабков пробует натолкнуть на них и для этого, во-первых, считает нужным подзадорить хозяина на разговор... Он заговаривает о провинциальной скуке, хвалит собаку хозяина, вспоминает при этом множество чудовищных историй, в которых играли главную роль собаки, как его, Бабкова, собственная собака спасла ему жизнь... и проч. Хозяин произносит: «гм»... «да»... «н-нет»... «не думаю» и проч. и убеждается, что перед ним действительный прохвост и пустомеля. Время между тем идет, и положение Бабкова делается неприятным: извозчику не заплачено; каких бы то ни было других знакомых, встреченных хоть раз в жизни, не припомнит... Хозяин, видимо, съежился, заперся... Все это вместе заставляет Бабкова принять усиленные меры, поддать разговору игривости и клубнички, которую, сколько он помнит, провинциальные холостяки любят... Он поддает и того и другого, помирает со смеху, рассказывая пошлейший анекдот, и уже окончательно надоедает

хозяину... «Однако порядочная скотина этот Хрущов», — решает он, и чтоб хоть чего-нибудь добиться, хоть рюмки водки (после которой дело должно пойти живее), хоть даже внимания и вежливости, которая придала бы посещению форму визита одного благородного человека к другому, тоже благородному человеку, — остается одно — самому охладеть, не лизаться к хозяину, а обнаружить небрежность и проч. Безуспешно и это... Прокляв в душе наглость этого неповоротливого мешка, к которому судьба, как на смех, бросила его, он решает придать разговору такой тон, как будто ничего и не было неприятного. Молча выпускает он из угла губ струю дыма, который, проскользнув сквозь жидкий ус, тянется в сторону, вздыхает и говорит:

— Что это погода-то...

Говорит он это так, что нельзя разобрать: хороша погода или плоха. Дело в том, что он желает сам узнать, нравится ли погода хозяину или нет. Хозяин издает какой-то звук, — Бабков находит, что нравится, и прибавляет:

— Прелесть!

— Гаже подобной погоды я никогда ничего не мог себе представить, — обрывает хозяин, не переставая смотреть в окно.

— То есть, для хлебов, ваша правда, действительно нужно бы дождя, — поправляется Бабков.

— Для хлебов теперь вовсе не нужно дождя... Теперь уборка...

— То есть, положим... Но все же, я думаю, маленький... слегка...

— Ни капли...

— Впрочем, действительно... рабочая пора... Я с вами совершенно согласен, дождь — помеха, но для воздуха... для свежести...

Хозяин сознает, что для свежести не мешало бы дождичку, но предпочитает оставить гостя в недоумении, будучи убежден, что стоит только хоть раз согласиться с гостем, и тогда положительно невозможно будет выжить его из своих собеседников... Бабков пускает усиленный куш папиросного дыма, сначала одним концом губ, потом другим, и, подняв голову кверху, успевает пустить к потолку тощее колечко... Положение неловкое. Бабков на-

чинает чувствовать, что хозяином замечен его истасканный костюм, грязная рубашка со старинными отложными воротничками, короткие рукава, загорелые, худые, длинные и жилистые руки, физиономия смятая и испитая, но желающая сохранить юношескую свежесть... Все, все замечено... Все против него. Он начинает падать духом. Даже вздыхает один раз самым искренним образом, глядя на скаредную фигуру хозяина, который может сейчас же выгнать его, Бабкова, вон, ибо ни на волос не считает его для себя нужным, и проч. и проч. Бабков терзался... Но когда перед ним мелькнула в сотый раз та же беззаботность и полное пренебрежение на лице хозяина, та же неповоротливая спина, не желающая повернуться, исключительно из нежелания изменить положение, не обращая внимания, что тут человек, — Бабков сразу почувствовал внутри себя некоторую отвагу... гордость. У него родилось желание превратить это свиное спокойствие в ничто, в прах, — унизить в его глазах это дурацкое провинциальное спокойствие, это грошовое довольство возможностью выкинуть за окно все сколько-нибудь нарушающее болотное однообразие провинциальной жизни. Бабков негодовал вполне красноречиво и пламенно. Он искал, чем бы посильнее двинуть в эту неподвижную статую, чтоб она рассыпалась вдребезги, и не нашел ничего лучшего, как небрежно сообщить, что недавно с ним случилась *маленькая* неприятность, — именно: он проиграл четыре тысячи рублей...

— Ого! — произнес хозяин, нисколько не опасаясь за эти тысячи. — Куш...

— Оно, видите ли, не то что куш... — вяло продолжал Бабков, смотря себе на ногти и не глядя на хозяина из нежелания видеть его побежденным и испугавшимся из великодушия. — Не куш... Но время... Это главное...

— Конечно!..

— Я бы мог сделать оборот, — и у меня вот он, другой куш... Что прикажете делать... Увлекся!.. Я, надо вам сказать, вообще не играю... то есть, если хотите, я играю, например, как и вы...

— Я не играю...

— То есть... Ну, да! и я не играю, если хотите... Но сравнительно...

— Никак не играю...

— «Что за дьявол!» Видите ли, проиграть свои карманные деньги... то есть деньги, какие постоянно носишь с собою... Какие-нибудь сто, двести, — я считаю безгрешным.

— Безрассудно и глупо...

— Но согласитесь же... в жизни человека... Человек так создан, что всякое увлечение... что без некоторого увлечения жизнь это будет — не жизнь... а... а-а-а...

— Согласен-с. Семен! Достань новый сюртук и приготовь бриться... Продолжайте, господин Бабков, я слушаю...

— Вы уходите?

— Да-с... Нужно... кой-куда...

— В таком случае, — нехотя мямлит Бабков, — не смею вам мешать...

Хозяин не возражает. Бабков слишком неохотно отыскивает шапку, еще неохотнее напяливает перчатки, мучительно сознает, что все погибло!.. Мерзкая фигура хозяина видимо оживляется благодаря исключительно скорому удалению гостя. Хозяин жмет ему руку и с полуулыбкой говорит:

— Куда-нибудь спешите?..

— Да! нужно...

— Дела? — вопросительно вскидывая глазами, прибавляет хозяин...

— Д-да...

— Гм...

Хозяин берет подсвечник и провожает Бабкова в переднюю; полуулыбка не сходит с его губ; эта же улыбка и даже некоторое насмешливое высовывание языка видится ему, Бабкову, во всем: стены, окна, шапка, надетая на голове его, перчатки — все это жестоко смеется. Чтобы придать свиданию хоть какой-нибудь оттенок порядочности, он вдруг останавливается на пути к двери и, спохватившись, произносит:

— Ах, да! Помните вы Зубилова? Брюнет?

Хозяин припоминает...

— Там же, у Кузьмы Данилыча?.. Этакой весельчак... Еще, помните, все хохотали...

— Нет-с, не припомню...

— Умер!..

— Скажите!!

— Пять человек детей — без средств.

— Гм. Царство небесное... Семен, запри за ними...

— До свидания.

— До приятного свидания. Запирай!

— Пошел! — кричит рассерженный Бабков извозчику.

— Куда прикажете?

— Прямо! Куда бы это? вот положение!

На перекрестках извозчик слегка придерживает лошадей, полагая, что барин прикажет повернуть.

— Прямо!..

Извозчик мчит Бабкова все прямо, все прямо...

III

Николай Федорович Бабков, который так неожиданно явился и исчез, имел, как и все, своих папеньку и маменьку. Маменька умерла, оставив его пяти лет, и когда четырнадцатилетний Коля, запыленный и загорелый, приехал домой из уездного города, где жил у родственника и учился в уездном училище, вся семья Бабковых состояла из отца, двух братьев, считая Колю, и сестры. Отец происходил из простых крестьян и служил в военной службе. Долгая и не останавливавшаяся ни на минуту в течение двадцати пяти лет вытяжка выкурила из него ту мужицкую дурь, которая иногда подзадоривала двинуть в чью-нибудь рыжую физиономию, ту мужицкую дурь, которая в другой раз подзадоривала на такое словцо, от одного появления которого мог бы испортиться воздух на десять верст в окружности. Постепенно выходила эта дурь и, наконец, исчезла совсем, когда на рукаве явилась какая-то нашивка, а в груди забушевал кашель, напоминавший бой испорченных часов, доносящийся из пятой комнаты; прошла мужицкая дурь, — и там, где прежде чувствовалась дрожь негодования, теперь выступал робко пот и слова не сходили с языка. Да и слов-то в эту пору *своих* не было никаких. — Федор Никитич мог понимать только то, что рекомендует служаку; только «рад стараться», «слушаюсь», «виноват» находились в его вытрезвленной голове, а эту голову он считал только мишенью, в которую рано или поздно попадет чья-нибудь басурманская пуля. Охотно нес он эту

голову, яро наскакивал на летевшую без толку пулю, все больше и больше убеждался, что в жизни существует одно мудрое правило «терпи». Терпел и выслужился в офицеры... Тут он вспомнил, что когда-то, очень давно, — он знал другую, *свою* жизнь, такую жизнь, какою живут все добрые люди; вспомнил он, что у добрых людей есть жены; жены эти по воскресным дням ходят с ними к обедне, по будням стряпают, сидят под окнами и разговаривают; узнают и разгадывают сны и родят детей. Захотелось Федору Никитичу своей жизни; захотелось ему жены и спокою. После выхода из службы был он управляющим у вдовы Крюковой — богатой барыни. Барыня эта и женила его на своей компаньонке, бедной, в чем-то провинившейся девушке, успевшей привыкнуть ко всему мишурному блеску барской жизни, успевшей обзавестись такими возвышенными предметами, как — *разбитое сердце*, несбывшиеся мечты, разочарование и проч. и проч. Федор Никитич не понимал всех этих тонкостей и не знал о существовании их, — он только удивлялся, видя, что жена его ни разу не сходит с ним к обедне, просит кухарку налить чай, о чем-то скучает, работа плохо клеится в ее руках, все ей «прими да подай»... Отчего она не сходит никогда даже наверх, к своей барыне, благодетельнице... Федор Никитич недоумевал надо всем этим, боялся в чем-нибудь попрекословить своей жене, всячески старался угодить, услужить. Жизнь с трубкой в зубах, у раскрытого окна, за стаканом чаю не удалась. Он еще раз повторил: «терпи», убедился, что нужно терпеть, и терпел. Целые дни ходил он перед супругой, ожидая приказаний; потихоньку вздыхал, потел и вытирался своими ситцевыми платками.

— Боже мой! Когда вы бросите эти противные платки! — часто говорила изнеможенная и расстроенная жена, глядя, как муж, понюхав табаку, расправлял не спеша платок с изображением какой-то отчаянной битвы и приготовлялся сунуть нос в самый стан неприятелей...

— Да ведь сами изволите знать, Анна Васильевна... Табак нюхаешь... Белые платки — надолго ли? Раз высморкался... два высмор...

— Оставьте, оставьте, ради бога... Таскайте с собой хоть рогожу...

Федор Никитич в это время как-то крякнет, подойдет к окну и, чтоб успокоить жену, постарается отвлечь ее внимание от неприятного предмета.

— Тучки-то, того и гляди, разойдутся...

Анна Васильевна не отвечает ему. Слышен вздох.

Федор Никитич сам ответит себе: «разойдутся», и пойдет на крыльцо разговаривать с дворником. Чувствует Федор Никитич, что ему с дворником много свободнее.

Мучилась Анна Васильевна с своим мужем и старалась более молчать. «Но зато, — сказала она себе, — я выведу моих детей из грязи...» И все ее заботы были устремлены на Петю и Олю (Коля был еще маленьким). Она шила им разноцветные рубашечки, завивала локоны, учила французским басенкам и стишкам. «Гнездо ласточек», «Стрекоза и муравей», «Бог награждает добродетель» и другие французские безделки лепетали они очень мило. Мамаша не отпускала их от себя ни на шаг; говорила: «тезе», «не-туше-па» и проч. Вообще трудно было понять, к чему готовила она этих «милых малюток», — ей, повидимому, хотелось, только того, чтобы они не чистили своих носов такими расписными платками, как их возлюбленный папа. Во всяком случае, что бы ни хотела она сделать из своих детей, Федор Никитич не мешался в ее дела, опасаясь испортить дело. «В самом деле, — думал он, — что я такое? солдат... А тут хоть та радость будет, что дети с господами себя не уронят». Один раз только попробовал было он приложить свои силы к воспитанию детей, намереваясь вытащить из прекрасного носика Оли какую-то «козу» или «волка», который будто бы ночевал там. Но едва он только сделал необходимые, по его мнению, приемы, то есть зажал слегка в коленях нежненькую Олю, одной рукой загнул ей назад голову и другой, очистив пальцы, взялся за ее маленький носик, — как немедленно последовал взрыв всяческого ужаса и со стороны матери и со стороны Оли, плач, вой, истерики... Федор Никитич с тех пор закаялся принимать какое-нибудь участие в этом, по словам Анны Васильевны, — не его деле. — Так одна Анна Васильевна и орудовала над Петей и Олей; умирая, она умоляла свою бывшую воспитательницу не оставить ее детей, не дать им погрязнуть, затереться в низком и неопрятном обществе и не могла вспомнить, что будет

с несчастным Колей, который остается совершенно без ее призора и руководства. Умерла Анна Васильевна; Колю взял какой-то родственник в уездный город К. и потом отдал в уездное училище. Помещица и благодетельница исполнила просьбу покойной компаньонки и воспитанницы и не допускала ее детей до той трудовой жизни, которая бы как раз нужна была им. Федор Никитич и тут уступил нужному, необходимому, сказал «терпи» и не мешался в жизнь своих детей.

Дети госпожи Крюковой выросли в чуть ли не тридцатилетних невест. Из Пети сделался приятный молодой человек, из Оли вышла барышня, и жили они не по-настоящему, отдаваясь вполне интересам верхнего этажа.— В нижнем этаже, в квартире Бабковых, царствовал во всем и всегда полный беспорядок; только в маленькой каморке Федора Никитича было что-то похожее на порядок: он сам тщательно убирал свою дрянную постель, накрывая ее войлоком, старался «к месту» уложить какие-то свои две-три духовные книги, старался завести хоть какую-нибудь чернильницу, перо и проч. Он хотел отделить себе этот уголок, устроить его по-своему, потому что и жить и думать он продолжал тоже по-своему, робко покоряясь необходимой, как казалось, безалаберности в жизни его детей. В остальных комнатах — например, в зале — на гвоздях, где висели картины, помещались огромные связки глаженых юбок; гладильные доски никогда не выходили из этой комнаты, на полу мокрота от ежеминутного спрыскивания разных кисей и блонд, на окнах лужи крахмалу; в комнате Петра, отгороженной ширмами в передней, — та же пыль и никаких признаков порядка: на круглом столе, покачивающемся на одной тонкой ноге, — и спички, и пепел, и свечка сальная, и рубашка... Все это объясняется тем, что ни Петр, ни Ольга почти не жили дома. Ольга просыпалась тогда, когда за нею сверху присылали барыни; начиналась суматоха одеванья, после которого она исчезала наверх на целый день; в зале оставались мятые юбки, рубашки, чулки; Петр, служивший без всякого успеха в какой-то канцелярии, по необходимости должен был вставать раньше; служба ему была нужна хоть бы для того, чтоб портной, зная, что он чиновник, сшил бы ему платье с рассрочкой платежа, а жил он на счет отца,

который не отказывал ни ему, ни Оле, твердо веря, что все это нужно, потому что завещала покойная жена, — и ходил от этого по пяти лет в одном нанковом пальтишке. Проснувшись, Петр одевался насколько возможно франтовитее и шел в канцелярию. Дома оставался Федор Никитич и занимался собиранием в кучу грязного белья, брошенного где ни попало, загонял ногою под кровать разные тряпки и сор, стирал с окон и проч. В это время он выпивал понемногу, но тихо, незаметно; только один краснеющий нос говорил о том, что у него есть какое-то глубокое горе. Подвыпив, он боялся показать наружу свои глаза и со всем соглашался, что ему ни говорили, стараясь поддакнуть и кивнуть головой в знак согласия даже прежде фразы, которую ему скажут. Петр оставался недолго в своей канцелярии, с чиновниками которой он вел какую-то вражду: они называли его дураком, — он считал их дураками. В два часа и ранее он уже был на свободе и принимался за исполнение многого множества поручений, которыми наделяли его разные кузины; то ему нужно было забежать к m-me Дерюревой и объявить, что пикник отложен; то забежать еще куда-то за зонтиком, который позабыла третьего дни Марья Михайловна; то его делали распорядителем по устройству домашнего спектакля, что принимал он с крайне озабоченным видом в лице, но с тайным восторгом в душе, и бегал и суетился как угорелый — то декорации испорчены, то не готовы костюмы: везде нужно суетиться, кричать, повторять сто раз одно и то же. Он хлопотал и бегал до упаду; но зато, когда возвращался он, отирая запотевшую физиономию, в сонмище разных кузин, — все бросались к нему: сколько слухов, сколько новостей, новейших сплетен принесет он! Петр считал себя счастливейшим человеком и за то минутное внимание, которым дарили его наверху, — ломал ноги еще больше. А роль в этих домашних спектаклях доставалась ему самая роковая: или таинственного незнакомца, произносящего одно словцо; или племянника, получающего для полноты картины чью-нибудь руку и сердце при конце пьесы; или, наконец, просто приходилось за кулисами представлять стук отъезжающего экипажа, гром, падение в воду... Петр не замечал, что такую же роль он играл и в обществе верхнего этажа; что им интересова-

лись и нуждались в нем, как в самой ревностной ломовой лошади с облагороженными манерами, и награждали своим расположением потому, что в перспективе другой такой же лошади не предвиделось... Как компаньонка, умевшая переворачивать ноты, когда пела одна из дочерей Крюковой, — нужна была наверху и Ольга. Барышни, в свою очередь, брали ее с собою кататься, кавалеры смелее вступали с нею в сердечные разговоры, — и все, что было кругом, поощряло эти разговоры. Между тем время шло, крюковские барышни все больше и больше приближались к поре старых дев, — нужно было во что бы то ни стало спихнуть их на чужие руки, — отчего были предпринимаемы всевозможные искусственные меры для достижения этих целей: самый воздух верхнего этажа, казалось, был пропитан разного рода удовольствиями, любовью самою пламенною, жарко дышавшею отовсюду. Как декорации, как *народ* на сцене, нужны были здесь дети Федора Никитича — и не больше. Но ни Петр, ни Оля не считали себя народом; они сознавали в себе силы быть самыми бойкими действующими лицами в этом фантастическом балете и всей душой предавались той мишуре, которая до времени царила в жизни верхнего этажа. Все это веселилось, пело, жаждало удовольствий и удовольствий, — имея в сущности самые практические цели — как-нибудь пристроиться, отдохнуть, добиться законного брака, — чего вовсе не видали наши герои: целые дни и ночи толкались они здесь, забегая домой, чтоб произвести новый беспорядок переодеваньем и снова исчезнуть. Оля забежит вниз, повертится перед зеркалом, вернет хвостом посреди комнаты, наблюдая при этом, волочается ли он, еще попляшет у зеркала, напевая в нос какой-то романсик, и вон...

— Что ж, весело было? — осмеливается спросить Федор Никитич...

А дверь уже хлопнула, и каблучки Олиных ботинок щелкают по каменной лестнице наверх.

Федор Никитич тихонько крякнет, скажет: «не слыхала» и идет в свою конуру или на крыльцо, к дворнику. Живет он по-своему: соблюдает посты, ходит к ранней обедне, покупает собственно для себя горох, рыбу... и когда несет такую покупку мимо сына или дочери, то старается прикрыть ее полою: чтоб не сконфузить детей

своим мужичьим житьем. Но случается, что Петр, по неделям за недосугом не говоривший с отцом ни слова, из приличия спросит:

— Что это у вас?

— Раки! Да ведь какая дешевисть... Погляди-кось: крупнота...

Петр слегка нагибается над кульком, затягивая в то же время на шее тоненький галстук.

— Ей-богу! Непривиданная дешевисть... Третьего дни какая история из-за капусты вышла...

А Петр ушел в зало, Федор Никитич доскажет наскоро историю с капустой, тут же назовет себя дураком, подумает: «Ну до капусты ли ему?.. Нет, видно, из мужика барина не будет... всё с своими мужицкими разговорами» и проч.

В таком виде было семейство Бабковых, когда приехал домой Коля. Брат и сестра, как увидели его загорелую физиономию, мужиковатость и прочие мужицкие качества, так и покатились со смеху.

— Да это зверь! — кричала Оля, всплескивая руками...

— Алеут!

— Вампир!..

Федор Никитич тоже качал головою над безобразиями Николая, только из угождения образованным деткам, — но зато крепче брата и сестры целовал его загорелый лоб.

Безобразность приемов и манер Коли повергла брата и сестру его в совершенное отчаяние, и Коля, видя, с каким ужасом говорят они о той ломке, которая предстоит не только его голове, но и членам, видя наконец, что и Федор Никитич даже, вместе с братом и сестрой, чем-то особенно тревожится, глядя на него, — видя все это, сразу упал духом, считая себя чем-то чересчур мелким, чем-то чересчур плохим. Сознавая и ставя себя неизмеримо ниже и брата и сестры, Коля решил во всем положиться на них, ни на шаг не отступать от той дороги, которую покажут они ему. А дорогу Коле могли показывать только брат и сестра: Федор Никитич попрежнему не вмешивался в дела своих детей, считая обязанностию только изредка подтвердить словом «нужно», «терпи» то или другое распоряжение своих образованных деток.

Эти распоряжения по поводу преобразования нравов Николая начались тотчас же после его приезда и направлялись, конечно, к тому, чтобы сделать из него человека, пригодного к жизни верхнего этажа, так как без этого — полагали учителя — спасение погибшего человека, каким считался Николай, — признавалось положительно невозможным. С суровейшей начальнической физиономией, с особенно холодными приемами зазнавшегося авторитета были преподаваемы Петром брату разные житейские, необходимые в предстоящей жизни правила: относились они к ногам и рукам, к походке, к необходимой услужливости и нисколько не касались головы преобразуемого субъекта. Та невыразимая серьезность, с которою говорилось об этом, с которою были показаны «затруднительные моменты в области походки» и проч., — вполне узаконяла в глазах Коли необходимость всей этой науки. Таким образом, в сущности-то одни только косые взгляды брата и сестры закупили все силы Николая в пользу этой необходимой науки. Но Николаю пришлось скоро увидеть и мучительно перенести на себе не косые уже, а подтрунивающие или совершенно холодные и поэтому еще более ужасные — взгляды того высшего общества, о котором с такой серьезностию и даже благоговением говорил Петр.

В один день было решено показать Колю наверху; дрожь и робость прохватила его за целые сутки до визита, — именно с того момента, когда Петр объявил, что «завтра мы идем». Страх за ужасное неизвестное, ожидавшее его наверху, отшиб у него всякую сообразительность и словно ветром выдул только что набитые в голову правила. Петр, по всей вероятности, предвидел это, потому что перед самым отходом наверх счел нужным еще раз повторить внушение:

— Так помни, — говорил он, — локти... руки... Понимаешь, как я тебе говорил? Смотри же... За обедом хлеба как можно меньше... Не чавкать, боже сохрани... Madame Чикалдову (там узнаешь) не приглашай на польку: она в интересном положении, а ты до сих пор коленями... Не бери... Н-ну? Еще что? рук в панталоны не клади... Ни под каким предлогом... Ходи свободно!.. У вас, лютых зверей, есть привычка пробираться по стенке, совершенные воры... Ты этого не делай... Сквер-

но!.. Шляпу держи — вот! Смотри сюда, вот! или так! Но отнюдь не держи сзади или не болтай между коленями... Пойдем.

Пошли. Все, начиная с господской лестницы, устланной ковром, и кончая самым паутинным разговором в господской гостиной, все это презрительно смотрело в оробевшие глаза Коли, уничтожало его, потому что открывало страшную бездну невежества, в которой сидел он, и вместе с тем невозможность сразу переродиться для новой жизни. Брат Петр, совершенно искренно предававшийся всей мишуре, которую пока еще в незначительных дозах выгружал перед Колей, выполнял каждое правило своего кодекса с величайшею точностию, — а главное, серьезностию: поднимаясь по господской лестнице, он и сестра хранили глубокое молчание; остановившись перед зеркалом поправить галстук, Петр взглянул на брата таким ледяным взглядом, что Коля, приняв в расчет и слегка вытянувшуюся физиономию брата, понял ту беззащитность и беспомощность, которые ожидают его в течение целого вечера, и сердце его замерло в чьих-то ледяных лапах, стиснувших его со всех сторон. Вслед за братом Коля сделал первый шаг — и сразу почувствовал себя утонувшим в море всяких мук. Эти муки последовали тотчас же, как только Николай узнал невозможность двинуть ни рукой, ни ногой, полнейшую невозможность понимать хоть что-нибудь; ему оставалось одно: быть простым зрителем совершающейся со всех сторон суматохи, — но это было положительно невозможно; напротив того, с первого шага Николай невольно сознал себя предметом, на котором сегодня должны остановиться, как на диве каком-то, взгляды всех присутствующих. Петр, подглядевший горчайшее положение своего воспитанника, делал издали ему какие-то знаки, поднимая брови, вытягивая и вдруг судорожно искажая свою физиономию, тыкал пальцем, что-то объясняя и, видимо, стараясь на что-то указать, но ничто не помогало. Николай сознавал, что взгляды брата и еще более ужасные взгляды окружающей толпы ясно видят, что в шляпе его подложена бумага, в которой вчера принесли из лавки сальные свечи, что панталоны связаны сзади веревочкой и проч. и проч. Окаменелость его была беспредельна. Если ему и случалось хоть на минутку преодо-

леть ее, то и тогда все-таки ничего не выходило или выходило что-то очень глупое. Пробовал он вступать в разговоры, пробовал танцовать, — но результатом первых шагов были опрокинутые стулья, оборванные подолы; результатом попытки к разговору было, как нарочно, самое упорное молчание или слово невпопад. Он снова каменел, и снова вдруг вставал, принимался пристальнейшим образом рассматривать какую-нибудь картину на стене, — и ничего не видел, ничего не понимал в ней. Пробовал он смеяться какому-нибудь чужому слову, чужому рассказу, автор которого всеми мерами старался показать или дать заметить слушателям, что вот тут-то или тут он сказал самую смешную штуку, — выходило тоже неудачно: смех вырывался неожиданно, заставлял оборачиваться других, что было невыносимо для Николая, который и сам испытывал от этого смеха какое-то неприятное ощущение, нечто вроде испуга. Под конец вечера Николай съехал на стуле к двери и вступил в беседу с какою-то ветхой старухой; разговор их касался самых стариковских предметов, так что Николай невольно краснел за себя, — но при всем том положительно не мог бросить и этого разговора; кроме старухи, он не видел здесь ни одного человека, речь которого он мог бы понимать. Все испытания вечера развили в нем желание подделываться, стараться угадывать, что именно нравится другим, для того чтоб поддакивать им и таким образом приобресть какое-нибудь внимание этих других. Даже в беседе со старухой незаметно присутствовало это желание — и старуха действительно составила о нем самое выгодное мнение.—Несмотря, однако, на это, Николай возвращался домой в самом грустном расположении духа. Неудачи, которые постигли его на этом роковом испытании, оскорбляли и унижали его. Брат и сестра, видевшие, что все старания их попраны самым безжалостным образом, тотчас переменили тон: в отношениях их воцарилась холодность и полное пренебрежение. Петр сказал брату равнодушнейшим тоном длинный монолог, в котором упомянул о своих трудах и заботах в пользу его, сумел вставить раза два-три фразу: «я ничего не жалел...», «все, что я мог...», «я пожертвовал...» и проч. и проч., и заключил тем, что отказывался впредь от всяких забот о нем: «делай, как знаешь, но я вижу, что мы

не товарищи»... Сестра почему-то просто надулась на Николая, как будто он ее чем-то жестоко оскорбил. Даже Федор Никитич счел нужным вразумить Николая, основываясь на суровом тоне Петра, на его вздохе при словах «я сделал все» и проч., на общей, сразу воцарившейся между детьми холодности. Он прямо обратился к Николаю с такими словами:

— Что это ты, Николай, там натворил? а?.. Это, братец, ты оставь... Мать об тебе еще когда горевала... Это надо кинуть... Как можно... Конечно, трудно... Что говорить... Дело незнакомое... Ну, надо терпеть... — и проч.

— Я сделал все! — уныло прибавлял Петр. — Н-но!..

В этом «*но*» Коля видел опрокинутые стулья, оборванные подолы, ненужный смех, дружбу со старухой и проч. и проч. И такого рода «но», такого рода рассуждения всей семьи — потихоньку подготовили тот момент, когда Коля искренно, как и Петр, сознал необходимость жизни такой, какая господствует у обитателей верхнего этажа; и решился ухлопать все свои юношеские силы на трудную работу изучения ее. Силы эти здесь тратились в той же самой мере, как если бы тратились они и на полезное дело, потому что тратились с преданностию делу, — а дело это было очень пусто и плохо. Задача Коли состояла в том, чтоб отшлифовать себя, дать себе такой наружный вид, который бы не мозолил чужих глаз, а для этого действительно ему пришлось заботиться о походке, о манерах. Ему предстояло преодолеть трудности разговора, выучиться тянуть его по целым часам так, чтоб и разговор вышел, и интерес был в нем какой-нибудь, и вместе с тем чтобы по возможности не было сказано ничего. Ради этого ему пришлось задолбить по книге несколько разговоров, относящихся к «погоде», «услужливости», к разговорам за обедом, за чаем, утром и проч. Приходилось набить свою голову разными мелкого содержания анекдотами, так как он видел, что самые пустейшие и пошлейшие из них проходят не без внимания, в особенности между женским полом. Больше других фраз ему приходилось употреблять фразу: «о да, я с вами совершенно согласен», или: «именно, именно... превосходно, прекрасно, какая богатая мысль» и проч. и проч. Коля видел, что иные, имея под рукою только эти фразы,

умеют безбоязненно обделывать в кругу верхнего этажа свои, иногда практические делишки.

Как только брат и сестра увидали, что Николай пришел к ним с повинною головою, тотчас же снова были приняты самые деятельные меры к образованию его. С этих пор в жилище Бабковых воцарился какой-то усиленный во сто раз хаос; тут шли уроки походок, разговоров, давались различные наставления, повторявшиеся по сту раз, и проч. и проч. Вообще шла такая же страшная суматоха, как бывает за кулисами перед поднятием занавеса. Федор Никитич и не показывался сюда, если же ему и случалось выйти посмотреть, что такое делают его детки, — то он никак не мог удержаться, чтоб не подумать: «Вот ежели бы это нашему брату показать — ведь подумал бы, что народ взбесился, с ума спятил... Ей-богу».

Но вслед за этим он, не менее поспешно, слегка вздохнул, присовокупляя свое суждение о том, что «нужно...» — «Конечно, что говорить... выходит оно как будто и беспутство... а все надо, все пригодится: что будешь делать!» Думая так, Федор Никитич молча созерцал нужную, но бессмысленную науку и еще более убеждался в своих суждениях, видя, с какою серьезностию, с какою преданностию убивается образованный сынок его Петр над неуклюжими ногами Николая и как он неустанно надрывает свою грудь, давая Николаю, примерно, такого рода наставления относительно танцев: дело происходит в маленьком зальце Бабковых. Петр стоит среди маленького зальца и, хлопая в ладоши, произносит:

— Но, господа... Становитесь, становитесь!.. Оля! оставьте, пожалуйста, хоть на минутку зеркало... Николай! ради бога! возьми мой платок... Оботри пальцы, — видеть не могу, — как это ты до сих пор не поймешь, что опрятность... Начинать... Ну-с, скорей... У меня за даму вот стул... Стали? Начинать... Тра-ра-ра... Сюда, сюда, Николай, левей, левей, ради бога... Стой!!! Я тебе куда сказал? Куда я тебе сказал? Что ж ты, ослеп?.. (Молчание и упорный вопрошающий и в то же время карающий взгляд.) Сначала! Тра-та-та... Так, так, так... Куда?! Куда тебя на стену несет... Оля! дерни его за рукав! Зачем ты головой вниз? Ты не в воду ныряешь!.. По-

стойте на минутку; голову нужно держать: вот!.. А не так... Что это такое? Нужно вот, прямо, свободно... Ну вот... Ведь вот умеешь... Нет, это свинство от природы... Начинай!.. Та-ра-ра, — и т. д. и т. д.

Словом, мудрая наука была на полном ходу. И если ко всем этим усовершенствованиям прибавить еще услужливость и лакейство, удвоенное против лакейства Петра, то будет совершенно понятно, почему скоро Петру приходилось слышать:

— Коля-то ваш? Каков?.. Вы Петр Федорыч, теперь — пас перед ним... Ей-богу. Молодец такой выходит... — и проч.

IV

Усовершенствование Николая шло все успешнее и успешнее.

На свадьбах сперва одной, потом и другой дочерей госпожи Крюковой он имел полную возможность блеснуть знанием и манер и разговоров, светских обычаев и проч. и проч. Но вслед за тем вдруг изменяются обстоятельства: в залах у госпожи Крюковой с выдачею ее дочерей замуж — нет уже ни танцев, ни гостей, ни веселья; заметна везде пустынность: дочери уехали с мужьями, по лестницам поднимаются не разодетые кавалеры и дамы, а кашляющие и охающие приживалки, странницы и странники; запах грибного супа и лука поборол всяческие, царившие до сегодня, ароматы, и вообще вся фигура так недавно веселого и певшего с утра до ночи дома — насупилась, помрачилась... Из Бабковых имел доступ наверх только Федор Никитич. Молодая половина Бабковых села, как рак на мели. Кроме того, что им решительно не о чем было говорить и думать у себя дома, они сразу сознали, что никто, кроме Крюковых, и не нуждается в них. Старые знакомые из высшего круга, снисходительно и нехотя раскланиваясь с ними, нехотя приглашали зайти и этим ограничивали всякие отношения к ним. Потихоньку сообразив про себя, что «мы в дураках», молодые Бабковы стали почему-то смотреть друг на друга с пренебрежением, отчего холод и некоторая вражда в отношениях их друг к другу еще

более усилились. В жизни не было им никакого дела, они не имели за плечами, про запас, ничего такого, взамен чего действительная, не обставленная декорациями жизнь, с трудом и нуждами, уделила бы что-нибудь и свое, поменялась бы с ними: они так воспитали себя, что привыкли жать готовое, и никогда не допускали мысли, что за это надобно будет отдать. Но это готовое теперь было недоступно, и если недоставало духу помириться с той трудовой дорогой, которая нужна была им, то приходилось рассчитывать на простоту людскую и если не запускать прямо руки в чужой карман на удовлетворение своих «не по чину» развитых потребностей, то все-таки паразитствовать, то есть все-таки брать чужое, жить на чужой счет и выискивать случая для такого рода жизни. Разыскивая такого случая, Николай как-то узнал, что в N, в Зеленой улице живет вдова купчиха Зайкина, на которую можно иметь кой-какие виды относительно законного брака, так как купчиха после смерти мужа, оставившего ей небольшой капиталец, решительно не знала, зачем ей теперь жить, о чем думать, кроме мужа, тем более, что после того, как она осталась вдовою, ей и бояться некого было, стало быть, жизнь была пуста до высшей степени. Николай, сообразив это дело, завязал лучший галстук, придал особенный блеск сапогам и особенную осанку плечам, слегка приподняв их и вдвинув руки в карманы пальто, взбил отчаянно белобрысые волоса и, прижав их накрененной набок шляпой, тронулся в путь. Каково же было его удивление, когда на узеньком тротуаре, пролегавшем напротив окон Зайкиной, по другой стороне улицы, — медленной поступью выступал брат Петр. Шляпа его была точно так же надвинута на ухо, белобрысые усы превращены в две стрелы, руки точно так же сидят в карманах пальто, и плечи приподняты. Невыразимо медленно подвигаясь вперед и как-то особенно при этом вывертывая ноги, он не спускал глаз с окон Зайкиной, заставленных цветами; по временам он останавливается, откинув одну ногу назад и желая хорошенько разглядеть чрез освещенное солнцем и поэтому залитое светом окно, — не она ли, Зайкина, прошла там, — нагибается то на один бок, то на другой и, переглядев, так же медленно идет дальше, круто и ухарски поворачиваясь на углу улицы.

— Ты зачем? — испугавшись встречи с Николаем, спросил Петр.

— Да так...

— Как так? Ты куда идешь?

— Да просто так, гуляю...

— Ты здесь хочешь ходить?

— И здесь буду и вообще где придется...

— Ты, брат, пожалуста, отсюда иди...

— Это почему? вот странно...

— Вовсе не странно... А просто... Я понимаю, зачем ты хочешь тут гулять, так я тебя считаю нужным предупредить, что это напрасно...

— Что такое?

— Вот те что такое... Тут уж дело сделано...

— Да мне-то что?

— Ну и ступай... Дай мне, пожалуста, хоть раз свободно вздохнуть. Как будто тебе нет другого места; вон на Дворянской — Оглашенова, тоже вдова, Трубина, Плешавины девицы, — мало ли... Ходи там, а здесь предоставь дело делать мне одному.

— Сделай милость, сколько угодно...

— Я сам начал, сам кончу, тем более, что дело на ходу... Пойди, ради бога, отсюда.

— Зачем я пойду?

Петр несколько времени молча смотрит на брата и громовым голосом произносит:

— Так ты решительно не пойдешь?..

— Я буду здесь гулять, тебе какое дело?

— Но если я тебя прра-ашу?

— Я тебе не мешаю... Ты гуляешь, и я гуляю...

— Так позволь тебе сказать, что ты — подлец.

— Ты сам подлец...

Петр делает крутой поворот на каблуках и исчезает за угол.

— Это так не кончится! — кричит он, высовывая из-за угла голову и кулак. — Я тебе покажу... Мы с тобой встретимся еще раз, только не так.

— Ладно! — произносит Николай и чувствует, что теперь почва под ним тверда. В той же позе и с теми же приемами он начинает лавировать мимо окон Зайкиной; закачалась и поднялась стора, какая-то женская фигура показалась в окне. Николай пошел еще медленнее, еще

пристальнее вглядывался в физиономию купчихи и наконец сделал ручкой.

— Милостивый государь! — раздалось сзади его, и вслед за тем кто-то кашлянул. Николай обернулся: перед ним стоял офицер с нафабренными усами, с остатками пудры и искусственного тусклого румянца на щеках.

— Что вам угодно?

— Сколько я мог заметить, вы изволите рассчитывать на успех в этом деле?.. так я считаю нужным предупредить вас, что это напрасно...

— Как?

— Так-с... Здесь дело уже сделано, и вы будете только мешать... Поэтому настоятельно прошу вас удалиться отсюда.

— Вот прекрасно! Если я хочу здесь ходить, — кто мне запретит?..

— Я-с! вот кто!

— Это каким образом?

— А таким образом, что сию минуту с будочниками отправлю вас... Извольте идти... Мало вам места на Дворянской: Оглашенова, Плешавины, Трубина... Отправляйтесь туда.

— Однако вы не кричите... — отступая, говорил обиженный Николай.

— Нечего тут рассуждать... Если хотите, мы встретимся где-нибудь еще, но отсюда рекомендую удалиться сейчас же. Слышите?..

— Чорт вас возьми, — поворачивая за угол, шопотом говорил Николай, желая отделаться от офицера, напиравшего на него грудью...

— То-то, с богом! — заключил офицер, смело ступая на завоеванную дорогу.

Николай повернул за угол, встретил целую толпу разных франтов, таких же, как и он, с такими же приемами и осанкой, которые, испугавшись грозного офицера, дерзости которого они слышали, воротились с места свидания, куда направлялись они, рассчитывая на ту же Зайкину, — и в раздумье шли, кто по тротуару, кто посредине улицы. Все они шли, казалось, куда-то в разные стороны; но на углу Дворянской улицы встретились снова; вследствие этого снова слышались разного рода

объяснения: «если вы желаете интриговать Оглашенову, то это напрасно», или: «предупреждаю вас, что Плешавины положительно недоступны, кроме меня... Что делать, а поэтому — не все ли вам равно отправиться ходить в Горшковом переулке — против Резановой?», или: «вы, кажется, хотите... так не беспокойтесь, — они уехали в деревню», и проч. и проч.

Когда Николай появился на углу Дворянской улицы, то увидел, что против окон Оглашеновой — медленной поступью скитается брат Петр... Он видел, как к Петру подошел какой-то франт, как между ними произошел какой-то разговор, начавшийся со стороны подошедшего вежливым поклоном и легким приподнятием шляпы и кончившийся потрясанием кулака в воздухе... Все это видел Николай и не пошел дальше, предпочитая воротиться домой и предвосхитить, по крайней мере, ужин. — Вследствие этого предвосхищения вечером, по возвращении Петра, между нашими аристократами происходит такой разговор.

— Ты опять все щи сожрал? — говорит Петр, стоя с пустым горшком в руках перед Николаем, который закутался с головой в одеяло.

Молчание.

— Я спрашиваю тебя: ты сожрал щи?..

— Что ты орешь? — кричит что есть мочи Николай, высовывая голову.

— Ты щи сожрал?

— Чорт тебя задери совсем со щами.

— Ска-атина, брат, ты...

— Сам ты животное.

— Мужик!

— Лакей!..

— Поговори... Поговори, любезный... Я те покажу... — И проч. и проч.

Таким образом, молодые Бабковы все были обречены на вековечное скитание. Оля через полгода попала куда-то в компаньонки: с ней ездили в ряды, поручая подержать покупки, ей поверялись тайны сердца, потому что она, как специалистка по этой части, могла давать самые рассудительные советы.

— Душечка, Оленька, скажите мне, ради бога, отвечать ли мне Аркадию...

— Он писал вам?

— Три письма.

— Отвечайте.

— Что вы говорите?

— Отвечайте... Непременно... Но два, три слова... Даже лучше всего будет, если вы напишете просто: «Что вы хотите от меня? Я вас не понимаю...»

— В самом деле?

— Уверяю вас... Только сделайте вид, что вы не понимаете его искательств...

— Да-да-да. Непременно... Ах, как мне вас благодарить... — и т. д.

Но вдруг оказывалось, что этот какой-нибудь Аркадий сам состоит в переписке с Олей и пишет пламенные послания к другой, с целию отвлечь от Оли подозрения. Другая превращалась в зверя, затевался скандал, — Олю изгоняли, и она кое-как перебивалась дома, впредь до нового знакомства, до новой возможности объясниться с обожателем какой-нибудь неопытной и потому робкой в делах сердца женщины и потом вследствие успеха попасть в друзья, в компаньонки и проч. Петр в последствии времени как-то позатерся в кругу более низкого слоя, в кругу своих чиновников-сослуживцев, и немного погодя женился на дочери архивариуса, получив некоторую возможность промотать самым изящным образом полученные в приданое, долгим трудом скопленные сотни, что он и исполнил с полным совершенством, и, оставшись без гроша, несмотря на свое светское образование, — иногда посягал на косу супруги, которая поэтому заливалась горючими слезами и считала себя погибшей на веки веков. Николай оставался без пристанища. Ему никак не удавалось устроить себе даже и такой карьеры, как Петр, и поэтому ему оставалось положиться во всем на судьбу. Бушующее житейское море швыряло его из стороны в сторону; иногда он невыносимо и искренно страдал, — но внешность, внешний карикатурный вид искажал в глазах постороннего человека и страдания его, которые вместо сожаления возбуждали или смех, или то безразличное состояние, с которым посторонний человек смотрел бы на щепку, уносимую бунтующим морем: не только сожаления, но и простой мысли о том, что, мол,

упала эта щепка и проч., — не приходит в голову. Точно так же безразлично относились и к Бабкову.

Страдая без постороннего сожаления, — Бабков был предоставлен исключительно случаю, который бы давал приют его ненужным в действительной жизни знаниям, его уменью рассказывать армейские анекдоты с клубничными тенденциями, уменью занимать дам, растягивая до невероятной степени разговор на тему: «что долговечнее — дружба или любовь?» и проч. и проч. Настоящая жизнь и всякий, самый ничтожный труд отвернулись от него — он и писцом даже не мог быть потому, что писал безграмотно и «как курица лапой»; оставалось искать таких же уродов, как и сам, таких же искалечивших свои потребности людей. Как ни редки теперь эти случаи — эти люди, но все-таки встречаются и они.

В числе наших уездных персонажей, обедневших вследствие непредвиденных событий, есть особая порода, которую можно назвать шатунами. Желательно им и жить попрежнему — желательно и от века не отставать. Первое оказывается невозможным потому, что существует третье: лень въевшаяся до мозга костей, сибаритство и крайнее непонимание, в чем дело. Второе невозможно потому, что существуют первое и третье. Люди эти поддаются влияниям то той, то другой стороны. Перемена этих влияний слишком быстра, вследствие чего шатуны эти терпят вдвое: за дело не принимаются, думая «махнуть рукою», — и рукой не махают, с минуты на минуту думая взяться за дело. Ни того, ни другого не делается, и шатуны вечно с опущенными руками, стало быть, с явным убытком, если ко всему еще прибавить ту душевную пустоту и смертельную скуку, которая обуревает их ежеминутно: в жизни этих господ нет ни отчаянного кутежа — на последние, ни дельной работы, — а царит какая-то непроглядная мгла, переполненная всяческих мук. К числу таких шатунов принадлежит дальний родственник, какой-то троюродный внук Крюковой, молодой помещик Клубницын, остановивший неожиданно на улице Бабкова, с которым они встречались на вечерах у бабушки.

— Что вы здесь делаете?

— Скучаю, батенька! — фамильярно говорит Бабков.

— Поедемте ко мне в деревню...

— Куда же это?

— Да вот в Сосновку... Поедемте?..

— Пожалуй... Я готов...

Приятели заезжают в гостиницу, закусывают, после чего Клубницын небрежно говорит: «за мной», и выходят на крыльцо.

— Иван! — кричит Клубницын.

К крыльцу подъезжает тройка лошадей, с выдавшимися костями от худобы, с полинялыми лентами в косах, с кучером, на лице которого нельзя не заметить угрюмости и думы, несмотря на плоскую шляпу с павлинным пером, надвинутую как-то ухарски на самый лоб. Небольшая коляска, в которую садятся наши приятели, — ветха и разбита; одна рессора окручена веревками, и какие-то винты внутри ее очень стучат и дребезжат, особенно если экипаж едет по мостовой; это дребезжание винтов, эта убогость и в экипаже, и в костюме кучера, и вообще во всей обстановке Клубницына отражается на его лице каким-то мрачным облаком, какою-то тупою задумчивостию. Выезжая в поле, Клубницын слегка успокаивается и забывает только что сейчас данное себе слово починить коляску и нарядить кучера как куколку. Бабков понимает, что теперь, в момент этой дорожной молчаливости и задумчивости, — он должен как-нибудь высказать Клубницыну ту пользу, которую приобретает тот, взяв его с собою; вследствие этого он вдруг оживляется и извергает на своего компаньона Клубницына целые вороха различных анекдотов, очень живо рассказывает только что случившийся скандал с актрисой, которой какие-то шалуны подпустили воробьев, и проч. Клубницын сначала слушает все это с полуулыбкой — потому, что внимание его отвлекают эти поля, тянущиеся черной полосой, этот встретившийся мировой посредник, непоклонившийся мужик и проч. Во всем этом Клубницын видит какой-то ужасающий знак вопроса, на который он решительно не имеет возможности дать хоть какой-нибудь ответ. Но потом рассказ Бабкова, изобилующий картинами самого шаловливого свойства, постепенно сглаживает неприятное впечатление этих полей, мужиков и посредников, и Клубницын весь отдается во власть весе-

лых пейзажей, выгружаемых целыми кушами Бабковым. Клубницын остается довольным, что взял с собою такого разбитного гостя: не придется скучать в деревне — пусть болтает. Клубницын рад, что ему есть случай забыться. Это тайное желание забыться можно объяснить тем множеством всякого рода неудач, которые в настоящее время осаждают непривычную к размышлениям голову Клубницына и рождаются вследствие отсутствия хоть каких-нибудь крупиц характера.

Подъезжают приятели к поместью Клубницына, и все теперь господствующие в деревенской жизни передряги отражаются и говорят о себе на каждом шагу: когда-то богатое поместье — носит теперь следы быстрого разрушения: с каменных столбов у ворот кто-то стащил каменные шары; на их месте торчат железные спицы и растет трава; травою зарос весь двор, трава покрыла собою дорожки и куртины цветника, еще недавно разбитого перед подъездом, и теперь на главной клумбе, против крыльца, сохранившего кое-что от прежней изящности своей, — стоит водовозка, протянув короткие оглобли с веревочными тяжами. Самая фигура дома постарела и обветшала как-то вдруг, как стареют люди, *вдруг* переменившие разгульный образ жизни на степенность и солидность. Не заставленные цветами и лишенные занавесок окна, палка над бельведером, с обрывком веревки вместо флага, стены, ободранные до кирпичей, и колонны, кое-где облупленные до тоненьких пластинок драниц, — все это грустно действует на присматривающегося к жизни человека, потому что говорит о замирании этой жизни. Сад — безо всякого присмотра, мостики, перекинутые через канавки, устроенные собственно ради художественности картины, — кое-где прогнили и без перил. На противоположном, поднимающемся от сада холме вместо парка, недавно красиво раскинутого на нем, — торчат только голые пни, и глазу, привыкшему к художественной дикости столетних дерев, приходится натыкаться теперь на дрянные, полуразвалившиеся мужицкие избенки и проч. Клубницын как-то смутно понимает, что до тех пор у него будет пусто в кармане, пока этот мужичий вид будет носить признаки живописности: то есть эти дыры в крышах, эти покачнувшиеся и покосившиеся стены и проч. и проч. Понимает он также, что едва ли с его

характером когда-либо будет можно заткнуть щели в мужичьих крышах, выпрямить все покосившееся и таким образом не обидеть и себя. Будучи почти уверен в противном, он уверяет и себя и других, что парк срублен для того, чтоб *очистить вид*, хотя и знает, что произошло это от совершенно посторонних причин, ради тех же стеснительных обстоятельств, которые заставляют ухаживать за мещанином Кузьмою Прокофьевым, почти безвыездно обитающим в бельведере у Клубницыных. Кузьма Прокофьич человек очень тонкий: он очень хорошо понимает, что барин (Клубницын) в теперешнее трудное время никаким родом не может сообразить: как быть? Поэтому он считает выгодным сам помогать ему в этом: он достает ему деньги, закладывает вещи, скупает понемногу луга и проч. и проч. Все это Кузьма Прокофьевич делает с огромной выгодой для себя, попросту говоря — грабит Клубницына, но грабит так изящно, так художественно, что Клубницын решительно не променяет его ни на кого: Кузьма Прокофьич обделает всякое дело тихо, без огласки, роняющей во мнении околодка достоинство Клубницына, и прямо принесет ему чистые денежки; причем самому барину не придется двинуть ни рукой, ни ногой, ни даже пальцем, а уж дело сделано, и вот есть деньги. А это Клубницын ценит дороже всего, хотя бы ему приходилось получать только двадцатую часть против того, что он терял. Главное в Кузьме Прокофьевиче — это отсутствие всякой мужичатины и, напротив того, деликатность, уменье дать «не заметить». Кузьма Прокофьевич до сих пор величает господ Клубницыных знатью, известными помещиками, и даже в тот момент, когда ему хорошо известно, что в целом доме этих знатных господ нет гривенника и неизвестно, когда еще будет, — он с высоким благоговением в лице пьет чай в самом углу комнаты, около двери, и не упустит случая вставить фразку вроде: «...вот тоже, опять, Быковы — знатные господа, примерно хоть бы и ваша милость». Клубницын понимает все это и сам и все-таки ценит эту услужливость, которая дает ему некоторую возможность жить попрежнему. Словом, дела Клубницына идут плохо: в хозяйстве полнейшее расстройство, дома полнейшая пустота и отсутствие всяких интересов под гнетом все более и более наваливающейся тоски.

И в этом-то жилище Бабков не был лишним, принося пользу как третье лицо между двумя недовольными; был полезен, не давая возможности проявляться этому недовольству, отвлекая неприятные столкновения, могущие произойти вследствие него. А недовольными были Клубницыны: муж и жена. Оба они были еще очень молодые люди, привыкшие к постоянно разнообразной жизни, исключительно направленной к достижению удовольствий; очутившись теперь в крайнем положении, они начали сваливать вину настоящих запутанных дел и собственной пустоты друг на друга; муж говорит, что жена не умеет поддержать его в трудную минуту; «другая бы, — прибавлял он, — то-то и то сделала бы и придала бы мужу энергии»; а жена толкует, что «муж виноват, что не обращает на нее, слабое существо, никакого внимания, не хочет поддержать — гибни, мол, лети в бездну», «другой бы...» и проч. Вследствие такого рода отношений супруги дулись. А являлся Бабков, начинал что-нибудь болтать, и оба супруга смеялись или ахали. Бабков имел способность целые часы проводить, например, за альбомом фотографических карточек и трещал при этом нескончаемо; было ему темою все: фигура носа на портрете, поза, глаза, выражение лица и проч. По этому поводу припоминались разные сцены, когда-то слышанные, столкновения, случаи и проч. и проч. Время в этой болтовне проходило незаметно. Начинала m-me Клубницына играть на фортепьяно, Бабков рассыпался в похвалах и, подглядев, что похвалы эти действительно находят уголок в сердце барыни, — принимался понемногу ухаживать за ней, не рассчитывая на какой бы то ни было успех и действуя только ради доставления приятного другим, на этот раз — барыне. — Бабков имеет в глазах Клубницыных еще то важное значение, что иногда его для собственной *потехи* (желание которой, вместе с некоторыми другими, тоже барскими, странностями, сидело во всей своей силе в этих молодых представителях старого поколения) — можно было *третировать* как угодно: Бабков будет отшучиваться, выйдет комедия, а время и тоска уйдут хоть на минутку. Третирование Бабкова начиналось обыкновенно очень скоро после привычки к нему, после того, как все занятные его анекдоты были пересказаны по два, по три раза и надоели. Жертвою насмешек

Клубницына (а иногда даже и Клубницыной) Бабков бывал особенно в то время, когда в обществе их находился посторонний, четвертый, или вообще были посторонние люди, гости. Тогда над Бабковым или просто хохотали, если гость был разбитной человек, или делали ему всякого рода неприятности, подлости, — задавая, например, такие вопросы: «А что, Николай Федорович, милостивейший государь, не знаете ли, как дороги теперь пощечины?» Бабков отшучивался, как мог; и в этой жизни, лишенной, из-за пустоты желудка, всякой свободы, терял все *свое*, излыгался, принужден был и врать, и надувать, и фарсить, лишь бы не быть выгнанным в шею. Жалкое было его существование!

Шло, однако, время — надоел, как собака, Бабков — и при нем, как и без него, попрежнему начинали дуться друг на друга супруги. Попрежнему подходила к ним в страшном образе душевная пустота, наряженная в нищенские лохмотья, — оплеванная и поруганная. Бабков предпочитал сидеть, лежать и курить в своей комнате и как можно реже показывать свой нос в комнаты Клубницыных, так как весь запас разнообразных сведений, которыми он был так пленителен в первое время, — истощился, и ему раз уже было сказано: «Отстаньте, ради бога, с вашим вздором». Бабков и Клубницыны тосковали и вздыхали невыносимо; весь дом носил оттенки какой-то ужасающей мрачности: в верхнем этаже, где никто не жил, ветер стучал рамами и дребезжал стеклами, нанося пыль на кой-какую оставшуюся здесь мебель; в нижнем — в жилище Бабкова и Клубницыных, царствовала злая тишина; не слышно было даже звука фортепьяно, изредка шумело платье, и если раздавалось слово мужа или жены, то раздавалось оно со злостью, хотя бы состояло только в вопросе: «где платок?», «дайте воды», и проч., и проч., и проч. Все, казалось, затянулось в какой-то страшно тугой узел, который развязать нет никакой возможности, — а надо разрубить.

— Решено! — вскакивая со стула и швыряя на пол книгу, с беспредельным одушевлением восклицает Клубницын, — у нас — бал!

— Бабков, бал! — высовывая голову в дверь к Бабкову и снова исчезая, извещает он...

— Кузьма Прокофьич! — продолжает Клубницын, впопыхах вбегая в бельведер. — Выручайте! Завтра — бал... что хотите!.. Вы просили у меня на пять лет арбузовские сенокосы — возьмите... Только, ради бога...

— Очень хорошо-с...

— Распорядитесь: что нужно... Музыка, все... все... самое лучшее — берите все... Не могу...

— Очень хорошо!

— Душка! — ловит Клубницына Бабков в сенях. — Позволь тебя расцеловать... Гениально!..

— Что, в самом деле, из-за чего я себя мучаю?

— Дай мне твои щеки... щеки, понимаешь ли...

— Отстань... Измучился, как собака...

— Ну, зачем это, Пьер? — с радостным, плохо скрываемым волнением спрашивает жена.

— Низачем, — впопыхах бросает ей Пьер.

И воцаряется во всем доме какая-то оживленная суматоха. Особенно радостен и оживлен Бабков: он то принимается вальсировать по комнатам, подпевая: «ля-ля-ля», то вдруг останавливается, обнимает Клубницына, то бросает его и, увидев в окно отъезжающего в город Кузьму Прокофьева, — с неистовством стучит в стекло и потом, растворив окно, кричит остановившемуся Кузьме Прокофьеву: «Не забудьте карты, мелки и прочее...»; от окна Бабков бросается снова к Клубницыну, потом снова вальсирует и т. д. Вечером Бабков заперся в своей комнате и долго сидел, разглядывая свое платье: тщательно старался он закрыть и спрятать неблаговидные места вроде дырок, пятен; долго за-полночь из-за запертых дверей Бабковой комнаты слышалось шуршание платяного веника и какой-то особенный присвист, происходивший оттого, что Бабков иногда поплевывал на щетку и на руку, чтобы лучше усовершенствовать свой туалет. Ложась спать, он напудрил свою физиономию пудрой из коробки такого вида, какие встречаются в самых захолустных провинциальных цирюльнях; тщательно заклеил какими-то черными кружками большие угри, появлявшиеся от худосочия на его физиономии, и притом на самых видных местах, обвязал голову платком и тогда только лег спать, стараясь при этом выбирать такую позу, чтобы ни пудра, ни пластыри не слезли.

Вместе с обитателями дома Клубницына — оживилась и самая фигура дома. На другой день по длинным коридорам неслась усиленная, давно небывалая стукотня ножей, — лакеи сновали взад и вперед, и вообще на всяком живом существе, бывшем здесь, можно было заметить следы истинной радости, отдыха. Часов с двенадцати к крыльцу подкатывали коляски, кареты и другие экипажи; вылезали из них дамы, девицы, кавалеры... все это шумело, хохотало, было счастливо, имея возможность встретиться с недавним другом — старым привольем жизни. Бабков превратился весь в непрерывное движение: в одно и то же мгновение его можно было встретить и в саду с дамой, говорящего ей: «о, дда, я с вами совершенно согласен!», и в кухне — где он, с вытянутым вперед лицом и вытаращенными глазами, кричал: «скорей! скорей, ради бога!», и в передней, из которой он указывает лакею с подносом — с кого нужно начинать, и т. д. Только некоторые помещики, из породы образумившихся, были как-то серьезны: разверстание, издельная повинность, съезды — не сходили у них с языка, что тупым ножом резало Клубницына по сердцу, вследствие чего он еще громче и чаще начинал выкрикать разные тосты, еще более оживлял оргию.

Вечером в саду горели фонари, — и столетние деревья, окрашенные снизу разноцветным светом, казалось, улыбались, улыбались почти детскою улыбкою... На дорожках, на скамейках, под кустами, в темных аллеях — сидел, и ходил, и шептался народ: впечатление целой картины снова воскресшего мертвеца было как-то слишком ново, слишком необыкновенно и вместе с тем слишком печально... Толпившийся под окнами народ дивовался, как гуляют господа. Бабков носился в вихре разнообразнейших вальсов. M-me Клубницына, в антрактах между фигурами контрданса, любезно ожив, кокетничала с каким-то франтом, грациозно отмахиваясь веером. Сам Клубницын под конец вечера начал наряжаться каким-то шутом: представлял пьяного немца, пьяного сапожника, вымазал рожу мукой, что навело старого дворецкого на самые мрачные мысли: наблюдая из темной передней за безобразиями, которыми щеголял барин, старик вздыхал, качал головою и шептал: «Господи, господи! Что ж это такое будет!..» А барин еще пуще

бесновался, и трезвого человека беснование это хватало за сердце.

Пир продолжался до белого света... — Гости начали разъезжаться часу в четвертом вечера на другой день. Чем больше пустели комнаты, чем больше выступал беспорядок, наделанный вчерашним днем, тем более жуть прохватывала Клубницыных; еще страшнее, еще мертвеннее казалась здешняя жизнь, еще ближе и в более ужасном образе подходил к ним какой-то ужасающий и гибельный момент. Жена Клубницына не устояла против этого налегавшего отовсюду ужаса — и с каким-то страхом произнесла:

— Пьер! Я не могу... Я не могу здесь оставаться...

— Едем... едем, — торопливо отвечал Пьер, которому тоже приходилось невмоготу.

— Ради бога, скорей, скорей... Я не могу ни минуты... Мы к тетушке.

Бабков, как вежливый кавалер, стоит на крыльце и провожает гостей: он подсаживает дам в экипажи, с особенною тщательностию укладывая их подолы и кринолины, захлопывает дверцы и кричит кучеру: «пашел!» Дамы мило кивают ему головками и шепчут: «мерси!» Одной он даже слегка пожал руку, другой послал крошечный-крошечный поцелуй и был крайне счастлив.

— Пьер! Пьер!! — вдруг вскрикивает он, видя, как с быстротой молнии на тройке уносятся Клубницыны.

Пьер не обращает внимания и не слышит; тройка летит.

— Это, однако, чорт знает что такое: уехать... не сказать ни слова...

Бабков обижен...

— Я-то как же?.. Семен! Барин куда уехал?

— Не могу знать-с.

— Надолго ли, по крайней мере...

— Ничего не изволили говорить... Только что, ежели к тетеньке, месяца два пробудут.

— Это просто низость!.. Из рук вон... По крайней мере, может быть, он приказывал что-нибудь насчет обеда... и вообще...

— Ничего не приказывали...

— Это просто свинство!!

Бабков раздосадован очень. Сначала он начинает негодовать на все человечество вообще, потом на Клубницыных в частности. Свои негодования он начинает с фразы: «о люди! люди! Есть ли в вас искра» и т. д., а оканчивает: «просто свиньи, невежи, больше ничего...» После этого приговора он исключительно предался соображениям касательно своего спасения и убедился, что нужно снова появиться в городе. Следствием этих соображений было то, что через несколько минут Бабков стоял среди двора мужицкой *сборни* и довольно повелительным голосом взывал:

— Эй! кто тут?

Старый согнутый старик вылез из низенькой двери мужицкой избы.

— Есть лошади?..

— Да вы кто такой?

— Есть лошади?

— Есть.

— Давай...

— Это вы воспенный лекарь-то?

— Я. Давай...

Лошади готовы. Старик вынес Бабкову какую-то книгу — расписаться.

— Читать умеешь? — спрашивает Бабков.

— Никак нет.

— Гм.

Бабков соображает это и, не записав своей фамилии, пишет только: «*Взято* три лошади; без прогонов». — К вечеру усталая и изможденная тройка дотащила его опять до города N.

ДЕРЕВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ

I

НЕЧАЯННЫЕ ГОСТИ

Под вечер в доме лытовского дьякона на столе кипел большой красный, с зелеными потеками, самовар, из аляповатой решетки которого по временам с треском вылетали большие искры. Дело происходило в комнатке с почерневшими стенами, большой стряпущей печью и маленькими четырехугольными оконцами, к которым большими гвоздями были прибиты тончайшие кисейные занавески с бахромой из красных шерстинок. За образом была заткнута большая кленовая ветка, далеко стлавшаяся по потолку: ветка эта, повидимому, служила непрестанным воспоминанием о дне «святыя троицы», но в сущности была предназначена для мух: мухи садились на нее, и поэтому их было меньше в комнате. Кое-где на стене болталась лубочная картинка, приколотая булавкой; вообще комната была бедна и грязна: чистая половина дома, только что отстроенная после пожара, стояла без рам, и поэтому там еще никто не жил.

Нечаянных гостей собралось довольно: кроме меня и приехавшей из посада мещанки, в комнате присутствовали: дьяконица, сам дьякон и дьяконский племянник, молодой исключенный семинарист. При появлении своем в горницу он несколько смутился, увидав чужого человека, и тотчас же было снова попятился в сени, но дьякон вытащил его оттуда за руку. Семен Матвеич (племянник) отошел к печи, кашлянул, тронул рукой шею, опять кашлянул, встал, сел, — вообще чувствовал себя неловко; но благодаря табаку, который предложил ему я, знакомство мало-помалу завязалось: незаметно

от неудобств, сопряженных с добыванием в деревне табаку, о чем сообщил он мне, разговор перешел к охоте, к перепелам, и Семен Матвеич оживлялся все более и более. Скоро он уже, видимо, не стеснялся своим нанковым сюртучком, запыленным и отсыревшим, ни своими длинными охотничьими сапогами, ни вообще сознанием своей деревенской фигуры и неуклюжести. С каждым словом все больше выяснялась эта личность, страстно преданная деревенской жизни и природе, не имеющая никакой возможности как бы то ни было переродиться, делать не то только, что считается нужным у других, а только то, что можно любить делая, будь это охота на перепелов или уженье рыбы по целым дням. Разговорившийся Семен Матвеич постоянно встряхивал своими слегка вившимися белокурыми волосами, которые тотчас же снова закрывали половину лба, удерживаясь над бровью. Говорил он скоро, как скоро делал тощую папиросу и потом выкуривал ее в два-три приема, пуская в окно большие облака дыма, уносимые мгновенно вверх отсыревшим после проливного дождя воздухом.

Разговоры плелись вяло: вспоминали родных, причем дьякон всякий раз с умилением взглядывал на меня и, качая головою, говорил:

— Ах, боже мой, ах, боже мой, — я все гляжу-гляжу, — какая измена в лице? а как скоро время-то? Подумаешь — господи! Кажется, одна минута! — и т. д. Этому вторила и дьяконица, не менее своего супруга ахавшая и ужасавшаяся быстроте полета времени. Надоедало толковать о родственниках, — принимались благодарить бога за сегодняшний дождь; посадская мещанка и Семен Матвеич особенно плодовито говорили на эту тему: гречи, сена́, овсы и проч. не сходили у них с языка; и нужно сказать правду, поэтический Семен Матвеевич умел заставить полюбить эти овсы и гречи человека, ничего не разумеющего в хозяйстве: так хорошо умел он изобразить благодать, посланную дождем,— не указывая на рыночные результаты этой благодати. Иногда разговор отклонялся от этих хозяйственных предметов, — и дьякон с Семеном Матвеевичем затевали какой-нибудь спор, заставлявший дьякона восклицать:

— Ну да, так, так: по-вашему, мы выходим все дураки...

Вообще Семен Матвеич был героем вечера, и когда, наконец, все присутствующие в комнате замолкли, — он все-таки продолжал говорить, не переставая. На этот раз он с особенным увлечением восхвалял деревенские прелести:

— В деревне-то скучно? — говорил он. — Никогда! Да знаете ли, что из города-то я ушел? Просто убежал... Не могу! Хоть убей! Да как же-с? Как же не убежать-то? И семинарию бросил... убежал... Жить нельзя — му́ка... Есть нечего, зубри... Зимой — холод, живешь в яме... К чиновнику придешь: поясница болит, рожа зеленая, кряхтит, слова сказать не о чем. Думаю: да что я? из-за чего в самом деле? Да лучше я в деревню конторщиком: по крайности сыт всегда... Какие такие мне надобны дворцы? Ничуть не бывало! Заведу собаку, ружье, что мне? Зимой натоплю избу — знать никого не хочу... Мужиков набьется, — смех. На гармошке примусь — что угодно: пиэсы, «Не белы снеги...» На разные манеры. Думал, думал — драла!.. Там бумаги пишут: «Самовольная отлучка», то, другое... — Болен! — «...По этапу с ссыльно-каторжными, а равно...» — Болен! С тем и отвертелся... Верите ли, как рад-то! Прибежал домой, прямо в траву... Лежал, лежал — обомлел, такая прелесть... Ей-ей... Поле, лес, охота, — где ж скучать-то? Да теперь меня отсюда — ни-и...

Небо темнело; сверчки начинали перекликаться за печкой; ребята дремали. В сенях дьяконская дочь укачивала ребенка, стукая углом люльки в стену; дьякон вспоминал, что завтра чем свет опять с навозом в поход надо. Кто-то из присутствовавших вздыхал. Наставало скучное время будничного, молчаливого и задумчивого вечера.

— А что, Авдотья Ивановна, — отнесся дьякон к жене: — не пора ли чего-нибудь этак... того?..

Дьяконица сказала: «сейчас!» и отправилась за перегородку. Скоро оттуда послышалось громыханье ухватов, печной заслонки, треск лучины, и немного погодя яркий свет красного пламени осветил потолок, стену и окно за перегородкой. Старшая дочь накрывала на столе чистую скатерть, расправляя ее рукою, носила тарелки, ложки и вороха хлеба.

— Ну-с, прошу покорно, — сказал дьякон, когда все было готово. — Не угодно ли. Уж что есть, — не взыщите,

бога ради... Сами-то мы кое-как да кое-как, ну, а вот кто-нибудь случится... Да вам водочки не угодно ли?

— Водочки? Можно! — отвечал за всех Семен Матвеич.

— Право; я это сейчас дойду... Напротив...

Дьякон надел шапку, достал из шкафчика в углу маленькую стеклянную бутылку с перечным стручком на дне, засунул ее в карман и вышел в сени, но тотчас же воротился и, всматриваясь в темноту сеней, спрашивал:

— Кто это? Кто тут?

В сенях кто-то тяжело дышал и попадал палкою в стену, щупая дорогу; что-то грохнулось на пол; слышалось ворчанье:

— Ффу, боже мой!.. Никак это я... а-а! да-да-да...

Дьякон подался в сторону; в комнату просунулась рука с палкой, нога, прикрытая рваной полой, и скоро я узнал странную фигуру одного пешехода, который попался мне на большой дороге. Но стоило нам только пристальнее, хоть с минуту, остановиться на этом отекшем лице гостя, его черных глазах, услыхать еще раз звук его голоса, чтобы и я и все находившиеся в комнате узнали в госте Ивана Никитича Медникова, общего родственника, который пропадал до этого времени целые годы неизвестно где. Стоило узнать Медникова, и никто не мог удержаться, чтобы невольно не вздрогнуть при этом, потому что у всех, знавших его, мелькнуло сразу множество самых неприятных — своим печальным смыслом — воспоминаний. Перепугавшиеся дьякон и дьяконица не знали, что сказать. Дьякон, впрочем, кое-как перемогся и, сложив уста в улыбку, заговорил: «Боже мой, боже мой! какая измена в лице!», — но Иван Никитич остановил его строгим взглядом, брошенным искоса, подошел к образу и с театральным жестом делал огромного размера кресты.

— Какая измена в лице! — бормотал дьякон, усаживая гостя за стол. Гость был крепко хмелен и утомлен. Он почти не говорил, а с ним боялись заговорить, потому что не знали, скажет ли он на это что или прямо начнет драться. Никитич сидел, облокотившись локтями на стол, туго поворачивал голову и неподвижно останавливал глаза на ком-нибудь из находившихся в комнате;

отрывисто вздыхал, как вздыхает тяжело пьяный человек, бормотал «мм-дда!», или вдруг запускал руку в карман, выворачивал его, вытаскивал оттуда копейку и вместе с кучей сора, наполнявшей карман, вываливал ее на стол; потом упирался пальцем в эту копейку, нахмуривал брови, думал и вдруг снова брал все это в горсть и тащил к себе, вместе со скатертью. Всё это видели в Никитиче и прежде, во всем этом не могли ничего понять, но боялись дохнуть, потому что знали, что Никитич может вдруг раскроить голову. Немало изумились дьякон и дьяконица, увидев, что Медников уплел целую сковороду яичницы, несмотря на то, что были Петровки и что Медников был лицо духовное. Едва выпил он рюмки две водки, как глаза его почти тотчас же из мутно-пьяных приняли грозное, ненавистное, давно знакомое нам выражение. Дьякон опасался грозы, ибо чувствовал, что она может последовать каждую минуту, и мучился еще тем, что положительно не знал, за что она может последовать, не знал, с какой стороны и в каком роде угождать Никитичу. Поэтому он кашлянул слегка и, осторожно придвигаясь к гостю, заговорил:

— Отдохнули бы, Иван Никитич, чай, с дороги-то...

Иван Никитич устремил на него упорный взгляд, но дьякон, устояв кое-как под напором этого взгляда, потихоньку пропускал ему руку под локоть и продолжал:

— Право! Опять же и время, да и мы-то...

Пока дьякон возился, укладывая спать ворчавшего басом Медникова, вся остальная братия собралась на крылечке — посидеть. Ночь была темная, дул ветер, и по небу неслись стаи дождевых туч; по временам кое-где тучи эти разрывались, пропускали в образовавшуюся прогалину клочок светлого пространства и смыкались снова. В избах и постоялых дворах светились еще огоньки, отбрасывая на стекла окон тени ужинавших извозчиков; у ворот постоялых дворов висели фонари с сальными огарками, оттопыриваясь на коротких гвоздях и освещая снизу пучок трепавшегося по ветру ковыля. Баба-дворничиха зачем-то вышла на крыльцо со свечкой; огонек свечи, казалось, только горел яркой звездочкой во тьме, но не светил далеко. Колеса медленно проезжавшей повозки застучали по бревенчатому мостику,

перекинутому через шоссейную канаву, и чуть слышно покатились по земляной дороге мимо постоялых дворов. Спустя немного слышался разговор:

— Самоварчик-с? Можно... можно... Это сколько угодно...

— Нет, самовара не нужно...

— Ну, как вам будет угодно... Как угодно-с... А то, ежели в случае чего самовар потребуется, — так это в одну минуту... Потому у нас в трубу произведено... когда угодно...

— Нет, самовара не нужно...

— Не нужно? Ну, как угодно... Это как вам будет угодно... Конечно... Я к тому говорю, в случае ежели самовар потребуется, например...

— Почем овес?..

— Ах, боже мой! Неужто ж мы... Что мы такое? Господи боже...

— Почем овес-то?

— Да будьте покойны, сделайте милость... Аль мы что-нибудь... Что с других, то и с вас...

— С других-то это ты сколько хочешь... С нас-то сколько?

— Да будет вам... О господи боже мой... Чай, по времени-то сами знаете... Сами тоже деньги какие платим... Пятьдесят копеичек...

— Э-э-э!..

Слышны удары кнута.

— Стой! стой!.. Куда же вы?.. Позвольте...

— Н-но, идол... э-э-э...

Колеса снова стучат по шоссе. Удары кнута повторяются в усиленной степени.

— С пятаком за Дунай поехал, — грубо заключает мужеской голос.

Дьякон вошел на крыльцо и опустился на лавку.

— Ффу, боже мой... Устал. И какой беспокойный этот Медников... даже совершенно утомился... Ей-богу... «Послушай да погоди...» — «Спите, говорю. Сделайте ваше такое одолжение...» — «Прости меня...» — «Будьте покойны... Спите... Что такое? в чем?» — «Прости... виноват...» Чудак...

— Совсем смотался, — произнесла дьяконица.

Отец дьякон только вздохнул.

Становилось все тише и тише. В кабаке, на продолговатых окнах которого торчали какие-то бутылки с красноватою жидкостию, слышалась песня и стучали чьи-то пьяные ноги.

Почти все сидели молча; дул ветер, и по временам издали доносилось:

— Э...э...э...э...

— Куда же вы? Постойте, — останавливал другой голос. — Сделайте милость!..

— Э...э...э...

И опять удары кнута сыпались на лошадей, а колеса стучали по грохотавшим бревнам мостика.

— Не пора ли, господа, на покой? — сказал дьякон.

— И то!.. — сказали все.

— Право. Время... Да и опять с дороги-то вы... отдохнуть...

Все пошли спать. Семен Матвеич остановился в сенях с дьяконскою дочерью и сказал:

— А что, ежели к вам забраться?

— Только посмейте...

— Ей-богу! Что ж за важность? Нешто меня в Сибирь за это?

— Да и не знаю, что я тогда с вами сделаю...

— А вот посмотрим... Любопытно!..

Семен Матвеич говорил это и в то же время отворял дверь в чистую половину, где нам пришлось спать. Утомленный ходьбой целого дня, Семен Матвеич был как-то неразговорчив, да и сон одолевал его, как уставшего ребенка: глаза так и слипались. Лежа, начал он стаскивать сапоги; снял один, принялся другой снимать — что-то туго идет. Семен Матвеич сказал: «О, шут тебя... и так!» — повалился и заснул в одном сапоге.

...Улеглись все, лег и я, но не спалось. Ветер, урывками залетая в окна, не защищенные рамами, свежею дождливою сыростию обдавал мое лицо и шевелил сухими стружками, валявшимися по углам и на полу комнаты. Среди темноты и тишины ночи мне как-то особенно настойчиво лезло в голову все, что только я когда-нибудь имел возможность видеть или слышать о Медникове, и поэтому фигура его все определеннее выступала предо мною.

II

НИКИТИЧ

Еще в ту далекую пору, как мне впервые приходилось видеть Медникова или слышать что-нибудь про него, — имя его способно было уже производить такой же трепет и ужас, какой обуял теперь все семейство лытовского дьякона; и тогда едва ли не во всей Т-ской губернии весь духовный кружок знал хоть понаслышке про тьмы тем всяческих безобразий и беззаконий, которые неразрывно следовали за именем Медникова и положительно не допускали мысли насчет какой-нибудь терпимости этой буйной головы в мирной жизни, потому что действительно Медников был осужден всею своей природой никогда не жить и не уживаться с этой жизнью. Тем более нетерпим и ужасен был он среди своих деревенских родственников, которые должны были переносить его беспутства, — почти обязательно, не сходясь с ним при этом ни в чем. Все характерные особенности деревенских родственников, которые отгораживали от себя личность Медникова, имели возможность выказаться вполне благодаря случаю, который можно считать почти общим для всего духовного мира.

Как только количество ребят возрастает настолько, что их нет никакой возможности усадить в телегу и даже в две, отношения деревенских родственников начинают слабеть, дружественные связи стушевываются, потому что за многочисленностью ребят посещение именин и храмовых праздников становится почти невозможным. Ребята, между тем, появляются все в большем и большем количестве, родственники стареются, и настает пора, когда не пишется даже поздравительных писем к рождеству и святой, — родственники как будто исчезают друг для друга с лица земли и забываются. Тишина царит. Вдруг по селам и деревням проносится, как вихрь, весть, что такой-то из числа множества племянников, только с год места успевший определиться в писцы губернского правления, — так препрославился, такие делает дела, что уму непостижимо; управляющий сажает его за один стол с собой, в лавках он забирает все без денег: мука, крупа, свечи, все непокупное, и кроме того, ежели захочет, то может кого угодно отдать под суд

и в Сибирь сослать... Это сразу поднимает на ноги приунывших родственников; восстают они поголовно до десятого колена, припоминают разные обиды и поношения, припоминают тысячи нужд, начиная от башмаков и жениха для дочери, от корыта — до разорвавшейся шлеи и кончая жалобой на благочинного и даже далее, до бесконечности... Поднимаются эти десять колен, запрягают, для большей жалости к своей фигуре, самую тощую, самую ободранную лошадь и спешат на разгоревшийся огонь — отогреть свое изболевшее всяческими горестями сердце. Вместе с тайною надеждою на подачку с первых же шагов в городе родственнику приходится испытать еще и трепет по мере приближения к цели: на каждом шагу он убеждается в действительной славе своего племянника, — потому что стоит ему спросить у встречного: где живет такой-то? — как этот встречный тотчас же снимает шапку и тогда только отвечает: там-то. Огромные новые ворота, к которым темным вечером подползли сани деревенского родственника, огромные сараи, конюшни и десятки сажен дров, разместившиеся на дворе, — все это рисовало в голове его какого-то богатого Лазаря, на котором даже ваточный халат почему-то казался пурпуром и виссоном. Сообразно с таким величием дух и тело родственника умалялись до последнего предела, он не иначе решался показать свои глаза в комнату, как узнав предварительно в кухне: «не почивают ли?» Умывался, расчесывал волосы, с женоподобной физиономией шел в горницу, перекрестившись перед дверьми. Прославившийся племянник оказывался разжившимся секретарем, обладавшим всем, чему завидуют живущие впроголодь: жена высокая, тихая, постоянно беременная, дом полная чаша, жизнь ленивая и почти всегда неряшливая, дети смирные, послушные, с большими головами, золотухой и отупевшим взглядом. Увидав все это, деревенский родственник не смеет даже сесть к столу и пьет чай у двери, держа стакан на колене, и в это время убитым голосом передает все деревенские новости, заканчивая их известием о разнесшейся по всем селам и весям славе его, племянника, чиновническое лицо которого деревенский родственник созерцает в эту минуту. Последнее известие приятно действует на племянника, и деревенский родственник получает право

неутеснительного житья, чем он и пользуется по-своему, выказывая при этом такие качества, имена которым можно брать только из истории ветхого завета, и притом не позднее появления десяти заповедей: «любостяжание», «лжесвидетельство», страстное желание «чужого осла и вола и всякого скота». Это обнаруживается на другой же день, тотчас же по уходе племянника в должность. Родственник выходит «поболтаться» по двору; при дневном свете все эти сараи, водовозки, закромы овса и проч. и проч. до такой степени раззадоривают его библейские похоти, что родственник, ни минуты не задумываясь, решается вступить в знакомство с кучером; а так как кучер представляется ему тем, что в старинных книгах, сказках и житиях встречал он под названием «царедворец», то и знакомство с этим царедворцем родственник начинает исподтишка, ласково, вкрадчиво, говорит ему «вы», узнает, сколько лишних хомутов, шлей и проч. и проч., и своею обходительностью побеждает мрачный вид кучера, который скоро беспрепятственно вручает ему эти лишние хомуты. А когда племянник возвращается из должности, то бывает несказанно изумлен, наткнувшись в передней на гору собранного утром хлама; гора эта начинает шевелиться, и скоро из средины ее выдвигается умиленная физиономия родственника и произносит:

— Не поскупись!

— Берите, берите! — махая рукой, говорит племянник.

— Отец!! — трагически заключает родственник, ныряя в середину горы, и тотчас же увлекает ее на двор, шаркнув о притолоки. Через минуту он возвращается с черного крыльца и начинает разговор совершенно в другом роде: «Что же теперича главно-то-управляющий у вас, полный генерал или как?» и т. д. Вслед за тем родственник постепенно обрушивается на племянника множеством просьб, вымаливает ненужный платок, одеяло, галстук, стакан и, нагрузив свои дровни, уезжает во-свояси.

Никаких подобного рода любостяжательных качеств не имел Медников, даже самое появление его в городе у родственника не носило такого униженного характера. В городе он являлся не по каким-нибудь своим делам, — ибо таких не было, — а единственно для «толчения

воды», каковое глубокомысленное занятие предоставлялось ему не в пример чаще других. Поэтому, прежде нежели Медников появлялся в городе, — ему предшествовали разные предзнаменования, как о приближении сильной бури свидетельствует ползучий ветер, поднимающий песок и пыль. Пред появлением его в дом чиновника являлась какая-то консисторская особа: имея сообщить нечто нужное, она ломалась и хранила до тех пор тайну, пока племянник не упитывал и не упаивал ее всем, чем мог; тогда только особа эта извещала плохо вращавшимся языком, что Медников опять напрокудил: начал расслуживать молебны: ни господи, ни помилуй, ни аминь и т. д., или нарядил в какие-то неприличные костюмы поповских поросят, желая этим насолить отцу Василию, или что-нибудь еще в подобном крайне безобразном и кощунственном духе. Следовали просьбы притушить дело, но скоро получались новые доносы о буйствах, и Медников неизбежно должен появиться в городе. С этого дня начинались самые тревожные ожидания. Через несколько времени начинали носиться слухи, что он уже здесь, что его видели в том или другом кабаке, и вот наконец, в ту самую минуту, когда и не ждут его, когда уже немного поуспокоились, в дверях появляется его ужасная фигура, с зачесанными назад поседевшими волосами, открывающими огромный лоб и большие черные, ужасные глаза. Он пьян, шатается и безо всяких церемоний приказывает заплатить извозчику, попирает всякие семейные приличия, растягиваясь по полу или с грязными сапогами забираясь в залу и т. д., что все было причисляемо к числу ужасов, которые изобиловали в Медникове. В доме родственника тихая жизнь замирала, наставал какой-то лютый холод и лютое молчание, всеми мерами напрягавшее голову, как бы только отделаться от этого гостя. А гость и сам напирал только на это. Все отношения его к племяннику ограничивались получением трех целковых, пропиванием их и опять получением. Если же почему-нибудь выдача этих целковых замедлялась, то Медников принимал усиленные меры, стараясь действовать так, чтобы отвращение к нему, к его особе, заставило поскорее выпроводить его. Ни водовозки, ни хомуты не составляли его забот, благодаря той бездомовности, которая, между прочим,

была его главною особенностью: во всю жизнь ему не довелось съютить своего гнезда, своего хозяйства. На храмовые деревенские праздники он приезжал на чужой лошади с наемным работником; убогая одежда его, убогая повозка — одно это ставило его особняком от других пировавших собратий. Но кроме этого, картину бездомовного житья, не имевшего ни малейших признаков внутреннего тепла, особенно ярко дорисовывала убитая жена Медникова. Это было маленькое оборванное существо, с постоянными слезами на глазах и с багровыми хмельными пятнами на одрябблевших щеках. Сначала тихая и унылая, она старалась сохранить скромный и озабоченный вид деревенской хозяйки, со сложенными на груди руками, сжимавшими носовой платок, пробовала она сидеть между своими деревенскими родственницами — попадьями и дьяконицами, охала вместе с ними над разными обуревающими их печалями и потом исчезала куда-нибудь в чулан, являясь оттуда только под вечер, и то вследствие особенно сильного и бурливого хмеля. В это время она даже и насильно не могла походить на своих домовитых и чинных родственниц, потому что хмель прогонял из нее и наружную скромность и всякое, еще недавно признаваемое почти законным, уважение окружающих дел и слов: хриплым голосом и нетвердым языком, со слезами и со злобою, которую и представить себе трудно среди жизни, основанной на нянченье ребят и проч., начинала она проклинать свою каторжную жизнь. Громко, вслух договаривала она, опьяневшая, концы каких-то накипевших в ее душе жалоб и убивалась до тех пор, пока разгулявшиеся и начинавшие уже затягивать «заиньку» родственники не находили нужным уложить ее спать. Долго слышались из-за запертых дверей чулана ее крики и глухие удары кулаком в стены, — но когда прекращались они, никто не имел возможности заметить, потому что все эти «никто», проснувшись поутру с хмельными головами, — уже встречали жену Медникова с тем же скромным лицом, с тем же насильственным вниманием ко всем, как и вчера утром; только еще более изможденное, еще более унылое лицо и засохший над бровью шрам — говорили им о мучительной ночи, которую провела она.

Выражавшаяся в таких безэффектных, но слишком правдивых и поэтому невольно отталкивавших картинах, — погибель, кажется, не встречала себе избавителя, потому что с годами чаще и чаще начали доноситься слухи о безобразиях Медникова. В безобразиях этих были все атрибуты, обставляющие погибель русского человека: и кровь, и водка, и разбитая голова, и разбитый полштоф, и т. д. Все глубже падал он, и беспутная жизнь становилась для него все более неизбежною. Не донимали его разные отдачи под начало, не донимала даже водка, которая только калечила его, но не в силах была доконать наповал. Наконец пронеслись слухи, что у него умерла жена: рассказывали, что Медников убил ее; начальство запретило ему служить. Медников шлялся по монастырям, из которых почти тотчас же выгоняли его, и потом несколько лет совершенно пропал из виду у всех: изредка встречали его в Засеке, на большой дороге, в кабаке, и притом в самом отвратительном виде. Ясное дело — погиб человек.

Но кто видал Медникова в его нормальном, то есть пьяном, буйном и дико-разрушительном состоянии, тот, наверное, изумлялся, увидав его хоть в одну трезвую минуту его жизни; в эти минуты решительно невозможно было узнать Медникова: все соединенные с его именем качества, вызывавшие потребность куда-нибудь спрятаться от одного появления его, — исчезали совершенно. Медников в эти минуты настолько сдавался во мнении своих врагов, что при всей мелкости своей враги эти, вместо какого-нибудь топорного отмщения, чувствовали к нему такую же снисходительную жалость, какая чувствуется к виноватому ребенку. В эти минуты он действительно был ребенком, страшно конфузливым, робеющим перед серьезными лицами окружающих его людей, робеющим потому, что в этой серьезности людской видится ему страшное превосходство, — все равно, если с этой серьезностью кухарка чистит картошку или чиновница сидит, ничего не думая, у окна; в эти минуты если и подозревается людская пустота, то убедившийся в своих недугах человек всеми мерами постарается оттолкнуть это подозрение и растолкует все в свою невыгоду. В трезвые минуты физиономия Медникова принимала какой-то, худо скрываемый, виноватый вид; всегда

нахмуренные брови выпрямлялись и как-то беспутно пятились кверху; постоянно гневное выражение глаз заменялось совершенным смущением, не позволявшим смотреть прямо в лицо человеку, перед которым считаешь себя виноватым; к этим обессмысливающим лицо признакам в это время присоединялась еще какая-то улыбка, которая то появлялась вдруг и не сходила даже в то время, когда Медников просто брал со стола чай, сахар, каковые события не заключали в себе ничего юмористического, то, напротив, мгновенно исчезала, заменяясь какою-то искусственною серьезностью. Побежденный окружающей обстановкой, Медников рад-радехонек был, если замечал, что хоть что-нибудь и его привязывает к числу этих серьезных людей: он делался предупредительным, заискивающим. В такие минуты, кто хотел, мог вертеть им как угодно. Он с охотою принимался переписывать гимназисту записки «о вычитании» и был непритворно рад, когда пискливый первоклассник находил, что он верно написал; если этот гимназист заставлял его читать вслух Езоповы басни, то с неменьшим рвением принимался он и за это дело, с отчетливостию выговаривая каждое слово басни, повествующей о том, как лисица, встретив барсука, объявила ему, что дела идут так-то и так. Это совершенно детское смущение перед чуждой ему жизнью, перед чуждыми ему добродетелями всегда бывало большою помехою в его жизни, эпизоды из которой он в трезвые минуты иногда рассказывал.

Деревенские деды его рисовались в детском воображении такими же страшными гигантами и силачами, образы которых с особенною любовью очерчивают старушечьи сказки. Что-то невероятно дикое было в этих мужиках, всю жизнь возившихся с сохою и бороной и не имевших поэтому никакого случая выказать своих природных сил, кроме полной возможности ошарашить народ каким-нибудь невероятным подвигом своих невероятных мускулов. Из такой породы выходил и Медников. Но голова его, до тонкостей успевшая уже постигнуть кратчайшие пути к разрушению галочьих гнезд на колокольне, имела возможность не остановиться на том скудном материале для соображения, который дает обстановка сельской жизни: его отдали в училище. Новое место и новое дело заняло его.

— Сначала, — рассказывал Медников, — я прилежно и хорошо учился... Попался мне товарищ Лукин. Заманил он меня в лодыжки играть. Что-то понравились мне лодыжки эти, — только совсем бросил я науки... Отдали Лукина потом в солдаты. Остался один, думал-думал — нету мне товарища! Оробел; принялся опять учиться. Повинился. Перевели меня в реторику, — замечаю я в книге одной слова: «Самая высокая премудрость — суета». По этим словам я взял и исключился... Хотели меня отпороть — не исключайся. Услыхал об этом, перестал в класс ходить, чтоб не отпороли. Прихожу домой пешком. Зачем? Объявляю: так и так — исключился... Полились слезы. Самому мне стало горько. Повалился отцу в ноги, — в саду было дело, плачу и говорю: «Батюшка! Помилосердуй меня! Я человек... Я заленился... Прости меня. Ежели хочешь — то накажи». Простил отец. «Что же я с тобой буду делать! Куда я тебя дену?» — «Батюшка, Никита Петрович! Отвезите меня ко владыке. Куда я гожусь: в солдаты — в солдаты, куда хотите, туда и киньте...»

Много жизни было в нем. В эту пору попалась ему молодая дворовая девушка, побежденная сразу одним взглядом его огненных глаз. Пошло дело по-своему.

— ...Потащила в сад, — рассказывал Никитич. — Деревья большущие — ночь, духота, и туча висит... Шли, шли — так и кидается! так и кидается!.. «Отвяжись!» — «Голубчик! Милый мой!» — «Отстань. Поди прочь!.. Уйду...» Главная досада — сама; терпеть не могу, — говорю: «Ни за что на свете!..» — «Утоплюсь!» — «Топись, чорт с тобой...» А тут сажелка... Гляжу, — что ж бы ты думал? по эстих пор в воду!... Э-э, думаю, пожалуй чего доброго! Бросился — вытащил. Усадил на лавку, говорю: «Что ты, ошалела?» Смотрит на меня, как сумасшедшая... Ей-богу, даже я испугался; что с ней такое? Между прочим не сдаюсь... «Изобью!» Молчу. «Зубами разорву». Молчу. Принялась кусать меня, за волосы, бить, и вдруг заплакала... Да как ведь залилась-то! Белый свет зачинался, заря... «Отведи меня, говорит, Никитич, домой...» Еле движется... Жалко стало...

«Дня через два встречаю: глаза в землю, как убитая... Подошел, взял за руку, — повел... Думаю: вот теперь моя! Хотел тоже, как добрые люди, честь-честью;

самовар раздобыл, думаю: угощу... Во флигеле каморка была, забрались туда. Оконце махонькое, заварил я этот самовар, как попер оттуда, братцы мои, дым. Ни дохнуть! Слышу, на дворе кто-то орет: что за дым? кто такой? Думаю: провались ты и с самоваром совсем, толкнул его ногой под лавку... Пойдем! И пошли мы в рощу...»

И любил Никитич хорошую девушку сильно, только все-таки по-своему любил...

— Замечаю я, — продолжал Никитич, — будто она поглядывает маленько. «Сма-атри», говорю... И этому молодцу тоже внушаю: показываю кулак, говорю: «Видел?» — «Как не видать...» — «То-то, полегче бы...» Тем временем, однако, слышу, галдит народ: так и так, присматривай... «Э-э, думаю, милая...» Выбрал время, вызываю: «Пойдем!» — «Пойдем!..» Повел ее в сад. Идем; разговариваю с ней так-то; все дальше да дальше... Отвел в самый зад, — свистнул... Так она и зашаталась, потому, как только свистнул я, — сейчас из кустов человек пять народу (братию эту я нарочно для секуцыи припас, с прутьями). «Ты что же, говорю, любезная, так-то?.. Ребята! Ну-ко!» Сейчас ее обземь... верите ли, то есть так жутко стало!.. А она как мертвая... И сам-то я, признаться, ошалел... Но, однако же, перемогся, и, сказать по чистой совести, взодрали мы ее препорядочно!..

Но на этой дороге деревенского «лихача-кудрявича» смиренным глазам отца он казался каким-то «разбойником», «живодером». Оставлять дело в таком виде было невозможно, из опасения нажить уголовщину; нужно было прибегнуть за спасением к начальству, вследствие чего скоро повезли Никитича ко владыке. Дал ему владыко «Апостол» почитать, на пробу — знает ли что? и когда Никитич дернул своим деревенским баском — *«братие!»*, то владыко только дрогнул всем телом от его ужасного голоса и, ласково сообщив при конце беседы, что нужно читать не *братие*, а *во дни оны*, — определил его в певчие. Когда известили об этом решении Никитича, он сказал: «Куда мне... У вас бочки, а я капли в рот не беру». — «Ну это, брат, сочинение», — отвечали ему. Не верилось Никитичу, что и он будет этой бочкой, а пришлось быть. И случилось это незаметно. Отравил

он свое тело самым приятным образом. Жизнь певчего пришлась ему как раз по натуре, которая требовала в это время самой полной жизни, такой жизни, чтобы каждая жилка жила и трепетала жизнью, каждая крупинка крови не дремала и гуляла живя. Голос Никитича дал ему такую (*покупную*, впрочем) жизнь. Город Т. скоро сделал его своим любимцем. Населенный удалым мастеровым народом, город этот жил по-старому, стараясь находить удовольствия и наслаждения свои по своей натуре; и вот между страстною любовью к кулачным и петушиным боям, между голубиною охотою и соперничеством в нырянии до самого дна неизмеримо глубокой речки Воронки, протекавшей под городом, и проч. как нестерпимо ошарашивающее диво — полюбил этот народ и голос Никитича. Это было до такой степени дивное диво, что любители громящих нот Никитича иногда не выдерживали и принимались в церкви «трепать в ладоши». Если же оказывалось невозможным так выразить свое удовольствие, то обожатели Никитича доказывали это тем, что тотчас же уходили из церкви, как замирало последнее слово «Апостола», — потому что более интересного для них не оставалось ничего. Никитич сделался героем народа, и народ до безумия любил его. Говорит об этом то неизмеримое количество водки, которое вливал в него этот народ, умоляя, например, во время благовещения позабористей долбануть — «*и Агарь...*» Штофы французской водки вкачивали в него богатые купцы, желая, чтобы он точно так же, еще половчей, прогремел на свадьбе: «и жена да боится своего мужа-а!» И действительно, это-то время Никитич мог считать самым счастливым в жизни; в это время все его невероятные буйства, — начиная с буйств голоса до разгромления какого-нибудь тщедушного загородного кабачка, — совершались в полном экстазе его дикой и сильной природы. В это время ни о чем не думалось; виделось и слышалось не так, как видится и слышится людям, составляющим своими особами будничную картину мирной жизни, — а так, как видят и слышат пьяные уши и глаза. Но Никитич все-таки оставался тем же деревенским детищем... Время, однако, брало свое. С замиранием сердца начали замечать его обожатели, что с некоторого времени голос Никитича не так тверд и «верьха» выводит плохо, а иногда

и совсем нехватает. «С перепою», — утешал себя народ, жалел Никитича и потом еще больше убеждался, что дело дрянь. Вышел раз Никитич с «Апостолом», кашлянул словно в бочку и завертел листами. Народ притаил дух... Раскрыл Никитич рот — и ни звука... Засипело что-то вместо громовых слов, кровью налилось лицо Никитича, и сердце замерло сразу у всей набившей церковь толпы. Случилось такое дело в другой, в третий раз, пробовал Никитич по неделям не пить, отрезвлялся, — но не ворочалось назад его исчезнувшее диво: в горле всегда словно чулок шерстяной был заткнут, голос хрипел, и сипел, и дрожал, словно кто Никитича за плечи в это время принимался трясти. Знатоки горевали об нем, не было другого более задушевного сожаления, как сожаления об его золотом голосе...

Горевали они, обожатели его, еще и о том, что в эту пору Никитич погибал в пьянстве самом зверском, самом неистовом. Пил он с горя, и потому он стоял на той дороге погибающих где-нибудь под забором, с раскроенным лбом или с проломленной головой, которая в самое короткое время постигает людей, успевших еще до этого момента расшвырять значительный запас своих сил. Но Никитич был еще в полном соку, он устал только, но не ослабел; и его природные силы, умевшие охранять голову от пролома и всегда хорошо сдававшие всякого рода сдачу, иногда успевали настолько пробудить его опьянелый, но нетронутый еще ум, что Никитич мог хладнокровно взглянуть на свои подвиги, и в таких случаях он находил, что «дело дрянь», что приходится доколачивать себя, тогда как по чистой совести не за что и доколачивать-то, да и доколотишь ли еще? Чаще и чаще начинали приходить ему в голову эти мысли. Покупная жизнь прошла. И Никитич тотчас же увидал, что он хуже всех на свете. Идет, например, он ранним утром, после ночи, проведенной на конце города в какой-то подозрительной лачуге; на длинных ногах его надеты чужие короткие разодранные шаровары; на плечах его чужая, узлами связанная рубаха, которую из милости дал целовальник вместо пропитой; похмельные и сердитые глаза его, созерцающие это рубище, припоминают Никитичу, что все это видит он не в первый, а в сотый раз, и в сотый же раз испытывает какое-то отвратительное ощущение, ро-

жденное самим собой. В сотый раз видит он ни на волос не изменяющуюся картину будничной жизни, которая в лице своих представителей вытаращивает глаза при виде его, Никитича, фигуры. Скверно становится на душе у него, и начинает это деревенское детище задумываться надо всем, на что только упадут его глаза, потому что все больше и больше сознает оно ненужность своего деревенского опыта и смысла в этой чужой жизни, усвоившей, как на зло, всевозможные калечества. Чиновник не спеша идет в должность; барыня гуляет с детками, змей гудит в вышине, дерево стоит, а под деревом спит кто-то... И многое множество подобных будничных вещей останавливают его; все это видел он миллионы раз, все это даже надоело ему, как надоедает не прочитанная, но сотни раз перелистанная книга, в которой глаза почему-то останавливаются на одних и тех же строчках. И вот теперь все эти подробности принимают совершенно другой вид: их ненарушимое постоянство, переломившее своею стойкостию самое недовольство ими, говорит о чем-то таком, чего всеми мерами хочется добиться; говорит о такой тайне, которая зовет жить, требует не перелистывать, но прочитать книгу всю. И Никитич твердо решается сделать это, ему хочется теперь прочитать и постигнуть эту книгу с первой, заглавной строки до точки при конце, чтобы не быть хуже всех, чтобы самому участвовать в общей картине окружающей жизни. Но попадается ему книга, вовсе не для него написанная. Как только ему пришлось переступить границу из пьющего царства к миру и тишине нравов, — ему пришлось столкнуться с мелким чиновничьим бытом и с бытом городского духовенства: а в этом быту жизни-то никакой и не было как на зло. Представители мира и тишины наметили себе какие-то крошечные цели, вроде прибавки к жалованью или надежды переклеить потолки и т. п., и десятки лет дожидались этого счастливого времени, набивая томительные промежутки ожидания чем попало, всяким сором: дрались и ругались они за цыпленка, перелетевшего к соседям, пороли своих ребят, потому что нельзя же ребят не пороть, а как только не с кем было ругаться и некого пороть — баловались чайком. Самовары по этому случаю были заведены большущие, по ведру входило... Потели таким образом они десятки лет,

а когда, наконец, потолки были переклеены (прибавки вообще никто никогда не мог дождаться), — то уж не было никаких стремлений: гемoрои, поясницы и ревматизмы принимались хозяйничать над ними по-своему, и оставалось только желание, пронесенное в целости через всю жизнь и состоявшее в том, чтобы как-нибудь попасть в царство небесное, ибо в аду жара представлялась до такой степени ужасною, что одна капля воды равнялась целому кувшину холодного квасу, который в сей тленной жизни всякий чиновник выпивал залпом спросонок и с чем расстаться положительно не мог. — Не намечая себе иной цели, кроме желания не быть таким, как есть, Никитич с искренностию, какой не было в *добрых людях*, понимавших тайну фокуса, присматривался к этой житейской пустоте, будто бы (казалось ему) обставлявшей только самую тайну. Он щупал и разглядывал поодиночке каждую шерстинку в куске сукна и поэтому понятия о целом куске составить не мог. Не разглядев пустоты и мертвенности, которая царит в мирных нравах, Никитич решил прямо стать за кулисы этой жизни, и первый шаг к этому — женитьба. «Надо жениться, — размышлял он. — Что ж так-то?» Дело это совершал в полной трезвости, то есть в полной наивности ребенка. Невеста с первого взгляда не пришлась по вкусу Никитичу, но стоило ему увидеть поднявшуюся по случаю его появления суматоху, эти бледные, испуганные лица всей семьи, стоило услыхать, как кто-то в сенях умоляющим шопотом говорил: «Господи батюшка! Хоть бы теперича-то пристроить ее...» Наконец, стоило подглядеть в лице невесты трепет за роковую минуту, наставшую теперь, — и Никитич сказал: «Согласен». Жена попалась не по нем: вялое, больное существо, всеми забытая в семье, как такая девка, на которую никто не позарится, — она сама видела в замужестве свое тихое пристанище, хотела она немногого — именно только того, чтобы ею мог помыкать только муж, а не встречный и поперечный, толкавший ее и в хвост и в голову во время житья в семье. А Никитич и не думал никем помыкать, он сам отдавал себя на чужое помыкание, надеясь, что за него будут думать и таким образом спасут его, не умеющего думать *по-ихнему*, от погибели.

Средства к спасению были предложены самые верные: «не пей и сиди дома». Не пил, дома сидел и дурел от скуки Никитич целые полгода. К этому времени жена его успела понемногу войти во вкус *своей* жизни: сначала она была рада-радешенька, что она мужняя жена, может доверху накачивать себя чаем, потом, расправляя крылья больше, начала помаленьку заводить истории с соседями, соседскими кухарками, притягивая сюда Никитича, который дело мог решить только в пьяном виде, и притом не иначе, как осадив всех воевавших своим здоровенным кулаком, а в это время он был трезв, стало быть, только таращил глаза и соглашался в одно и то же время с обеими противными сторонами. Жизнь жены входила все больше и больше в свою колею, — в короткое время были, благодаря ей, оцеплены сплетнями два квартала, и начинал пошевеливаться третий... Никитич все сидел дома; смирно сидел и не пил. Чувствовал он, что в этакой жизни он ни разу слова не сказал такого, чтобы нужно его было сказать; ни разу не подумал, не сознавая при этом, что думает так по необходимости; шагу не сделал по своему желанию. «Скучно», — осмеливался только думать Никитич. Раз подумал так, и два, и три... а потом потихонечку урвался из дому — в кабак! Да две недели и глаз не показывал домой. Случалось, забегал сюда он на минутку, чтобы сорвать со стены какую-нибудь принадлежность своего гардероба, и если ему под руки подвертывалась жена и выла при этом: «Злодей! Что ты с собой делаешь, губитель» и проч., то он не пропускал случая ответить ей по-своему.

Сорвался, загулял. Загул на этот раз был особенно продолжителен, потому что к этому времени водка успела сделать свое дело: если приходилось в эту пору отрезвляться Никитичу, то только потому, что не на что пить было. В такие немногие трезвые дни случилась с ним одна история, которая дала ему полную возможность к загулу...

— Переезжает к нам во флигель, на одном дворе, — старушка помещица... Богомольница. Захотела она раз отслужить всенощную... Иван Егорыч, священник, встречает меня: «Приходи, говорит, к соседке подтянуть...» — «Отчего же». Прихожу. Был я, признаться, в то время

грешен, но, однако, кое-как языком орудовал и драл лыки вполне. Отслужили; все честь-честью. «Чайку не угодно ли?» — «Позвольте...» Вижу, старушка все ко мне, например с булками, с сухарями... варенье, то, другое... Думаю: что за чудо! Ем, пью... «Этого не угодно ли?» — «Позвольте, отчего же»... Провожу так вечер, ухожу домой. Что за чудо?.. На Кирики и Улиты входит горничная. «Господин певчий дома?» — «Дома». — «Барыне скучно... просят на минутку»... Вхожу: водка... «Я, говорит, узнала, какую ты любишь, такой и купила...» Пью. Гляжу — что дальше? Закрывают ставни, остаемся впотьмах; старушка эта сама меня за руку... Ей-ей. Околеть — не вру. Сейчас берет за руку, говорит: «Когда тебе что нужно, говори мне... Я знакома... Я могу». И за руку! Что ей, этой барыне, в ум зашло, — не могу вам сказать... Главная задача, может, ей что в лице моем?.. Или, как в то время я был молод, волоса, по совести сказать, черные, в кружок, может быть, что-нибудь ей показалось, но в том история, что я, как был выпивши, забираю себе в голову одну пакость: уходя, даю горничной монету и говорю: «Какое обо мне будет слово сказано, — помни». — «Слушаю-с». Наутро встречаю: «Что?» — «Ничего». Вечером приходит: «Господин певчий дома?» — «Дома». — «Пожалуйте». Вхожу, изловчаюсь к ручке, маменькой зову. «Здравствуйте, маменька. — Маменька, не прикажете ли чего?» Все исполняю. «Певчий, поди сюда»... Иду. «Послушай, певчий, садись здесь». Сажусь. «Цалуй!» Цалую. «Ступай вон!» Иду. Все благовидно. Замечаю ее расположение, выбираю день, говорю:

«— Маменька, как мне быть, — деньги у меня пропали казенные, теперь я в Сибирь.

«— Ах боже мой!

«— Что мне делать?

«— Возьми, возьми, сколько?

«— Да как же это... (Между прочим, беру.)

«Вижу ее любовь ко мне и по этому случаю думаю: как бы? Соображаю:

«— Что, маменька, хочу я погадать у одной бабы, в Осиновой горе, любит ли меня жена?..

«— Ах, погадай, погадай.

«— Право-с! Только надо золотой...

«— На, сделай милость.

«Беру деньги, сажусь на извозчика, — пошел! Прихватишь, бывало, на дороге в кабаке ведро водки, отъедешь по Воронежскому тракту версты две-три, — стой! Распрягай, извозчик... Сейчас костер, песни... Идут мужики, прохожие: «Эй, друзья, сюда, подходи, пей!..» То есть, боже мой, что тут натворишь только!..

«Вышли деньги, вхожу.

«— Что?

«— Гадал... Ответ завтра; нужно еще красную.

«— Возьми...

«Выхожу за ворота: «Извозчик!..»

«Продолжаю так, елико возможно... Вижу, барыне самой туго пришло. Принимаюсь одежду закладывать, — нашила она мне ее — страсть... Барыню же, между прочим, жалею, но не хожу к ней... Случилось, напился я. Входит горничная:

«— Господин певчий дома?

«Я развернулся да ка-ак двину ее... Тем и кончилось».

Как ни продолжительна была эта оргия, но Никитичу пришлось все-таки возвратиться в дом свой и очнуться... Чем больше отрезвлялся он, тем все в большем количестве выступали следы его безобразий, — в квартире не было ни одного целого стекла, рамы состояли из обрезочков, склеенных бумагой или просто заткнутых подушкой, тряпкой; жена еле двигалась, от множества вывихов и переломов, перевязанных разными тряпками, она охала и заливалась слезами, рассказывая, как он, Никитич, будучи не в своем виде, сгребал ни с того, ни с сего целую кучу посуды и грохал ее обземь; как перетаскал в кабак все платье, и даже ризу с венчального образа содрал, как огорошил ее, несчастную жену, по голове, тогда как она только и сказала-то всего, что: «Запирай дверь!» — и т. д. Не возражал Никитич, потому что был трезв, потому что был виноват. Горько ему было теперь вдвойне.

А мирная, гнилая жизнь шла себе потихоньку, и там, где в пьяном виде Никитич находил возможным только раскроить ту или другую рожу, отшлифованную множеством грошовых добродетелей, там теперь в трезвом виде

что-то стыдило его. Тайна все-таки была не разгадана, потому что ее могла разгадать только деревня; искаженные под разными наносными влияниями городские нравы не давали пищи его здоровой, еще не затронутой природе. Так называемая *среда*, как видно, стояла перед ним с закрытым ртом и не думала *заедать* его: он, не умея жить *по-ихнему*, проклял себя, старался подладиться, понять что-нибудь — и, не понимая, чахнул; при всем самом упорном ломании своей головы насчет способа к своему спасению, он теперь и выдумать-то не мог ничего, кроме следующего:

— Просто надо прошение подать владыке, в дьякона. Докуда так-то мыкаться?.. По крайней мере будут знать тогда, что я такое... Живут же люди?

Начинались хлопоты. Ради будущего счастия, которое на этот раз, как и во время женитьбы, казалось несомненным, Никитич на коленях умолял владыку...

— Помедли, — говорили ему, — повремени, потерпи.

Медлил, временил и, наконец, осмелился заикнуться:

— Докуда ж это?..

— Но не скоро, — ответили ему.

Никитич уходил и пьянствовал с горя: счастию мешают. Дело ясное. Наконец давали ему это счастие, и через две-три недели Никитич снова убеждался, что дрянь дело, что новое положение все-таки не дало ему жизни. Он не сознавал этого отчетливо, но томился пустотой и считал единственным исходом из этого мертвого царства — водку.

Снова срывался, снова падал и снова решал:

— А вот что, — безо всяких разговоров: надо подать владыке *прошение* на приход, в село... Это дело-то попрочней будет... По крайней мере сам хозяин, — и т. д.

А деревня, в которую наконец-таки попал он, и рада бы радешенька была приютить свое любимое детище, но уже на Никитиче, незаметно для него, лежала уродующая печать уродовских нравов города. Никитич теперь уже *не мог* разглядеть своего спасения. Настал длинный период сплошных безобразий; и хлеб, начавший гнить *на корню*, — догнивал. Дело под конец пошло путем разных судебных инстанций, при посредстве становых, понятых, на основании пунктов и статей...

III

ДЕНЬ

Небо незаметно очистилось от туч, и, несмотря на то, что было почти так же темно, что исчезла только миллионная доля ночных теней, можно было убедиться, что дело идет к свету. Становилось свежее; за окном завозился и застучал головой в клетку перепел. Прошло еще немного времени, и перепел крикнул, раз и два. Семен Матвеич вскочил с своего войлока и тотчас же высунулся в окно; почесывая то ногу, то спину, он глядел направо и налево и говорил про себя: «Э... э... э... пора, пора, пора»...

Постояв еще среди комнаты, он зевнул раза три залпом, не переставая, вздрогнул от холода, лениво надел сапог и, осторожно ступая на цыпочках, шарил растопыренными руками сюртука...

— Где это я его давича ткнул, — шептал он, хлопая и шаркая ладонями по полу... — Во-во-во... Э-э, батюшка, да вы не спите?

— Нет.

— Знаете, что я вам скажу? Пойдемте-ка мы на перепелов! Вы посмотрите, какая прелесть-то! а? Ей-богу... Одевайтесь, теперь самая пора... три часа... куда теперь спать?.. Какой сон?..

Семен Матвеич сыпал такого рода фразы до тех пор, пока мы оба не были совершенно готовы и не вышли в сени. Здесь вверху над срубом виднелась почернелая труба, жерди с тряпками, сплюснутые березовые веники. По углам, в плетенных из соломы лукошках, сидели, съежившись, куры и ворчали чуть слышно спросонок.

— Куда? — раздалось с полу...

Семен Матвеич нагнулся.

— Отец дьякон?

— Я. Что, друзья, глаз сомкнуть не могу

— Что так?

— Да вы послушайте, что это такое...

Издали слышался свирепейший, ожесточенный храп Медникова.

— Ведь это как угодно! — говорил дьякон, сердито завертываясь с головой в овчинный тулуп.

Улыбаясь потихоньку, Семен Матвеич вытащил из какой-то трещины между бревнами перепелиные дудки и сети, и мы вышли. На топком дворе валялось перевернутое корыто; кучами лежали и похрюкивали от холода маленькие пестрые поросята, стараясь сдвинуть головы в одно место. Под сараем спали овцы, из которых некоторые, заслышав стук двери, подняли головы и заблеяли...

Отворив скрипучие ворота, зацеплявшиеся за землю, мы очутились на узенькой тропинке между высокими коноплями. Тропинка шла к реке, куда прежде всего сбежал Семен Матвеич, чтобы посмотреть, есть ли что-нибудь в верше, которую он поставил вчера. Оказалось, что ничего нет, и опытный в деревенских нравах глаз Семена Матвеича убедил его, что было что-то, но украдено.

— Экие храпаидолы, — говорил он, взлезая на берег и направляясь потом в рожь.

Начинало светлеть.

Над неподвижной, сонной рекой висело какое-то разорванное, жиденькое облачко тумана; вдали шумела вода на плотине у мельницы, звуки мужичьих дудок доносились откуда-то издалека и тотчас же надолго замолкали. Тишина была поразительная: казалось, все спало сладким утренним сном, все, начиная от верхушек леса, от едва мигавших звезд — до последнего колоса ржи, до последней только еще вылезающей на свет божией травки. И когда наши ноги, поминутно врезывавшиеся в рожь, безжалостно валяли и мяли целые полосы ее колосьев, то казалось, что эти спящие колосья точно так же вздрагивали во сне, как вздрагивает ребенок, которому приснилось, что он упал с горы или с моста в воду...

Семен Матвеич оживился, он шел бодро, поднимая голову и легко работая ногами.

— Экая прелесть! — говорил он, вдыхая полной грудью утренний воздух. — А? ведь это что такое? Благодать!..

Потом вдруг нагибался над черным лоскутом вспаханной земли, присматривался и говорил:

— Каково? Гречиха-то? Как поперла!.. У-у-у!.. Посмотрите-ка.. От-тлично, то есть просто великолепно...

В стороне крикнул перепел. Семен Матвеич замолк, присел и, поднимая палец, тянул:

— Цссссс...

В то же время ползком пробирался в рожь, осторожно раскинул сетку по верхам колосьев, снял и положил около себя шапку и, стоя на коленях, слегка потрогивал дудку...

Перепел шел на свидание.

— Вот болван-то! — шептал Семен Матвеич и вдруг замахал руками, крикнул и швырнул шапку на середину сетки.

Перепел, однако, перепорхнул в другую полосу и ушел.

— Ну, счастлив твой бог, — заключил Семен Матвеич, собирая сетку. И начались снова долгие, утомительные походы по полям.

Солнце между тем начало понемногу высовывать свой золотой край и скоро, каким-то продолговатым кругом, очертилось вполне. С порывистыми, на секунду совершенно прекращавшимися движениями поднималось оно по небу, дрожало, волновалось, и теплые, слишком теплые лучи его так приятно пригревали человека, что его невольно охватывала самая сладкая дремота.

Ноги вяло брели вперед, глаза смыкались, я все больше и больше отставал от товарища.

— Э-э, батюшка, — кричал Семен Матвеич, остановившись вдали. — Так-то?.. Стало быть, уж и домой?..

— Домой, — сказал я.

Легионы самых назойливых и надоедливых мух заставили меня открыть глаза. Семен Матвеич набивал у окна папиросу и говорил:

— Долгонько-с, долгонько... Пора. Не годится...

Скоро мы оба были на крыльце. Стоял жаркий летний полдень. Лытовка блистала теперь во всей своей красоте: по обеим сторонам шоссе тянулись постоялые дворы с красивыми крыльцами, наверху которых, под пересекавшимися краями крыши, были прибиты четырехугольные новые вывески, по синему фону золотыми буквами. Такими вывесками украшался почти каждый постоялый двор. Кроме того, в деревне было два-три грязных трактира для почтовых ямщиков и фабричных с ближних суконных заводов. Вывески у трактиров были

тоже новые, но на них не было надписей вроде: «Венеция», «Неаполь», а красовались совершенно новые, отечественные слова: «Кружало покровское», «Друзья-приятели», «Пей-ко, сноха!», «Спасибо, батюшка» и т. д. Прямо против нас, на противуположной стороне дороги, возвышался длинный шест, к верхушке которого была привязана трубка и огромный пук розог, — то есть не курить.

Справа, на камнях, служивших ступенями крыльцу, сидел плотный дворник с красным лицом, маленьким клочком бороды, в одной рубахе, босиком и в теплом плисовом пожелтевшем картузе. Делать ему было ровно нечего; он глазел по сторонам, зевал, снимал картуз и тотчас же надевал снова, поправляя его кивком головы.

Мимо идет маленькая, трехлетняя девочка.

— Здластуйте, дяденька...

— Здрастуй, здрастуй, любезная, — говорит дворник. — Куда бежишь?

— Домой...

— Домо-ой? Н-да-а... За что ж это так домой-то?

— Нада...

— Да-да-да, — надобно... Вот так умница! Стало быть, требуется? Так!.. Ну, что же, башмаки-то сшили?

— Нет еще...

— Еще не сшили? Скажите на милость...

Девочка припала плечом к углу крыльца, смотрела в землю и, упершись пальцем в дерево, вертела им, словно штопором, и говорила:

— Еще не готова...

— Цсссс... Ах, разбойники! Да что же это они... А ты вот что, Дуняшь... Поди-кось сюда, поди... Ты вот как: пойдешь ты к Петру Петрову, скажи ему: Иван, мол, Иваныч приказывал хорроший башмаки сшить...

— Сказу...

— Скажи, мол, приказывал, чтобы мне башмаки в лучшем виде... Ах вы, мол, разбойники этакие!.. Деньги брать ваше дело... Нешто так можно? Рази, мол, это годится?

— Сказу...

— Чтоб за первый сорт башмаки были... Мол, Иван Иваныч приказывал — строго... Чтобы живо... Так и скажи: Ах вы, анафемы! — и т. д.

Посреди улицы, то есть шоссе, двигалась целая толпа коротконогих, с низким брюхом и огромными головами, деревенских мальчишек; прижав ко рту кулаки с притиснутой внутри их травой, они оглашали воздух самыми пронзительными звуками. Дворник обратил внимание и на них.

— Эй ты, рыжий... Федька? Поди сюда!

Федька подбежал.

— Что это, ребята, дивлюсь я, попусту вы горланите? Наперегонки, что ли бы... или как-нибудь... А то что ж без толку-то?..

Ребята становились честь-честью в шеренгу; в качестве лошадей принимались ржать, толкать друг друга коленом в бок — то есть бить задом, и все запаслись длинными хворостинками, приготовляясь погонять лошадей, то есть себя.

— Н-но? — спрашивал дворник, — готово? Раз, два... пущай!

Ребята сразу огорошивают себя хворостинками по ногам и бросаются вперед стремглав, скашивая набок голову и вскидывая ногами в сторону.

По шоссе мчался тарантас с заливавшимся колокольчиком.

— Не хотите ли, — сказал Семен Матвеич: — пройти тут недалеко — в контору... к лесникам?

— Пойдемте.

В сенях встретился дьякон, он стоял против жены, грозил ей пальцем и шопотом говорил:

— Так смотри же — ни капли! То есть ни единой росинки... Нету, да и только... как угодно... Выпьет рюмку, его не удержишь... Просто-напросто, — мол, ни денег нету, ни послать никого... н-н-нельзя...

— Все опасаюсь за Никитича, — добавил он, обращаясь к нам.

Мы пошли чрез огород.

В тени низенького, расплюснутого сарая лежал Никитич в расстегнутом полукафтанье, открывавшем грязную, потную узенькую рубаху. Он был совершенно трезв — причесан, конфузлив и молчалив. Года научили его прятать эту конфузливость под каким-то насильственным смехом, который, впрочем, сразу давал знать, что ему вовсе не смешно... Дьякон, разъяснявший эту кон-

фузливость и молчаливость желанием выпивки, старался отвлечь мысли Никитича от такого соблазнительного предмета и поэтому занимал самыми разнообразными разговорами: то начинал он рассказывать содержание какой-то превосходной проповеди, в которой он как на грех забыл всю середку, то заводил речь о какой-то битве с поляками, причем тоже плохо помнил, в чем дело. Но скоро истощился предмет разговоров, и настало тупое молчание.

Никитич лежал и молча гладил рукою волосы назад; глаза его, смотревшие в сторону, были как-то упорно вдумчивы.

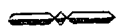
— А что, отец дьякон, — произнес он вдруг, как бы вследствие долгой, решившейся только теперь думы: — что я вас хочу спросить: как вы посоветуете? хочу я владыке *прошение* подать...

Дьякон соображал...

— По крайней мере, что-нибудь уж одно... хоть бы знать, что я такое?.. Ей-богу...

— Что ж, прошение — ничего, — подумав, вяло заключил дьякон...

Мы постояли еще здесь с минуту и пошли в контору.



ПРИМЕЧАНИЯ

НРАВЫ РАСТЕРЯЕВОЙ УЛИЦЫ

Печатается по последнему прижизненному изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том первый. Третье издание Ф. Павленкова. СПБ., 1889.

«Нравы Растеряевой улицы», самое крупное и значительное по содержанию произведение Успенского раннего периода, имеет своеобразную творческую историю: оно было сформировано писателем окончательно в 1883 году, в первом издании его «Сочинений», из трех отдельных групп очерков, впервые напечатанных в 1866 году под разными названиями и в различных изданиях. Первые четыре главы, в которых показываются сцены из быта тульских ремесленников и фабричных мастеровых, с главным героем повествования — мастером Прохором Порфирычем, появились во второй и третьей книжках «Современника» 1866 года, под названием «Нравы Растеряевой улицы. Очерки». Однако в связи с правительственными репрессиями, последовавшими за выстрелом Каракозова в Александра II 4 апреля 1866 года, издание журнала «Современник» было прекращено, и произведение осталось в печати незаконченным. Успенский взял из редакции закрытого журнала оставшиеся там очерки — «продолжение Нравов» — и в том же 1866 году поместил их в сборник «Луч» (т. II), издаваемый редакцией также в то время запрещенного журнала «Русское слово», «причем, — вспоминает позднее сам Успенский, — все, что имело связь с очерками, напечатанными в «Современнике», надо было уничтожить, обрезать, выкинуть — для того, чтобы продолжение имело вид работы отдельной и самостоятельной» («От автора». Сочинения, т. I, 1883). Сборник «Луч» не увидел света — он был конфискован цензурой. В этом сборнике, под общим названием «Из мещанской жизни. Очерки», были напечатаны: «Книга», «Балканиха», «Мещанин Дрыкин», внешне никак

не связанные с очерками, напечатанными в «Современнике», и очерк «Прогулка. Самоварщик Кузька» (конец «Нравов»). Третья группа очерков, изображающая мир мелкого чиновничества «Томилинской улицы», с героем «лекарем» Хрипушиным, появилась как самостоятельная повесть «Медик и пациенты. Очерки провинциальных нравов» в журнале «Женский вестник» (кн. I и II за 1866 год). Эту повесть Успенский писал также с оглядкой на цензурные гонения того времени и на условия сотрудничества в «женском» журнале. «При всем моем глубоком желании, — иронически говорит писатель, — чтобы пьяницы мои вели себя в дамском обществе поприличней, все они до невозможности пахли водкой и сокрушали меня. Но что же было делать? Я их умыл и приодел, и они стали только хуже, а правды в них меньше» («От автора». Там же). Трудно сказать, как сложилось бы под пером писателя первое его большое произведение, если бы цензурные гонения правительства не разрушили творческих замыслов писателя. «Нет никакого сомнения, — свидетельствует автор, — что эти очерки вышли бы рельефнее, полнее и осмысленнее, если бы журнальная жизнь была устойчивее и представители печати могли чувствовать себя поспокойнее» («От автора». Там же).

В дальнейшем Успенский не раз (в 1866, 1872 и 1875 годах) помещал все три группы очерков в сборники своих произведений, но каждый из этих маленьких циклов печатался им как самостоятельное произведение. Лишь в первом издании «Сочинений» Успенского (т. I, 1883) все они объединяются в одно произведение, подвергаясь для этого соответствующей переделке. Отдельные очерки здесь становятся главами большого произведения, каждая из глав получает свое название и связывается с другими главами специально написанными вставками. В своей заметке «От автора» к этому изданию Успенский пишет: «Нравы Растеряевой улицы», составляющие этот том и печатавшиеся в прежних изданиях под тремя различными названиями, теперь приведены в порядок, в котором им следовало бы быть».

Сложными и интересными являются не только история создания и композиции этого произведения, но и история многолетней (с 1866 по 1889 год) и упорной работы писателя над языком и стилем «Нравов Растеряевой улицы».

Благодаря постепенному устранению из произведения побочных эпизодов и излишних подробностей в описаниях и диалогах, основная сюжетная линия стала более четкой. В процессе переработки изменилась и система художественных образов: некоторые из дей-

ствующих лиц (например, Хрипушин) отодвинулись на задний план; другие (Прохор Порфирыч, Толоконников) получили более яркие типические характеристики, как представители определенной социальной среды. Стремясь к типизации событий, Успенский вычеркнул из «Нравов Растеряевой улицы» ряд сцен и деталей, злободневных только для 60-х годов.

В одной из редакций произведения (сборник «Глушь», 1875) писатель дает отсутствующий в предыдущих и последующих изданиях эпилог:

«Желания и мечты Прохора Порфирыча сбылись.

Желающий удостовериться в этом может собственными своими глазами видеть устроенный моим героем кабак, который обещает разрастись в трактир; хозяин его пополнел, читает газеты и рассуждает о политических событиях. У него в долгу, кроме Растеряевой улицы, находятся еще Томилинская, Овчинная и множество безымянных переулков, стало быть, дела его идут хорошо. На этой отрадной картине мы и расстанемся с нашей Растеряевской глушью».

«Нравы Растеряевой улицы» написаны на основе наблюдений Успенского над бытом и нравами людей различных социальных слоев пореформенной Тулы, в которой писатель жил в детстве и течение нескольких месяцев в 1865 году. Правдивость изображения Успенским промышленного развития этого города в первой половине 60-х годов и материального положения тульских рабочих и ремесленников подтверждается историческими свидетельствами.

«В 1864 г. тульские оружейники освобождены от крепостной зависимости и перечислены в мещане; заработки упали вследствие сильной конкуренции деревенских кустарей (что вызвало и обратное переселение промышленников из города в деревню); рабочие обратились к промыслам: самоварному, замочному, ножевому, гармонному...», — пишет Ленин (Сочинения, т. 3, стр. 371) о фабричных рабочих казенного оружейного завода, расположенного на окраине Тулы, в Заречье. В черте города находились небольшие оружейные, самоварные и гармонные предприятия; это были, по словам Ленина, «...типичные образчики капиталистической мануфактуры» (Сочинения, т. 3, стр. 370). Бóльшая часть работы производилась кустарями на дому из сырья хозяина, причем каждый из этих ремесленников имел узкую специализацию и выделывал лишь одну деталь. Потом полуфабрикаты окончательно доделывались фабричным путем или в мастерской у хозяйчика-мастера.

В первых главах своего произведения Успенский показывает, как «обстоятельства», по его словам, то есть общественно-экономические условия жизни создают полуголодное существование, запутанность, пьянство рабочего человека. Жизнь мелких бесправных кустарей-одиночек, жестоко эксплуатируемых особенно вследствие их разъединенности фабрикантом, хозяйчиками и ловкими скупщиками типа Прохора Порфирыча, была хорошо изучена и показана Успенским (сцены, происходившие в субботу и в понедельник у фабриканта, у целовальника, в скупочной лавке, на складе старых вещей мещанина Лубкова, в нищенском доме рабочего). Рабочие протесты в 60-е годы были редки, стихийны и малосознательны, — такую пассивную угнетенную рабочую массу и показывает Успенский в «Нравах Растеряевой улицы». Отзвуки выступлений тульских рабочих начала 60-х годов мы находим лишь в разговорах Прохора Порфирыча с чиновником (стр. 8—10); гораздо громче и полнее эта тема прозвучит позднее в устах Михаила Ивановича, героя «Разоренья». Уже в «Нравах Растеряевой улицы» сказались типичные черты позднего творчества Успенского — мастерство изображения им «привычек, взглядов и, главное, общественного быта массы» (Г. В. Плеханов. «Гл. И. Успенский»). Наряду с угнетенной массой народа Успенский рисует типический образ хищника Прохора Порфирыча, характер и взгляды которого Успенский показывает в постепенном развитии.

Чиновничья и мещанская среда провинциального города пореформенной поры является другой темой «Нравов Растеряевой улицы». В жизни этих людей прочны основы «прадедовской старины», дореформенного крепостнического мировоззрения, с характерными для него чертами рабской психологии, самодурства, тиранства и невежественности. Наиболее типичными из них являются образы дикого самодура чиновника Толоконникова, шарлатана Хрипушина, хитрой невежественной Балканихи, темного дельца Дрыкина и др. Провинциальную чиновничью и мещанскую жизнь Тулы и Чернигова Успенский хорошо знал с детства, и в воспоминаниях современников писателя сохранились свидетельства о типичности изображения ее Успенским, а также и указания на прототипы Толоконникова, Балканихи, Алифана, Хрипушина и др.

Обобщающим термином «растеряевщина» Успенский называет изображаемый им в очерках склад жизни бедного трудового люда провинции начала пореформенной поры с его нуждой, «темным горем» и «бестолковщиной», двойной кабалой крепостничества и развивающегося капитализма. Таким же собирательным образом является и «Растеряева улица» — такой улицы в Туле не существо-

вало, это наименование может быть применено к рабочей окраине любого захолустного города начала 60-х годов.

«Нравы Растеряевой улицы» являются итогом творческой деятельности Успенского первой половины 60-х годов — здесь нашли свое художественное завершение многие из тем, выдвинутых в ранних рассказах писателя. Кроме того, «Нравы Растеряевой улицы» тематически тесно связаны с последующими очерками и рассказами Успенского 1866—1869 годов, так как, по свидетельству самого писателя, «очень много материала, приготовленного для «Растеряевой улицы», было разбросано в виде очерков и сценок по всевозможным газетам и листкам... «Растеряева улица» еще долго «дописывалась» во многих отрывках и очерках последующих лет» («От автора». Сочинения, т. I, 1883). Завершение тематики творчества раннего Успенского мы находим в следующем его крупном произведении — «Разоренье»: «много «растеряевского» перешло и в «Разоренье», которое есть, в сущности, та же «Растеряева улица», только в новых условиях жизни», — говорит писатель («От автора». Там же).

Первые главы «Нравов Растеряевой улицы» впервые печатались в журнале «Современник», хранившем традиции революционно-демократического наследия Чернышевского и Добролюбова. Влияние великих мыслителей 60-х годов сказалось на всем раннем творчестве Успенского, в частности на «Нравах Растеряевой улицы». Об этом говорит и общая демократическая направленность «Нравов», и метод изображения писателем «без всяких прикрас» основного своего героя — широких масс трудового народа, и стремление автора к правдивому отражению в «Нравах» общественной среды, в зависимости от которой формировались характеры его героев.

М. Горький и А. Серафимович высоко ценили «Нравы Растеряевой улицы», видя в них правдивое, реалистическое изображение русской действительности.

Стр. 4. *Казюк* — бранная кличка тульского рабочего *казенного* оружейного завода в Заречье, пригороде Тулы.

— *Стрюцкий* — смысл слова: ничего не стоящий, дрянной человек, крикун, любитель скандалов.

Стр. 38. *Гражданская палата* — губернский суд по гражданским делам.

Стр. 41. *Адамс и Кольт* — иностранные оружейные фирмы.

Стр. 42. *Без билета* — имеется в виду или паспорт, или белый билет, то есть свидетельство об освобождении от военной службы.

Стр. 60. *Консисторские чиновники. Консистория* — учреждение при архиерее с административными и судебными полномочиями.

Стр. 87. *Герминевтика* (правильно герменевтика) и *гомилетика* — предметы преподавания в духовных семинариях (теория истолкования текста и практика составления церковных проповедей).

Стр. 89. *Кошка Петр* — матрос, герой севастопольской обороны; о его подвигах было создано немало легенд.

Стр. 103. *Афрапировать* — искаженное французское слово frapper — поражать.

Стр. 138. *Однодворец* — при крепостном праве крестьянин, из разряда служилых людей, владевший небольшим участком земли, обычно в один двор, пользовавшийся правом владеть и крепостными, но облагавшийся подушной податью наравне с крестьянами.

Стр. 142. *Кук Джемс* (1728—1779) — известный английский мореплаватель XVIII века. Его путешествия описаны в книге «Путешествие в Южной половине земного шара и вокруг оного, учиненное в продолжении 1772, 73, 74 и 1775 годов Английскими Королевскими судами Резолюциею и Адвентюром, под начальством капитана Иакова Кука. Перевел с французского Логин Голенищев-Кутузов, 6 частей. СПБ., в типогр. Академии наук. 1796—1800». Успенский допустил описку или опечатку: корабль «Резолюция» им назван «Революциею».

Стр. 145. *Сандвичевы острова* — острова в северной части Тихого океана (иначе Гавайские); на одном из них в столкновении с туземцами 14 февраля 1779 года был убит капитан Кук.

Стр. 153. *«Камень веры»* — богословское сочинение Стефана Яворского, изданное в 1718 году.

Стр. 154. *Круг солнца, вруцелетие, индикта* (правильно индикт) — термины, относящиеся к системе исчисления дня празднования православной пасхи.

— *Полиелей* — название особой церковной службы; *преполовение* — название церковного праздника.

РАСТЕРЯЕВСКИЕ ТИПЫ И СЦЕНЫ

Весь цикл рассказов печатается по изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том первый. Третье издание Ф. Павленкова. СПБ., 1889.

Рассказы, входящие в эту серию, сначала неоднократно печатались Успенским как самостоятельные произведения. Цикл рассказов под названием «Растеряевские типы и сцены» впервые был сфор-

мирован самим писателем в первом издании его «Сочинений» (т. I, 1883). Однако количество рассказов с «растеряевской» тематикой далеко не исчерпывается шестью произведениями разных лет (1862—1877), печатающимися в данном цикле, о чем говорит и сам автор в предисловии к первому тому первого издания своих «Сочинений» (см. выше, стр. 523). Место действия в этих рассказах — город Тула 40—60-х годов.

1. Бойцы

Впервые рассказ напечатан в журнале «Будильник», 1867, № 5 от 3 февраля, и № 6 от 10 февраля, под заглавием «Бойцы (Из провинциальных заметок)»; с довольно большими сокращениями в описаниях и диалогах, а также со значительными стилистическими исправлениями рассказ перепечатывался в сборнике «Нравы Растеряевой улицы», СПБ., 1872 года и во всех изданиях «Сочинений».

Описаниями закоулков окраины Тулы и жизни ютящихся там в лачугах мастеровых рассказ значительно дополняет первые очерки «Нравов Растеряевой улицы», посвященные изображению быта и нравов тульских ремесленников. «Понятливый» мастеровой Гаврила Иваныч, автор обличительных произведений против «разных неправд», напоминает Михаила Ивановича в «Разореньи», в прошлом рабочего тульского Оружейного завода. Фамилия Салищев выбрана Успенским, видимо, не случайно — она упоминается в материалах Центрального военно-исторического архива, в делах по расследованию волнений тульских оружейников в 1863 году; Салищев является одним из доверенных от рабочих, выбранных для разговоров со следственной комиссией и для составления жалобы царю на командира завода (Ученые записки Тульского гос. педагогич. института, вып. II, Тула, 1951 г., стр. 48—62).

2. Нужда песенки поет

Впервые рассказ напечатан в журнале «Дело», 1866, I, под заглавием «Нужда песенки поет (Из провинциальных заметок)»; с незначительными сокращениями и изменениями стилистического характера перепечатывался в сборнике «В будни и в праздник», СПБ., 1867 года (под заглавием «Фокусник»), в сборнике «Очерки и рассказы», СПБ., 1871 года и во всех изданиях «Сочинений».

«Нужда песенки поет» — рассказ о бедняке, из нужды сделавшемся фокусником, — в 90-е годы и в начале XX века неоднократно издавался в сериях изданий для народа. Высокий гуманизм рассказа обеспечил ему большой успех в широких народных массах. Известно, что в 80—90-х годах этот рассказ нередко читался крестьянам, всегда выслушивался ими с большим интересом, глубоким сочувствием к Иванову и его жене и вызывал горячие рассуждения по поводу затронутых в рассказе вопросов.

Г. И. Успенский сам читал этот рассказ уже в 1887 году на литературном вечере в Москве, в дни своего юбилея, 25-летия литературной деятельности, что свидетельствует о высокой оценке рассказа самим писателем.

Рассказ основан на материале, собранном Успенским во время его поездок в Тулу в 1865—1866 годы.

Стр. 196. *Каббалистика* — средневековые магические «науки».

— *Ескамотирование* (правильно эскамотирование) — здесь: фокусы, основанные на ловкости рук.

Стр. 206. *Камилавка* — высокий головной убор православных священников, жалуемый им в знак почета.

3. Идиллия

(Из чиновничьего быта)

Этот *первый* рассказ Успенского появился в печати под заглавием «Отцы и дети» в московском журнале «Зритель общественной жизни, литературы и спорта», 1862, № 46, от 10 ноября. При перепечатке его в сборнике «Очерки и рассказы» 1866 года (в разделе «Эскизы», под заглавием «Идиллия. Из чиновничьего быта») Успенский значительно улучшил текст рассказа: внес существенные дополнения, сделал сокращения и произвел большую стилистическую правку. В сборнике «Разоренье» 1871 года рассказ без изменений был перепечатан в разделе «Мелочи». В «Сочинениях» Успенский продолжил стилистическую правку, сократил некоторые части рассказа и изменил характеристику сына гостя-чиновника, — в ранних редакциях это был юноша неопределенного «нигилистического» типа: «Непочтителен, груб, безбожник. Постоянно дуется»; в «Сочинениях» ему приданы более определенные черты — слова «Постоянно дуется» заменены словами: «Сидит за книжкой — молчит».

Рассказ «Идиллия» («Отцы и дети») является откликом на один из вопросов, волновавших в то время русское общество. В марте 1862 года появился роман И. С. Тургенева «Отцы и дети», вызвавший большую полемику в печати. Успенский в октябре того же года своеобразно отвечает на одну из проблем, поставленных в романе Тургенева, а именно на проблему взаимоотношения отцов и детей в пореформенное время, несколько иронически показывая ее в иной сфере — в среде мелкого чиновничества. Перед нами два представителя поколения «отцов», открыто говорящих об источнике своего материального благополучия — взяточничестве, и два сына различных убеждений: один — ловкий хищник, счастливый соперник своего отца по части взяток и грабительства народа; другой — отщепенец чиновничьего мира, «нигилист».

Рассказом «Идиллия» открывалась целая серия произведений Успенского «из чиновничьего быта», в которых он показывает внешнее однообразие, внутреннюю пустоту, низменность жизни этой мелкой провинциальной бюрократии и ее лихоимство.

Стр. 209. *Ирмос* — вступительный стих церковного песнопения.

— *Сорокоуст* — сорокадневная церковная молитва по умершем.

Стр. 210. *«Слава в вышних», Бортнянского сочинение...* — Д. С. Бортнянский (1751—1825) — один из крупнейших русских композиторов XVIII века.

Стр. 211. *Из закона пять...* — имеется в виду обязательный предмет преподавания в дореволюционной школе — закон божий, излагавший основы учения христианской религии.

4. Зимний вечер

(Из чиновничьего быта)

Впервые рассказ напечатан в журнале «Библиотека для чтения», 1865, I; с небольшими изменениями переиздавался Успенским в его сборниках «Очерки и рассказы» 1866 года и «Очерки и рассказы» 1871 года; с сокращениями и стилистическими исправлениями текста вошел во все издания «Сочинений».

В рассказе «Зимний вечер» изображается эпизод из жизни мелкого чиновничества в дореформенную пору — в тексте упоминается: «в те поры войну воевали», то есть, очевидно, говорится о Восточ-

ной войне 1853—1856 годов. Рассказ основан на воспоминаниях писателя о своих детских годах в Туле.

В 1892 году рассказы Успенского «С конки на конку» и «Зимний вечер» вышли в Москве в издании для народа; однако при попытке переиздания этих рассказов в 1895 году «Зимний вечер» не был разрешен к печати цензурой на том основании, что он «не представляет здоровой пищи для народного чтения, указывая, между прочим, на злоупотребления помещика своею властью над крестьянами».

5. Задача

(Из чиновничьего быта)

Рассказ впервые напечатан в газете «Петербургский листок», 1867, № 25 от 14 февраля; без изменений перепечатан в сборнике «Очерки и рассказы», СПБ., 1871 года; при переиздании его в «Сочинениях» Успенский сделал некоторые сокращения и стилистические исправления текста.

Успенский написал ряд рассказов, в которых изображаются «нужды и заботы» мелкого провинциального чиновника, живущего с многочисленным семейством на «крошечное жалованье»; в том же плане идут и страницы о семье Претерпеевых в «Нравах Растеряевой улицы». Здесь Успенский следует щедринскому «истинно гуманистическому направлению», которое отмечал Добролюбов в своей статье «Забитые люди», говоря: «Никто, кажется, исключая г. Щедрина, не вздумал взглянуть в душу этих чиновников — злодеев и взяточников — да посмотреть на те отношения, в каких проходит их жизнь».

6. Парамон юродивый

(Из детских лет одного „пропащего“)

Рассказ впервые напечатан в журнале «Отечественные записки», 1877, IV, под заглавием «Из памятной книжки. Парамон юродивый» и за подписью Г. Иванов; перепечатан в сборнике «Из старого и нового», СПБ., 1879 года и затем в «Сочинениях» с небольшими сокращениями, добавлениями и изменениями. Примечание к рассказу, объяснявшее включение этого произведения 1877 года в цикл «Растеряевские типы и сцены», который состоял из рассказов 60-х годов, появилось только в «Сочинениях»; понятие «растеряевщина» Успенский применяет здесь к определению

мировоззрения и психики мелкого провинциального чиновничества 30—40-х годов.

Яркой публицистичностью, глубиною обобщения, зрелостью художественного письма этот рассказ резко выделяется среди других произведений цикла «Растеряевские типы и сцены». Наиболее блестящие публицистические строки, не свойственные раннему Успенскому, мы находим в характеристике эпохи крепостничества царской России в 30—40-е годы, в освещении им среды чиновничества, характеризовавшейся рабской психологией, раболепным низкопоклонством перед власть имущими, подавлением человеческой личности, человеческого достоинства и полной неспособностью чувствовать и мыслить самостоятельно и независимо.

В 90—900-е годы критики из реакционного лагеря представляли читателю художественный образ юродивого фанатика Парамона как «величайший образ» искателя «правды божьей». Однако сам Успенский не идеализирует Парамона — он характеризует его как «темного», «корявого, необразованного, невежественного» человека, хотя и обладающего непосредственностью, нравственной чистотой и цельностью личности.

В 1898 году было запрещено отдельное издание «Парамона юродивого» со следующей аргументацией цензора Матвеева: «Основная тема этого рассказа — крайняя запуганность и забитость русского человека из толпы, как выражается автор, — русского обывателя, от рождения привыкшего пресмыкаться перед всякой властью, воспитанного в постоянном трепете, даже перед будочником и квартальным... Для иллюстрации этой стороны русского быта выведен на сцену «мужицкий святой», по выражению автора, — «Парамон юродивый», человек темный, невежественный, но который производит впечатление на забитых казенными порядками и страхом обывателей города, в котором он появляется. Сцена объяснения с юродивым, у которого полиция требует паспорт, написана крайне тенденциозно... Такое изображение русской жизни, растеряевских типов и сцен, созданных смирением толпы перед всякой властью, плод болезненных впечатлений автора, представляет мало назидательное чтение для народа».

Рассказ основан на воспоминаниях писателя о своих детских годах в Туле (см. об этом Д. Васин. Г. И. Успенский. — «Русское богатство», 1894, VI).

Стр. 248. *«своей дремоты превозмочь не может»* — строки из второй песни «Полтавы» А. С. Пушкина: «своей дремоты превозмочь не хочет воздух».

СТОЛИЧНАЯ БЕДНОТА

(Мелкие очерки)

Весь цикл рассказов печатается по изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том первый. Третье издание Ф. Павленкова. СПБ., 1889.

Рассказы, входящие в этот цикл, сначала неоднократно печатались Успенским как самостоятельные произведения. Цикл рассказов под названием «Столичная беднота» впервые был сформирован самим писателем в первом издании его «Сочинений» (т. I, 1883). Однако сюда вошли далеко не все рассказы 60-х годов на эту тему. Так, в сборнике Успенского «Глушь» 1875 года под заглавием «Из столичной жизни», кроме рассказа «Швеи» (в настоящем томе — «Первая квартира»), были напечатаны рассказы «Дворник» и «По черной лестнице».

Усилившееся после реформы разложение деревни и классовое расслоение крестьянства увеличили приток крестьян в город на заработки в качестве извозчиков (рассказ Успенского «Извозчик», 1867), дворников («Дворник», 1865), кухарок («По черной лестнице», 1867), швей («Первая квартира», 1866) и др. Эти выходцы из деревни еще тесно связаны с крестьянским хозяйством, и все заветные думы и заботы их направлены к деревне и оставшейся там голодающей семье. Беднота, ютившаяся на городских окраинах, привлекала к себе внимание ряда демократических писателей 60-х годов. А. И. Левитов и М. А. Воронов объединили написанные ими рассказы на «трущобные темы» в сборнике «Московские норы и трущобы» 1866 года. Успенский в 1867 году тоже выпускает сборник «В будни и в праздник. Московские нравы». Однако по своему содержанию рассказы Успенского на эту тему отличаются от произведений Левитова и Воронова тем, что его интересуют не нравы люмпен-пролетариата, а материальное и социальное положение *трудовой* столичной бедноты.

1. Старьевщик

(Из московской жизни)

Впервые рассказ напечатан в «Библиотеке для чтения», 1863, XII, и неоднократно, с небольшими стилистическими исправлениями и сокращениями, перепечатывался Успенским в сборниках «Очерки и рассказы» 1866 года (в разделе «Эскизы»), «Разоренье» 1871 года (в разделе «Мелочи») и во всех изданиях «Сочинений».

«Старьевщик» — первый рассказ, напечатанный Успенским в Петербурге, о чем он с гордостью сообщал родителям в письме 1864 года, взволнованный особенно тем, что в объявлении о сотрудниках «Библиотеки для чтения» на следующий год его имя (по алфавиту) стояло рядом с именем И. С. Тургенева.

«Старьевщик» является также первым из ряда рассказов писателя, рисующих городскую бедноту московских окраин, обитателей подвалов и мансард.

— *«Крымский ад»* — название трактира близ улицы Грачевки (упоминание этой улицы было в первоначальной редакции рассказа).

2. Первая квартира

(Из записок пролетария)

Впервые рассказ появился в газете «Петербургский комиссионер», 1866, №№ 151, 153, 154, 155, 159, под заглавием «Первая квартира (Из московской жизни)»; с сокращениями, исправлениями текста и с новым эпилогом перепечатывался самим автором в сборнике «В будни и в праздник» 1867 года; в 1875 году под названием «Швеи (Из московской жизни)» был напечатан в сборнике «Глушь», в отделе «Из столичной жизни», опять с новыми сокращениями; с прежним заглавием «Первая квартира» и подзаголовком «Из записок пролетария» рассказ печатался в «Сочинениях», где он вновь подвергся тщательной стилистической правке и сокращениям.

Рассказ написан на материале наблюдений Успенского в Москве, где он жил в течение 1862—1863 годов. В своей автобиографии Успенский помечает: «Жил я у одной madame, где были швеи. Один из рассказов касался этого времени». Началом творческого замысла этого произведения надо считать декабрь 1863 года (очерк «Ночью», из второй части которого писатель и создал настоящий рассказ, появился в январской книжке «Русского слова» за 1864 год).

Печальную участь девушек-швей, вырванных из крестьянской среды пореформенным разорением деревни, Успенский объясняет материальными и социальными условиями «трудной жизни рабочего человека» в то время; именно жизнь трудящегося Успенский в этом рассказе предлагает изучить с «особенною внимательностью». Судьба городской швеи интересовала и других писателей-демокра-

тов 60-х годов — см., например, рассказ 1863 года А. Левитова «Московские комнаты снебилью».

Чиновник особых поручений Вильде протестовал против напечатания этого рассказа для широкой публики, ссылаясь на «явно тенденциозное содержание» рассказа, «цель которого — выставление наиболее темных сторон нашей общественной жизни» (письмо его начальнику Главного управления по делам печати). В 1903 году цензор Н. М. Соколов запретил к печати отдельным изданием для народа рассказы «Старьевщик» и «Первая квартира».

3. Про одну старуху

Рассказ впервые появился в книге «Нашим детям. Иллюстрированный литературно-научный сборник». Изд. А. Н. Якоби. СПБ., 1873, с иллюстрацией и гравюрой на дереве В. И. Якобия и датой написания: 15 марта 1873 года; перепечатанный без изменения в сборнике Успенского «Лентяй, его воспоминания, наблюдения и заметки», СПБ., 1873, рассказ вошел в «Сочинения» с незначительными стилистическими поправками.

Рассказ о трагической судьбе больной одинокой старухи из дворовых крестьян, погибающей после «освобождения» 1861 года в «углах» и «норах» петербургских «трущоб», — в книгу для детского чтения попал случайно, в пору сильных денежных затруднений писателя.

Стр. 312. *Люстриновая баскина* — накидка из шерстяной или полушерстяной ткани с глянцем.

4. Извозчик

(Очерк)

Очерк впервые появился в газете «Петербургский листок», 1867, № 52 от 8 апреля; перепечатан в сборнике «Нравы Растеряевой улицы», СПБ., 1872, с двумя большими купюрами: в начале рассказа (об извозчиках, научившихся французским словам ради увеличения своего заработка) и в самом конце (характеристика ночных извозчиков — «желтоглазых»); вошел в «Сочинения» с незначительными стилистическими исправлениями текста.

Тему очерка — о тяжелом труде извозчика из крестьян, который тщетно бьется в городе из последних сил для того, чтобы спа-

сти в деревне погибающую от голода и налогов семью, об эксплуатации его хозяином — Успенский развивает позднее в очерке «Извозчик с аппаратом» (1889), с повторением в нем некоторых мотивов своего раннего произведения (см. том 8 наст. издания).

Стр. 318. *Шведка* — низкорослая выносливая лошадь северной породы.

МЕЛОЧИ

Группа рассказов под заглавием «Мелочи» впервые образована в четвертом томе (1884 г.) первого издания «Сочинений», в конце «Приложений» тома.

Название отдела «Мелочи» для очерков и рассказов, идущих после большого произведения, писатель применял не раз и ранее: например, под этим же названием в сборнике 1871 года после «Разоренья» Успенский напечатал три других рассказа («Старьевщик», «Идиллия», «Зарок не пить»). В настоящем издании заглавие «Мелочи» сохраняется, так как сам Успенский оставил его в последующих изданиях своих «Сочинений». В первый том «Мелочи» переносятся потому, что тематика входящих в них рассказов 1865—1868 годов тесно переплетается с тематикой цикла рассказов «Столичная беднота».

1. Дворник

Рассказ впервые напечатан в серии «Петербургские очерки. 1. Дворник (Вместо предисловия). 2. № 24 и его обитатели. Шалопай. 3. Арабеска не более» («Будильник», 1865, №№ 80, 84, 85, 88, 90), под псевдонимом М. Б — н. Из этих очерков только «Дворник», с небольшими исправлениями, перепечатывался автором в сборнике «Глушь», СПБ., 1875 года, в отделе «Из столичной жизни», и во всех изданиях «Сочинений».

Успенский недаром обращает внимание читателя на «незаметную» фигуру дворника, называя его героем настоящего времени, — новые персонажи, новые типы из трудового народа усиленно выдвигала демократическая литература 60-х годов.

Стр. 327 *...под мотив из «Эрнани»* — опера Джузеппе Верди (1813—1901) «Эрнани» (1844), написанная на сюжет одноименной драмы в стихах Виктора Гюго.

2. По черной лестнице

Рассказ впервые напечатан в журнале «Женский вестник», 1867, VII, с подзаголовком «Столичные нравы». С сокращениями он был перепечатан в сборнике «Глушь» 1875 года, в отделе «Из столичной жизни»; из этих сокращений надо отметить вычеркнутое Успенским в начале рассказа описание «лютой петербургской зимы» и ее тяжелых последствий для бедноты. Рассказ подвергся стилистической правке при включении его автором в «Сочинения».

Стр. 343. *Журфиксы* — вечера для приема гостей в заранее определенный день недели.

3. Обстановочка

Рассказ впервые напечатан в газете «Неделя», 1868, № 38, под заглавием «Шиньон (Из петербургских заметок)»; перепечатан в сборнике «Глушь», СПБ., 1875 года, в отделе «Из столичной жизни», с заглавием «Обстановка»; с небольшой авторской правкой вошел во все «Сочинения».

В первопечатном тексте очерк посвящен «С. С. Ш — ву» — С. С. Шамкову (1841—1882), в то время — политическому ссыльному, автору статей по женскому вопросу «Детоубийство», «Исторические судьбы женщины» и др.

Стр. 347. *«Шамбр-гарни»* (франц. chambres garnies) — меблированные комнаты.

— *Губернский или коллежский секретарь* — должности чиновников. Из 14-ти классов табели о рангах, изданной еще Петром I в 1722 году, это — низшие по классам должности (12-й и 10-й классы).

Стр. 350. *Беранже* Пьер-Жан (1780—1857) — французский поэт-демократ, прославившийся своими сатирами, песнями и памфлетами; пользовался особенно большой популярностью в среде демократической интеллигенции 60-х годов.

— *Барон Брамбеус* — псевдоним О. И. Сенковского (1800—1858), реакционного журналиста и критика. Во второй половине 50-х годов Сенковский был фельетонистом «Сына отечества» и «Весельчака».

— *«Крамбамбули»* — застольная песня; крамбамбули — вишневая настойка со специями.

Стр. 351. *Табль, шез* (франц. table, chaise) — стол, стул.

Стр. 354. *Шиньон* (франц. chignon) — женская прическа с накладными локонами.

ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ 1862—1866 гг.

Успенский крайне строго относился к своим «пробам пера», и очень немногие из произведений первой половины 60-х годов попали в издания его «Сочинений». В настоящем разделе печатаются лишь несколько таких ранних очерков и рассказов первых лет литературной деятельности писателя. Эти произведения расширяют представление о творческом облике писателя тех лет и свидетельствуют о тематическом и жанровом разнообразии его сочинений.

НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ В ВСЕСВЯТСКОМ

Печатается по журнальному тексту: «Зритель общественной жизни, литературы и спорта», 1863, № 21. При жизни писателя очерк не перепечатывался.

Это́ произведение является самым ранним из описательно-бытовых очерков Успенского, в которых даются небольшие жанровые сцены московских городских и пригородных народных гуляний и празднеств. Успенский удачно передает здесь говор толпы и приводит отрывки разговоров солдат, мещан, мастеровых, крестьян, подчеркивая своеобразие речи каждого из персонажей. Этнографическое значение всех этих сценок увеличивается обильным введением отрывков из различных песен: наряду со старинной деревенской песней приводятся и куплеты «новых песен» с городской тематикой и романсной мелодией и частушками, появление которых писатель зорко подмечает уже в 60-е годы.

Некоторая описательность очерка, возможно, объясняется и тем, что Успенский писал его по заданию редактора второстепенного журнала «Зритель», заполнявшего страницы своего издания поверхностными отчетами и обзорами внешних сторон повседневной уличной, театральной и спортивной жизни Москвы.

Однако эти картинки из народной жизни, написанные еще неопытным пером («Народное гулянье в Всесвятском» является третьим печатным произведением Успенского), важны тем, что они свидетельствуют о демократических тенденциях писателя в первых же его рассказах; эти очерки подготовили и будущего блестящего мастера в изображении массовых народных сцен.

Стр. 362. *Семик* — древний народный праздник поклонения душам умерших, справлявшийся в четверг на седьмой неделе после пасхи; сопровождался различными гаданиями и обрядами.

— *Калибер* — извозчичьи дрожки.

Стр. 363. *Пехтерь* — веревочная корзина для сена.

Стр. 364. *Самокат с коньками* — карусель.

Стр. 365. *Кринолин* — старинная широкая юбка на тонких обручах.

ГОСТЬ

Печатается по сборнику: «В будни и в праздник. Московские нравы. Гл. Успенского. Издание В. Е. Генкеля. СПБ., 1867».

Впервые рассказ напечатан в московском журнале «Зритель общественной жизни, литературы и спорта», 1863, № 24; при перепечатке в сборнике Успенский сделал некоторые сокращения и внес мелкие стилистические изменения, улучшившие текст с художественной стороны.

Рассказ «Гость» написан на основании наблюдений чиновничьей жизни в Чернигове, где писатель прожил все лето 1862 года. Этот рассказ замечателен тем, что здесь впервые в творчестве Успенского появляется крестьянская тема. Хотя о трагическом положении крестьянина и его семьи лишь мимоходом упоминается в разговорах чиновников, беседующих о своих мелких будничных делах, именно на фоне этих пустых разговоров особенно ярко выступает в рассказе образ забитого, замученного нищего крестьянина.

В ДЕРЕВНЕ

(Летние сцены)

Печатается по журнальному тексту: «Русское слово», 1864, VIII. При жизни Успенского очерк не перепечатывался.

В творчестве Успенского это произведение обращает на себя внимание потому, что здесь, несмотря на кажущуюся мимолетность и случайность записи впечатлений путешествующего человека, Успенский глубоко и типически верно показывает жизнь пореформенной деревни и полную беззащитность, растерянность и беспомощность крестьян, обреченных правительством, как говорит автор, на «повсеместное объегоривание».

Интересным в очерке является выпад Успенского против «записных литературщиков» либерального толка, которые, вместо того

чтобы сказать обществу правду «без прикрас» о положении крестьянина, пишут модные «забористые драмы из народной жизни» с романтическими сюжетами. В очерке имеются описания природы, редко встречающиеся в творчестве Успенского.

Стр. 384. *Таксатор* — лесовод, специалист по определению количества и качества древесных насаждений.

— *Алидада* — счетная линейка; употребляется в инструментах, служащих для измерения углов при геодезических и астрономических наблюдениях.

Стр. 390. *Сулея* — бутыль.

Стр. 393. *Белендрясы* — пустяки.

Стр. 401. *Сборня* — мирская изба, где происходили сходки крестьян.

ПОБИРУШКИ

(Очерк)

Печатается по журнальному тексту: «Северное сияние. Русский художественный альбом», издание В. Е. Генкеля, 1864, т. III (подпись — псевдоним: Г. Брызгин). При жизни писателя очерк не перепечатывался.

Очерк «Побирушки» был написан Успенским по заданию иллюстрированного журнала-альбома к акварели Е. А. Егорова «Христа ради». Безусловно, заданность темы ограничивала творческий диапазон писателя; несмотря на это, Успенский создал произведение, имеющее самостоятельный интерес и читающееся без обращения к соответствующей иллюстрации. Акварель Е. А. Егорова изображает три фигуры нищих, оборванных крестьян — старика, женщины с ребенком на руках и мальчика, просящих милостыню у окна крестьянской избы. Успенский же развернул перед читателем в первой части очерка целую галерею портретов городских «побирушек». Вторая часть произведения представляет собой самостоятельный рассказ о нашествии саранчи — великом горе целой деревни, которая вся «пошла по миру» с голоду. Успенский резко сатирически показывает здесь бездушное отношение правительственного чиновничества к народному бедствию, невежественную тупость агрономов-помещиков в борьбе с саранчой и алчность писарей, пользующихся случаем обобрать крестьян до нитки. Знаменательными являются слова автора о том, что «простой крестьянский ум» с отчаяния сам изобрел оборону против саранчи на опыте тяжкой и одинокой борьбы со стихийным несчастьем.

ИЗ ЦИКЛА
«СТОРОНА НАША УБОГАЯ»
(Очерки)

I. КОРРЕСПОНДЕНТ
(Вместо предисловия)

Очерк печатается по журнальному тексту: «Искра», 1865, № 7. При жизни писателя не перепечатывался. Цикл «Сторона наша убогая» состоял из двух очерков; о втором очерке см. в комментарии к рассказу «Примерная семья».

Заглавие цикла — первая строка из стихотворения Н. А. Некрасова «Дума» (1860).

Очерк «Корреспондент» посвящен сатирическому изображению мелкого «обличительства», характерного для либеральной печати пореформенного времени. Дворянско-либеральная журналистика предлагала идти по пути мирных реформ, восхваляя «гласность» и «прогресс» в России, и в своей критике недостатков не затрагивала основ социально-политического строя царской России. Критике либерального обличительства основное направление дал Добролюбов. Сатирическими выпадами по поводу либерального обличительства были наполнены также страницы журнала «Искра» (1859—1873), где был напечатан очерк Успенского. Либеральные восторги по поводу гласности зло высмеивали Некрасов («Песни о свободном слове») и Салтыков-Щедрин (в статьях 60-х годов). Таким образом, и здесь творчество Успенского сливалось с основным направлением сатирической журналистики и литературы демократического направления 60-х годов.

Многие газеты и журналы того времени охотно пользовались услугами провинциальных читателей-корреспондентов для освещения жизни провинции. Одним из наиболее интересных отделов журнала «Искра» считался отдел «Нам пишут», который составлялся из многочисленных корреспонденций из провинции. Однако герой очерка Чернилов сделался корреспондентом газеты именно либерального направления, судя по письмам его петербургского приятеля, требовавшего мелкого обличительства и вместе с тем воспевания «правительственного прогресса»: развитие пароходства, железнодорожного строительства, школ и т. д.

Основной материал для сатирического показа обличителей в этом очерке Успенскому дала газета «Тульский справочный листок», над идейным убожеством которой писатель зло иронизировал во время своей поездки в Тулу в 1865 году.

ПРИМЕРНАЯ СЕМЬЯ

Рассказ печатается по сборнику: «Очерки и рассказы», СПБ., 1871. Впервые этот рассказ был напечатан в «Искре», 1865, № 11, как часть очерка «II. Овчинная улица. — Моллюски. — Начало реформы» цикла «Сторона наша убогая» (см. комментарий к предыдущему очерку). В дальнейшем, для сборника «Очерки и рассказы» 1866 года, Успенский переработал центральную часть очерка («Моллюски») в самостоятельный рассказ с единой сюжетной линией под заглавием «Примерная семья» и включил его в сборник, в серию рассказов под заглавием «Из чиновничьего быта». Для этой переработки, кроме изменений и добавлений внутри текста, писатель, во-первых, отбросил конец очерка с самостоятельной темой — о детской «школе» княжеского камердинера Егора Егорова («Начало реформы»), вновь написал заключение рассказа и, во-вторых, вступительную часть с описанием «Овчинной улицы» заменил общей характеристикой жизни мелкого чиновничества (см. ниже). Новое вступление, в свою очередь, было также изъято при установлении окончательной редакции рассказа в сборнике «Очерки и рассказы» 1871 года.

В этом рассказе Успенский показывает жизнь обывателей провинциального города, которых совсем не коснулись «веяния» пореформенного времени. Писатель возвращается к своей прежней теме — изображению жизни мелкого чиновничества — «моллюсков», но показывает ее на образце «примерной семьи». Однако картина оказывается не лучше. Сам Успенский во вступительной части редакции рассказа 1866 года замечательно характеризует эту среду: «Мелкие, разрозненные и отупляющие однообразием служебные обязанности, печальные условия экономического быта — все это мало-помалу мертвит в многочисленных представителях мелкого чиновничества крошечные, повидимому, незаметные требования человеческой природы и искажает чиновничий быт до смешного и ужасного. Вспомните горьких пьяниц, начавших хлебать через край после двадцатилетнего пребывания в одной и той же должности; вспомните домашних тиранов, зверски орудующих над семьей, которая сначала была их отрадой, и проч. и проч., — все это искаженные проявления неудовлетворенных или задушенных человеческих требований. Но там, где при тех же печальных условиях быта вырабатывается жизнь, не чувствующая горя, не заявляющая о своем праве на человечность хотя бы пьянством, где, следовательно, достигается идеал, к которому стремятся условия чиновнического быта, — тут происходят вещи еще отвратительнее. Мне удалось видеть одну семью, нравы которой в этом смысле — почти идеальны».

По первой редакции рассказа семейство Пискаревых живет на «Овчинной улице», описание которой и дается в начале рассказа, — оно довольно близко к описанию «Растеряевой улицы», особенно в первых редакциях «Нравов Растеряевой улицы». Таким образом, и этот рассказ, так же как и очерк «Корреспондент» (см. выше), включается в цикл произведений с «растеряевской» тематикой, связанных с воспоминаниями писателя о городе Тула.

Стр. 440. *Проховое телосложение* — рыхлое телосложение.

Стр. 442. *певр, певр, анфан, анфан...* (франц. pauvre, enfant) — бедный ребенок.

«НЕИЗВЕСТНЫЙ»

(Очерк)

Печатается по журнальному тексту: «Искра», 1865, №№ 36, 37, 38. При жизни писателя не перепечатывался.

В этом очерке мы встречаемся с одним из наиболее ранних выражений эстетических взглядов Успенского. Срывая с «неизвестного» его «таинственную мишуру», требуя в литературных произведениях устранения романтических «декораций», мешающих видеть правду истинной жизни, Успенский ратует за реалистический метод изображения действительности.

Стр. 461. *Тезе, не-туше-па* (франц. taisez, ne touchez pas) — молчите, не трогайте.

Стр. 484. *Разверстание* — здесь: размежевание земель между помещиками и крестьянами после реформы 1861 года.

— *Издельная повинность* — принудительные отработки крестьян за наделы земли, полученные ими в 1861 году.

— *Контрданс* — старинный танец типа кадрили.

ДЕРЕВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ

Очерк печатается по сборнику: «Глушь», СПБ., 1875. Впервые был напечатан в журнале «Современник», 1865, X. При переиздании его в сборнике «Очерки и рассказы», СПБ., 1866, Успенский подверг очерк очень значительной правке стилистического характера и большим сокращениям, особенно в начале первой главы, где было вычеркнуто все описание путешествия рассказчика по дороге в село Лытовка. Однако правка текста очерка не была доведена писателем до конца;

так, например, из-за сокращения начала первой главы, в которой автор описывает встречу с пьяным путником, остаются непонятными слова: «я узнал странную фигуру одного пешехода, который попался мне на большой дороге» (стр. 490). При перепечатке очерка в сборнике «Глушь» Успенский еще раз сократил и выправил его.

«Деревенские встречи» — первое произведение писателя, принятое Некрасовым к напечатанию в «Современнике», вторым были «Нравы Растеряевой улицы». В рассказе Успенского изображены среда провинциального духовенства и по-своему протестующий против этой среды дьякон Медников. Подобно другим писателям-демократам того времени — Н. Успенскому, А. Левитову и др., Успенский показывает невежество, неразвитость и стяжательство служителей религиозного культа. Недаром этот очерк привлек внимание цензуры. «В рассказе «Деревенские встречи», — пишет цензор, — содержится, во-первых, кощунство над священным писанием, над верою в будущую жизнь и над церковным богослужением и, во-вторых, оскорбляется священнослужительское звание». Вероятно, из боязни дальнейших осложнений с цензурой Успенский не поместил очерк ни в одном из изданий своих «Сочинений».

Повидимому, очерк «Деревенские встречи» возник на основе детских воспоминаний Успенского. Прототипом Никитича послужил, вероятно, дядя писателя, дьякон Г. Я. Успенский, о чем свидетельствует и сам автор в письме к родителям (середина января 1864 года): «Пишу в «Современник» историю Григория Яковлевича» (см. об этом и в воспоминаниях дяди Г. И. — «Русское богатство», 1894, VI).

Стр. 501. *Сáжелка* — запруда, прудок для сохранения живой рыбы.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

СТОЛИЧНАЯ БЕДНОТА

(Мелкие очерки)

МЕЛОЧИ

ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ 1852—1856 гг.

Редактор В. И. Морозова
Художник А. Я. Малков
Художественный редактор А. М. Гайденков
Технический редактор Л. П. Крючкина
Корректор А. А. Большаков

Подписано к печати 29/IX 1955 г. М-45434. Бумага 84×108 1/32 = 37,5 печ. л. — 30,75 усл. печ. л. 31,10 + 7 вкл. = 31,4 уч.-изд. л. Тираж 150 000 экз. Заказ № 549. Цена 11 р.

Гослитиздат. Ленинградское отделение. Ленинград, Невский пр., 28.

Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности. 4-я тип. им. Евг. Соколовой. Ленинград, Измайловский пр., 29.